Борис
Васильев



Вы чьё, старичьё?

Повести и рассказы

Вы чьё, старичьё? Повести и Рассказы

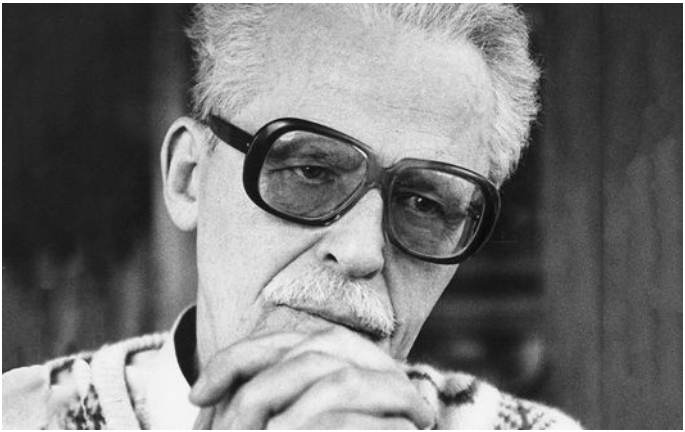
Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Львович Васильев. Вы чьё, старичьё?
Вы чьё, старичьё?
Иванов катер
Жила-была Клавочка
Короткая рокировка
Красные жемчуга
Летят мои кони
  Постскриптум
Гибель богинь
Рассказы
  Не имей сто рублей...
  «Холодно, холодно...»
  Коррида в большом порядке
  Живая очередь
  Жуткое дело
  Порода такая
  Великолепная шестерка

Аннотация

В данную книгу включены повести и рассказы, повествующие о непростых судьбах простых людей, необходимости и неизбежности жизненного выбора и нравственной ответственности.

Борис Львович Васильев
Вы чьё, старичьё?



Борис Васильев
(1924–2013)

© Васильев Б.Л., наследники, 2025
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2025

Вы чьё, старичьё?

1

Жизнь Касьяна Нефедовича Глушкова — естественно, в порядке исключения — развивалась не по спирали, а кольцеобразно, и старость аккурат совпала с детством. Не по уму-разуму, а по странному присутствию беспомощной наивности, которая при почтенной седине выглядела вполне замшело. Одним словом, каким бы заветным то слово ни было, человека не выразить. Однако если представить некое сито, ссыпать в это сито все особенности, черты и черточки характера да потрясти, то в сите оказалась бы наиболее крупная частица, и применительно к деду Глушкову частица эта определилась бы, пожалуй, так: созерцатель. Мы как-то утратили такое понятие в быстротекущей жизни нашей, а потому хотелось бы напомнить, что Владимир Даль в «Толковом словаре» определяет особенность подобных людей как способность обращать внутрь, в себя, всю деятельность, противополагая им эпитеты «дельный», «деловой», «жизненный», «практический» и тому подобные. Касьян Нефедович был вполне

жизненным, но отнюдь не деловым, а тем паче не практическим. Обладая зловещей способностью обращать какую бы то ни было деятельность внутрь самого себя, он не только не думал о том, над чем в данный момент трудятся его руки, но и не знал, куда несут его ноги. Сказать, что при этом он размышлял над чем-то, значило бы возводить на него напраслину: он решительно ни о чем не размышлял — он созерцал. Не разглядывал что-то конкретное, не слушал нечто одному ему ведомое, а всем существом своим воспринимал и увиденное, и услышанное, и ощущаемое. Он впитывал в себя мир целиком, не пытаясь анализировать данность или делать из нее какие-то выводы. Когда работал в колхозе, лошадь шла куда ей заблагорассудится; когда низведен был на должность пастуха, скотина блукала по окрестностям; и даже в армии, в которую был призван в угрюмом сорок втором, не утратил способности впадать в непонятную прострацию при самых жесточайших бомбежках.

— Спишь, Глушков?

А он не спал и не собирался спать: он не мог иначе. Просто не мог, как иные до седых волос не могут удивиться стихам или рассмеяться во все горло. Но поскольку ни он сам, ни какие бы то ни

было медицинские светила феномена Касьяна Глушкова объяснить не смогли, началась чехарда, и Глушков за полста трудовых лет сменил несметное количество профессий, должностей, служб и работ. Упомнить их все было немыслимо, никакая трудовая книжка их не вмещала, справок Глушков отродясь нигде не брал, а если давали, то либо терял, либо сами эти справки куда-то девались совсем уж непостижимым образом. И кончилось тем, что по достижении им серьезного возраста последнее его руководство с великим облегчением отправило деда на заслуженный отдых с пенсией, цифра которой полностью отражала всю его служебную деятельность, но в обратной пропорции. Однако Касьяна Нефедовича пропорция эта не смутила и потому, что к деньгам он относился с тем же созерцательным спокойствием, и потому, что был крайне нетребователен к благам житейским, и потому, наконец, что в то время еще имел супругу, а значит, был сыт, одет и обут.

Женщины вообще питали к Глушкову слабость. Они всячески привечали его, жалели и подкармливали без всяких задних мыслей, как жалели бы и привечали ребенка. Инстинктивно чувствуя белизну его души, они безошибочно угадывали в

нем и отсутствие целеустремленности, а потому и не пылали страстью. И только его родная и единственная Евдокия Кондратьевна любила его целиком, каков он есть. Она никогда не корила его, не досаждала поучениями, все понимала, все принимала, одна волокла семейный воз и, в конце концов, надорвалась.

— К Зинке поезжай, — через силу сказала она. — Пропадешь.

А он глядел в ее одутловатое, синюшное лицо, покорно кивал, моргал выцветшими глазками и кулаком утирал слезы. Ему было больно, страшно и пусто, но даже сейчас, слушая последний шепот последнего любящего его человека, он — созерцал. Созерцал смерть во всем ее жутком обличии, а не прощался с той, кого забирала она из его неуютной, нелепой, всеми ветрами продутой жизни.

— Пропадешь…

Таким было прощальное слово Евдокии Кондратьевны, и Касьян Нефедович уловил не смысл его, а — место: последнее, как завет. И согласно завету написал Зинке бестолковое письмо. Писал он его на почте, куда пришел прямехонько с кладбища. Тыкал после каждой буквы ученической ручкой в чернильницу, шмыгал носом и очень

боялся, что почтовые девушки, известные своей непреклонностью, обязательно выгонят его, не дав дописать, потому что на часах было уже без десяти шесть, дверь на запоре, а работники — за подсчетом выручки. Поэтому он, шесть раз написав, что «покойная маменька ваша Евдокия Кондратьевна перед смертью кланяться велела», так ни разу и не помянул, что ему-то самому велено не просто написать Зинке, а перебираться к ней доживать свой затянувшийся век.

Правда, написал он так не только со спеху, но и потому, что видел эту самую Зинку всего раз в жизни. Пять лет назад, когда его единственный сын Виктор привез ее на показ родителям. Привез вечером, увез утром — вот и все знакомство, и Касьян Нефедович никак не мог вспомнить ее лица. А сын Виктор через полгода после смотрин в непотребном виде попал под грузовик, и осталась одна ниточка между Зинкой и Касьяном Нефедовичем: Славик. Викторов сын и Касьянов внук.

Тут дверь хлопнула, и кто-то за его спиной встал. Дед испугался, что гнать начнут, еще ниже пригнулся и еще тише пером заскрипел. А уютный женский голос сказал:

— Царствие Дусе небесное. Может, ко мне переедешь? Дом большой, а нас трое всего: я, дочка да

внучка. А где трое, там и четверо.

Оглянулся Глушков: Анна Семеновна позади, Нюра. Соседка и давняя знакомая: босиком вместе бегали. За дочкой, видно, зашла: дочка у нее на телеграфе работала.

— Вот Зинке пишу. Велела.

— Поезжай, — вздохнула Нюра. — А не уживешься, обо мне вспомни.

— Мать! — крикнули. — Ну чего он там? Закрываем!

Написал старик адрес, клей слезами размазал, опустил письмо в ящик и пошел в опустевший дом, не зная еще, что через десять дней продаст он его на дрова и отправится за четыреста с лишком верст в город, где жили незнакомая Зинка и ни разу не виданный им внучок Славик.

Багаж был невелик: старый чемодан со стариковским нарядом и корзинка с гостинцами. Зинке Касьян Нефедович вез материи на платье да старушечью теплую шаль, которые обнаружил в сундуке под совсем уж никчемным тряпьем, а Славику — зеленого надувного крокодила почти что в натуральную величину. Поверх подарков лежали два десятка сваренных вкрутую яиц и три ощипанные курицы — единственная стариковская живность, зарезанная недрогнувшей

рукой вовремя похмелившегося бригадира. Вещи стояли под лавкой, поезд скрежетал и раскачивался, попутчики дремали, а Касьян Нефедович созерцал. Созерцал путешествие, купе жесткого вагона, темноту за окном и собственную жизнь, что катилась сейчас — он чувствовал это — по последнему этапу к последнему прибежищу.

2

...– Касьяшка! Касьяш, за гумнами большака расстреливают!

Рябой мужичонка в драной рубахе и холщовых подштанниках деловито копал могилу. Земля была сухой, неподатливой, а он рыл и рыл, оглаживая стенки и подбирая со дна осыпавшиеся комья. Ему было жарко и от солнца, и от старательной этой работы, он взмок, и пот темными кругами полз по рубахе от подмышек к костлявому хребту. А перед ним стояли шестеро солдат, что оставили белые при старосте, сам староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы да ребятишки — вся деревня, словом. И пекло солнце, и копал большак могилу, и было тихо. А потом большак высунулся из могилы — она по грудь ему была — и спросил:

— Может, хватит?

Молчали солдаты, староста, священник отец Поликарп, мужики, бабы и ребятишки. Вся деревня молчала, потому что никто не знал, хватит или не хватит и сколько вообще земли положено при расстрелянии. И кто должен это решать, тоже еще не знали.

Большак опять покопался, поскреб лопатой, а потом вылез. И сел на свежий бугорок.

— Сильно земля у вас крутая.

Молчала деревня. Большак вытер лицо подолом рубахи, вздохнул:

— Испить ба.

Враз трое молодух из толпы брызнули. Одна — к колодцу, две — по погребам. Пока первая бадьей гремела, две другие уж из погребов вынырнули, и к большаку все три подошли одновременно: с водой, с молоком и с квасом.

— Спасибо, бабоньки, — сказал он и попил всего понемногу. — Вода у вас вкус имеет. Молочко отстоялось, холодненькое. А квасок-то, квасок — аж душа просветлела. Храни вас Христос, бабоньки.

И опять на землю сел, им же нарытую. Глядел на всех светло-голубыми глазами и виновато улыбался.

— От работы вот отрываю вас. Совестно.

— Обождите, — сказал тут отец Поликарп и

шагнул вперед. — Может, никакой ты не большевик, а? Отвечай как на духу.

— Нет, батюшка, я есть большевик, хоть нигде и не записанный. Я слова товарища Ленина народу передаю и так считаю, что землю надо сызнова поделить. Поровну. По едокам, конечно.

— Агитация, — строго сказал староста. — Таких стрелять велено.

— Велено — значит, надо сполнять, — согласился большак. — Где встать-то мне?

— Да погоди ты! — закричал отец Поликарп. — Может, миру покаешься?

— Покайся! — загудели мужики. — А мы постегаем для порядку. Покайся, а? Сделай милость божескую, не вводи во грех.

— Спасибо, мужики, на добром слове, — улыбнулся большак и поклонился миру в пояс. — Только не могу я против совести. Надо бы все наделы по едокам обратно переделить. Поровну. Чтоб всем жизни по ровному ломтю отпущено было, чтоб у ребятишек животы с голодухи не пучило и чтоб бабы наши не старились бы к тридцати своим годкам.

Так сказал большак, и все бабы тихо заплакали, аккуратненько собирая слезы в концы головных платков.

— Агитироваешь — значит, застрелить тебя придется, — вздохнул староста. — Вот морока! Может, самогоночки примешь для облегчения?

— Не могу, ты уж не серчай, — вежливо отказался большак. — У меня с ее голова по утрам болит.

— Так не будет же утра-то! — закричал тут староста. — Не будет, не будет!..

Помолчал большак. Потом улыбнулся, и глаза его светло-голубые тоже улыбнулись. С ним вместе.

— Будет, — сказал. — Обязательно даже будет. Это меня вы застрелите, а утро — нет. Не застрелишь утра-то, мужики вы мои родные! Хоть из тыщи ружей в него стреляй — не застрелишь…

…Может, так, а может, и не так убивали первого большевика в жизни Касьяна Глушкова. Он ведь и тогда не смотрел, а — созерцал и помнил не детали, а ощущения. И ощущений этих было два: большевик смерти не боялся, а Россия казнить не умела.

А поезд летел сквозь ночь и ветер с громом и скрипом, как летела когда-то сорвавшаяся с корней своих сама Россия на перегоне от станции Вчера до станции Завтра. И не было света ни за окном, ни в вагонах, и не было тепла ни там ни тут, и уже не было прошлого, и еще не виделось

будущее. И только вера в это будущее светила людям и согревала их.

3

— Двадцать два с полтиной — и вся пенсия? — тихо спросила Зинка.

Оказалась она узловатой и безулыбчивой: таких и хмельные мужики за три улицы обходят. Смотрела тускло и так, будто все кругом ее загодя ненавидели, а говорила почти что без голоса. От этого безголосья Касьян Нефедович ежился пуще, чем от ухватов, по опыту зная, что за бабьим тишком такой скрывается грохот, крик и несуразица, какие и штрафная рота не натворит.

— И вся пенсия? — спросила.

Дед Глушков готов был провалиться сквозь все недра земли. Он привык считать, что пенсия — это так, вроде подарка под конец жизни, а цену подарка не спрашивают. Но тут спросили, тихо спросили, и Касьян Нефедович сразу почувствовал себя виноватым и в пенсии, и в одиночестве, и в сиротстве, и в том, что до сей поры не улегся еще на погосте. И сказал:

— Колхозная она.

— Так и колхозникам увеличивали, читала я.

— Оно конечно, увеличивали. Только колхозу-

то боле нету. Он теперь — ферма при совхозе. А совхоз — другого района. А район…

— Ладно, — отрезала. — На кефир хватит. Кефир, он старичкам полезный.

Обрадовался Глушков: кефир так кефир, только б не выгнала. Засуетился, чего-то про район рассказывать принялся, но Зинка сразу ушла к соседям, и пришлось вместо рассказа надувать Славику крокодила. Полкомнаты зверюга заняла.

— Вот и спи на нем, — сказала Зинка, отревевшись у соседей.

Пугала, правда. Время пришло, и тюфячок на пол постелила и подушку с одеялом дала. Свернулся дед в углу за столом, накрылся с головой и храпанул в свое удовольствие, пока Зинка ногой не ткнула.

— Выгоню. Захрапишь еще — сразу выгоню.

С той поры пришлось Касьяну Нефедовичу со страхом спать вместо храпа. Однако и тут приспособился: при первом звуке своем просыпаться выучился раньше Зинки и глушить звук подушкой. И все пошло гладко, и все пошло мирно; под горку пошло вместе с последними годочками. До одного субботнего вечера и разговора с Зинкой и соседом Арнольдом Ермиловичем. Этот Арнольд

Ермилович вместе с женой занимал меньшую комнату в их двухкомнатной квартире и ожидал прибавления в семействе. Он работал на ремонтном заводе, где и Зинка, но имел образование и стремление к справедливости.

— Подсобницей в магазин предлагают, — сказала Зинка. — Деньги заработаю, квартиру кооперативную куплю — так и замуж возьмут.

Дед играл с крокодилом и Славиком, когда Зинка вошла с соседом. Сосед курил и пока молчал, а зачем пришел — было непонятно.

— Хорошее дело, — сказал Касьян Нефедович.

— Шестьсот рублей просят за оформление.

Глушков молчал, хотя уже что-то почувствовал. Неладное что-то.

— Без денег магазин не оформит, дураков теперь нету, — продолжала Зинка. — А мне замуж надо.

— Замуж — дело справедливое, — поддержал сосед. — Пока молода.

— Шестьсот рублей, — вздохнула Зинка. — Нельзя такое место упускать, я с него через год кооператив куплю.

Дед понимал, что жмут они на него, но не понимал зачем. Отродясь он таких денег и в глаза не видывал и считал после сотни сразу «много».

— Так где же? Нету же.

— Есть, — тихо не согласился Арнольд Ермилович и ногтем сбросил пепел с сигареты. — Есть у вас, товарищ Глушков, такие деньги.

— Так как? — растерялся Касьян Нефедович. — Так нету ведь.

— Есть, — повторил сосед. — Вам как фронтовику пенсия положена, а вы ее не оформляли. Вот оформите — и деньги выплатят по полной справедливости.

— Так по справедливости я и не должен, — забормотал дед, для убедительности прижимая к тощей груди сухонький кулачок. — По справедливости я же в обозе, я же и стрелять-то не стрелял, и в меня разве что бомбы да если из пушек. Это же тем положено, кто кровь свою отдавал, которые с врагом сражались, когда я пшенный концентрат возил. Это же им…

— Все, — уронила Зинка. — Готовь бумаги, сама тебя в военкомат отведу. Там разберутся, что тебе положено.

Все было решено, и напрасно дед Глушков вякал несогласия. Зинка с соседом проверили все его бумажки, раздобыли, чего недоставало, и Зинка лично отконвоировала Касьяна Нефедовича в военкомат. Шел он в него как на казнь, потому

что твердо был убежден, что не имеет права ни на какие деньги, и все в нем бунтовало. И он не знал, как от Зинки отвязаться и что вообще делать.

— На второй этаж вам, товарищ фронтовик, — сказал красивый дежурный лейтенант. — А вы тут обождите, гражданочка.

Дед поднялся на второй этаж, нашел мужской туалет и два часа просидел на толчке. Потом спустился к терпеливой Зинке и, запинаясь, объявил, что ничего ему не положено. Зинка промолчала и пошла не оглядываясь, а дома устроила скандал с криком, слезами и одной разбитой чашкой. И старик не просто все перетерпел, а упрямо талдычил, что тем, кто пшено возил, нечего и зариться на государственные рубли, что никакие они не фронтовики, а участники и что участникам никаких благ не полагается. Он проговаривал это тихо, но отчетливо и очень упрямо, хотя ему было так страшно, что тошнило под ложечкой и ноги вот-вот могли, свободное дело, в коленях обломиться. Не Зинки он боялся, конечно, не криков ее, не разбитой чашки (она все равно треснутая была, чашка эта, и чай из нее выливался), а боялся услышать, чтоб «вон ступал, откуда приехал». Одиночества дед Глушков очень боялся и бесприютности грядущей, но

страху наперекор свое бормотал — и победил. Поплакала Зинка, покричала, дармоедом пять раз обозвала да и махнула рукой и на него, и на денежную должность при магазине, за которую просили немыслимые шестьсот рублей.

Помаленьку все и образовалось… По утрам пил старик свой кефир, отводил Славика в садик и начинал хождения из одной очереди в другую. Тащил домой, что выстоял, варил себе супчику или — если доставал, конечно, — творог ел с молоком, дремал немного и топал за Славиком. А там и Зинка с работы приходила, и ужинали они уже втроем. И все шло хорошо, и занятие было, и пенсии вроде хватало, и даже Зинка иногда улыбалась. И старик написал в деревню Анне Семеновне письмо, как все замечательно устроилось и что живет он со своей Зинкой душа в душу и очень рад, что в город перебрался. Все было хорошо, только сосед Арнольд Ермилович все чаще намекал, что не худо было бы Зинке выйти замуж и что для этого непременно надо ей построить собственную кооперативную квартиру. Конечно, свою он цель преследовал: жена прибавления ждала, а метраж не увеличивался и мог увеличиться только за счет присоединения Зинкиной комнаты. Так Арнольду Ермиловичу в

жилуправлении намекнули (свой человек сидел, земляк), и так он действовал в соответствии с этим намеком.

— Завербовалась я, — объявила в конце концов Зинка. — На Крайний Север завербовалась: там полярные платят и еще я, может, судомойкой устроюсь или в магазин какой. И будет у меня квартира. Но покуда одна я туда поеду, а вы тут со Славиком живите дружно.

Заныло сердце у Касьяна Нефедовича, в предчувствии заныло, да так, что ночь он не спал. А утром решился:

— Может, вместе поедем? Вместе оно…

— Чего? — спросила. — Молчи уж. Концентрат.

Через месяц и впрямь уехала, оставив деду денег, круп да картошки и расписание, когда Славика спать укладывать, когда мыть, когда в садик вести. Проплакала вечер, посидела перед дорогой, обцеловала сына — и канула.

Грешным делом, дед Глушков думал, что навсегда она канула. Что подбросила ему внучонка, а сама за новым мужем припустила в края, бабьем небогатые. Но — ошибся: через полмесяца письмо пришло. Зинка благополучно при заполярном магазине устроилась, но живет в общежитии, а потому и забрать их пока не может. Вот сдадут

дом к майским праздникам…

Ах, как Касьян Нефедович этому письму обрадовался! Не забыла, значит, помнит, думает о них, а что пока нет возможности, так это не беда. Вот сдадут дом…

Только вместо майских радостей вышло огорчение. Приехал мужик с того дальнего Севера, привез немного денег и письмо. Отдал все деду и, пока тот к почерку присматривался, сказал Славику:

— Собирайся, пацан. На самолете с тобой полетим. К мамке.

— А я? — спросил Касьян Нефедович и обмер.

— А про тебя, дед, мне не сказано. Какое в письме разъяснение?

В письме разъяснение имелось: не сдали строители дом к майским и отложилось все до ноябрьских. Но насчет Славика Зинка в общежитии договорилась, а деду Глушкову предлагалось ждать. То ли вызова, то ли когда строители дом сдадут, то ли смерти собственной. И ждать в полном одиночестве, поскольку увез тот полярный мужик внучонка Славика прямо на следующий день.

4

Говорят, жизнь потому дорожает, что не относится она к предметам первой необходимости. Так оно, может, и есть, а только привыкаем мы к своей стариковской жизни, как к старому пиджаку: немодно, да уютно, тепло и расстаться жаль. А если бы не привычка — гори она синим пламенем, такая жизнь. Но Касьян Глушков так не думал и на соседнем пустыре обнаружил вскорости прекрасную почву для оптимизма.

Почва эта возникла на основе всенародной борьбы за всенародную трезвость, в связи с чем в городе позакрывали все точки, где человеку с нормальной зарплатой можно было бы хоть сидя, хоть стоя выпить свои боевые сто граммов. Тогда и начались поллитры на троих с приемом на воздухе и рукавом вместо закуски, и опустошенные бутылки лихо летели в пыльную траву пустыря. Вот их-то и приловчился выискивать обреченный на непонятное ожидание Касьян Нефедович.

Наиболее урожайными были два периода: послеобеденный и послерабочий. Послеобеденное время давало меньше водочных, но иногда подкидывало кефирно-молочные, редкие на

запьянцовском том пустыре, как матерые боровики. Вечерняя страда аккуратно поставляла винно-водочную тару, и дед ходил за нею с кошелкой, как по грибы. А потом сдавал в магазин по гривеннику с горлышка, поскольку продавщице тоже жить надо. Дед воспринимал это со свойственной созерцателям праздничной бездумностью, но иногда удивлялся, почему же он раньше-то никогда ничего не обнаруживал, кроме битой посуды? Тут было нечто мистическое, но дед Глушков твердо знал, что Бога нет. И оказался прав абсолютно: причина, в конце концов, обрела материальную структуру и встретила деда такими словами:

— Так вот какой вредный гад колоски с моего поля скусывает!

На глыбе под строительный шумок слитого на пустыре асфальта, о которую несознательные били посуду, сидел кряжистый старикан об одной руке. Старикан курил папиросу и ругался сквернымi словами.

— Вот гады, до чего разложились! Поболеть не дадут: сразу скок на твою делянку, понял — нет? С кошелкой наладился, гад ползучий, паскуда недоплаченная, вредитель недострелянный!

С этими словами неизвестный старикан цап-

нул своей единственной, а потому особо длинной и особо цепкой рукой личную дедову кошелку и рванул к себе. Дед ее не отдал и молча тянул на себя, а старикан с руганью — на себя. Старикан был покрепче, мотал деда как хотел, но рука у него все же была только одна, а у деда две, и в сумме получался баланс. Ругательный старикан сообразил это, перехватил деда за грудки и начал его вертеть.

— Сейчас я тебе покажу, как на чужом гектаре воровать! — орал он, приправляя каждое слово перцем, который придется опустить. — Сейчас бить тебя буду, понял — нет?

Касьян Нефедович сперва испугался, но старикану бить было особо нечем. Единственной своей рукой он держал его за грудки, а если бы отпустил, дед задал бы стрекача. Отпускать было нельзя, и вредный старикан то пытался боднуть Касьяна Нефедовича, то принимался лягаться, но дед Глушков реагировал на эти выпады как профессиональный боксер наилегчайшего веса, и все попытки шли впустую. Попрыгав, старики уморились и сели рядом, тяжко отдуваясь.

— Ладно, ставь бутылку, — смилостивился старикан. — Может, и тебе глоток дам.

По причине отсутствия в груди воздуха дед

Глушков только потряс пальцем. Но потряс выразительно.

— Рублевкой отделаться хочешь?

Дед кивнул.

— Ну хрен с тобой, — неожиданно согласился законный владелец золотой жилы. — Я тебя опосля пристукну. А пока до плодовыгодного доплачу добровольно. Понял — нет?

За плодовыгодным и познакомились, а познакомившись, разговорились, а разговорившись, расстались друзьями. И кто знает, как повернулась бы дедова судьбина, если б не эта встреча, не смертный бой за дивиденды и не братский пир после этого боя.

5

Завсегдатаи пустыря звали Павла Егоровича Сидоренко Багорычем. Кличка эта возникла отнюдь не из-за сходства единственной руку старикана Сидоренко со всамделишным багром: просто вечно куда-то поспешающий Сидоренко на вопрос, как его зовут, отвечал: «Пал Егорыч». Это «Палегорыч» естественно превратилось в «Палгорыч», а затем окончательно упростилось до Багорыча. В прозвище было много добродушного благорасположения к шумному деду Сидоренко, которого

знали все, кроме застенчивого и нерасторопного Касьяна Нефедовича.

Павел Егорович Сидоренко встретил революцию босоногим парнишкой, как и Касьян Нефедович, но вынес из того обжигающего времени не удивление, а митинг. Он яростно и громогласно бичевал все, что, по его разумению, мешало мировой революции или могло бы когда-нибудь помешать. Исходя из этого он воевал с попами и лавочниками, гнилыми интеллигентами и бывшими меньшевиками, с троцкистами и бухаринцами, перерожденцами и кулаками. Кипятился он не по природной злобности, а по природной кипучести и свойственному лично ему пониманию текущего момента. С возрастом немного притих, женился, сбежал от жены подальше, вступил там в колхоз и вскоре ударной работой прогремел на весь Союз. И в страду тридцать девятого, подавая снопы в молотилку, угодил левой рукой в самый ее зев.

Потеря руки тяжко ударила по Пал Егорычу, но запасы кипучести были еще достаточны, и воспрял он быстро. Выучился управляться одной правой, по-прежнему числился в передовых и действительно работал на совесть. И все было бы славно, да подкатил сорок первый — и вско-

ре Сидоренко остался в колхозе единственным мужиком. Олицетворением силы, порядка, справедливости, смысла жизни, завтрашней сытости и завтрашней победы. Он стал символом, но для символа оказался слишком прозаичным и настырным. Это привело к тому, что хотя он и не до конца развалил колхоз, зато развалил не одну семью. Пока шла война, его беспутство кое-как терпели, но стоило вернуться двоим не окончательно искалеченным мужикам, как Сидоренко попросили с должности. Район утвердил нового председателя, вкатил Пал Егорычу строгача и назначил заведовать горюче-смазочными материалами в то самое горючее время, когда среди хозяйственников вдруг возникла мода работать по принципу «ты — мне, я — тебе». И на этих горючих материалах и в том горючем времени Пал Егорыч Сидоренко погорел окончательно и бесповоротно. Притишел, ничего уже больше не требовал и добровольно подался на пенсию по старой своей инвалидности.

Поначалу ему хватало этого установленного еще до войны пособия. Но вскоре старикан Сидоренко с удивлением обнаружил ножницы в собственном бюджете, поскольку расход рос сам собою, как чирей на шее. Пал Егорыч помудрил,

то складывая, то вычитая, но жизнь стремительно взмывала в небеса, а пенсия по-прежнему оставалась на земле. Багорыч покрутился еще немного, а потом махнул рукой на самостоятельность и ринулся разыскивать давно потерянных родственников. Многих он перебрал и по расчету, и по несогласию, и по вздорности характера. С родным сыном люто переругался, объявил сгоряча, что едет в Сибирь, но вместо Сибири оказался у последней своей внучки Валентины. Устроился сторожем да и примолк, потому что Валентина имела характер, ценила независимость и любила своего с дымом, чадом и треском догоравшего деда. И он, почувствовав то, от чего уж отвык, привязался к своей Валентине, как никогда и ни к кому не привязывался. Как привязывается бездомная собака, после долгих мытарств обретшая конуру, миску супа и хозяина.

Так начался последний перегон его крикливой, куда более чужими, чем своими слезами омытой жизни. От старого остались в нем кураж на людях, бранчливость, бестолковая суматошность да тяга к выпивке. Валентине старался не докучать, помогал чем мог, ни пенсионных, ни сторожевых своих денег на бутылку не тратил. Завел на пустыре знакомства, носил в кармане

стакан, научился разливать «по булькам», чем и зарабатывал себе на глоток. Похабничал, ерничал, суетился и окончательно утвердил за собою прозвище Багорыч. И катилась его жизнь как по рельсам, да сошлись эти рельсы с путем Касьяна Нефедовича Глушкова. Сошелся Шустряк с Созерцателем, и не только не загасили они друг друга, а сложились в новую силу, равную двум стариковским мощностям.

6

Старикан Пал Егорыч обладал двумя важнейшими житейскими преимуществами: работой и жилплощадью у родной внучки. Работа не так потрясла деда Глушкова, как персональная внучка, которой ругательный Сидоренко очень даже гордился.

— В меня! — орал он на пустыре, гулко тюкая кулаком в собственную грудь. — Плодовыгодное допьем — и покажу. Вся как есть, и ндравом, и характером.

— Может, потом лучше? — робко сомневался Касьян Нефедович, помня неулыбчивую свою Зинку. — Винцом от нас это… Унюхает.

— Кто унюхает? Валька унюхает? — презрительно щурился Багорыч. — Сказано, в меня она.

Вся в меня, понял — нет?

Тут старикан Сидоренко сильно бахвалился, потому что внучка его была, как говорится, ни в мать ни в отца, а в проезжего молодца. Кроме решительного характера, природа наделила ее свойством с первого взгляда нравиться мужикам, однако не настолько, чтобы тут же предлагать руку. Несколько раз основательно споткнувшись об эту странную преграду, Валентина отревелась и приняла данность философски. Упрятав надежду выйти замуж в дальние закрома души, никакими условностями себя более не связывала, решив брать от жизни то, что сумеет. Скандалы, которые временами сопровождали очередные Валькины похождения, были шумны и энергичны, и если судить по ним, то она и впрямь удалась в своего деда Сидоренко. Но скандалы проходили, а Валентина ни на атом не теряла своей веселой и щедрой доброты.

Квартира у нее хоть и отдельная была, но однокомнатная, малогабаритная. Старикан Сидоренко спал здесь же на раскладушке — если не дежурил, конечно, — и ночевать с возлюбленным было неуютно. А потому, втроем отужинав, Валентина заводила будильник с расчетом, чтобы через два часа зазвонил, и командовала:

— Гулять, дед! Время усек?

— Усек, — подтверждал дед, клал будильник в карман и сматывался.

Дед сторожил свой склад с восьми вечера до восьми утра раз в трое суток и уходил в ночные прогулки тогда, когда он, понятное дело, торчал дома. Но Валентина его расписание в голову не брала, сообразуясь с собственными желаниями. И коли уж пожелала, то никуда желание свое не откладывала, а отправляла деда на улицу, снабдив будильником.

Не всегда, правда. В непогоду — в дождь там, мороз или в какую еще мерзость — жалела. Ставила будильник перед дедом на кухне и давала книгу:

— Читать будешь, покуда не зазвенит.

Книгу одну и ту же давала, «Автоматизация ликвидации отходов» называется. И старикан настолько Вальку свою любил, настолько радовался, что хорошо ей, что счастлива она хоть два часа этих, что осилил-таки книжку. Все теперь про ликвидацию знал. А случайного знакомца, с которым сперва подрался, а потом бутылку распил, Сидоренко не потому приглашал, что дед ему понравился, а потому, что очень уж похвастаться внучкой хотел. Похвастаться перед бобылем брошенным и тем самым возвыситься хотя бы

над ним. Над маленьким, смирным созерцателем Касьяном Нефедовичем Глушковым.

— Вся в меня внучка, понял — нет? Вот сам поглядишь.

Поглядеть деду Глушкову очень хотелось, но человеком он был застенчивым, а потому долго отказывался. Отказывался и боялся, что крикливый Сидоренко согласится и не покажет ему своей райской обители из отдельной квартиры, личной внучки и родственного согласия. Но Багорыч и сам горел нетерпеливым желанием продемонстрировать собственную жизнь, и они по-зряшному препирались на том пустыре. Потом поладили, купили в складчину еще одну бутылку плодово-ягодного для семейного ужина и пошли. И чем ближе подходили к дому, тем все меньше и тише бахвалился Пал Егорыч, а когда вышли на последнюю прямую, то и вовсе замолчал. Но дед Глушков созерцал собственные сомнения, а потому привычно не заметил сомнений нового приятеля.

А старикан Сидоренко примолк по той причине, что начал подсчитывать, когда же он в последний раз два часа гулял по улицам. Выходило, что давно, а это означало, что Валентина вполне могла сегодня испортить задуманную

им демонстрацию уюта и согласия. И старик Сидоренко впервые в жизни ругал про себя свою внучку и с каждым шагом мрачнел все больше.

А Касьян Нефедович ничего не замечал. Он радовался, что его в кои веки пригласили в дом, где есть женщина, а значит, есть уют, тепло, внимание — и ужин. Он так стосковался по настоящему ужину на своих кефирах, что от одного только представления его тоже обдавало жаром, а в животе урчало и сладко посасывало.

Вот с какими разными мыслями приближались они к дому, где жил Пал Егорыч с законной внучкой своей Валентиной. Один весь в жару пылал от мысли, что внученька на порог укажет, другой в таком же жару — от ужина, который могли приготовить только женские руки. И потому Глушков улыбался, а Сидоренко мрачнел. Мрачнел, мрачнел, а возле самого подъезда брякнул:

— Доставай плодовыгодное.

— Это зачем же? — удивился Касьян Нефедович: в его кошелке бутылка перекатывалась.

— А затем, что тут выпьем — и по домам. Отменяю знакомство.

Загрустил дед Глушков. Уж очень ему хотелось тепла семейного и ужина, женскими руками сготовленного и на стол поданного. Загрустил,

но виду не показал. Достал бутылку, улыбнулся понимающе:

— Врешь, стало быть.

— Чего? — насторожился Багорыч.

— А того, что нету у тебя никакой внучки. Была бы — показал. Похвастался бы.

— Ах нету? — взревел старикан от пронзительной этой обиды. — Нету, значит? Ах ты, ах… Держи бутылку. Держи, кому говорю! И за мной шагай. Третий этаж, квартира тридцать восемь…

7

— Славный старичок! — улыбнулась Валентина. — Ты чей будешь?

— Ничей, — хмуро пояснил Багорыч. — Бросили его.

— Бросили, значит, — вздохнула Валентина и лысину Касьяна Нефедовича погладила.

Дед Глушков чуть слезу удержал. Давно, ох как давно никто ему слова ласкового не говорил (сосед Арнольд Ермилович, к примеру, по утрам так здоровался: «Ну, дед, ты не помер еще? Давай в ту степь отчаливай, нам жилплощадь нужна»), а уж о том, чтоб приласкал кто, так об этом и мечтать ему было заказано. А тут и слова добрые сказали, и по голове погладили, и накормили, и за столом

кусочек помягче подкладывали. И потому он все время улыбался, чтобы не заплакать.

— Солнечный ты какой-то, — удивилась Валентина. — Давай я тебя дедуней буду звать, а своего законного — дедом.

— Давай, пожалуйста, — прошептал дедуня и рукавом прикрылся, будто пот утирал.

А Валька ему картошку собственной вилкой растолкла, молока подлила, перемешала.

— Ешь, дедуня. Рубашки свои завтра принесешь, я постираю. Ты, дед, проследи, чтоб все исполнил.

— Бу сделано, внучка! — гаркнул Сидоренко и под столом дедуню Глушкова лягнул: а что, мол, я тебе говорил? У кого еще такая внучка найдется? А?.. Не слышу, граждане!

Вот с того вечера и заскребла деда Глушкова думка: как бы что хорошее Валечке сделать (про себя он ее уже иначе и не называл). Ничего придумать не мог и решил по рублю каждый месяц откладывать. Коли до этого он не загнулся, так и теперь не пропадет, так ведь? А через год Валечке подарок сделает за целых двенадцать рублей.

Теперь уж редко кто помнит, что старичье — самый благодарный народ на свете. Погладь их мимоходом, слово ласковое скажи — и они, как

псы, за тобою ходить будут, у порога от любви и нежности сдохнут. Забыли мы в суетливой ежедневности и о ласке, и о благодарности, и о самих стариках. У порога, говорите, от любви и нежности сдохнут? Так они же все равно сдох… Ну да, это самое, а отчего — вскрытие покажет. Вот так-то, уважаемый автор, думайте, что пишете. Какое нынче-то у нас тысячелетье на дворе?

Но, однако, продолжим эту правдивейшую из историй. Остановка нужна, чтобы было от чего шаги отсчитывать; до этого места Касьян Нефедович Глушков брел один, а отсюда уже не в горьком одиночестве. Теперь у него появился верный друг — ругательный старикан Сидоренко — и Валечка. И если до этого жизнь его плелась кособоко, ногу за ногу цепляя, то теперь засеменила бодрой стариковской рысцой.

Коль чем дорожишь, так то и бережешь, и дед Глушков берег те минуты, что мог провести в семье Багорыча. Пуще всего на свете, пуще кондрашки и лютой смерти в одиночестве боялся он теперь потерять Валькину ласку и сидоренковскую дружбу, а потому и не решался часто судьбу испытывать. Тем более что был он созерцателем, а значит, обладал прекрасной способностью упиваться воспоминаниями. И, проведя вечер с

Валечкой, поев из ее рук, ощутив тепло и заботу, шесть дней об этом со слезами вспоминал, часы считая, когда опять пойдет в гости. И вскоре как-то само собой получилось, что днем счастья для него стала среда. И Багорыч с этой средой согласился, и Валентина в этот вечер ужин на троих готовила.

Но тут начались некоторые неожиданности: что-то в том городе стряслось с молоком. То ли недодоили, то ли недохранили, то ли недовезли. Мелочь, конечно, но деда Глушкова эта самая мелочь, прошу прощения, ударила поддых, поскольку напрямую была связана с творогом и кефиром.

— Сквозняк, — сказал Багорыч, великий дока по сельскохозяйственной части. — Раньше погода была, а теперь один климат. Понял — нет?

Столь глубоко в науку дед Глушков отродясь не заглядывал, но спросил все же насчет молока. Мол, климат климатом, а…

— Корма! — с невероятным презрением уточнил Багорыч.

Несмотря на всю тихость, Касьян Нефедович обладал неким шкворнем, который всю жизнь не давал ему согнуться. Шкворень этот срабатывал безотказно, когда кто-либо покушался на душу

деда Глушкова, и тогда пришибленный Касьян Нефедович вдруг становился упрямым и несговорчивым и поделать с ним уже ничего было нельзя. Хоть стреляй, хоть жги каленым железом, хоть живым в землю закапывай — Глушков все едино будет стоять на своем. В этом смысле он был полной противоположностью новому другу, которого жизнь выучила соглашаться именно тогда, когда этого согласия ожидало начальство, хотя во всех прочих случаях Багорыч был криклив, настырен и упрям.

Деды сидели на пустыре, греясь на робком солнышке. По календарю числилось лето, но погоды не было, а был климат, как утверждал старикан Сидоренко.

— Сюда гляди, — сказал он и стал для наглядности рисовать на убитой, заплеванной почве. — Это Земля, понял — нет? А это чего?

— Небо? — сообразил Касьян Нефедович.

— Свод, — важно пояснил Пал Егорыч. — В церкви свод был, в любом строении, только называется крыша. А что будет, если крышу проколупать?

— Дождик, — беззубо улыбнулся дед Глушков.

— Сквозняк! — сердито поправил Сидоренко. — Сквозняк будет, и все тепло утекет к едрене фене.

А что протекет? Ну что протекет?

— Вода?

— Холод протекет, понял? И все выдует. И будет как имеем.

Выложив эту гипотезу, Багорыч утомленно примолк, ожидая, когда она наконец-то дойдет до хилого умишка приятеля. Приятель моргал заморщиненными глазками и ласково улыбался.

— Чего скалишься? — добродушно спросил старикан Сидоренко.

— А творог где?

— Какой творог?

— А которого нет?

— Так сквозняк! — заорал Багорыч. — Дырок много! Выдувает! Климат сплошной, а погоды нет! А коли нет погоды, то и не растет ни хрена, понял — нет?

— Понял, — вздохнул дед Глушков и закручинился: — Надо еще раньше вставать.

Касьян Нефедович и так поднимался рано, а теперь и вовсе выскакивал из дома ни свет ни заря. Опасаясь нарваться на соседа Арнольда Ермиловича (это который каждое утро удивлялся, что дед не помер еще), на кухню не совался, чаю не грел, а жевал хлеб с водою и спешил к магазину. Появлялся он там задолго до открытия, регулярно

оказывался первым в очереди, а вот то, ради чего оказывался, получал далеко не всегда.

— Мне, стало быть…

— Обожди, дед, не до тебя, — объявляла продавщица. — Тут по заявкам. Катя, с тебя три семьдесят, держи. Тоня, это тебе и Марье Петровне. Ириша, принимай, тяжело…

Мимо деда плыли свертки и бутылки, пакеты и сумки. Касьян Нефедович обмирал, как мышь, боясь, что коли взропщет, то и вообще вон вылетит и никогда назад не влетит. И со смирением ждал, когда же кончатся в очереди родные и знакомые родных и знакомых и продавщица спросит совсем иным тоном: «Ну чего тебе? Да не мямли, некогда мне! Кефиру? Ну, дед, ты даешь, не видишь, что ли, не завезли кефиру? Пачку творогу дам, так уж и быть, жалко тебя, беззубого. Следующий!»

8

Каждый день околачиваясь у магазина, Касьян Нефедович так и не поинтересовался, как же зовут продавщицу, хотя с точки зрения полезности стоило поинтересоваться. Тогда бы по утрам приветствовал, шапку с головы скидывая: «Здрасьте, уважаемая. С приветом к вам. А вы все

цветете, все хорошеете покупателям на радость». Бормотал бы чушь собачью, а там, глядишь, на сто тридцать третий раз, может, и признала бы. Может, улыбнулась бы даже: «Что, дед, не помер еще? Ну молоток дедок! Держи кефир, грызи зефир». Не мог он ей слова сказать не потому, что лично ненавидел, а потому, что ненавидел унижение свое, так и не растеряв гордости.

Как звали новоявленную кормилицу, ближайший друг Сидоренко знал очень даже хорошо, потому как именно ей сбывал порожнюю посуду. Но Касьян Нефедович, во-первых, свою порожнюю сдавал в другую точку, а во-вторых, никому про свое трагическое бескефирное существование не говорил. Ну а в-третьих, время свидания у них было разное: Сидоренко появлялся в магазине, когда всякая торговля кефиром давно уж была окончена и начиналась бойкая продажа совсем иного напитка.

— В ей, проклятой, двадцать восемь бульков! — в ажиотаже кричал Багорыч, потрясая чужой поллитрой. — Хошь, не глядя разолью?

Кому кефир, кому эфир — дело, как говорится, хозяйское, но Касьян Нефедович на недостаточной своей диете начал слабеть, потому как натура его привыкла загружаться чем-либо кало-

рийным. То есть как раз тем, чего не было.

— Что ты, дедуня, совсем у меня с лица свалился, — озабоченно сказала Валентина в очередной дедов приход. — И в ручках косточки светятся. Ну признавайся, когда последний раз досыта ел?

— Я… Это…

Два слова горло выдавило, а на большее пороху не хватило: заплакал дедуня. Грубо ревел, неэстетично, с завыванием каким-то и все норовил руку Валькину к небритой щеке прижать. Ослабел и в отчаяние впал, решив, что пережил он век свой и никому, решительно никому уже не нужен.

— Эка делов! — заорал дед Сидоренко, выяснив ситуацию. — Так то ж Лидка Павловна! У ей муж артист, а милиционер в полюбовниках. На мотоцикле с коляской. Да я ж ее… Да она ж мне…

— Вот и обеспечь, — строго сказала Валентина. — А про милиционера молчок, понял у меня? Не тревожь женщину.

— Не надо, — бормотал тем временем Касьян Нефедович. — Не надо мне ничего. Ничего уж не надо…

— Нет, надо! — крикнула. — Ишь разбаловались. Я вас!..

Вопреки обыкновению, Багорыч о Лидке Павловне сказал чистую правду. Был у нее непутевый

муж — спившийся с круга аккордеонист, и доченька, зачатая в хмельном угаре. Лидка Павловна терпела-терпела мужнино пьянство и безделье, больного ребенка и зануду свекровь, да и позволила себе нечастые свидания с жизнерадостным милиционером Валерианом. «Валерианочка ты моя!» — смеялась сквозь слезы Лидка Павловна, лаская гостя в полутемной подсобке. Принимать эту валерианочку приходилось в стесненных условиях, поскольку к свекрови она привести милиционера не могла, а идти к нему в камеру предварительного заключения не решалась. Прятала на полках надувной полуторный матрас, и милиционер Валериан на пороге любовных наслаждений надувал его, наливаясь краской не только от страсти. «Насос бы купила, — укорял он в перерывах между вдуваниями. — Никакого здоровья не хватит».

— Я к ей ключи имею, понял — нет?

Дед Сидоренко был вралем и бахвалом, и Касьян Нефедович делил все его обещания на тридцать три. И здесь разделил, но, к его удивлению, Лидка Павловна приняла сидоренковские разъяснения без всяких делений, с ходу накинувшись на безответного дедуню Глушкова:

— А что ж молчал, что Багорыча друг? На лбу у

тебя не написано, а знать я не обязана. Чего тебе — кефир да творог? Делов-то!

Такая легкость звучала в этом, что Глушков поначалу не поверил. Усомнился. А на следующее утро получил все без всякой волокиты.

Вот так и настроилась прекрасная жизнь: и сытно, и сладко, и весело. Обычно при таком наборе человек быстро забывает, откуда все началось: всем известно, что Волга впадает в Каспийское море, но мало кто помнит, из какого родника вытекает она. Но Касьян Нефедович был так устроен, так запрограммирован (о господи, ну и язык пошел), что не мог об истоке не думать. А истоком тем, родничком с живой водой, к которому припадал он раз в неделю по средам, была Валентина. Валечка, на подарок которой он по рублю в месяц откладывал в коробку из-под мармелада, купленного когда-то внучонку Славику.

9

В естественном увлечении судьбой деда Глушкова повествование наше пошло прямо-таки карьером, и теперь настало время чуть его придержать. Не для интриги, а ради одной только правды, которая, как известно, есть цепь из причин и следствий.

Одна душа в деревне доселе помнила, что жил тут когда-то некий дед Глушков: соседка Анна Семеновна, Нюра. Раз в месяц писала она деду, что жива-здорова, что внучка жива-здорова, что дочка жива-здорова и что корова их тоже жива-здорова. И Касьян Нефедович аккуратно отвечал, поддерживая тоненькую ниточку связи с далекой своей родиной. И добрая старая женщина Анна Семеновна, Нюра молодости Глушкова, и оказалась причиной, породившей вскоре совершенно неожиданные следствия.

Шло время, и через положенный срок у соседа наконец-таки появился долгожданный ребеночек, которого практически мыслящий Арнольд Ермилович рассматривал как наиважнейший аргумент в борьбе за увеличение жилой площади. И коли уж он и прежде не очень-то жаловал деда Глушкова, то теперь окончательно залютовел. Теперь он не только здоровался, удивляясь, что сосед его еще богу душу не отдал, но и прощался тем же манером. От таких приветствий дед бегал со всех своих стариковских ног, как только усекал на горизонте Арнольда Ермиловича. А куда бегать-то, когда на дворе вместо поэтических времен года сплошная осенняя мокрятина? К Багорычу, если он дежурил, к Валечке, если

была среда, и на автовокзал во все остальные дни недели. Дед Сидоренко дежурил по охране казенного телефона в понедельник, но аккурат в воскресенье молодой папа допек несчастного Касьяна Нефедовича до угольной черноты:

— Давай, дедок, собирайся, пока бабка твоя с архангелами не загуляла. Слышишь, как двадцать первый век за стеной орет? Уступи ему дорогу, прояви сознательность.

Тут дед и рванул из дома. Чувствовал, что единственная возможность на сегодняшний день душу в теле удержать — это бежать куда глаза глядят. А глаза дедуни Глушкова в моменты всех жизненных передряг глядели теперь в квартиру номер тридцать восемь, что на третьем этаже. И он стариковским аллюром примчался к этой квартире и, не отдышавшись, сунул пальцем в кнопку звонка.

А дверь открыл неизвестный молодой мужик. Коротко стриженный, гладко бритый, с серыми глазами и без пиджака.

— Вот и еще один дед до пары, — сказал он. — Ты чего такой красный, отец? Гнались за тобою, что ли?

На все эти вопросы дед Глушков не мог издать ни звука, так сильно упыхался. И пока пыхтел, за

широкой спиной незнакомца возник озадаченный Багорыч.

— Кореш это мой, — пояснил он. — Сейчас на дежурство пойдем.

— Так… вроде… воскресенье, — еле выдохнул кореш.

— Сказал, значит, все, — сурово отрезал Сидоренко. — Понял — нет?

— Нет, — покивал Касьян Нефедович. — А где же…

Он имел в виду Валю, но имени ее не произнес, а потому ответа и не получил. Обождал, покуда старикан плащ напялит, и пошел следом.

— Привет, отцы, — сказал неизвестный мужик и закрыл за ними дверь.

Старики шли молча и так шустро, что притомившийся Глушков с трудом держал равнение. А старикан Сидоренко поспешал куда-то форсированным марш-броском, и это особо пугало затюканного Касьяна Нефедовича. Но что-то в насупленном лице Багорыча заставляло дедуню от вопросов воздерживаться.

— Сама за бутылкой побежала, — потрясенно изрек Сидоренко наконец. — Как этого увидала, так и закричала: «Андрюша!»

— Андрей?

— Андрюша, понял — нет? — строго поправил сильно обескураженный таинственным поведением внучки старик. — Ступай, говорит, умойся, а я за бутылкой сбегаю. А мне велела колбасу достать, что к праздникам прятали.

— Стало быть, сегодня у нее праздник, — сообразил дедуня и подавил вздох.

— День мелиоратора сегодня, понял — нет? — не согласился упрямый Сидоренко. — И автоматизация ликвидации тут не подходит, потому как она по своей воле за бутылкой побежала.

— Какая ликвидация?

— И Андреем зовут, — не слушая, продолжал Багорыч: равновесие души его было поколеблено. — «Андрюша, закричала, Андрюша! Ты, говорит, ванну прими, ты, говорит, с дороги ведь. А я, говорит, за бутылкой, а ты, говорит, колбасу достань». А она — для праздников.

На дворе было промозгло, накрапывал дождь, и старики сидели на автовокзале. Воняло прокисшим пивом, которого здесь никогда не было, бензином и людским скопищем, потому что в последний месяц количество рейсовых автобусов уменьшили вдвое, а количество пассажиров уменьшить забыли.

— Может, это, жених он? — тихо-тихо, с пол-

ным сердечным замиранием спросил дедуня Глушков.

— Кто жених?

— Ну этот. Для которого за бутылкой побежала.

— Жених? — с невероятным презрением переспросил Багорыч. — Глупо﷽й ты, дед, понял — нет? Я б знал, понял — нет? Если б жених, я бы знал? Или не знал? Чего молчишь?

— Знал, — сказал кореш и, подумав, добавил: — Или не знал.

— А я его и не знаю, — задумчиво сказал Сидоренко, не обратив внимания на глушковскую интонацию. — Хотя лицо знакомое. Вроде знакомое… Или незнакомое?

Замолчали старики, закручинились, нутром своим натруженным уже предчувствуя, что встреча с этим знакомо-незнакомым лицом означает крутой поворот в их собственной судьбе.

10

Природа распорядилась, чтобы у каждой женщины был свой Адам, но люди постарались так все перепутать, что чаще всего этот Адам оказывается женатым отнюдь не на Еве, живет в ином столетии или прописан в общежитии с монастырским уставом. И каждый год добавляет

путаницы, девушки без любви выходят замуж, молодые люди отдают руку первой же юбке, мелькнувшей на танцплощадке, и суды завалены заявлениями о разводах. После школьных опытов со свадьбами Адамы начинают всесоюзный розыск своих Ев, а Евы экспериментальным путем устанавливают своих Адамов. В этом нет ничего противоестественного, однако известно, как буйно расцветает нравственность, когда отцветает плоть, а посему эти мучительные для ищущих поиски давно заклеймены как упадок нравов. А на деле нет никакого упадка, а есть непреложный закон природы: женщина способна любить только одного-единственного, ей предназначенного мужчину. Кому-то везет, а кто-то обречен в поисках своего единственного перебрать десятки чужих. Но, отдаваясь этим чужим, женщина не растрачивает ни грана своей любви. Она ее изображает, бессознательно сберегая все неистовое пламя свое предначертанному свыше. И когда он приходит, становится неузнаваемой не только для сослуживцев.

— Что же ты не писал, стервец ты? — говорила Валька, и тело ее светилось в сумраке нежностью и любовью. — Паразит ты, ты кровь мою всю выпил, и никто мне теперь не нужен, кроме тебя.

— До чего же ты сладкая, Валька, — утомленно вздыхал Андрей. — Считаю, что все, нашел и искать никого не хочу больше.

— Врешь, поди? Врешь? — обмирая от нежности, шептала она.

— Честно, Валечка. Недаром к тебе прямо с вокзала пришел.

— Прийти-то пришел, а вещички в камере хранения оставить не позабыл.

— Да какие там вещи! Не с Европы же я возвращаюсь.

До сей поры Валька своими друзьями вертела как хотела, а здесь не то чтобы приказать — до сладкой дрожи ждала, что ей прикажут. А он ничего не приказывал, ласкал да целовал, а к ночи сказал:

— Любовь любовью, а съезжаться погодим. Устроюсь на работу, с жилплощадью выясню, а там видно будет.

В любых отношениях наступает предел, за которым люди по-разному понимают одно и то же. Андрей был женат (о чем, естественно, не говорил Вальке и что Валька, естественно, знала), разведен и помянул о жилплощади, надеясь получить в квартире бывшей супруги право на какие-нибудь квадратные метры. Но все, что касалось его

прошлой жены, лежало для Валентины за пределом общего понимания; отсюда начиналось ее понимание, и это личное понимание толковало одно: в однокомнатной ее квартире Андрей не желает жить потому, что тогда их будет трое. Так она его поняла, поскольку знала, что с милым, конечно, рай и в шалаше, но надо же иметь этот отдельный шалаш.

Вот какие разные мотивы породил финал их любовного разговора. Андрей считал, что ясно растолковал причину, и готов был горячо и весело проводить с Валечкой хоть все вечера. А Валентина, готовая весело и горячо проводить с Андреем обязательно все вечера, занозила-таки свое доброе и влюбчивое сердечко довольно опасной занозой, решив, что любимый не переселяется к ней исключительно из-за третьего лишнего. То есть из-за деда Сидоренко. Багорыча.

Мужиком Андрей был компанейским, тут же нашел общий язык с Пал Егорычем и личный — с Касьяном Нефедовичем, и жизнь заструилась еще живее. Правда, поначалу, учуяв неладное, дедуня не явился в среду, проторчав полвечера на знакомой скамейке автовокзала. Полвечера потому, что его разыскал Валечкин дружок самолично. И сел рядом.

— Что, отец, меня, что ль, невзлюбил?

— Нет, — шепотом ответствовал дед, — что ты.

— А чего же к Вальке сегодня не явился? Всегда по средам как штык, понимаешь, а сегодня хильнул. Валька решила, что заболел, отца к тебе наладила, да он ни с чем и вернулся. А ты вон где.

— Да, — сказал Касьян Нефедович. — Тут я. Народ кругом.

— Народ, значит, любишь?

— Люблю.

— А мы разве не народ? И мы народ. Вот и пошли к нам.

И привел дедуню Глушкова. И все встало на свои места, только Валентина куда чаще деда своего теперь гулять отправляла. И дед клал в карман будильник, заряженный на три часа вместо двух.

А дожди лили уж совсем беспросветно, ветры рвали последние клочья тепла, и солнце поглядывало на землю испуганно, будто из-за угла, будто запрещено ему было поглядывать. Короче говоря, над всей землей, по словам Багорыча, бушевал климат и погоды не было ни в одном государстве. При таком положении и бессердечный хозяин пса на улицу выгнать не решился бы. Даже если

на той улице и числилась среда.

— Ну вот что, — сказала старикам Валентина, предварительно долго препиравшаяся с Андреем. — Дед, доставай книгу.

— Книгу? — озадаченно переспросил Сидоренко, покосившись на дедуню Глушкова.

— Давай-давай! — прикрикнула внучка. — Оба рядышком садитесь, в книжку носом. И ты, дед, для дедуни вслух читай, пока не скажу.

— Не надо бы, Валя! — с досадой крикнул Андрей. — Я лучше завтра зайду.

— А я сегодня хочу! — отрезала хватившая три рюмки Валентина. — И стесняться тут нечего, тут — жизнь. Верно, дедуня?

— Верно, — покорно согласился ничего не понимавший Глушков.

— Умница. — Валечка нежно чмокнула дедуню в розовую лысину. — Тогда садитесь, как велела.

Деды уселись в кухне за стол спинами к комнате и лицами в окно. И Пал Егорыч деловито раскрыл книгу. Никчемный сверхплановый дождишко тоскливо тарахтел в стекло, отсчитывая мгновения, и мгновения эти тянулись для Касьяна Нефедовича как погребальные дроги. Не был готов он к такому искусу, не собрал сил своих духовных, а потому и не оценил молодого счастья

за старческими плечами. Даже монотонный, как пономарь, Багорыч заметил транс, в который впал кореш. Перестал бубнить, толкнул плечом:

— Жизнь это, понял — нет?

— Жизнь, — подтвердил Глушков, и две жалкие слезинки дробно стукнулись о страницу.

Не одному Касьяну Нефедовичу неуютно было в тот вечер. Дед Сидоренко к этакому был привычен, а Валька, буйно празднуя взрывы собственной страсти, искренне полагала, что все вокруг должны радоваться ее счастью и что прятать тут абсолютно нечего. Но Андрей ощущал некоторое смущение, а потому пришел на кухню с початой бутылкой.

— За нашу Вальку, отцы. Хорошая она баба, и вы на нее не серчайте.

— Внучка в меня вся, понял — нет? — ненатурально взбодрился Багорыч, ощутив в руке стакан. — Мировая она, понял — нет?

Он шумел и суетился, а дедуня молчал. И Андрей, поддакивая деду Сидоренко, чувствовал какую-то вину именно перед Касьяном Нефедовичем.

— Это точно, что мировая, — говорил он. — Остальные там придуриваются, изображают чего-то, а Валька наша ничего не изображает.

Она вся — как есть, как в натуре.

— Правильно! — кричал Багорыч. — Она вся в меня, хоть знак качества ставь. Счастье тебе подвалило, парень, сильное счастье.

— Подвалило, — согласился Андрей, опять поглядев на деда Глушкова. — Знаешь, как в тюряге посидишь, так это особо ценишь.

— В тюряге? — Сидоренко похмурился, соображая. — Ты погоди-погоди, какая такая?

— Нормальная. Я, отцы, четыре года в общей колонии отбухал. Хищение государственного имущества. Каток для асфальта на спор с завода угнал.

Про это старики ничего не знали. Даже дедуня маленько очухался и поглядел на Андрея с испугом. Но и здесь промолчал.

— А-а… — протянул Пал Егорыч. — Страшно, поди?

— Да чего же там страшного? — усмехнулся парень. — Крыша над головой имеется, жратва три раза в день. Ну, баня, кино.

— Кино? — поразился Багорыч. — Преступникам — и кино?

— Нормально, как у людей. А в воспитательной части телевизор есть. Олимпиаду смотрели, за «Спартак» болеем.

— За «Спартак»?! — Багорыч вскочил, повертелся в тесной кухоньке и опять сел. — Нет, скажи, что врешь. Скажи, что врешь, а?

Вот в этом месте Глушков и подал впервые голос. Сказал с горечью:

— Молодым везде хорошо.

11

С этого вечера Касьян Нефедович стал задумчивым. Он всегда был тих и безответен, но теперь эти качества приобрели некий новый ракурс, будто дед сменил созерцание жизни на попытку ее осмысления. Но то ли этот процесс был для него непривычен, то ли мыслей никаких не возникало, а только о результатах он не говорил никому. Просто смотрел задумчивыми телячьими глазами, молчал, и неизвестно было, скажет ли чего вообще. А у соседа в ответ на его: «Ну как, дед, насчет свиданьица со старухой?» — спросил вдруг:

— А коли б жилплощадь была, так еще бы ребеночка родили? Или побоялись бы?

Арнольд Ермилович поперхнулся, прокашлялся и признался:

— Двоих.

Спохватился, что по-человечески ответил, забормотал про архангелов, но дед уж и не слушал

его.

— Счастливые, которые с детьми. Очень счастливые. — Вздохнул, надел шапку. — Двоих, значит, обещался. Это хорошо. — И пошел мимо онемевшего соседа на улицу.

Друга он нашел на пустыре, где было ветрено и сыро. Но Багорыч к тому времени принял семь полулубульков в оплату за стакан и гордо не замечал продырявленного климата. Физиономия его горела несогласием, кепку он тискал в единственной руке и норовил встать на асфальтовую глыбу, но ноги с этим не соглашались.

— Ворюгам — кино, а заслуженному человеку… Нет, это надо у милиции справиться.

Милиция звалась Валерианом и должна была прибыть на мотоцикле по окончании торгового дня. Услышав рев мотора и накинув три часа, деды вышли наперехват. И вскоре действительно показался Валериан.

— Баб много, а я один! — с невероятным торжеством объявил он.

Старики не дали ему развить эту тему, тут же поведав о рассказе Андрея.

— Чудаки старики! — радостно засмеялся Валериан, легкий после чудных мгновений, как олимпийский мишка. — А гуманизм?

— Чего? — переглянулись приятели.

— Гуманизм! — Он важно поднял палец. — Пояснить?

— Пояснить, — попросил дедуня Глушков.

— Гуманизм — это что такое? Это поддержка слабого, — неторопливо и вразумительно, чтоб дошло до стариков, начал Валериан. — При царе, скажем, или при капитализме какой закон действует? Закон джунглей, понятно? А у нас какой? Закон гуманизма. Разницу улавливаете?

— А я слабый? — спросил Касьян Нефедович.

— Ты? — Милиционер внимательно осмотрел щуплого — и в чем только душа трепыхалась! — дедуню и сказал: — А это пока неизвестно.

— А когда известно? — допытывался Глушков. — Когда, это, с почетом понесут?

Милиционер огорченно вздохнул и с досадой покрутил круглой, как футбольный мяч, головой.

— Действие совершить надо, действие! Это ихний гуманизм бездейственный, а наш — действенный. Советский гуманизм в действии — читали в газетах? Ох, и темные же вы, деды!

Завел мотоцикл и уехал.

— Глупой! — заорал Багорыч, когда мотоциклетный грохот затих в дальних кварталах. — На-

болтал и уехал. И не объяснил ведь!

— Объяснил, — тихо сказал дедуня Глушков, посмотрев на друга телячьими глазами. — Все он объяснил. Действие нужно, понял? Действие.

12

Действие зреет долго, и чем старше человек, тем медленнее оно зреет, путаясь в усталой душе, блукая в сумерках размышлений, то представляясь ясным, то вдруг ныряя в беспросветный туман прожитого. Тогда дед Сидоренко, громко поминая всех угодников, спешил за своими законными полубульками, и дедуня Глушков оставался один. Тоскливо бродил по улицам и переулкам в бессознательной надежде встретить Валечку, а если случалось это, без оглядки семенил прочь. И все было ладно, да как-то отнялись ноги у Касьяна Нефедовича. Забастовали и отказались унести его в закоулок.

— Ты чего тут, дедунь?

Дедуня молча пристроился сбоку, тщетно пытаясь попасть в такт летящей женской походке. Валька что-то говорила, но он не слушал — глядел под ноги и семенил. А потом сказал:

— Истинную правду скажешь мне?

— А когда это я тебя обманывала?

— Теперь что соврать, что правду сказать — все одно, разницу утеряли. А ты вспомни, что есть разница, вспомни, а?

— Чудной ты какой-то, дедуня. Не захворал?

— Разница есть, Валечка, — шепотом сказал он. — Коли б я в Бога верил, мне, может, много бы легче было, но безбожный я. Безбожный человек.

— Ничего я не поняла, — строго сказала Валентина, останавливаясь. — Что натворили? Говори сейчас же.

Дед Глушков помялся, посопел, пряча глаза. А потом глянул в упор, с духом собравшись, и спросил:

— За Андрея пошла бы?

— Ох, побежала бы!..

— А чего ж не бежишь? — Он подождал, но Валька только неуверенно улыбнулась. — Потому не бежишь, что дед твой Пал Егорыч вам мешает. Не спорь, не спорь, не надо, я ему ни полсловечка не скажу, а только давай сегодня всю истинную правду. Уморился я без нее. Уморился.

— Может, квартиру разменяем, — безнадежно вздохнула она. — Если Андрея к бывшей его жене пропишут.

— Да, — вздохнул и дедуня. — Умирали б мы вместо пенсии…

Грызла тоска стариков. Точила как червь, неутомимо и невидимо; Багорыч с нею полубульками боролся, ерничеством да показной разудалостью, а Касьян Нефедович по улицам бегал. Кружил по поселку, по новым микрорайонам, расширял свои кольца, точно надеялся запутать, замотать тоску свою. И однажды вышел к почтамту. Шел дождь, и старик вошел в здание и сел у стола, где граждане писали письма. Посидел, подумал, а потом попросил вдруг лист бумаги, взял ручку и неуверенно, на каждой букве спотыкаясь, начал: «Добрый день вам, Анна Семеновна, дорогая Нюра…» Думал, что долго будет писать, что, может, совсем не напишет даже, но письмо написалось одним махом и почти без помарок. Вывел адрес, опустил в ящик и пошел искать Багорыча.

Багорыч на спор на троих не глядя разливал, на полубульку зарабатывая. Дед Глушков отобрал у него бутылку, сунул ее владельцу и повел приятеля в сторону. Приятель орал и вырывался, а дед сказал:

— С этим кончено, увожу я тебя отсюда. Как только подтверждение придет, что примут нас.

— Куда это? Где это? — обижался Багорыч. — Мешаешь все, вредный ты старик!

Через неделю пришел ответ. Длинный и мно-

гословный, а если пересказать, так шесть слов: милости просим, Касьян Нефедович и Павел Егорович.

— Ну вот, — вздохнул дед Глушков, прочитав Багорычу письмо. — Ждут нас там, значит, за нами дело.

— Хорошая женщина, — потрясенно признался Сидоренко. — Сколько лет?

Дедуня глянул укоризненно. Сидоренко засмущался и стал ковырять грязь ботинком.

— Не порть обувь, — строго сказал Касьян Нефедович. — Жизнь наша меняется, и всякие глупости надо из нее выкинуть.

До сего дня, даже до сей минуты крикливый Сидоренко решал за деда Глушкова, куда тому идти и что делать. А тут Глушков командовал, и Багорыч послушно кивал, изредка уточняя: «Ясно. Понятно. Бу сделано». Не потому, конечно, что ехал в глушковские места, а потому, что эта очень простая и всем подходящая мысль родилась у Касьяна Нефедовича. Пал Егорыч признавал право первородства.

— Выпивать если придется, то по праздникам. Мужиков разливать по булькам не учи, они и без этого того. Пенсии все до копеечки Нюре отдавать будем, и по дому все делать, и…

— По грибы ходить будем, — деловито вступил Багорыч. — И Вальке сушеных пришлем. А еще насчет работы. Непременно надо нам на работу устроиться, и тогда мы денег подкопим.

— Зачем это? — подозрительно осведомился дедуня.

— А Вальку с Андреем к себе пригласим! — воскликнул Сидоренко, чрезвычайно обрадованный этой идеей. — А когда ребеночка родит, так нянчить его станем.

— Правильно, — согласился Касьян Нефедович. — Теперь что делать. Первое: никому ни слова, а то не пустят. Второе: выпишусь я с жилплощади. Третье: ты с работы уволишься. Четвертое: билеты…

Три дня беготней были заняты до предела: выписывались — совещались, увольнялись — совещались, билеты покупали — опять совещались. А когда все общие дела были исполнены, кончились их совещания: с прожитым человек прощается один на один.

— Дед, побежала я! — жуя на ходу (по утрам она всегда опаздывала), прокричала Валентина.

Обычно Сидоренко ей из кухни отвечал, а тут вышел, прислонился к косяку и глядел молча.

— Ты что это, дед?

— Сказать вышел, что… — Багорыч дернул головой и отвернулся. — Чтоб осторожней шла, подморозило.

— Допрыгаю, — беспечно ответила внучка. — До вечера, дед!

И дверью хлопнула. Дед постоял, шагнул вдруг, ткнулся лицом в ее старое пальтишко и замер. Только плечи вздрагивали. Потом утер лицо и пошел собирать свои вещи. И первой в чемодан положил книжку «Автоматизация ликвидации отходов».

А Касьян Нефедович в то утро встал спозаранку и, взяв из заветной мармеладовой коробки сэкономленные пять рублей, побежал искать прощальный подарок. Да не сообразил: все магазины были еще закрыты, — и дедуня устремился к рынку. А на входе окликнули:

— Отец, купи цветы. Посмотри, какие цветы! Как в крематории, понимаешь.

Молодой черноусый протягивал Глушкову совершенно немыслимый букет. Все на букет заглядывались, и даже огромная, как колесо, кепка продавца светилась от этого букета. Но дедуня отмахнулся и поспешил за чем-либо ценным. Проспешил десяток шагов, умерил аллюр и остановился. Потоптался, назад повернул и опять

будто нечаянно мимо тех цветов протопал. И опять. И — еще раз. И — остановился.

— А сколько?

— Как из уважения, для тебя только — два червонца.

— Двадцать рублей?!

Отчалил старик. Несуразную цену назвали, и оттого, что цена была несуразной, цветы понравились ему еще больше. Отошел, выгреб из кармана остатки пенсии, сложил с заветной пятеркой, и вышло шестнадцать рублей. Зажал их в кулаке.

— А дешевле нельзя?

— Назови свою цену, уважаемый. Там посмотрим.

— Шестнадцать рублей у меня всего.

— Только из уважения. Только из личного уважения, понимаешь…

Дед Глушков нес старательно упакованный в газету букет двумя руками, как икону. Занудный червячок сосал его, что зря он деньги убухал, что завянет вся эта красота и ничего от подарка не останется. Но дед упрямо спорил, утверждая, что останется. Валечкина радость останется. Так с червяком и цветами и вошел он в квартиру.

— Ты живой еще, дед? — удивился Арнольд

Ермилович: он на работу собирался. — А как же старуха твоя с архангелами?

— Уезжаю я, — сказал ему Глушков. — Вы двух ребеночков обещали, а я вчера из квартиры выписался. Можете занимать, только вещи возьму.

— Касьян… — растерянно забормотал сосед. — Николаевич…

— Нефедович я, — грустно усмехнулся старик. — Только просьба к вам — цветы эти за меня передать.

— Передам, — тихо сказал Арнольд Ермилович, взял букет и сел на стул, точно ноги у него ослабли.

Завозился Касьян Нефедович, забегался, и теперь приходилось поспешать. Вещи загодя были уложены, дед второпях выпил кефир, подхватил барахлишко свое и вышел в коридор. Хотел к соседям заглянуть попрощаться, но там громко плакала жена и что-то бубнил Арнольд Ермилович. Дед поклонился их дверям и побежал.

В целях конспирации решено было на вокзале встретиться. Багорыч мог быть уже там, и старик припустил прямо от подъезда. Да недалеко.

— Глушков! Дедушка!

Касьян Нефедович остановился: к нему почтальонша спешила.

— Телеграмма вам. Распишитесь.

«Анна Семеновна умерла. Хоронили вчера».

Старики сидели в зале ожидания. По лицу Касьяна Нефедовича все время текли слезы, и он не знал, что сделать, чтобы они не текли. Он словно съежился, усох вдруг, маленьким совсем стал, и Багорыч легко обнимал его единственной своей рукой.

— Это ничего, ничего, это бывает. Смерть у каждого есть, что уж тут. Жалко, конечно, Нюру, хорошая женщина, но ты держись, друг, вдвоем ведь, не пропадем. В Сибирь поедем, на это… на БАМ. Там люди нужны.

— Никому мы не нужны, — прошептал дедуня. — Никому.

— Врешь! — сердито крикнул Багорыч: теперь он стал старшим и главным, но не ерепенился, как всегда, а говорил серьезно и увесисто, как отвечающий за двоих. — Бани, к примеру, есть у них? Я банщиком могу, а ты…

Компания молодая шла мимо. Шумная, с гитарой. Девчушка в потертых брюках остановилась вдруг, присела перед ними.

— Вы чье, старичье?

Ласково спросила, обеспокоенно. Но тут парни ей крикнули:

— Наташка, поезд уходит!

И она убежала.

— Ничье мы старичье, — тихо сказал Глушков и вздохнул. — Ничье.

— Неправда! — строго нахмурился Сидоренко. — Ты мой теперь, понял? Ты мой, а я — твой, и не пропадем. Мы с тобой еще…

— Вот они где! — крикнул знакомый голос. — Тут они, Валя! Нашлись, слава тебе…

Валька с лету упала рядом, чуть скамью не перевернув. Стукнула одного, стукнула второго — зло, больно — и заревела. Андрей стоял рядом, усмехался:

— Ну, отцы, с вами не соскучишься.

— Окаянные! — закричала наконец-то Валька, да так, что весь зал ожидания вздрогнул. — Черти окаянные, мучители мои! Ну что выдумали, что? Марш домой, пока не простудились, возись тогда с вами! Дед, бери дедуню под руку, ослаб он совсем.

Старики покорно шли к дверям, сзади Андрей нес вещи. Валька шагала впереди, всхлипывая и бесцеремонно расталкивая встречных. А у самого выхода обернулась.

— Спасибо тебе, дедуня. Мне еще никто в жизни цветов не дарил, ты первый.

И засмеялась вдруг. Слезы текли по щекам, а она смеялась весело и звонко. И, глядя на нее, улыбались хмурые пассажиры. А Андрей, хохоча в голос, на часы посмотрел, замолчал и вещи на пол поставил.

— Захвати барахлишко, Валя, магазин закрывается. Надо же еще одну раскладушку купить…

Я думаю о сказках детства. О царевнах-лягушках и Иванах-царевичах, о счастливых чудовищах и несчастных красавицах, о добрых голодных мальчиках и объевшихся пряниками злых купеческих дочках. В них всегда торжествовала справедливость, порок был наказан и все в конце вздыхали с облегчением.

Пусть дети всегда вздыхают с облегчением, но жизнь страшнее любой сказки. Не умирала Анна Семеновна, Нюра далекой юности Касьяна Глушкова. Жива она и здорова, просто дочь ее на телеграфе работает. Вспомнили?

1980

Иванов катер

Вечерами в маленькой поселковой больнице тихо. Бесшумно скользнет по коридорчику сестра, разнося градусники. Прокряхтит сухонькая старушка, да скрипнет дверь за мотористом с «Быстрого», выходящим покурить в холодные сени.

А сегодня тишина нарушилась тяжелыми шагами врача, беготней сестер, тревожным скрипом носилок.

Моторист выскочил в коридор:

— Никифорова с Иванова катера в операционку повезли.

— Утоп!.. — ахнула бабка.

— Нет, бабка, за борт свалился…

За разговорами не заметили, как по коридору мимо палат прошли двое; один прихрамывал, крепко налегая на палку.

Он был немолод. От хромоты в левой ноге чуть сутулился и при ходьбе привычно выносил вперед правое плечо. Морщины избороздили до черноты загорелое лицо, и особенно много их набежало возле глаз, словно человек этот всю жизнь смотрел против ветра.

Он шел, стараясь без стука ставить палку, а впереди беззвучно летела девчонка-сестра, от бьющей через край энергии выворачивая по-балетному носки матерчатых тапочек. У операционной остановилась:

— Посидите.

Боком скользнула в дверь, а он осторожно присел на краешек стула, поставив между ног палку.

Как все здоровые люди, он был чуть напуган больничной тишиной: стеснялся сесть поудобнее, скрипнуть стулом, поправить сползавший с плеча тесный халат. Стеснялся своего здоровья, стоптанных башмаков из грубой кожи и тяжелых рук, сплошь покрытых ссадинами и порезами.

— Иван Трофимыч?.. — Моторист опять вылез в коридор.

— Петр? — шепотом удивился Иван. — Ты чего тут?

— Аппендикс вырезали, — не без гордости сообщил моторист, садясь рядом. — Флегмонозный.

— С Федором-то беда какая… — Иван вздохнул.

— А что случилось?

— Запань у Семенова лога утром прорвало. Не знаю, откуда вода пришла, а только рвануло троса, и понесло лес в Волгу. А тут — ветер, волна. Треск стоит — голоса не слышно. Ну, все кто куда:

с лесом не пошутишь.

— Ай-яй-яй!.. — опечалился моторист. — И много ушло?

— Да нет, немного. Аккурат мы воз навстречу вели, к «Немде» цеплять. Пиловочник сплошь, двести сорок метров. Ну, увидал я: лес в лоб идет…

— Буксир топором да к берегу! — сказал моторист. — Затрет бревнами — «мама» сказать не поспеешь.

Иван улыбнулся.

— А я по-другому рассудил. Плот только сплочен, троса добрые, а ширина в этом месте невелика: развернул, корму в Старую Мельницу сдал — там камни, уязвил прочно. А катерок свой за мысок спрятал. Знаешь, где малинники?

— Ну?

— Ну и сдержал лес, не пустил в Волгу-то, на простор.

— Ишь, сообразил! — завистливо вздохнул моторист. — Премия, поди, будет, благодарность…

— Благодарность, может, и будет, а вот помощника уж не будет, — вздохнул Иван. — Как ударило нас первой порцией — троса запели, а Федора на бревна сбросило. Выловили, а рука на жилах висит.

— Оклемается, — уверенно сказал моторист. — Мужик здоровый. Да и доктор молодец: меня пластал — любо-дорого.

Стемнело, когда из операционной вышел доктор. Увидев его, моторист трусливо юркнул в палату. Скрипнув стулом, Иван встал навстречу, но доктор опустился рядом, и Иван, постояв немного, тоже присел. Он стеснялся начинать разговор, а доктор молчал, медленно разминая в пальцах папиросу.

— Перелом позвоночника, — сказал он, прикурив и глубоко затянувшись. — Скверное дело, капитан.

— Долго пролежит? — тихо спросил Иван, плохо представляя, что это значит.

— Всю жизнь. — Врач курил жадно, изредка разгоняя рукой сизые клубы дыма. — Всю жизнь, капитан, какая осталась…

— Трое детей… — невольно вырвалось у Ивана.

— Что?

— Трое детей, — повторил Иван и опять встал. — Старшему — двенадцать, не больше…

Доктор молчал. Вспышки папиросы освещали его осунувшееся лицо и капли пота на лбу.

— Рыбки можно ему?

— Рыбки? — переспросил врач. — Фруктов хо-

рошо бы. Витамины, понимаешь?

И опять замолчал. Иван постоял немного и, тихо попрощавшись, похромал к раздевалке.

В раздевалке он сдал халат и в обмен получил потрепанный рабочий пиджак. Пожилая гардеробщица полюбопытствовала насчет Никифорова, и он сказал ей, что дело Федора плохо и что у него трое детей. Гардеробщица, вздыхая и сокрушаясь, отперла уже по-ночному заложенные двери, и он вышел на темную окраинную улицу поселка.

Он привычно свернул вниз, к пристаням, но, пройдя немного, остановился. Посмотрел на часы и, быстро перекидывая палку, враскачку зашагал по узкой крутой тропинке от угла и громко постучал палкой по запертой калитке.

Сквозь надрывный собачий лай послышался сиплый со сна голос:

— Кого нелегкая?

— Это я, Бурлаков. Открой, Степаныч, дело к тебе.

— На место, дармоед!.. — В щели чуть приоткрытой калитки показалась осанистая фигура. — Что за дело?

— Яблоки у тебя есть, Степаныч?

— Яблоки?.. — Хозяин неожиданно тоненько

захохотал. — Какие тебе яблоки в июле, старый пень?

— Понимаешь, Никифоров в больнице. Доктор фрукты велел…

— В больнице?.. — Хозяин задумался. — В больнице — это другое дело. — Он распахнул калитку. — Шагай, Трофимыч. Осторожно, приступочка тут.

Вслед за Степанычем Иван поднялся на крыльцо и прошел в темные сени. Хозяин щелкнул выключателем; голая лампочка осветила просторное помещение, заваленное плетеными корзинами, мешками и ящиками.

— Фрукт — великое дело. — Степаныч выволок из угла дырявый мешок, развернул: на дне лежали битые зеленые яблоки. — Первый урожай. Сам бы ел, но ради такого дела…

— Кислятина, поди.

— Ты что? Папировка, первый сорт. Глядико… — Хозяин взял яблоко и начал с хрустом жевать его, причмокивая от удовольствия. — Восемь килограмм, хоть на безмене прикинь.

— Почем же?

— Ну, как для больного — по рублю.

— Круто берешь, Степаныч…

— Первые ведь, от себя отрываю.

Иван молча отсчитал деньги, взвалил на плечо мешок. Хозяин вел его к калитке, по инерции расхваливая уже проданный товар:

— Витаминов в этих яблоках — вагон! У меня вон детсад закупает, прокурор для больной жены. Сила яблоки: сорт особый… Счастливо, Трофимыч! Заходи, если что. Тебе — в первую очередь…

По крутой тропинке Иван спустился к пристаням и сразу увидел плакаты с броской надписью: «Герои нашего затона». Героев узнать было бы невозможно, если бы художник не подписал каждый портрет: «Капитан Иван Бурлаков», «Помощник капитана Федор Никифоров», «Матрос Елена Лапушкина». Все трое сурово глядели вдаль…

Катера стояли за полузатопленной баржей. Они были одинакового размера, формы, убранства, одинаково освещались сигнальными фонарями, и только на самом дальнем совсем по-домашнему сушилось на веревке белье.

Иван спрыгнул на катер, громыхнув по железной палубе костыльком. На шум из рубки выглянула худенькая молодая женщина в выгоревшем ситцевом платье; голова ее была повязана полотенцем.

— Вы, Иван Трофимыч?

— Ты чего это в полотенце?

— Голову мыла. Как Федор?

Он присел, вытянув натруженную ногу, закурил и рассказал, что говорил доктор и как он заходил к Степанычу за яблоками.

— Плохо, Еленка.

— Шесть душ кормил, — вздохнула она. — Шесть душ, сам седьмой…

— Сам седьмой, — повторил Иван, упорно разглядывая огонек папиросы.

Они опять замолчали. Еленка стояла, по-бабьи пригорюнившись, опустив худенькие плечи, чуть прикрытые легким платьем, а он неторопливо курил, по привычке держа папиросу огнем в ладонь.

— Кого-то вместо Федора пришлют, — не то спросила, не то сказала она.

Иван бросил папиросу за борт, поднялся:

— Пойдем в кубрик. Застынешь.

По железному трапу они спустились в тесный низкий кубрик. Четыре дивана окружали небольшой, прикрепленный к полу стол; три из них были застланы. В углу возле трапа размещалась вделанная в железный шкаф печурка; остывая, она изредка потрескивала. В противоположном

углу был шкаф для одежды и еще один маленький подвесной шкафчик, в котором хранились судовые документы, ведомости, бинокль и прочее ценное имущество.

От недавно истопленной печи в кубрике было душно. Иван снял пиджак и палкой открыл потолочный люк. Свежий воздух ринулся вниз, а Иван с беспокойством оглянулся на Еленку:

— Не надует?

— Нет. — Она ловко поворачивалась в тесном проеме между печуркой, кухонным столиком и трапом, готовя ужин. — Я уж и постирать успела, и помыться, и обсохнуть, пока вы ходили.

Большими ломтями она нарезала черный хлеб, подала соль, пучок зеленого луку, ложку и большую эмалированную миску, доверху налитую густой ухой. Он взял было ложку, но посмотрел на Еленку и отложил:

— А ты что же? Или не голодна?

— Не хочу, — сказала она. — Вы кушайте. Не знаю, горяча ли уха.

— В самый раз, — сказал он и начал есть, а она села напротив и подперла подбородок рукой.

Они вообще говорили мало, а за едой не говорили никогда, потому что еда не была для них развлечением. Еленка просто молча глядела, как

неторопливо и старательно он ест, как аккуратно подставляет под ложку ломоть хлеба, чтобы уха не капала на стол и чтобы ей было меньше хлопот с уборкой. Она любила смотреть на него, когда он ел: в ней появлялось уютное чувство хозяйки, заботливо кормящей главу семьи после тяжелого трудового дня, и тогда тесный кубрик казался просторным домом, бревенчатые стены которого веками источают смолистый дух…

Иван вытащил из миски большую разваренную рыбу и стал есть ее, выбирая кости.

— Хорошего Федор подъязка поймал… — начал он и, поняв, что ест сейчас, пожалуй, последний улов, который выпал на долю его помощника, сказал: — Яблоки Федору отнесешь в больницу. Я утром к домашним его зайду, а оттуда — в контору: надо нового помощника искать.

Потом он вылез на палубу покурить, а Еленка убрала со стола и вымыла яблоки, заботливо вытерев каждое. Ей хотелось надкусить одно, почувствовать во рту кислый до оскомины сок, но она только понюхала их и сложила в сшитый из старой наволочки мешок.

Покончив с хозяйством, она разделась и легла. За тонким бортом чуть слышно плескалась вода, а в кубрике было так тепло и привычно, что она

почти сразу же уснула и не слышала, как Иван с грохотом запирал на ночь тяжелую дверь рубки.

Иван легко засыпал в любом месте — будь то узкий диван кубрика или колючий лапник фронтовых привалов. Спал без сновидений и всегда на правом боку, но сегодня никак не мог уснуть.

Глупо и обидно, что человек, как бы силен он ни был, не может предотвратить беду. Стоять бы Федору на шаг правее борта сегодняшним утром — и спокойно храпел бы он сейчас на соседнем диванчике. Всего на шаг правее. На полшага…

Он тяжело заворочался, но, боясь разбудить Еленку, сразу притих: молодые любят спать, им это полезно.

Еленка… Две женщины в его жизни, но первую не стоит вспоминать. Первая родила ему Сашка, а любви не было, и вышло ни то ни се, ничего не вышло, если говорить честно. И правильно, что отдал он тогда жене дом, а себе взял новый костюм да ордена, которые надевал три раза в год: на праздники и в День Победы. Очень правильно, хоть и бобылем оказался уже в возрасте, когда у других — и дети, и радость, и место за столом, которого никто не займет. А она вроде бы счастлива теперь, и то ладно…

Расчесал ты, Иван, старую болячку: зуд по всей

душе пошел. Покурить надо. Покурить, проветриться — и забыть.

Иван спустил ноги с чуть вздохнувшего дивана. Ощупью нашел штаны, накинул на плечи пиджак и, растопырив руки, пошел к трапу. Нащупал поручни и полез в рубку, с силой подтягивая тело. В рубке разыскал старые галоши (Еленка в них мыла палубу, когда было жарко и железо нагревалось так, что босиком и не ступишь), не смог в них влезть и, громыхнув-таки дверью, вышел на палубу.

Небо было в тучах, звезд не видно, а луна еще не народилась. Иван присел на крышу моторного отделения и закурил.

Вода чуть слышно плескалась о борт. Она плескалась всегда — днем и ночью, в штиль и шторм, но он слышал этот плеск только по ночам, если случалось не спать. А в остальное время просто исключал его из сознания, как городской житель исключает грохот трамваев. А ночью любил слушать…

Замерзнув до озноба, он бросил окурок, запер дверь рубки и осторожно спустился в черноту кубрика. Нырнул под одеяло, и пружины дружно вздохнули под его тяжестью. Натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.

Он открыл их, вдруг почувствовав, что Еленка стоит рядом.

— Проснулась?

— Я давно проснулась, — сказала она. — Я слышала, как вы ворочались и вздыхали.

— Надо спать, — сказал он, невольно притягивая ее к себе. — Надо спать, а то что мы завтра за работники будем…

Он почувствовал, как губы касаются его щеки: она никогда не целовала его, а только касалась губами, смешно вытягивая их. Он повернулся на бок, и она быстро юркнула под одеяло.

— Зачем вы по железу босиком ходите?..

Они любили друг друга молча. Ни разу ни одного ласкового слова не расслышал Иван и тоже молчал, про себя выдумывая ей самые нежные прозвища…

Было еще совсем темно, когда Еленка шевельнулась.

— Что так рано? — спросил он.

— Лифчик у меня сохнет, — сказала она, и он понял, что она улыбается. — Рассветет — мужики смеяться начнут: что, мол, за сигнал поднят на Ивановом катере?

Она чуть коснулась рукой его лба, и он с сожалением отпустил ее. Он всегда отпускал ее с

сожалением: слишком уж коротки были летние ночи.

Утром, пока Еленка готовила завтрак, он достал из носового трюма пять больших лещей: он сам наловил их, сам солил, сам коптил на можжевельнике так, что кожа их даже в сумерки светилась теплым золотистым светом.

— Никифоровой, — сказал он, поймав удивленный взгляд Еленки. — Скажу, что Федорова доля осталась.

— А Сашку?

Иван помолчал, нахмурился. Буркнул под нос:

— Обойдется Сашок без рыбки.

Они позавтракали вчерашней ухой, напились чаю и сошли на берег. Еленка свернула наверх, к больнице, а Иван, зажав под мышкой пакет с лещами, похромал вдоль причалов, здороваясь с каждым встречным.

Дом Никифоровых стоял с края берегового порядка. Федор поставил его прошлым летом, получив за два года стажировочные и взяв ссуду в конторе. Иван все время думал об этой ссуде, но надеялся, что теперь начальство либо скостит долг Никифорову, либо, на худой конец, растянет его на много лет…

Он хорошо знал этот дом: Федор часто пригла-

шал капитана то на дочкины именины, то на рождение сына. Иван покупал тогда бутылку водки, а Еленка надевала синее шерстяное платье. Хорошие это были вечера…

Он толкнул тяжелую дверь и вошел в дом. За дощатой перегородкой, отделявшей жилую комнату от маленькой прихожей, слышался громкий обиженный плач.

— Паша!.. — окликнул Иван.

Плач стал сильнее, но ответа не последовало.

— Есть кто живой? — спросил Иван, все еще не решаясь без приглашения идти в комнату.

— Я живой, — недовольно ответил мальчишеский голос, и на русской печи задвигалось что-то похожее на худой, обтянутый штанами зад. Зад этот, вильнув, попятился к приступочке, и Иван наконец разглядел Вовку — старшего отпрыска Никифорова рода.

— Здравствуй, дядя Иван, — степенно сказал Вовка, подавая левую руку, так как в правой он держал шерстяные, домашней вязки женские чулки.

— Чего Оленька кричит?

— Развивается. — Вовка сел на пол и стал надевать чулки на худые исцарапанные ноги. — Может, артисткой будет: орет больно здорово.

Чулки были велики, но Вовка не обращал на это внимания, деловито прикручивая их к тощим икрам специально припасенными веревочками.

Поняв, что толку от Вовки не добьешься, Иван аккуратно вытер ноги о половичок и прошел в комнату. В углу на неприбранной кровати кричал ребенок, приваленный подушкой. Увидев Ивана, ребенок сразу перестал орать и улыбнулся, показав два крохотных зуба.

— Ну что, Ольга, орешь? — спросил Иван, снимая с нее подушку. — Мокрая небось?

Он развернул девочку, переменил простынку и вновь уложил Ольгу на место. Девочка пускала пузыри и улыбалась, крепко держа Ивана за палец.

— Она кормлена? — спросил Иван.

— Кормлена, — сказал Вовка. — Бабка кашу варила.

Остатки каши были разбросаны по столу. Там же стоял чугунок, грязные тарелки и хлеб.

— А где бабка?

— В церкви. Пошли они с дедом в церковь и Надьку с собой увели.

— А мать?

— В больнице. Еще не рассвело — побежала. Все равно к папке не пустят, чего бежать?

Вовка вошел в комнату. Кроме бабкиных шерстяных чулок на нем были надеты тяжелые башмаки.

— Ты чего это в чулки вырядился?

— Это теперь не чулки, — сказал Вовка, любуясь собой в зеркало, подвешенное на стене. — Это теперь гетры, дядя Иван. Гетры — футбольная форма.

Иван посмотрел на него, сказал серьезно:

— Плохо с отцом-то, Вова.

— А чего плохо-то? Чай, не утонул: отлежится.

— Эх, глупый!.. — Иван с сожалением и очень стесняясь высвободил палец из детского кулачка. — Рыбу я там принес. Сунь ее в подпол.

Вовка нехотя пошел исполнять поручение. Пока он, сопя и вздыхая, громыхал тяжелым люком, Иван собрал грязные тарелки, смахнул со стола, прикрыл хлеб и чугунок с кашей кухонным полотенцем.

— Ты бабки дождись или матери, футболист, — сказал он, когда Вовка вернулся. — Ребенка одного не оставляй.

— А что ей сделается? — недовольно спросил Вовка. — Я ее подушкой привалю, чтобы не ползала и не убилась.

Из разговора было ясно, что Вовка уже все про-

думал и спорить с ним бесполезно. Поэтому Иван начал издалека:

— Ты вроде рыбачить со мной собирался?

Вовка мгновенно повернулся к нему.

— Когда пойдем?

— Когда?.. — Иван испытующе посмотрел на него. — Три условия тебе ставлю: посуду помыть, воды в бачок натаскать и Ольгу не оставлять. Выполнишь?

— Выполню, — вздохнул Вовка.

— Завтра в семь приходи к катеру. Знаешь, где стоим?

— Знаю! А чего брать? У меня и на верхоплавку есть, и закидушка…

— Снасть будет полная. Пальтишко захвати.

— Так тепло. Лето.

— Леща пойдем брать, Вова. А лещ, он ночью ловится, в тишине. — Иван положил руку на нечесаную, добела выгоревшую голову мальчишки и подумал, что здорово решил насчет рыбалки: значит, часть улова можно будет свободно отдать Вовке как долю в общем труде.

— Все сделаю, дядя Иван, — говорил Вовка, провожая его к дверям. — Посуду помыть — раз, воды натаскать — два, Ольгу не оставлять…

— Да, вот еще. — Иван остановился. — Мате-

ри скажешь, чтобы сегодня же в отдел кадров с паспортом пришла. Со своим паспортом, не забудешь?..

Иван шел назад легко и быстро. Все же удачно начался день: и с Вовкой он справился, и насчет рыбалки придумал, и вовремя, очень даже вовремя вспомнил, что Паша Никифорова нигде не работает. И только досадное обстоятельство портило настроение: как же это можно идти в дом, где малые дети, и не захватить с собой кулек карамелек?..

На крыльце приземистого одноэтажного дома, где размещался отдел кадров, сидел рослый парень, сбив на затылок помятую форменную фуражку с треснувшим серебряным «крабом». У ног его стоял потрепанный чемоданчик, к ручке которого был лямками привязан плотно набитый солдатский вещмешок. Темные масляные пятна окрасили мешок в грязно-черный цвет: видно, хозяин швырял его где попало. Флотские брюки парня, зауженные согласно столичной моде, тоже были в пятнах и потеках, зато белоснежная рубашка сияла ослепительной чистотой; в вырезе ее виднелись неправдоподобно синие полосы новенькой тельняшки.

— Откуда будешь, парень? — спросил Иван.

— Снизу, — равнодушно ответил парень.

— Горьковский?

— Почти что угадал.

— А чего здесь сидишь?

— Начальство документы изучает…

Он вдруг цепко, искоса глянул на Ивана.

— Говорят, у вас плавсостав укомплектован под завязку. Верно?

— Кто его знает, — уклончиво сказал Иван. — Вроде бы нет…

— Значит, в лапу ждет! — Парень выругался. — Либо на пол-литра рассчитывает.

Начальник отдела кадров получил на фронте штыком в живот и с той поры ел одну манную кашу с молоком.

— С дизелями знаком? — спросил Иван.

— Судовой механик… А что?

— Посиди пока. Узнаю, — сказал Иван и мимо парня прохромал в отдел кадров.

Начальник отдела кадров был худ и черен, как ранний грач. Иван давно знал его: еще до войны вместе ходили в клуб водников на танцы.

— Здорово, герой затона. — Улыбка у начальника пряталась в глубоких морщинках, и о существовании ее догадывались немногие. — Сразу могу обрадовать: начальство премию вам

отгрохало.

Иван промолчал.

— И еще одно, уже по секрету. Сегодня местком заседать будет насчет твоего катера. Полагаю, решат присвоить имя, Иван Трофимыч. Большая честь тебе оказывается.

Раньше не было такого порядка: мелкие суда шли под номерами, крупным наименования присваивали либо на судоверфи, либо приказом по пароходству. А как выбрали в бюро Володьку Пронина, так все пошло иначе. Сумел Володька начальству внушить, что имя для судна почетней благодарностей, и присвоил месткому право решать, кто этого почета достоин.

— Только пока — ни гугу, — сказал начальник. — Будет приказ, будет и оркестр. — И опять собрал возле рта морщины, запихал в них улыбку и спросил: — Рад?

— Рад, — вздохнул Иван и закурил, стряхивая пепел в ладонь, потому что начальник курящих не жаловал и пепельниц не держал. — Рад-то рад, Николай Николаич, только кто дает, тот и отбирает.

— А ты оправдай.

— Так ведь не посуху ходим, а по воде. — Иван улыбнулся, потом помолчал, показывая этим, что

шутки кончены, и сказал серьезно: — Ты вот что, Николай Николаич, ты жену Федора Никифорова оформи матросом ко мне на катер.

Начальник с удивлением посмотрел на Ивана.

— Трое детей, Николаич. На Федорову пенсию не потянет.

— Жалостливый ты больно мужик, Иван Трофимыч, — с неудовольствием сказал начальник.

— Надо, Николай Николаич. Был я у них: надо.

Начальник только вздохнул.

— Ладно. Пришли ее сегодня с паспортом.

— Сама придет: я Вовке, сыну ее, наказал.

Начальник пометил что-то в календаре, усмехнулся:

— В начале навигации ты обязательство брал сократить экипаж с пяти до трех человек. Было такое?

— Было, — сказал Иван. — При толковом помощнике вполне можно обойтись без моториста и второго матроса.

— А теперь сам второго матроса просишь. Некрасиво получается.

— Утремся, — сказал Иван. — Напишу заявление, что погорячился и без второго матроса обойтись не могу. Ну, ругнут меня на партсобрании, а Паша Никифорова каждый месяц полсотни

получать будет. Правильно или неправильно?

— Правильно вообще-то, — согласился начальник. — Продавай свою рабочую гордость за полста рублей.

— Ничего, — улыбнулся Иван. — Не такой уж я гордый.

— Ну, договорились, — сказал начальник. — Второй вопрос: кого вместо Федора?

— Вместо Федора?.. — Иван встал, подошел к окну, выбросил пепел с ладони. — А что за парень у тебя на крыльце сидит?

— Не советую, Трофимыч, — поморщился начальник. — Ой не советую.

— Почему?

Начальник придвинул лежащие с краю стола документы, раскрыл трудовую книжку.

— «Прасолов Сергей Павлович, — читал он, изредка поглядывая на Ивана. — Специальность — судовой механик, холост…» Подходит?

— По всем статьям.

— Погоди. — Начальник перевернул несколько страниц и с выражением прочел: — «Уволен из Саратовского грузового порта десятого июня сего года по собственному желанию…» — Он отложил книжку и посмотрел на Ивана.

— Ну? — спросил Иван, ничего не поняв.

— Парень в середине навигации по собственному желанию ушел. Спросил я его, что же это за желание такое: бросить Саратовский порт и к нам в глухомань приехать? Смеется: у вас, говорит, невесты на всю Волгу славятся.

— Может, человек веселый.

— Веселый?.. Это ведь пишется только, что по собственному желанию. Не первый год кадрами заведую: знаю. А что там у него на самом деле было — поди вон к тетке Авдотье да погадай.

— Значит, неправду в документах пишут?

Начальник досадливо поморщился:

— Есть, Иван Трофимыч, правда, а есть — истина. Против истины мы ни на волос не согрешим: дело это святое... — Он вздохнул. — Сколько у тебя матросов вместе с Никифоровой будет?

— Два.

— Правильно: зарплата — двоим, а палубу драить — одна Елена. Так?

— Ну?

— Так где же она, правда-матушка?

— А-а... — Иван улыбнулся. — Подкусил!

— Вот так и в нашем деле, — со вздохом сказал начальник.

Он замолчал и снова стал придирчиво изучать трудовую книжку судового механика Прасолова.

— А вдруг — не так? — сказал Иван и встал. — Вдруг ты ошибаешься, Николай Николаич? Вдруг он и вправду по собственному желанию уволился и к нам приехал с дорогой душой, а мы…

— Сомневаюсь, — сказал начальник.

— А я не могу человека загодя плохим считать, — с непривычной горячностью сказал Иван.

— Значит, хочешь брать?

— Беру. Опыт у него есть?

— Достаточный, — сказал начальник. — Он вон и по Енисею навигацию проплавать успел… Ладно, Трофимыч, гуляй себе на катер, прибирайся, а парня я пришлю. Только помни: я тебя по дружбе предупредил, и чтобы потом…

— Ничего потом не будет, — сказал Иван и, пожав сухую, всегда горячую руку начальника, вышел из отдела кадров.

Парень сидел на старом месте, только возле ног прибавилось окурков. Он встретил Ивана спокойным взглядом серых холодных глаз и чуть заметно усмехнулся.

— Катер возле затопленной баржи причален, — сказал ему Иван. — Как оформишься, приходи не мешкая. Катер номер семнадцать, запомни.

Парень вскочил, хотел что-то сказать, но из

окна крикнул начальник:

— Прасолов!.. Ну-ка, зайди!..

Прасолов подхватил вещи, шагнул к крыльцу. В дверях остановился.

— Спасибо, капитан! С меня — пол-литра!..

С яблоками Еленка обернулась быстро: дежурила знакомая девчонка и без разговоров взяла мешочек. Впрочем, Никифоров считался тяжелым, лежал в отдельной палате, и доктор, вопреки обыкновению, пустил к нему жену еще до завтрака. Все эти новости сестра выпалила Еленке и ушла.

От больницы Еленка спустилась к рынку, купила мяса и, завернув его в припасенную газету, пошла на катер.

Поставив вариться мясо, Еленка переоделась и принялась за уборку. Открыв люк в кубрике, выколотила диваны, вытащила наверх одеяла и подушки. Потом достала швабру и, надев на босу ногу галоши, принялась с ожесточением скрести маленькое суденышко.

— Чего расстаралась, соседка? — спросила с ближайшего катера пожилая женщина-матрос. — До Ноябрьских далеко…

— Да я так. — Еленка почему-то смутилась и отвечала, не поднимая лица. — Все равно пока

без работы стоим.

— А Никифоров как?

— Не видала я его, родных только пускают. Девчонка там знакомая работает, говорит, плохо, мол.

Вопрос любопытной соседки — нет, не о Никифорове, другой, — застал Еленку врасплох. Еще вчера она и не думала об уборке, но сегодня на борт должен был вступить кто-то посторонний, и ей хотелось по-хозяйски блеснуть чистотой, порядком и сытным обедом.

Где-то в глубине души она хотела, чтобы неизвестный оказался молодым и веселым, но думала об этом робко, словно тайком от самой себя, потому что и для нее и для Ивана куда было бы проще, если бы он был местным, имел на берегу дом, семью и все связанные с этим интересы. Такой человек не мог нарушить установившийся на катере порядок, и жизнь не требовала бы ни перемен, ни ухищрений. Все текло бы своим чередом — даже ее редкие ночные свидания с Иваном…

Размышляя об этом, она выдраила до блеска старый катерок и спустилась вниз, где на крохотной печурке кипел обед. Она успела только приподнять крышку, как на палубе гулко грохнуло, катерок качнуло и незнакомый голос громко

спросил:

— Разрешите войти?

Она поспешно накрыла кастрюлю, вытерла руки и, старательно оправив платье, с опозданием крикнула:

— А кто там?

И полезла наверх, заранее смущаясь, потому что голос был насмешливым и молодым. Еще из рубки — сквозь стекло — она увидела рослого парня с чемоданом и вещмешком.

— Здравствуйте, — очень тихо сказала она.

— Привет, хозяйка. — Парень в упор разглядывал ее серыми глазами. — Будем знакомы: Прасолов Сергей Павлович.

— Лапушкина, — сказала она и, стесняясь, подала руку ковшиком, на мгновение. Потом спросила: — К нам, значит?

— К вам. — Он поймал ее взгляд, улыбнулся вдруг, как выстрелил: — Как вахта идет, товарищ Лапушкина?

От прямого, вызывающего взгляда, от вопроса, сбивающего на игривый, неравноправный тон, Еленка совсем сникла и, пробормотав что-то, торопливо спустилась в кубрик. Здесь она опять принялась за обед, все время с непонятной тревогой прислушиваясь к шагам над головой. Зная,

каким звоном отзывается каждый шов палубы, она безошибочно определяла, что он делает там, наверху: тонко взвизгнула плохо смазанная петля носового люка, скрипнула дверь рубки, грохнул пол машинного отделения.

Парень грохотал по-хозяйски, не стесняясь, не спрашивая, что где лежит. Тяжело взревел двигатель, катерок мелко затрясся, но Сергей не выключал ход, а придирчиво гонял старенький мотор на всех оборотах, выслушивая каждый цилиндр. Он больше не беспокоил ее и не выходил из машинного отделения. Заглушив движок, звякал ключами, изредка что-то насвистывая. Даже когда пришел Иван, не вылез навстречу, а гулко крикнул снизу:

— Капитан, спуститесь-ка!..

Иван ушел к нему, и они долго не появлялись. Еленка сготовила обед, накрыла на стол, а их все не было, только голоса неразборчиво гукали в звонком трюме да дважды взревел запущенный двигатель.

Они спустились вместе — умытые, с розовыми, натертыми полотенцем лицами.

— Ну, я же сразу сказал, что в пятом цилиндре палец люфтует! — почему-то очень радостно говорил Сергей. — И форсуночки проверить не грех:

подача паршиво отрегулирована, для дяди…

— Обедать, — сказала она, то снимая, то снова накрывая кастрюлю крышкой. — Стынет.

— С мясом! — улыбнулся Иван. — Ну, Еленка, расстаралась ты сегодня.

— Что же я! — крикнул Сергей и кинулся на палубу.

Он тут же вернулся с мешком и чемоданом.

— Для первого знакомства. — И со стуком поставил на стол бутылку водки.

— Это ты, парень, зря, — сказал Иван. — У нас закон: только по праздникам.

— Я, капитан, законы соблюдаю. — Сергей зубами надорвал пробку. — Ты что, матрос, два стакана ставишь?

— Выпей с нами, Еленка, — сказал Иван. — За знакомство.

Они выпили, и Сергей с Иваном завели длинный разговор о двигателе, который следовало бы перебрать, о работе, которую невозможно спланировать, о простоях и премиальных, переработках и выходных, и Еленка вскоре совсем освоилась, потому что новый помощник не обращал на нее никакого внимания.

— Вот ты говоришь: смесь богатая, — сказал слегка захмелевший Иван. — Ладно, богатая. Так.

А есть резон регулировать? Есть резон экономить? Нету такого резона, потому что тут не об экономии думать надо, а наоборот: куда лишнее горючее деть.

— Много? — спросил Сергей.

— Две тонны вот тут. — Иван похлопал себя по шее. — Движок старый, масло жрет в три горла, а кто с этим считается? Нормы единые — по отношению к топливу. Вот и приходится из-за масла нормы завышать: пишешь «сто моточасов», а на самом-то деле хорошо, если полсмены отработал.

— Да и самому, наверно, не без выгоды, — усмехнулся Сергей. — Ты, капитан, не хмурься: нам теперь в одном кубрике щи хлебать.

— Катер наш на побегушках, и платят нам повременно, — сказал Иван, закуривая. — Просто глупость получается, вот какое дело. И не хотел бы, а сам собственной рукой каждый месяц моточасы приписываю, иначе без масла останусь.

— А если назад, на нефтянку сдать? Мол, излишки?

— За излишки, парень, хлестче бьют, чем за перерасход.

— Да, капитан, тут повертишься! — засмеялся Сергей. — Ладно, что-нибудь сообразим: докажу, что не зря ты меня на крыльце подобрал… — Он

прошелся, хлопнул по железному ящику в углу. — А что же музыка не работает?

— Перегорела музыка, — сказал Иван. — Надо бы радиста.

— Считай, что нашел. — Сергей подсел к приемнику. — Я на флоте кем только не был... — Он свинтил барашки, снял крышку: обнаружилась затянутая паутиной пустота. — А где же передатчик? Или не выдавали?

— Выдавали, — улыбнулся Иван. — В начале навигации все выдают — и приемник и передатчик. Приемник мы берем: известия послушать или музыку, а передатчик снимаем и — обратно на склад. Мороки с ним уйма, ответственность, а радистов на весь затон — два человека.

— Темные вы люди! — не то шутя, не то серьезно сказал Сергей. — Подай-ка мне, матрос, отвертку да батарейку с наушниками. В чемодане они.

Еленка не сразу поняла, что он обращается к ней: так запросто, походя прозвучала эта просьба.

— Подай, что просят, — сказал Иван. — Значит, разбираешься? Золотые, видать, руки.

— А это поглядим — золотые они или оловянные.

Работать он умел: не суетился, не ошибался в

инструменте, не тратил силу там, где нужна была сноровка. Простучав с помощью батарейки цепи, нашел сгоревшее сопротивление, опять послал Еленку за какой-то коробкой, разыскал в этой коробке нужную деталь и кое-как, временно, поставил ее на место.

— На соплях, — улыбнувшись, пояснил он. — Раздобудь паяльник, матрос, сделаю намертво.

Иван недоверчиво хмыкнул, но Сергей тут же поймал «Маяк». В динамике что-то потрескивало, но слушать было можно.

— Вот и вся беда, — сказал Сергей, навешивая щитки на работающий приемник.

Они долго слушали музыку. Сергей попытался было подсвистывать, но поймал недовольный взгляд Ивана, замолчал и слушал дальше уже серьезно. И Еленке понравилось, что он поглядывает на Ивана с уважением, не выпячивает своих привычек, а подлаживает их под жизнь того кубрика, в котором ему теперь и спать, и щи хлебать…

Как только концерт кончился, Иван поднялся, щелкнул выключателем.

— Теперь полчаса объяснять будут, почему музыка хороша. Подай-ка костылек, Еленка.

Еленка подала стоявшую у трапа палку, спро-

сила:

— Далеко ли собрались?

— Стариков надо проведать. — Иван глянул на Сергея. — Айда с нами, а?

Пошли втроем. Иван с помощником шли впереди, говорили о работе, о рейсах, о глубине судового хода и мелях, обозначенных по всему плесу сухими жердями. Разговор был серьезным, и Еленка не решилась их окликнуть, задержавшись у ларька. Купила конфет старухе в гостинец, а потом долго бежала следом, потому что шли они широко и, увлеченные разговором, не заметили, что она отстала. Догнала возле баржи-такелажки, да и то потому, что Иван остановился.

— Гляди, парень, вот в этих хоромах настоящие волгари живут, потомственные, — сказал он, указывая палкой на старую, замшелую баржу. — Здесь теперь склад такелажный, а хозяин — шкипер, значит, — с хозяйкой жилье себе оборудовал. Утеплил, ну, печку я им сложил, и — живут!

— А зимой?

— И зимой тоже. Прежде на брандвахту переселялись, а теперь не хотят. Приросли к этой барже, как чага к березе. Да и то, деваться старикам особо некуда: было два сына — война забрала, а дочь в

городе Ленинграде живет, замужем. Ну, и опять же в Ленинграде вода другая, а тому, кто на Волге вырос, это не все равно.

— Скотинка у них тут, — улыбнулась Еленка. — Кот Васька, собака Дружок да коза Машка. Невелик зоопарк, а есть каждый день просит.

— Люди они старые, а значит, с чудинкой, — сказал Иван. — Ты учти это, Сергей.

— Будет сделано, капитан. Не у бабы-яги росли, понимаем…

Иван первым ступил на хлюпающие сходни, и, как только чмокнули они под его тяжестью, тотчас же настороженно тявкнула собачонка.

— Свои, Дружок, свои! — крикнула Еленка, проходя вслед за Иваном на баржу.

Собака подошла, ткнулась в ноги Еленке, обнюхала Сергея и, степенно помахивая хвостом, проводила до тяжелой двери. Иван стукнул в дверь палкой, приоткрыл, крикнул в сумрак коридорчика:

— Можно, хозяева?

Никто не отозвался, но они, не задерживаясь, прошли этот коридорчик, и Иван постучал в следующую дверь — такую же тяжелую, срубленную, вероятно, еще в прошлом веке.

— Кого бог несет? — донесся из-за двери скри-

пучий старушечий голос, показавшийся Сергею неприветливым.

При этих словах Иван распахнул дверь и посторонился, пропуская Еленку и помощника.

Они вошли в кухню, крохотную из-за громоздкой русской печи. В кухне стоял тяжелый корабельный стол, который не дрогнул бы и от десятибалльного шторма, и такие же, рубленные топором, лавки.

У квадратного оконца сидела сухонькая, чистенькая старушка с черными, живыми и, как опять показалось Сергею, недобрыми глазами. Строго поджав губы, она молча смотрела на них.

— Здравствуй, Авдотья Кузьминична, — сказал Иван и подал старухе руку. — Вот нового помощника привел для знакомства.

— К чаю поспели, — сказала старуха, сунув Сергею жесткую, как наждак, ладонь и расцеловавшись с Еленкой. — А познакомиться — еще познакомимся: до ледостава далеко.

Сказавши это, она отвернулась и начала доставать из стенного шкафчика граненые стаканы.

Еленка осталась помогать ей, а мужчины прошли в комнату; в проеме вместо двери висела ситцевая занавеска. Здесь стояла кровать с множеством подушек, платяной самодельный шкаф,

дерматиновый диван, несколько стульев и стол — точная копия того, кухонного. За столом сидел грузный, в седых космах старик и читал толстую растрепанную книгу. При виде вошедших он аккуратно заложил книгу листочком и снял круглые железные очки.

— Здорово, капитан, — сорванным голосом сказал он. — Слыхал уж и про беду твою, и про удачу.

Старик крепко пожал им руки, они сели, и Иван спросил с удивлением:

— Что сипишь-то, Игнат Григорьич? Простыл?

— Да вот… — Старик покашлял, покосился на занавеску, помял пальцами большой, заросший седой куделью кадык. — Должно, так…

— Где там! — крикнула из кухни старуха. — Напился в Петров день да все песни играл, как молодой!

Старик смущенно крякнул, но спорить не стал. Закурил предложенную Иваном папиросу, глянул на Сергея выцветшими, но еще по-молодому пристальными глазами:

— Волгарь?

— Саратовский.

— Или там работы нет?

— Работа везде есть, — осторожно ответил

Сергей.

— Посторонитесь-ко, — сказала Еленка, внося кипящий самовар.

Она поставила самовар на стол, опять пошла на кухню. Старик крикнул вдогонку:

— Мать, а мать, пошуруй-ка в шкапчике!..

— Шурую, — отозвалась старуха. — Ты уж тут так прошуровал, что и глядеть-то не на что.

— Не надо, Игнат Григорьич, — поспешно сказал Иван. — Не хлопочите.

— Твое дело, Ваня, гостевое, — сказал шкипер, вставая. — А нам для знакомства обычай велит.

Он прошел на кухню. Сергей ударил кулаком в ладонь, зашипел:

— Неладно получается, капитан. Старики, понимаешь, шуруют, а мы… Давай я сбегаю?

— Ох, напрасно все это! — вздохнул Иван. — Не к месту, не ко времени… Да и не достанешь уже: закрыто.

— Это я-то не достану? — улыбнулся Сергей. — Засекай время, капитан…

В дверях он столкнулся со шкипером: старик торжественно нес четвертинку:

— Такой, стало быть, нынче улов, мужики… Ты куда это, парень?

— Четверть часа поскучайте, — сказал Сергей

и вышел.

Он вернулся быстрее, чем обещал: вошел красный, запыхавшийся, но довольный. Молча поставил на стол бутылку, сел слева от шкипера.

— Выпить захочется — так и парилка не нужна, — улыбнулся старик.

Стол был уже накрыт: сопел самовар, стояли стаканы, соленая щука, вяленый лещ, грузди прошлогоднего засола — уже склеенные, пожухлые, моченая брусника, отварные, крепенькие — одна к одной — сыроежки в уксусе.

— Все теперь на вино горазды, — сказала старуха. — Что мужики пьют да бабам подносят — это неудивительно, а вот что бабы пьют да мужикам подносят — это уж совсем на удивление.

— Вот я тебе, мать, и поднесу, чтоб меньше удивлялась, — улыбнулся шкипер и налил старухе на донышко граненого стакана. — Ну, гости дорогие, выпьем, как говорится, за хлеб да за сено, за пол да за стены, за мышку, за кошку, за нашу дворняжку да за козу Машку.

Мужчины выпили, а женщины только пригубили и тут же отставили стаканы подальше.

— Кушайте, гости дорогие, — сказала старуха и, отломив корочку хлеба, стала жевать ее передними уцелевшими зубами.

Еленка ухаживала за ней, выбирая кусочки помягче и повкуснее. Авдотья Кузьминична принимала эти знаки внимания с царственной невозмутимостью.

— Мы с тобой на той неделе по чернику пойдем, — сказала она. — Как, Иван, отпустишь матроса-то?

— Да какая тебе черника сейчас! — засмеялся шкипер. — Ноги убьете да комаров покормите — вот и вся добыча.

— Сегодня у нас что? — спросила Авдотья Кузьминична и сама же важно пояснила: — Сегодня у нас семнадцатое, по-старому — день Андрея Наливы и память иконы Божьей Матери Ганатской. Через четыре дня — Казанская. А на Казанскую, считай, так: поспела черника, поспела и рожь. Зажинки в старину начинались, песни по вечерам молодежь играла, и хороводы водили в поле.

— Это же когда было-то, мать? — улыбаясь, спросил шкипер. — Это тогда было, когда мы еще без химии жили. А теперь все смешалось и календарь твой недействительный.

— То не мой календарь, а Божий, — строго сказала старуха. — Земля по Божьему календарю творит.

— Ну, насчет приметы это верно, — сказал

старик, сдаваясь. — Коли черника, то и рожь. Это верно.

— А насчет леща какая примета, Игнат Григорьич? — спросил Иван. — Пообещал я, понимаешь, Никифорову мальчонке…

— Лещ вообще-то берет, — сказал шкипер. — Однако жара стоит, звон в воздухе, а он этого не любит. В глубину ушел, к стрежню поближе. Попробуй с плотов, что против Никольских островов зачалены.

— А на приваду что?

— Кашку свари покруче: пшенку либо перловку. Анисовых капель добавь маленько, чтобы дух по воде шел. А червей я тебе дам.

Червей старик разводил сам в железном ящике, подсыпал им мучицы и спитого чаю, раз в два дня поливал разведенным молоком. Черви у него росли крупные, вертлявые, ярко-красные — один в один, не в пример бледным и тощим обитателям супесных берегов.

— Давай, мать, за молоком завтра навостряйся, — озабоченно сказал старик. — Пятые сутки червей одним чаем потчую.

— А что же Машка-то ваша? — спросила Еленка. — Или забастовала?

Старуха горестно вздохнула, а шкипер засме-

ялся:

— Тю-тю наша Машка! Продали мы Машку-то свою. Аккурат в Петровки и продали.

— Продали?.. — ахнула Еленка. — Да как же так?

— Расскажи, мать. Повесели гостей! — смеялся шкипер.

— Смеху тут немного, — вздохнула старуха. — А дело было так. Задумала я козленочка поиметь…

— Это она задумала, она!.. — хохотал шкипер. — Не Машка, Трофимыч, а она!

— Да будет тебе, — отмахнулась старуха. — Ну, покормила я свою Машку, почистила, причесала — ладненькая такая козочка стала, аккуратненькая. Григорьич ей рюмочку поднес — заиграла моя Машка, как молодая: копытцами бьет, глаз имеет, трепещет вся. Ну, думаю, быть мне с козленочком. Привела ее на пункт, фельдшеру предъявила. Осмотрел ее фельдшер, огладил. «Давай, говорит, Кузьминична, с богом на святое дело. Сейчас, говорит, Борьку приведу». Отвел он меня во дворик, указал, куда Машку привязать, а сам ушел. Привязала, стою. Обошлось, думаю, не углядел фельдшер, что Машка-то ровня мне будет, если по козлиному веку считать. Только это я порадовалась, фельдшер козла вводит, Борь-

ку то есть. Глянула я: батюшки светы, бугай! Ну, чистый бугай: грудь колесом, рога как оглобли и землю копытом роет. «Не мешай ему, — говорит фельдшер, — Кузьминична: дело он свое знает, породы знатнеющей, только, говорит, с норовом, паразит». Впустил он, значит, его, а сам пошел: дела, мол. Ну, я стою, жду. И Борька стоит. И Машка моя вздыхает, ножками перебирает, глаз на меня косит: перепугалась, видать. Машенька, говорю, касаточка, не бойся, говорю. Он, говорю, только с виду такой архаровец, а так — козлик как козлик. Только это я сказала, Борька вдруг фыркнул этак насмешливо, подскочил да как с разгона даст Машке в бок. Машка — и ножки кверху, а он, паразит, развернулся да этим же манером мне в зад рожищами-то своими! Я и с копыт долой. Валяемся вместе с Машкой в пыли, а он отошел в сторонку и ровно смеется над нами. Поднялась я: пойдем, говорю, Машка, домой. Видно, говорю, стары мы с тобой стали: фельдшера еще обмануть можем, а уж козлов этих чертовых…

— Разобрался козел-то! — весело кричал старик. — Сразу, брат, и разобрался, и меры принял!..

— Вот и решили мы Машку продать, — вздохнула старуха, не обращая внимания на шумную

веселость мужа. — В Петров день и продали. Наревелась я, как веревку-то из полы в полу передавала, а этот, — она кивнула на шкипера, — только водку глотал да песни орал с радости.

— С горя, мать, с горя! — сказал шкипер. — И мне Машку жалко, но обновление в жизни должно быть.

— Неужели продали? — тихо спросила Еленка, все еще не веря.

— Уговорил, — опять вздохнула старуха. — Неделю балабонил: телка, говорит, купим.

— Телок-то получше будет, — сказал вдруг Сергей.

— Да, — сказал старик, закуривая, — коза — ту хоть газетами корми, а коровке сенцо подавай.

— Ну, вот и на попятный, — пригорюнилась Авдотья Кузьминична. — Ну, ровно чуяла я…

— Будет, мать, у тебя телок, будет, — сказал шкипер. — Я от своего слова сроду еще не отказывался. А что сено теперь дороже молочка, так это тоже надо учесть.

— Без коровушки и дом не дом, а так, общежитие, — тихо сказала старуха. — Ты вот, Еленка, не понимаешь этого, а когда зимой-то стоит она за стеной да вздыхает, до того тепло на душе становится, до того радостно… Это ведь скотина

добрая, незлобивая, а уж такая ласковая, такая привязчивая, что и человек рядом с нею ровно оттаивает. И уж не о суетности мирской, а о вечном думает, о добром…

— Христианка ты у меня, мать, — улыбнулся шкипер. — Чуть что — сразу по Писанию.

— Крестьянка, — строго поправила старуха. — Крестьянка я, Игнаша, крестьянская дочь.

— А ты, Игнат Григорьич, с колхозом насчет сена не говорил? — спросил Иван. — Может, столкуешься: выделят деляночку. А с покосом мы тебе всегда поможем.

— Покос не вопрос, да осока в цене высока, — улыбнулся шкипер. — Тыщу лет деды наши осоку эту с низин выводили, а мы ее обратно единым махом.

— Как это так? — спросил Сергей.

— Просто, парень: пойму затопили. Все заливные луга, все низиночки да ложки🔲 под воду ушли, а остались одни косогоры, где сроду ничего, кроме бурьяна, и не росло.

— Да, убили красу, — вздохнула старуха.

— Странные это рассуждения, — сказал Сергей. — Много чего, конечно, жалко, но не это же главное. Главное — электроэнергия. Энергия, а не цветочки в девичьи веночки. А потом — чего

старое-то жалеть? Отгуляло и — не брыкайся!..

— О сегодняшнем дне все стараемся, — перебил шкипер. — Сегодня купить на рупь пятаков, а завтра — хоть трава не расти. Так?

— Не так! — резко сказал Сергей. — Энергия — это и сегодня, и завтра, и вообще… Красоты не будет, да? Ну, этой не будет, так другая будет, велика ли важность.

— Ладно, отложим красоту. — Шкипер надел очки и достал книгу, которую читал до их прихода. — Парень, я вижу, ты деловой, и красота тебе — как безногому валенки. Давай и мы по-деловому рассудим. Знаешь ли ты, парень, что такое луг вырастить? Не год на это уходит, не сто лет — тысяча. Тысячу лет люди луга эти пестовали, кочкарник да лютик всякий на нет сводили, кусты корчевали, болота сбрасывали. И лугам цены не было, и скот нагуливался тут такой, какой сейчас только на выставке и увидишь. Теперь же луга эти под воду ушли карасям на утеху, низины позатопило, и всего в приплоде имеем одну осоку да болотный мох.

— Ежи пропали, — сказала вдруг старуха. — Раньше ежей в лесу было — тьма-тьмущая, а теперь совсем пропали.

— Сырость, — подтвердил старик. — Боровая

дичь да зверье начисто из этих мест ушли. А лес с ними сжился, они ему помогали, он их кормил. А сейчас что будет? Утка тебе семян не разнесет — для этого белка нужна, глухарь, тетерев. И с этой стороны лесу — полный карачун, и через сотни лет внуки наши одну сплошную ольху вдоль всей Волги увидят — там, где на нашей еще памяти мачтовые сосны шумели.

— Да все устроится, — сказал Сергей. — Ну, напортачили, конечно, это есть, а панику поднимать не стоит. Сейчас в наших руках техника, атом, химия — все исправим, дайте срок!..

Старик угрюмо молчал.

— Домой! — сказал Иван и встал. — Спасибо вам, хозяева, за хлеб-соль, за ласку…

Ночь выдалась черная, звездная, густая. Ивана чуть пошатывало, и Еленка вела его под руку. Сергей шел сзади, сунув руки в карманы. В сонной тишине тяжело ударил запоздалый жерех.

Разбудили их рано: в четвертом часу гулко загрохотало над головой:

— Эй, хозяева, к диспетчеру на полных оборотах!..

В кубрике было еще темно. Еленка сидя натянула платье, соскочила на холодный пол. Иван уже возился наверху, открывая задраенные на

ночь люки.

— Видать, в Красногорье пойдем, — сказал он. — Туда пораньше надо, пока плотами ход не заставили. Отдавай чалку, Сергей.

Сергей спрыгнул на баржу, отпутал разлохмаченный старый канат, спросил:

— А завтракать?

— На ходу. — Иван запустил двигатель. — Еленка покормит по очереди.

До десяти они без отдыха сновали по реке: ходили в Красногорье, возили приказ в контору, проволоку на вторую сплоточную, монтеров в самые верховья: там открывался хлебный ларек. Хлопот было много, а еще больше — криков и недовольства, потому что всем было некогда, а старенький катерок никак не мог одновременно поспеть в разные концы.

— Вот глупость-то! — сердился Сергей. — За каждым нарядом к диспетчеру мотаться — это ж придумать надо!

Катер стоял у причала: надобность в нем вдруг схлынула. Из кубрика появилась Еленка. Выплеснула помои, сказала ворчливо:

— Люльку бы забросили, что ли.

Иван снял с крыши рубки снасть, вместе с Сергеем собрал дуги в крестовину, натянул сеть.

— Маловата люлька-то, — сказал Сергей.

— В норме, — пояснил Иван. — Полтора на полтора больше инспекция не велит.

Он закинул люльку с кормы, подождал, пока она ляжет на дно, закрепил веревку за леер.

— И ловится? — спросил Сергей.

— На еду хватало.

Помолчали, Сергей, покурив, кинул окурок за борт, спросил:

— Поглядеть?

— Погляди, — сказал Иван.

Сергей прошел на корму, намотал на руку веревку, рывком поднял из воды. Край зацепился за обшивку, дуги спружинили, подбросив в воздух брызги и двух небольших подлещиков, серебряно блеснувших на солнце.

— Я ж говорю, мала сеть!..

— Не рви, — сказал Иван. — Тащи спокойно, рыба целее будет.

За сорок минут поймали полтора десятка окуней и подлещиков — мелких и тощих. Иван не удержался:

— Федор на это дело мастак был…

— Трофимыч! — крикнули из окна диспетчерской. — Давай пока к нефтянке!..

— Ну, считай, еще пятьсот литров на мою

шею, — вздохнул Иван.

Сергей вытащил люльку, положил ее на корме, отдал чалку. Иван завел двигатель, стал отводить катер кормой вперед, разворачиваясь. Сергей заглянул в рубку:

— Дай постоять.

— Становись. — Иван отошел в сторону, сдвинув к стенке высокий табурет на трех ножках. — Держи пока на створы.

Сергей стоял за штурвалом, чуть расставив ноги, ссутулившись. Поначалу он нарочно повалял катер с борта на борт, проверяя, как он слушается руля и велик ли свободный ход. Катерок рыскнул несколько раз, но выровнялся и точно, как по нитке, пошел на створы. Иван молчал, приглядываясь к помощнику: все в нем, начиная с позы, убеждало, что парень ходил по воде.

— Клади направо, к мыску.

Сергей заложил так, что катер не пришлось подравнивать.

Иван одобрительно улыбнулся:

— Ловко.

— На том и держимся! — весело ответил Сергей.

Он мягко причалил к нефтянке — чистенькой, выкрашенной в красную краску нефтеналивной

барже. Передал штурвал Ивану, спрыгнул на баржу, зачалил катер.

На шум вышла приземистая молодуха в платке и телогрейке. Из-под короткой юбки выглядывали ярко-синие рейтузы.

— Не курить, мужики! — привычно крикнула она.

— Здорово, хозяйка, — весело сказал Сергей, с удивлением разглядывая толстуху. — Ты чего это вырядилась, как дед-мороз?

— А ты посиди здесь восемь часов, так узнаешь. — Она встретила его взгляд, с готовностью заулыбалась, сразу порозовев всем скуластеньким, некрасивым лицом. — Новенький, что ли?

— Вместо Никифорова, — сказал Иван. — Вот наряд, Шура.

— Пьете вы горючку, что ли, — удивилась Шура, взяв наряд. — Идем, распишешься.

Она еще раз глянула на Сергея, хихикнула и пошла к каюте. Сергей метнулся к катеру, зашептал:

— Погоди тут, капитан…

Торопливо прошел в каюту. Иван открыл горловины баков, промыл фильтры, подтащил рукав от третьей помпы (он всегда заправлялся от нее), подсоединил.

— Ой, щекотно!.. — громко взвизгнула толстуха.

Из каюты вышел Сергей. Подошел к Ивану, давясь от смеха:

— Ну, дура! Страшное дело… Ты какой подсоединил?

— Третий.

— Ну и держи его покрепче.

Кинулся к первой помпе, сунул рукав в вентиляционное отверстие, включил: топливо туго побежало по рукаву, перекачиваясь из отсека в отсек. В дверь выглянула Шура:

— Ты чего колдуешь?

— В порядке! — Сергей шагнул к ней, оттесняя в каюту. — Давай-ка, девочка, документики проверим…

— Ну, ты, медведь! — Шура крепко ударила его по спине. — Ты руками-то не очень, слышишь?

Дверь за ними закрылась. Иван хмуро держал пустой рукав. Рядом мерно работала помпа, гоняя топливо по замкнутому кругу. Щелкала стрелка, отсчитывая литры. Из рубки вышла Еленка.

— Скоро?

— Скоро… — Иван помолчал. — Обманываем, Еленка.

— Как так?

— Он другую помпу включил. Переливает из пустого в порожнее.

— Молодец! — улыбнулась Еленка. — Давно бы так.

— А у Шурки лишнее окажется.

— Вы за Шурку не беспокойтесь, Иван Трофимыч. Шурка лишнее колхозу за полцены продаст и вам же спасибо скажет.

Из каюты выскочил Сергей, глянул на счетчик.

— Шестьсот нащелкало.

— Хватит, Сергей.

— Давай уж до тысячи, капитан. До тысячи я, пожалуй, выдержу.

Улыбнулся Еленке, подмигнул шальным, победным глазом, опять скрылся в каюте.

— Хват, — неодобрительно заметил Иван.

Еленка промолчала. Посидела немного, ушла в кубрик.

Пришел Сергей. Усмехаясь, быстро отключил помпу, смотал рукав. Шуры не было.

— А масло? — спросил Иван.

— Двойная норма. По знакомству.

Вдвоем накачали масла в бак. Иван прошел на катер, закрыл горловины.

— Готово, Шурочка! — крикнул Сергей.

Вышла Шура. Остановилась в дверях — непри-

вычно тихая, с застывшей улыбкой:

— Дом пять. С палисадничком.

— Угу, — кивнул Сергей, отдавая чалку.

— Обманываешь, поди? — тихо спросила она.

— Ровно в восемь, как договорились. До встречи, курносая! — Прыгнул на катер, не оглядываясь, прошел в рубку. — Дура стопроцентная.

Иван молчал. Он отводил катер кормой и сквозь стекло рубки видел толстуху. Она стояла у борта, держась за леер, и глядела им вслед.

— Веди, — сказал Иван, отходя от штурвала. — К диспетчерской.

Сергей посмотрел на него, усмехнулся:

— Мне еще противнее, капитан. А что сделаешь? Жизнь такая, что только поворачивайся побойчей, а то затолкают.

У диспетчерской их ждала высокая худая женщина в белом платочке, повязанном вровень с бровями. Она выхватила у Сергея канат, неумело зачалила, приговаривая:

— Да сама я, сама… Не беспокойтесь.

— Паша?.. — Иван торопливо прохромал к носу. — Ну, давай шагай на катер. Как Федор?

— Да все так же, Иван Трофимыч, все так же. Кланяться вам велел, благодарил. И я вам благодарная, Иван Трофимыч, так я вам благодарная…

Она тихо заплакала, утирая слезы концом платка.

— Будет тебе, Паша, — сказал Иван. — Садись вот сюда.

— А Федя лежит, — совсем тихо сказала Паша. — Не шевелится, тихо лежит, спокойно…

— Да… — Иван вздохнул, присел рядом, вытянув хромую ногу. — Была в кадрах?

— Была, Иван Трофимыч. Оформили меня. Вот. — Паша достала новенькую трудовую книжку. — Я ведь работать пришла, Иван Трофимыч. Я за Федю моего.

— Домой ступай, — сказал Иван.

— Да как же, Иван Трофимыч? Ведь матросом я к вам. Пятьдесят рублей положили мне…

— Двадцатого приходи. Получка у нас двадцатого и пятого каждого месяца.

— Вы позволите, Иван Трофимыч, хоть постираю с вас. Рубашечки, может, бельишко. И товарища вашего.

— Не надо, Паша, спасибо. Ступай домой. Вовке скажи, что жду его к семи, как условились.

Потом их срочно отрядили тянуть плот — «воз», как это именовалось здесь. Многотонная громадина длиною в четверть километра медленно ползла сзади, катерок, задыхаясь, волок ее, дрожа

корпусом и глубоко осев кормой. Трос звенел, как струна.

— Сдадим и пообедаем, — сказал Иван. — Пора уж.

Он сидел перед рубкой рядом с бригадиром плотовщиков — рослым, угрюмым мужиком, ехавшим на буксир оформлять акт о сдаче плота. Бригадир всю дорогу радовался, что работа идет без перебоев, и этот плот — уже сверхплановый.

— Премию дадут, Трофимыч. Рубликов, думаю, полтораста. Может, сена раздобуду: лето уже за половину зашло…

Навстречу шел «Быстрый» — катер сплавконторы. Сергей дал отмашку по борту, но «Быстрый» с ходу подошел почти вплотную.

— В два митинг!.. — прокричал в рупор капитан. — У конторы! Понял, Трофимыч?

— Понял, Антон Сергеич! — крикнул Иван, и катер ловко отвалил в сторону.

— Точно, говорили насчет собрания, — подтвердил бригадир. — Ну, Трофимыч, кажись, с тебя причитается…

Сдав плот, они ходко пошли к конторе. Причал был весь забит катерами, и Иван ошвартовался у борта самоходного топлякоподъемника.

— И вас с работы сняли? — удивился он.

— Приказ такой, — ответил капитан подъемника, совсем еще молодой, плавающий самостоятельно первую навигацию.

Через топлякоподъемник к ним пробирался председатель месткома Володька Пронин — в белой рубашке, при галстуке, с папкой.

— Ну, быстренько, быстренько, люди ждут. Значит, повестка такая: я информирую о вашем трудовом подвиге, затем…

— Ох, Володя, не надо!..

— С воспитательной целью…

Тут из рубки вылезла Еленка. Пронин пронзительно глянул на нее.

— Товарищ Лапушкина, вы бы приоделись. Перед народом стоять будете.

— Не пойду я, Иван Трофимыч…

— Живо, живо, товарищ Лапушкина! — крикнул Володька.

Еленка завозилась, переодеваясь, и вышли они на площадь, когда народ уже собрался. Володя шел впереди, пробираясь к спешно сооруженной трибуне. Люди с готовностью уступали дорогу.

— Здорово, Иван Трофимыч!

— Гляди, Еленка-то, Еленка-то сияет!..

— Трофимыч, магарыч не зажми!..

Вслед за Прониным они поднялись на трибуну,

где уже стояли директор Юрий Иванович, парторг Пахомов и Николай Николаевич. Володька прошел к перилам трибуны, на ходу доставая из папки исписанный лист.

Иван не слушал, о чем кричал Володька. Он стоял неуклюже вытянувшись, не зная, куда девать ставшие вдруг ненужными руки. Впопыхах он забыл палку, нога замлела, но он не решался шевельнуться. Он был оторван от своих и мучительно стеснялся и хромой ноги, и небритых щек, и мятых, давно не глаженных брюк.

Володька говорил до того плавно, что никто уже не слушал его. Голубой папиросный дымок вился над толпой, она беспрестанно двигалась, словно переминаясь с ноги на ногу, и приглушенно шумела.

— Вот они, герои затона! — продолжал Пронин уже слегка осевшим голосом. — Капитан Иван Трофимыч Бурлаков, матрос Елена Лапушкина!..

Он громко зааплодировал и предоставил слово директору. Директор достал из кармана бумагу, расправил ее и начал читать строгим, ровным голосом. Шум сразу стих.

— «...В ознаменование трудового подвига, совершенного экипажем, с сего числа присвоить буксирному катеру номер семнадцать личное

наименование “Волгарь” и впредь именовать так во всех видах судовых документов...»

Люди захлопали, а молодой голос спросил:

— А зачем так, товарищ Федоров?

Кричал белобрысый капитан топлякоподъемника.

— А как предлагаете? — спросил директор.

— Предлагаю просто: «Иванов катер». Все равно его так везде зовут. Даже в Юрьевце.

— Точно! — весело крикнул еще кто-то.

— Минуточку, товарищи, минуточку! — Пахомов шагнул к перилам.

Возникшее было оживление потухло. Пахомов продолжал:

— Мы знаем, как называют «Семнадцатый» и у нас, на затоне, и на гензапани, и даже на Волге. Только это ведь прозвище, товарищи. Прозвище катера, а не имя. А судно должно иметь имя. Это — высокая честь, товарищи! И лучшего имени, чем «Волгарь», мы не придумаем: специально под капитана подгоняли!

Кто-то неуверенно хохотнул, а Пахомов спросил:

— Как считаешь, Иван Трофимыч?

Вопрос застал Ивана врасплох. Он невольно шагнул вперед, словно из строя, поднял зачем-то

руку, опустил и хрипло сказал:

— Вообще-то конечно. Имя хорошее.

— Вот как отвечает настоящий водник, — сказал Пахомов. — Скажи пару слов народу, Иван Трофимыч.

— Я? — растерялся Иван. — Зачем? Да что ты, Павел Петрович.

Пахомов знал: когда Иван говорил вот так тихо и просто — никакая сила не могла его сломить. Поэтому он только вздохнул и повернулся было к Володьке, чтобы тот закрывал митинг, как Сергей неожиданно предложил:

— Разрешите, я скажу. Как, Иван Трофимыч?

— Давай! — почему-то обрадовался Иван. — Пусти его, Петрович. Он — скажет, он все, что надо, скажет.

— От имени экипажа слово предоставляется новому помощнику капитана катера «Волгарь» Сергею Прасолову!

Народ помаленьку уже расходился, но это объявление вызвало интерес: остановились.

— Я работаю, — Сергей посмотрел на часы, — ровно смену. Конечно, от имени экипажа выступать мне, прямо скажем, рановато: кое-кто решит, что к чужой славе примазываюсь. Поэтому я чуть поправлю товарища парторга и честно скажу,

что выступаю от своего собственного имени.

Сергей говорил без бумажки, весело и напористо. Шумок сразу стих, улегся.

— Мне выпала большая честь: работать на «Волгаре». Получается, вроде я в лотерею «Москвич» выиграл, только как бы в рассрочку: теперь платить придется.

— Точно, парень! — крикнули из толпы и дружелюбно засмеялись.

— Тогда разрешите сразу же первый взнос сделать! — Сергей помолчал, спрятал улыбку. — Мотались мы сегодня на «Волгаре» с четырех утра, горючего сожгли что положено, а рабочих ездок, прямо скажем, хорошо, если половина была. Почему? Да потому, что за каждым нарядом, за каждым приказом назад надо идти, к диспетчерской…

— Верно! — крикнули из толпы.

— Сказали мне, что в начале навигации все катера были укомплектованы радиопередатчиками. Так?

— Правильно!

— А мы сдаем их! На склад!

— Морока с ними, парень.

— Морока потому, что специалистов нет. Так вот, я — специалист. Я действительную на Се-

верном флоте служил, там и курсы кончил. И теперь предлагаю без отрыва от производства подготовить в каждом экипаже радиста. Дело это нехитрое, много времени не займет…

Первым захлопал Федоров. Толпа подхватила, но Сергей поднял руку.

— Погодите хлопать. Хлопать тогда будем, когда диспетчер нас по радио вызывать начнет!..

Но ему хлопали долго и упорно. Сергей засмеялся, махнул рукой, отошел от перил.

Иван толкнул в бок начальника отдела кадров, шепнул:

— А ты говорил!..

— Дай бог, чтоб ошибся, — осторожно сказал Николай Николаевич.

— Спасибо, товарищ Прасолов. — Директор с чувством жал Сергею руку. — Очень, очень ценное предложение.

Пронин закрыл митинг. Толпа повалила к катерам, запрудив пристань. Взревели моторы.

— Вам выписаны премии в размере половины оклада, — сказал директор, прощаясь, — можете получить в бухгалтерии.

— Спасибо. — Иван вздохнул. — Это, конечно, хорошо, и Никифорову очень нужно…

До конца смены они ходили в именинниках.

Каждый встречный катер непременно подваливал к борту, команда поздравляла, шутила: Иванов катер был популярен. А белобрысый Вася — капитан топлякоподъемника — привез восемь отборных лещей.

— От нас в подарок. Принимай, Еленка.

В пять стали на прикол, пообедали, и Иван, послав Еленку за червями на такелажку, сел готовить снасти к вечерней рыбалке. Сергей в этом участия не принимал: достал из чемодана книгу по радиотехнике, завалился на диван. Через полчаса он уже похрапывал, уронив учебник на пол.

Иван наладил кольцовки, сшил из куска старой марли мешочки под приваду, разыскал грузы к ним. К тому времени вернулась Еленка, принесла червей, села рядом, долго смотрела, как Иван привязывает к каждому мешочку по массивному звену от якорной цепи.

В семь пришел Вовка с отцовским ватником под мышкой. Перебрался на катер, молча, как взрослый, подал Ивану руку.

— Был у отца-то, Вова?

— Был. — Вовка шмыгнул носом, отвернулся. — Лежит…

Губы его подозрительно дрожали, и Иван сразу же бодро и неискренне заговорил о другом:

— Кольцовки сделал, Вова. Вот, гляди, в кольцо жилку от привады опустишь, а на крючки, значит, червей…

— Без поплавка? — солидно спросил Вовка.

— А зачем он? На кольцовку крупная рыба идет. Станет брать — заметишь: пружинка задергается.

Из кубрика вылез Сергей. Зевнул, потянувшись:

— Сморила меня радиотехника…

— Сейчас к Никольским островам пойдем, — сказал Иван. — Там рыбачить будем, вернемся утром. Приходи к семи.

— Почему это? — Сергей непонимающе моргал.

— Ты вроде к Шуре обещался.

— Ах, к Шуре! — Сергей расхохотался. — Да на кой она мне.

— А она — ждет, — не глядя, сказал Иван. — Не знаю, конечно.

— Подождет да перестанет, — равнодушно сказал Сергей. — Это, капитан, все равно что с керосиновой бочкой обниматься.

— Не надо, — тихо сказал Иван.

— Чудак ты, Трофимыч! Ну, не буду, не буду, не хмурься.

Они отогнали катер к Никольским островам, зачалили за плот. Еленка осталась в кубрике, а мужчины и Вовка перебрались на мерно колыхающиеся пучки бревен. Иван выбрал место, показал мальчику, как ловить на кольцовку, забросил ему снасть…

Утром, отправив Вовку с уловом домой, Иван сходил в диспетчерскую, но там велели ждать: должен был прийти художник. Иван вернулся на катер, надел праздничный костюм и пошел к директору.

— У Юрия Ивановича оперативка, — сказала секретарша.

Иван потоптался, хотел было уйти, но тут из кабинета выглянул директор, отдал секретарше какие-то бумажки, спросил:

— Вы ко мне?

— К вам, — сказал Иван. — Я насчет Никифорова.

— Да, да. — Директор вздохнул. — Большое несчастье, Иван Трофимыч. Проходите.

— Ссуду он брал, когда строился, — еще на ходу начал Иван.

— Сколько, не знаете?

— Да тыщи две, наверно. На десять лет, что ли.

— Так. — Директор сделал пометку на календа-

ре. — В постройкоме?

По одному, по двое собирались на оперативку производственники: начальники участков, мастера, снабженцы. Здоровались с директором, с Иваном, рассаживались вдоль длинного стола, шептались, шуршали газетами. Иван умолкал, потом начинал рассказ снова, сбивался, но все-таки изложил главное: как бы скостить с Никифорова долг.

— Это возможно? — спросил Федоров у главбуха.

— В принципе есть один ход: взять на себя задолженность за счет месткома вашего фонда, премиальных.

— Подработайте. — Федоров опять записал что-то на перекидном календаре. — И скажите Пронину насчет подарков семье.

От директора Иван пошел в бухгалтерию, получил премиальные на экипаж. Настроение у него было почти праздничное, и он тут же решил, что и он и Еленка должны отдать свои премии Федору.

Когда он вернулся на катер, художник уже кончил подкрашивать бортовые надписи. Иван полюбовался новым названием «Волгарь», выведенным на носу и на семи ведрах, стоявших

на крыше рубки, — по букве на каждом ведре. Теперь художник выписывал это слово на спасательных кругах. Он пожал Ивану руку и молча протянул свернутые в трубку листы:

— На память.

Иван развернул: это были портреты команды, еще вчера висевшие возле конторы. Скуластые лица сурово глядели вдаль.

Потом они с помощником спустились в моторное отделение и долго возились, регулируя двигатель. Закончив, отогнали катер к затопленной барже и пошли в столовую, потому что Еленка уехала со стариками покупать долгожданную телку.

В столовой было шумно. Потолкавшись в очереди, долго блуждали с подносами, выискивая свободный столик.

— Иван Трофимыч! А Иван Трофимыч!..

Из угла махал незаметный морщинистый мужичонка неопределенного возраста, одетый в старенькую рубаху, аккуратно застегнутую до самого горла. У ног его лежал ватник, в швы которого навеки въелась древесная пыль, и большой ящик с плотницким инструментом.

— Здорово, Михалыч, — сказал Иван, подходя. — Что-то давно не виделись.

— На запани работал, — очень радостно объявил Михалыч, торопливо глотая второе. — Ты садись, Трофимыч, а я стоя похлебаю: стоя-то скорее выходит.

Он вскочил было, но Иван нажал ему на плечо и усадил на место.

— Успеется, Михалыч, жуй не спеша. Дома-то все в порядке?

— Слава богу, Трофимыч, слава богу. И корова справная, очень справная коровка попалась, так что не внакладе я оказался.

Он торопливо подхватил последний кусок и встал, освобождая Ивану место.

— Игнат Григорьич телка покупает, слыхал? — спросил Иван, садясь. — Козу-то Машку продали они.

— Стало быть, сенцо понадобится, — понизив голос, сказал Михалыч. — А понадобится — так ты, Трофимыч, мне свистни. Я теперь тут работаю, при мастерских: свистни, и я враз прибегу. Я на косьбу гораздый, не гляди, что мослы рубаху рвут. Семижильный я, Трофимыч, право слово, семижильный!

— Может, и свистну, Михалыч. Как шкипер скажет.

— Тебе, Трофимыч, всегда — с дорогой душой. В

полночь-заполночь дочку родную отдам.

— Вот и столковались! — улыбнулся Иван, пожимая Михалычу руку. — Жене поклон, Михалыч. Заходи.

Михалыч ушел, волоча тяжелый ящик. К этому времени стол освободился, Сергей расставил тарелки и отнес поднос к раздатке.

— Смешной мужик, — сказал он, воротясь.

— Тихий, — улыбнулся Иван. — Тихий да невезучий — горемыка, словом. А плотник — золотые руки. Прямо артист.

— Глядел на тебя, как на икону. Должен, что ли?

— Нет, — сказал Иван. — Просто вышло так. Этим мартом медведь у него коровенку задрал: словно нарочно искал, кого побольнее обидеть. Ну, мужик и руки опустил: вроде пришибленный ходит и молчит. Расспросил я его, а он — заплакал, представляешь? Ну, мы и скинулись с получки, кто сколько мог, по совести.

— Ты все и провернул?

— Ну, при чем я? Работяги…

— Здоров, Бурлаков!

К столу косолапя шел Степаныч. Тарелка с борщом пряталась в огромных ручищах. Сел, расставил ноги, хлебнул.

— Дерьмо. Воруют, поди, гады! — Он вдруг подмигнул Сергею. — Вместо Никифорова, что ль? Подвезло.

Иван молчал. Сергей глядел равнодушно, но когда Степаныч бесцеремонно передвинул его тарелку, он спокойно вернул ее на место.

— Ну, как там Никифоров? — спросил Степаныч. — Все пластом, да? Дура Прасковья-то: в суд подать надо. А что? Точно, в суд. Пострадал на производстве — значит, производство обязано деньгу гнать по гроб жизни. Я ей говорил, а она, дура, боится. А чего бояться-то, Бурлаков? Верно я говорю?

— Не знаю, может, и верно, — сказал Иван.

— Суд — милое дело. Никто не отвертится.

— Пойдем, капитан, — сказал Сергей, вставая. — А ты, рожа, когда меня в следующий раз за столом увидишь, лучше загодя у крыльца обожди.

— Чего-чего?.. — тоненько начал Степаныч.

— Борщ за шиворот вылью, — отчеканил Сергей и следом за Иваном пошел к выходу.

— Ты что это его, а? — спросил Иван, когда они шли к катеру.

— Нахалов не люблю. Бил, бью и бить буду — вот моя программа!

После обеда Иван прилег вздремнуть: он неде-

лю недосыпал, за штурвалом клонило в сон. Сергей за столом тихо шуршал страницами, нещадно курил, разгоняя дремоту. Катерок тихо покачивало на волне, Иван сразу же уснул и проснулся только от женского голоса:

— Можно, что ли?

Голос был жеманным и незнакомым. Иван сел, оторопело оглядываясь:

— Кто?..

По палубе звонко цокнули каблуки, скрипнула дверь рубки, и на крутом трапе появились полные ноги. Ноги переступили на ступеньку ниже, вздрагивая круглыми коленками, и из люка выглянула Шура, стянутая шуршащим негнущимся платьем.

— Привет! — насмешливо сказал Сергей. Вместе с Шурой в кубрик вполз удушливо-сладкий запах. Сергей повел носом: — «В полет»!

— Угадал, — улыбнулась Шура, обмахиваясь платочком. — Жара! Погуляем?

— Занимаюсь я, между прочим. Радиотехника.

— Ну, занимайся, я обожду. — И Шура с готовностью уселась на свободный диван.

— Да чего уж... — Сергей с сердцем захлопнул книгу. — Пошли.

— Пиджак бы захватил, — сказала Шура, вста-

вая.

— Жара — сама говоришь.

— А если посидеть захотим?

— Не захотим, — буркнул Сергей и первым полез из кубрика.

Шура вздохнула и покорно полезла следом. Иван ошалело проводил ее глазами и долго сидел на старом диване, испытывая смутное чувство гадливости и досады.

Чувство это оставило его только возле баржи-такелажки, когда еще на подходе он увидел на ней Еленку: она, тихо смеясь, играла с Дружком. Пес притворно рычал, стараясь лизнуть ее в лицо, но она ловко увертывалась. Иван остановился, любуясь ее мягкими движениями, и на душе сразу посветлело.

— Купили!.. — торжествующе закричала Еленка, увидев его. — С белой лысинкой!.. Да погоди же, Дружок!..

Она стремительно повернулась, уходя от собачьих лап, и легкое платье раздулось куполом.

Он вдруг захотел сказать, что любит ее, что она самая высокая его награда, что… И опять не сказал. Взошел по гибким сходням на баржу, подавил вздох.

— Ну, пойдем. Показывай.

Они открыли тяжелую дверь, но сразу же свернули вниз, в глухой, огромный трюм, где в полутемной выгородке стояла чистенькая рыжая телочка с белой отметинкой на лбу. Перед нею была бадейка с пойлом, но телочка уже не ела, а только меланхолически двигала мокрыми добрыми губами и вздыхала. Старуха стояла подле, то оглаживая ее, то поправляя бадью, а шкипер сидел на ящике и курил, усмехаясь.

— Вот красавица-то моя, гляди, Трофимыч!.. Вот умница-разумница, вот звездочка моя ясная!.. — запричитала старуха.

— Сподобились, Трофимыч, — улыбнулся шкипер. — Сподобились мы, значит, счастья в коровьем образе.

— Молчи, балабон, прости господи!.. — зыркнула на него жена и снова начала оглаживать телочку. — Ну, скушай, ясынька моя, ну, хлебца…

— Сказали бы мне лет сорок назад, что старуха моя от телка спятит, я бы ни за что не поверил, — улыбаясь сказал шкипер.

— Наверх бы шли, дымокуры! — сердито сказала Авдотья Кузьминична. — Нечего тут курить, непривычная она.

— Видал?.. — хитро подмигнул шкипер. — Пойдем, Трофимыч, от греха…

— Вовремя ты пожаловал, — сказал старик, когда они выбрались на палубу. — Встретил я, когда телушку-то торговал, лесника нашего Климова Константина. Закинулся насчет сенца, а он и говорит: Луконина топь. Там, говорит, сроду никто не косил, потому что дорог нет и далеко. Осока, конечно, но добрая. Коси, говорит, на здоровье, но выдергивай разом, а то колхоз заметит, и пропала твоя косьба. Вот я насчет завтра и подумал. Там до берега — версты три, даже и того меньше. На катер бы сволокли, а уж здесь-то, на барже, я частями высушу да и приберу.

— Косцов надо, — сказал Иван. — Ты да я — много ли наработаем?.. Ты вот что, Игнат Григорьич, ты Еленку за Пашей направь. За Пашей да за Михалычем: он сам помощь предлагал. А я на топлякоподъемник смотаюсь, Васю с Лидой попрошу. Да пусть Еленка косы у Никифоровых возьмет: у них есть…

Договорившись, Иван торопливо вернулся на катер. Сергей сидел в кубрике и прилежно трудился над радиотехникой.

— Ты чего… тут? — удивился Иван.

— А где мне быть?

— А Шура?

— Ах, Шура! — Сергей встал, с хрустом, с вы-

вертом потянулся. — Черт ее знает. Может, дома ревет, может, на чужом пиджаке сидит… — Он поглядел на Ивана, засмеялся: — Чудак ты, капитан, честное слово, чудак! По-твоему, если девке чего на ум взбрело, так сразу надо поддакивать, да? Нет уж, сроду они мной не командовали и командовать не будут.

— Дело ваше, — сказал Иван. — Сейчас к Васе сходим, на топлякоподъемник.

По пути Иван рассказал о покупке и о том, что завтра надо косить на Луконинoй топи.

— Надо так надо, — сказал Сергей. — Правда, косец из меня плохой.

— Затемно пойдем.

— Ну?

— И назад — затемно. Весь день с комарами.

— Ну?

— Все-таки выходной завтра…

— Что ты меня отговариваешь?.. — усмехнулся Сергей. — Ты прямо скажи: нужно — поеду, не нужно…

— Нужно, — улыбнулся Иван.

— Ну, и кончен разговор!..

Вышли, когда чуть просветлело. В предутренней тишине особенно громко стучал мотор. Иван стоял за штурвалом, Сергей курил, сидя на высо-

ком комингсе рубки.

— А ничего, что катер без спросу взяли? — спросил он вдруг.

— Ничего, — сказал Иван.

Шкипер, Михалыч и Вася курили на корме, прячась от ходового ветерка. «Волгарь» бежал на полных оборотах, носовые волны елкой расходились по сонной реке. Иван придвинул табурет, сел.

— Странно, — сказал Сергей. — Сидишь за штурвалом. Непривычно.

— А-а. Знаешь, сколько я порогов обил, пока за штурвал пустили? Медкомиссия отказала вчистую: только на берегу.

— Заново комиссовали?

— Нет. Просто само собой, вроде все в порядке. Врачи молчат, начальство молчит, и я молчу. Молчком и работаю.

Из-за рубки вышел шкипер:

— Держи на стрежень, Трофимыч. Протокой не пройдешь: мель.

Катер повернул за мыс, и сразу берега расступились, исчезнув где-то за туманной линией горизонта, и вокруг разлилась вода. Желтая, почти неподвижная, она затопила все низины, все ложки, и мертвые березы по пояс торчали в ней.

— Гиблое место, — вздохнул шкипер. — Даже птица стороной облетает.

— Одна береза, — сказал Сергей.

— Ель первым же ледоходом свалило, — пояснил шкипер. — А береза все держится: корни глубокие.

— Береза — русское дерево, — улыбнулся Вася.

— Вот это ты верно сказал, Василий, верно, — подхватил Михалыч. — Я в Германии воевал, город Штеттин. Ранило меня там, осколком ранило. В госпиталь там поместили, так уж я насмотрелся. Не та береза, нет, не та! Духу нету, совсем духу нету, поверишь ли? Весна была, цветень самая, а — не пахли. Ничем не пахли.

— В Сибири тоже не пахнут, — сказал Сергей. — Может, порода такая.

— А почему она белая? — спросил Вася. — Смысл ведь какой-то должен быть, правда? У всех кора темная, а у нее — белая. Как тело. Зачем?

— Для красоты, — убежденно сказал шкипер. — Природа все для красоты делает, сама себя украшает. Смысл у нее в красоте.

— Ну? — усомнился Вася. — Это ты, Григорьич, того…

— Нет, брат, точно говорю. Возьми ты дерево любое, травинку, былиночку какую: красота!

Ведь красота же, ведь человек сроду ничего лучше не придумал и не придумает.

— Чепуха, — сказал Сергей. — Целесообразность — вот что в природе главное. Целесообразность! Для пользы жизни.

— Целесообразность? — переспросил шкипер. — Ну а зачем лисе хвост? Для какой такой целесообразности?

— Может, следы заметать? — засмеялся Михалыч.

— А рога сохатому? — не слушая, продолжал шкипер. — Ведь как мучается с ними, как бедует! А птичкам тогда как же с целесообразностью-то твоей?.. По целесообразности им всем серенькими быть полагается, а они — радостные!..

— Или — бабочки, — вставил Иван. — Прямо как цветы полевые.

— Нет, парень, природа-то помудрее нас с тобой будет. Куда помудрее! Это мы, люди то есть, еле-еле до целесообразности доперли и обрадовались: вот он, закон! И хотим, чтобы все в мире по этому закону строилось. А есть законы повыше этой самой целесообразности, повыше пользы. Просто понять мы их не можем, только и всего. Клади направо, Трофимыч: вон там, к обрывчику, и пристанем.

У обрыва они зачалили катер за корявый березовый пень и по сходням сошли на берег.

Шли по травянистому болоту, узко сдавленному черным непролазным осинником. Холодная сырость вызывала озноб, липла к телу, затрудняла дыхание. Почва мягко чавкала под ногами, и вода подступала к голенищам кирзовых сапог.

Сонные болотные комары, потревоженные шагами, тучами поднимались с земли. Еще не согретые солнцем, вяло оседали на одежде, заползали в швы. Женщины наглухо завернулись в платки, оставив только узкие щелки для глаз.

— Чуешь, как пахнет? — спросил вдруг Иван.

Влажный застоявшийся воздух был пропитан густым, приторно-тяжелым запахом.

— Багульник, — пояснил Иван. — Дурман тайги.

— Моль его не выносит, — сказал шкипер. — Моль, клоп — вся нечисть домашняя. Старуха моя пучки по всем углам держит, и на барже у нас — как в больнице.

Они все шли и шли, и болоту не видно было конца. Так же грузно оседала под ногами почва, так же хлюпала вода и чуть слышно позванивала жесткая осока. Шкипер убирал с дороги сухие ломкие сучья осин.

Так протопали они километра три, а потом лес расступился, и перед ними открылась заросшая осокой поляна. Воды здесь было поменьше и осока повыше, но сапоги все равно утопали по самые голенища.

— Луконина топь, — сказал шкипер. — Вот с того угла и почнем, пока не жарко. А вы, бабоньки, палите костер да варганьте косцам еду.

Еленка, Лида и молчаливая Паша пошли к опушке, а мужчины начали отбивать косы. Вздрагивающий звон поплыл над болотом.

— Ты к жалу тяни, к жалу!.. — суетливо подсказывал Михалыч Сергею. — От пяточки с наклоном да вперед, вперед, к носку…

— Ну, с богом, мужики! — торжественно сказал шкипер и широко, от плеча махнул косой.

С жестким хрустом осела под взмахом осока и, подхваченная пяткой, отлетела влево. Еще взмах — и следующая охапка пристроилась к первой, образуя начало валка.

— Пошли!.. — в восторге закричал Михалыч, взмахивая косой. — Раз!.. Раз!..

Он шел чуть согнувшись, прямо ставя ступни и приседая при каждом взмахе. Коса ходила легко, и так же легко, похрустывая, рушилась осока и ровным валком укладывалась слева от косца.

Он на шаг продвигался вперед, одновременно вынося косу, и с каждым махом рос валок, а по голой, начисто выбритой топи потянулись две параллельные полосы пробороненной ступнями почвы. Полосы эти быстро наполнялись водой.

Иван и Вася тоже начали косить. Движения их были плавны и свободны, и со стороны казалось, что труд этот прост.

«Подведу я их, — подумал Сергей, примериваясь для первого маха. — Широко шагают, черти…»

Он с силой полоснул косой и обрадовался, когда осока покорно легла, срезанная остро отточенным лезвием. Шагнул, полоснул снова — и снова она рухнула, устилая путь. Ему пришлось подбирать ее полотном косы и оттаскивать в сторону, но он не останавливался, а шел и шел вперед.

— Хорошо!.. — крикнул Михалыч. — Ах, хорошо!..

— Погоди, не то к вечеру запоешь! — отозвался Вася.

— Знаем мы эти песенки, Вася! Певали!.. — Михалыч воткнул держан в болото, торопясь, стащил с себя сырой ватник.

Шкипер уже заново отбивал косу. Иван остановился тоже, вытер полотно пучком осоки, проверил пальцем.

— Наждак, а не осока.

— Осока добрая, — сказал шкипер. — До кустов дойдем — перекурим. Так, мужики?

Никто не отозвался. Косцы неторопливо двигались вперед, и осока с размеренным хрустом укладывалась в ровные, строгие валки.

Шкипер первым дошел до кустов, отбил полотно, не торопясь вернулся по прокосу назад, к началу. За ним по одному вернулись остальные; только Сергей еще топтался где-то в середине, и извилистые рельсы его пути были густо усыпаны осокой. Косцы закурили из Васиной пачки, а Михалыч прошел к Сергею. Постоял сзади, посмотрел, тронул за плечо.

— Погоди, парень, погоди. Тужишься ты, косу таскаешь — не надо. Ты свободней держи. И пяточку к земле клони, пяточку самую. Она тебе травку и подберет, и в валок снесет. Гляди.

Он оттеснил чуть задохнувшегося Сергея, сделал несколько махов, не переставая поучать:

— В замах идешь — силу отпускай, не трать попусту. А вниз повел — на себя резче прими. Тогда коса сама и срежет и уберет.

— Иди, покурим!.. — позвал Иван. — Слышь, Сергей!..

— Не заработал еще! — отозвался Сергей, вновь

становясь на место. — Докошу — покурю.

— Не гони, — сказал шкипер. — Здесь призов не дают.

Покурив, они снова взялись за косы, и вскоре Михалыч догнал Сергея. Они почти не разговаривали: пройдя гон, возвращались, курили, отбивали косы и снова шли косить. Выбившись из их ритма, Сергей так и остался в одиночестве. Теперь он и косил один, и курил один, с каждым заходом ощущая, как наливается усталостью отвыкшее от таких нагрузок тело.

Взошло солнце. Косцы разделись до пояса: комары щадили в работе, атакуя только на перекурах. Зато пестрый злой овод все чаще жалил потные спины.

Женщины развели костер. Паша готовила завтрак, а Еленка и Лида уже сгребали осоку в копны, чтобы она зря не мокла в воде.

— Завтракать, мужики!.. — крикнула Паша.

Косцы враз остановились, обтерли мокрые косы и воткнули держаки в топь. Только Сергей продолжал косить. Шкипер подошел, положил руку на его голое потное плечо:

— Отдышись, парень.

— До кустов дойду…

— Весь день впереди. Намахаешься.

Сергей покорно воткнул косу и пошел к костру, чувствуя, как плывет и качается под ногами топь. У опушки Вася и Михалыч умывались в глубокой луже.

— Ополоснись, Серега, — сказал Вася. — Сразу посвежеет.

Сергей подошел, нехотя зачерпнул пригоршню холодной желтой воды, протер лицо.

— Зла мужицкая работка? — улыбнулся Михалыч.

— Приспособится, — сказал Вася. — Тут хитрости нету.

— Есть хитрость!.. — возразил Михалыч. — В городе все быстрей норовят, все наскоком, все нахрапом. Нетерпеливые вы. А у нас так нельзя, не-ет, нельзя! У нас силу сберечь надо. Но — умеючи, умеючи, значит. Вот это и есть мужицкая хитрость.

Паша сварила ведро картошки с тушенкой, и они начисто выскребли ведро, напились чаю и сразу вернулись на недокошенные полосы.

— Ну, мужики, до обеда должны все скосить, — сказал шкипер. — Если осилим, — значит, выхватим это сенцо у бога из самой запазушки.

— Не у бога, а у колхоза имени Первого мая, — улыбнулся Вася.

— Сроду здесь колхоз не косил и косить не будет, — сказал Иван. — А траве зря пропадать не положено.

Солнце вставало все выше, топь звенела полчищами слепней. От болота поднимался пар, пот струйками тек по спинам косцов; они все чаще отходили к опушке, где бил родник, и пили холодную желтую воду.

— Как нога? — спросил шкипер. — Отдохнул бы.

— Ничего. — Иван сполоснул лицо, улыбнулся: — Погодка-то, а? Как заказанная…

Он врал, когда улыбался. Ногу ломило до пояса, он давно уже косил, стараясь не опираться на нее, но боль росла. Лечь бы сейчас, вытянуться — тогда отпустит. Но он не давал себе спуску. Никогда не давал: только начни болеть — и тело припомнит все осколки и пули, все контузии и ржавые сухари с болотной водой. Только распусти вожжи — не встанешь.

Поэтому он деловито ел за обедом пропахшую горьким осиновым дымом похлебку. Ел насильно: его мутило от боли и усталости.

— Не могу, — сказал Сергей и бросил ложку. — В глотку не лезет.

Он откинулся на кучу ломкого хвороста и за-

крыл глаза. Плыло, качалось болото…

— Попей.

Он открыл глаза: Еленка протягивала большую эмалированную кружку.

— Выпей, — повторила она. — Нельзя же ничего не есть.

— Ослабнешь, — сказал Иван.

Сергей хлебнул: в кружке было молоко. Прохладное, густое, почему-то чуть горьковатое.

— Больше не коси, — сказал Вася. — Что осталось, мы с Михалычем подберем, а вы копешки готовьте. Пудика по три потянем, Михалыч?

— Потянем, чего же не потянуть?..

Поначалу сгребать мокрую осоку показалось делом почти пустяковым. Но осока была не просто тяжелой; она была цепкой, как колючая проволока, пласты ее упорно свивались в большие вязкие комья, в которых намертво запутывались грабли.

— Ты руками, Сережа, — сказала Еленка.

Руки ее уже были порезаны в кровь, до волдырей искусаны комарами. Но она двигалась легко и гибко, словно не чувствуя усталости.

— Здоровая ты девка, — сказал Сергей.

— Привычная…

Через час с дальнего конца топи вернулись

Михалыч и Вася. Сунули держаки кос в раскисшую землю:

— Готово, Игнат Григорьич.

— Ну что, мужики, отдохнем полчасика, а? — спросил шкипер. — Отдохнем, покурим и — двинем.

— Конечно отдохните, — сказала Лида. — Нам тут еще грести и грести.

Косцы побрели к костру, а Сергей еще дергал, пинал, волок проклятую осоку. Еленка мягко отобрала у него грабли.

— Покури. Главный труд впереди, Сережа.

Пошатываясь, Сергей подошел к костру и почти рухнул на хворост. Вася протянул ему папиросу, он взял ее и держал в руке, как свечку: не было сил прикурить.

— Воровство — это когда корысть есть, — сказал шкипер, мельком глянув на него. — Украсть, продать да прогулять — вот воровство. Так я мыслю, Трофимыч?

— Мысль с совестью в разладе, — вздохнул Иван. — Я горючее тоннами тащу, Григорьич — траву, Вася…

— Краску! — засмеялся Вася. — Облез наш лайнер, как апрельский кот, глядеть невозможно. Лидуха пилит: давай, мол, подновим, давай,

мол, выкрасим. Пошел я краску добывать, а мне говорят: не положено. Ремонтные работы — зимой, сейчас средств нет. Я говорю: за мой счет. Все равно, говорят, не положено. Ну, плюнул я, сунул кладовщику на пол-литра, и краска сразу нашлась.

— А я гвозди, гвозди так добывал, — подхватил Михалыч. — Крыша прохудилась, ремонту требует, а гвоздей в продаже нет. Я туда, я сюда — нету! Пришлось со стройки захватить. Несу домой, а душа трясется. Страх ведь, страх!..

— От бесхозяйственности все, — вздохнул Вася. — Почему в Юрьевце, скажем, гвозди есть, а у нас нету? Что стоит завезти их вовремя?

— Расторопности мало, это ты, Вася, правильно говоришь, — сказал Иван. — И расторопности мало, и желания, и умения: вот и выходит, где — завал, а где — нехватка.

— Нет, это не воровство, — убежденно сказал шкипер. — Ну а внутри-то мышка, конечно, скребет, это ты верно сказал, Трофимыч. Живет в нас эта мышка, будь она трижды неладна, и ворочается, и сна не дает. В старину тоже так случалось, но тогда способ знали, как эту мышку из души выжить.

— Что за способ? — спросил Вася.

— Каялись.

— Глупость это, Игнат Григорьич!

— Не скажи, Вася. Когда невмоготу — откровение требуется. Груз с души снять нужно, поделиться, очиститься. Без покаяния умереть боялись, очень боялись.

— Перед людьми надо ответ держать, а не перед попом, — сказал Иван.

Все молчали. Михалыч неуверенно улыбнулся.

— Пошли тягать. — Шкипер достал из мешка веревки. — Берите снасть, муравьи.

Женщины помогали увязывать мокрую осоку, рывком подавали на плечи. Веревки намертво вонзались в тело, выламывая спину, и мужчины, оступаясь, медленно брели по болоту.

Иван упал под первой копной: подвела нога. Упал неудачно, не мог встать, а только дергался, шепотом ругаясь. Вася, бросив осоку, кинулся, поднял:

— Оставь вязанку. Потом подберу.

— Ладно, Вася. Допру.

Вася шел сбоку, уголком глаза наблюдая за Иваном и вовремя подставляя плечо, когда Иван оступался. Поэтому они подошли к берегу последними: шкипер и Михалыч уже сматывали веревки, а Сергей сидел на своей ноше, опустив

голову.

— Не ходи больше, Трофимыч, — сказал старик. — Отдышишься — тут попрыгай: сходни наладь, с катера все прими.

Иван кивнул: он понимал, что в этом деле не помощник. Выпростал из-под осоки веревку, сел рядом с Сергеем.

Михалыч, шкипер и Вася уже скрылись в лесу: чавканье сапог постепенно замирало вдали. Иван закурил, протянул пачку Сергею.

— Живот что-то схватило, — виновато соврал Сергей.

— Иди на катер.

— Ничего. — Сергей встал. — Отпускает вроде.

Пошел назад, сматывая на ходу веревку. Хвост ее долго волочился сзади, подскакивая на кочках.

На подходе встретились Михалыч и Вася: с новыми ношами они шли к катеру. Михалыч разминулся молча, а Вася сказал:

— С дальнего конца копешки бери.

— Портянка сбилась. — Сергей поспешно и неуверенно улыбнулся. — Переобувался там…

Последние охапки несли уже в сумерках. Черные осины тревожно звенели по сторонам. Сергей шел последним, пропустив вперед Лиду и Пашу.

Почти в темноте перетаскали осоку на катер. Это были последние усилия: даже Вася перестал улыбаться. Иван накрыл старым брезентом сырую, остро пахнущую болотом кучу.

— Отдыхайте.

Они вповалку улеглись на брезенте, и Сергей сразу же провалился в полудремоту. Слышал, как застучал двигатель, как, отваливая, плавно качнулся катер и пошел вверх, натужно гудя мотором.

— Свалили! — выдохнул Вася. — Здорово это, когда своего достигнешь. Вроде уважение к себе самому поднимается.

— Дело вы для меня великое сделали, ребята, — тихо сказал старик. — Я за это…

— Ты нам за это покурить раздобудь, на том и сочтемся, — сказал Вася.

— Держи. — Сергей достал мятую пачку. — Не знаю, целы ли.

— Целые. Закуришь, Игнат Григорьич?

— Можно.

— Катер!.. — крикнул Михалыч.

Сзади нагонял катер. С палубы его кричали что-то, неслышное за шумом двигателя, махали фонарем.

Теперь уже все толпились возле рубки: колхоз-

ный катер вечерами патрулировал по реке.

— Плакала наша работка… — вздохнул Михалыч. — Ах ты господи, вот ведь не повезло, так не повезло…

И опять все замолчали, потому что молчал Иван, а ему одному принадлежало сейчас право решать. Но Иван упрямо держал максимальные обороты: катер дрожал как в лихорадке.

Справа открылся чуть видный в темноте пологий болотистый остров. Иван прижался вплотную к берегу: здесь течение было не таким сильным, но патрульный катер упорно шел в кильватере.

— Далеко? — спросил Иван не оглядываясь.

— Метров триста, — сказал Вася. — Не уйдем, Трофимыч: у них и мотор посильнее, и катер не нагружен.

— Гаси топовые!.. — крикнул Иван.

Сергей щелкнул выключателем, погасли опознавательные фонари, и тут же Иван стремительно заложил катер вправо, уходя в протоку.

— Куда?.. — закричал шкипер. — Мель там, Иван! Мель!..

— Как крикну, все на левый борт, — сказал Иван, до рези в глазах всматриваясь в черную, заросшую камышом протоку. — Все — на один борт, поняли?

— Врежемся, Трофимыч, — сказал Вася. — Еще днище пропорешь.

— Все — на левый борт, как крикну, — повторил Иван. — Все — и бабы тоже. Готовьтесь. Только бы травы на винт не намотало…

Патруль чуть отстал: видно, капитан его не хотел рисковать в темноте, понимая, что все равно запер Ивана в ловушку.

— На борт!.. — крикнул Иван, круто кладя руль. — На борт!..

Все кинулись к борту, и «Волгарь», развернувшись, боком лег на волну, задирая винт. Днище скребнуло по грунту, катер дернуло раз, другой, третий, но, дергаясь, он пробивался вперед, поднимая винтом тучи песка и ила. Мокрая груда осоки, дрогнув, медленно поползла к борту, но катер, дернувшись еще раз, прошел мель, и Иван тут же выровнял его и погнал вперед, уходя в темноту.

— Ушли!.. — торжествующе закричал Михалыч.

— Да, Трофимыч… — Старик покрутил головой. — Всю жизнь на воде провел, а о таком не слыхивал. Орел ты, Иван Трофимыч.

— Лещ так перекаты проходит, — смущенно улыбаясь, сказал Иван. — Замечал, Григорьич?

Весной, когда на нерест идет. Встретит мель, ляжет на бок, хвостом работает и — вперед, вперед. Вот нагляделся я, значит, и — пригодилось. А вообще это скверно — убегать от закона. Очень скверно…

С перегрузкой на баржу все вышло гладко, и утром «Волгарь» стоял у диспетчерской, как всегда. Начались будни: обеды на ходу в грохочущем кубрике и простой, когда можно было половить рыбу для обеда; нудная буксировка плотов и доставка приказов; проводка барж и перевозка мелких случайных грузов. В понедельник директор отдал приказ, и Сергей начал регулярные занятия по радиотехнике. Он относился к ним очень серьезно, тщательно готовился, чертил схемы.

Вечерами Иван оставался один: Сергей уговорил Еленку заниматься в кружке. Отогнав катер к затопленной барже, Иван уходил к старикам и сидел там допоздна: помог шкиперу убрать сено, расширил закуток для телки, а когда не было работы, беседовал со шкипером или просто молча курил. Он не спешил теперь на катер.

На неделе зашла Паша: Федору стало лучше, он просил Ивана навестить его. В среду занятий не было, и они пошли втроем: Иван считал, что

Сергей должен познакомиться с бывшим помощником.

— Должен так должен, — нехотя согласился Сергей. — Не знаю, капитан, будет ли ему приятно.

Никифоров лежал в отдельной палате. Лежал на животе, неудобно вытянув подвешенную на шнурах руку в гипсе. Худое лицо его заросло щетиной, глаза ввалились. Он встретил их приветливо, но говорил так мало и неохотно, что они вскоре заторопились.

— Погоди, Иван Трофимыч, — вдруг спохватился Федор, когда они уже подошли к дверям. — Останься на два слова, а?

Сергей и Еленка вышли, а Иван вернулся к Никифорову и сел на табурет возле его головы. Федор молчал.

— Может, лекарство какое нужно или еще что? — спросил Иван.

— Да не в этом дело, — вздохнул Федор. — Тут, понимаешь, баба моя в суд подавать надумала. Нажужжали ей, понимаешь.

— Не знаю, — сказал Иван, подумав. — Может быть, правильно.

— Да что правильно, что? — зло дернулся Федор. — Ты меры прими, понял? Она у меня дура, ей что наговорят, то она и делает. А я позора

такого…

— Ты, Федя, взвесь все, — мягко перебил Иван. — Ты подумай.

— Так ведь на тебя же — в суд-то!..

— Ну и что? — Иван помолчал. — Если б я преступление совершил, тогда… И тогда было бы правильно, Федя.

— Дурак ты, капитан!.. — Федор дернулся, скрипнул зубами. — Ты, это, не сердись. Не давай ты ей воли, Трофимыч. Позор выйдет. Один позор.

— Посоветоваться бы надо, Федя. С юристом.

— Не надо. Не хочу я этого. Не хочу!…Обещаешь?

— Ладно, Федя.

— Ну, затем и звал. А сейчас иди. Сестру покличь: боли, мол, начались…

В Юрьевец для консультаций приехал профессор из самой Костромы. Иван случайно узнал об этом и кинулся в больницу. Главврач, недовольно хмурясь, написал записку, предупредив, что профессор — человек занятой и вряд ли согласится ехать в такую даль. И Иван тут же решил, что уговорить заезжую знаменитость сможет только Сергей.

— Понимаешь, я две недели Сашка не видал…

— Что за вопрос, капитан! — улыбнулся помощник. — Надо — значит, надо.

Иван выправил документы на рейс, долго объяснял, как идти, куда швартоваться, где искать профессора. Потом отдал чалку и стоял на берегу, пока катер не скрылся за дальним поворотом.

Налегая на палку, он медленно взбирался по крутой тропинке к поселку. Конечно, можно было пройти до лестницы и подняться по ней, но Иван всегда ходил только здесь. Это была тропинка его детства — узкая, утоптанная до бетонной твердости: даже палка не оставляла следов. Когда-то он на одном дыхании взлетал наверх, а теперь полз с остановками, приволакивая хромую ногу.

Наверху он оглянулся, но катера не увидел даже за первой излучиной: видно, шел «Волгарь» куда ходче своего капитана.

У ворот бревенчатого, в три окна дома он остановился. Низкий штакетник захлестнула малина, и с улицы двор не проглядывался. Иван одернул пиджак, застегнул на горле ворот рубахи, пригладил волосы и распахнул калитку.

За столом в палисаднике полная женщина перебирала клубнику. Она без улыбки посмотрела на Ивана, неторопливо заправила под косынку подбитую проседью прядь.

— Здравствуй, Иван.

— Здравствуй, Надя. — Иван присел, вытянув усталую ногу. — А где же Сашок?

— Сынок! — крикнула женщина. — Сынок, папа пришел!..

Прибежал Сашок, и они долго и старательно мастерили планер, руководствуясь крохотным чертежиком из «Юного техника».

— Ты, сынок, когда с мелочью какой работаешь — клеишь, к примеру, крючок к леске привязываешь или еще что, — языком зубы считай, — говорил Иван, оклеивая бумагой легкие крылья.

— А зачем?

— Для порядка. Сосчитал в одну сторону, тогда считай в другую. Глядишь, и не порвешь ничего, не сломаешь. Работа, Сашок, терпеливых любит, слушается их.

Это был его день. Он выторговал его, когда сын еще ползал по полу, и в такие дни они были только вдвоем: строили, чинили, бродили по лесу или ловили рыбу. Он просто учил сына тому, что знал сам. Поначалу казалось, что знаний этих много — целая жизнь, — но год от году становилось все труднее, и Иван с горечью чувствовал, как гаснет в сыне восхищение его рабочей сноровкой…

Профессор долго читал записку, все время нервно встряхивая листок.

— Это далеко?

— Шесть часов ходу, — сказал Сергей. — Против течения.

— Против течения — это очень хорошо, — неожиданно усмехнулся профессор. — В девять вечера зайдите за мной. Сюда.

Он сунул записку в карман и пошел наверх: на лестничной площадке ждали двое в белых халатах.

— Спасибо! — с опозданием крикнул Сергей, а Еленка испуганно дернула его за рукав:

— Тише!..

Они вышли на улицу.

— А вдруг поможет? — вздохнула Еленка. — Знаешь, мне Пашу жалко. И Федю, конечно, но Пашу — жальче.

— Она и сама жалкая, — сказал Сергей. — Живет голову втянув, словно вот-вот кто-то ударить должен.

— Так оно и есть, Сережа... — Еленка по-бабьи поджала губы. — Доля у баб такая — каждую минуту удара ждать.

Сергей посмотрел на нее, расхохотался, вдруг шутливо обнял.

— Пусти… — Еленка высвободилась и, чувствуя, что краснеет, поспешно отвернулась. — Может, в кино пойдем?

В кассах широкоэкранного кинотеатра толпились люди. Сергей быстро разобрался, в каком окошке дают на текущий сеанс, занял очередь. Еленка стояла рядом, искоса остро, изучающе поглядывая на соседей.

— Смотри, смотри! — не выдержав, зашептала она. — Чулки красные, а туфельки — черные…

— Ну и что? — спросил Сергей, бесцеремонно оглядев проходившую мимо девушку.

— Смешно. Как гусыня.

— Ты бы не надела?

— Да что ты!.. — Еленка тихо рассмеялась. — Что же тут хорошего?

— Мне нравится, — сказал Сергей.

— Красные ноги?.. — поразилась она.

— Красивые ноги, — поправил он.

— А-а… — смущенно протянула Еленка и замолчала. Потом спросила вдруг: — А когда коленки торчат, тоже нравится?

— Если красивые.

— Что же в них может быть красивого? Коленки и коленки…

— У тебя, например, красивые, — улыбнулся

он.

Еленка поспешно отвернулась. Сергей усмехнулся: ему нравилось вгонять ее в краску.

Очередь двигалась медленно, и Сергей уже начал поглядывать на часы: до сеанса оставалось десять минут.

— Там без очереди не пускайте! — крикнул он.

— Все нормально, — лениво отозвались от кассы.

У дверей раздался шум, очередь заколыхалась, и хриплый бас пьяно и весело прокричал:

— Кто последний, что дают?..

Сквозь толпу ломился лохматый рослый мужик в серой, вольно распахнутой на груди рубахе.

— Расступись, народ!..

— Рычало… — прошелестело в очереди, и люди начали вжиматься в стенку.

— Пьяный…

— А он и не просыхает…

Рычало пролез к кассе, загородил окошко:

— Что осталось, красавица?

Очередь послушно молчала. Что-то неразборчиво ответила кассирша, и вновь пророкотал хриплый бас Рычалы:

— А интересно?

Сергей вдруг шагнул вперед, схватил за плечо

Рычалу, рванул к себе:

— А ну, убирайся отсюда!..

— Я?.. — Рычало непонимающе моргал пьяными глазками. — Это ты — мне?.. — Он чуть ворохнул плечом, сбросил руку, повернулся, огромный, уверенный. — Ах ты, морячок-дурачок!..

Сергей подобрался и, нырнув под руку, что есть силы ударил кулаком в живот. Рычало охнул и стал оседать на пол, хватая воздух.

Очередь молчала, скорее с удивлением, чем с восторгом глядя на него. Еленка сжала локоть, ткнулась лбом в грудь:

— Напугалась я…

— Ладно. — Он закурил, хотя в помещении курить воспрещалось, улыбнулся.

Прозвенел третий звонок, но они успели войти в зал и разыскать свои места. Почти полкартины Сергей глядел на экран не понимая, но потом успокоился, отвлекся и к концу успел посочувствовать герою, попавшему в неприятную историю. Еленке фильм очень понравился, потому что был без стрельбы и герои обретали счастье.

Они сидели далеко от выхода и попали на улицу с последними группами зрителей.

— Солнышко-то какое!.. — радостно улыбнулась Еленка.

— Надо на катер глянуть, — озабоченно сказал Сергей.

Пошли к пристани напрямик, через пустырь. Еленка задирала голову к солнцу, щурилась, морща нос. Сергей усмехнулся:

— Щуришься, как котенок.

— Эй, морячок!..

Они оглянулись: нагонял Рычало.

— Отойди, — тихо сказал Сергей Еленке.

— Сережа… — Беспомощно оглядываясь, она схватила его за руку. — Тебе совестно, так я закричу, а?.. Закричу, Сережа. Может, с ножом он…

— Отойди!.. — резко повторил Сергей и пошел навстречу Рычале.

Они остановились в двух шагах друг от друга. Рычало тупо моргал красными глазками и молчал.

— Что надо? — спросил Сергей. Рычало упорно молчал, шмыгая толстым бородавчатым носом. Ветер шевелил его редкие седые волосы.

— Что надо? — повторил Сергей.

— Зачем ударил?.. — тихо спросил Рычало. — Зачем, а?.. Не трогал ведь тебя, никого не трогал. А что пошумел, так ведь без злобы. Все знают.

Инвалид я, осколок у меня в брюхе. Немецкий осколок. А в него — кулаком. За что же так, а?..

— Еще хочешь?

— Эх ты… — Рычало тяжело вздохнул и опустил голову.

— Пошел прочь, пьяная морда, — брезгливо сказал Сергей и, не оглядываясь, вернулся к Еленке.

— Что? — с тревогой спросила она.

— Так, — усмехнулся Сергей. — Прощения просил.

Она засеменила рядом, сбоку заглядывая в лицо Сергею.

— А ты — смелый.

— Приходилось, знаешь, — нехотя сказал он.

Катер сиротливо стоял в дальнем углу причала. Сергей проверил запоры, чалку, вернулся на пристань.

— Пошли в ресторан.

— В ресторан?.. — Еленка никогда не была в ресторане и испугалась: — Что ты, Сережа!

— А что? Выходной — вроде праздника.

— Нет, нет. Совестно как-то. И дорого, поди.

— Да что там дорого, совестно! Мы хозяева, понятно? Для нас — все: и кино и рестораны. Земля для нас вертится, а ты — совестно!.. — Он взял ее за руку. — Пошли.

— Нет. — Она решительно высвободила руку. — Я обед сготовлю. Любишь окрошку? На рынке квас продают.

— Ну крой. — Он чуть сжал ее руку и улыбнулся, и она в ответ смущенно и радостно заулыбалась.

Еленка вернулась с рынка бегом. Перебралась на катер, открыла дверь рубки хитро загнутой проволокой, спустилась в кубрик. На столе стояли три бутылки жигулевского пива, лежал кулек с конфетами и полкило чайной колбасы. Еленка съела довесок и начала готовить зелень для окрошки: ей очень хотелось, чтобы обед получился не хуже, чем в ресторане.

Вскоре пришел Сергей. Положил на стол две банки консервов, пощупал пиво.

— Пивко-то я не сообразил за борт опустить!

— А консервы зачем? — Еленка неодобрительно покачала головой: — Это же так, баловство, а я мяса купила.

— Мясо — к ужину, — сказал он, вскрывая перочинным ножом консервы. — Профессора кормить будем: путь не близкий.

— Верно, Сережа. — Еленка разложила по тарелкам зелень, нарезала хлеб, колбасу. — Садись.

— Ну, ты прямо шеф-повар! — улыбнулся он. — Доставай стаканы, я сейчас.

— Чего забыл?

— Утопленника!.. — весело крикнул он с трапа. Еленка достала стаканы. Вернулся Сергей, неся мокрую бутылку. К горлышку была привязана бечевка.

— Час в воде полоскал, а все — теплая.

— Напрасно. — Еленка строго поджала губы. — И не к месту и не ко времени.

— Ее всегда ко времени! — Сергей зубами надорвал пробку, разлил по стаканам. — Давай, матрос. Чтоб плавалось.

— Ой, много…

— Пивком запьешь. — Он открыл пиво, принес стакан, налил. — Ну, залпом, по-флотски.

Водка была теплой, противно перехватывала дыхание, липла к горлу. Еленка вообще не любила ее, пила только в компании, да и то для виду, но Сергей был так настойчив, так заглядывал в глаза, что Еленка совсем закружилась. Она чувствовала удивительную свободу и легкость, охотно смеялась его шуткам, а после обеда даже закурила, держа папиросу в кулаке и шумно выдыхая дым.

— Вот ты, девочка, и осовременилась, — весело сказал Сергей. — А то такой монашкой живешь, что аж злость берет: тихая да серенькая, как

мышка.

— У мышки хвостик есть. — Еленка старательно выговаривала слова. — Хвостик да домик. А у меня, Сереженька, ничего: ни хвостов, ни домов.

— Да и я такой же, — вздохнул он. — Отца на фронте убили, мать померла, когда я еще в техникуме учился. Вот и выходит, что мы с тобой как брат с сестрой… Ты откуда в этих краях вынырнула?

— Издалека, Сереженька, издалека, — нараспев сказала Еленка.

Она уже не смеялась, и улыбка, забытая на лице, казалась заученной и потому жалкой. Сергей пересел ближе.

— Ну, ты что? Брось. — Он обнял ее за плечи, прижал к себе. — Слышь, матрос, гляди веселей!

— Было ведь, все было, Сереженька, — тихо всхлипывая, говорила Еленка. — И дом был, и подружки, и парнишечка. И любовь была, Сереженька… Та, что нам только разик дается. Вот я себя и не пожалела, когда в армию он уходил. Все ему отдала, а написали, что гуляю, и — поверил. Вернулся, насмеялся надо мной, перед всеми выставил да и бросил. Бросил, как окурок, бросил!..

Она залилась слезами, уже не сдерживаясь. Сергей, торопясь, целовал мокрое лицо. Еленка

не отталкивала его, то ли не понимая, то ли по-детски зайдясь в плаче.

— Зачем? — перестав вдруг плакать, тихо сказала она. — Не надо этого, милый, не надо… Слышишь?..

Она бормотала эти привычные женские слова, а руки сами собой уже гладили его плечи.

— Оставь… Оставь, Сережа, милый… Ну, что ты делаешь со мной, что?..

…Вася третий час выбирал подвесной лодочный мотор. Ощупывал каждую деталь, осматривал крепления, по буковкам сравнивал паспорта. Продавец давно перестал обращать на него внимание, и Вася очень страдал, что не может ни с кем посоветоваться.

— Скажите, товарищ продавец, а можно обменять, если что? — набравшись смелости, спросил он.

— Ну а что может быть? — лениво спросил продавец. — Завод гарантирует, что тебе еще надо?

Вася вздохнул, еще раз сличил паспорта и вдруг решил, что загадает: если мотор будет хорош, то Лидуха родит ему парнишку, а если, не дай бог, сломается, то девчонку. А загадав, сразу повеселел и протянул продавцу паспорт:

— Этот. Выписывайте.

Расплатившись, Вася взвалил на плечо покупку и пошел к пристани. Местный пароходик, курсирующий между Юрьевцем и их затоном, отходил вечером, но Вася надеялся, что подвернется какой-нибудь буксир. Еще издали, оглядывая пристань, он увидел притулившийся в уголке знакомый катер.

— Трофимыч!.. — крикнул он, бережно сняв с плеча «Стрелу». — Иван Трофимыч!..

Никто не отозвался. Дверь рубки была открыта, и Вася, перетащив ящик на палубу, заглянул в кубрик: там было темно, но слышался негромкий храп.

Сгорая от нетерпения похвастаться покупкой, Вася тихо спустился по трапу. Нащупав пол, остановился и деликатно кашлянул, рассчитывая, что спящий проснется.

— Кто?.. — испуганным шепотом спросила Еленка.

— Это я… — растерянно сказал он. — А Трофимыч?

— Нет его, нет, — испуганно бормотала Еленка, торопливо натягивая платье. — Кто тут? Зачем?

— Да это я, Василий… — Он увидел голого по пояс Сергея, разбросанную одежду, бутылки на столе и замолчал.

Еленка перелезла через спящего, спрыгнула на пол. Отвернувшись, застегивала платье.

— Заснула я, — жалко бормотала она. — Мы за профессором тут. Жара такая…

— Да. — Вася растерянно топтался у входа. — Жарко конечно. Домой скоро ли пойдете?

— Нет, не скоро, нет… — Еленка стояла к нему спиной, лихорадочно поправляя волосы. — Ночью пойдем. А то и утром.

— Я на рейсовом тогда, — сказал Вася и полез наверх.

Он вышел на палубу, взвалил на плечо «Стрелу».

— Стерва!.. — громко сказал Вася и плюнул.

Профессор не помог Федору. Осмотрел, посоветовал не отчаиваться. Федор выслушал это молча, а сестру послал длинным матерком и потребовал, чтобы немедля отправляли домой. Доктор с трудом успокоил его.

На «Волгаре» все вроде бы шло заведенным порядком. Только Еленка вдруг перестала ходить на занятия, два вечера проторчала на катере: перестирала Иваново бельишко, починила рубашки. Иван звал ее к старикам, но она отказалась.

— Зря Еленка курсы бросила, — сказал за ужином Сергей. — Сил на это особых не надо, а

бумажку получить всегда полезно. Поговорил бы ты с нею, капитан.

Иван поговорил. Еленка долго и как-то странно смотрела на него, а потом сказала:

— Раз велите — буду ходить.

— Надо, Еленка, — сказал Иван.

Еленка покивала и ушла в свой угол. Она вообще стала какой-то тихой, вялой, покорной. Иван все приглядывался к ней, хотел расспросить, что случилось, да так и не собрался.

С Сергеем капитан виделся только на работе. Даже в свободные от занятий вечера Сергей куда-то уходил, возвращался поздно и сразу заваливался спать. Как-то Иван видел его с Шурой, подумал, что завертела-таки помощника девка, но как раз в тот вечер Сергей вернулся злой, а когда курили перед сном на палубе, сказал:

— Давай, капитан, в те дни заправляться, когда этой заразы на нефтянке не будет.

Завелись у него и друзья: ходил играть в карты к инспектору рыбоохраны, выходные проводил на гензапани. Но занятия не пропускал, по-прежнему тщательно к ним готовился, да и на работе неизменно был улыбчив и безотказен.

Только в субботу он решительно отказался везти на гензапань проволоку.

— В понедельник отвезем, — сказал он диспетчеру. — Закон есть закон: короткая суббота.

— Сходим, Сергей, — не очень уверенно сказал Иван. — Все равно делать нечего.

— Вечерок у меня занят, капитан. — Сергей покосился, помолчал, потом спросил: — К старикам не собираешься?

— Можно.

— Еленку с собой прихвати, — приглушенно сказал Сергей. — Понимаешь, друзья придут, ну и… Словом, помещение нужно.

— Можно, — еще раз согласился Иван: ему не понравились подмигивания Сергея. — Пойдешь куда на катере-то?

— Не сомневайся, капитан: в двенадцать буду на месте.

Идти к старикам Еленка наотрез отказалась, и Ивану пришлось прикрикнуть на нее. Она испуганно глянула, торопливо закивала:

— Иду, иду, не надо…

Было в ней что-то пришибленное. Иван крякнул с досады, но промолчал, а спросил уже по дороге:

— Ты вроде боишься меня?

— Нет, что вы. — Еленка опустила голову.

— Тихая ты что-то больно. Здорова ли?

— Здорова.

— Может, обидел кто? — не унимался Иван.

— Да что вы, Иван Трофимыч! — Еленка остановилась, глядя в сторону. — Говорю вам, что все в порядке, а вы — свое. Так лучше уж вместе не ходить…

— Ну, ладно, — проворчал Иван. — Не такая ты какая-то, вот и спрашиваю.

Больше они не разговаривали. За тяжелым рубленым столом на барже удобно было молчать.

— Ну, чтоб ходилось вам и плавалось.

Раздался стук, и в комнату вошли Лида и Вася.

— Можно, что ли, хозяева?

— Ну, пойдет теперь музыка! — радостно крикнул хозяин, углядев в руках у Васи бутылку водки. — Теперь разговеемся!..

— Здравствуйте, — сказала Лида и чинно подала старухе кулек с конфетами.

Еленка вдруг вскочила, точно собираясь бежать, но Авдотья Кузьминична мягко потянула ее на место. Еленка затравленно оглянулась, схватила стакан и залпом выпила водку. Закашлявшись, опустилась на стул, пряча запылавшее лицо.

— Вот это да! — удивленно сказал шкипер. — Только чего вспыхнула-то? Чего застеснялась?

— Задохнулась она, — сказала старуха. — Пол-

стакана хватила враз. Отдышись да закуси, а то спьянишься. Возьми, Лидуха, стаканы в шкапике, да садитесь к столу, гости дорогие.

— Поспел ты, Василий, к самому почину. — Шкипер налил Васе, опять поднял стакан. — Ну, волгари, за Волгу-матушку!

— Ох, балабон! — вздохнула старуха. — Талах ведь был, голь перекатная, босота волжская, а меня, единственную дочку, так заговорил, так забалабонил, что из отчего дома в угон взял.

— В угон? — удивилась Лида. — Это как же?

— А так: нанял тройку, усадил да и махнул на удалых сорок верст без передыху. Поп-пьянчужка обвенчал в селе Кудимове, да с тем и стали мы жить: по Волге мотаться из конца в конец.

— Хорошо, мать, жили, — улыбнулся шкипер. — Не было у нас ни кола ни двора, а морщиночки у тебя все-таки от смеха появились.

— Жили-то хорошо, а доживаем как?

— Ничего, Авдотья Кузьминична: нашего от нас никто не отымет, корня то есть. Добрый у нас с тобой корень: от босоты волжской мы идем, и нет нам ни сносу, ни износу.

— Корень, — вздохнула она и нахмурилась. — Изведут этот корень, и чихнуть не поспеем.

— Это кто же изведет-то? — поинтересовался

старик.

— А бабы нынешние, вот эти вот. — И Авдотья Кузьминична сердито ткнула в плечо Еленку.

— Да что вы, Авдотья Кузьминична? — удивилась Еленка. — Да за что же вы меня так?

— А чего не рожаешь? — строго спросила старуха. — Чего не рожаешь-то, бабонька?

— Ой, ну что вы… — Еленка еще ниже опустила голову, то заплетая, то расплетая бахрому льняной скатерти.

— Кабы ты одна была, то и бог с тобой, — все так же строго продолжала старуха. — А ныне, куда ни глянь, все такие!.. Ездила я прошлой зимой к Зинке, дочке своей. Отдельная квартира, мужик собственный, а детишек — ровнехонько один Андрюшечка. Я глянь-поглянь: у всех так, у всех по одному, а двое — так совсем редко. Ровно мода какая или указ… — Она вздохнула, глянула на Еленку. — Вот и ты, бабонька, такова ж. А жизнь знаешь что такое? Верть-поверть — и смерть. Спохватишься — выть будешь, локти кусать, да поздно, прошел твой час…

Еленка вдруг вскочила, крепко уцепившись за край стола.

— Разошлась ты, мать, — сказал старик.

— Все тут, Григорьич, к месту говорено, —

вздохнула Авдотья Кузьминична. — Или не к месту, Иван?

Иван промолчал, а шкипер поднял стакан с остатками водки.

— За это и выпьем, Иван Трофимыч. Вот за это самое. Чтоб, значит, и тебе ветер переменился. Не все чтоб в лицо дул, а хоть изредка да в спину подталкивал.

— За это и я выпью! — громко сказала Еленка. — Она взяла стакан, шагнула к Ивану. — За вас, Иван Трофимыч.

Выпила не отрываясь, опрокинула стакан вверх дном и только после этого села на место, слепо тыча вилкой в скользкую сыроежку.

— Будьте здоровы. — Вася чокнулся.

— Спасибо, люди добрые, — тихо сказал Иван. — Дай вам бог, как говорится.

Некоторое время они закусывали молча, не решаясь нарушить вдруг возникшей тишины. Старик недовольно крякнул:

— Сбила ты, мать, со здравия на упокой!

— Так ведь не все же ай-ай-ай, надо и ой-ой-ой, — сказала старуха. — Теперь почаевничаем да и поговорим.

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя…» — затянула Лида.

Старик подхватил, остальные молчали.

— Нейдет, — вздохнул шкипер. — Без тебя, Еленка, ничего не вытянем.

— Не смогу я, Игнат Григорьич, — сказала Еленка, наливая чай. — Не тянет что-то на песни.

— А на танцы тянет? — вдруг громко, зло спросил Вася, в упор уставившись на нее.

Еленка неторопливо передала стакан с чаем, повернулась, глянула в глаза.

— Может, спляшем?

— И то дело, и то! — обрадовался старик. — Тащи, Лидуха, гитару, ежели не рассохлась она от тихой жизни!

Лида подала гитару. Шкипер подстроил ее, рванул струны, и Еленка, выбив дробь, пошла по комнате:

Милый мой по Волге плавал,
Утонул, проклятый дьявол!
Я одна, одна, одна:
Не достать его со дна!..

Она лихо отбила приглашение, но Вася не шевельнулся: сидел набычившись, недобро поглядывая.

— Что, Васенька, коленки слабы? — пригнувшись к нему, вздохнула Еленка.

Ноги ее безостановочно дробили пол. Вася отвел глаза, буркнул:

— Напилась?

— А ты видел? Видел?.. — почти выкрикнула она. — Ну, так и молчи. Молчи!..

Она вызывающе тряхнула головой и в полный голос неожиданно завела:

— «Хаз-булат удалой, бедна сакля твоя!..»

— «Золотою казной я осыплю тебя», — вмиг пристроившись, осторожным басом подхватил шкипер.

Пели долго, пока не ушли Вася с Лидой. А как захлопнулась за ними дверь, Еленка оборвала песню.

— Ну, и нам пора, — сказал Иван, вставая. — Спасибо, хозяева дорогие…

Было темно и очень тихо, когда они вышли на палубу. Теплым комком ткнулся в ноги Дружок и сразу же убежал на край баржи, где ударил топляк о замшелый борт. Черная вода чуть плескалась в сходни.

— Качается все, — шепнула Еленка, прижавшись к Ивану. — Я держаться за вас буду.

Он осторожно провел ее на берег, но и здесь она не отодвинулась, а все так же, путая шаги, прижималась к боку, и он обнял ее за прохладные,

узкие, как у девочки, плечи.

— Не замерзла?

— Ножки не идут, — тихо засмеялась Еленка. — Не идут ножки домой.

Иван молчал, бережно поддерживая ее. Ему было хорошо и покойно, и он готов был идти вот так целую ночь по заваленному бревнами берегу, слушать ее бестолковый, ласковый шепот и молчать. Но прошли они всего несколько шагов, как Еленка остановилась, и он совсем близко увидел ее лицо: глаза казались огромными.

— Пойдем к деревне, — торопливым, очень деловым шепотом сказала она.

— Зачем?

— Пойдем, пойдем. Там тихо. Там нет никого, там...

Шли в темноте, спотыкаясь о бревна, путаясь в клубках ржавой проволоки. Еленка предупреждала, не оглядываясь:

— Бревно. Шагай левей. Проволока тут. Осторожно.

Заваленный бревнами берег кончился, под ногами мягко оседал песок. У обрыва Еленка остановилась, обняла, отстранилась вдруг...

— Сядь.

Он покорно сел, неудобно вытянув хромую

ногу. Еленка лежала на спине, согнув колени: платье соскользнуло, и он все время видел эти белые колени, тесно прижатые друг к другу. Сердце его билось тяжело и неровно; чтобы успокоиться, он закурил.

— Куришь зачем?

Он промолчал: ему не нравилось, что они сидят здесь, точно двадцатилетние, очень не нравилось. Но не было сил ни встать, ни сказать ей, что лучше уйти отсюда.

Легкие пальцы коснулись лица. Он вздрогнул: совсем как там, на катере. Она ласково отобрала папиросу, взяла его за руки, потянула к себе:

— Ну иди же, иди ко мне, иди…

Иван скорее угадал, чем расслышал эти слова: в висках стучало. Он качнулся к ней, выворачивая непослушную ногу. Еленка тянула за руки, и костыль, который лежал между ними, вдруг острым концом уперся в ребро, а она все тянула и тянула, шепча что-то…

Он опомнился. Рванулся, тяжело вскочил, поднял палку.

— Не звери мы, понятно? Не звери!..

Спотыкаясь, он бежал по берегу. Упал, налетев на бревно, поднялся, снова, не оглядываясь, спешил вперед, с силой налегая на костыль…

Катер уже стоял у затопленной баржи. Иван, оступаясь, спустился в кубрик. Сергей убирал со стола, складывая грязную посуду в ведро.

— Прибыл по расписанию, капитан.

Иван молча прошел в свой угол, вытащил одеяло, швырнул в изголовье подушку. Потом вдруг, грохоча, полез наверх.

Сергей вытер стол и, взяв ведро, вышел на палубу. Иван, сгорбившись, курил на моторном люке. Сергей зачерпнул воды, неторопливо перемыл посуду. Уже уходя, спросил:

— А Еленка где же?

Иван промолчал. Сергей спустился в кубрик, расставил посуду в шкафчике, постелил и лег, а Иван все не возвращался…

Проснулся Сергей от грохота.

— Ты, капитан?

— Я… — негромко, с длинной паузой отозвался Иван: он, согнувшись, шарил на полу костыль.

Сергей потянулся к лампочке, включил: Еленки не было.

— Еленка у стариков ночует, что ли?

Иван подобрал палку, полез наверх. Высунулся вдруг уже из рубки:

— Искать пойду.

— Кого?.. Да погоди же, капитан!

Сергей торопливо оделся, нагнал уже на берегу: Иван спешил, налегая на палку.

— Еленку искать? Ты чего молчишь-то?

— Обидел я ее, — глухо отозвался Иван. — За что обидел, а?..

— Где она? — помолчав, спросил Сергей.

Иван не ответил. В ночной тишине пронзительно громко скрипела палка, вонзаясь в песок. С низин в реку сползал туман. Сергей зябко передернул плечами.

— Выпил я вечером, только уснул, пригрелся…

— Жена ведь она мне, — вдруг точно самому себе сказал Иван. — Жена, а я — обидел. Зачем, а?.. Это же все равно что ребенка ударить, это же невозможно. Сердце у нее простое, открытое, а я — сапогом по нему, сапогом!.. Где же искать-то ее теперь, в реке?

— Да что ты, капитан. — Сергею вдруг стало страшно. — Да опомнись, что ты… Где расстались-то?

— Там. — Капитан ткнул палкой в рассветный полумрак: нагромождение бревен, старых пачек, сплоточной проволоки. — Как к деревне подниматься.

— Еленка! — крикнул Сергей. — Еленка!..

Прислушались: ответа не было. Иван снова

зашагал — напролом через завалы сохнувших на берегу топляков.

— Еленка! — еще раз крикнул Сергей. Послушал, догнал Ивана. — Может, она на баржу спать ушла, к старикам?

Иван молча шел впереди, больше обычного приволакивая ногу. Сергей еле поспевал за ним.

Старики уже поднялись. Хозяйка растапливала печку, шкипер шуровал наверху: к началу рабочего дня приходили к барже катера за тросами, сплоточной проволокой, цепями.

— Куда спешишь, Иван Трофимыч? — весело окликнул он. — Старые троса я без очереди выдаю.

— Еленка не у тебя, Григорьич?

— Потерял? — рассмеялся шкипер. — Ну, Иван, ну, орел.

— Пропала она, Игнат Григорьич, — тихо сказал Иван, обессиленно опустившись на кнехт. — Ночью-то обидел я ее…

Дружок, повизгивая, радостно тыкался в колени. Рыжий, злой как черт кот Васька лениво дремал на крыше, одним глазом наблюдая за собакой.

— Вот дела, — растерянно протянул шкипер. — Лишку она вчера хватила, это точно.

— Может, заявить куда? — Иван вскочил, прошелся. — Может, в реке искать?

— Не дури, Иван, и голову не теряй, — строго сказал старик. — Заводи катер да сбегай к Василию: там она может быть. А нет…

— Ясное дело, у Лиды она! — радостно крикнул Сергей. — И как это мы сразу не сообразили.

Возвращались — затон уже работал. Первые катера требовательно сигналили, отваливая от причалов; грохотали цепи на подъемном кране — «Гансе», как его называли здесь; сиплыми, сорванными голосами костерили кого-то плотовщики.

— Иван Трофимыч, за баржой давай! — крикнули из диспетчерской. — Под погрузку просят!

— Погоди! Тридцать минут погоди!..

Еленки на катере не было. Иван завел мотор, крикнул помощнику, чтоб отдал чалку. Сергей спрыгнул на затопленную баржу и тут увидал Еленку: она стояла на берегу, словно раздумывая, идти ли на катер.

— Есть пропажа, капитан! Нашлась!..

Иван выскочил из рубки, больно ударившись ногой о высокий комингс. Увидел, полез закуривать, смахнув со лба выступивший вдруг пот.

— Где гуляла? — сердито спросил Сергей.

Еленка незряче глянула, прошла мимо. Платье было измято, лицо осунулось, синие круги легли под глазами. Мужчины переглянулись.

— Иди за нарядом, — устало сказал Иван.

Спустился в кубрик. Еленка сидела в углу, сгорбившись, сунув ладони между колен. Глядела в пол, в одну точку, и Иван, как ни старался, не мог поймать ее взгляда.

— Ты где была?

Еленка не ответила, не шевельнулась. Иван потоптался, буркнул:

— Ладно, завтрак готовь. Сейчас за баржой пойдем.

Она подошла к печке, присела перед ней да так и застыла, словно забылась.

— Мы, понимаешь, всю ночь с Сергеем бегали.

— С Сергеем?

— Тебя искали!.. — Иван обрадовался, что она заговорила, заулыбался. — Весь берег обскакали, наорались до хрипоты. У стариков были.

— Зачем?

— Думали, у них ты.

— Бегали зачем, спрашиваю? Не надо за мной бегать, не маленькая.

Она говорила устало, равнодушно, словно не с ним, а с кем-то посторонним. Он больно

почувствовал это, замолчал. Еленка медленно — щепочку за щепочкой — клала растопку. Много клала: больше, чем надо.

— Ты это… не сердись, — тихо сказал он. — Нельзя так, понимаешь, не дети.

Она подожгла растопку, прикрыла дверцу.

— Не пойму: прощения просите, что ли?

— Ты где ночевала? — нахмурившись, спросил он.

— А вам что за дело, Иван Трофимыч? — Она впервые посмотрела на него, и он увидел ее пустые, словно высушенные глаза. — Вы мне не свекор, не отец. Что вам-то за интерес?

— Я тебе… муж, — с трудом сказал он.

— Муж? — Она усмехнулась. — Не-ет, не муж. Муж женой не побрезгует, а вы побрезговали. А теперь спрашиваете, где ночевала. Так нашлись добрые люди, приютили, не побрезговали.

В печке с шумом прогорала подтопка. Они оба забыли про нее, они видели только друг друга.

— Зачем ты врешь? — тихо спросил Иван. — Зачем ты выдумываешь, опомнись.

— Выдумываю? — Еленка улыбнулась. — Не-ет, не выдумываю. Адресок могу дать, если хотите…

— Замолчи!.. — крикнул он, что есть силы треснув палкой о стол.

Отскочивший конец со свистом пронесся мимо Еленки. Она еще выше вздернула голову, шагнула к Ивану, уже не помня себя:

— Жалела я вас, убогого! Жалела, понятно? Вы же всех обидеть боитесь, всего боитесь, а туда же: муж!.. Жалкенький вы, блаженненький, только что на коленях не стоите. А ведь стояли бы, если б захотела, стояли бы как миленький, стояли бы!..

Она кричала что-то еще, но Иван уже ничего не слыхал. Кровь отхлынула вдруг от сердца, туго ударила в голову, розовые круги поплыли перед глазами.

— Готово, капитан! — крикнул с палубы Сергей. — Отваливай!

— Веди сам, — тихо сказал Иван, из последних сил держась на ногах. — Я покурю. Покурю только…

Курил он долго. Сергей несколько раз заговаривал с ним, но Иван отвечал односложно, и помощник оставил расспросы. Зачалил катер, спустился в кубрик.

— Что с Иваном?

— Что? — спросила Еленка.

— С Иваном что, спрашиваю?

— А-а. Не знаю.

Сергей посмотрел на нее, пошел к трапу.

— А со мной что? — вдруг спросила она. — Не спрашиваешь? Неинтересно?

— Интересно, — сказал он и полез на палубу.

Иван сидел сгорбившись, опустив плечи. Сергей окликнул его, но тут послали тянуть воз, и Сергей пошел чалиться и до обеда совсем позабыл про капитана. Вспомнил, когда Еленка крикнула снизу:

— Обедать!..

— Обедать?.. — переспросил Иван. — Да, да. Иду.

Он спустился в кубрик, сел на свое место. Еленка поставила перед ним миску, но он отодвинул ее и спросил чаю. Выпив две кружки, впервые поднял на Сергея глаза:

— Я полежу, а? Справишься один?

— Конечно! — Сергей метнулся к дивану, раскинул постель. — Что за вопрос, капитан. Отдыхай.

Он лег, отвернулся к стене и так, не шевелясь, лежал, пока не кончился рабочий день. Слышал, как Сергей чалился, как шепотом уговаривал Еленку идти на занятия, как звенели под их ногами ступени трапа, как наконец затихло все; он остался один. Тогда он вылез на палубу и послал за водкой парнишку, что рыбачил с затопленной баржи.

Парнишка смотался мигом. Иван спустился вниз, сел к столу, налил полный стакан и заплакал.

Наутро он с трудом поднялся с постели. Сергей глянул на его серое лицо, свистнул:

— Лежать, капитан. Лежать пластом. Сам справлюсь.

Несколько дней он отлеживался, ничего не ел. Еленка бегала за молоком, Сергей раздобыл где-то меду. Отпаивали его, уговаривали, Сергей гнал к врачу — Иван только тряс головой.

А потом прошло. И ночью Иван сам выбросил за борт поломанный костыль.

…Утром в диспетчерской Ивану сказали, что его срочно просили зайти к юрисконсульту. Зачем, почему — никто не знал.

— Видно, насчет ссуды Никифорову, — предположил Иван. — Директор при мне обещал разобраться.

— Хорошо, если не насчет сена, — тихо сказал Сергей.

Старшего юрисконсульта Ефима Лазаревича Иван знал с войны: кругленький, седенький, чрезвычайно живой юрист и тогда был точно таким же, как и сейчас.

— Здравствуйте, Иван Трофимович. — Он обеи-

ми руками пожал жесткую руку Ивана, подождал, пока тот сядет. — Оторвал от работы — извините великодушно. Служба, знаете!..

Он деловито полез в стол. Порывшись, выудил тоненькую папку, раскрыл ее и, нацепив очки, долго читал какие-то бумажки. Иван сидел не шевелясь: в крохотном кабинетике стояла строгая тишина.

Ефим Лазаревич закрыл папку, снял очки, задумчиво потер переносицу.

— Как дела у вас, Иван Трофимович? Как «Волгарь» бегает? Вы курите. Курите, бога ради, не стесняйтесь.

Иван закурил, коротко рассказал новости, упирая больше на то, что положение Федора безнадежно и что в семье — семь ртов. Юрист вздыхал, поддакивал, качал круглой, поросшей седым пушком головой.

— Да, Иван Трофимович, да. Большое несчастье, очень большое. А как все это случилось? Знаете, с подробностями, если припомните. Очень важно — с подробностями.

— С подробностями?.. — Иван не помнил никаких подробностей, а то, что помнил, считал незначительным. Передал коротко, как рвануло запань, как удалось ему аккуратно сдать воз:

благо, случилось все на развороте и плот сам пошел в Старую Мельницу. — …Ну а Федора — как подрезало…

— Да, — сказал юрист. — Жаль, что подробностей не помните… Значит, у борта стоял Никифоров?

— У самого борта, — подтвердил Иван. — За плотом следил, знаки мне подавал: мне из рубки назад плохо глядеть, не видно.

— А по инструкции где должен стоять?

— По какой инструкции?

— Ну, есть же инструкция по технике безопасности?

— А-а… — Иван силился вспомнить, что сказано в инструкции на этот счет. — Ничего там не сказано.

— Правильно, — почему-то с удовлетворением сказал юрист. — Но, может быть, есть какие-нибудь добавления, приказы?

— Ничего такого нет, — сказал Иван. — А в чем дело, Ефим Лазаревич?

— Дело?.. — вздохнул юрист. — Дело, дорогой мой, в том, что Никифоров подал иск на возмещение убытков, которые он потерпел.

— Подал все-таки? — Иван растерянно улыбнулся. — А ведь не хотел…

Он замолчал. Ефим Лазаревич опять нацепил очки, раскрыл папку, долго перебирал бумаги. Потом снял очки, потер переносицу и откинулся от стола.

— Иск этот может иметь ход в случае, если вы, лично вы, Иван Трофимович, нарушили соответствующие правила эксплуатации. Поскольку в правилах ничего не сказано, как поступать при прорыве запани, то остается последнее. — Он щелкнул пальцами и опять потер переносицу. — Никифоров, выполняя ваш приказ, находился в опасном, особо оговоренном в инструкции месте. Был такой приказ?

Иван пожал плечами: слово «приказ» как-то не вязалось с теми отношениями, которые были на катере. Каждый делал свое дело, знал его, не отлынивал, и надобности в приказах никакой не было. Он сказал об этом Ефиму Лазаревичу.

— Ну, не приказ, Иван Трофимович, не приказ: распоряжение, указание, совет. Устно, разумеется, устно. Вы не сказали, например, Никифорову: «Стой здесь», когда пошел лес?

— Нет… — неуверенно сказал Иван. — Он сам знал, где стоять. Ведь мне-то из рубки плохо глядеть.

— Ну а идея, сама идея плотом перегородить

реку кому принадлежит? Кто первый сказал, что надо сдать плот? Вы или Никифоров?

Иван долго молчал, раздумывая. Идея принадлежала ему, но он боялся, что если скажет об этом, то Федору срежут пенсию или не выплатят ссуду. С другой стороны, дело касалось суда, а к этому органу Иван относился с огромным уважением. Поэтому он сказал дипломатично:

— Все так решили, Ефим Лазаревич.

— Все решили? Значит, и ответственность — пополам?

— Ответственность?.. — Иван насторожился. — Нет, Ефим Лазаревич, вся ответственность — на мне. Я — капитан, я — в ответе.

Юрист улыбнулся.

— Хороший вы человек, Иван Трофимович. Очень хороший, но не думайте вы о других сейчас, бога ради! Вы думайте, как из неприятности выскочить.

— Неприятности?

— Суд — всегда неприятность. По иску Никифорова ответчиком не может быть признано предприятие, поскольку оно не отдавало приказ спасать лес. Дело происходило на катере — объекте, так сказать, экстерриториальном, где вся полнота власти принадлежит капитану. То есть

вам, уважаемый Иван Трофимович. И вам следует не его выгораживать, а подумать о себе самом.

— Так ведь если виноват, что же думать? — тихо сказал Иван. — Виноват — отвечать буду. Как положено.

— Отвечать… — вздохнул юрист. — За исход суда я не беспокоюсь, но тень он бросит. И не только на вас — на весь коллектив. Мы держим переходящее знамя, рассчитываем на крупные льготы, а тут — это дело. Представляете?.. В каких вы отношениях с Никифоровым?

— Друзьями были.

— Уговорите его забрать иск назад. Дела он все равно не выиграет, только попортит кровь и себе, и вам, и нам.

— С сильным, значит, не судись? — тихо спросил Иван.

— В данном случае — безнадежно: от предприятия мы иск отведем, ну а с вас что он получит? В лучшем случае — двадцатку в месяц…

Иван вышел от Ефима Лазаревича в полном смятении. Вначале он почти согласился с ним, что было бы лучше, если бы Федор забрал иск обратно, но упоминание о двадцатке сильно поколебало его. Двадцать рублей были для Федора суммой, и Иван готов был пройти через любой

суд, только бы Федор ежемесячно мог получать с него эти деньги. Так было бы справедливо, если бы иск не коснулся при этом и других людей. Хотел этого Федор или нет, но своим иском он лишал их приработка, и Иван, понимая это, никак не мог прийти к какому-либо решению. Потоптавшись, он решительно свернул в отдел кадров.

У начальника шла летучка. Иван терпеливо дождался конца, ни до чего не додумался, но довольно ловко пересказал все Николаю Николаевичу.

— Так, — сказал начальник. — А в ведомости у тебя Прасковья дважды в месяц расписываться не забывает?

— Не забывает, — подтвердил Иван.

— А о том, что Никифорову пенсию оформили, знаешь?

— Небольшая она…

— А единовременное пособие считал? А премиальные, что ты им отдал, учел? А то, что местком пятьдесят процентов ссуды на себя берет, слыхал? Ну-ка, возьми счеты да подсчитай, что выходит. А выходит, — Николай Николаевич смотрел колюче, непримиримо, — выходит, что твой бывший помощник — хапуга и прохвост.

— Несчастный он, Николай Николаич. Калека.

— Раз калека, значит, делай, что душа желает? Вали на капитана, дои государство, как бесхозную корову, марай предприятие? Так?

Иван понуро молчал. Николай Николаевич вылез из-за стола, потирая бок, прошел к графину, запил порошок.

— Живот третий день горит, спасу нет, — сказал он, заметив внимательный взгляд Ивана. — И так двадцать лет одну кашку ем, а порой совсем невмоготу. Угостил меня фриц знатно: всю жизнь помню. Ты кури, чего жмешься. Окно открыто, выдует все.

Иван закурил, ладонью старательно разгоняя дым. Николай Николаевич вернулся на место, спросил вдруг:

— А этот… Прасолов как?

— Хороший работник, — твердо сказал Иван.

— Ну-ну, — не без недоверия проворчал начальник. — Мой тебе совет: иди к Федору и поговори начистоту. Пусть поймет, что потеряет, если будет настаивать. От моего имени сказать можешь твердо: Прасковью уволю к чертовой матери. И местком не поможет. Ты слово мое знаешь, Трофимыч.

— Знаю, — вздохнул Иван. — Ой, неладно получается!..

У Никифорова дома Иван остановился. Переложил кулек с конфетами в левую руку, правой долго вытирал мокрый лоб: никак не мог решиться постучать в эту до трещинок знакомую дверь.

— Можно, хозяева? — ненатурально бодро крикнул он, заглянув в маленькие темные сени.

В доме было тихо. Иван прошел внутрь, нащупал вторую дверь — в комнаты, постучал. Опять никто не ответил, и он открыл эту дверь и еще раз — все так же бодро — спросил:

— Можно, что ли?

— Кто? — спросили из-за перегородки.

— Я, Бурлаков.

Иван прикрыл дверь и старательно вытирал ноги. Он узнал по голосу Федора, хотя голос этот и показался ему странно приглушенным. Федор больше ничего не говорил, и Иван все тер и тер подошвы о старый, грязный половик. С печи, не мигая, смотрели четыре глаза: старики, не шевелясь, сидели там и молчали, как сычи.

— Ну входи, раз пришел, — с неудовольствием сказал Федор. — Чего ты там?

Иван поздоровался со стариками, но они не ответили. Он прошел в комнату: Федор полусидел на кровати, обложенный подушками. На коленях у него лежал лист фанеры, а на нем — пузырек с

клеем и стопка исписанных ученических тетрадей. Сбоку, у стены, спал ребенок.

— Здравствуй, — угрюмо сказал Федор. — Ну, что скажешь?

— Да вот… — Иван растерянно развел руками. — Навестить решил. Детишкам гостинца…

— Гостинец?.. — Глаза Федора странно блеснули, он даже приподнялся на локтях, стараясь рассмотреть, что именно положил Иван на стол. — А мне гостинца не захватил? Нет?

— Ты что это, Федя? — с испугом спросил Иван. — Что, худо? Ты лежи, лежи…

— Восемь пудов поднимал, — задумчиво и спокойно перебил Федор. — Восемь пудов. А теперь — вот!.. — Он подкинул в воздух исписанные фиолетовыми каракулями листы. — Вот, видал? Кульки клею. Копейка — кулек. Кто виноват, а? Молчишь?.. За славой все гнался. Получил славу? Тебе, хромому черту, хорошо: ты один, здоров как бык. А у меня — семь ртов. А я — кульки клею. Кулечки — малину продавать. Заработок — ровно на «Байкал». И то спасибо, свояк помог. Все занятие, артель «напрасный труд».

В сенях хлопнула дверь. Федор рванулся.

— Кто?

— Да я, я, господи, — устало и безразлично

сказала Паша. Вошла в комнату, увидела Ивана, качнулась, прислонилась к косяку и тихо сказала: — Здравствуйте, Иван Трофимыч…

— Принесла? — заглушив Иванов ответ, нетерпеливо спросил Федор.

— Принесла, — сказала Паша и достала из кошелки четвертинку. — Вот, Иван Трофимыч, все, что даете мне, на водку уходит. Каждый день требует. Каждый божий день…

Она опустилась на стул, все еще держа четвертинку в руке.

— Ну?.. Давай, ну?.. — зло и беспокойно закричал Федор.

— А что делать, а? — тихо продолжала Паша, не обратив на него внимания. — Ведь криком кричит от боли, исходит весь. А выпьет — вроде легче.

— Яд ведь, — сказал Иван. — Губишь ведь, Прасковья, опомнись.

— Знаю, — покорно согласилась она. — Врач специально предупреждал: ни капли.

— Ну давай, чего болтаешь?.. — грубо закричал Федор.

— Зачем же ты… — начал Иван.

— А что делать? — опять спросила она. — Вы крики его послушайте, хоть раз послушайте. Ведь

Ольку уже напугал: плачет она ночами, дергается. Ну, что делать, Иван Трофимыч, ну хоть посоветуйте…

— Давай, — крикнул Федор. — Давай, а то такой концерт устрою…

Иван нагнулся к столу, взял из рук Паши бутылку, все до капли вылил в большую эмалированную кружку.

— На!.. — Он резко сунул кружку Федору. — Пей!.. Ну?..

Федор взял кружку, но пить не стал. Глядел исподлобья: кружка дрожала в руке, водка выплескивалась на детские тетради.

— А ведь был мужик, — тихо продолжал Иван. — Восемь пудов поднимал. Характер имел.

— Раздавило меня… — опустив голову, сказал Федор. — Как червя, раздавило…

— Гляди, до чего семью довел, гляди, глаза не прячь!.. Старики на печке шевельнуться боятся, девчонка по ночам плачет, Паша — тень одна осталась. А ты все куражишься, Федор, все ломаешься, безобразничаешь… — Он закурил, отошел к окну. Крикнул, не оглядываясь: — Ну пей, чего дрожишь? Пей при госте один, если уж и мужика в тебе не осталось!..

Тишина стояла в доме. Ворохнулся на кровати

ребенок, почмокал сладко губами и затих. У стола плакала Паша, а Федор не поднимал головы.

— Паш, слышь-ко, — вдруг тихо сказал он. — Ты, это… Ты рюмки бы подала, что ли…

— Федя!.. — выкрикнула Паша и, рухнув к ногам мужа, судорожно обняла их. — Федя! Феденька!..

Федор гладил ее по голове и, шмыгая носом, отворачивался: не хотел, чтобы видели слезы.

— Ну, что ты? Ну, Паша? Ну, неудобно: гость пришел, а ты… Дай-ка нам рюмочки лучше. Рюмочки, огурчика…

— Сейчас, Феденька, сейчас, — с торопливой готовностью сказала Паша, вставая.

Всхлипывая и ладонями вытирая слезы, прошла на кухню. Иван молчал. Федор повозился, то ли устраиваясь поудобнее, то ли от смущения. Сказал:

— Не сердись, Трофимыч. Не выдержал. Жалко себя стало, силы своей… — Он помолчал. — Ты знаешь… Знаешь, в суд я подал.

— Знаю.

— Ну вот… — Федор вздохнул. — Затаскают тебя, поди.

— Меня-то ладно. — Иван потушил окурок, вернулся к Федору. — Меня-то ладно, Федя. Тут хуже дело получается. Так получается, что работяг ты

премии лишишь. Квартальной премии. А ведь они-то ни в чем перед тобой не виноваты.

— Как?

— На первое место по району вышли. А если суд, то, сам понимаешь, срежут. Знамя-то еще, может, оставят, а премию…

Вошла Паша, принесла две рюмки, тарелку с огурцами.

Мужчины молча чокнулись, несколько торжественно выпили.

Федор сунул в рот огурец, сказал деловито:

— Надо, Паша, к Ефиму Лазаревичу сходить и забрать назад то заявление.

Паша молча посмотрела на Ивана.

— Это свояк нам затмение устроил, — виновато улыбнулся Федор. — Хорошо, до позора дело не дошло. Сходишь, Паша?

— Схожу.

— Ну, молодец, — с облегчением вздохнул Федор. — Умница ты у меня и душа добрая. Будь здоров, капитан, и не сердись: тошно мне, знаешь…

И вновь Иван уходил со смятением в душе. Шел, глядя под ноги, не узнавая встречных, пытаясь понять, не слишком ли дорогой ценой заплатил он, не пустив в Волгу прорвавшийся лес. Ни до

чего он так и не додумался, но твердо понял, что не успокоится, пока хоть мало-мальски не наладит Никифоровым жизнь…

Володьку Пронина время от времени озаряли идеи. Были они большей частью пустопорожними, касались усовершенствования торжеств или нового способа подачи заявлений, но Пронин брался за них с такой энергией, что уже во второй инстанции истинный смысл их терялся, а еще выше к ним начинали относиться даже с интересом:

— Инициативный работник.

— Часы! — крикнул Пронин, когда Иван рассказал ему про Федора. — Часы, товарищ Бурлаков! Дело тихое, чистое: сиди себе да колупайся. И ходить необязательно.

— Да не умеет он часы. Сроду с дизелями.

— Научим. Сегодня же свяжусь с часовой мастерской, попрошу, чтоб прикрепили к нему мастера. Пусть первое время будильники ломает. — Пронин записал что-то на перекидном календаре совсем так, как это делал директор. — Так. Заметано. Что еще?

— Насчет ссуды. Ссуду бы с него скостить, Володя. Юрий Иваныч дал распоряжение, а по вашей линии…

— Правильно критикуете: текучка заела. Соберу комитет, провернем. Заметано. Еще?

— Все, — улыбнулся Иван. — Кипишь ты, Володя, как ведерный самовар.

— Должность такая, — без ложной скромности согласился Пронин. — Народ раскачивать приходится, идеи бросать. Да, как у вас с новыми обязательствами?

— Мы старые еще не выполнили.

— Не надо за старое цепляться. Вы теперь на виду: именные. С вас и спрос другой. Прошу наметить, обсудить с экипажем.

— Ладно. Ты насчет Никифорова…

— Заметано! — Володька эффектно подал руку: — Ну, трудовых свершений вам, побед и прочее.

«Волгарь» по-прежнему бегал по затону, но Иван, занявшись делами Федора, меньше бывал на катере, и Сергей один мотался из конца в конец. Намотавшись за день, вечером аккуратно шел на занятия: кажется, ему даже нравилась эта непомерная нагрузка. Он был общительнее Ивана, быстрее сходился с людьми, и вскоре само собой получилось, что его фамилия стала чаще упоминаться на летучках, чем фамилия законного капитана «Волгаря».

В субботу Иван побежал в местком: Пронин все тянул с решением о ссуде. С утра катер нарядили тащить воз, и Еленка решила устроить генеральную приборку. Долго мыла кубрик, выколачивала на корме одеяла, морила клопов, которые нет-нет да и появлялись на катере. Сергей посмеивался:

— Смотри до дыр не промой!

Еленка сухо глянула — они почти не разговаривали — и принялась за трап. Выскребла каждую ступеньку, начала протирать перила и вдруг остановилась: на перилах химическим карандашом были написаны три имени: «ЛЮСЯ, КЛАВА, ВАЛЯ». Еленка хорошо знала этих девчонок — молоденьких кубометристок с запани. Знала и молву, которая ходила по поселку о трех подружках, зазывно голосивших двусмысленные частушки субботними вечерами. Глянула снизу на широкую спину Сергея, ссутуленную над штурвалом, усмехнулась и перенесла тряпку повыше.

В воскресенье Иван надел выходной костюм, сказал, ни к кому не обращаясь:

— К Сашку схожу.

Полез наверх, налегая на поручни. Сергей догнал его уже на палубе.

— Когда вернешься?

— А когда надо?

— Догадлив ты, капитан, — заулыбался Сергей. — Ну, часам к семи, думаю.

Иван коротко кивнул и похромал к носу. Сергей последил, как неуклюже перебирался он на затопленную баржу, как, сильно раскачиваясь, шагал к лестнице, ведущей в поселок: по тропинке он больше уже не поднимался.

Еленка убирала со стола. Сергей помолчал, прикидывая, как начать разговор: отношения были сложными.

— Как день провести думаешь?

— Мешаю, что ли? — не оглядываясь, спросила она.

— Почему мешаешь? Наоборот, предложение имею. — Он замолчал, но она продолжала так же медленно, старательно вытирать стол. — Поедем на острова?

— Вдвоем?

— Шестеро поедем. Компанией.

— Лишняя я в вашей компании. — Еленка прошла в свой закуток, грохнула кастрюлями.

— Глупая. — Он вдруг шагнул, крепко обнял. Она рванулась, но он не отпустил. Зашептал в ухо: — Разве тебя забудешь?

— Пусти. — Она мягко высвободилась. — Не надо. Прошу тебя. Пожалуйста.

В тоне ее было что-то такое, от чего он сразу перестал настаивать.

— С радостью бы с тобой вдвоем на острова уехал, но — договорился, неудобно. В одиннадцать ребята из рыбнадзора придут. А потом за девчонками заедем. Ну, гуляют ребята с ними, ну, как тут отвертишься?.. — Он помолчал. — Поедем?

— Было бы куда уйти, Сережа, — ушла бы, не оглядываясь…

Гости прибыли точно. Красный, конопатый капитан катера рыбоохраны нес заботливо упакованную от посторонних глаз выпивку и авоську отборных, еще живых лещей. Быстрый, цыганского вида инспектор притащил завернутый в мешковину предмет:

— Тебе, Сергей.

Сергей развернул; это была новая сеть с крестовиной и растяжками: люлька. Мелкоячеистая, почти на три метра.

— Ну, теперь с рыбкой будем! — радостно сказал Сергей. — Теперь — порядок!

Девчонок было двое: Люся и Клава. Худенькая, с лисьим личиком и тонкими, как палки, ногами Люся с визгом бросилась на шею краснорожему здоровяку капитану. Сонная, круглая, как арбуз,

Клава держалась степенно: подала каждому руку, покивала и уселась на моторный люк, подобрав толстые ноги.

Сергей гнал катер к островам, мужчины держались в рубке: были они женатыми и, хоть семьи их жили далеко отсюда, все же побаивались молвы.

У дальнего островка Сергей причалил. Мужчины развели костер на мягком, прогретом солнцем песке. Потом дружно, в шесть ножей, чистили рыбу. За обедом мужчины поили девушек портвейном, много было шуток и смеха. Еленка совсем было оттаяла, но тут угрюмый инспектор начал скучно тискать равнодушную Клаву. Рыжий захохотал, хлопнув вертлявую Люську.

— Гуляем, девки!..

Мучительно покраснев, Еленка низко пригнулась, пряча глаза. Сергей встал.

— Пойдем на катер.

На катере он наглухо задраил дверь рубки, спустился в кубрик. Еленка плакала, спрятав лицо в ладонях.

— Ну, чего? — Он тронул ее за плечо. — Брось, дураки они.

— Не уважают. За что? Ну, за что, Сережа?

— Глупости все это, мелочь. Они вообще-то

ребята неплохие.

— Ох, как гадко все это, Сережа!..

Она замолчала. За глухими железными стенами чуть слышался неразборчивый визг Люськи, хохот капитана. Сергей сел рядом.

— Вытри-ка слезки, улыбнись. Ну, что ты?.. Ну, хочешь, бросим их тут, уедем?

— Хочу.

— Ну, и бросим. — Он повернул ее к себе, поцеловал. — Эх, Еленка, Еленка…

— Ты что? — Она рванулась, вскочила. — Ты что это, а?..

— Дура ненормальная, — со злобой сказал Сергей.

— Не будет этого. Никогда не будет. Никогда, — как в бреду, повторяла она.

— Ну и заткнись! — грубо оборвал он. — Тоже цаца выискалась, девочку из себя строит.

Вылез из кубрика, что есть силы грохнул дверью. Еленка упала на диван, расплакалась в голос, не сдерживаясь.

Когда успокоилась, голосов уже не было слышно: гости то ли дремали, загорая на песке, то ли ушли в глубь острова. Еленка напряженно прислушивалась, пытаясь угадать, где они сейчас, но в кубрик доносился только плеск воды,

шуршащий перекат камыша да резкие крики чаек. Потом грохнули по палубе шаги, и на трапе показался Сергей: он нес бутылку вина и тарелку с конфетами.

— Подлизываться пришел, — улыбнулся он.

— Где они?

— Гуляют. — Он хохотнул, не удержавшись. — Природа, Еленка, своего требует.

— Женатые ведь.

— А что им, убудет, что ли?

— И ты таким будешь, когда женишься?

— Я-то… — Сергей налил вина, хлебнул. — Это смотря на ком женюсь. Если муж налево свернул, так в том, Еленка, жена виновата.

— Жена всегда виновата.

— Ну, не скажи. Вот у меня кореш в Саратове… — Он вдруг замолчал, точно вспомнив что-то. — А ты чего не пьешь? Веселей гляди, матрос! Чего там, мир ведь, а?

А глаза никак не хотели улыбаться. Холодные и колючие, жили они отдельно от него — шумного, подчеркнуто веселого.

— Фальшивый ты. — Еленка вздохнула. — Ой, какой же ты фальшивый!

— Ну, что там — фальшивый, фальшивый. Какой есть…

Гости вернулись к ужину: усталые, равнодушные, далекие друг от друга. Мужчины держались особняком: капитан усердно скоблил толстую можжевелину с хитро загнутым корнем; инспектор лег в тень, прикрывшись от мух рубахой. Сергей помогал женщинам с готовкой, таинственно подмигивал, ухмылялся. Еленка злилась, но молчала. Улыбалась, пряча злые глаза, все снесла и выпросила-таки крепкую можжевеловую палку.

— Это — вам, — сказала она Ивану вечером, когда они остались одни в кубрике. — Не знаю, может, коротка.

Иван взял палку, примерил:

— В самый раз.

Равнодушно поставил в угол, начал стелить постель.

Еленка смотрела в сутулую широкую спину, молила, чтобы повернулся, чтобы спросил о чем-нибудь.

— Наврала я вам, — тихо, запинаясь на каждом слове, сказала она. — Ни у кого я тогда не была. Просто ревела на берегу до рассвета.

Иван молча снял пиджак, потащил через голову рубаху.

— Вы простите меня, Иван Трофимыч, — еле

слышно сказала Еленка.

На секунду он замер, завяз в рубахе. Сказал глухо:

— Ты бы вышла. Раздеваюсь я.

Еленка качнулась, прижала руки к груди. Спотыкаясь, взбежала по трапу.

Иван лег к стене, закрыл глаза. Может, надо было шагнуть к Еленке, шагнуть и обнять, и все бы вернулось, но он сразу же прогнал эту мысль.

Он отрезал Еленку, отрезал по самому сердцу. Нет, совсем не за то, что она в запальчивости наврала ему, не за ложь — за правду: она просто жалела его.

Утром встал с глухой, уже привычной головной болью. Поднялся на палубу: на корме Сергей собирал новую люльку. Иван тупо посмотрел на широко раскинутую сеть.

— Что это?

— Подарок, — горделиво улыбнулся Сергей. — Кончилась наша кустарщина, капитан.

— Закона не знаешь?

— Законы, капитан, для дураков пишут. Для дураков да для судей, когда эти дураки попадаются.

Иван метнулся в кубрик. Выскочил оттуда, молча отстранил Сергея и полоснул по сети остро отточенным ножом.

— Ты что?

— А я — дурак, — запинаясь от ярости, сказал Иван. — Тот дурак, для которого законы пишут.

И опять широко, уже не примериваясь, резанул сеть.

— Не смей!.. — Сергей, не рассчитав, с силой толкнул капитана.

Иван отлетел к борту, ударился о леер. Нож, выскользнув, упал в воду. Иван тяжело поднялся, шагнул к сети, скомкал. Сергей ухватился за другой конец:

— Рыбинспектор дал. Понятно тебе?.. Сам дал, лично!..

— Не дам!.. — Иван, задыхаясь, рвал сеть к себе. — Не позволю!..

— Моя сеть, ясно? Мне подарили! Мне, ясно?..

Тяжело дыша, они почти упирались лбами. Сергей был здоровее и помаленьку, по частям перетягивал сеть, мотал Ивана по всей корме.

— Оставь! Слышишь?.. Добром прошу, — бормотал он.

Иван вдруг бросил сеть и, схватив с палубы тяжелую крестовину, далеко швырнул в воду:

— Вот так-то, Прасолов. Так-то лучше будет. Спокойнее.

— Твою мать… — сквозь зубы выругался Сер-

гей. — Добро, капитан, побеседовали. В жизни этой беседы не позабуду.

— Уходи с катера. — Иван закурил, затянулся, говорил почти спокойно. — Сам уходи. Не сработаемся.

— За бабу считаешься? — тихо спросил Сергей. — Эх, мужик называется! Дерьмо собачье.

Швырнул в воду исполосованную сеть, пошел к рубке.

Навстречу вылезла Еленка.

— Завтракать.

— Идем. — Иван встал. — Я сказал тебе, Сергей. Все.

— Не задержусь, капитан. Теперь не задержусь, не думай!..

Но задержаться Сергею все-таки пришлось: он задумал досрочно выпустить своих радистов. Просьбу встретили недоверчиво, но пошли навстречу: создали комиссию, в состав которой вошли директор, главный инженер и по собственной охоте Пронин.

Группа не подвела Сергея: из пятнадцати выпускников четырнадцать получили свидетельства. Пятнадцатый слушатель — Еленка — не явился на экзамены. Сергею объявили благодарность в приказе и наградили именными часами.

Он был очень доволен и ради такого случая закатил на катере торжественный ужин.

— Не откажешься, капитан?

— Можно, — сказал Иван.

Сергей пригласил всю комиссию, но пришли только Володька Пронин да парторг Пахомов. Пронин держался официально, говорил тосты, но быстро опьянел и стал пялить глаза на Еленку. Еленка развеселилась, краснела, закрывалась рукой.

Спьяну Пронин принимал Еленку и Сергея за молодоженов, лез с поздравлениями, журил, что скрыли правду.

— Волжская свадьба!.. — кричал он, требуя внимания. — Катера — все в цветах! Музыка! Народное гулянье!.. Товарищ Прасолов, возродим народные обычаи? Возродим?..

Пахомов пил мало. Вел с Иваном тихий мужской разговор о лесе, заработках, хозрасчете, который в порядке эксперимента хотели ввести на их запани с будущего года. Он не поддерживал этого новшества, хмурился:

— Опять, значит, рубль гнать будем, да? А сознательность?

— Без рубля тоже не проживешь.

— Правильно. Но вот мне скажи: хорошо зара-

батываешь?

— Хватает.

— Вот. Ты — передовой, ты из премий не вылезаешь. По высшей сеточке пятый год без промаха. Почему? Потому, что ты сам проценты даешь, а мы тебе — соответственно. А при этой самой новой экономике что будет? А то будет, что станешь ты, передовик, получать куда меньше, чем сейчас.

— Почему? — не понял Иван.

— А потому. Сейчас откуда фонд зарплаты идет? Оттуда. — Пахомов важно поднял к темному потолку толстый палец. — Существуют утвержденные ставки, кому сколько полагается. А будет что? Будет фонд зарплаты исчисляться из прибылей, и станем мы его делить на всех чохом. А какой он будет, этот фонд, после всех отчислений? Неизвестно. А ну — запань прорвет? А ну — катер на мель сядет? А ну — еще что? Вот и получится шиш без масла.

— Этого я не понимаю, — вздохнул Иван. — Работать надо хорошо — и запань не прорвет, и на мель никто не сядет…

— Комнату! — вдруг заорал Пронин. — Товарищ Пахомов, сделаем комнату молодоженам?

Иван поднял голову, удивленно посмотрел на

Еленку. Она с веселым вызовом встретила его взгляд, и он сразу отвел глаза.

— Комнату? — Пахомов, не понимая, моргал белесыми ресницами.

— Не надо им комнату, — глухо сказал Иван, уставясь в стол.

— Нет, надо! — озорно сказала Еленка. — Очень даже надо!

— Им — не надо, — упрямо повторил Иван. — Старикам лучше дайте. Столько лет на барже…

Разошлись за полночь. Сергей пошел провожать. Еленка, напевая, убирала со стола. Иван начал стелить постель, спросил вдруг:

— Поздравить можно?

— С чем, Иван Трофимыч?

— Ну, с этим… Комнату вон обещали. И вообще.

— Можно, Иван Трофимыч. — В Еленку вселился какой-то бес: хотелось озорничать. — На свадьбу-то придете?

— Ну что ж, поздравляю, — не глядя, сказал Иван и, забыв о постели, тяжело полез на палубу.

— Далеко ли собрался? — спросил Сергей, встретив его у рубки.

— Порыбачить хочу, — хмуро сказал Иван. —

Давно не рыбачил.

— Гляди не опаздывай: я завтра с утра занят.

— Ладно. — Иван поковылял к носу. — В шесть вернусь.

Сергей спустился в кубрик. Сказал, усмехнувшись:

— Розыгрыш наш Ивану против шерсти: рыбачить пошел.

— Надоели вы мне, — вздохнула Еленка. — Все надоели. Для себя жить буду. Вот как. Для себя.

Сергей потушил свет, разделся, лег. В кубрике было тихо, только чуть поскрипывал борт, касаясь затопленной баржи. Сергей думал о том, как хорошо прошел вечер, и о том, какой серьезный и деловой разговор вел он, провожая парторга до дома. Завтра начнут ставить на катера рации: дело это поручено лично ему и…

— Спишь?.. — странным приглушенным шепотом спросила вдруг Еленка.

Сергей спрыгнул с дивана…

Два дня Сергей только ночевал на «Волгаре»: устанавливал на катерах передатчики, регулировал, налаживал связь. Он работал с азартом, умел подчинить людей своей веселой настойчивости. Дело, запланированное на неделю, провернул за двое суток, получил крупную премию, ходил

победителем. Резко сократились холостые пробеги катеров.

А Иван жил молчком. Молчком работал, молчком ел, молчком курил на палубе. Он не заговаривал больше об уходе Сергея с катера, понимая, что уходить-то надо ему. Он проиграл эту молчаливую битву за первенство на «Волгаре» и, оставаясь капитаном, фактически был просто третьим лишним. И не было сил бороться. Просто — жил, и все. Тихо жил.

В воскресенье он надел выходной костюм, прихватил новую палку: шел к Сашку. Еленка вручила ему сверток с пойманной накануне рыбой, спросила, когда вернется.

— В семь, — сказал он. — Пойдете куда?

— Не знаю.

— Я к тому, что ногу ломит, — пояснил Иван. — Ломит с вечера. Как бы грозы не было.

— Да какая гроза! — засмеялся Сергей. — Барометр в диспетчерской на великой суши вторую неделю застрял.

— Мой барометр поточнее, — сказал Иван и полез из кубрика.

День был безветренным, сонным, белесым от зноя. С утра на пристани толпился народ: люди собрались в Юрьевец, но рейсовый запаздывал

где-то вверху, в Красногорье. Мужчины прели в темных выходных пиджаках, поругивали пароходство, курили. Сергей из любопытства пошел узнавать, вернулся с рыжим капитаном и рыбинспектором.

— А народ-то зря на пристани топчется: рейсового не будет. В Красногорье винт о топляк сломал, при мне диспетчер звонил.

— Ну, Сергей, на тебя вся надежда, — улыбнулся рыжий. — Не срывай нам мероприятия.

— Ты что, капитан? Это тебе не по нашим дебрям ходить: там, в Юрьевце, документы нужны.

— А ты к пристани не швартуйся — и документов никто не спросит.

— Деньгу можно зашибить немалую, — понизив голос, сказал инспектор. — Гляди, сколько рублей на берегу мается.

— Деньги само собой, — нажимал капитан. — Главное — людям помочь: выходной пропадает.

— Это верно… — заколебался Сергей.

— Ой, Сережа, не соглашайся, — вмешалась Еленка. — Нельзя так, не положено! И Иван Трофимыч не позволит.

— Ну, на Трофимыча-то я облокотился, — усмехнулся Сергей. — А вот если в Юрьевце засекут…

— Не засекут, — убеждал капитан. — В Ямском

долу ошвартуешься, я проведу.

— Там, между прочим, совхозный сад, — сладко причмокнул инспектор. — Вишни уродились дай бог!..

— Без штанов с этой вишней останетесь, — сердито сказала Еленка: боялась, что Сергея уговорят. — Собаки — как лошади.

— У Лешки все собаки знакомые! — захохотал капитан. — Уж как-нибудь, хозяйка, корзиночку сообразим.

— Уговорил! — крикнул Сергей, заметно волнуясь от принятого решения. — Уговорил, рыжий черт! Командуй погрузку!..

Насажали полный катер. Женщины и дети разместились внизу, где сердитая разнаряженная Шура с нефтянки отвоевала полдивана. Мужчины толпились на палубе, набились в рубку, торчали под окнами: Сергей с трудом видел фарватер.

Капитан нахально собирал деньги: два рубля с взрослого, рубль — с ребенка. Ворчали, но платили: не сидеть же на берегу, ожидая, пока починят рейсовый.

На носу голосисто пели Клава и Люся. На моторном люке обветренные плотовщики азартно рубились в «петуха». Еленка сидела с бабами в

кубрике, болтала, настороженно встречая колючие взгляды Шуры.

Над разомлевшей рекой плыло марево. Тяжко было дышать, но «Волгарь» бежал ходко, и свежий ветерок сушил липкий, изнурительный пот.

С остановками одолев крутую лестницу, Иван нашел знакомый дом запертым. Покурил на скамейке у калитки и пошел назад, на берег, потому что идти больше было некуда.

Уже у лестницы он подумал, что своим внезапным появлением нарушит планы Сергея и Еленки. Вспомнил, как предупредительно собирала его Еленка к Сашку: теперь в этом он увидел одно нетерпение. Вспомнил и затоптался: идти на катер было нельзя.

Тогда он, обогнув причалы поверху, выбрался к реке на окраине возле развалин старой мельницы. Берег был пустынен. Иван снял пиджак и сел на бревно.

Против него торчали в небе клыки грейфера: Васин топлякоподъемник расчищал здесь дно. У борта стояла лодка, на палубе мелькал кто-то: Иван напряг зрение, с трудом угадал Васю. Видно, молодые собирались на берег или решили испытать новый мотор.

Иван никогда не завидовал ни молодости, ни здоровью, ни силе, но счастью завидовал. Выпадает же такой номер людям, какой выпал Васе и Лидухе. И любовь есть, и дружба, и время пожить, и детей воспитать, и женить их, и нянчить внуков, и спокойно, с достоинством рассчитаться за прошлое в окружении тех, с кем рядом прожил эту жизнь. Об этом и должно мечтать человеку, и завидовать этому не грех, потому что рожден человек для доброго труда и очень простой радости…

Он не обратил внимания на стрекот мотора, а когда очнулся, Вася уже заглушил движок, и лодка мягко ткнулась в берег.

— А мы глядим, кто это сидит? — весело крикнул Вася. — Лидуха вас первая узнала: глазастая она.

— Айда с нами, Иван Трофимыч, — предложила Лида.

— Да что вы! — Иван растерялся, встал, начал надевать пиджак. — Вы молодые, гуляйте, а я так…

— Шагайте в лодку, Иван Трофимыч, — сказал Вася, упираясь веслом, чтобы не сносило корму. — Покатаемся, рыбки половим: я удочки захватил.

— Рыбка-то есть, — улыбнулся Иван и поднял с песка пакет, — Сашку нес, да никого дома не застал.

Перебрались на острова. Ловили рыбу: просто так, для забавы. Собирали ягоды, искали грибы, но не нашли: стояла сушь, и хоть грибам по всем законам полагалось уже пойти, в этом году они запаздывали. Лида сварила уху, позвала обедать.

— Эх, выпить нечего! — вздохнул Вася. — Лидуха моя насчет этого кремень: иссохнешь, пока допросишься. Строга!..

— Это правильно, — тихо сказал Иван. — Вот что значит — жена. Ты, Василий, всегда слушай ее, держись за нее.

Ничего не сказал Иван особенного, но Вася и Лида услышали в этом что-то тревожное. Переглянулись, и Вася упрямо мотнул коротко стриженной головой.

— Скажу я, Лидуха.

— Не надо.

— Нет, скажу! — Вася бросил ложку, уперся взглядом в Ивана. — Надо честно, без обмана. Правду надо вам знать, Иван Трофимыч.

— Ой, зря!.. — вздохнула Лида.

— Обманывает она вас, — твердо сказал Вася. — Еленка обманывает. С этим. С Сергеем.

— Знаю. — Иван еще ниже опустил голову.

Вася растерянно замолчал. Иван хлебал уху, не поднимая глаз и не чувствуя вкуса. Ныла не переставая перебитая давним осколком нога.

От чая он отказался. Лег на траву, закрыл глаза. За костром переговаривались шепотом, осторожно звякая посудой: считали, что он спит. А он думал о том, о чем уже все знали.

Холодный ветерок налетел неожиданно, зашуршав в камышах. Иван сразу очнулся. Сел, обеспокоенно обшарил глазами небо: на севере тяжело слоилось сухое рыжее марево.

— Собирайтесь, — сказал он, вставая. — Сейчас шквал ударит.

Втроем побросали вещи в лодку, поспешно расселись, Иван с силой греб, отводя от берега, Вася возился с мотором. Ветер то сникал, то снова прорывался, крепчая раз от разу. По реке пятнами разбегалась рябь…

Первый удар «Волгарь» принял в лоб, как только вышли на середину. Тупо сунулся в волну, не смог вовремя вынырнуть, и вода хлынула через борт. Девчонки с визгом посыпались к рубке.

— Ходче давай! — крикнул рыжий капитан. — Шквал идет.

Сергей до предела отдал сектор газа. Старень-

кий движок с натугой выжимал обороты. Ветер бил в лицо, гасил скорость, прижимал нос к волне. Вода каталась по палубе.

Плотовщики побросали карты. Вытягивая шеи, с беспокойством поглядывали вокруг, прикидывали, сколько осталось до Юрьевца. Степаныч торопливо увязывал на корме корзины, накрывал их клеенкой, а ветер рвал ее из рук, и она флагом развевалась за катером.

— Давай обороты, Сергей, — бормотал рыжий. — До бури бы проскочить.

В кубрике смолкли женские голоса, только испуганно скулил ребенок. Волны ходили вровень с иллюминаторами.

— Тыр-пыр… — хмурился инспектор Лешка. — Тяжело идем.

— Насажали, — сквозь зубы сказал Сергей. — Говорил же…

В кармане у него лежали скомканные рубли, и ругать было некого. Он не боялся, но трезво оценивал опасность: катер не держал волны даже при максимальных оборотах.

— Баллов пять будет, — сказал капитан. — Как думаешь?

Сергей промолчал. Инспектор выглянул в дверь.

— Эй, девки, вниз ступайте. Мокро тут.

— Да-а, — протянула Люся. — Туда зайдешь — назад не выберешься.

Сергей глянул на щиток и не поверил собственным глазам: стрелка масляного манометра мертво стояла на нуле. Он тупо смотрел на нее, даже протер стекло пальцем: стрелка не шелохнулась. Рядом что-то бубнил капитан, Сергей не слушал: его вдруг бросило в жар. Он бессмысленно глянул на рыжего и рванул сектор газа на себя. Двигатель смолк.

— Ты что? — тихо спросил капитан. — Ты с ума сошел?

— Давление на нуле. — Сергей вытер пот. — Давай в мотор, Сашка.

Катер быстро терял ход. Волна швырнула его в сторону, развернула, положила на бок. Что-то с грохотом покатилось по палубе, в кубрике пронзительно закричали женщины.

— Держи к волне!.. — крикнул капитан, скатываясь по трапу в моторное отделение.

— Баб не пускай!.. — закричал Сергей, всем телом налегая на штурвал.

Женщины, толкая друг друга, с криком лезли по узкому трапу. Лешка спихивал их обратно, хрипло матерился, бил по рукам, рвал платья. А они,

теснясь, все лезли и лезли, и от крика их Сергей не слышал голоса капитана из моторного отсека.

Катер заливало водой. Она хлестала в носовой трюм, переливалась в рубку, текла по трапу в кубрик. Ругался Степаныч: корзины смыло за борт, клубника моталась по волнам. Визжала Клавка, со страху взобравшись на крышу рубки.

Капитана швыряло из стороны в сторону в тесном и темном моторном отсеке. Дважды он налетал на раскаленный выхлопной коллектор, прожег новый пиджак, до крови рассадил руку. Вылез грязный, злой.

— Не нашел. Заводи!..

— Нельзя!.. — кричал Сергей. — Двигатель запорем!..

Катер тяжело болтался на волнах. Сергей с огромным напряжением удерживал нос к волне.

— Моряк, твою мать!.. — Капитан рванул Сергея от штурвала. — Пусти! Потопишь всех, сволочь!..

— Уйди!.. — Сергей бросил штурвал, с силой ударил капитана в лицо. — Вон из рубки! Вон! Убью, гад!..

— Заводи мотор!..

Неуправляемый катер сразу же развернуло, положило на бок. Волна ударила в распахнутую дверь рубки, окатила Сергея, рыжего, Лешку. Ди-

ко кричали женщины в тесном кубрике. Лешка схватил капитана, оторвал от Сергея.

— Уходи!.. — вытолкал из рубки, крикнул Сергею: — Ставь на волну! Носом на волну!..

И снова с остервенением, со злобой схватился с обезумевшими женщинами.

Шмыгая разбитым в кровь носом, Сергей кое-как выровнял тяжелый, залитый водой «Волгарь», огляделся.

Их снесло назад, к перекатам левого берега. По обе стороны торчали из пены шесты, обозначавшие мели. Волны катились через них, вздымали тучи песка, местами совсем обнажая дно.

Катер терял плавучесть. Неповоротливый и бессильный, он плохо слушался руля, ложился на волну. Пока еще Сергею удавалось ставить его на киль, но вот-вот должен был наступить момент, когда катер не успеет выпрямиться, его накроет, и тогда на поверхности останется только то, что само по себе способно плавать. Сергей дал горючее и включил стартер.

— Назад? — спросил Лешка. — Лучше не пробуй.

— На мель выброшу, — сказал Сергей. — Выброшу на мель, как-нибудь добредете до берега.

Он подождал волны, успел развернуть катер и

на гребне ее пошел к берегу, дав двигателю максимальную нагрузку. Дно чиркнуло о песок, катер дернулся, и волна схлынула, оставив его на мели. Сергей заглушил мотор, махнул рукой Лешке:

— Выпускай.

Мокрые напуганные женщины повалили из кубрика. Кричали, плакали, метались по катеру, проклинали Сергея.

Катер болтался на волнах, то ложась на борт, то встряхиваясь, когда подходила волна. Люди цеплялись за железо, друг за друга: палуба качалась под ногами.

— Ну, миленок, погоди!.. — кричала разлохмаченная, в разорванном на груди платье Шура. — Я так не оставлю! Я все напишу куда следует!..

Но паники не было. Плотовщики, Лешка и опомнившийся рыжий капитан быстро навели порядок.

— На берег надо, — сказал Лешка. — Если ветер усилится — перевернет катер.

— Идите. — Сергей безуспешно раскуривал мокрую сигарету. — Тут мелко. Линем свяжитесь — добредете.

— А тебе к рыбам захотелось? — тихо спросил инспектор. — Уйдем, катер полегчает и — хана. Через три дня всплывешь — глядеть страшно

будет.

— Вот только — как дойдете?.. — вслух размышлял Сергей, словно не слыша, что говорит Лешка. — Первому с багром надо…

— Ну, веди. Ты — длинный, волна не накроет…

Сергей, обвязавшись линем, первым прыгнул за борт. Волна швырнула к катеру, но он уперся багром, устоял. За ним попрыгали остальные, мужчины несли детей. Брели по грудь, оступались, падали, хлебали мутную воду: только песок хрустел на зубах.

Вылезли на крутой глиняный откос. Лешка и рыжий капитан пытались развести костер: сырые спички, что Лешка принес в кепке, не разгорались, гасли одна за другой. Женщины в кустах отжимали мокрые платья, кутали ребятишек. Плотовщик достал чудом сохраненную сухую папиросу, отдал Сергею:

— Держи, парень. Не знаю, как ты один назад дойдешь.

Сергей понял, что возвращаться придется. Буркнул, пряча вздох:

— Доберусь.

Он отдал недокуренную папиросу, взял багор.

— До людей дойдете — шумните там. Долго не продержимся.

— Будет сделано, парень.

Сергей на заду сполз с обрыва, побежал по мели, держа багор наперевес. Он бежал от отчаяния, чувствуя, что вот-вот, еще минута — и остатки решимости окончательно покинут его. Волны били в лицо, дно уходило из-под ног. Он падал, отплевываясь, поднимался, снова шел и снова падал. В двух шагах от катера его сбило с ног огромным раскоряченным пнем, затянуло под него, поволокло по грунту. В ужасе он бился под цепкими корнями, выпустил багор, но вылез, встал и, почти теряя сознание, уцепился за леер залитого водой «Волгаря». Прижался грудью к ржавому борту, закрыл глаза. Волны били в спину, перекатывались через голову, ноги подбрасывало, тянуло под киль, но теперь он был спасен и отдыхал, копя силы, чтобы взобраться на палубу.

Он не расслышал голоса, но почувствовал руки, которые тянули его вверх, на катер. Подняв голову, увидел Еленку: мокрые патлы, расцарапанное в кровь лицо, раскрытый в крике рот. Он кое-как взобрался на танцующую палубу, не смог встать и пополз по скользкому железу. Еленка тащила его за пояс, падала, когда сбивала волна, и все говорила и говорила, и он опять не слышал

ее. В рубке он поднялся на ноги, и они плотно задраили дверь.

— Сережа! — Плача, она целовала его мокрое лицо. — Я знала, что вернешься за мной, что не бросишь!..

— Ну, ладно, — сказал он и сел на рундук, усадив ее рядом. Катер швыряло, и они катались, как ваньки-встаньки. — Ты чего с нами-то не пошла?

— Так ведь кубрик залило. Постели мокрые, хлеб, крупа — все мокрое. Пока прибралась — вы уж за борт попрыгали. Я испугалась сперва, а потом поняла, что вернешься, что не бросишь меня тут.

— Да. — Теперь Сергею казалось, что так оно и было. — Я глянул там, а тебя нет. Ну, и… И катер оставлять нельзя, не положено, под суд пойти можно. Да не реви же ты, господи! Спасут.

— Я не от страха реву, Сереженька, я — от счастья. Ведь не верила, что любишь, совсем не верила, дура проклятая. А ты едва не утоп из-за меня!..

Катер снова кинуло на бок, Еленка слетела с рундука и осталась стоять на коленях перед ним.

— Где поцарапалась?

— Это? — Она коснулась щеки и засмеялась. — Это Шурка меня угостила. Помнишь, толстая эта,

с нефтянки?

— Да… — сказал он. — Много воды в кубрике?

— Много. Сверху налилось и, по-моему, с машин течет: переборка старая, в щелях вся.

— Отливать надо. — Он отстранил ее, встал, держась за стену. — Давай-ка работать.

Долго отливали воду, но убывала она медленно: волны по-прежнему захлестывали катер. А потом пошел тяжелый густой дождь, и Сергей с остервенением швырнул ведра: отливать было бесполезно.

Рация не работала: то ли разболтало ее от качки, то ли залило аккумуляторы. Сергей попытался было наладить ее, но бросил, ничего не добившись. Сидели в сумрачном кубрике, забравшись с ногами на диван, кутались в сырые одеяла. Ветер не утихал, катер валяло с боку на бок, плескалась вода в кубрике, заливая диваны. Еленку мутило от болтанки, усталости и голода.

Грузный топлякоподъемник тоже било и раскачивало, клыки грейфера лязгали над палубой. Но суденышко было хорошо расчалено, якоря прочно держали грунт, и Вася не беспокоился. Пили чай в теплой, чистенькой комнатке, нахваливали мотор:

— На веслах ни за что бы до шквала не выгреб-

ли. Сила мотор, а, Иван Трофимыч?

— Мотор добрый, — соглашался Иван: его тревожило, догадается ли Сергей зачалить корму. — Как бы катерок мой о баржу не побило…

— Напрасно переживаете, Иван Трофимыч. Помощник у вас опытный, сообразит.

Досидели до вечера, когда пошел дождь и волнение чуть утихло. Иван попросил лодку: не терпелось глянуть на катер. Вася с Лидой попытались его отговорить, но Иван был непреклонен.

— Съезжать пора, хозяева дорогие. Загостился. А лодку утречком доставлю, не беспокойтесь.

— Ладно, сам отвезу, — сказал Вася. — Достанька, Лидуха, плащи.

Лодку швыряло по волнам, но мотор выгребал легко, и Вася умело держал курс. Вода звонко хлестала в нос, брызги разлетались в воздухе: шли сквозь сплошную завесу. Плащи сразу намокли, коробом оседлав плечи. Вася радовался:

— Сила мотор, Трофимыч!..

Волны перекатывались через баржу, били в берег, «Волгаря» не было. Вася растерянно оглядывался:

— Куда же это Сергей подался?

Берег прятался в густой пелене дождя. Спросить было не у кого.

— Правь к «Быстрому»!..

«Быстрый» стоял в затишке за тяжелым корпусом плавучего крана. Подошли. Вася зачалил лодку за леер, Иван поднялся на палубу. Долго стучал в задраенную дверь рубки. Наконец она с лязгом приоткрылась — на пороге стоял сонный моторист.

— Иван Трофимыч?.. — Он обалдело моргал, словно не веря глазам. — А «Волгарь» где?

— Не знаю, — сказал Иван. — У тебя хотел спросить...

— Это да! — удивился моторист. — Да он же в Юрьевец утром пошел. Я думал, вы повели... А тут люди болтают, что потоп в устье...

— Кто потоп?

— Да катер ваш. Может, врут.

— А ну, Петр, заводи «Быстрый». Где Антон Сергеич?

— Капитан на берегу, а завести не удастся, Иван Трофимыч. На ремонте стоим, головку с блока сняли, завтра перебирать...

Иван, не слушая, уже хромал по палубе. Слез в лодку, глянул ошалело:

— Несчастье, видать. Петр говорит, потоп, мол, катер. В устье потоп, на перекатах.

— Да что вы, Иван Трофимыч...

— Давай, Вася. Христом Богом прошу: давай туда сбегаем. На ремонте «Быстрый».

— Как же, Иван Трофимыч?.. Это ж часов шесть ходу. И бензину не хватит.

— Люди ведь там, Вася! А бензину мы в Козловке достанем, на шестом «Гансе». У них бочка целая, сам на прошлой неделе возил. Надо ведь, Вася!

Гнали на максимальных оборотах. Теперь ветер дул в лицо, сек дождем: невозможно было смотреть. Вася щурился, отворачивал голову, теряя из виду нос лодки. Иван курил папиросу за папиросой. По мокрой спине барабанил дождь.

Так шли они часа полтора. Уже показались сквозь сплошную завесу дождя первые избы Козловки, когда раздался вдруг мокрый треск и лодку рвануло куда-то вверх. Взревел на мгновение выкинутый в воздух мотор, все стихло, и Иван очутился в воде. Вынырнул, ослепленный, оглушенный, не соображая, что произошло. Сапоги, мокрый плащ, одежда тянули вниз, волны накрывали с головой. Он увидел перед собой треугольную бревенчатую платформу бакена. Подплыл, загребая из последних сил, кое-как взобрался, вцепился в пляшущий на волнах бакен.

— Василий!..

Его рвало, бил кашель, выворачивало грудь.

Передохнув, огляделся: ни лодки, ни весел, ни обломков. Только черный огромный топляк танцевал невдалеке на волнах, то показывая толстый комель, то вновь скрываясь под водой.

— Василий!.. Василий!..

Вроде мелькнула в мутной бешеной круговерти белая Васина голова. Вроде плыл он размашистыми саженками к берегу, но, как ни всматривался Иван, толком разобрать ничего было нельзя. Вода, вода, одна вода была кругом, и то ли Васина голова, то ли просто пена мелькает на поверхности — понять невозможно.

Вот и все. И не цепляйся ты больше за мокрый холодный бакен задубелыми руками. Даже если стерпишь, если удержишься до случайной лодки, как посмотришь в глаза Лидухе? Как глянешь в глаза людям, капитан неизвестно где потопленного катера? Почему ты еще живой, когда злая вода таскает по дну Еленку и Васю?

Но, видно, жила в нем сила посильнее этих мыслей. Трясся в ознобе, стонал. А держался крепко, изо всех сил держался.

Сняли через час. Вася — в телогрейке с чужого плеча — с трудом разжал закостеневшие пальцы. Перетащили в лодку, силой открыли рот, влили спирту. Иван очухался, огляделся, спросил:

— Вася?.. Живой?..

— Живой, Трофимыч, живой!.. — смеялся Вася. — Не чаял вас на бакене найти. Кошку мужики захватили да багры. Там искать думали. Фельдшер вон по берегу бегает: откачивать вас собрался.

Двое мужиков из колхоза имени Первого мая, усмехаясь, покачивали головами. Они и радовались, что спасли человека, и осуждали Ивана, что полез в бурю на утлой лодчонке, словно неопытный горожанин.

— Лодку-то утопили. Жалко, а?..

— Топляк проглядел. А жалко — чего жалеть-то теперь? Главное, вы живы, Иван Трофимыч, а лодку наживем. И мотор достанем: мужики говорят, тут метра три глубина, не боле.

— Про катер мой не слыхал?

— На мель он сел, Трофимыч, — сказал один из мужиков. — Аккурат на перекате, что по левому берегу. Там они его, значит, и оставили, а сами до берега добрели и подались вроде в Ольховку.

— Все сошли?

— Слыхал, все.

— Ой, туда мне надо, мужики, — забеспокоился Иван.

— Водки тебе надо, — улыбнулся второй. —

Выпить водки и залечь на печи под тулупом. А туда мы сами сходим. Вот затишеет чуток — и сходим…

Стихло только к утру. Колхозный катер вышел из Козловки с рассветом; Ивана не взяли, как он ни настаивал. Его еще бил озноб, он лежал в медпункте под двумя тулупами, и председатель колхоза ехать ему запретил.

«Волгарь» был залит водой. Еленка и Сергей с ночи дрожали в холодной рубке. Катер огруз, влез в песок, и спасателю сдернуть его не удалось. Надо было идти за подмогой, и капитан забрал Еленку с собой: Сергей наотрез отказался покинуть судно. Попросил только оставить курево.

«Волгарь» сдернули двумя катерами, да и то после того, как откачали воду. К полудню отбуксировали в затон, подвели к барже. Иван сам принял чалку, закрепил, молча полез в моторное отделение.

— Заклинило, — сказал Сергей. Он сидел наверху, на трапе, свесив ноги в моторный отсек.

Иван попробовал провернуть двигатель ломиком за маховик. Вис всей тяжестью, согнул ломик — двигатель не провернулся.

— Я же говорю: заклинило, — повторил Сергей.

— Под суд пойдешь, — негромко сказал Иван и

полез наверх прямо на Сергея.

Сергей вжался в стенку, пропустил. Иван прошел на нос, с грохотом откинул люк. Из кубрика выглянула испуганная Еленка.

— Молчит?..

— Через час вернусь, — вдруг сказал Сергей и спрыгнул на берег как стоял, в мятых рабочих штанах, грязной рубахе.

Он почти бежал по берегу, и злоба душила его. Ему пригрозили, угроза была реальной, и теперь в дело вступали другие законы.

Ему повезло: Пахомов был на месте и — один. Сергей почти оттолкнул секретаршу, застрявшую в дверях. Ввалился грязный, задыхающийся. Пахомов строго сдвинул брови, указал на стул.

Рассказывать Сергей умел. Он ничего не скрывал: ни того, что пошел в рейс без разрешения, ни того, что загубил мотор, ни того, что первым спрыгнул за борт тонущего катера. Но про деньги не сказал ни слова, и все выходило так, словно действовал он если и не совсем по закону, то все же из добрых побуждений.

Пахомов слушал молча, по-прежнему строго насупив брови. Молчание его очень пугало Сергея: он стал увядать, вязнуть в рассказе, повторяться, но тут парторг неожиданно начал проявлять

любопытство, перебивать вопросами, и Сергей, воспрянув, ловко и стройно закруглил покаяние, вызвавшись оплатить ремонт из собственного кармана.

— Зарплаты не хватит, — нахмурился Пахомов. — Пустое обещание.

— На книжке есть, — заверил Сергей. — Производство не должно страдать от моего легкомыслия.

— Правильно, — сказал Пахомов. — Это ты правильно рассудил, одобряю. Я понимаю, действовал ты активно. Сам в воду полез, людей на берег вывел. Все это в плюс тебе, но могут быть серьезные нарекания. Жалобы. А если жалоба в письменном виде — сам понимаешь, не откликнуться не имеем права. Вот и соображай.

— Спасибо, Павел Петрович, — с чувством сказал Сергей. — Вот поговорил с вами и вроде душу облегчил. Нет, вы не подумайте чего: за то, что напортачил, отвечу. По всей строгости, сознаю. А с души вы у меня груз все-таки сняли. Спасибо вам за это большое.

Он уже шел к дверям, когда Пахомов остановил его:

— А Бурлаков что думает?

— А что ему думать, Павел Петрович? — как

можно проще спросил Сергей. — Он ведь не ходил с нами, он тут ни при чем.

— То есть как это ни при чем? Он капитан, он за все отвечает.

— Так-то оно так, но ведь формально…

— Ну ладно, поглядим. Иди действуй. Не задерживаю.

Сергей на цыпочках вышел из кабинета и тихо притворил за собою дверь.

Он вернулся на катер и весь день вместе с Иваном прокрутился в моторном отделении. Вычерпали воду, досуха тряпками протерли днище. Двигатель не трогали: до прихода комиссии не велено было к нему касаться. Еленка шуровала в кубрике.

Работали молча. Раз только Еленка заикнулась насчет обеда, но Иван хмуро сказал:

— Не заработали.

К вечеру кончили. Иван хотел было заняться палубой, но Сергей решительно отказался:

— Дела у меня.

Иван не спрашивал, что за дела. Прошел на палубу, ковырялся там один: только грохот стоял.

Сергей спустился в кубрик. Еленка протирала пол, высоко подоткнув короткую юбку.

— Дела, Еленка. Действовать надо, а то навесят

нам, что и в жизнь не разогнешься.

— Скоро вернешься?

— Постараюсь. А что?

— Ничего. — Она улыбнулась. — Скучать буду.

— Ну, поскучай. — Сергей переоделся, сунул в карман деньги и вышел.

Он не хотел расспрашивать Ивана, да и встречным опасался прямо ставить вопрос: юлил, балагурил, выпытывал и вызнал-таки нужный ему адрес.

В ответ на стук долго брехала собака. Потом послышались шаги, приглушенный голос спросил:

— Кто?

— С «Волгаря»! Сергей Прасолов. По делу.

Калитка приоткрылась, и в щели показалась массивная фигура Степаныча. За спиной яростно билась на цепи собака.

— Чего тебе?

— Поговорить.

— Не о чем нам говорить.

Он хотел захлопнуть калитку, но Сергей подставил ногу.

— Долг за мной, Степаныч. Клубнику ты по моей вине утопил. Совесть велит рассчитаться.

— Совесть?.. — Степаныч захохотал. — Ну, проходи.

Прошли в дом. Толстая жена в упор смотрела на Сергея и только моргнула в ответ на его: «Добрый вечер, хозяюшка».

— Ну, садись, — сказал Степаныч. — Значит, прищучило начальство?

— Начальству об этом знать не положено, — улыбнулся Сергей. — И если договоримся, то и беспокоить его не будем.

— Смотря как договоримся…

— По совести. — Степаныч был калач тертый, и Сергей держал ухо востро. — Во сколько убытки ставишь?

— Во сколько?.. — Степаныч прикидывал, как бы не продешевить. — Ну, это как считать…

— Клубники две корзины, — вдруг быстро сказала жена. — Одна к одной ягодки, перебранные…

— Не мешай! — прикрикнул Степаныч. — Ступай вон на кухню да жрать мне приготовь… С работы я, — пояснил он, когда жена вышла.

— Значит, в самый цвет угадал, — сказал Сергей и выудил из кармана бутылку.

— Полагаешь, что договоримся? — усмехнулся Степаныч.

— Начальство тебе убытки не оплатит, это ты и сам понимаешь. А я — оплачу.

— За что?

— За что? — Сергей прикурил, раздумывая, стоит ли играть в открытую. Решил рискнуть: мужик был жадным. — За то, чтобы начальство не беспокоить.

— Полста.

— Ого!..

— А ты как думал? Клубника — раз. Костюм праздничный измарал — два. И мое беспокойство тоже не задаром.

— Любую половину.

— Четвертной, значит. Нет, парень, поищи дураков. Мы тоже понимаем, что ты ко мне прискакал…

Торговались долго, зло, как на рынке. Столковались на тридцати, клянясь друг другу забыть эту историю.

Стемнело, когда Степаныч вышел проводить гостя. Отогнал пса, отпер многочисленные засовы, сказал вдруг:

— А кто-то обещался мне борщ за шиворот вылить..

Захохотал тоненько, торжествующе. Огрел Сергея по спине жирной рукой..

— Погоди еще!.. — Сергей тоже захохотал. — Погоди, может, еще и вылью!..

— Нет уж, не выльешь! — заливался Степа-

ныч. — Все, продал ты свою выливалку за тридцать целкачей!

Утром пришла комиссия: представитель главного инженера, молодой мастер из ремонтных мастерских и капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. Иван хотел поговорить с ним, но держался Антон Сергеевич официально:

— Поглядим. Лишнего не напишем.

Лишнее и не понадобилось. Согласно акту авария произошла по вине экипажа: сорвало штуцер масляного фильтра.

— Согласны, Иван Трофимыч? — спросил представитель главного инженера.

— Моя вина, — сказал Иван.

— Тогда подпишите.

Иван подписал. Комиссия удалилась, приказав готовить двигатель к монтажу. Двигатель готовить Иван не стал, а полез в кубрик за клюкой. Вылез, сказал не глядя:

— Я — к старикам. Вернусь поздно.

— Вот мы и опять одни, — сказала Еленка. — До самой ночи одни.

— Поскучать тебе придется, Еленка, — вздохнул Сергей. — Дела у меня, понимаешь…

— Может, отложишь?

— Нельзя. Земля под нами колышется.

Она молча смотрела, как он бреется, как надевает праздничный костюм, как старательно причесывается перед зеркалом, и в сердце ее возникла тревога. Подошла вдруг, обняла:

— Не уходи, Сережа.

— Не могу. — Он мягко высвободился. — Нельзя, Еленка. Надо, чтоб комар носа не подточил.

— Когда вернешься? — угасшим голосом спросила она.

— Вернусь?.. — Он задержался на трапе. — Не хочу обманывать: поздно. Ночью приду, не жди.

Сергей ушел, прогрохотав над головой ботинками. Еленка села к столу и тихо заплакала.

Дом пять, с палисадничком… Вот он, такой же, как все на этой улице, только наличники попроще. Те же тюлевые занавески, те же фикусы да столетники.

Сергей очень не хотел входить в этот дом. Это было во сто крат хуже, чем пить со Степанычем водку.

— Шура дома? — с наигранной небрежностью спросил он у тощей, пронзительно любопытной хозяйки, без стука войдя в дом.

— До-ома, — неторопливо протянула она, в упор разглядывая его. — Вон в ту дверь…

Он постучал и, не ожидая ответа, приоткрыл

дверь.

— Можно?

Шура сидела на широкой, как телега, деревянной кровати и ложкой хлебала кислое молоко из большой кастрюли. Увидев его, она словно окаменела. Он плотно прикрыл за собой дверь, блеснул зубами:

— Приятного аппетита!

— Ты зачем? — Она поискала, куда поставить кастрюлю, и поставила ее на пол у кровати. Ложка, звякнув, утонула в простокваше. — Ты чего тут?

— Соскучился, — с вызовом сказал он и сел на единственный стул у тумбочки, заставленной флаконами и баночками. — Не прогонишь?

Она молча смотрела на него, часто моргая короткими ресницами. В старательности, с которой она пыталась сообразить, как он здесь оказался, было что-то детское. Сергей не дал ей опомниться:

— Тоска меня заела, Шуренок. Такая тоска, что хоть криком кричи, честное слово. Думал я, думал и надумал к тебе прийти, прощения просить. Обидел я тебя, очень обидел, знаю. Черт возьми, как это получается? И не хочешь, а иной раз не справишься с настроением, обидишь хорошего

человека, а потом локти кусаешь… Один я тут, Шурок, совсем один, чужой, понимаешь?

Он говорил приглушенно, мягко, жалостливо: ворковал. Шура слушала не слова, а голос, который звучал все тише, все печальнее, и сердце ее уже сладко и тревожно замирало в груди. Сергей взял ее руку, погладил; не вырвалась, только спросила деловито:

— Тебя хозяйка видела?

— Тощая такая? Как селедка?

— Тебе уйти надо, — озабоченно сказала она. — Я потом проведу, если хочешь.

— Боишься?

— Если бы ты на мне жениться собирался, мне бы наплевать на них было. А так, когда гуляем просто, нельзя. В день на всю улицу ославят.

Он вышел, демонстративно распрощавшись с хозяйкой. До вечера они гуляли по берегу, а когда стемнело, Шура провела его в комнату. Здесь он грубо обнял ее, а она только шептала:

— Тише. Стенка тонкая. Тише…

На катер возвращался с рассветом. Шагал, задыхаясь от омерзения, тер лицо. На берегу разделся до пояса, долго мылся, скреб грудь песком. Одевшись, босиком прошел на катер. На носках спустился в кубрик, шагнул в свой угол…

…Утром он опять побежал к Пахомову. Долго ждал, пока можно будет потолковать с глазу на глаз. Курил в коридоре, прятал от знакомых лицо, думал.

Он отвел возможные удары. Два пассажира «Волгаря» имели основания посчитаться именно с ним, но он блокировал их действия. Конечно, не исключено, что напишет кто-нибудь еще, но та жалоба уже не может быть направлена лично против него, против Сергея Прасолова.

Он ни словом не обмолвился об этом с Пахомовым. Поговорили о заключении технической комиссии, о возмещении убытков. Пахомов не расспрашивал, держался настороженно, и Сергей снова грубовато порадовался:

— Посоветуешься с вами, Павел Петрович, и словно камень с сердца. Легче дышится. Действовать хочется, Павел Петрович, честное слово!..

— Ну, ну, ты не очень-то это… словами бросайся, — сердито сказал Пахомов, но улыбку сдержать не мог.

— Неужели вы во мне сомневаетесь? — как можно проникновеннее спросил Сергей. — Я знаю, чем грех замаливать. Знаю и выполню.

— Вот это — разговор! — с удовольствием сказал Пахомов и впервые за два свидания пожал

Сергею руку. — Действуй, товарищ Прасолов.

И опять, как в тот раз, спросил об Иване, когда Сергей уже выходил из кабинета. Спросил просто, как бы между прочим, но Сергей уловил в его тоне оскорбленное самолюбие:

— А Бурлаков, конечно, занят по горло?

— Да не сказал бы, Павел Петрович, — рискнул Сергей. — Вчера, например, к шкиперу на баржу с обеда ушел.

— А посоветоваться — времени нет, — с неудовольствием сказал Пахомов. — Ну-ну…

И было в этом привычно служебном «ну-ну» что-то такое, что Сергей на миг пожалел о своих точно рассчитанных словах.

Никто не хотел заводить «дела», но оно завелось словно само собой. В пятницу назначили общее собрание.

— Насчет того, за так возил Прасолов или за денежку, нету у меня мнения, — говорил капитан «Быстрого» Антон Сергеевич. — Кто говорит — да, кто помалкивает, а кто наоборот: на общественных, мол, началах.

Зал клуба был набит до отказа. Вел собрание Пронин.

— Так что будем считать — за совесть вез Прасолов…

— Точно! — пробасил Степаныч. — Именно что за совесть!

Захохотали:

— Степаныч у нас — первый спец насчет совести!

— Так и считаем, — продолжал Антон Сергеевич. — И все-таки по-разному Бурлаков и Прасолов провели то воскресенье, и вина у них разная. Прасолов оставался за капитана, он и виноват в первую голову. А Бурлаков не сумел правильно воспитать экипаж, вот как я полагаю. Что скажешь, Иван Трофимыч?

— Вину свою полностью признаю, — с места сказал Иван. — Обязуюсь прощение заслужить.

— К дате! — крикнули из зала.

— Что? — спросил директор.

— К дате! Ну, какая там на очереди?

— День кино!

— Давай, председатель, закругляй! Все ясно-понятно!

Сергей прошел к трибуне и долго молчал, облизывая пересохшие губы. В голове путалось, ощущение чего-то непоправимого мешало говорить. Он понимал, что надо ломать возникшее у собрания представление о его личной вине. Он все продумал, он твердо знал, что в самом начале

должен удивить людей, а уж потом поворачивать их в нужную ему сторону. Он продумал все и все-таки боялся…

— Надо быть честным, — глухо, словно сквозь стиснутые зубы, сказал он. — Честным перед коллективом, перед своими товарищами. Тут одним признанием не обойдешься, тут нужно все как на ладони. В прятки играть с вами я не хочу и не буду.

Собрание насторожилось. Легкий говорок, летавший по залу, притих: слушали напряженно.

— Я виноват не столько в том, что вы знаете, сколько в том, что от вас скрыл! — вдруг выкрикнул Сергей.

Он прошел к президиуму и положил на стол горсть скомканных рублей.

— Что это? — удивился Пахомов.

— Я вез за деньги. Я использовал катер в целях личного обогащения. Мне стыдно, товарищи!..

Гул прошелестел по рядам, и собрание опять смолкло.

— Я ночей не спал. Я думал, кого мы обманываем, товарищи? Мы себя обманываем. Мы себе врем, товарищи!

Вновь пробежал гул, на этот раз недоуменный. Сергей поднял руку.

— Сейчас все расскажу. В начале работы моей на «Волгаре» пошли мы заправляться. И я, я лично сделал так, что получили мы одно масло. Сделал потому, что у «Волгаря» перерасход по топливу свыше двух тонн. Было это, товарищ Бурлаков?

Иван привстал, провел рукой по лицу и снова сел. А Еленка, сидевшая в другом конце зала, поспешно закивала.

— Пойдем дальше. По ведомости на нашем катере числится четыре человека. Зарплата идет четверым, а работают трое. Один из матросов — фигура фиктивная, он только в ведомости расписывается, а работать никогда, ни часу еще не работал! Так ведь это же обман, товарищи!..

Гулом взорвался зал, и опять Сергей притушил этот гул, подняв руку. Теперь он держал собрание в своих руках, теперь от него зависело, куда и как повернуть.

— А теперь — самое главное. Купил известный вам шкипер Игнат Григорьевич телку, и понадобилось телке сено. И вот в следующее воскресенье взяли мы катер, пошли к Луконинoй топи и выкосили там всю траву. Всю, под бритву! Погрузили, пошли назад, а нас колхозники перехватили. Но и тут нам удалось уйти и свалить это ворованное сено на барже у шкипера для прокорма его лич-

ной скотины! Нас судить надо, товарищи!

Последние слова утонули в шуме:

— Бурлакову слово! Пусть объяснит!..

— А с травой решать надо, товарищи! Это — не шутка!..

— Что же ты, Прасолов, раньше молчал? Думал, сойдет?

— Тише, не кончил он еще…

— Он еще скажет! Он еще отчудит!..

— Тихо, товарищи, тихо!..

С трудом успокоили зал. Сергей залпом выпил стакан воды, продолжал:

— Вот в чем я повинен. И хочу точку на этом поставить. Хватит, товарищи! Жить надо честно!..

Опять поднялся шум. Сергей не пошел на свое место, а сел в первом ряду, в уголке. Пронин перекричал гул:

— Слово предоставляется Бурлакову!..

Стихло в зале. Иван медленно поднялся, долго шел по проходу. Стал возле стола, растерянно оглядел зал.

— Все правильно.

И замолчал. И собрание молчало, ожидая, что он еще скажет. Потом Пронин спросил:

— Все, Иван Трофимыч?

Иван посмотрел на него невидящими глазами,

тихо сказал:

— Подлец он. Неужели не видите?

В зале зашумели:

— Что он сказал?..

— Громче, Трофимыч!..

— Я говорю, что Прасолов подлец, — громко сказал Иван. — Никого не щадит: ни стариков одиноких, ни Пашу. Разве ж можно так? Разве можно за счет чужого несчастья?.. Да волк он!..

— Давайте без оскорблений, — сказал Антон Сергеевич. — Вину свою признаете?

Иван крепко сжал челюсти. Глянул через плечо:

— Нет.

— Как нет?.. Сам же только что сказал, что правильно…

— Все правильно, а вины моей нет, — упрямо повторил Иван. — Нет моей вины, не признаю.

И, шаркая, пошел на место. В зале молчали.

— Странно мне Бурлакова слышать! — вскочил вдруг Антон Сергеевич. — Знаю его давно, считал, что хорошо знаю, а выходит, не знаю совсем. Удивил ты меня, Иван Трофимыч. У тебя получается, что правду товарищам сказать — подлец, а сено украсть у колхоза — друг!

И сел на место. Сергей с облегчением расправил

плечи и откинулся к спинке стула. А собрание попрежнему помалкивало. Пронин оглядывал зал.

— Ну, товарищи, кто хочет высказаться?..

— Я хочу высказаться, — сказал Николай Николаевич.

Он не пошел к трибуне, а, выйдя к рампе, остановился против Сергея. В зале вдруг стало очень тихо, и в этой тишине Николай Николаевич негромко спросил:

— Почему вы уволились из Саратовского порта, Прасолов?

— Я уволился по собственному желанию.

— В середине навигации?

— Смешной вопрос! — крикнул Сергей. — Захотел и уволился!..

— Я все равно выясню это, Прасолов. Выясню! — Николай Николаевич повысил голос. — А вот к Бурлакову у меня вопросов нет. Я Бурлакова с детства знаю. И вы знаете!..

— Точно! — восторженно и звонко крикнул Вася и зааплодировал.

В зале зашумели, а к столу уже шел угрюмый бригадир плотовщиков Андрей Филиппыч. Стал рядом с трибуной, привычно расставив ноги, нахмурился.

— Трофимыча не оправдываю. Нет. Дров, пони-

маешь ли, много. Наломал, значит, без надобности. Солярка, значит, и матрос этот. Так. Опять же — сено. Вот главный вопрос! Моя скотина или колхозная — она все одно по несознательности жрать просит. А корма где?

— Не о кормах же у нас вопрос, Андрей Филиппыч, — сказал Пахомов. — Давай ближе к теме.

— К теме?.. — Плотовщик вздохнул, потопталася. — К теме, что ж, все ясно. Не оправдываю. Нет. Только вопрос: для кого Трофимыч старался? Для себя?..

Зал неожиданно рассмеялся.

— То-то вот и есть. Осудим мы его, конечно. И правильно. А только так скажу: если мне, не дай бог, нужда какая припрет, так я не к тебе, парень, побегу, хоть ты тут рвал на грудях тельняшку. Я к Трофимычу побегу, понимаешь ли…

Последние слова потонули в аплодисментах. Сергей уже не поднимал глаз.

— Да жук он, Прасолов этот!.. — кричали из зала.

— Ну, не скажи, похитрее: правду-матку резал — аж кровь хлестала!..

— Гнать его, сукиного сына, товарищи!..

— Врете! — вдруг выкрикнула Еленка, вскочив. — Врете вы все потому, что струсили! Вам

правду в лицо сказали, а вы, тараканы несчастные, гнать за это, да? Друг за дружку стоите, друг дружку покрываете, а как чужой кто, так — вон, да? Вон?!

Она рванулась к выходу, не сдерживая слез. В президиуме поднялся директор.

— Это все — нервы, — негромко сказал он. — А вот — документы. Два письма: копии адресованы в обком и в газету «Водник». И вот что сказано в этих письмах. Первое: обман с горючим и приписка моточасов капитаном Бурлаковым. Второе: о несчастье с Федором Никифоровым. Говорится, что несчастье это произошло потому, что капитан Бурлаков не справился с катером из-за больной ноги. Поэтому автор письма требует привлечь Бурлакова к суду…

— Кем подписано? — крикнул Вася. — Кто подписал?

— Письма анонимные.

— А анонимные — так в гальюн их!..

— Тихо! — крикнул Пахомов. — Тут не орать, тут думать надо, товарищи дорогие!..

После долгих споров обоим — и Бурлакову и Прасолову — записали по выговору, и Сергей при людях с трудом сдержал радость.

Собрание кончилось. Все повалили к дверям,

шумно переговариваясь. Михалыч, Вася и Андрей Филиппыч задержались у выхода, поджидая Ивана, но он прошел мимо, остекленело глядя перед собой.

Следом спешил кадровик. Выскочил в густую темь, крикнул:

— Трофимыч!..

Иван не отозвался. Николай Николаевич догнал, тронул за плечо.

— Пройдемся, что ли? Духотища в зале-то.

Иван молча пошел за ним. Они вернулись за крайние порядки, вышли на песчаный берег. Мерно плескалась вода, на фарватере светились бакены. Тишина сонно висела над рекой.

— Брюхо болит, спасу нет, — сказал Николай Николаевич. — Будто до сих пор там тот штык поворачивают.

— Полежал бы, — глухо, без интонации сказал Иван.

— Полежал бы! — вдруг зло подхватил начальник. — Иисус Христос, миротворец чертов! По одной щеке съездили — другую подставить не терпится?

Иван сосредоточенно молчал.

— Ты где был, когда этот гриб поганый на твоем катере корешки пускал? О добре разглаголь-

ствовал? Ну-ка такого бы Сергея да нам бы под Великие Луки в сорок первом, а?

Иван вдруг глянул на него:

— Ну, знаешь, тогда…

— Шкурник он! И тогда и сейчас. Драться надо с такими, Иван. Драться! Чтоб других не заражали. Сподличал — отвечай.

— Людям добро нужно, Николаич. Ох, нужно!

— Добро добру рознь. Твое добро Сергеев этих плодит. Сообрази… — Он вдруг глянул в темноту, крикнул: — Ну идите уж, чего крадетесь!..

Подошли Вася, Михалыч и плотовщик. Михалыч завздыхал, засуетился, заглядывая Ивану в глаза, а Вася сказал:

— Айдате к нам, Иван Трофимыч. Посидим, покалякаем, Лидуха самовар раскочегарит.

— Чего на воде-то болтаться? — забасил плотовщик. — Пошли ко мне. Телевизор поглядим.

— Самовары, телевизоры, — проворчал кадровик. — Ну, счастливо вам, мужики. А ты думай, Иван. Думай: я тебе правду сказал.

И пошел в темноту, потирая рукой разболевшуюся старую рану.

— Ну, все, Еленка, теперь — полный ход, — взволнованно говорил Сергей вечером в кубрике. — Завтра пойду к Федорову: пусть ставит на

катер только нас с тобой. Кровь из носу, а должны вдвоем справиться. Должны!

— А Иван как же?

— А Иван пусть на берегу кантуется, с ним дело кончено. Пусть слесарит или в складе кладовщиком. Тут закон, Еленка, один: не сумел удержаться — падай, покуда не зацепишься.

— Хороший он человек… — вздохнула Еленка.

— Хороший человек — это еще не профессия.

Он обнял ее. Еленка посмотрела прямо в глаза тревожным взглядом, сказала тихо:

— Не надо. Иван войдет…

— Да не придет он, не жди! Он небось опять к старикам подался. И вообще забудь о нем. Забудь все. Вдвоем мы теперь. Вдвоем, понятно?

Наутро Ивана вызвали в район. Он долго ходил по инстанциям, писал объяснительные, признавал, что Прасолов говорил правду, и тут же упорно отрицал свою вину. Его пытались убеждать, разъясняли, потом махнули рукой. Велели работать, замаливать грех: с этим Иван не спорил.

С попутной машиной вернулся домой и, как было приказано, пришел прямо к директору. Долго не принимали: он курил в коридоре. Наконец пригласили в кабинет.

— А, товарищ Бурлаков. Присаживайтесь. — Директор подал руку. — Ну, какие дела?

Иван коротко рассказал. Директор кивал не глядя. Потом спросил — вдруг, не дослушав:

— Как считаете, Прасолов справится с катером?

— Вообще-то… — Иван замолчал. Он понял вопрос, понял, что стояло за ним, понял все и сказал: — Справится, Юрий Иваныч.

— А в плавсоставе служить вам больше нельзя. — Директор вздохнул и впервые глянул на Ивана. — Извините, нельзя.

— Юрий Иваныч… — Иван встал, качнулся, уцепился за спинку стула. — Юрий Иваныч, я никогда не просил… И выполнял всегда. Благодарности имею…

— Нельзя, товарищ Бурлаков, — с ноткой раздражения сказал директор. — Я тоже подчиняюсь законам. Вот так. Идите в отдел кадров, там что-нибудь подберут. Я дал указание. До свидания. Идите.

Иван шел в отдел кадров, ни с кем не здороваясь, глядя сквозь людей, а серую праздничную кепку нес в руке, забыв надеть при выходе из кабинета. Так он и вошел к начальнику.

— Здоров, — сказал Николай Николаевич. —

Садись. Кури.

Он ни о чем не спрашивал. Иван курил медленно, долго разглядывал огонек папиросы, стряхивая пепел в огнеупорную ладонь. Николай Николаевич терпеливо ждал.

— Уволили, — растерянно сказал Иван.

— Знаю, — подтвердил начальник. — Обижаться на это смысла нет: по состоянию здоровья тебя давно на берег списать надо.

— Берег… — Иван горько усмехнулся, прошел к окну, высыпал пепел. — Где он, мой берег, Николай Николаич?..

— Привыкнешь, Трофимыч. Ой, к чему человек привыкнуть может, это даже вообразить себе невозможно!..

— И к тому, что дома нет, тоже привыкнуть можно?

— Смотря что домом считать. Был катер домом, будет — мастерская. Или ты, может, куда еще хочешь?

— Все равно.

— Ну, коли все равно, так слушай меня. Пойдешь мастером по топливной аппаратуре. Работа чистая, тонкая. Вдумчивая работа, как раз для тебя. При мастерской каптерка имеется. Я с начальством договорился: будешь там жить.

Поставишь коечку, столик…

— Хватит с меня исключений. Как все желаю. Как все.

— В общежитии сплошняком одна сезонная молодежь. Они, подлецы, по летнему времени в три утра спать ложатся. Там ты враз окочуришься, это я тебе точно говорю.

— Нет уж, Николаич, давай как все, — упрямился Иван.

— Нет места в общежитии, все, точка! — вспылил начальник. — Ему как лучше хотят, а он свое. И какой ты обидчивый, Иван!..

— Обидчивый?.. — Иван серьезно посмотрел на него, снова полез за папиросами. — Нет, Николай Николаич, на себя, на жизнь свою обижаться — это пустое. А больше мне не на кого обижаться. Да, не на кого. Все правильно. Пашу уволил?

— Уволил, — вздохнул Николай Николаевич. — Эх, признал бы ты свою вину на собрании!.. Признал бы вину, и все было бы как надо.

— Какую вину? — строго спросил Иван. — Разве ж можно людям в беде не помочь? Подлецом надо быть, чтоб не помочь.

— Эх, Иван! — Начальник стукнул кулаком о стол и выругался. — Говорил же я тебе, предупреждал. Ну, да что прожитое вспоминать…

Помолчали. Иван спросил не глядя:

— Со стариками-то как решили?

— Не решали еще. Колхозу сообщили: бригадира ихнего видел. Радуется: сенцо-то задарма получил…

В цехе Ивану понравилось: каждая вещь знала место, чувствовался порядок. Да и народ в большинстве был пожилой, степенный: на регулировку топливных насосов мальчишек не поставишь. Встретили Ивана как старого знакомого. Начальник показал что к чему, познакомил с бригадой, определил к месту.

— А жить будешь здесь, Трофимыч. — Он открыл дверь в углу, пропустил вперед Ивана. — Здесь у нас тихо: в одну смену работаем.

Комнатка была маленькой, метров шесть. В углу стоял столик, табуретка и голая железная койка. Окно, пол, даже стены были тщательно вымыты, а подоконник и рамы окрашены заново: его ждали, о нем думали, и горячая волна благодарности ударила вдруг Ивану в голову, закружила, и он поспешно сел.

— Ну, спасибо тебе…

Но в комнатке никого уже не было: начальник ушел по своим делам…

Так вот, значит, какое оно, это последнее его жи-

лье. Ему не было тягостно от этих мыслей. Самое главное — приют этот последний теперь был у него. А значит, были и люди, которым еще нужен он, Иван Бурлаков, значит, рано еще списывать его со счетов, значит, нужно и можно жить…

Он договорился с начальником, что переедет сегодня же, а завтра с утра заступит на смену. Теперь следовало пойти на катер за вещами, и — странное дело! — он уже не боялся этого.

На выходе он столкнулся с Михалычем. Оба обрадовались встрече, долго жали руки, улыбались друг другу.

— Ах, Иван Трофимыч, родимый ты мой, все знаю, все!.. — частил Михалыч, держа Ивана за руку. — Аккурат вчера узнал, утром вчера. Прихожу на работу, а мне говорят: уделай каптерочку под жилье. Для Ивана Трофимыча, мол…

— Так это ты уделал, Михалыч?

— Да пустое это, пустое. Нюрку, старшенькую свою, вызвал: она у меня проворная. Ты на катер, что ли? Может, помочь?

— Какая там помощь, Михалыч. Пожитков — всего ничего.

— Ну, наживешь еще. А уж вечерком к нам пожалуй, Иван Трофимыч, не обидь. Ждем тебя. Харчишек жена сготовила, посидим, побеседуем.

Уважь, Трофимыч.

Отказывать Иван не умел, согласился. Обрадованный Михалыч ушел, а Иван направился к причалам. Идти пришлось долго, потому что встречные останавливали его на каждом шагу, расспрашивая, что было в районе и как он теперь устроился.

Еще издалека Иван увидел свой катер, и что-то дрогнуло в нем. Оживление, вызванное новым жильем и встречами, спало, печаль с новой силой овладела им, и шел он теперь медленно и ничего уже не видел вокруг, кроме своего катера. Катер стоял на старом месте, у затопленной баржи. Людей не было видно, но когда Иван подошел ближе, то разглядел сухую сутулую фигуру на носу. Он остановился, всматриваясь, и тут только заметил, что надписи «Волгарь» больше нет, а вместо нее стоит прежняя цифра «17». И художник — теперь Иван узнал его — закрашивает на ведрах буквы и пишет по трафарету ту же цифру «17»…

Михалыч зашел в конце смены. Сколотил Ивану полочку, помог устроиться, а потом они пошли к нему. Идти пришлось долго: Михалыч жил в соседней деревне, за лесом. По дороге Иван рассказал, как из-за него Вася утопил новый мотор и лодку.

— Господи, господи, боже мой!.. — ужасался Михалыч. — Да прах с ней, с лодкой, Трофимыч, прах с ней! Ведь утопнуть мог, очень даже просто мог утопнуть!..

Ужинали за одним огромным столом все девять человек. Дети, а из шести пятеро были девочками, вели себя чинно, но не затурканно: смеялись на своем конце, что-то делили. Пузатый наследник сидел на руках у матери, сонно таращил глаза.

— Во, наработали!.. — с гордостью говорил Михалыч, оглядывая стол. — Целая бригада, понимаешь, целая бригада!

— Правда, доярки одни, — улыбнулась жена, кругло, по-волжски выговаривая «о». — Плотник у нас вот единственный.

Старшая дочка шустро двигалась вокруг, подавая еду. Девушка сияла таким запасом здоровья и силы, что Иван то и дело поглядывал на нее и улыбался.

— Выросла-то как Нюра-то, — пояснил он, поймав веселый взгляд хозяйки.

— Не говори! — засмеялся Михалыч. — Кофточки расставлять не поспеваем.

— Ой, ну зачем?.. — вспыхнула Нюра, мигом вылетев на кухню.

— В детском саду работает, — сказала мать. —

Специальность имеет, курсы кончила.

— Головастая, — подтвердил Михалыч. — Дочка, поди-ко!

— Зачем? — откликнулась из кухни Нюра.

— Поди, говорю!..

Нюра, смущенно улыбаясь, вышла к столу. Михалыч налил на донышко водки, протянул:

— Выпей, дочка, с нами. Как тебе есть полных восемнадцать, разрешаю.

— Не буду я. Не хочу.

— За гостя выпей. За Ивана Трофимыча. Нуко…

— Будьте здоровы, — снова вспыхнув, шепотом сказала Нюра, глотнула, замахала руками. — Ой, мамочки!..

Пока детей укладывали, Иван с Михалычем курили на крыльце. Сыпались с неба августовские звезды, таинственно шуршал лес, обступивший со всех сторон деревеньку. Мужчины неспешно говорили о делах, о шкипере, оставшемся на зиму без сена.

— Погоди, может, еще и добуду, — обещал Михалыч, — сделаем, может, чего, дай срок.

— Из-за меня все, вот ведь что получается, — сокрушался Иван. — Поверишь ли, идти к ним совестно. В глаза глядеть.

— Это ты зря, Трофимыч, зря. Ты тут совсем ни при чем, ни с какого боку… — Михалыч вдруг замолчал, нашел в темноте Иванов пиджак: вертел пуговицу. — Слушай, чего тебе скажу. Главное скажу: Нюрку мою видел?

— Видел, хорошая девушка. А что?

— Ну, коли хорошая, то… — Михалыч порывисто вздохнул. — Может, породнимся, а, Иван Трофимыч?

— Как это? — растерялся Иван.

— Бери Нюрку, а, Трофимыч? Она здоровая, она детей тебе нарожает, полную избу детей. Уходит тебя, дом тебе сделает…

— Да что ты, Михалыч, что ты, погоди. В отцы ведь я ей…

— Какие отцы, какие? И не думай об этом, Трофимыч, не думай! Ты еще — ого, орел еще! Детишки пойдут — только называть поспевай.

— Да погоди, Михалыч.

— Ну, чего годить-то? Девка — как яблочко, и мастерица, и по дому, и песни играет, не хуже Еленки…

Он вдруг замолчал, точно споткнувшись об это имя. Иван вздохнул, сказал тихо:

— Вот именно, Михалыч. Именно что так.

— Да говорят, она… — Михалыч опять запнул-

ся.

— Знаю. Все знаю: сама мне сказала. А только нет мне без нее жизни, Михалыч. Нету. Хоть и чужая она теперь, а все равно — тут она, со мной. Так что не гожусь я в женихи, друг ты мой. Не гожусь…

С ремонтом управились быстро: Сергей не вылезал из цеха, работал за двоих, исхудал, измотался, но «Семнадцатый» вступил в строй куда раньше намеченного срока.

— Ну, теперь повертимся! — радостно говорил Сергей. — Теперь, девочка, конец сонному царству!

Вертеться действительно приходилось, но Сергей был отличным организатором. Каждый вечер он надолго уходил в диспетчерскую, обзванивал участки, всеми правдами и неправдами добивался удобных нарядов и загодя составлял график. До минимума сократил простои, беспощадно строчил акты за малейшее опоздание, не стеснялся звонить и самому директору. Нажил врагов, но в первую же декаду вдвое перевыполнил план.

Случалось, что на руле стояла Еленка. Сергей настойчиво учил ее, втолковывал правила, знакомил с двигателем. Вначале Еленка боялась штурвала, от страха делалась бестолковой, но

Сергей был неумолим:

— Полегонечку, девочка, полегонечку!

Теперь он все чаще называл ее девочкой. Еленке не нравилось это новое обращение: в нем не было ни ласки, ни тепла, и внутренне она чувствовала, что это — просто привычка, что таких «девочек» у Сергея было хоть пруд пруди. Но не умела с ним спорить, боялась насмешек, со страхом вспоминала его сухие, жесткие глаза, что глянули на нее в то воскресенье, когда ездили на острова. Она хотела мира, тихой семейной радости. Ей казалось, что в этом и заключается счастье, и когда Лида в упор спросила, счастлива ли она, Еленка, не задумываясь, ответила:

— Очень!

— А жениться думает ли?

— Некогда сейчас, — отвернувшись, сказала Еленка. — Вдвоем ведь работаем. И комнаты пока не дают. Вот когда дадут…

— Он так сказал?

— Сказал, — соврала Еленка и покраснела.

Они встретились у магазина. Еленка поздоровалась, хотела шмыгнуть мимо, но Лидуха так некстати завела этот разговор.

— Нет, ты не думай, он хороший, — поспешно добавила Еленка, испугавшись, что Лида пра-

вильно истолкует ее смущение. — Только трудно ему сейчас.

Лида странно усмехнулась, промолчала, и Еленка, краснея и запинаясь, стала неуклюже переводить разговор: спросила, нашел ли Вася мотор.

— Нашел, — сказала Лида. — Глубоко только: три метра с половиной. Катер нужен: с лодки его не подымешь.

— Так сходим!.. — Еленка очень обрадовалась. — Хоть завтра сходим туда на нашем…

Лида поблагодарила, но Еленка, загоревшись, обещала любую помощь, и Лидуха заулыбалась. Расстались почти как прежде, договорившись, что завтра после работы Сергей подгонит «Семнадцатый» к топлякоподъемнику.

— Никуда не пойдем! — резко перебил ее Сергей, когда она рассказала ему о встрече.

— Как же можно?.. — растерялась Еленка. — Вася ведь к нам тогда шел, из-за нас ведь все. И обещала я: ждут…

— Подождут и перестанут, — отрезал Сергей. — Пусть оформляет через диспетчерскую: дадут наряд — пойду.

— Нет, завтра пойдем!.. — крикнула Еленка. — Люди помочь просят, а ты — наряд, диспетчер!..

Пойдем, и все. Как прежде ходили, при Иване Тро…

Она вдруг осеклась, замолчала, опустила голову.

Сергей молча курил за столом.

— Вот что, Еленка, — сказал он наконец, и Еленка опять увидела его жесткие, словно застекленные глаза. — Заруби на будущее: против меня ни полслова. Я здесь хозяин, я один решаю.

— А я, выходит, никто?

— А ты знай свое место! — крикнул он. — И цени его, пока я выводов не сделал!..

И опять Еленка не спала, тихо ворочалась, вздыхала. Думала, по дням перебирала всю небогатую жизнь с Сергеем, прикидывала, пыталась понять. Ничего не поняла, но то ли от усталости, то ли от жалости к себе решила, что погорячилась.

Теперь у Ивана было много свободного времени. Он привык работать от зари до зари, а здесь, на новой работе, освобождался в четыре, запирал за рабочими двери мастерской и тоскливо плелся в свою комнатку. Забот не было.

Эти длинные пустые вечера он проводил в гостях. Но к Михалычу часто ходить стеснялся, помня последний разговор и боясь его продолжения. Федор теперь с азартом чинил будильники,

но лучше ему не становилось, и Иван с болью отмечал, как угасает на его глазах волжский богатырь, шутя поднимавший когда-то по восемь пудов. Все чаще ловил он на себе тоскливые взгляды Паши, ежился под этими взглядами и после подолгу не мог уснуть в одинокой комнатке: стоять бы тогда Федору на полшага правее…

Неуютно было ему и у стариков. Нет, ни в чем они не винили его, и радушие их по-прежнему умиляло старинным хлебосольством, но тревога, поселившаяся на барже, не могла не касаться его, и опять он чувствовал себя виноватым. Шкипер ходил по начальству, просил позволить дожить жизнь так, как она сложилась, но ничего не добился.

— Разберемся.

— Такие, значит, дела, Трофимыч, — подытожил старик, когда они курили на барже. — И как они там разберутся и когда — не ведаю. А ведать бы должен, потому что ежели, скажем, решат, что съезжать нам, это одно, а ежели дожить тут дозволят, так ведь сено добывать нужно. Тут ведь на орла да решку не кинешь, тут заранее знать надо.

Скандалами, жалобами и беспощадными актами за малейший простой Сергей все-таки добился

своего: катер работал теперь по строгому часовому графику. И снова на всех летучках все чаще и чаще поминали «Семнадцатый», но никто уже не называл его Ивановым. Разве что неисправимые консерваторы из старых капитанов, да и то как-то походя, словно стесняясь. Но и Сергеевым катером тоже никто не называл.

— Не любят нас, Сережа, — с горечью сказала Еленка. — Бабы меня совсем привечать перестали, а мужики усмехаются.

— Нам с ними не детей крестить, — отмахнулся Сергей. — Доплаваем навигацию, снимут выговор, сыграем свадьбу, а там поглядим. Может, и подадимся отсюда: в Сибири рек много…

Он говорил о Сибири, о тамошних заработках, а Еленка ничего не соображала. Она глядела на него во все глаза, и лицо его двоилось, расплывалось перед нею, потому что слезы мешали смотреть.

Вот так он впервые сказал о свадьбе. И именно потому, что сказал вскользь, среди других дел, Еленка поняла, что это серьезно. Она удержала себя, не кинулась на шею, а, спрятав слезы, стала обстоятельно обсуждать предполагаемую жизнь в Сибири.

Она научилась угадывать его желания и хва-

тать на лету то, что он только собирался сказать. Сергей смело нагружал ее работой, научил водить катер, посылал в диспетчерскую за нарядами или в контору с рапортичками. Вначале она очень не любила эти поручения, стеснялась, но постепенно страх перед людьми прошел, она стала держаться свободно, и Сергей не шутя утверждал, что через год сделает из нее помощника капитана.

— Главное, людей не бойся, — поучал он. — Пусть лучше они тебя боятся.

Но хозяйство все равно оставалось на ней, и обычно, сдав рапортички, Еленка бежала в магазин. Она привыкла все делать на рысях, но в то утро, завернув за угол, сразу остановилась.

Прямо на нее, тяжело ступая, старый шкипер вел на веревке рыжую телочку с белой звездочкой на лбу. Он молча угрюмо смотрел перед собой, и Еленка попятилась, вжимаясь в стенку дома.

— Здравствуйте.

— Здорово. — Шкипер, не глянув, прошел мимо. Но старуха остановилась. Долго жевала бледными тонкими губами, серьезно и строго смотрела на Еленку.

Потом спросила:

— Чего же не заходишь-то?

— Да вот замоталась, — жалко бормотала

Еленка, спиной чувствуя, что шкипер тоже остановился и тоже серьезно и строго смотрит на нее. — Вдвоем мы теперь на катере-то.

— Вышло нам решение, — словно не слыша ее, спокойно сказала Авдотья Кузьминична. — Приказано с баржи съехать и не жить там больше. А жилье наше порушат и сделают склад.

— А вы как же?

— Комнату дают. В новом доме.

— Вот такие, значит, Еленка, пироги, — сказал шкипер, закуривая. — Так что приходи на новоселье.

— А ее куда же? — растерянно спросила Еленка.

— Продавать ведем, — сказала старуха. — Да. Продавать. В комнате не поместишь.

— Зря, выходит, мы страдали на Луконинoй топи, — вдруг улыбнулся шкипер. — И рад бы погоревать, да больно радостно тогда было. Больно радостно.

Он повернулся, тронул веревку, и рыжая телочка покорно двинулась за ним. Старуха пожевала губами, сказала безразлично:

— Заходи.

И пошла не оглядываясь, а Еленка долго еще стояла у бревенчатой стены, смутно ощущая

вину. Она невольно вспомнила об Иване, и реальная вина перед ним переплелась с этой виной, выросла, обрушилась на нее, разом сметая все ее личные мелкие радости и удачи. Она опустилась на пыльную траву, закрыла лицо руками: очень хотелось поплакать, но слез не было.

Просидев так с час, Еленка встала и пошла на катер. Выплакаться не удалось, и все запеклось внутри и огрубело.

На катере был Пронин. Еленка еще издали заметила его, но даже не поправила волосы: сегодня ей было не до Володьки.

— Ну почему я? — раздраженно спрашивал Сергей. — Почему водометный не послать?

— Потому что он здесь плавал, а не на водометном, — сухо сказал Пронин. — И кончай этот недостойный торг, Прасолов. Значит, гирлянды, постамент… Здравствуйте, товарищ Лапушкина.

Еленка сухо кивнула, спустилась в кубрик. Тут вспомнила, что забыла зайти в магазин, но идти никуда не хотелось. Выскребла остатки, поставила обед. Катер уже куда-то шел, что-то цеплял, Сергей привычно с кем-то собачился, а она, машинально помешивая суп, все думала о стариках и Иване, и впервые за последнее время об Иване больше, чем о ком-либо другом.

— Заболела, что ли? — спросил Сергей за обедом.

— Знаешь, Сережа… — Она поколебалась, стоит ли говорить. — Знаешь, стариков-то с баржи выселили.

— Не выселили, а комнату в новом доме дали, — весомо сказал он. — Комнату, понимаешь? Нам вот с тобой не дали, а им — дали.

— Да зачем им комната? — с тоской сказала Еленка. — Жизни они привычной лишились, вот ведь что.

— Ну, не преувеличивай! — Он отмахнулся. — Жизнь у нас одна: советская. А не кулацкая. Об этом не забывай.

— Господи, ну какая там кулацкая, какая?

— Ну, ладно, хватит! — резко прикрикнул он. — Слышал я их песни и знаю, что говорю. И правильно, что хозяйство их ликвидируют…

— Нет, не правильно! — вдруг крикнула Еленка и встала. — И не кричи на меня. Не кричи, понял?..

Долгожданные слезы хлынули из глаз, Еленка ничком упала на диван. Сергей закурил, сказал мягко:

— Ладно, не обижайся. Извини. Нервы, знаешь. Наряд на завтра хороший был, да сорвался, из

графика нас вышибли. — Он потоптался, не зная, что еще сказать. — Я в контору схожу, а ты побудь: плотник должен прийти.

Плотник пришел к концу смены. Еленка услышала чужие шаги, насторожилась, но он окликнул:

— Хозяин!

Поднялась в рубку, увидела сквозь стекло Михалыча и задержалась: опять судьба сталкивала ее с той, прошедшей жизнью, о которой она часто думала, но о которой так хотела забыть.

— Здравствуйте, — сказала она, выходя на палубу.

— Здоров. — Он мельком глянул, размечая прямоугольник. — А хозяин где?

— В контору ушел.

— А-а.

Он не обращал на нее внимания, продолжая обмерять толстые брусья и доски. Обмерив, достал лучковую пилу, приспособился пилить, уперев брус в носовой люк.

— Что это вы строите?

Михалыч задержал пилу, странно, боком глянул на Еленку.

— Что строите, спрашиваю?

— Постамент, — сказал он, снова начиная пи-

лить. — Гроб на него поставят.

— Гроб?.. Какой гроб? Зачем?

— Затем, что человек здесь работал. Здесь работал, здесь и последний путь должен…

Хватаясь руками за железную стену рубки, Еленка медленно сползала на палубу. Михалыч бросился, подхватил, с тревогой глядя на ее белое, как молоко, лицо.

— Ну, чего ты, чего, а?.. Ах ты, господи…

— Он?..

— Да не он, не он, господи! Думал, знаешь ты… Федор Никифоров помер вчера. Враз помер — как лежал, так и вытянулся… Ну, вставай, вставай, чего сомлела?

Еленка молча отстранила Михалыча, цепляясь за рубку, пошла к дверям. В дверях остановилась.

— А я подумала…

— Жив он покуда, — строго сказал Михалыч.

Утром Еленка надела синее шерстяное платье. Сергей ничего не сказал, но, позавтракав, тоже переоделся и повязал галстук.

После завтрака они долго мыкались по своему печально праздничному суденышку. Катер одиноко притулился у баржи: соседи с зарей ушли в рейсы. Еленка поминутно спрашивала:

— Не пора?

— К десяти велено.

Она бесцельно слонялась по катеру. Спускалась в кубрик, вновь поднималась на палубу. Сергей молча курил на моторном люке.

— Не пора?.. — вздохнула Еленка.

— Оркестра не слышно.

— А будет оркестр-то?

— Обещали.

— Это хорошо, это по-человечески… — Еленка походила вдоль борта, удивилась: — А люди хоть бы что. Работают.

— Да. — Сергей вздохнул. — А у нас — простои.

— Как ты можешь так…

— Только без слез, — поморщился Сергей. — Сама же заметила, что люди работают. А мы что, не люди?

— Не знаю, кто мы, — помолчав, сказала Еленка. — Когда ты такое говоришь, то мне кажется: нет, не люди.

Где-то вдали пропела труба, грохнул барабан. Еленка замолчала, подавшись вперед, вслушиваясь. Сергей прошел в рубку, завел двигатель, высунулся:

— Отдай чалку!..

«Семнадцатый», мелко подрагивая, пошел к пассажирской пристани…

Скорбное шествие медленно приближалось. Играл оркестр, но звуки его то и дело перекрывались исступленными женскими криками.

Впереди два мальчика несли крышку. Крышка была тяжелой, Вовка положил ее на плечи и шел вслепую, нащупывая ногами дорогу. Он не заметил поворота к пристани, и Пронин руками направил его в нужную сторону. Сергей взял у мальчишек крышку и прислонил ее к рубке.

Четверо мужчин на полотенцах несли гроб. За гробом шли Паша и сестра покойного.

Музыка смолкла. Провожающие и оркестранты устраивались на катере, негромко переговариваясь.

— Где пионеры? Пионеры не приходили? — волновался Пронин.

— Отчаливать? — спросил Сергей.

— Погоди, Прасолов. Еще маленько погоди.

Естественный ход похорон нарушился. Люди переминались с ноги на ногу, шушукались, музыканты брякали трубами. Наконец крепкогрудая вожатая привела десяток ребятишек. Пронин оживился, деятельно объяснял, как стоять в почетном карауле, когда сменяться. Дети слушали плохо, со страхом поглядывали на белое лицо Федора.

— Детишек-то напрасно сюда, — сказал Иван. — Не годится им на мертвяков глядеть.

— Положено так, — с неудовольствием ответил Пронин. — Прасолов, отчаливай.

Сергей завел двигатель. Пронин побежал на корму, шепнул музыкантам. Тяжко ударили тарелки. Пронин вытащил платок, помахал.

Замерло движение на реке. А как только «Семнадцатый» отвалил от пристани, торжественно взревели пароходные гудки. И опять заголосила сестра, заплакали бабы, а гудки все ревели и ревели, провожая в последний путь помощника капитана Федора Никифорова.

Кладбище было на той стороне, и гудки ревели, пока катер не пересек реку. Сергей причалил к дощатой пристани, заглушил мотор, вышел из рубки. Крышку с ребятишками уже ссадили на берег, но никто больше не высаживался, потому что мужчины еще не переправили гроб. Возле него сменилась последняя четверка перепуганных детей, Пронин дал команду, и Сергей шагнул вперед, берясь за тот край полотенца, который прежде держал Иван.

— Не надо, — сказал Иван. — Оставь.

— Тяжело тебе: в гору.

— Ничего. — Иван перекинул через плечо по-

лотенце. — Взяли.

На кладбище гроб опустили рядом с могилой, провожающие столпились вокруг, перемешались, тесня друг друга, и Еленка оказалась в самой гуще. Пронин открыл митинг, говорил, по счастью, коротко и не по бумажке. Потом выступал еще кто-то — Еленка не слышала, — и вперед вышел Иван. Он долго мял в руках кепку, глядя в лицо Федора, а кругом стало вдруг так тихо, что Еленка испугалась. Она начала уже прорываться вперед, когда Иван сказал:

— Девять навигаций плавал я с Федором Семенычем. И льдом нас затирало, и на мель мы садились, и мерзли, и мокли, и тонули — все было. При мне у него и дети родились, и дом он поставил, и покалечился тоже при мне…

— Не при тебе, а из-за тебя!.. — выкрикнул одинокий голос, и Еленка узнала Степаныча.

По толпе пробежал гул. Пронин и Вася метнулись к Степанычу, а Паша со стоном выдохнула:

— Не надо, не надо!.. Просила ведь вас, господи!..

— Верно, — тихо сказал Иван. — Только судить меня он один мог, а больше никто. Мы с ним душа в душу жили, душа в душу. И если было что не так, если виноват я, то он и решал и судил.

Вот так. Никого больше меж нами не было и не надо. Прощай, Федор Семеныч, прощай, друг, и прости меня.

Он с трудом опустился на колени, коснулся губами белого лба, встал и, ни на кого не глядя, пошел прямо на толпу. Люди раздались, пропуская его, и опять сомкнулись в одно целое. Пронин махнул рукой, оркестр заиграл марш. Заплакали, заголосили бабы, затолкались, пробираясь к гробу, а потом, перекрывая плач, резко и деловито застучал молоток. Еленка закрыла лицо руками, шагнула прочь от этого страшного последнего стука, уткнулась лбом в чей-то жесткий пиджак и замерла. Тяжелая рука осторожно обняла ее плечи и держала так, словно защищая, загораживая от всех бед и напастей. Она приподняла голову: это был Иван.

На обратном пути шли быстро, без музыки и гудков. Оркестранты толпились на корме, курили, переговаривались. Два раза там вспыхнул было смех, но Иван прошел, устыдил: больше не смеялись.

Паша бродила по катеру, тихо приглашала помянуть Федора. Сергей отказался, но Еленку отпустил: сообразил, что вышло бы совсем неудобно.

В доме уже был накрыт стол: Лида оставалась за хозяйку. Первой, как положено, помянули Федора, выпили в торжественном молчании, а потом разошлись, заговорили. Еленка хотела было уйти, но в дверях столкнулась с Иваном.

— Ты куда это?

— На катер, Иван Трофимыч.

— Успеешь еще.

Он сразу прошел к столу: нес из погреба заливное. Еленка постояла, подумала и вернулась.

Он не глядел на нее, разговаривал коротко, но уйти она уже не могла: хотелось объяснить, как больно за стариков, за Федора, как перепугалась она вчера, когда пришел Михалыч. Ей вдруг показалось, что после этого объяснения все станет на свои места и жизнь опять потечет мирно, привычно и спокойно.

Но поговорить так и не успела, потому что в комнату вошел Сергей. Тихо поздоровался, потоптался у порога, окликнул:

— Еленка!

— К столу прошу, Сергей Палыч. — Паша уже тянула его за рукав. — К столу…

— Нет, нет, что вы, — отговаривался он. — Я ведь за Еленкой только: баржи со скотом на утро нарядили…

— Нет уж, уважьте, Сергей Палыч. В память мужа моего, Федора Семеновича…

— Ну разве что за добрую память. — Сергей нехотя прошел, взял стакан, сказал громко: — Земля чтоб пухом ему.

Выпил, хотел уйти, но тут гости вернулись к столу, оттиснули в угол. С ним никто не заговаривал, и поначалу Сергей растерялся, выпил еще, а потом вылезать было уже неудобно. Слушал, что говорят, помалкивал, ел.

— Как движок после ремонта? Тянет?

Иван спросил вдруг, походя, вроде из вежливости, чтобы не молчал гость за общим столом. Сергей вздрогнул, поспешно проглотил кусок.

— Тянет. Нормально, в общем. Ну, в пятом цилиндре выработка большая, а так ничего. Конечно, масло жрет по-прежнему, даже больше. Но я на это специальные рапортички пишу и у главного механика заверяю. Чтоб потом собак не вешали…

Он замолчал, поняв, что оправдывается, как нашкодивший мальчишка. Заметил, что шум за столом утих, что все слушают сейчас только его. Слушают недобро и серьезно. Нахмурился, потянулся за бутылкой, но Вася перехватил эту бутылку и налил всем, а ему плеснул что осталось.

— Да уж про рапортички мы наслышаны, — усмехнулся бригадир плотовщиков. — Хорошо наслышаны, понимаешь ли.

Два этих незначительных события — подчеркнутое невнимание Василия и насмешливое презрение плотовщика — сразу успокоили Сергея. Место виноватого, уничижительного состояния заняла привычная агрессивная злоба. Сергей с облегчением закурил, не притрагиваясь больше к стакану.

— Работать надо, — резко сказал он. — Не вкалывать по старинке, как привыкли, а организовывать ее. Планировать. Газеты-то читаете или только селедку в них заворачиваете? НОТ, слыхали? Научная организация труда. И здесь надо беспощадно. Без всяких там сватьев, братьев и добрых знакомых. Не умеешь, устарел, недопонимаешь — значит, отойди и не мешай.

— Работать, стало быть, не умеем? Не умеем, стало быть? — спросил Михалыч.

— Он нас учить приехал, — усмехнулся Вася. — По собственному желанию из города Саратова.

Иван молчал. Слушал спокойно, покуривал, не глядя на Сергея. А Сергей очень хотел, чтобы он заговорил. Чтобы высказался, заспорил, чтобы выложил обиды. Вот тогда бы он прижал его

доводами, уничтожил, высмеял, заставил бы замолчать, но Иван только слушал.

И Еленка слушала. Сидела напротив, ловя каждое слово, пытаясь понять, разобраться. Сергей все время видел ее, чувствовал ее напряжение и поэтому тянул, всеми силами тянул Ивана на спор.

— Учиться никому не вредно, — еще резче продолжал он. — Вы тут добренькие очень: свояк свояка видит издалека. А работа этого не любит. Работа злость любит.

Он повторялся, талдычил одно и то же, понимал это, злился, но новые аргументы упорно не лезли в голову. И замолчать уже было нельзя, потому что чересчур уж невозмутимым, чересчур спокойным и уверенным был Иван.

— Вы что, не видите, какой бой идет? По всей стране — сражение. За новое отношение к труду. Деловое отношение. — Он очень обрадовался, что нашел наконец нужное слово. — Деловое! И деловые люди сегодня все должны определять. А деловому человеку нежности всякие ни к чему. И пусть поначалу жестоко, пусть слабенькие там всякие, пусть страдают…

— А зачем? — негромко спросил Иван.

— Зачем? А затем, что вы как кандалы на ногах

у нас. Висите, путаете, темпы снижаете…

— Чего — темпы? — все так же негромко, спокойно допытывался Иван.

— Чего? Построения коммунизма, вот чего!..

— Так ведь коммунизм — это не павильон на выставке, — сказал Иван.

От неожиданности Сергей не нашелся что сказать, да так и остался с открытым ртом.

— Правильно! — радостно крикнул Вася. — Точно вы ему врезали, Иван Трофимыч!

— Чтобы радостно всем, — зачастил Михалыч. — Чтоб справедливость, чтоб уважение было!

— И чтобы без таких, как ты! — вдруг с ненавистью выкрикнул Вася. — На порог таких не пустим!

— Да, парень, опять ты не в ту сторону тельняшку рванул, — с усмешкой сказал плотовщик. — Играешь по-крупному, к банку, понимаешь ли, рвешься, а сам как был, так и остался: весь мокрый и рупь в руке.

За столом дружно рассмеялись. Даже сидевший поодаль Степаныч пронзительно захихикал:

— Рупь в руке! Точно про него! Ну, точно! Он ведь, это, ко мне бегал, мужики, да! Просил, значит, чтоб я не жаловался. Рупь в руке!..

Отсмеялись. Иван сказал тихо:

— Ты прости нас, Паша. Забылись.

— Ничего. Он веселье любил…

Сергей, путаясь и злясь, пытался что-то сказать — его уже не слушали. Плотовщик встал, заглушил басом:

— Одно могу сказать тебе, парень: ступай-ка ты к Николай Николаевичу, пока, понимаешь ли, не поздно. И просись отсюда… по собственному желанию.

И стал прощаться с хозяйкой. Сергей крикнул Еленке:

— Пошли!

Еленка молча затрясла головой, отвернулась. Сергей растерянно топтался у дверей.

— Ну, что ты? Ну, кому говорю?..

— А она — не хочет, — сказала Лида, загородив Еленку. — Не жена еще, не командуй.

— А ты на нее рапортичку напиши! — крикнул Вася.

Сергей вышел, остервенело хлопнув дверью.

— Ну вот и хорошо, — сказала Лида. — Может, чайку кому? Налить, Еленка?

Еленка вдруг вскочила, в упор, отчаянно глядя на Ивана. Губы ее прыгали, и слова не получались, и она, оттолкнув Лидуху, выбежала из

комнаты.

«Семнадцатый» медленно тащился по реке, волоча огромную баржу, набитую предназначенным на убой скотом. Испуганные животные ревели, толкались, наваливались на трещавшие перегородки. Лохматый мужик, матерно ругаясь, щелкал бичом.

— Ползем, — злился Сергей. — Ну, как на вчерашних похоронах, ей-богу…

Утром он сбегал в партком, потолковал с Пахомовым. Вернулся сияя:

— Нас в Юрьевец посылают. За корреспондентом этим, из «Водника».

А баржа еле ползла. «Семнадцатый» выбивался из сил, но скорость не увеличивалась. И Сергей очень боялся, что не поспеет и в Юрьевец пошлют другого.

— Ой, ползем!..

Еленка не слышала его. Из головы не выходил вчерашний день, деловитый стук молотка, осунувшееся лицо Ивана, разговор за столом и смех — презрительный, уничтожающий, победный. Еленка делала все, что должна была делать, но делала словно во сне, не слыша и не замечая ничего вокруг.

Приемный пункт «Заготскота» был почти на-

против деревни, где вчера справляли поминки. Берег здесь круто уходил вверх, под ним притулилась дощатая пристань. Сергей долго подводил к ней баржу, стараясь как можно мягче коснуться ветхого сооружения. Лохматый шкипер и пожилая женщина-матрос канителились с чалкой, баржу занесло, потом с ходу сунуло в устои. Пристань заскрипела, Сергей заорал:

— Эй, на барже! Гони скорее, некогда мне!

— А ты подсоби! — крикнул шкипер. — Вдвоем зачикаемся: косогорина-то какая.

Сергей подтянулся к барже, заглушил мотор.

— Идем, Еленка. Помочь надо, а то до обеда простоим.

Коровы с трудом преодолевали крутой подъем. Падали на колени, съезжали, останавливались, но свист и крики погонщиков, пришедших из пункта, снова гнали их вперед.

— Быстрее! — кричал Сергей. — Останавливаться не давай.

— Пегую гони, пегую!..

— Но, зараза! Пошла!

В реве, мычанье, топоте гасли голоса. Пыль тяжело клубилась над медленно бредущими животными.

— Гони! Гони, не давай стоять!..

Молодняк, теснясь и толкаясь, шел сзади. Еленка и пожилая смывали с палубы грязь, лохматый ушел в контору. Сергей покричал, покомандовал и вернулся на баржу.

— Живей, бабоньки, время не ждет!..

Схватил ведро, черпал из-за борта, как заведенный. Еленка драила палубу шваброй.

Скот втягивался во двор приемного пункта. Остатки молодняка поднимались к вершине.

— Живей, бабоньки! Опаздываем.

Рыжая телочка с белой отметинкой на лбу, шедшая в конце стада, вдруг остановилась, счастливо избежала кнута погонщика и, повернувшись, галопом понеслась вниз, к барже.

— Держи!.. — крикнул погонщик. — Телку держи!..

Телка с ходу сшибла уже заложенный брус, вбежала на палубу. Пожилая бросилась наперерез, но телка миновала ее и доверчиво ткнулась теплыми губами в Еленку.

— Звездочка!.. — Еленка опустила швабру.

— Гони ее!.. — кричал погонщик. — Гони, ворота запираем!..

А телочка ласково лизала Еленкины руки, тыкалась в них, тяжело дыша.

— Гони!.. — крикнул Сергей. — Что ты там?

— Ох, Сережа… — вздохнула Еленка. — Это же их телка. Их, понимаешь?

— А что времени нет — это ты понимаешь?.. — гаркнул Сергей и, схватив телку, потащил к проему загородки. — Пошла!.. Ну?.. Пошла!..

Телка упиралась.

— Врешь!.. Пойдешь, сволочь!..

Он остервенело начал бить ее.

— Не смей!.. — вдруг дико закричала Еленка. — Не смей, зверь, не смей!..

Бросилась вперед, с силой толкнув Сергея в грудь. Сергей полетел к борту. Еленка кинулась следом, крича, била в лицо, рвала рубашку. От растерянности Сергей даже не загораживался.

— Ты что, Еленка?.. Ты что?..

Пожилая что-то говорила, пыталась схватить. Еленка не видела ее, не слышала, что она говорит: только била, била и била в ненавистное, сытое лицо. А когда наконец ее схватили за руки, вырвалась и, как стояла, бросилась через борт в воду.

Громко, навзрыд рыдая, она плыла на далекий противоположный берег. Вода вскоре успокоила ее, она перестала плакать, но по-прежнему, не оглядываясь, упорно плыла вперед…

— Явилась?

Было два часа ночи, но Сергей так и не ложился.

Табачный дым слоями стоял в кубрике, консервная банка, заменявшая пепельницу, была полна окурков.

— Я уж думал в милицию…

Он увидел ее глаза и замолчал. Спрятал улыбочку, наигранную веселость, сказал заботливо:

— Ложись, девочка. Часа три еще поспать успеешь. Ложись.

Еленка молча прошла в свой угол. Сергей начал стелить постель, но тишина становилась уже невыносимой, и он сказал весело:

— Дали мне сегодня прикурить, правда?

Он вдруг замолчал: раскрыв на диване чемодан, Еленка спокойно, неторопливо укладывала вещи. Расправляла каждую складочку, оглаживала швы.

— Ты куда?

Она окинула его долгим взглядом, снова склонилась к чемодану. Он шагнул, хотел захлопнуть крышку, но она не позволила.

— Да ты что? — тихо спросил он.

Еленка молча продолжала укладываться. Заглядывала в шкафчики, вынимала вещи, уложила кружку.

— Ты что, вправду? Да отвечай же, когда спрашивают!..

— Не кричи.

— Да ты… ты… Дура ты! — Он бросился к ней, обнял. — Ишь чего удумала. Брось ты это, брось. Тяжело? Ну, уедем отсюда. Завтра уедем, слышишь? Подам заявление. Не могу без тебя, честно говорю.

Он целовал ее, а она стояла как каменная, опустив руки.

— Вот и распишемся завтра, — бормотал он. — Распишемся и сразу уедем…

Она спокойно отстранила его, и он сразу замолчал. Закурил, отвернулся. Еленка неторопливо закрыла чемодан, долгим, словно вдруг повзрослевшим взглядом окинула до последней царапинки знакомый кубрик и, взяв вещи, пошла к трапу. Сергей бросился было наперерез, но она так глянула, что он попятился.

Темная, по-осеннему неприветливая ночь стояла над рекой, когда Еленка вышла на палубу. Только светились фонари на плавучих кранах да вверх по реке уходила цепочка бакенов. Еленка вздохнула и, плотно прикрыв дверь рубки, пошла к сходням.

С грохотом распахнув железную дверь, Сергей выбежал на палубу. Огляделся, крикнул:

— Еленка!..

Всхлипнули сходни, да плеснула вода за крутым бортом.

1967

Жила-была Клавочка

1

Встать в семь; умыться, прибраться, перекусить, привести себя в порядок, выйти из дома не позже восьми пятнадцати; автобус, метро с пересадкой, снова автобус, да еще пять минут ходьбы — девять часов ровно. Четыре часа работы плюс час перерыв плюс еще четыре часа — уже шесть вечера, день прошел; путь домой, не спеша, с магазинами — полтора-два часа; ужин, да уборка, да стирка, да с соседкой поболтать, да телик посмотреть — и, пожалуйста, половина двенадцатого, если не все двенадцать: день да ночь — сутки прочь.

Это — время.

Зарплата минус налоги, взносы в профсоюз, комсомол да «черную кассу» — на руки восемьдесят шесть рублей. Ничего, многие одиночки и меньше получают. Отложим за квартиру, свет, газ, там — лампочка перегорела, здесь — кран потек: семь в месяц, как ни вертись. На работе — обед в столовке, да дорога тридцать копеек в день в оба конца, да складчина: то кто-то рождается,

то кого-то повысили, то праздник, то девичник — двадцать три, проверено. Да каждый день дома завтрак и ужин, да восемь обедов в субботы с воскресеньями — в общем, тридцатка, а то и все тридцать три выложишь. И — разное: десятку в город Пронск; кино или театр или торт себе для веселья; колготки или чулки (рвутся, проклятые, не поймешь, почему рвутся-то!) — еще пять, а то и семь, а всего расходов по этой статье не меньше двадцати. Если все сложить — восемьдесят рублей плюс-минус ерунда. И на все-все: на платье и белье, на пальто и сапожки, на перчатки и шапочку, на плащик и кофточку, на юбку и шарфик, на мыло, парикмахерскую, косметику, на концерт, на выставку или на электричку до природы доехать — на все-все без излишеств, без кусочка удовольствия откладывать удается пятерку в месяц. А мебель? А море? К нему же съездить ой как хочется, глазком одним поглядеть, как там отдыхают. А Ленинград и Суздаль? А меховой воротничок? А туфельки? А ресторан, в котором один раз в жизни была? И проигрыватель, пусть хоть трижды уцененный? А цветы самой себе, чтоб соседке Липатии Аркадьевне сказать: «Знакомый подарил...»?

Это — деньги.

Время — деньги: ни того нет, ни другого. Вертись в расчетах, прикидывай, можно ли второй стакан чая выпить или лучше так перебиться: у Людмилы Павловны скоро день рождения, на подарок скидываться придется, да и на девичник; так уж «самой» заведено, а она начальница. Значит, надо считать.

И Клава Сомова считала. Шевеля губами и усиленно морща кругленький, как у ребенка, лобик, складывала, делила и прикидывала, от чего нужно отказаться, чтобы что-то купить, как исхитриться, чтобы чего-то не покупать, и сколько раз можно пойти в кино, чтобы не залезать в долги. У нее никого, решительно никого не было во всем белом свете, кроме бабки Марковны, которой она ежемесячно посылала десятку. Это перенапрягало ее бюджет, но мама у края жизни просила за старуху, и Клава исполняла последнюю волю, хотя бабка эта ни с какой стороны не приходилась ей ни родственницей, ни даже знакомой. Клава знала в общем мамину историю, в подробности не вникала и слала деньги безропотно и бесперебойно. Она свято следовала маминым заветам, потому что считала маму умной, а еще потому, что ничего не имела, кроме этих заветов. Да и заветов-то было всего три.

Первый: жить так, чтобы, боже упаси, не влезать в долги, а, наоборот, ежемесячно что-то откладывать. Хоть рубль мелочью.

— Одна ты, Клавочка, а советчики далеко. Жизнь длинная: где споткнулась, где перегнулась, а где и сплоховала.

Клава в деньгах держалась, а в жизни раз сплоховала. Все, правда, за государственный счет сделали, но стыда нахлебалась. Врачиха три раза на беседу вызывала, о совести говорила, о женской гордости и о том еще, что нерожавшей опасно аборт делать: детишек может никогда уж не быть. Но Клава глядела на свои руки, пылала ушами да твердила, что мама неизлечимо больна, а потому чтоб делали все поскорее.

Второй завет — каждый месяц Марковне десятку отсылать. За то, что мама тоже была одна и в войну не эвакуированной оказалась, а просто беженкой: прибежала в город Пронск из города Красного в августе сорок первого в чем из постели выскочила и рухнула от страха и голода на улице Кирова. Очнулась у Марковны — да так у нее и осталась. После войны в Москву подалась, дочь родила. И ей теперь завещала бабку Марковну, будто самое бесценное сокровище.

— Себе откажи, а Марковне чтоб каждый ме-

сяц. Денег не будет — платье последнее продай. За добро добром платят. — Мать пожевала искусанными губами. — А если случится что плохое, если совсем невмоготу станет или обидит кто — к Марковне поезжай. Поняла? К Марковне.

Клава никогда и в глаза-то эту Марковну не видела, а деньги текли и текли, как при маме: за добро платили чем могли, и эта вырванная с кровью десятка тяжелее тянула, чем иные тысячи.

Мама помирала в больнице. В послеоперационной палате, куда никого не пускали, а Клаву пустили, дверь в коридор не закрывалась, напротив находился пост, виднелись край стола и пола сестринского халата. И мама последний завет шептала на ухо, чтоб не конфузить дочь, которой уже исполнилось двадцать, но которую она с материнским упорством продолжала считать несмышленой:

— Гуляй с оглядкой, мужик пошел ненадежный. На слово никому не верь. По себе знаю, как поверить захочется, когда скажут, что любят, а ты меня вспомни. А если и тебе счастья не выпадет, тогда… — Мать помолчала, колеблясь. — Тогда, как я, сделай. Подбери мужчину, чтоб непьющий, и роди. Тяжко одной ребенка тянуть, а век одной вековать еще тяжче. Так что рожай, благослов-

ляю. Коль в двадцать пять замуж не выйдешь — рожай, велю…

Этот последний завет воспринялся особо, недаром мать шептала его, щекоча ухо. В нем было не только будущее, но и прошлое, потому что мать в свои двадцать пять поступила так, как сейчас наказывала дочери, исплакавшись в одиночестве и не надеясь более выйти замуж. Приглядела чужого, да зато почти что непьющего, завлекла, исхитрялась в общежитии его принимать, рискуя пропиской, работой и комсомольским добрым именем. И думала сейчас, что рак у нее оттого, что никогда она полностью страсти не тратила и в мужских руках прислушиваясь к шагам в коридоре. Женщины, которые лежали с нею в многочисленных больницах (мама долго помирала, целых два года), в один голос утверждали, что ничего нет для их организма хуже, чем страсть эта половинная, чем богом проклятая однобокая любовь в общежитиях, что все женские недуги оттого, что ни засмеяться, ни вскрикнуть не смели они, и что будто бы это все сильно влияет на детей, напуганных еще до собственной своей жизни. И, наставляя сейчас дочь, умирающая стремилась вложить в нее решимость, которой и самой-то недоставало. И еще — снять с себя

непонятную, тревожащую тяжесть. Не физическую, а какую-то иную: мать не знала, откуда она взялась, эта тяжесть, но интуитивно жаждала откровения. Заложенная в ней нравственность, не придавленная соображениями, как ловчее устроиться, шевельнулась вдруг, расправила крылья и попыталась подняться над бытом, житейскими уловками, компромиссами и допущениями, но мать не знала, что такое душа и как она корчится, стыдясь того, в кого вложена, а потому, стремясь облегчить взлет собственной нравственности, учила дочь, как обойтись без нее.

Клава не почувствовала мучительной двойственности, которая так терзала мать в последние часы жизни. Она тоже ничего не знала о душе, а потому и совесть, и нравственность были для нее понятиями абстрактными, существующими сами по себе и конечно же отдельно от нее, как пункты морального кодекса. Она покорно выслушала маму, то и дело вытирая слезы, поняла, что та сказала, но поняла умом, как и была приучена понимать. А ум склонен прикидывать, и Клава, слушая и согласно всхлипывая, уже решала, что это ей не подходит, что она по женским статьям лучше матери, а потому очень скоро встретит замечательного мальчика и они зарегистрируются

во Дворце бракосочетания. И это было вполне естественно, и по-иному Клава и думать не могла, потому что ей исполнилось всего двадцать и она была убеждена, что молодость ей — навсегда.

В двенадцать Клава считала себя очень красивой, в шестнадцать — очень хорошенькой, в двадцать — очень симпатичной, а потом поняла, что все горазды потискать, но никто не спешит с предложением. В восемнадцать у нее был жених, но пожениться решили, когда он отслужит в армии, а на проводах Клава позволила, и жених растворился, как сахар. Мама тогда еще была жива, лежала в больнице по первому разу, все случилось у них в комнате, но соседка оказалась замечательным человеком и только за то ругала, что Клава чересчур расщедрилась.

— Мужиков томить надо, подруга. Чем крепче томишь, тем дольше любовь. Ясно тебе?

— Как — дольше? — Клава считала, что любовь, как и молодость, концов не имеет; ее разуверяли, приводя примеры из кинофильмов и даже из художественной литературы, но она все равно так считала.

— Дольше с этим, — пояснила соседка Тома. — Потом другой будет, но его же найти надо!

Это было давно (четыре года прошло!), а же-

нихов не было. Никто не дарил цветов, никто не водил в кино, никто не целовал в полутемном подъезде так, что хрустели косточки. Каждое утро, вглядываясь в зеркало, Клава со страхом подмечала, что глаза начали выдавать в ней какую-то особую, ночную, совиную бесшумность одиночества. И тогда ей казалось, что уже не помогают загадочные тени на веках и даже новый лифчик, так ладненько сделавший фигурку, и она часто плакала по ночам.

Подходили ее сроки, веселая тревожность юности сменялась тоскливой суетливостью; Клава уже не срывалась вдруг на шумную улицу в безумной надежде именно сегодня, сейчас встретить того, кто будет любить ее всю оставшуюся жизнь, а плелась на кухню, где можно было встретить либо Липатию Аркадьевну, либо шалопутную Томку. С Липатией она пила чай, без любопытства выслушивая длинные рассказы о длинных романах, в которых бывшая администраторша всегда первой бросала влюбленных в нее знаменитостей.

— Вы помните Павла Стахова, Клавочка? Знаменитый был артист, знаменитейший! Женщины в провинции так и падали, так и падали. В окна по водосточным трубам на пятый этаж лази-

ли, ей-богу! Ах, как он был влюблен в меня, как влюблен! Однажды прислал трамвай, набитый букетами. Ландыши, ландыши! Весь пол моего номера был усеян ландышами, и я не устояла. Вы — женщина, вы бы тоже не устояли. Я рухнула на эти ландыши как подкошенная…

Клава уныло удивлялась: с истасканной, заштукатуренной, как общежитие, Томкой было веселее. Свои романы она не сочиняла, а раскручивала здесь же, в их коммунальной квартире на трех одиночек. Начав знакомство с утверждения, что мужиков томить надо, она теперь уже не утверждала, а спрашивала:

— Томишься, подруга? Хочешь приведу для здоровья?

Клава испуганно отказывалась. Сначала брезгливо и громко, потом просто громко, потом тихо, потом… Потом были воскресенье, весна, солнце, воробьи. Клава мыла окна, надев старенький, еще школьный халатик, из которого давно выросла и теперь торчала плечами, животом, коленками, бедрами. Липатия уехала в гости, о чем важно и звонко объявила, соседка тоже прибиралась, грохоча за стенкой, и на душе у Клавы было на редкость покойно. Она с удовольствием наводила чистоту и даже что-то напевала, когда вошла

Томка.

— Поешь, подруга? — Она замолчала, вглядываясь в стоявшую в оконной раме Клаву. — Симпомпончик! — Деловито понизила голос: — У меня сантехник замок вставляет. Ничего парень, плечистый. Как кончит, скажу, чтоб к тебе зашел.

Клава хотела возмутиться, хотела отказаться, хотела затрясти головой и — не смогла. Почувствовала, как бросило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забилось, а грудь сжало, и она с ужасом услышала собственный лепет:

— Неприбратая я.

— Нормально, подруга, ты сейчас как люля-кебаб, аж скворчишь.

— Тома! — отчаянно зашипела Клава, спрыгнув с подоконника. — Я не знаю. Тома, я…

— Попроси окно закрыть, мол, мучилась, не закрывается. Потом бутылку на стол… Есть бутылка или одолжить?

— Тома, я боюсь.

— Для здоровья, подруга! Это ж — как анальгин принять.

Клаве было и страшно и гадостно, а тело уже ломило и крутило, и все в нем ждало и жило сейчас надеждой. И уже недоставало сил сказать:

«Нет!», уже глаза поглядывали на кровать, а дрожащие руки сами собой поправляли, взбивали, пушистили волосы…

Томка оказалась права: как анальгин. А после горько. И противно, и себя жалко, и вообще скверно. А дни бежали друг за дружкой, и Клава, засыпая, уже начинала подумывать о последнем мамином завете. И яростно презирала себя, вспоминая бесцеремонные пьяные руки…

2

Если оценивать Клаву Сомову сторонним мужским взглядом, то следует признать, что взгляд этот мог запросто с кем-то ее спутать. Небольшого росточка, полненькая, несмотря на отчаянные старания не полнеть, девушка с напряженным взглядом больших зеленоватых глаз, короткими волосами, толстенькими, как подставочки, ножками была обыкновенно мила или мила обыкновенно. А если добавить к этому свойственную ей незаметность и всегда почему-то чуть растерянные движения, то выделить ее из московской толпы было совсем не просто. Тем более что и охотников выделять пока не находилось.

В этом были повинны два факта. Во-первых, как считала Клава, имя, которым наградила

ее крестная мать. Теперь так никого не звали, имя казалось старушечьим, и, знакомясь, что случалось, правда, крайне редко, Клава представлялась Адой, а потом забывала откликаться. Но тут уж ничего нельзя было изменить: она еще в шестнадцать написала насчет изменения имени в молодежный журнал, а оттуда ответили, какое это прекрасное имя и сколько Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда было с этим прекрасным именем. Но не станешь же мальчику при знакомстве о героинях рассказывать, вот и приходилось называть себя Адой. Это звучало красиво, коротко и немножко даже таинственно.

А второй факт: в их отделе координации встречного планирования, который, между прочим, подчинялся непосредственно главному управлению, мужчин вообще не водилось. Была начальница Людмила Павловна, была заместительница Галина Сергеевна, были старший инженер Вероника Прокофьевна и были девочки — Наташа, Оля, Лена, Катя, Таня, Ира и еще одна Наташа. Вот и весь коллектив, правда, очень разнородный. Галина Сергеевна, к примеру, замужем, Вероника Прокофьевна — брошенная, Оля — мать-одиночка (ее все в отделе «мапой» звали;

«мама плюс папа равняется мапа», — как Лена однажды выразилась), Наташа — разведенная, а вот Катя — счастливая: и замужем, и с малышом, и с двумя бабками, почему и училась в институте на вечернем отделении. И Таня тоже — вот-вот счастливая: с влюбленным женихом, папой да мамой и третьим курсом того же вечернего. Ну а остальные — «ждущие», где окажутся: в брошенных, разведенных или «мапочках», как та же Ленка шутила. Шутить шутила, но сама не ждала: гуляла громко, звонко, отчаянно, «ночи напролет и дни навылет». Никаких тайн она не признавала, говорить ей что-либо секретное было невозможно, но зато и над своей жизнью покрывало не опускала. Очередным своим «мальчикам» приказывала за нею на работу заходить и обязательно представляла всему коллективу:

— Номер тридцать девятый. Как тебя? Ах да, вспомнила: Андрюша. Точно?

А на другой день интересовалась:

— Ну, как вам мой свеженький?

Одобряли редко. Чаще плечами пожимали, а Вероника Прокофьевна хмурилась и губки подбирала:

— Что ты нашла в нем, Елена? Не одобряю. Поматросит да и бросит, уж я-то их знаю.

— Так хоть поматросит! — хохотала Лена.

Она знала цену бабским пересудам и водила своих очередников, чтобы позлить родной отдел. Когда удавалось, смеялась, весело закидывая голову: зубки были ровненькими, беленькими, всегда ждуще влажненькими. Она очень хотела, чтобы Ирка сдохла от зависти, но молчаливая, вся из себя такая загадочная Ирочка только улыбалась.

— По мелочи разменяваешься, мать.

Вот за нею никогда никто не заходил, но все отлично знали, что если уж перед обедом солидный мужской голос попросит к телефону Иру, то после работы за ближайшим углом ее будет ждать темно-вишневый «жигуль», и Ирочка полетит к нему, асфальта туфельками не касаясь. А на следующий день у нее непременно появится картинная вялость, таинственные намеки на сквозняк в ресторане, и вся она будет особенно дерзко источать волнующий аромат французских духов, маленький флакончик которых стоил половину зарплаты. Таких духов не было ни у кого из знакомых, и Клава считала, что их выпускают только для киноартисток.

— Глупая ты, Клавдия, — сказала Наташа Разведенная. — Да духи эти нарасхват…

— Да кто же это из женщин их позволить себе может? — ахнула Клава.

— А они не для женщин выпускаются.

— А для кого же? Для мужчин, что ли?

— Именно что для мужчин. Вот увлеки какого-нибудь артиста-замминистра и получишь.

— А как же Ирочка? — шепотом спросила Клава.

— А вот как раз так же! — засмеялась Наташа Разведенная.

Лена и Ирочка были самыми знаменитыми девочками: у остальных все было обычным. Обычные интересы, обычные заботы, обычные секреты и обычные увлечения. Все они вечно куда-то спешили, вечно куда-то опаздывали, вечно кого-то ждали и всегда боялись, что кто-то куда-то не придет, а если и придет, так чтоб сказать: «До свиданья, дорогая, у меня уже другая». Оба телефона в отделе были постоянно заняты, и начальница Людмила Павловна сочла нужным распорядиться, чтобы по ее личному аппарату не звонили хотя бы до обеда. Девочки постоянно болтали о том, что где дают, кто что достал, перешил, связал или собирается доставать, шить или вязать. Не проходило дня, чтобы кто-то не притаскивал на работу сапожки, коф-

точки, туфельки, свитерочки, платья, юбки, и все детально обсуждалось, оценивалось и примерялось. И Клава носила, когда что-либо удавалось раздобыть, и Клава примеряла свое и чужое и горячо обсуждала свое и чужое, живя кипучими интересами всего отдела и стыдливо завидуя двум загадочным — Лене и Ирочке, — которые жили забубенной, пугающей, грешной, но звонкой и необыкновенной жизнью.

Отдел существовал по своему расписанию, и самым святым в этом расписании был час обеда. Кроме него, имелись еще два чая: один — до обеденного перерыва, второй — после него. Первый чай был необходим для разгрузки официального перерыва: напившись чаю с купленным в складчину тортом, пирожками или захваченными из дома бутербродами, женщины в обед бежали по магазинам. Семейные устремлялись за продуктами, одинокие спешили на разведку в промтоварные. Если кто-то где-то на что-то нарывался, то брал не только для себя. Это позволяло коротать второй, послеобеденный чай в благодушной атмосфере примерок и советов. Притом они неторопливо и старательно исполняли основную работу, успевали проводить профсоюзные и комсомольские собрания и были

на хорошем счету.

Конечно, единственно потому, что руководила ими Людмила Павловна. Суровая, можно сказать, даже грозная начальница, но всем девочкам было известно, какая отзывчивая у нее душа. Год назад Вероника Прокофьевна вдруг пропала. Недавно на работу оформилась, с начальством за принципы сражалась — и нет ее. Ну нет, так нет, никто особо и не задумался, но Людмила Павловна заволновалась, забеспокоилась, и все узнали: от Вероники, оказывается, муж сбежал, и она так это переживала, что угодила в больницу с нервным расстройством. Вот там-то ее и обнаружила Людмила Павловна. Нашла, поговорила с врачами, организовала посещения, чтобы не всем табуном ходить, а каждый день по одной. И когда какие-то особые лекарства понадобились, на всех своих знакомых нажала и добыла то, что требовалось. Выходила Веронику Прокофьевну, подняла ее, пригрела, в специальный санаторий путевку достала, можно сказать, с того света к жизни вернула. И — в свой отдел на прежнюю должность.

Вот какой необыкновенной женщиной была Людмила Павловна. Все это понимали, все всё знали и все же чуточку побаивались. Естествен-

но, про себя. И не потому, что была начальница безулыбчивой, как стихия, а потому, что точно знала, как надо поступать, как надо говорить и как следует реагировать, и не было — да и быть не могло! — ни одного вопроса, на который у Людмилы Павловны тотчас не сыскался бы ответ.

— Приличная женщина этого не наденет.

— Приличная женщина грудь не выпячивает.

— Приличная женщина на такое кино не пойдет.

Никто не спорил, но зато никто особо и не рвался в «приличные женщины». Тем более что определение страдало непостоянством, и если, скажем, вчера «приличная женщина» никак не могла надеть мини, то сегодня она же твердо была убеждена, что удлиненная юбка уродует фигуру. Гораздо меньшим изменениям подвергалось другое унифицированное определение, которое употреблялось по отношению к миру внешнему, но нисколько не реже: «советская женщина». Людмила Павловна не просто произносила привычные заклинания — она искренне полагала, что в них-то и заключена вся премудрость мира и потому ни о чем постороннем можно более не думать. А посторонним было все, что не касалось ее непосредственно.

Работа — касалась.

— Социализм — это учет, — произносила Людмила Павловна так, будто сама додумалась до этого максимум полтора мгновения назад. — Значит, наш отдел — самое социалистическое учреждение.

Последняя абракадабра действительно являлась ее творчеством. Все должно было быть учтенным, разложенным по полочкам и расписанным по параграфам. И так бы и случилось в руководимом ею коллективе, если бы не одно досадное обстоятельство: коллектив был женским, а женщины ничего не имеют против того, чтобы быть учтенными, но терпеть не могут полочек и яростно сопротивляются параграфам. И, привычно произнося формулы типа «приличная женщина» и «советская женщина», Людмила Павловна никогда не забывала делать поправку на специфику своих подчиненных.

Метод был проверенным: почаще бывать с народом. Девичники, дни рождения, праздники, квартальная премия — все могло быть предлогом, а если календарно наступал тихий период, то изыскивалась возможность встряхнуть коллектив энциклопедическим путем:

— Девочки, сложитесь, сколько там… Вероника

Прокофьевна прикинет. Наташу Маленькую от работы освобождаю. Никаких излишеств. Наташа: торт, конфеты, немного вина. Как обычно.

— Это ж в честь чего? — спрашивала отчаянная Лена.

— Стыдно, — со строгой паузой говорила начальница, хмурясь сквозь очки. — Сегодня много лет назад прогрессивнейший человек своего времени и, между прочим, личный друг Карла Маркса закончил четвертую главу своего великого труда «Женщина и социализм». Неужели же мы, советские женщины, которым, по сути, и посвящался этот гигантский труд…

Все виновато замолкли. Вероника Прокофьевна подсчитывала, на сколько тянет четвертая глава, а Наташа Маленькая готовилась к походу по магазинам. Она называлась Маленькой не из-за роста и уж тем паче не из-за возраста, а по совершенной пришибленности, была безропотна, безголова, безотказна — все «без», а потому числилась любимицей, получала премии и по субботам ходила к начальнице убирать квартиру.

Из старших — тех, кого уважительно называли по имени и отчеству, — самостоятельной считалась Галина Сергеевна. Вероника Прокофьевна, поначалу изображавшая из себя нечто очень

прогрессивное, с уходом мужа потускнела, как нечищеный самовар. И во всем отделе оказалась одна «независимая держава» — как выразилась Наташа Разведенная — Галина Сергеевна. Поэтому к ней относились по-особенному, да и сама она была особенная. Людмила Павловна всегда ставила ее в пример остальным, хвалила со всех трибун, но — разве от девочек скроешь? — завидовала. И однажды не выдержала, сказала ближайшим, то есть Веронике Прокофьевне с Наташей Маленькой:

— Господи, да за шофера и я могла выйти. Хоть двадцать раз.

Естественно, крик души этот быстренько Галине Сергеевне передали, женский телеграф сработал. Ожидали, как она выкрутится, а заместительница так ответила, что тему эту тут же навсегда и закрыли:

— Женщина, девочки, за мужчину замуж выходит.

И никто — ни старшие, ни младшие — не догадывался, что за фасадом современной деловой женщины скрывается совсем не уверенная в себе жена и мать. Что прекрасная фраза верна лишь теоретически, а на практике Галина Сергеевна — в те времена еще просто Галка — вышла замуж

за весьма целеустремленного человека.

— Решаем так, — сказал он сразу же после регистрации их брака. — В институт идешь ты — и помоложе, и память у тебя имеется. Это — первое. Ребенка заводим, когда ты на четвертом курсе будешь, оттуда уже не выгонят. Ну а потом — машину с ветерком, и все у нас будет как у людей.

Галина Сергеевна родила девочку, защитила диплом, устроилась на хорошую работу, оставалась машина, чтоб «как у людей». Копили, отказывая себе во многом, но девочка оказалась болезненной, и деньги шли на врачей и санатории. Муж тихо пилил, а Галина Сергеевна, постоянно ощущая на своих плечах непомерную тяжесть благодарности, вечерами плакала, днем завинчивая нервы до последнего витка.

Вот так в подспудно равновесном кипении и пребывал отдел квартал от квартала и год от года. И еще бы долго пребывал, если бы Клава Сомова не потеряла квартальную сводку. А квартал был на исходе, запрашивать дубликат означало нарушать сроки и лишить всех премии, и Клава некрасиво ревела, роясь в папках и шмыгая носом. Ревела она не от страха, а от пропажи этой проклятой сводки. Она искренне рвалась исполнять любые распоряжения, с удовольствием

бегала на субботники, ездила на овощную базу или в колхоз. Она всегда трудилась на совесть и не могла по-иному трудиться, потому что мама говорила ей: «Если надо, Клавочка, то тут уж и через “не могу” все равно надо, ничего не поделаешь». Это когда она не хотела по утрам идти в детский сад. А теперь потеряла сводку, и все вдруг взорвалось.

Это Клава так считала, что взорвалось из-за сводки. А на самом-то деле все было чуть-чуть не так. На самом-то деле в главке выдали служебную тайну:

— У вас сокращение штатов.

Галина Сергеевна узнала об этом за неделю до Клавиной потери, Людмила Павловна — за месяц. Но начальницы это не касалось, а заместительница рыдала весь вечер. И когда пришел домой муж, зарыдала еще сильней:

— Должность сократили! А я одна там тянула всю работу, как каторжная, а меня же и сократили!..

Муж помрачнел, походил, подумал. Долго курил на лестничной площадке и вернулся, просветлев:

— Какое у начальницы образование? Общее руководящее? А у тебя — по специальности. Туз.

Основную работу кто ведет? Ты. Король. У кого больная дочь? У нас. Дама. У кого муж — рабочий класс? У тебя. Валет минимум. При таких козырях можно смело играть. Приписывали?

— А как же иначе главк премию получит? А мы — от главка.

— Вот и подсунь приписочки за прошлые года. Нет, не сразу, конечно, тут подумать надо.

— У нее везде руки.

— Так это ж нам плюс. Ей устроиться легко, а испачкаться страшно. И когда почувствует, что может биографию замарать, сама сбежит. Да еще тебя на свое же место порекомендует.

Вот какая началась неделя, и то, что Клава посеяла сводку, ровно ничего не значило. Пока. Пока заместительница не сообразила, как под эту утерянную сводку подсунуть прошлогодние приписки.

Это был тот редчайший день, когда у каждой имелось дело, жесткий срок и цифры, с которыми манипулировать надо очень внимательно, чтобы не запутать и без того безнадежно запутанный суммарный баланс. И все обсчитывали свое, Вероника Прокофьевна прикидывала общие цифры, а Галина Сергеевна готовилась подогнать их под результат, чтобы получить две десятых процента

сверх. А сама Людмила Павловна выполняла в эти часы главное, звонила бывшим однокашникам и в дружеской беседе узнавала, обещала, проверяла и напоминала, что без ее отдела они до конца дней своих не согласуют друг с другом собственных результатов.

— Антоныч, привет, Людмила Лычко беспокоит. Как жизнь, как половина? Целуй ее, она у тебя золото. А дети? Ну, что же ты хочешь: большие дети — большие заботы. Не отдыхал? Куда думаешь? В совминовский, конечно! Ну, бог даст, там и повстречаемся, если с путевкой не подведут. Что? Вот-вот, и я о том же. Какой у тебя план-то? А если по-честному? Так кто же вас увяжет, если не Людочка? Вот эту цифру и запишем, я ее с Гладышева получу. Да, да, ни больше ни меньше, со всей дамской аккуратностью. Господи, что бы вы делали без меня? Ну, можешь спать спокойно, поцеловались, перезвонимся…

Работа кипела. Клава ревела, и никто не спрашивал, с чего это она ревет. Если в одном месте собрано более пяти женщин, редкий день обходится без слез. Когда делать особо нечего, интересуются, с чего это сослуживица в слезы ударилась, а когда дел по горло и ни в одном нуле ошибиться нельзя, самой зареветь хочется. Но

спросить рано или поздно должны были, вопрос назревал не из любопытства, а по необходимости; Клава ощущала, что вот-вот он прозвучит, и ревела еще отчаяннее.

— Клавдия, сводку.

Клава хотела ответить: «Сейчас!», чтоб оттянуть, отсрочить гнев, потом хотела просто взять да и убежать, потом еще чего-то захотела, но, себя пересилив, сказала еле-еле:

— Утерялась.

И хоть прозвучало еле-еле и слово-то вылетело не очень понятное, а все девочки считать перестали и на нее уставились. Наташа Маленькая сказала «Ой!», а Вероника Прокофьевна подошла к усыпанному входящими-исходящими Клавиному столу и раздельно произнесла:

— Совершенно секретный документ. Мы обязаны сообщить куда следует.

Тишина наступила: скрепку урони — грохотом отзовется. Все замерли и встали, будто на Клавиных похоронах.

— Да бросьте вы девчонку пугать, — тихо сказала Галина Сергеевна. — Переливаем из пустого в порожнее, а воображения, будто и вправду военные тайны. Оля, достань прошлогодний отчет, возьмем среднее с поправкой на перевы-

полнение.

А саму радостно затрясло вдруг: вот он, момент, о котором муж толковал. Вот случай зайти с козырного туза, пока горячка, пока не разобрались, пока заняты все по горло. Оля уже у стеллажей копалась, а Галина Сергеевна с трудом ажиотаж сдерживала. Но не сдержала, влезла в спор, показав козырного туза раньше, чем пошла с него.

— Странно вы себе представляете наше учреждение, — поджав губы, сказала Вероника Прокофьевна посторонним голосом.

— Оно и есть странное, — усмехнулась заместительница. — Вот подсчитают нашу выдачу годного без коэффициента приятельства и закроют нас навсегда. И что, по-вашему, случится? Да ровно ничего, кроме реальной экономии народных…

Тут раздался грохот: мапа Оля отчетный том уронила. Все вздрогнули, оглянулись и еще раз вздрогнули; в дверях стояла Людмила Павловна.

3

— Томишься, подруга?

Клава не томилась, а гладила. Она любила гладить: от белья шел теплый парок, утюг творил гармонию, и все хорошо складывалось. И уютно

думалось, чисто по-женски: ни о чем и обо всем сразу. А Томка вошла без стука, задала дурацкий вопрос, на который Клава давно уже научилась не отвечать, и села напротив. Глаз у нее был перевернутый, и Клава решила, что соседка опять влюбилась и опять в женатого.

— Гладим да стираем, а для кого стараемся? — стихами вздохнула Томка. — Пошли ко мне. Водку пить.

— Сейчас борьба объявлена, и я водку не уважаю.

— На шампанское наляжешь ради борьбы. Пошли, пошли, юбилей сегодня.

В Томкиной комнате Липатия Аркадьевна, мурлыкая, накрывала на стол. Томка кутила на славу — с водкой, шампанским и красной икрой, но на столе было ровно три прибора. Томка поглядела на них, потрясла крашеной гривой и налила рюмки.

— Я водку не уважаю, — упрямо повторила Клава. — И борьба…

— Заткнись ты своей борьбой, — буркнула подруга. — Кладите закуску сами, ухаживать некому.

— Мне рассказывали, что водка исключительно завоевала весь мир, — сказала Липатия, изящно

накладывая закуску. — Странная судьба женщины: поклонники не вылезают из-за границы, а наш удел — ожидание. Век стрессовых нагрузок и одиночества, что же вы хотите?

— Хотим, чтоб не было одиночества. — Тамара сердито тряхнула кудрями и подняла рюмку. — А у меня юбилей. Тлидцать тли годика, как одна копеечка. До дна, подруги! Кто хоть каплю оставит, за зло посчитаю.

Напились. Томка ревела зеленой тушью и приставала:

— Нет, ты объясни, почему мы такие ненужные? Нет, ты все разъясни, раз ты такая умная.

— Мы нужные, но мужчина ныне земноводочный. Цветов не дарит и без водки не вздыхает. И давайте петь. Я ехала… Я ехала в метро… Куда я ехала?

— Нет, ты скажи. Ты прямо скажи!.. — приставала именинница к Липатии, которая хотела петь, ибо втайне считала себя непризнанной.

Но с пением пока не получалось, потому что Липатия никак не могла вспомнить мотив и слова единовременно, а вспоминала в розницу, и песня не складывалась. Клава громко икала, наглотавшись колючего шампанского.

— Нет, ты мне объясни, почему это я всегда тре-

тья лишняя? Если б размазня была вроде Клавки или старуха вроде тебя, тогда б у матросов нет вопросов. Так или нет?

— Объясняю, — враз протрезвев от обиды, сказала Липатия Аркадьевна. — Вы, Тамара, хорошая женщина, но, извините, неинтеллигентная. Вы задаете проблемы, которые давно решены человечеством. Вот, например, знаменитый Леопольд Миронович. Умница, чудо, какой талант, в меня — без памяти! Стреляться хотел.

— Чего же не застрелился?

— Да, так о несоответствии и одиночестве, — невозмутимо продолжала клокочущая от незаслуженных обид Липатия. — Женщины нужны для семьи и для страсти, и делятся они не по красоте и тем более не возрасту — это вообще, я извиняюсь, не принцип, если хотите знать, — а исключительно на жен и гетер.

— Ч-чего? — икнув, переспросила Клава.

— Точно! — Томка стукнула кулаком по столу и выругалась. — Точно, подруги, гитары мы, поиграют и откладывают. И бегом к своим законным. А еще говорили мне, что имя все определяет.

— Имя? — насторожилась Клава, сразу перестав икать.

— Имя, подруга, вот я — Томка, так мне всю

жизнь мою томиться. Ты — Клавка, тебе кланяться.

— А я?

— А ты всю жизнь к мужикам липла, как пластырь, потому-то тебя с эстрады и выперли. Ну, чего, чего вытаращилась? Вцепиться в меня хочешь? Попробуй, я тебе последние волосенки начисто сведу.

— Девочки, девочки, — заверещала Клава. — Поцелуйтесь, девочки, милые, ну, прошу, ну, умоляю в смысле…

Поцеловались. Липатия поплакала, еще выпили, кое-как песню спели. А потом хорошо помолчали, душевно, и Томка сказала:

— Мы сверху только запачканные, вот что я вам скажу. А внутри мы чистые и, если нас погладить хоть маленечко, сверкать начнем, что хрустальные бокалы. Точно говорю, подруги, на нас весь мир держится, мы, можно сказать, последний его шанс.

Так сказала истасканная, перештукатуренная, все знающая Томка, тринадцать лет глядевшая на мир из окошка кассы предварительной продажи железнодорожных билетов. Ее бросали и предавали, ее спаивали и продавали, а она все равно в хрусталь свой верила. И звенел тот хрусталь в

ней в тот забубенный ее вечер, потому что исполнилось Томке ровнехонько тридцать три годика.

А на другой день Клаву лишили квартальной премии. Десяти рублей, на которые она очень рассчитывала. Но не просто лишили, а изъяли, и это было особенно обидно.

После обеда Наташа Маленькая принесла ведомость.

— Распишись.

Клава расписалась, Наташа забрала ведомость, но, вместо того чтобы выдать десятку, сказала:

— Тебе Людмила Павловна велела зайти. Сейчас же.

Клава испугалась. Она вообще безотчетно боялась всякого начальника, но начальника в кабинете боялась неизмеримо больше. Кабинет как в степень возводил живущий в ней трепет, обладая самостоятельным влиянием, как обладает самостоятельным влиянием, скажем, каток для трамбовки асфальта, катится будто без человека, будто сам по себе, а попробуй-ка не уступи ему дорогу. Так и кабинет с ковровой дорожкой, голым, как Манежная площадь в полночь, столом и дубовыми панелями катится на подчиненного, а уж коли в него вызывают, то и самые отчаянные останавливаются перед дверью, чтобы начать

вхождение с левой ноги.

— Вызывали меня? — спросила Клава, от страха забыв поздороваться.

— Признаешь себя виновной? — выдержав бесконечно начальственную паузу, спросила Людмила Павловна.

Клава начала многословно объяснять, но все равно получалось, что сводка потерялась сама собой, без всякого Клавиного участия. Людмила Павловна слушала молча, и Клава стала увядать, еще не закончив рассказа.

— Вот твоя премия. — Начальница открыла папку и показала Клаве десятку. — Порядочные люди сами от нее отказываются, если понимают, что она незаконна. Ты могла это видеть в кино.

Для Клавы эти десять рублей были не премией, а долгом Липатии Аркадьевне за перешитые брючки из искусственного вельвета. Брючки эти стали узки мапе Оле, и мапа Оля предложила Клаве их совсем по дешевке. Клава обрадовалась, отдала деньги, и перешивать пришлось в расчете на премиальный червонец. И теперь она молчала не от несогласия, а от напряженных арифметических действий. Конечно, очень правильно поступил тот принципиальный товарищ в кино, который отдал свою премию как незаслуженную,

но у него же наверняка с долгами был полный порядок. И Клаве сейчас было очень стыдно не перед коллективом, не перед страной и даже не перед Людмилой Павловной — ей до ушного пожара было стыдно перед Липатией Аркадьевной, уволенной год назад и теперь перебивающейся случайными заработками.

— Ты нанесла коллективу моральный удар, — говорила тем временем Людмила Павловна, все еще держа купюру за уголок на уровне глаз. — Поэтому я считаю, что будет правильно, если ты откажешься от премии в пользу пострадавшего коллектива.

— А брючки? — шепотом спросила Клава.

— Можешь быть в них, — великодушно согласилась начальница, которая все-таки была женщиной. — Если тебе хочется, я не возражаю.

Клава смотрела тупо, окончательно перестав соображать. Впрочем, от нее и не требовалось соображать, от нее требовалось «принять к сведению».

— Значит, товарищеский чай по случаю удачного завершения квартала за твой счет. Ты все поняла? Я передаю твою премию Наташе Маленькой для закупок. — Начальница поправила очки, подождала слез, не дождалась и помягчела. — На

чай можешь прийти в брюках.

На чай Клава в разрешенных брюках не пошла, потому что их не на что было выкупить. Конечно, Липатия Аркадьевна отдала бы и так, но Клава считала это бессовестным и наврала, будто брюки ей начальница носить запретила. Понятное дело, чай (это ведь везде так называется: «чай») в десятку не уложился, Веронике Прокофьевне пришлось потрудиться над калькуляцией, но на всех вышло заметно меньше, чем обычно. Девочки обрадовались без вопросов, а Галина Сергеевна справилась:

— Торты подешевели? Или конфеты?

— Сомова угощает, — съязвила Вероника Прокофьевна.

— Понятно, — сказала заместительница, ощутив в руках еще один очень серьезный козырь.

Клава все приняла как должное — раз велели, какие еще сомнения! — никому ничего не сказала, но, выйдя тогда из кабинета, почувствовала такую тоску, такую потребность, чтоб хоть за политру пожалели, что, пострадав и пометавшись, позвонила давнему, Томкой предложенному «анальгину» на работу и попросила прислать сантехника в квартиру номер семнадцать. Такой договоренности, правда, не было, и слесарь

одиннадцать раз являлся незваным: жаждал утвердиться. Но Клава проявляла решимость и с помощью Томки всегда выпроваживала гостя несолоно хлебавши, а сейчас, сидя на девичнике, украдкой поглядывала на часы. Первой обычно уходила мапа Оля, и Клава держалась подле, чтобы сбежать под прикрытием. И как только мапа Оля поднялась («К сынуле!..»), выскользнула следом.

Слесарь ждал, хмуро подпирая стену. Поворчал насчет баб, которые время рассчитать не могут, и поехал на их этаж следующим лифтом: за счет разницы в лифтах Клава должна была отпереть входную дверь и крикнуть Липатии (если она дома), что-де это она, Клава, пожаловаться на головную боль и попросить до утра не беспокоить. Потянув время, Клава вошла в свою комнату, где, по-крысиному нацелившись, уже сидел сантехник; достала политру и отправилась в ванную. Приняв душ, надела тот самый халатик, из которого торчала частями, и, превратившись таким образом в люля-кебаб, вернулась к себе. А слесарь к тому времени прикончил ровно половину бутылки.

Женщину можно лишить любви, но лишить ее надежды на любовь еще никому не удавалось.

Сколько бы раз она ни обманывалась, сколько бы раз ее ни обманывали, женщина упрямо будет верить, имея один шанс из тысячи. Так уж она создана, и никакие социальные, научно-технические и прочие сдвиги ничего изменить не могут. И когда подвыпивший гость схватил Клаву в дверях, ей сразу же почудилось: любит. Любит! Ну, не может же с таким пылом тащить, если в сердце ледышка? Или может? А?.. Нет, не может, не может, и Клава то ли от обиды из-за десятки, то ли с трех глотков вина на «чае» бахнула:

— А ты… Ты меня любишь?

Слесарь лежал рядом, закрыв глаза, и сердце его еще колотилось. Клава слышала этот бешеный, только-только начинающий убывать стук и поэтому спросила. А он приподнялся на локте, посмотрел на нее, как на явление природы, и захохотал.

— Тише!.. — испуганно зашипела она, вмиг больно пожалев о своем никчемном вопросе.

Он спрыгнул на пол, прошлепал к столу, налил водки.

— Ну, ты даешь!..

Выпил, причмокнул, захрустел огурчиком. Клава лежала на спине, закрыв лицо локтем, и ей было стыдно. Не своего голого тела, а своего лица,

по которому бесшумно бежали слезы.

4

В пятницу Людмила Павловна вызвала профорга. Вероника Прокофьевна пробыла в кабинете недолго, а вернувшись, сообщила, что в четыре собрание. Все очень недовольно зашумели (пятница ведь!), но профорг пояснила, что таково распоряжение свыше.

— Да, самое главное. Сегодня все должны подумать об экономии. Ну, там, электричество, копирка, бумага. Все в письменном виде сдать мне. Это для инспектирующих, пусть оценят активность. И на собрании чтоб не отмалчивались. Лена, ты, конечно, первой выступишь, а кто еще? Татьяна?

— У меня зачет завтра..

— Я выступлю.

И все очень удивились, потому что Галина Сергеевна никогда не выступала, хотя на собраниях отсиживала, как положено. А тут вдруг добровольно.

Девочки примолкли, и озадаченная Вероника Прокофьевна сразу прекратила опрос.

Все собрания — общие, профсоюзные, комсомольские — проводились только в рабочее время

и строго по распорядку: докладчик — двое выступающих — решение. Но это собрание было особым, потому что кто-то должен был проверять, и Людмила Павловна отменила второй чай, введя инструктаж. Однако Галину Сергеевну она инструктировать не стала, спросив мимоходом:

— У вас, Галина Сергеевна, о чем речь пойдет?

— Самокритика, — улыбнулась заместительница.

— Очень хорошо, — кивнула начальница. — Самокритика — важный профиль.

Догадывалась она, что не все будет ладно на этом собрании. Кое-что услышала, кое о чем расспросила, кое-как узнала и пришла к выводу: ее заместительница намеревается устроить прощальный фейерверк, дабы унести на новое место работы шлейф принципиальности, честности и прямоты. Можно уйти, хлопнув дверью, а можно — с бенгальским огнем, вскрыв недостатки и скрыв достоинства. Так полагала Людмила Павловна и, естественно, готовилась к встречному бою. И Галина Сергеевна готовилась к бою. Муж определил диспозицию, выработал тактику, рассчитал силу и указал на резервы:

— Все козыри у нас. Бей и не давай опомниться. Чем настырнее будешь, тем скорее она место

очистит. Действуй!

Старшие были озабочены, девочки нервничали — в недвижном воздухе отдела, пропитанном духами, запахом кремов и помад, ощущалось нечто предгрозовое. И только Клава ничего не ощущала, поскольку все эти собрания ее вроде бы и не касались: она никогда не выступала, ее никогда не хвалили, но зато и не прорабатывали. И на всех собраниях она дисциплинированно молчала, старательно и неспешно думая о своем. Правда, сегодня пришлось потрудиться над экономией; долго страдала и вздыхала, а потом ее осенило, и она сразу же написала одно, но очень ценное предложение. Его, конечно, следовало подписать, но тут мапа Оля позвала помочь навести порядок на стеллажах, она пошла помогать, а пока расставляла пухлые «дела», исполнительная Наташа Маленькая взяла со стола ее записку и отдала Веронике Прокофьевне. А тут началось собрание: начальница рассказывала об экономии, девочки помалкивали, гости-общественники важно кивали. А Клава вспоминала о последнем свидании, все еще переживая свой никчемушный вопрос. Перебирала в памяти каждую секундочку, растягивая и разглядывая ее, как это могут делать только женщины, восстанавливала каждый

взгляд, жест, интонацию, пытаясь понять и его и свое поведение. Ведь знала же, что «лекарство», что «как анальгин принять», ведь никаких иллюзий не питала, ведь сама не то что не любила — терпела, а надо же, не удержалась. Показалось, что не водочным перегаром на нее дышат, а нежностью, разомлела, разнежилась и… А он что? Посмотрел. Вроде даже внимательно, не просто так. И засмеялся. Как засмеялся? Насмешливо или радостно? Удивленно или растерянно? Вот какие насущные вопросы решала Клава, сосредоточенно глядя в рот выступающим.

К тому времени Людмила Павловна закончила свое сообщение. С достоинством опустилась на стул и воззрилась на Веронику Прокофьевну, но тут один из гостей — старичок в ехидных очках — потряс запиской.

— Один момент. Сообщение было красочным в смысле экономии кнопок и скрепок, но вот имеем кардинальное предложение вашего же работника: «Мы переписываем цифры и только все запутываем, а если нас закрыть, то будет настоящая экономия». Весьма дельное предложение, замечу. Весьма!

— С больной головы на здоровую! — резко сказала начальница. — Есть еще у нас работнички,

которые прикрывают собственное разгильдяйство громкими фразами.

— Позвольте несколько слов, — проговорила Галина Сергеевна. — В порядке самокритики.

Ничего этого Клава не слышала напрочь. Она ковырялась в своих личных проблемах и, кажется, начала понимать его интонацию: как в полудреме, услышала собственную фамилию и вынырнула.

— ...я не оправдываю ротозейства Сомовой, но кто нам, советским руководителям, давал право самовольно лишать работника премии, с тем чтобы на эту премию — которая все же выписана! — устраивать коллективное питание с алкогольными напитками?..

Клава не верила сама себе: Галина Сергеевна. Пылает и негодует, а два старичка и старушка слушают в шесть ушей. И весь коллектив разом очнулся и от девичьих грез, и от женских дум и во все глаза уставился на выступавшую, приоткрыв подкрашенные губки. А поскольку Галина Сергеевна была настоящей женщиной, то изложение сухих фактов ей было не по силам, и на ожившую аудиторию выливались сложные смеси из действительности, слухов, сплетен, предположений и старых обид. Однако форме обличения Галина

Сергеевна была прекрасно обучена и не забывала вставлять готовые блоки с упоминаниями о коммунистической морали в свете последних указаний и священном долге руководителя перед народом. И все это вперемежку с мужем, который является для нее образцом, потому что — рабочий класс, с больной дочерью и собственным высшим образованием.

Людмила Павловна сидела не дрогнув, и девочки напрасно заглядывали ей в глаза. Проверяющие вертели головами, и уже не одна старушка — божий одуванчик, а все трое строчили вперегонки. И так были воодушевлены, что напрочь забыли о ведущей собрание перепуганной Веронике Прокофьевне, о повестке дня и даже о том, что они всего-навсего гости в низовой организации. Не успела Галина Сергеевна закончить свои обличения, как самый старший поворотился к начальнице.

— Истерика, — сказала Людмила Павловна.

Сказала очень спокойно, не вставая с места, и это обстоятельство показалось всем величайшим свидетельством правоты, хладнокровия и руководящей мудрости. И после этого одного-единственного, словно бы вскользь брошенного слова начальница не торопилась вскакивать и

оправдываться. Выдержала паузу, медленно поднялась. Глянула мельком на раскрасневшуюся, жаждущую открытого боя заместительницу и неожиданно улыбнулась Клаве.

— Клавочка, ты получила премию за этот квартал?

Клава вскочила, как в школе, разинула рот и затрясла головой — сперва как «нет-нет», а потом как «да-да». Поступила она так не только потому, что боялась начальницы, а потому что бумажек боялась еще больше. В бумажке же, именуемой «Ведомостью на выдачу премиальных», стояла ее подпись. И Клава сначала пыталась сказать, как оно было на самом деле, а потом не как было, а как должно было бы быть.

— И что же ты с ней сделала?

Клава гулко проглотила комок и молчала, затравленно глядя на Людмилу Павловну.

— Не волнуйся так, ведь от тебя требуется только правда, — ободряюще улыбнулась начальница. — Ты пришла ко мне и попросила, чтобы на твою премию твои же подруги отметили радостное событие твоей женской жизни: накануне любимый человек сделал тебе предложение. В моем кабинете тогда как раз сидели наш профорг Вероника Прокофьевна и общественница Наташа

Маленькая. Не стесняйся, Клавочка, радость твоя нам так близка и понятна, что никто тебя не осудит. К великому моему счастью, — тут Людмила Павловна мазнула по лицу заместительницы презрительным взглядом, — у меня оказались свидетельницы. Вероника Прокофьевна, так было дело с премией Клавы Сомовой?

— Совершенно верно, — деревянно закивала Вероника Прокофьевна. — Совершенно верно.

— А ты что скажешь, Наташа? Сомова расписалась в ведомости на квартальную премию?

— Расписалась, — поспешно подтвердила Наташа Маленькая.

— А теперь, Клавочка, ты все нам расскажи по порядку. Как ты пришла ко мне, как просила, чтобы мы все дружно отметили твое счастье, как я отказывалась, как за тебя Вероника Прокофьевна ходатайствовала, все расскажи. Ну? Говори, Клавочка, говори, никого не бойся.

Людмила Павловна уже владела не только вниманием, но и положением, и, после того как Наташа Маленькая с готовностью подтвердила чистую правду, она спокойно опустилась на свое место и далее разговаривала сидя, взирая на подчиненных с привычной точки зрения. И теперь получалось, что не столько перед собранием и

даже не столько перед комиссией, сколько перед нею стоят ее заместительница Галина Сергеевна и сотрудница Клавдия Сомова.

— Ну? Клавдия, мы ждем.

В душе у Клавы было темно и сыро, как в погребе. От нее требовали не просто лжи — с этим бы Клава как-нибудь смирилась, — от нее требовали лжесвидетельства. Клава не знала, что такое лжесвидетельство, но чувствовала, что подвели ее к краю и что у нее лишь два выхода: либо топить Галину Сергеевну, либо тонуть самой. Самой тонуть было до жути страшно, топить другого Клаве еще не приходилось, и она молча разевала рот, чувствуя, как между лопаток ручьем потек пот.

— Соврешь — лучше на работу не приходи, — прошипела в спину Наташа Разведенная.

Наташу Разведенную уважали все девочки, кроме разве Ирочки, которая во всем мире уважала только саму себя за целых два таланта: очень красивые ноги и очень красивые грудки. Наташа тоже была самостоятельной — если не державой, то герцогством. Выйдя замуж по безумной любви (все девочки были тогда в ресторане), она уже через три месяца застала мужа с незнакомой девицей в ситуации, исключающей разночтения, собрала чемодан и тут же ушла к подруге. Муж

прибежал через час, плакал, убивался, становился на колени, всю ночь просидел под дверью. Наташа осталась непреклонной и через положенный срок добавила к своему имени горькое, но весьма современное прозвище. Бывший муж отпал, любовь зарубцевалась; Наташа Разведенная уверовала в принципиальность и старалась всегда поступать в соответствии со своей верой.

Все это и еще сотни иных историй, ситуаций, ассоциаций и воспоминаний промелькнули в пустой, как царь-колокол, Клавиной голове, и она не поняла — и некогда было, и вообще она медленно соображала, — не поняла, а всем существом, всей кожей, телом, нутром почувствовала, что погибла. И заревела отчаянно, громко, с истошным бабьим надрывом:

— А он не любит! Не любит! Не любит!..

И бросилась вон, натыкаясь на стулья. Не догнали, не нашли, не вернули, и собрание пришлось закрыть.

5

До того, как стать Разведенной, Наташа была просто Троицкой. Безумная любовь превратила ее в Сорокину, но безумная гордость вновь вернула ей девичью фамилию, только уже с прозвищем,

и это прозвище стало для их отдела куда более употребительным.

— Троицкая? Это какая же Троицкая? Ах, Наташа Разведенная! Ну, так бы и говорили.

После того страшного дня, когда она засорила на работе глаз, была отпущена в поликлинику, а потом пришла домой и, открыв своим ключом дверь, увидела чужой рай на собственном супружеском ложе, Наташа считала, что все у нее позади. Любовь и трепет, семейный очаг и дети, гармония души и неисчислимые хлопоты — словом, все то, что нормальная женщина называет счастьем. Счастье оказалось позади и вспыхивало, как стоп-сигнал, удерживая мужчин на почтительном расстоянии. И вместо всех женских радостей, вместо, так сказать, всего букета в руках остался один чертополох невероятной гордыни. Женщины вообще более склонны к этому чувству, тоньше разбираются в нем, а уж коли начинают холить да лелеять, чувство разрастается, как полип, рискуя задавить все прочие черты характера. И уж в чем в чем, а в этом Наташа Разведенная преуспела с особой силой.

А пришла она тогда — со слезами, жгучей обидой, гневом, растерянностью, болью и чемоданом — к мапе Оле. И мапа Оля ее пригрела, успокоила,

приласкала и утешила, как могла.

— Плюнь на все, Наташа.

Наташа плюнула, правда, не на все, но осталась у Оли и сынули Владика, названного в честь Третьяка, хотя наш прославленный вратарь никакого отношения к этому Владику не имел. Оля была единственным, поздним и поэтому особо любимым ребенком двух изрядно покалеченных фронтовиков. Ей предписано было быть счастливой, но об этом не знал пьяный водитель КрАЗа, раздавивший инвалидный «москвич» вместе с отцом и матерью. Это случилось семь лет назад; никакого Владика еще не существовало, но заодно не существовало и никаких родственников. У Оли хватило характера сдать экзамены на аттестат, обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную, окончить техникум и в двадцать родить мальчишку от отчаянного хоккейного болельщика. Болельщик нежно проводил до роддома и исчез, будто был святым духом и приснился в девичьем сне. Но Оля его не винила, считая, что в их встрече победа оказалась на ее стороне, и из девочки Оленьки, которую в отделе любили за доброту и покладистый характер, превратилась в сдержанную и всегда озабоченную мапу Олю. Только озабоченной она была для от-

дела и для себя, а вот сдержанной исключительно для отдела. Но об этом знала одна Наташа Разведенная, которой можно было доверять самые страшные тайны.

Впрочем, не такой уж страшной представлялась Олина тайна, если вдуматься. Каждая душа — омут, но не в каждом омуте черти водятся. В Олином водились, и с этими чертями ни хоккейный болельщик, ни Владик, ни Наташа, ни заботы с хлопотами, ни солоноватый статус матери-одиночки ничего не могли поделать. Стоило Оле влюбиться — что, надо признаться, с нею происходило периодически, — как характер ее делался мягким, текучим, нежным: черти вылезали из омута, отряхивались, оглядывались и… И предписывали Оле делать то, что хочет ОН. А ОН был точно таким же, как все ОНИ — прошлые, настоящие, будущие, — и Оля срочно добывала для Наташи Разведенной какой-либо совершенно уж невозможный билет: на Таганку или в Дом кино, на Райкина или на Аллу Пугачеву.

— Случайно, — говорила она, старательно отводя глаза. — А я никак не могу, никак. Такая жалость.

Наташа презрительно усмехалась и появлялась дома с последним поездом метро. И особенно ру-

мяная, особенно пушистая, особенно задумчивая Оля ждала ее на кухне за накрытым столом.

— Интересно?

Наташа подробно рассказывала, а Оля улыбалась, ахала, кивала, а мысли были далеки. Наташа прекрасно понимала это, гордо кривила губы, но в предложенную игру играла по правилам. Пока не возник Игорь Иванович, самолично открывший дверь, когда Наташа возвращалась в очередной раз с последним поездом метро.

— А вот и наша Наташа — угадал? Замерзла? Оленька, туш, чай и бокал шампанского!

И Наташа остолбенела второй раз в жизни. Но если в первый она вышла из столбняка с помощью слез, чемодана и бегства, то теперь реветь было вроде не к месту (хотя вдруг захотелось), о чемодане она не вспомнила, а мапа Оля улыбалась ей из-за плеча неизвестного мужчины. Но это были причины внешние, а вот внутренняя — одна, но именно из-за нее, из-за одной-единственной причины, Наташа Разведенная и пребывала в состоянии остекленения.

А всему виной была его улыбка — ослепительная, открытая, сияющая добродушием. Нет, не улыбка… Плечи. Чуть покатые, развернутые, шириной в дверь вагона метро… Нет, не плечи

— волосы. Густые, темно-русые, с серебром на висках: такие волосы магнитом тянут к себе женскую руку… Нет, не волосы — глаза. Серые, чуть прищуренные, с ресницами, как у девушки. Да нет, не глаза — взгляд! И голос! И рост! И — руки. Руки, в которые так хотелось нырнуть, а нырнув, свернуться котенком, стать маленькой, теплой, беззащитной…

— Да что с тобой, Наташка?

Вынырнула Наташка из самой себя.

— Я?.. Здрасте. А я в Политехническом была, поэты выступали, Окуджава…

Сидели на кухне, пили шампанское. Мапа Оля улыбалась. И Наташа Разведенная улыбалась, только у одной глаза были влажные-влажные, а у другой сухие-сухие.

— В троллейбусе познакомились, смешно? И — сразу, с ходу, с первого взгляда, верите? И ничего не хочу скрывать, врать не хочу, выдумывать: женат я, понятно? Детей нет, жилплощади тоже, ясен вопрос? Развод — не проблема, хоть завтра, но надо бы, чтоб путем, так, девочки? На дураках нынче умные зябь поднимают, слыхали?

Говорил не переставая, глаз от Ольги не отрывал, улыбался ярче стосвечовой лампочки и ушел под утро. Оля открыто — при Наташе! —

расцеловала его, долго держала, приговаривая по-девичьи: «Иди. Ну, иди же. Ну, поздно уже». Наконец он оторвался, шагнул за порог; мапа Оля закрыла дверь, обернулась, привалилась к ней спиной. Глянула на Наташу уплывшими глазами:

— Ну?..

Наташа Разведенная хотела честно сказать, что обманет. Что на площадь зарится, что говорлив больно, что нахален и хорош, хорош и нахален, и не поймешь, чего в нем больше. Но посмотрела Оле в глаза, поняла, что не услышат ее, и вздохнула:

— Спать пора.

— Завидуешь!.. — отчаянно, звонко, торжествующе выкрикнула мапа Оля.

А потом был девичник за счет Клавиной премии, и Наташа не обратила внимания на маленький личный взнос только потому, что из гордой ее головы никак не желал уходить белозубый Игорь Иванович. Сиял, сверкал, переливался, как бриллиант, которого Наташа никогда в жизни не видывала, и подмигивал. Нехорошо подмигивал, двусмысленно, но, слава богу, мапа Оля этих подмигиваний видеть не могла. Потом профсобрание, дура Клавка, все как положено, и вдруг

— Галина Сергеевна со своими обличениями. И снова эта дура Клавка…

— Соврешь — лучше на работу не приходи, — прошипела тогда Наташа Разведенная, и Игорь Иванович ей ободряюще улыбнулся, опять двусмысленно подмигнув.

Игорь Иванович появлялся три-четыре раза в неделю, мапа Оля торжествовала, и Наташа не могла не признать, что для обыкновенного женатика новый знакомый нетипичен. Тем более что уж раз-то в неделю, а умудрялся оставаться на ночь; что он при этом говорил своей законной, Олю не интересовало, — женщины не терпят, когда обманывают их лично, но к остальному в процессе эволюции они как-то притерпелись. А Игорь Иванович весело играл с нею и с Владиком, таскал на руках и вдвоем и поодиночке, шумел, путал порядок, приносил шоколад и неразбериху, каждую фразу заканчивал вопросом, и Оля переселилась на седьмое небо.

— Счастье по троллейбусному билету, любопытно, а? В кино такое покажут, ведь не поверим, точно?

Теперь мапе Оле было уже не до «Современника» или Дома актера, а если сказать прямо, ей было не до Наташки. И Наташа Разведенная,

сразу почувствовав это, ощутила такое дикое, такое злое одиночество, которого доселе никогда в себе и не подозревала. Она старалась приходить поздно, болталась по киношкам да кафешкам, терпела идиотские приставания, а из головы не шел, на миг не исчезал проклятый Игорь Иванович со своими плечами, голосом, взглядом, смехом, а главное — руками. Ах, как он прибирал к этим рукам дуру Ольку — мало ей было одного Владика! — открыто прибирал, весело, с шутками-прибаутками. И конечно же из-за жилплощади, а то из-за чего же еще? Ольга ведь совсем даже обыкновенная, без гордости, и ноги у нее короткие, если приглядеться. И вдобавок — мать-одиночка. Мапа. Ну, честно, кто на мапочек глаз-то всерьез кладет? Да никто: под бочок подкатиться — это с удовольствием, а чтобы с намерениями — да никогда! Девчонок навалом: только остановись на перекрестке — мигом со всех сторон ринутся, как на олимпийской эстафете, и вдруг какую-то Ольку-коротышку с довеском в три годика? Нет, явно в жилплощадь втюрился Игорь Иванович. Любовь с первого взгляда во все двадцать четыре квадратных метра…

Думая так не просто каждый день, а чуть ли не каждый час, Наташа, естественно, ни словеч-

ком, ни намеком, ни уголком губ в этих мыслях никому не признавалась. И не только потому, что мапе Оле намекать было бесполезно, — в смерч попала мапа Оля и, счастливая, над землей отныне парила, — но и потому, что сама Наташа Разведенная такую безнадежную тоску по своим собственным, личным квадратным метрам ощутила, что дважды в голос ревела, душ на полную мощность включая.

6

Суббота была очень даже рабочим днем, и, хотя никакого хозяйства у Клавы не имелось, а имелась комнатка, вылизанная до последнего миллиметра, мама велела прибираться, и Клава прибиралась. Вставала, правда, на час позже, но зато не мазалась, а, выпив чаю, надевала чего поплоше и начинала перетирать все подряд. От двери налево вдоль по стеночкам неторопливо и старательно разными средствами и разными тряпочками.

Клава любила домашнюю возню — будь то уборка, стирка, а тем более глажение. Она вообще была создана для дома и семьи, а не для учреждений и коллективов. Дома господствовала гармония, дома Клава была умна и догадлива,

дома у нее все получалось чисто, уютно и вкусно. А в отделе глупела, тупела, страдала, все у нее валилось из рук, и вечно она кого-то раздражала своей бестолковой медлительностью. Конечно же каждую принцессу надо видеть в ее дворце, особенно когда она не просто чистит свое гнездышко, но и поет при этом.

Однако сегодня Клава не пела, а думала. На работе ей думать не случалось, но у себя она могла размышлять о чем хотела и сколько хотела. И Клава, усердно трудясь, неотрывно думала о своем кошмарном вопросе и о его кошмарном ответе. Теперь-то, после стольких страданий, страхов и слез, она убеждена была, что ничего в нем не прозвучало, что дура она несчастная и что ей следует набраться духу и сделать так, чтобы слесаревой ноги тут более не появлялось. С этой мстительной идеей Клава обращалась, как сапер с незнакомой миной, аккуратно ища, где же взрыватель, когда в дверь заскребли, и по тихой вежливости Клава вычислила Липатию Аркадьевну. И закраснелась, вспомнив о десяти рублях.

— Вы меня простите, у меня сейчас нету, но у меня будут, потому что скоро аванс, и я сразу отдам…

Она бессвязно лепетала, увидев свои перешитые брючки. Но Липатия Аркадьевна выглядела торжественно, в разговор вступать не стала, а, повесив брючки на спинку стула, скорбно поведала:

— Клавочка, вы себе представить не можете, какое горе. Он свободен, умерла моя лучшая подруга, а он страдал всю жизнь, я чувствовала это своей интуицией. И вот колокол бухнул, а мне впору надевать парик, потому что волосы посеклись исключительно от переживаний. Ах, какие были волосы! Он так любил ими любоваться, я это чувствовала своей интуицией.

Если на мужчину вылить кучу личных местоимений, у него в любом состоянии хватит здравого смысла спросить, кого имеют в виду. Но женщины руководствуются интонацией и умеют произносить коротенькое «ОН» так, что никаких вопросов не возникает. Поэтому Клава все сразу сообразила, тем более что Липатия Аркадьевна была одета так, будто шла на Вечер смеха в Останкино.

— Я всю жизнь мечтала его показать, и мне понадобится ваша опора. А ехать совсем пустяки, возле Донского монастыря, потому что он сам звонил в Моссовет, я в этом просто уверена,

иначе почему в старом, а не в новом? Она же не дипломат, правда?

Клава слушала, уже одеваясь. Ей очень не хотелось идти на похороны неизвестно кого, но десять рублей сковывали, как кандалы. И они поехали, и Липатия тараторила всю дорогу.

— Клавочка, я так боюсь, что он не выдержит, увидев меня. Он совершит непоправимый шаг у разверстой могилы, и это исключительно катастрофически, потому что моя подруга бездыханна, а мы так любили друг друга. Может быть, мне избежать, а вы возложите? Держите букет, а я буду стоять в стороне, как «Неравный брак».

— А куда их класть? — сдавленно спросила Клава: она очень боялась покойников, только мамы не боялась.

— Там будет видно, — сказала Липатия, сунув Клаве цветы. — Вы меня спасете, как д'Артаньян королеву. Когда сомкнется вечность и все пойдут по домам, я шагну из-за колонны. Ах, что с нами будет, что будет? Единственно, что пугает, так это же все знакомые. Все кинутся целовать руки, обниматься — ах, эти актеры, они же сущие дети! Может, мне шагнуть из-за могильного камня?

К началу они опоздали, колонн не оказалось, и Липатия, выдвинув вперед Клавдию, сразу

где-то потерялась. Народу было мало, Клава застенчиво положила цветы на белое покрывало, стараясь смотреть так, чтобы не видеть лица покойной. Все томительно молчали, Клава начала пятиться, а тут велели прощаться, и она в страхе бросилась к Липатии, собиравшей слезы в крохотный платочек.

— Ах, как он импозантен! — тихо вздыхала она. — Горе исключительно к лицу мужчинам. Сейчас он повернется и увидит меня, дайте опереться, Клавочка, на точку опоры, а то я все переверну.

Гроб поехал вниз, люк закрылся, провожающие скорбно направились к выходу. Липатия впилась в Клаву, но ничего не произошло. Никто не бросился, не закричал, не грохнулся на пол. Прошествовали мимо.

— Как он посмотрел, как посмотрел! — жарко шипела Липатия. — О, несчастное, благородное существо, что оно творит с нами!

Выходили последними. В фойе толпились опечаленные с цветами, и на каталке стоял очередной гроб. Клава стала целиться, чтоб ненароком не увидеть покойника, но тут двери распахнулись, все разом задвигались, и каталку с гробом покатили прямо на нее. Клавдия заме-

талась, зашарахалась, вырвала руку и чуть ли не из-под колес кинулась в зал.

С Липатией они встретились только дома. Клавдия сбивчиво начала объяснять, почему она потерялась, но Липатия лишь печально улыбнулась.

— Знаете, почему я ушла? Исключительно потому, что он вызывающе интересен. Вызывающе! Это оскорбило мою женскую натуру. Ну, почему, почему, скажите мне, несчастная женщина, в тридцать лет потерявшая мужа, — вдова на всю жизнь, а мужчина и в семьдесят пять все еще жених?

Пока Клава провожала в последний путь неизвестную, пока шарахалась, терялась и ехала домой, начальница ее прибиралась. Собственно, прибиралась-то Наташа Маленькая, а Людмила Павловна сидела у телефона, положив перед собою список однокашников, и, болтая вроде бы о пустяках, продвигалась к цели неторопливо, как первопроходчик.

— Виталий Семеныч? Привет, Виталий, ни в жисть не угадаешь, кто тебе по домашнему названивает. Нет, не Ирина Петровна, дорогой, не она. Людочка это. Какая Людочка? А кто на курс младше учился и в тебя был тайно влюблен?

Заважничал, вспоминать не хочешь. Лычко говорит, Людмила Лычко, вспомнил теперь? То-то! Ну, как жизнь молодая? Не очень, говоришь, она молодая? Ладно, брось прибедняться, вы, мужики, до ста лет у нас не стареете. По какому делу? Слушай, а где Костя Смагин, не в народном контроле, часом? А кто из наших там, не знаешь? Ну, добро, поцеловались, перезвонимся… — Клала трубку, делала отметку в списке, вновь набирала номер. — Федор Степаныч? Привет, Людмила Лычко беспокоит. Как кто такая? А кто в тебя был тайно влюблен все годы учебы? Я, дорогой, я. Что поделываю? Да конторой тут одной заведую. Есть идея собраться у меня, молодостью тряхнуть. Кости, говоришь, загремят? Ну, ты отпустил! Слушай, кто из наших в народном контроле окопался, не слышал, часом? Нет? Собрать вас всех жажду, вот и интересуюсь. Ну, бывай, поцеловались…

Звонила она с утра, список таял, но выходов обнаружить никак не удавалось. Людмила Павловна охрипла и увяла, день катился под уклон, а до цели было столь же далеко, как и на заре.

— Зинаида Сидоровна? Зиночка, привет, дорогая, целую, красавица! Как цветешь, век не видала…

Нет, не вытанцовывалась цепочка, не объяв-

лялся свой человек. Людмила Павловна вяла на корню, а тут еще Наташа Маленькая вазочку раскокала.

— Вот теперь и склеивай. Да хоть языком, учить вас, недоразвитых…

И тут ее осенило, от «недоразвитых», что ли. По странной прихоти женской логики вспомнила вдруг, что Галина Сергеевна замужем. Нет, о самой Галине Сергеевне она ни на мгновение не забывала, но тут не о ней, а о том, что непростительно неодинока, вспомнилось. Хорошо, мол, ей, гадюке, за мужниной спиной, хоть он всего-то навсего шофер. Стоп. Где?.. Да у Павла Ивановича в хозяйстве!

— Боржому! Быстро, у меня деловой разговор!

Слава богу, хоть Пал Иваныч оказался толковым: помнил, кто в него тайно был влюблен. Обещал тонко прощупать, тонко поговорить, тонко намекнуть; Людмила Павловна в нем не сомневалась, поскольку Пал Иваныч был калач тертый и у него вопреки поговорке рвалось не там, где было тонко, а там, где было надо.

— Ты, Пашенька Иванович, учти, что жена твоего шофера — работник ценный и я ее лишаться не хочу. Но, как всякий ценный, цену себе набивает, ты меня понимаешь? Что? Должна

прейскуранту соответствовать? Двадцать копеек, гениально сострил. Вот об этом-то самом и мечтается нашему брату руководителю. Ну, падаю в ножки, поцеловались.

Звонок этот мог сработать не ранее середины недели, но Людмила Павловна и в понедельник зря времени не тратила. Заперлась в кабинете, продумала все варианты, составила небольшой реестрик, учитывая, что бумажка всегда сильнее действует, чем устная речь, хотя в школах учат наоборот.

Во вторник с утра гордая Галина Сергеевна начала метать растерянные взгляды. Сотрудницы их, возможно, и не замечали, но Людмила Павловна ликовала. Она-то знала, в чем дело, накануне отзвонив отзывчивому Пал Иванычу.

— Порядок, — сказал он. — А ты в самом деле была в меня втюрившись?

— В самом, — сказала. — Расцеловались, перезвонимся.

И вот теперь — взгляды. А к обеду нервы не выдержали, и последняя независимая держава испросила аудиенции.

— Слушаю вас, — приветствовала начальница, делая вид, что усиленно изучает бумаги. — Садитесь.

Приглашение садиться было с паузой, чтобы посетительница могла вдосталь ощутить слабость собственных коленок. И опять — вся в работе. И еще одна пауза, и еще раз — с недоумением:

— Слушаю же вас, Галина Сергеевна.

Галина Сергеевна шла с твердым намерением расставить все знаки препинания. Однако немыслимая занятость Людмилы Павловны и целые две паузы спутали ее, и начать пришлось с существа:

— Людмила Павловна, мой муж был вчера втянут… То есть вызван. То есть ему неверно осветили.

— Он в кого-нибудь врезался? — озабоченно осведомилась начальница.

— То есть… Это ж в каком смысле? — опешила заместительница.

— Он же, кажется, шофер? И если что-нибудь со светом, то вы не волнуйтесь, я постараюсь помочь. Естественно, если не было человеческих жертв. Ну а если все дело лишь в материальном ущербе, то мы всегда должны понимать друг друга. Особенно мы, советские женщины.

Галина Сергеевна ничего не соображала. Она шла объясняться, была полна решимости продолжать борьбу — и вдруг…

— Позвольте, Людмила Павловна, я плохо понимаю. Я о том…

— Я ценю вас, дорогая, — растроганно вздохнула начальница. — Может быть, вы не догадываетесь, но даже люблю. Как исключительно приличную советскую женщину.

Соединение двух определений несколько озадачило саму Людмилу Павловну, и она замолчала. Ровно настолько, чтобы не дать заместительнице опомниться.

— Я не хочу с вами расставаться, а вы со мной хотите. В этом прочность моей позиции и ошибочность вашей. Положение вам известно: скоро к нам поступит новое штатное расписание, в котором…

Журчал голос, журчали слова, общий смысл был ясен, но собрать их воедино, обнаружить логическую связь Галина Сергеевна уже не могла. Личная обида, что сокращают именно ее, мешалась с козырными картами, проницательным мужем, больной дочерью, идиоткой Сомовой и танковым напором начальницы, которая все поняла и сейчас разделает ее, как плотву для ухи.

— …кошмарно, что вы научили Сомову написать записку о том, что нас следует закрыть.

— Я никого не учила. — Она уже оправдыва-

лась, уже мельтешила.

— Оставьте, дорогая, я вам не Наташа Маленькая. Вы позволили себе высказывания в присутствии всего коллектива…

Опять зажурчало, зажужжало, слова сливались в сознании Галины Сергеевны. А у нее муж вчера пришел перекошенным: «Дура! Выскочила! Без доказательств! С туза!»

— …приказ подписан, но расставания можно избежать. — Людмила Павловна вынула из папки бумагу, которую составляла на утро. — Схема нашей структуры. Я — вершина, Сомова — подножие. Вашу должность убираем.

— Меня? — робко спросила заместительница.

— Должность, а не вас, должность. А вас оставляем вместо Вероники Прокофьевны. Веронику — вместо Наташи Разведенной, Наташу — на место мапы Оли, Олю вместо Лены, Лену меняем на Иру, Иру — на Катю, Катю — на Таню, Таню — на Наташу Маленькую, а Наташу — на место Сомовой. Вот и все.

— А Сомову?

— Сомову? — Начальница посмотрела строго. — Из-за совершенной вами глупости могут приписать, что вследствие критики. Значит, надо думать.

— А…

— Понимаю. Да, на перемещении вы теряете двадцать рублей, но я обещаю вам и Веронике пробить персоналки. Полагаю, что теперь мы поняли друг друга?

О, какой вулкан буйствовал в душе Галины Сергеевны! Сжигал, повышал давление, рвался наружу алой краской, даже шея стала как у индюка. Рот разинула заместительница, дважды плямкнула пересохшими губами, как столетняя бабка, а потом напряглась и выдавила:

— А Наташа Разведенная?

— Умение подобрать к каждому работнику ключик — это и есть талант руководителя. — Людмила Павловна улыбнулась, мобилизовав для этого оскудевшие ресурсы обаяния. — Хотите боржомчику?..

7

Все шло заведенным порядком. Общественники накатали отчет о неблагополучии, вскрытом благодаря их бдительности. Однако по мистическим законам современности Людмила Павловна знала, что именно они написали, еще до того, как была выведена первая строка. И хоть не обнаружилось однокашников в народном контроле, но

добрая душа сыскалась.

— Помариновать помарину, но списать не удастся. Так что занимайте круговую оборону, уважаемая Людмила Павловна.

— Спасибо, — прочувствованно сказала начальница. — За мной не заржавеет, как говорится.

— Ну, это пустяки, — рокотал в телефонной трубке незнакомый, но весьма приятный баритон. — Ну, если уж чтоб дружбу поддержать, так свербит один пустячок. Вы ведь с Виталием Семеновичем накоротке, так звякните ему при случае, что у меня дочка с детства в его системе работать мечтает. С образованием аккурат по линии Внешторга, так что все соблюдено. Вот за это — поклон, это по-нашенски, Людмила Павловна, а кляузу беру на контроль. Ну, всех благ.

Ах, какое торжество испытывала Людмила Павловна, положив трубку! Как четко и гениально просто была устроена эта прекрасная жизнь, в которой все стремились помочь друг другу. Нет, ради этого стоило бороться и работать, работать и бороться, и начальница решила сначала бороться.

— Девочки, срочно Галину Сергеевну ко мне!

После того памятного разговора поведение заместительницы удивляло и настораживало.

Кажется, договорились, нашли то, что сближает, а не то, что разъединяет, но вместо того чтобы радоваться, Галина Сергеевна ходила как пришибленная. Будто вдруг превратилась в Наташу Маленькую, точно так же начав вздрагивать при стуке двери, громком голосе и телефонном звонке.

— Сомовой начали подсюсюкивать?

— Я… — Галина Сергеевна подавленно замолчала, беззвучно глотая слезы.

— Между прочим, пора действовать, дорогая. Да, действовать! Мне доложили, — ах, как сладко было хотя бы произнести эту магическую формулу! — что комиссия начала активную борьбу. Активную! И можно смело предположить, что Сомову скоро вызовут на ковер. Значит, надо упредить. Готовьте антисомовский материал.

— Людмила Павловна! — Галина Сергеевна совершила серию движений, будто намеревалась прямо со стула брякнуться в ноги, но недоерзала. — Только не это, я умоляю, я не смогу. Это же под… под… подл…

— Что?

— Поддержка, — забормотала заместительница. — Товарищеская поддержка хотя бы со стороны Вероники Прокофьевны.

— Разумно, — подумав, согласилась начальница. — Разрабатывайте Наталью Разведенную.

Галина Сергеевна была прекрасным специалистом, разумной женщиной, добрым товарищем, но при этом отлично понимала, что скромная карьера мужа и собственное продвижение, персональный оклад и обещанное улучшение жилплощади, льготные поездки за границу и возможность послать дочь в пионерлагерь санаторного типа и еще великое множество учтенных и неучтенных мелочей находятся отнюдь не в руках профорга Вероники Прокофьевны. А жизнь текла по столь порожистому руслу, что сохранить семейную ладью в целости и сохранности можно было, только обладая гениальным лоцманским дарованием. Каждый порог требовал компромиссов, компромиссы — нервов, нервы — здоровья, и Галина Сергеевна таяла, съеживалась, становясь все меньше и меньше, точно превращалась в мышку-норушку. Причем как бы не в одну, а в две мышки: внешнюю и внутреннюю. И если с внешней все было понятно, то внутренняя грызла ее денно и нощно, лишая покоя, достоинства, сил и сна. Галина Сергеевна начала скандалить в троллейбусах, орать в очередях, грубить всем подряд, то есть стала походить на рядового моск-

вича восьмидесятых годов двадцатого столетия.

А Клава жила, не подозревая, что создана мощная антисомовская коалиция. Она была настолько поглощена своими проблемами, что даже история на собрании более ее не занимала.

Полмесяца посвятив скрупулезному изучению слесаревых интонаций, Клава пришла к твердому убеждению, что с этим «анальгинчиком» надо кончать. Что это и стыдно, и совестно, и вообще она — женщина и не может жить без гордости. А какая уж тут гордость, когда тебе в лицо смеются в ответ на самый главный вопрос? И, тщательно все обдумав, Клава пошла ставить в известность Томку, поскольку чисто по-женски нуждалась в еще одном голосе — неважно, «за» будет этот голос или «против».

Голос был «против».

— Ну и дура психическая.

Томка обсчиталась на семнадцать рублей, но Клава об этом не знала, а потому вместо того, чтобы пожалеть подругу, начала толковать про гордость.

— Тьфу на твою гордость! — заорала Томка. — Какая тебе, к дьяволу, гордость, когда о том, что мы — женщины, мужики либо после стакана вспоминают, либо раз в году на Восьмое марта?

Клава упорно талдычила свое, соседка, войдя в раж, называла вещи своими именами, но главное совершалось: Клава Сомова с каждой фразой убеждалась в своей правоте. И, покинув не на шутку раскричавшуюся Томку, разыскала своего слесаря и все ему изложила. Чтоб никогда больше к ней не приходил, даже если кран потечет. Слесарь начал было гудеть, но Клава слушать не стала. Она так была горда, что решила тут же купить себе цветов. Какие подешевле. И пока она искала подарок самой себе, к ней пришла Вероника Прокофьевна. С обследованием по поручению профорганизации. Но поскольку Сомовой дома не оказалось, то принимала гостью соседка Томка, все еще клокотавшая от непонятной, но незаслуженной обиды. И, выложив все, что знала, а заодно и то, чего не знала, любознательной проверяющей, Томка ничего об этом визите Клаве не сказала. Сперва от злости, а потом просто позабыла, завертевшись в собственных делах.

Несмотря на то что Клава сама себе преподнесла цветы и тем как бы поставила точку, ее продолжало распирать свойственное только женщинам нетерпеливое желание исповедаться, с силой воздействия которого может соперничать разве что почесуха. Клава томилась, как брага,

изнемогая от переполнявших ее новостей, но поделиться было не с кем, и исповедальная страсть кисла на корню. И скисла бы, если б в тот день к Оле не должен был заявиться Игорь Иванович. Он не оповещал об этом, но Наташа и так вычислила его по особому звону Олиного голоса, по особой чистоте ее смеха, по совершенно особой манере не идти, а лететь. И чем звонче смеялась мапа Оля, тем все угрюмее становилась Наташа, а к концу работы замешкалась, пропуская всех, и едва ли не впервые оказалась с глазу на глаз с Клавой Сомовой.

— Спешишь? — тускло спросила, на ответ не рассчитывая.

И поэтому Клава решительно отреклась:

— Нет, что ты, что ты! Мне совсем некуда.

— Некуда? Идем в кафешку. Угощаю.

Клаве не хотелось идти в кафе, потому что, как на грех, на ней были не те туфли. Но она очень уважала гордую Наташу Разведенную, побаивалась ее решительности и завидовала ее комсомольской принципиальности, которой — она в этом была абсолютно убеждена — у нее самой было ничтожно мало. И поэтому тотчас же закивала, изображая радостное оживление.

В раздевалке кафе-мороженого им пришлось

подождать, пока гардеробщик подавал плащики двум девицам в джинсах. Наташа что-то говорила, а Клава как обмерла, так и не могла очухаться. Ей ни разу не подавали пальто за всю ее жизнь, и даже когда счастливая Наташа — естественно, еще не разведенная — пригласила в ресторан весь их отдел, Клава умудрилась вырвать свое пальтишко из чьих-то предупредительных рук. Сегодня такой номер мог и не пройти, и Клава страдала, мучительно соображая, куда нужно тыкать руками, чтобы попасть в рукава, и сколько может стоить эта процедура. Но тут услужливый старичок освободился, забрал одежонку, и Клава ничего осмыслить не успела.

— Ты что жмешься? — сухо поинтересовалась Наташа. — Может, надо куда? Налево дверь.

— Я потом, — зашептала Клава. — Вот старичок уйдет.

— Никуда он не уйдет, — сказала Наташа и двинулась в зал.

Клава нигде не бывала, кроме столовых-самоедок, очень робела и меню в руки не взяла. Наташа заказала две порции мороженого, вафли и немного крепленого вина с загадочным названием. Вино Клаве не понравилось, но она мужественно пила, потому что Наташа угощала

и отказываться было неудобно. Вскоре у Клавы развязался язык, и она начала нести ахинею про женскую гордость и объясняться в любви. Наташа послушала и усмехнулась.

— У тебя есть мечта?

— Мечта? — Клава икнула от неожиданности и торопливо пояснила: — Это на меня так алкоголь действует. Какая мечта?

— Такая, чтоб во сне снилась. — Лицо Наташи стало злым, зубы скривились. — Глотни, что разыкалась?

— Аллергия. — Клава хватанула полбокала, прислушалась, но икота ее, кажется, захлебнулась. — Ребеночка хочется.

— Подумаешь, мечта! — фыркнула Разведенная. — Сегодня прижмись, через девять месяцев воплотишь. Или у тебя никого нет?

Вопрос был обидным, и Клава тут же решила поведать, какая она гордая. Но сейчас слесарь-орангутан, что хватал да волок, не мог поразить Наташу, не мог быть связанным с мечтой, и Клава проникновенно начала выдумывать. Вернее, не совсем уж сказки, а сочинение на тему мечты и гордости.

— У меня был один человек, — шипела она, перегнувшись через стол. — Свободный совер-

шенно, непьющий, меня любил до безумия, жениться хотел. Вот. И мы совершенно сговорились и тоже решили в ресторане, чтоб все девочки. Вот. А я вдруг, понимаешь, это…

— Что?

— Ну, это. Должен был быть.

— Забеременела, что ли?

— Ну да. А он говорит, не надо, мол. Рано. Потребовал, словом. Или, говорит, нет, или, говорит, я уйду. И я, дура такая несчастная, пошла и… Избавилась.

— Это когда же? — заинтересованно спросила Разведенная.

— Это?.. — В пустенькой голове Клавы вместо мыслей бродили хмельные пары, но она поднатужилась. — А в апреле. Помнишь, я неделю бюллетенила? Вот. Будто ангина. А врачиха вредная попалась, уговаривала не делать. В первый раз, говорит, исключительно опасно, детей может больше не быть. Вообще. Но я все-таки сделала, а потом выгнала его вон.

— Молодец! — Наташа Разведенная стукнула ладонью по столику. — А он что?

— В ногах валялся, — всхлипнула Клава. — Так умолял, так умолял, но я — твердо. Вот. То есть вон. Вчера опять приходил, но я даже на порог не

пустила. Вот. Уходи, говорю, навсегда. И ничего, говорю в глаза, как в кастрюльки. А он заплакал, цветы на порог положил и ушел. Все.

— Да, — вздохнула Наташа Разведенная. — Гады они все. За одним, может быть, исключением.

Помолчали, пожевали.

— И все-таки выпьем за мечту, — решительно сказала Наташа Разведенная. — За злую и беспощадную.

— Выпьем, — бодро согласилась Клава. Чокнулась и добавила шепотом для самой себя: — Очень уж ребеночка хочется. Чтоб было о ком заботу проявить. А то ведь я одна да одна, как этот… хвощ.

И всхлипнула. Так беспомощно, так обиженно, будто сама еще была ребеночком, о котором мечтала во сне и наяву.

8

Не решаясь спорить на работе, заместительница возмущалась дома. Муж еще не появлялся, дочь лежала в больнице, и Галина Сергеевна бунтовала перед собственной матерью с криком, слезами, отчаянием и тремя порциями валерьянки.

— Я не могу, не хочу, не желаю!..

Не привыкшая к гибкости душа страдала и корчилась, и вместе с нею корчилась и Галина Сергеевна. Муж пришел, когда она собиралась к Людмиле Павловне для решительного объяснения. Он слыл человеком основательным; останавливать, а тем паче спорить с нею не стал, но между прочим сказал:

— В подкидного дурака давно не играла? Так вот сейчас с тобой в этого самого подкидного играют, только козыри теперь уже на чужих руках. Можно выиграть при таком раскладе? Можно, если успеешь свои картишки другому дураку подкинуть. И вот в этого подкидного сейчас все играют, учти. Не ты, так тебе, такие дела.

— Не свои слова говоришь, не свои! — закричала жена с истеричным торжеством. — Научили? Повторяешь?

— А почему же за умным не повторить? — резонно спросил он. — Начальник у меня не бревно, и уж коли сказал чего при встрече, так лучше на ус намотать, чем мимо ушей пропустить. Тем более что разговорчик не простой был.

Жена куталась в платок, всхлипывала, вздрагивала, но уже молчала. Может, еще и не слушала, но кое-что и в этом случае в уши западало, а потому муж негромко продолжал:

— Дело же не в том, кто тобой командует, а в том, чтоб честным остаться, так? Значит, это и берем за основу. Это первое. А второе — у меня, как тебе известно, язва, я тяжести не могу таскать, а знаешь, сколько баллон моего автобуса важит? То-то. И вот Павел Иваныч предлагает перейти на его персональную, положив мне при этом среднесдельную в месяц. А всего делов-то — привез да отвез, и машина весь день твоя, в Домодедово кати. Ну, давай проявим характер, откажемся — думаешь, уговаривать станут? Да таких, как мы с тобой, хоть Енисей перекрывай. Вот потому я и говорю, что надо быть принципиальным в главном — ну там, честь коллектива, перевыполнение, чувство законной гордости — в этом ни шагу, умри, где стоишь. А в мелочах-то, Галочка, да ты ж у меня с высшим образованием, ты же понимаешь, что мы спасибо сказать должны, что нас приметили, выделили из общей-то массы: это ж какие перспективы?

— Значит, на гордость наплевать, да?

— Думать надо. Диалектически думать, тогда все себе объяснишь.

— Объяснишь… — Жена горько вздохнула. — Меня последней независимой державой звали.

— Опять прокол, — улыбнулся муж. — Ну где,

скажи, найдешь сейчас независимую державу? Нет таких, разделился мир: либо с империалистами, либо с нами. Эпоха так диктует, Галчонок, эпоха, поступь истории, как нас в университете учат.

Галина Сергеевна притихла, всхлипывала реже, уняла дрожь, только глаза еще оставались тоскливо отсутствующими, словно прощались. Муж понял, заговорил о будущем, об отпуске, о болезненной дочке, которую хорошо было бы загнать на все лето в детский санаторий. Жена слушала вроде бы безучастно, а перебила в самом неожиданном месте:

— Придется Наташу Разведенную к нам домой пригласить. Чтоб по-семейному поговорить, без нажима.

Муж облегченно перевел дух, поцеловал в щеку:

— Делай как велено.

И пошел телевизор смотреть.

У Клавы телевизора не было, и она занималась делением и вычитанием. Полученный аванс требовалось разделить по статьям обязательных расходов и вычесть из него незапланированные траты. Например, две пары чулок, которые она безнадежно порвала на работе об один и тот же

стул, на который все боялись садиться, а она всегда забывала. И Клава, морща лоб, распределяла свои рублевки, но делала это по памяти, а лежавший перед нею листочек хранил совсем посторонние записи.

Там были имена. Признавшись в заветной мечте, Клава теперь с ужасом думала, какая же она мерзавка, что тогда струсила. Сейчас ребятеночку шел бы четвертый годик, можно было бы и о втором думать, а она, изверг и дура, никого не имеет. А если бы тогда не струсила, то родила бы девочку — девочка обязательно должна рождаться первой, чтобы потом помогать маме и братишкам, — и она назвала бы ее очень красиво. Например, Эллада, а сокращенно — Лада. Нет, Эллада — это, кажется, такой город, а вот, например, Констанция. И она написала: «Старшенькая — Констанция. А следующим будет Валерик». И тут в дверь поскребли, Клава перепугалась, заметалась, накрыла свои капиталы газетой и закричала, чтоб Липатия Аркадьевна входила без стеснения.

— Я хочу угостить вас чашечкой кофе, — сказала Липатия, входя с кофейником, тортом «Сюрприз» и шоколадкой. — У меня ужасный хаос из-за множества вещей на малых метрах. Конечно, кофе

— это роскошь, но мы — женщины, и роскошью нас не испугаешь.

— Да, — сказала Клава. — А я долг вам хотела отдать.

Долг отдавать она не собиралась, а собиралась просить обождать еще полмесяца. Но тут так случилось, что пришлось вручить Липатии десятку, предназначенную бабке Марковне в город Пронск. «Перебьется эта Марковна, — подумала Клава. — В следующем месяце двадцатку вышлю». Пока Липатия благодарила, Клава собрала свои рубли, список будущих детей и достала сахар, хлеб и масло.

— Изумительно, — сказала Липатия Аркадьевна, усаживаясь за стол. — Давайте пировать, пировать, пировать.

Тон был грустным, хотя она изо всех сил изображала веселье.

Клава ничего не поняла, но спросить постеснялась. Липатия Аркадьевна говорила и говорила, а Клава думала, до чего же плохо соседке, жалела ее до боли и все никак не могла решиться спросить.

— Знаете, я по уюту стосковалась. Да, да. Сейчас такое странное время, что все живут на кухнях. И все стали пить вино вместо чая: ведь чай тре-

бует уюта, а вино можно выпить и в подъезде. Я неуютная женщина, неуютная, молчите, я знаю, и вот пришла к вам. Рядом с вами оттаиваешь, Клавочка.

— Вам плохо? — собравшись с духом, спросила Клава.

Липатия по-птичьи склонила голову, помолчала. Потом посмотрела на Клаву и улыбнулась запрыгавшими губами.

— Знаете, Клавочка, люди исключительно лучше жизни. Да, да, исключительно лучше, я это знаю. Я знаю жизнь и людей, а сегодня подумала, что я никому не нужная запятая и что, может быть, больше не стоит. Вообще не стоит, и все. И стала собирать пилюли. Все подряд, что мне когда-либо прописывали. Набрала целый стакан — разноцветно и очень нарядно. И решила их все выпить. А потом…

Клава вскочила и долго трясла протянутой через стол рукой. Спазм лишил ее речи, она лишь разевала рот, но трясла рукой убедительно.

— Что с вами, Клавочка?

— Ста… Ста…

— С той поры я уже передумала и пришла к вам праздновать свое спасение.

— Стакан!.. — выдавила Клава наконец. — Дай-

те стакан!

— Стакан?.. — Липатия опустила голову, съежилась. — Ах, Клавочка, вы чудесная, но зачем же, зачем вы крадете игрушку?

— Где стакан с пилюлями?

— На окне в моей комнате, — тускло сказала Липатия.

Клава никогда не была у Липатии Аркадьевны. По слухам, усиленно распространяемым самой хозяйкой, комната ее была набита старинной мебелью, бронзой, хрусталем и картинами, и поэтому Клава открывала дверь с трепетом. А открыв, сразу увидела стакан с разноцветными таблетками на голом подоконнике, вошла, взяла его и огляделась.

Комната была пуста. Несколько платьев висели на стене, несколько флаконов стояли на сложенных друг на друге чемоданах, фанерный ящик изображал буфет, а старая раскладушка была аккуратно застелена байковым одеялом. Кроме этого, в комнате имелись еще два ящика, стул и колченогая табуретка. И больше ничего. Ничего решительно, и Клава шла к дверям на цыпочках, будто от покойника. Высыпала таблетки в унитаз, вымыла стакан, вернулась.

— А где… Где ваши вещи?

— Я их съела.

— Я ничего не понимаю! — сердито сказала Клава. — Вас обокрали?

— У меня никогда ничего не крали, потому что мне исключительно везло в жизни. Нет, я вас обманула, Клавочка, в детском доме у меня однажды стащили ботинки. Знаете, мальчиковые. Исключительно прочные ботинки, теперь таких не делают. Я хотела купить, чтобы было всегда тепло и сухо.

— В детском доме? — тупо переспросила Клава, опустив все остальное.

Детский дом и Липатия Аркадьевна, в которую были влюблены все артисты, никак не связывались в ее голове. А тут еще — пустая комната вместо ожидаемого гнездышка.

— Да, да. Мой отец исчез в сорок третьем году. Мне было два годика, потому что я родилась на второй день войны. Исключительно на радость маме и папе.

— Как исчез? Погиб?

— Говорили, что его вызвали в городскую управу, и он не вернулся. В оккупации это случалось. Потом мама умерла, а меня отправили в детский дом.

Клава во все глаза глядела на худую, несклад-

ную Липатию, на ее морщинистую шею, редкие, пережженные красителями волосы, ввалившиеся щеки, опущенные уголки губ и ничего не могла понять. Она словно видела ее впервые, а знакомиться не решалась.

— Пейте кофе, Клавочка, остынет. Правда, кофе можно пить горячим, теплым или холодным, и все это исключительно вкусно. Знаете, один мой поклонник…

— Вы не старая? — шепотом спросила Клава.

Липатия Аркадьевна зарделась совсем по-девичьи. И торжественно тряхнула головой.

— Старость — это ощущение, которого я исключительно лишена.

— Получается, вам… сорок с кусочком. — Клава недаром была счетным работником. — А как же… А почему же… У вас была тяжелая жизнь?

— Ах, Клавочка! — Липатия беспечно махнула рукой. — Жизнь не чемодан, зачем же ее взвешивать? Она прекрасная, удивительная, сказочная, и каждой женщине достается всего понемножку. И тут исключительно важно, что помнить. Что помнишь, такая и жизнь.

Чувство, что с этой женщиной она незнакома, крепло в Клаве с каждой секундой. Незнакомой была интонация, лишенная обычной жеман-

ности, взгляд, вдруг погрустневший, слова, в которых лишь изредка, как опознавательный знак, мелькало что-то привычное. Прежде Клава не стремилась узнать жизнь Липатии, где, как ей казалось, одна выдуманная любовь сменяла другую выдуманную, а теперь захотелось. Теперь показалось, что в этой чужой прошедшей жизни было что-то важное и для нее, и Клава с несвойственной настойчивостью требовала откровения.

— Да, Клавочка, детский дом — это прекрасно, потому что он — детский, а у кого хватит бесстыдства порочить собственное детство? Там было исключительно много ребятишек и исключительно мало еды, и я была худая, как кочерга. Нас учили шить, но боюсь, что не очень учили жить, во всяком случае, я до сих пор не встречала ни одного начальника, который вышел бы из нашего детдома. Я думаю, это потому, что из нас делали исключительно верующих людей.

— Верующих? — со страхом переспросила Клава. — Вас заставляли верить в Бога?

— В коллектив, — строго сказала Липатия. — Нам внушали, что коллектив всегда прав, что он всегда умнее, честнее, благороднее и справедливее отдельного человека. Наверное, так

воспитывают муравьев, и это исключительно правильно, хотя жизнь, увы, не муравейник, а жаль, потому что в муравейнике нет ни воровства, ни обмана и все ходят сытые. И я бы хотела быть обыкновенной муравьихой, потому что у меня все равно нет детей, а там, в муравейнике, я бы ухаживала за куколками.

Клава с грустью подумала, что Липатия Аркадьевна совершенно права и что ей тоже хорошо бы было ухаживать за куколками. Она вспомнила о начатом списке, но решила не углубляться и спросила:

— Вы говорите, вас учили жить?

— Шить, — строго поправила соседка. — Хотя если правильно покопаться в душе, то я исключительно неспособная, и даже если бы меня учили жить, я бы все равно получила двойку. Но нас все-таки учили шить, и я ничему не выучилась, разве что пришивать пуговицы. А потом я пошла на швейную фабрику и пришивала пуговки к мужским сорочкам на специальной машине, и это было чудесное время. Ах, Клавочка, вы себе представить… Нет, представить вы можете, как я пела. Конечно, не за пуговицами, а в вокально-музыкальном кружке при Дворце. Это замечательно, что теперь у всех есть Дворцы,

даже если они вместо любви, но я вышла замуж исключительно по любви. Его звали Тарасовичем Иваном Никитичем, ему было сорок два, а мне ровно двадцать, и я была исключительно счастливая, потому что могла быть его дочкой. А еще я была — вот вы ни за что не поверите! — я была румяная и даже толстенькая, а он воевал и был два раза ранен, и полицаи постреляли всю его семью. «Липочка, — говорил он мне, — мы будем самыми счастливыми на свете, Липочка…»

По худому, изможденному лицу Липатии весело бежали кругленькие слезки. Она шмыгала носом и улыбалась, и слезы прятались в морщинках, появляясь вдруг на кончике подбородка и уже оттуда капая в кофейную чашку. Клава боялась шевельнуться, боялась дышать, и в комнате стояла такая тишина, что было слышно, как капают слезы.

— А потом его перевели в Москву с таким повышением, что нам дали — это в то еще время! — целые две комнаты на двоих. Прямо плодитесь и размножайтесь, как сказано в одной книжке, но я не могла размножаться, потому что застудилась еще в войну, потому что когда не вернулся наш отец, то совсем не стало дров. А муж все мечтал меня вылечить, и мы ходили по

врачам. И, наверное, все было бы замечательно, только один раз мой Иван Никитич вернулся с работы, лег на диван и умер. А я не знала, что он умер, и готовила ужин, и болтала с Тамариной мамой — она еще была жива, — а Тамара…

— Какая Тамара? — шепотом спросила Клава. — Томка, что ли? Наша Томка? А где ж вы с мужем жили? У нас же трехкомнатная квартира, и у каждой по комнате.

— Да, да, — тихо согласилась Липатия. — Я исключительно напрасно завела разговор.

— Подождите! — Клава вскочила, метнулась к окну, вернулась. — Я в седьмой класс ходила, когда мы сюда переехали. Мы вашу комнату заняли, да, вашу?

— А зачем мне две комнаты? Мне совершенно не нужно лишнего, когда столько людей исключительно нуждаются. Не бойтесь, не бойтесь, мой муж умер в другой комнате. В той, где стоит раскладушка.

— Господи, — вздохнула Клава. — Я же ничего не знала. А вы были рыжая.

— Мне тогда исполнилось тридцать, — торжественно сказала Липатия. — Мне исключительно не на что было жить, потому что как-то случилось, что мы нажили только ранения и болезни. А

меня всегда тянуло к артистам — это очень смешно сейчас, правда? — вот я и пошла в гастрольную эстраду и стала Липатией Аркадьевной.

— Как так — стали?

— Скажите, можно управлять артистами, если вас зовут Евлампия? А меня зовут Евлампия, и мой отец был Авдей. И его убили фашисты, а я назвалась Липатией Аркадьевной и так всех запутала, что меня так зовут даже в паспорте. Но обман всегда приносит горе, Клавочка, и старайтесь никогда не обманывать. Я могу вам исключительно точно сказать, что если бы я осталась Евлампией Авдеевной, то не превратилась бы в Липатию Аркадьевну.

За внешней бессмыслицей скрывалась боль, и Клава все поняла. А поняв, ощутила вдруг, что она старше Липатии; встала, обошла стол и крепко прижала к груди беспутную ее голову.

— Обождите, Клавочка, обождите, — тихо сказала Липатия, боясь шевельнуться. — Сейчас вы прогоните меня и побежите отмываться индийским порошком. Я — воровка. Не верите? Я тоже не верю, но в обвинительном заключении было написано, что я присвоила столько, сколько мой покойный Иван Никитич не заработал за всю жизнь, даже если каждое его ранение оценить в

три тысячи рублей. Да, да, Клавочка, я была под следствием, и хотя суд меня оправдал, но лучше бы он этого не делал, потому что я не могу работать ни в идеологии, ни в искусстве, ни даже в торговле. И все кадры ужасно пугаются, когда я об этом пишу в анкете, и меня с той поры так никто и не взял в трудоустройство. А ведь я ничего не прошу сказочного, я прошу исключительно об одном: пожалуйста, будьте так добры, позвольте мне сесть в стеклянную будку и продавать газеты. Я ничего не изменю в статьях и не украду ни одной копеечки, только позвольте. Если женщине не суждено родить, то за что же убивать ее до конца жизни? За что?

— За что? — испуганным эхом откликнулась Клава.

— Вы знаете, что такое «левые» концерты? Вот и я не знала, но мне объяснил следователь. У меня был замечательный следователь, исключительно отзывчивый, про него надо писать романы. Да, да. Он мне показал кучу каких-то бумажек, назвал их, как меня, «липой» и сказал, что на них моя подпись. А я…

Распахнулась дверь, и в комнату ввалилась развеселая Томка. За нею виднелись неизвестный Клаве мужчина, сияющий, как полная луна, и

известный Клаве слесарь, нежно прижимавший к груди две бутылки водки.

— Вот она! — заорала Тамара. — Люля-кебаб! Томится! Где гуляем, подруга, — у тебя или у меня? Лучше у тебя, а то у меня постелька настежь. — Тут она узрела Липатию. — А ты чего здесь? Гуляй отсюда, рыба прилипала. Ну? Тряси костями!

— Извините… — Липатия вскочила, суетливо переставляя чашки, кофейник, нетронутый торт. — Извините, пожалуйста. Вы исключительно правы, исключительно.

Клава сидела, как истукан, еще не осознав, что происходит. Мужчины уже вломились в комнату, «лунатик» улыбался у дверей, а слесарь по-свойски протопал к столу и водрузил на него бутылки.

— Торт оставь! — скомандовала Томка, сбрасывая пальто на пол. — Он тебе не по зубам, а мы враз схрумкаем.

— Да, да, извините, это лишнее, конечно, лишнее…

Руки Липатии тряслись, все в них прыгало и брякало, и этот звук полной растерянности, абсолютного бессилия и покорности одновременно пробудил Клаву. Она опомнилась вдруг, мгновенно и тут же вскочила.

— Вон.

Она сказала шепотом, но так, что все замолчали. И оравшая Томка, и приплясывающий, уже изрядно принявший слесарь, и дрожащая Липатия, и «лунатик» у дверей. Все стихло разом. Клава хотела крикнуть, но крикнуть не удалось, потому что ей опять сдавило горло. Тогда она схватила бутылку за горлышко и метнула ее, как гранату, в распахнутую дверь. Бутылка со звоном разлетелась в мокрые дребезги, а Клава схватила вторую бутылку и швырнула ее туда же.

— Стерва-а!.. — завопила Тамара.

Сбила с ног, навалилась, визжала, царапалась и ругалась скверно и громко. Клава отбивалась, как могла, кто-то их растаскивал, кто-то поднимал ее с пола. Она успела заметить, что «лунатик» в обхват держит плюющую Томку, и тут слесарь, по-мясницки хакнув, врезал Клаве твердым, как полено, кулачищем. Все завертелось, Клава начала оседать, опрокидываясь в бездну, и последнее, что она увидела, так это как Липатия с противоестественной частотой лупит слесаря кофейником и кофейная гуща растекается по красной слесаревой физиономии…

9

На следующее утро Клава пришла на работу заштукатуренной. Несмотря на то что встала она на час раньше и весь этот час вместе с Липатией трудилась над гримом, синяк просвечивал, как темное прошлое. Кое-как объяснив любознательным, что упала со стула, Клава забилась в свой угол и начала усердно трудиться, не зажигая света, хотя было темновато. Она наивно рассчитывала отсидеться тут, как в норе, но уже через час была востребована. Струхнув более обычного, Клава покорно направилась в кабинет, но, к великому ее удивлению, начальница была на редкость мила, добродушна и ласкова. Задала несколько вопросов по делу, сердечно поговорила о погоде и отпустила с миром. А отпустив, вызвала Веронику Прокофьевну.

— Синяк. Уточните, в каком дебоше. И давайте лекцию, пока доказательства на лице.

Людмила Павловна спешила, так как неизвестный благодетель с мужественным баритоном признался, что волынить с письмом более не в силах. То ли инспектирующие перешли в атаку, то ли просто набивал себе цену; как бы там ни было, а тучи сгущались. К этому времени Галина

Сергеевна наконец-то душевно поговорила с Наташей Разведенной и выяснила, что в тоске она, хоть стреляйся, ибо нет у нее никакой возможности получить собственные квадратные метры. Это обстоятельство так заинтересовало Людмилу Павловну, что она рискнула обеспокоить самого Вилена Трофимыча, которого до сей поры берегла на самый крайний случай.

— Вилен Трофимыч, солнышко ты наше, выручай. Приперли твою однокашницу, и спасти может только однокомнатная квартира…

Долго вздыхал Вилен Трофимыч, пугал ревизорами, ломался и маялся. И все же столковались, когда Людмила Павловна намекнула насчет МГИМО: у Трофимыча балбес в дипломаты рвался, но аттестат его тянул максимум на администратора в кинотеатре средней руки.

— Ты гарантируешь — я гарантирую. По-деловому, Трофимыч.

— Добро, Людочка, заметано. Звякни через неделю.

Через неделю однокомнатная квартира практически лежала на столе, и Людмила Павловна вызвала Наташу Разведенную. Поговорив о том о сем, вздохнула сокрушенно:

— Интересная, молодая, огонь в крови, а что же

на личике? Тоска и неустроенность, я угадала?

— Это мое личное дело, — нахмурилась Наталья.

— Неустроенность, — озабоченно повторила начальница, будто не расслышав. — Поразительная несправедливость: самый уважаемый и принципиальный работник не имеет собственного угла. Но есть возможность это исправить. Я пока ничего не обещаю, это будет от многого зависеть, но все же пиши заявление.

Свобода — осознанная необходимость, как утверждают классики. Правда, необходимость порой так берет за глотку, что нужно быть основательно подкованным в теории, дабы упрямо ощущать себя свободным. Галине Сергеевне это ощущение давалось за счет сокращения дней ее на этой земле, а Наташе Разведенной несравнимо легче, ибо Наташа была злой. Злой и умной. И все поняла и начала деятельно собирать необходимые бумаги.

Но все это было за полмесяца до описываемых событий. А если вернуться к ним, то на другой день после появления Клавы с синяком Вероника Прокофьевна доложила:

— Подрались с соседкой.

Она добыла сведения от перепуганной Липа-

тии, поскольку Томки дома не оказалось. Липатия живописала побоище с дрожью, негодованием и жуткими подробностями, и Вероника Прокофьевна доложила слово в слово, только поменяла плюс на минус.

— Чудесно, — улыбнулась начальница. — Готовьте диспут «Береги честь смолоду». И непременно ту старушку из общественности пригласите, которая конспектировать любит. Есть прекрасная закономерность; женщины с возрастом делаются все нравственнее и нравственнее.

За всем этим стояло доброе имя Клавдии Сомовой, но сама Клава ни о чем не догадывалась. Она старательно лечила свои синяки и очень переживала из-за несчастной Липатии Аркадьевны. Теперь она летела домой и первым делом стучалась к соседке. Убедившись, что та покуда жива, принималась за ужин, на который под любым предлогом приглашала Липатию. То на пирог, то по поводу окончания трудовой недели, то просто так, без всякого предлога. Делала она это с упрямым постоянством, что вскоре привело ее на грань финансовой катастрофы. Но Клава колебалась недолго, решительно вычеркнув из расходов незнакомую бабку Марковну из неизвестного города Пронска. А тут еще Томка

объявила войну и вредила: то газ под картошкой выключит, то заварку из чайника сольет, то три ложки соли в молоко всыплет. И Клава так была занята Липатией, финансовыми пересчетами и борьбой с бывшей дорогой подругой, что не успела подготовиться к диспуту.

Мероприятие проходило по линии повышения культурного уровня. Когда-то они всем отделом объявили себя коммунистической бригадой, три раза вместе сходили в кино да раз в Третьяковку, а больше уж никуда не ходили, отделываясь тематическими собраниями, где один докладывал, двое поддерживали, и все радостно спешили по домам. А потом и это заглохло, заиленное новыми веяниями, изучениями, читками и собраниями, где опять-таки один выступал, а двое поддерживали. Дела шли очень славно — и вдруг этот диспут о чести, которую надо беречь смолоду, а не с колыбели, как считала Клава. Она додумалась до этого в метро, потому что где-то в подсознании у нее гвоздем сидела мысль о Констанции и последующем Валерике. А додумавшись, твердо решила, что своих ребятишек будет воспитывать так, чтобы честь они берегли не потом, не с какого-то там времени, а с первого и до последнего вздоха. И еще решила: если ее вызовут, то она

непременно скажет всем, что честь надо беречь не смолоду, а значительно раньше.

Основополагающий доклад делала сама начальница. Вдохновенно потрудившись четыре рабочих дня, Людмила Павловна исписала цитатами восемнадцать страниц и теперь внушительно читала притихшей аудитории афоризмы, дискутировать по поводу которых было не просто бессмысленно, но и небезопасно. Это избавляло скучавших слушательниц от необходимости что-то говорить, но больше всех была довольна старушка — божий одуванчик. Она торжественно кивала, слыша откровения, смело утверждавшие, что дважды два — четыре, и ничего не записывала, хотя держала наготове блокнот и ручку. Начальница читала, старушенция кивала, аудитория дремала — все шло, как обычно, привычно и прилично.

— Теория ценна своей связью с практикой, — изрекла Людмила Павловна, перевернув последний листочек. — И мы должны с принципиальной откровенностью осветить наш небольшой женский коллектив, честь которого всегда должна сиять, как маяк. Кто желает поделиться своими мыслями?

Делиться никто не рвался. Студентки Катя и Та-

ня были отпущены на занятия, и даже отчаянная Лена сонно помалкивала. Но пауза затянулась не настолько, чтобы чугунно придавить аудиторию: Вероника Прокофьевна вовремя подняла руку.

И тут Клава сразу выключилась, занявшись собственными беспокойствами: о Констанции, Валерике и реальной Липатии Аркадьевне, мечтавшей продавать газеты в стеклянной будке, потому что из-за болезни не могла ворочать шпалы на железной дороге. Клава понятия не имела, где оформляют на работу продавцов газет, но, увидев Веронику Прокофьевну, вспомнила, что она профорг, и тут же решила посоветоваться: ведь должен же профсоюз заботиться о людях? И начала старательно продумывать, как ей объяснить насчет невезучей этой Липатии, и опомнилась, только заметив, что все смотрят на нее, а древняя гостья строчит в блокноте.

— …любовь — святыня для каждой женщины, и мы должны серьезно предупредить Клавдию Сомову, что не потерпим в своем коллективе…

В голове у Клавы вдруг завихрилось, завертелось, вроде бы даже загудело, будто в печной трубе. Она ничего не поняла и сначала поднялась, решив, что ее называют для положительного примера. Но Вероника Прокофьевна, уткнувшись

в бумажку, уже лихо неслась дальше, и все — кто с недоверием, кто с любопытством — глядели сейчас на Клаву. Кроме Галины Сергеевны, которая, низко опустив голову и подозрительно часто утирая нос платочком, сосредоточенно разглядывала стол.

— Бред! — вдруг звонко выкрикнула Лена. — Бред сивой кобылы!

— Это я — сивая кобыла? — еле выговорила Вероника Прокофьевна запрыгавшими губами. — Людмила Павловна, вы слышали?..

— Обождите! — отмахнулась начальница: диспут сворачивал на иное направление. — Объясняйся человеческим языком, Елена.

— А человеческим, так Клавка и есть самая нравственная из всех нас, — столь же запальчиво продолжала Лена. — Кто никогда не опаздывал? Клавка. Кто ни разу не удрал из нашего кипучего безделья? Клавка. Кто никогда никому не соврал даже для смеха? Опять Клавка! И вы, фальшивки, ее порочить смеете?

— Замолчать! — крикнула Людмила Павловна, ударив ладонью по столу. — Кому бы говорить, да только не тебе, Елена. Ты — самая безнравственная, бесстыдно безнравственная во всем коллективе, ты осмеливаешься защищать Сомо-

ву? Рыбак рыбака видит издалека, так, что ли? А кто своих мальчиков, как ты выражаешься, напоказ сюда водит, и чуть ли не каждый месяц нового? Кто?

— Ах, завидно стало! — весело расхохоталась Лена. — Вот и отлично. Я водила мальчиков, не отрекаюсь. Весь класс с вами, дурами, перезнакомила, чтоб вы от зависти полопались. А насчет нравственности, так я вам не тихоня Клавка, меня не вдруг-то проглотишь, еще и подавишься. Да я завтра же справку из поликлиники принесу, что дева я непорочная, что тогда скажете? Вот так и будете стоять рот разинув, да? — Она опять торжествующе засмеялась. — Вы, бабушка, запишите, что тут Сомову топить вздумали. Зачем, не знаю, а только непременно запишите.

Выдавив поощрительную улыбку, Людмила Павловна соображала с такой быстротой, с какой соображать ей еще не приходилось. В четко продуманной операции ощутимо назревала трещина. Ленка-звонок, Ленка-болтушка, Ленка, для которой, как казалось, существовали одни мальчики, давала бой за никому не нужную Сомову. И, судя по задору, успокаиваться, выкричавшись, не собиралась. Она спорила сейчас принципиально с самой Людмилой Павловной, спорила с таким

злым азартом, что оставалось одно спасение: срочно изменить курс. Но пока все гомонили, Наташа Маленькая шепталась с Наташей Разведенной, мапа Оля — с Вероникой Прокофьевной, Лена продолжала что-то выкрикивать, Галина Сергеевна притихла, как мышь, а Клавдия пошла красно-белыми пятнами, будто мухомор, — следовало действовать поэтапно.

— Тишина, тишина, тишина! — громко сказала начальница, трижды ударив в ладоши.

И все смолкли, поскольку сработал условный рефлекс. И начальница уже набрала воздуху, чтобы взять разговор в свои руки, как вечно молчавшая, загадочная Ирочка негромко сказала:

— Что же это вы в меня не вцепились или в мапу Олю? У меня — любовник, у Оли — сынуля со стороны. Что же вы все — на самую безобидную? Права Ленка: боитесь вы Клавки Сомовой, потому что Клавка никогда не соврет, хоть на костре ее поджарь. И ту записку, чтоб нашу шарашкину контору прикрыли, она писала, потому что поверила, будто вам и вправду экономия нужна не на одной старой копирке. Так, мапа Оля?

— Вообще-то конечно. Мы все Клаву хорошо знаем.

Если бы Ира не задала вопрос, Оля просидела

бы весь этот шумный вечер молча, как всегда сидела на собраниях. И тогда не случилось бы того, что случилось, и дальнейшая жизнь текла бы спокойным незамутненным потоком по привычному руслу. Но Ира спросила, Оля нехотя ответила, и судьба со скрипом провернула свое ржавое колесо.

Наташа Разведенная прекрасно знала, сколько весит ее слово. Не забывала она об этом и сегодня, когда волнения, давно колебавшие ее душу, достигли критической силы. И если на прошлом собрании, с которого и разгорелась эта война, к краю подвели Клаву Сомову, то теперь у края оказалась Наталья Разведенная.

Топи или утонешь сам. Нет, сам не утонешь — утонет твоя злая, вспоенная завистью мечта: отдельная квартира и Игорь Иванович. И важнее квартира — ведь в метры же он влюбился, не в сонную же Ольку! — важно предложить квартиру ему, а уж любовь как-нибудь завоюем. У нас и темперамент, и авторитет, и ноги длинные, и волосы погуще. Важно предложить не только себя — кто в наши-то дни без московских метров всерьез влюбится! — важны метры. Метры, метры, метры…

Все это пронеслось в Наташиной голове, все

взвесилось, согласовалось с совестью, убедило ее помалкивать, и независимое герцогство встало во всем своем непререкаемом авторитете. В голове у Наташи стучало, и она все время внушала себе: «Успокойся, успокойся, ты делаешь правильно». И считала кончиком язычка зубы, как то предписывал аутотренинг. Клавка Сомова, наверное, и слова-то такого не слыхивала, а Наташа занималась им регулярно дважды в день перед водными процедурами.

— Из моральных принципов я не пощадила своей любви, — посторонним голосом сказала она, суеверно подумав, что настоящую-то любовь она пощадит всегда, пусть Игорь Иванович совершенно не беспокоится на этот счет. — Я слушаю выступления, я наблюдаю за вами, и у меня болит сердце. Болит! Оно не выносит неправды, не выносит притворства, не выносит умолчания. Умолчания Сомовой, трусливого и безнравственного. Она решила отсидеться под защитой добровольных адвокатов, так я не дам ей этого сделать. Я сорву с нее маску и покажу всем ее настоящее лицо!

Такого ненавидящего пафоса не ожидала даже Людмила Павловна. Она с изумлением и теплой благодарностью впилась глазами в гневную

и очень похорошевшую Наталью, не дав себе труда понять, что в этот момент Наташа лютой ненавистью ненавидит совсем не Клаву, а себя, обещанную однокомнатную квартиру и благодетельницу Людмилу Павловну.

— Мы были с тобой в кафе, Сомова?

— Были, — с поспешной готовностью подтвердила Клава. — На Горького, напротив Елисеевского.

— Сколько раз ты избавлялась, Клавдия? Молчишь? Призналась ты только в одном, сказав, что для тебя это как ангина, что детей ты боишься, ненавидишь и травишь их в зародышах, потому что пьешь с мужчинами!

Наташа сделала эффектную паузу, но пауза была испорчена так не вовремя вставшей вдруг Клавдией.

— Как же? — тихо и беспомощно спросила она. — О мечте говорили, я список составила, у них уж имена есть…

— Список убиенных тобою младенцев! — выкрикнула Наталья, чувствуя, что еще секунда — и не выдержит, заорет, забьется, может быть, даже в Людмилу Павловну вцепится. — Ты безнравственная лгунья, Клавдия!

Наташа Разведенная не села, а рухнула — да-

же стул застонал. Тишина стояла как в склепе; все переваривали, приводили в соответствие, отсеивали правду от вымысла и негодование от истерики. Секунда-другая, и эта экзальтированная аудитория взорвется таким сумбуром, в котором и сам сатана ничего не разберет, а уж гостья — тем более. Нет, нельзя было отдавать ни секунды, надо было бить и бить и закрыть собрание, когда все будут в абсолютном шоке. И Людмила Павловна начала трясти сжавшуюся в комочек бывшую независимую, а ныне безоговорочно капитулировавшую державу. Галина Сергеевна дернулась, глянула затравленно и встала. К тому времени уже летал шепоток неким предвестником возможной бури, но сразу же превратился в штиль, начиненный ожиданием.

А Галина Сергеевна разинула рот и заплакала. Она плакала несмело, но горестно, слезы градом катились по ввалившимся щекам, и во всей ее жалкой, словно бы уже выброшенной, фигуре тлело такое отчаяние, что чуткие девичьи сердца доверчиво и жалостливо распахнулись навстречу.

— Говорите, — сквозь улыбку почти беззвучно произнесла Людмила Павловна. — Говорите же наконец, тряпка!

— Я… — Галина Сергеевна беспомощно всхлипнула. — Она жестокая, бессердечная женщина. Никому покоя, никому! Она мужа моего преследует…

— Рукой покажите, рукой! — свирепым шепотом сказала начальница.

— Она… — Галина Сергеевна покорно подняла руку и ткнула в Клаву Сомову. — А у меня девочка больная, ей песочек нужен, ей каждый год солнышко у моря. А она… она… С мужем ссорит!

Выкрикнув последнюю фразу, заместительница закрыла лицо руками и разрыдалась в голос. К ней кинулись Вероника Прокофьевна и Наташа Маленькая, обняли, поддержали, нашептали, увели. И все опять молчали, и тут старушка вдруг бросила ручку и сказала:

— Я решительно запуталась. Решительно!

— Сейчас внесем ясность. — Теперь начальница была спокойна. — Сомова, объясни нам, как дошла ты до такой жизни.

— Я?

Клава встала, медленно обвела всех взглядом и улыбнулась.

Улыбка была застенчивой и детской, той, что сродни слезам, и многие опустили головы, чувствуя, что им почему-то не по себе.

— Ну, говори же, говори! — крикнула Людмила Павловна, поняв, что молчание Сомовой вкупе с безгрешной улыбкой сметут до основания всю выстроенную пирамиду.

— Говорить надо? — Клава вздохнула. — А зачем честь смолоду беречь? Смолоду поздно уже. Эту и беречь-то нечего. С детства беречь — да, это правильно. А сейчас — опоздали. Нет ее уже ни у кого. Нету. Вытравили.

Она говорила тихо и как-то незнакомо выстраданно. Будто много-много пережившая старушка. И все молчали, но молчали не так, молчали подавленно, стараясь не глядеть друг на друга.

— Правильно, — сказала Лена. — Молодец, Клавочка, спасибо тебе.

— Позвольте мне уйти, — еле слышно попросила Клава. — Пожалуйста, позвольте, а то не доеду я. До дому не доеду.

— Иди, — растерянно согласилась начальница. — Мы решение без тебя…

— И без меня! — выкрикнула Лена, вслед за Клавой бросаясь к дверям.

О чем говорила Лена долгой дорогой, Клава не слышала. В голове шумело, мысли метались, как мышки, а в ушах звенело, и глупая мелодия расхожего шлягера бесконечно звучала в душе. И

чтобы избавиться от него, Клава стала петь про себя всю песенку, а песня, как на грех, оказалась длинной, кончила Клава ее перед самым домом, с облегчением ощутила, что мотивчик исчез, обняла Лену и сказала совсем уж невпопад:

— Я ее не Констанцией назову, я ее Леночкой назову. Можно?

10

Это была первая и последняя ночь, которую Клава не спала. До нее только в постели дошел весь чудовищный смысл обвинений, сон сразу пропал; она хотела заплакать, но боль в душе все росла и росла, а слезы куда-то пропали. И было так больно, что она трижды пожалела, что выбросила в унитаз собранные Липатией разноцветные таблетки. Вставала, ходила, пила кефир, хотела замерзнуть, чтобы простудиться и умереть, но согрелась под одеялом и опять начала маяться. К утру у нее страшно разболелась голова, но еще до этого она поняла, что больше никогда в жизни не придет в отдел. Даже под угрозой голодной смерти или выселения из Москвы. Валялась до девяти, потом встала, хотя голова продолжала отчаянно болеть. Нечесаная и мятая, без толку бродила по комнате, натыкаясь на стулья. Один

раз даже с грохотом, но это было ничего, потому что Липатия тоже, наверное, встала, а Тамара, с которой велась жестокая война, уже должна была уйти в свою кассу. И только так подумала, как вошла вредная соседка Томка. Бывшая подруга.

— Привет. А я слышу, ты стулом грохочешь, значит, думаю, дома. Отгул взяла или заболела?

— Заболела, — очень неприветливо ответила Клава. — Уйди, пожалуйста.

— Некуда, в отгуле я. Я помириться хочу, если ты тоже хочешь.

Мириться Клава всегда была готова, потому что очень страдала от ссор и не любила их. Но здесь обидели не только ее одну, и она сердито помотала головой:

— Вместе с Липатией.

— Что вместе с Липатией?

— Мириться будем втроем, если все захотим.

— Да пошла она, твоя Липатия!

— Тогда и ты уходи, — строго сказала Клава. — Уходи, у меня голова болит.

Томка пофыркала, посопела, все еще стоя на пороге. Потом махнула рукой:

— Мириться так мириться!

Завтракали на кухне за большим Томкиным столом. Томка глядела на часы и рвалась сбегать,

но Клава и Липатия Аркадьевна твердо заявили, что ничего, кроме чая, пить не будут. Томка поворчала, погрохала сковородками и повеселела:

— Ну и правильно! А то косеем да плачемся, плачемся да косеем. Ты чего кривишься, подруга? Я тебя, если хочешь знать, с той поры, как ты водку грохнула, еще больше уважаю. Все гады, а мужики — гады со знаком качества.

— Это исключительно неправильное заявление, — сказала Липатия.

Она отложила вилку и набрала полную грудь, чтобы хватило воздуху на изложение позиции, но Клава все испортила. Заревела вдруг и рассказала, как ужасно ее прорабатывали, и даже Наташа Разведенная, и что только одна есть хорошая девочка, так это Леночка, и что Лена — очень прекрасное имя. И как будет страшно, когда об этом узнают в райкоме комсомола. Все это она рассказывала длинно, с массой непонятных — точнее, понятных только женщинам — отступлений и подробностей, плача и всхлипывая. Ее поили холодной водой, капали валерьянку и корвалол и запихивали мокрый платок в лифчик. Томка кричала: «Гады», «Гадины!» и «Вот гадюки!» — а Липатия тихо всхлипывала за компанию.

— Я же говорю, что все сволочи, — сказала

Тамара, когда Клава закончила свой горестный рассказ. — Значит, надо, как все.

— Неправильно вы говорите, — строго возразила Липатия. — Это все жизнь, уверяю вас. Люди исключительно лучше жизни.

— Дерьмо такая жизнь!

— Значит, надо ее чинить.

— Как же, починишь ее, холеру! — ворчала Томка.

— Я думаю, это оттого, что все не так, — сказала Липатия. — Мы должны быть «над», а оказались «под». А когда «под», то исключительно плохо, потому что все скверные слова начинаются на это «под». Например, подхалим, подвох, подделка или поджигатель войны.

— Подонок! — радостно подхватила Тамара и засмеялась. — Подлюга, подлиза, подначка. Точно!

— Вот. — Липатия важно подняла палец. — Мы под нравственностью, и нам предстоит расти до нее. Дотягиваться. А расти всегда очень трудно. И долго. Это процесс, надо ждать.

— Чего?

— Пока дорастем, сравняемся и обгоним. И станем «над». И нравственность из крыши, под которой прячут нехорошие дела, превратится

в пол, на котором все будут стоять. И жизнь перевернется, как надо, и все тогда увидят, какие люди замечательные.

— Скоты они замечательные! — опять взорвалась Томка.

— Вы, Тамара, однажды произнесли хорошие слова, — проникновенно сказала Липатия. — Вы исключительно правильно заметили, что мы, женщины, есть последний шанс. Я запомнила и долго думала. И я убеждена, что каждая женщина должна казаться выше. Выше мужчин, выше окружающих, выше телевизора, выше самой себя. Она должна тянуться вверх, как дерево. Что мы замечаем в лесу? Самое высокое дерево. Оно — пример. Вот и женщина тоже.

— Верно, — пригорюнившись, вздохнула Томка. — Ухаживать перестали, цветы дарить перестали. Стакан водки вольют — и сразу под юбку. Даже слов никаких уже не говорят.

Клава сидела молча, горестно подперев щеку рукой. Она не участвовала в научном диспуте, хотя слышала каждое слово. Апатия, в которую впала она, была совсем не от равнодушия — нет, у Клавы имелась своя точка зрения, и она могла более или менее ясно сформулировать ее, — а от глубокой, до сей поры болезненно ощущавшейся

обиды. И полного непонимания, почему именно она попала под пресс, почему именно ее душу жали, мяли, давили и топтали как только могли. «За что? — горько спрашивала она себя. — За что же мне это, господи?..» И чем дольше и оживленнее спорили за столом, тем все сильнее, все тревожнее раскачивалась ее обида, и Клава поняла, что корень ее — унижение. И ворвалась вдруг совершенно невпопад:

— А я туда больше не пойду! Пусть хоть с милицией приходят, лягу на пол и не пойду!

Жалостливая Липатия тотчас же поддержала, а практичная Томка спросила:

— Ты вроде в отпуску еще не гуляла?

— Не гуляла.

— Сперва отгуляй, что по закону положено, а потом — с приветом. Пиши заявление. Так, мол, и так, категорически требую заслуженного отдыха. Число и подпись.

Томка принесла бумагу, и Клава написала заявление за кухонным столом. А написав, вздохнула:

— Ну и что? В Москве сидеть — весь день реветь.

— Поезжайте на юг, Клавочка. Море еще такое ласковое, исключительно такое…

— К бабке своей езжай, — решила вдруг Томка. — Зря, что ли, ты ей каждый месяц десятку шлешь?

Унижение жгло нестерпимо, будто разрезали грудь и положили на сердце натуральный раскаленный уголек. Он горел не затухая, и Клава плакала непрестанно, точно надеясь слезами загасить его пламя. Ей все время хотелось бежать — все равно куда, только отсюда, из города, где так больно умеют обижать, в глухомань, где никто ее не знает и куда никак не могут докатиться слухи, что она безнравственная женщина, убивающая собственных детей. И горе-то заключалось в том, что это было правдой, — пусть крошечной, пусть давно прошедшей, но правдой в основе своей: еще при жизни мамы Клава тайком сделала аборт. И она мучилась и убивалась не только вчерашним, но и тем, прошлым стыдом, который, как оказалось, никуда не делся и тихонечко жил в ней до поры.

— Ну, что мне делать, что делать-то, подскажите? Что? Умереть?

— Да что вы, Клавочка! — пугалась Липатия.

— Ехать! — кричала Томка. — Рви когти, подруга. Там забудешься, а может, и романчик скрутишь.

И Клава согласилась. Тамара гарантировала билет, а Липатия Аркадьевна лично отнесла заявление об отпуске в отдел. Начальница с облегчением подписала бумагу — Клава сейчас была опасна — и даже позволила Липатии получить Клавины отпускные. Все сделалось быстро, и сияющая Липатия вернулась не только с оформленным отпуском, но и с отпускными деньгами.

— Я на нее так посмотрела, так посмотрела! — рассказывала она о своей встрече с Людмилой Павловной. — С таким исключительным презрением, что она содрогнулась.

Три дня, что собирали в дорогу, Клава бездельничала: лежала и плакала или слонялась по комнате и тоже плакала. Тамара принесла билет, а за покупками бегала Липатия Аркадьевна. Никто не знал, какая из себя бабка Марковна и сколько ей лет, и на всякий случай купили очень темный платок. И еще три батона полукопченой колбасы.

— Хороший подарок, — говорила Липатия, очень довольная, что раздобыла колбасу. — И еще непременно — московских конфет. Старушки любят сладкое.

Когда все было куплено и уложено, Липатия забрала у Клавы ее поясок с резинками и лич-

но пришила к внутренней стороне кармашек с пуговкой.

— Сюда положите все деньги, кроме тех, что на расходы. И ни в коем случае не снимайте пояс. Ни в коем — вы поняли меня? Чулки можете снимать, но в поясе вы будете спать весь отпуск. Когда кругом кошмарное воровство, то береженого бог бережет.

До города Пронска надо было ехать целых десять часов, а поезд отходил в двадцать ноль три, как важно говорила Томка. Они провожали Клаву, Томка тащила чемодан, а Липатия — авоську и груду полезных советов, которые вдалбливала в зареванную голову Клавдии. Приехали рано, Клавино место оказалось у окна, и она все время сердито махала подругам, чтобы уходили. Но они не уходили, пока не тронулся поезд, увозивший Клаву Сомову в первое в ее жизни путешествие.

11

Поезд мчался по Подмосковью, с грохотом проносясь мимо пустых вечерних платформ. За окном уже ничего нельзя было разобрать, кроме огоньков, но Клава упорно глядела в него, прижавшись лбом к стеклу. За ее спиной проходили пассажиры, кто-то садился рядом, но она не обо-

рачивалась. До тех пор, пока не заломило шею: тогда пришлось обернуться.

— Здравствуйте, попутчица, — улыбаясь, сказал седенький старичок в очках.

Клаве сразу полегчало, когда она увидела, что напротив сидит старичок, а не нахальный молодой парень, который всю дорогу будет разглядывать ее в упор. Правда, молодой все же обнаружился, но не напротив, а возле прохода; он был в милицейской форме и казался интересным. А рядом сидела толстая бабища, отжимая Клаву рыхлым боком к окошку. И еще была молодая женщина с несчастным лицом и при ней девочка лет десяти с сонными глазами. Все это Клава разглядела с чисто женской быстротой, одним взглядом, который тут же уперла в стол.

— Давайте знакомиться. Меня зовут Яковом Матвеевичем, а вас?

Клава хотела сказать, но сверкнула еще раз уголком глаза в интересного милиционера и сдавленно произнесла:

— Ада.

— Прекрасно, — продолжал Яков Матвеевич. — Рядом с вами почтенная Полина Григорьевна, товарищ из милиции Сергеем представился, а это — Лидия Петровна с дочкой Оленькой.

— Ох, ей что Оленька, что Толенька, — горестно вздохнула мать. — Десять лет уж, а ни ума, ни разума, а мужа у меня нет, и когда помру — пропадет. Вот в Москву возила к профессорам, а они сказали, что безнадежно. Гены, что ли, не те.

— Все теперь генами объясняют, — сказал милиционер. — Мода такая.

— Не скажите, — вежливо не согласился старичок. — Ученые говорят о генетической усталости нации. Да это и понятно, коли вспомним, что на долю одного-двух поколений досталось. Тут и Первая мировая, и гражданская, и голод с разрухой, и коллективизация с индустриализацией, и культ личности, и Великая Отечественная. И все ведь — мы, этими вот руками, этой вот спиной, этим вот сердцем.

В проходе появился длинный худой старик с угрюмым лицом. Перед собою он нес большой чемодан.

— Здесь, что ли, тридцать седьмое место?

— Боковое, — сказал милиционер, посмотрев.

— Вагон в кассе спутали, — сердито сказал старик. — Работают спустя рукава, а ты тащись через весь состав.

Ворчанье его никто не поддержал, а измученная женщина вздохнула горестно:

— Какие там гены, какие, когда пил он, проклятый, как верблюд, пока не помер. И меня пить заставлял. Вот когда напьется, тогда и вспоминает, что я ему законная жена. Что же ты, говорю, ирод, меня только пьяным и замечаешь, будто случайная я тебе женщина, говорю я ему. А он — пустой, говорит, я внутри, а выпью, так вроде интерес появляется.

— Врут они все, мужики то есть, — скрипуче ворвалась рыхлая баба. — Все, как есть, пьяницы, а брешут неизвестно чего, лишь бы им выпить поднесли.

— Да, с пьянством вопрос серьезный, — солидно сказал милиционер. — Так получается, что до восьмидесяти процентов преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Особенно на сексуальной почве. — Тут он покосился на Клаву, сказал «Гм!» и застенчиво примолк.

— Ну и что? — сердито спросил угрюмый старик.

— Как что? — растерялся милиционер. — Проблема.

— Проблемы надо решать. А чтобы решать, надо знать причины. И каковы же, по-вашему, эти причины?

— Причины? — Сергей помялся, опять искоса глянул на Клаву. — Разные причины.

— Богатые все стали! — опять с криком ворвалась Полина Григорьевна. — У всех денег — куры не клюют, потому-то водку и хлещут.

— Странная метаморфоза в нашем сознании, — желчно усмехнулся старик. — В учебниках политграмоты, помнится, утверждалось, что в России пили от нищеты, а теперь одна из самых ходовых причин — хорошо стали жить. Ну да ладно, все же точка зрения. А вы что скажете?

Он спросил старичка в очках, того, что сидел напротив Клавы. Вопрос прозвучал резко, старичок вздрогнул, снял очки, долго протирал их, надел и только тогда ответил:

— Видимо, общее падение нравственности.

— Расплывчато. А падение чем объяснить? Вы кто по профессии?

— По профессии я пенсионер, — улыбнулся старичок. — А прежде был сельским учителем. Сорок три года безвылазно в одном селе.

— Коллеги, значит.

— Вы тоже учитель? — обрадовался Яков Матвеевич.

— Нет, тоже пенсионер, — усмехнулся желчный. — Продолжим игру во мнения? Вы какую

причину пьянства усматриваете?

— Я? — Лидия Петровна обняла несчастного ребенка. — Вот мое мнение. Собрать бы всю водку да сдать на электростанцию — это ж сколько бы света она принесла!

— Прекрасно ответили, — помолчав, тихо сказал угрюмый старик. — Вот, коллега, что значит крик души. Да. А вы что добавите?

Он обращался к Клаве, но Клава как раз в этот момент мыслями была далека. Так случалось с нею, когда разговор становился не очень понятным или малоинтересным. Она не расслышала, что к ней обращаются, и милиционер с готовностью подхватил:

— Ада, товарищ у вас спрашивает. Вы слышите, Ада?

— Что? Ах, у меня… — Клава пожалела, что сгоряча назвалась Адой, но отступать было некуда. — А вот моя подруга так считает, что мы, женщины то есть, самый последний шанс. Что на нас все сейчас только и держится, и что если мы будем дружными и захотим, то мужчины тоже исправятся.

Довесок к словам пьяной Томки она досочинила тут же, потому что ей очень понравился молодой милиционер. И все засмеялись, но ра-

достно, а потому и не обидно, и Клава засмеялась тоже впервые с того страшного вечера.

— Вот где истоки современной Лисистраты, — сказал угрюмый, переставший вдруг быть угрюмым. — Но мысль есть. Действительно, женщина — главное страдающее, а потому и главное действующее лицо.

Подошла проводница, спросила, будут ли пить чай. Все как-то примолкли, а милиционер Сергей вдруг вскочил и сказал, чтоб чай подавали всем и по два стакана. И добавил:

— Мы вам поможем. Правда, Ада?

И опять Клава завязла, не сразу сообразив, но, по счастью, скоро очухалась. Милиционеру выдали поднос, кипяток тек маленькой струйкой, проводницу все время отвлекали, и они долго стояли перед титаном. Сергей рассказывал, что был в Москве награжден грамотой, а Клава ничего не рассказывала, но очень хорошо слушала, и тот раскаленный уголек, что жег ее сердце, постепенно подергивался пеплом.

— А вы зачем в Пронск? — вдруг спросил он и смутился. — Я потому спрашиваю, что на кого-то вы похожи.

— А я из кино, — почему-то сказала Клава, а про себя подумала: «Ох, зачем же врешь-то, вредина

такая?..» — Мы там кинофильм будем снимать на улице Кирова.

На улице Кирова жила бабка Марковна, а других улиц Клава не знала.

— Артистка, значит? — радостно заулыбался он. — Ну я же сразу сказал, что лицо знакомое!

Лицо у Клавы было как у всех. И курточка — как у всех. И если модным считался красный цвет, то Клава металась в поисках красного, а если зеленый, то зеленого.

— Нет, что вы, я не артистка, — сказала она, покраснев и тут же почему-то вспомнив Липатию Аркадьевну. — Я ими заведую. Вот. Но, правда, иногда, знаете… Приходится подменять.

— Вот я и говорю! — обрадованно воскликнул он. — Конечно же я вас в кино видел!

Тут пришла проводница и стала разливать чай. Потом Сергей понес нагруженный поднос, а Клава раздала стаканы и сахар. К этому времени общий разговор превратился в спор двух стариков, а остальные слушали, и народу в купе прибавилось. Какие-то две девицы пристроились на краешке полки, демобилизованный в мундире со значками стоял в проходе, остроносая старуха оказалась подле желчного старика, солидный гражданин отставного вида примостился на Кла-

вину полку, да так, что Клава едва втиснулась на свое законное место. А потом подошли еще какие-то любознательные, и даже проводница, разнеся чай по вагону, надолго застряла в их компании.

— Скверно учим, из рук вон скверно, а точнее, так и вовсе не учим, — говорил старичок в очках, все более горячась и все более теряя благодушие. — Учитель стал непрестижной профессией, и где — на Руси! В народе, издревле жадно ищущем свет истины в темном царстве истории. А ныне приезжаю в Москву — дочь у меня преподаватель, правда, не в селе, как отец с матерью, но все же. И что узнаю? Муж ее, тоже педагог, бросил школу, ушел в комбинат бытового обслуживания и берет подряды на ремонт квартир и циклевку паркетов!

— Мало платят, потому и бегут, — сказал отставник. — Платите больше, и будет вам престиж.

— А за что платить-то, за что? — взвилась неизвестно чем обиженная Полина Григорьевна. — Языком — ля-ля! ля-ля! А мальчишки все хулиганы. Тут штраф брать надо, а не платить.

— Вот считать мы учим, — подхватил старичок Яков Матвеевич. — И все больше, так сказать, вычитанию: того мало, этого мало, того нет, этого нет — только и слышишь. Вещи нас душат, вещ-

ный мир обернулся свинячьей харей и смеется над нами, как у Гоголя. И средства массовой информации вносят свою лепту: вспомните, с каким удовольствием вещают нам, сколько мотоциклов и телевизоров в современной деревне, будто телевизорами и транзисторами можно заменить жажду знаний, потребность делать добро, трудолюбие, совесть, наконец.

— О совести — это вы вовремя, — усмехнулся желчныи старик.

— Да. — Старичок опять снял очки и очень старательно протирал их. — Вспоминал, говорим ли мы о совести, и не вспомнил. По-моему, совершенно не говорим. Стесняемся или разучились, отвыкли и уж не ведаем, как к этому чувству подойти.

— На танцплощадку так лучше и не ходи, — вдруг очень быстро сказала одна из девушек. — Такое безобразие творится, такое безобразие. И куда милиция смотрит?

— Так нельзя же к каждой девушке по милиционеру прикрепить. — Сергей улыбнулся, заглянув Клаве в глаза.

— А совести и не нужна никакая внешняя сила, потому что совесть — это и есть сила. Духовная сила человека, основанная на глубочайшей

убежденности. — Желчный старик говорил непривычно медленно, неторопливо подбирая слова, но все молчали, слушая. — Вопрос о пределах совести, о борьбе ее с волеизъявлением личности очень занимал наших предков. Тут вам и Родион Романович с топором, и князь Нехлюдов с метаниями, и Пьер и так далее и так далее. И здесь важно, что совесть — это ваша, личная сила, она не принадлежит ни государству, ни обществу, ни семье — только вам. Не по этой ли причине борения личной совести исчезли из нашего сегодняшнего искусства? Мы толкуем о выполнениях и перевыполнениях, о трудах и сомнениях руководителей всех степеней, но совесть-то у них, как правило, помалкивает. Главное — вовремя выполнить приказание: ведь план — это тоже приказание. И его выполняют во что бы то ни стало, ибо за выполнение дают премии и прочие реальные блага. Ну а там, где господствует «во что бы то ни стало», там уже не до совести. Там она из госпожи человеческой превратилась в служанку, в «чего изволите» превратилась. И незаметно, тихо, без терзаний Достоевского и размышлений Толстого понятие совести заместилось понятием «цель оправдывает средства». А закон достижения цели во что бы

то ни стало — очень страшный закон. Страшный своей торжествующей и окончательной безнравственностью: высокой целью и любые жертвы оправдаю — от десятков миллионов загубленных жизней до детской слезы. И спать буду спокойно, ибо совесть направлена ныне вовне человека, на общество в целом, а не на спасение одной-единственной души, что уже тысячелетия является альфой и омегой общечеловеческой культуры.

Он замолчал, хлебнул остывшего чаю. Все молчали тоже, и многие хмурились, с трудом усваивая сказанное. Только рыхлой Клавиной соседке все было ясно:

— Верно говоришь, верно, Бога забыли!

— Бог здесь, гражданочка, ни при чем, — усмехнулся желчный пассажир. — Я атеист и по форме и по сути и совесть с Богом никак не связываю.

— Безобразия много стало, — сердито и очень обиженно сказала проводница. — В поездах пьют, дерутся, девчонок обижают.

— Женщины тоже, знаете, стыд потеряли, — нахмурилась Лидия Петровна. — И курят, и пьют, и штаны носят; сзади не разберешь, девчонка это или парень.

— Сейчас сила все решает, — вздохнул демобилизованный. — Кто силен, тот и прав.

— Без знакомых ребят в кино уж давно не ходим, — сказала вторая девушка. — А вечерами так страшно, так страшно!

— Вот оно, главное-то слово, вот оно! — в непонятном восторге закричал отставник и даже с удовольствием потер ладонью о ладонь. — Бесстрашно стали жить, вот вам и нарушения, вот вам и проступки. И ничем вы человека от проступков не удержите, если боязни у него нет. Думаете, он суда боится? А чего ему суда бояться, когда он точно знает, что его все равно через год, много — два, условно освобожденным объявят и пошлют работать в народное хозяйство, «на химию», как они выражаются. Нет, вы настоящий страх вселите, чтоб пот прошибал, чтоб поджилки затряслись!

— А как? — спросил старичок в очках. — Как вы себе это представляете?

— А как в старину, — тотчас отозвался собеседник, для которого ответ был, видимо, давно продуманным. — Око за око, зуб за зуб. Убил, скажем, ножом, и его — ножом, да публично, на площади. Избил, скажем, и его тем же макаром.

— Украл — руку по локоть на лобном месте, — подхватил желчный. — Задержались вы с рождением, вам бы в тринадцатом веке родиться.

— Я когда надо, тогда и родился, и вы мне не указ, — обиделся отставник. — А что демократии много, это точно, молодежь совсем от рук отбилась.

— Душу спасать надо, душу, — вздохнула старуха. — Раньше, говорят, по святым местам бродили, душу спасая, а теперь — за колбасой.

— Душу спасать — тоже рецепт, — сказал худой старик. — У каждого свое лекарство, а это значит, что нравственность наша больна серьезно. Она ведь не просто рушится — она не может рушиться, безнравственных обществ не бывает, — она откатывается, что куда опаснее. Она отступает в историю, предавая то, что трудом, горем, страшным напряжением всех сил было когда-то завоевано. Вы, коллега, правильно обратили внимание на торжествующую вещность нашей повседневности и, мало того, — нашу радость по этому поводу. Эта победа материального начала, этот приоритет вещной цивилизации над духовной культурой и есть первопричина отступления нашей морали во времена абсолютизма, в послепетровские десятилетия, если хотите.

— А от вас мы рецепта не слышали, — сказал старичок в очках. — Исповедуете что или только причины разъясняете?

— Исповедую, — серьезно подтвердил суровый пассажир. — Я верую в личную свободу. Не в свободу личности — она гарантируется государством, — а в личную духовную свободу, которой каждый может и должен достичь. За всю нашу историю пока трем революционным группам удалось подняться — каждой своим путем — до этой свободы: декабристам, народовольцам и большевикам. Они презрели все блага цивилизации, всю вещность мира, всю сословную, религиозную, национальную и имущественную ограниченность, всю несвободу и пришли к свободе.

В конце вагона тренькнула гитара, послышались веселые молодые голоса. И тотчас же кто-то невидимый строго предупредил:

— Тихо! Здесь люди разговаривают!

— Когда ж это было, — завистливо вздохнул демобилизованный.

— Это еще будет. Было для подвижников, для избранных — будет для всех. А для этого нужно выдавливать из себя раба. Раба вещей, квартир, высоких окладов, личных машин, престижа, тщеславия, честолюбия и начальников всех рангов. Выдавим этот гной холуйский из себя и из общества — значит, опять людьми станем, теми, кто считал себя хозяином земного шара, у кого была

собственная гордость. Вот тогда и нравственность вернется. На новом витке, на новой ступени…

— Утопия…

— Бога вы еще вспомните! Ох, вспомните!

— Женщину уж и за человека не считают…

— Демократию развели. Сажать, сажать, сажать, как когда-то!

Шумели в вагоне, спорили, отстаивали свое, потому что вопрос коснулся больного, язвы, что свербела у каждого, и каждый возопил. Каждый — кроме Клавы Сомовой. Она давно уже утеряла нить разговора и слушала не пассажиров, а себя, думая, какая же она счастливица, что села именно в этот поезд, именно в этот вагон, именно на это место. Она то и дело украдкой поглядывала на милиционера Сергея, ловила его взгляд, тихо улыбалась, и вместо обжигающего уголька в ней светилось сейчас счастье. И ожидание прекрасного завтра, навстречу которому с грохотом летел их поезд.

12

В Пронске поезд стоял одну минуту, и из их вагона сошли только Клава да Сергей, чему Клава очень обрадовалась. Городок начал когда-то расти возле вокзала и за ним был почти сплошь

деревянным: кирпичные здания появлялись только на окраинах, возле механического завода и ткацкой фабрики, да в центре стояло несколько каменных домов, принадлежавших некогда местному купечеству. Все это Клава узнала от словоохотливого милиционера, который тащил ее чемодан. Им, как выяснилось, было по пути, так как милиция и гостиница размещались рядом.

— Это теперь — гостиница, а прежде был Дом колхозника. А вообще все общественные здания у нас в центре, кроме телеграфа. Его на отшибе выстроили, возле парка: хотели там центр закладывать, но потом решили все по-старому оставить.

Расстались они у маленькой одноэтажной гостиницы: напротив и вправду была милиция. Сергей сказал, что весь день будет там («на службе», как он выразился), и важно оставил номер телефона:

— Если помощь понадобится. И вообще… Может, увидимся?

— Я позвоню, — туманно сказала Клава, порозовев от удовольствия.

А в гостинице мест не оказалось. То есть свободных номеров было куда больше, чем желающих переночевать, но цены не соответствовали

Клавиной зарплате, а коечку в общей комнате администратор не давала, утверждая, что все они сплошь забронированы. И, едва выяснив это, Клава очень обрадовалась, заулыбалась и попросила разрешения позвонить по телефону.

— Засекайте время, через двадцать минут буду! — бодро ответил Сергей.

Клава засекла, а он пришел через пятнадцать, и койка сразу нашлась. Даже с суровыми администраторшами Сергей разговаривал так легко, что и они повеселели. И Клаве нисколечко это не было неприятным, а наоборот, она очень гордилась, что Сергея все знают и все хорошо к нему относятся. Мама всегда говорила, что хороший человек заметнее плохого, и теперь Клава могла убедиться, как мама была права.

— Как рана-то твоя? — участливо спросила старшая, которая с Клавой даже не пожелала разговаривать.

— Да какая там рана. Так, царапина.

— Это ножом-то царапина? Значит, он тебя резал, а ты его держал?

— Ну, не совсем. — Сергей смущался, говорил набычившись, а Клава обмирала от гордости за него. — Он только раз ударил, а потом я прием применил.

— А сколько ему дадут?

— Это суд решит. Наше дело — обезвредить.

Разговор этот возник, когда Клава оформлялась. Потом Сергей отнес в номер ее чемодан, и она кое-что выложила на тумбочку возле кровати, чтобы было видно, что занята. Клава очень боялась, как бы администраторши не спросили ее имя, но они глядели на милиционера.

— Отчаянный ты парень, — сказала старшая на прощание. — Только вы, девушка, все же вечером одна не ходите.

Они вышли из гостиницы и остановились на крыльце. Выглянуло солнышко, ветер сник, и стало совсем тихо. Клава блаженно жмурилась и никуда не хотела идти, а милиционер Сергей маялся, поскольку должен был вернуться «на службу». К тому времени они как-то незаметно перешли на «ты». Клава совершенно освоилась и даже начала немного кокетничать.

— Кирова недалеко, — в который раз объяснял Сергей. — Три квартала прямо, а потом налево, к реке.

— А ты боялся, когда бандита хватал?

— Так я же на службе, — нехотя пояснил он.

— А бандит очень страшный?

— Обыкновенный. Второй, пожалуй, постраш-

нее.

— Какой второй?

— Который еще не пойман. Понимаешь, завелись тут у нас крупные акулы, хулиганье местное начали подпаивать, к рукам прибирать. Ну, одного мы взяли — за него и грамота, — знаем, что есть еще один, а где?

— А та, старшая администраторша, правду сказала, что по вечерам у вас опасно?

— Ну, как тебе сказать? — Сергей нахмурился. — Конечно, граждане, а гражданки особенно, всегда преувеличивают. Но главного мы еще не взяли, и кто он — неизвестно, потому что ни фотороботом, ни словесным портретом мы не располагаем.

Он замолчал и вздохнул, переложив в другую руку Клавину авоську с подарками бабке Марковне. Клава видела его насквозь и прекрасно знала, какой он скромный и замечательный парень и как она, растяпа Клавка Сомова, нравится ему. И млела от счастья.

— А что у тебя там, на Кирова-то? Может, я знаю, подскажу.

— Так, для кино. — Клаве не хотелось рассказывать о Марковне, о ежемесячных десяти рублях: это казалось такой мелочью сейчас. — Так что

же, мне лучше не ходить по вечерам?

— А куда тебе ходить? В кино, например, иди в Дом культуры — так со мной можно. Если, конечно, ты не против.

— Я не против, — улыбнулась Клава. — А когда?

— Либо сегодня, либо послезавтра, потому что завтра я дежурю.

— Лучше сегодня, но я не знаю, что будет у меня на Кирова. Ты можешь позвонить в гостиницу, и там скажут, пришла я или неизвестно где.

Этой договоренностью о встрече как бы исчерпалась тема их беседы. Надо было отдавать Клаве сумку и спешить на службу, но милиционер медлил. Уж очень ему не хотелось расставаться, уж очень нравилась ему эта застенчивая попутчица, уж очень важной казалась их случайная встреча.

— А ты в вагоне молчала, — сказал он, пытаясь вновь завязать разговор. — Знаешь, я тоже молчал, потому что тот старик — умный, а с такими надо спорить, хорошо подковавшись. Но я с ним в принципе не согласен. В принципе. Ты помнишь, что он предлагал? Какую-то личную свободу в себе воспитывать, будто у нас свобод мало.

— Помню, — кивнула Клава, думая, что зря она

до сих пор не созналась, что никакая она не Ада. А может, не зря?..

— Это опять же о себе беспокойство, так выходит? А вся наша беда как раз в том, что у нас — каждый о себе и мало кто за всех. Ну, конечно, я преувеличиваю, заостряю вопрос, ты же понимаешь, но эгоизма стало невозможно сколько. А нравственность можно поднять на новый уровень только одним способом: если каждый смело и до конца включится в борьбу с отрицательными явлениями нашей жизни лично, если сам начнет воевать везде и всегда, если дружно, как в Великую Отечественную…

Он вдруг замолчал, и широкие, добродушно разбросанные брови его строго поехали к переносью. Глядел он теперь куда-то мимо, за Клавино плечо; Клава обернулась и увидела двух парней — плотного здоровяка в низко надвинутой на глаза шляпе и высокого белобрового с мягким, безвольным лицом.

— В буфет наладился, Виктор?

— А что? — с вызовом спросил белобрысый. — Нельзя, что ли?

— Можно, только зря: алкогольные напитки продают с одиннадцати. А если Вера тебе по знакомству стаканчик под прилавком нальет, я ее

привлеку, так и передай. Кто это с тобой?

Вопрос был задан в упор, и плотный в шляпе хмуро ответил:

— Приезжий.

И пошел мимо не оглядываясь. Белобрысый Виктор потоптался, промямлил что-то и бросился догонять.

— Наследство получил, — с презрением сказал Сергей, глядя приятелям вслед. — Деньги ему бабушка оставила, он все до копейки пропил, а теперь собутыльников ищет. Откуда же приезжий-то этот, а? — Он озабоченно поглядел на Клаву, протянул авоську. — Мне на службу. Договорились, Ада?

Клава легко отыскала дом бабки Марковны, будто и не в первый раз была в нем. Неказистый домишко в три окна с маленьким палисадничком, в котором доцветали прихваченные первым морозцем поздние астры. Из-за дверей шум какой-то слышался, голоса. Клава потопталась на крыльце, послушала, а потом постучала. Не сильно, но дверь сразу же открыли, будто стояли тут же, за нею. На пороге оказалась полная женщина в мамином возрасте. И спросила, как, бывало, мама подружек спрашивала:

— Ты чья?

— Я? — Клава растерялась. — Я из Москвы. Мне к бабушке Марковне.

— К Марковне? — Женщина посторонилась. — Ну, входи. А чья же будешь-то?

— Я? Сомова я. Клавдия…

— Обожди, обожди. А Маня Сомова?

— Это моя мама. Она умерла, а мне велела каждый месяц бабушке Марковне высылать десять рублей. А сейчас у меня отпуск, и я хотела познакомиться…

— Эй, народ! — закричала вдруг полная женщина. — Леня, Люба, Дуся, Шура, Коля! Манечкина дочка приехала!

Мигом высыпали немолодые, седые, полные женщины и мужчины, и тесные сенцы набились до отказа, и все шумели, вертели Клаву, целовали, обнимали, всплакивали, трясли за плечи.

— Ну, вылитая Манечка!.. Померла?.. Ах ты, господи!.. Ну, молодец, что приехала… Как зовут-то тебя? Клавдия?.. Клавочкой ее зовут. Клавочкой, слышите?..

А потом, когда все чуть притихли, мужчина — седоватый брюнет, ужасно интересный, Томка бы сразу влюбилась до беспамятства — сказал тихо:

— Марковна наша умерла, Клавочка. Ровно сорок дней назад умерла, сегодня отметить со-

брались.

Потом повязанная фартуком Клава чистила на кухне овощи, но слезы капали совсем не от лука. Открывшая ей дверь полная женщина, которую звали тетей Раей, — Клава и не знала, что у нее столько родственников: тетя Рая, тетя Дуся, тетя Шура, тетя Люба да два дяди — дядя Леня (седой и интересный) и дядя Коля. Да четверо еще живут в других городах и не смогли приехать на поминки.

— Одиннадцать нас у нее было, — рассказывала тетя Рая: она постоянно жила с Марковной и была хозяйкой дома. — И всех она на вокзале подобрала либо сами мы к ней доползли, как твоя мама.

— Да, шумное у нас детство было, голодное да холодное, а все равно самое лучшее. Правда, девочки?

— Правда твоя, Шура.

— Кто только за столом не сидел, кто только в общий чугун своей ложкой не лазил! Мы с Шурой из Белоруссии прибежали, Манечка — из Смоленщины, Коля — из Ленинграда, Люба да Дуся — с Новгородчины, а Леня вообще из табора пришел и грамоте не знал, только плясать и умел. Мы с твоей мамой старшие были, а остальные — мелкота.

— Мама Рая и мама Маня, — грустно улыбнулась тетя Люба.

— А как же я-то ничего не знала! — всхлипнула Клава. — Почему же мне мама ничего не рассказывала?

— Почему?

Переглянулись женщины.

— Обидели ее, — тихо сказала тетя Шура. — Сильно обидели. Голодно было очень, а мы росли, как на дрожжах, и одеть-то нас не во что: в школу в матерчатых тапочках всю зиму бегали. Вот наши старшие — мама Рая да мама Маня — и пошли работать. А где работать-то? Это сейчас тут и ткацкая фабрика, и механический завод, а тогда только и было работы, что вагоны на станции разгружать.

— И как это она родить-то тебя смогла, девочка, — вздохнула тетя Рая. — После тех-то мешков…

Все притихли, беззвучно вытирая слезы. Клава обождала немного и спросила:

— А с мамой что случилось?

— Обидели ее, — строго повторила тетя Шура: она вообще выглядела построже остальных. — В ночь пошла — ночью больше платили, — а Рая занемогла, и она одна пошла. А вернулась вся

в синяках. Месяц болела, а потом сказала, что уйдет. Что не житье ей тут, что не может позора снести и уедет отсюда. И уехала. И не писала ни разу, только что деньги регулярно.

— Гордая она была и самостоятельная, — вздохнула тетя Дуся. — Даже деньги без обратного адреса посылала.

— Мы не могли больше, — давясь от слез, сказала Клава. — Вы простите нас.

— А мы присланных денег не тратили, — сказала тетя Рая. — Все нам высылали, не только ты с мамой, а нас тут трое оставалось: я, Дуся да Шура. И Марковна все переводы клала на книжку. А перед смертью волю свою сказала, чтоб все эти деньги отдать внукам, то есть сыновьям и дочерям приемных детей ее. На ученье, сказала. Мол, виновата, не смогла детям образование дать, так чтоб хоть внуки учились. А таких внуков у нее шестеро с тобою вместе: мы ведь знали, что у Мани — девочка. Леня у нас один с образованием, юридический заочно прошел, так он тебе объяснит, как деньги эти получить…

— Нет! — вдруг крикнула Клава и затрясла головой, разбрызгивая слезы. — Нет, нет, нет, ни за что! Это… Это все — на памятник. Бабушке на памятник. Чтоб всех выше, чтоб как пример…

Ее затрясло, забило, новоявленные тетки со всех сторон бросились, обласкали, напоили лекарством, уложили в тихой комнате. Она пригрелась, успокоилась и уснула, потому что в поезде совсем не спала, а только дремала немного. А здесь, в комнате, в которой, может быть, когда-то спала мама, замечательно выспалась, и тетя Рая разбудила ее к столу.

— Вставай, доченька. — И поцеловала, как мама. — Уж все готово, уж собрались, даже этот обормот пришел, Дусин сын. Не иначе чтоб напиться на дармовщинку. Ох, безголовый, ох, хлебнула с ним Дуся!..

В большой комнате, где когда-то спали вповалку «дети» бабки Марковны, за накрытым столом сидели пришедшие и приехавшие. Старших Клава знала, а с молодыми — сыном тети Дуси и дочерью дяди Коли — виделась впервые. Впрочем, не впервые: когда белесый парень лениво бормотнул: «Виктор», она вспомнила крыльцо гостиницы, двоих, что рвались похмелиться, и озабоченность Сергея. Виктор оказался сыном названой сестры ее матери, а значит, родственником и ей, Клаве, и это ощущалось неприятно, хотя она очень жалела тетю Дусю и всячески старалась быть приветливой с ее беспутным

сыночком.

А поминки совсем оказались не похожи на поминки, как их представляла Клавдия. Она ожидала некой вздыхательной скорби и потому накинула темный платок, который везла в подарок бабке Марковне. Но сидевшие за столом, торжественно и строго помянув свою Марковну, начали вспоминать веселое и озорное в их голодном, разутом и раздетом военном детстве. И радостно смеялись и кричали через стол: «Ленька, ты помнишь?.. Люба, а ты знаешь?..», и всем было легко и весело, кроме, может быть, белобрысого Виктора, который молча и жадно пил, тяжело и глупо пьянея. Он сидел наискось, через угол стола, пялился на Клаву, но как-то странно, словно без интереса, и Клаве это было вдвойне неприятно. Особенно когда он спросил:

— А ты чего с этим мильтоном на крыльце стояла? Знакомый он тебе, что ли?

— Знакомый, — с вызовом сказала Клава. — Жених он, вот кто, понятно?

И тут же шепотом суеверно призналась сидевшей рядом Светке, что никакой он, конечно, не жених, но пусть этот противный Витька отвяжется. И Светка все поняла, а потом их послали за капустой и огурцами, и Клава рассказала, как они

с Сергеем познакомились. Света вообще ей сразу понравилась, и она очень обрадовалась, что у нее такая живая, веселая и смелая — Света работала медсестрой в травматологии — сестренка.

Поминки затянулись; расходились разом, по-свойски подсобив все перемыть, убрать, расставить по местам. Клава старательно помогала, где могла, не дожидаясь, пока попросят, думала о Сергее, но сегодня свидание никак не могло состояться. И она, посокрушавшись, отложила это свидание почти на двое суток: до послезавтра, когда он будет свободен. А сама осталась в доме бабки Марковны.

— У нас, Клавочка, девушки по вечерам не ходят.

Приезжие ночевали в родном гнезде, и Клаве пришлось спать с тетей Раей в той комнатке, куда уложили ее перед обедом. И тут как-то так само собой получилось, что она все-все рассказала — и про утерянную сводку, и про умницу Леночку, и про предательницу Наташу, и про несчастную Липатию Аркадьевну, и про саму Людмилу Павловну, и даже про то, какая она подлая, что от ребеночка избавилась, — ну, про все, все решительно, кроме, конечно, слесаря. Вот про него она даже тете Рае не могла рассказать, хоть режьте ее

на куски. Это было так стыдно, так противно, что ей делалось жарко внутри.

— А зачем тебе Москва эта? — спросила тетя Рая. — Во всем доме я одна теперь. Мужа приведешь, и ему места хватит.

— Ой, тетя Рая.

— Что — ой? Замуж выдадим, на свадьбу всех созовем — опять весело. А работа не вопрос. Мы с Шурой не последние ткачихи на фабрике.

— А Липатия? — робко спросила Клава.

— А тетя Дуся на что? Дуся у нас почтой заведует, неужто не поможет? Звони в Москву, пусть собирается. Ты чего не раздеваешься? Спать пора, доченька, завтра спозаранку за труды.

Клава стояла полураздетая, не зная, как поступить со строгим наказом Липатии Аркадьевны. Но все так изменилось, что никакие наказы уже действовать не могли; Клава стащила с себя поясок, вынула из потайного кармашка отпускные деньги и положила на тумбочку:

— Вот, тетя Рая. На расходы.

13

Клава проснулась среди ночи от счастья. Счастье не было сосредоточено в какой-то определенности — это было счастье вообще, им

заполнилась вся комната, весь сияющий дом покойной бабушки Марковны и весь огромный мир за его пределами. Это было одновременно и ощущение счастья и предчувствие его, потому что сама ее жизнь — жизнь Клавы Сомовой — и была этим счастьем, рядом с нею, изредка вздыхая и жуя сухими губами, спала тетя Рая, за дощатой перегородкой слышался мощный храп дяди Коли, а Клава улыбалась в темноту и не вытирала слез, которые ласково ползли по щекам. «Отчего же это? — думала она. — Будто мама рядом и будто никто еще не обижал. Все, все позади, в другом мире, на другой планете. А я — здесь, у меня есть тетя, дядя, и, может быть, я буду называть тетю Раю мамой Раей, если она позволит. А еще в этом мире окажется счастливая Липатия и начнет продавать газеты в стеклянном киоске, а в газетах напечатаны одни только радости, и все говорят: «Спасибо вам, Липатия…» Нет, тут не может быть Липатии Аркадьевны, а есть Евлампия Авдеевна, и люди скажут: «Спасибо вам, Евлампия Авдеевна, за прекрасные новости…» А рядом — Сергей в красивой форме регулирует движение и порядок. И больше не будет пьяных, и будут рождаться здоровые дети, и все женщины станут удивительно красивыми. Дети. Девочки и

мальчики, только девочки обязательно должны рождаться первыми, чтобы помогать маме. Вы думаете, просто вырастить ребенка? Ого-го, еще как непросто, потому-то и рожают еле-еле одного. А у меня будет…

До этого мгновения Клава думала сквозь нежную теплую дрему, в которой все улыбалось и все счастливо путалось. Но, зацепившись за детей, закружилась, завертелась, хотела что-то поймать, что-то додумать и окончательно прогнала тихо подкравшийся сон. И вместо него пришла мысль, такая ясная, что Клава стала еще счастливее, чем была мгновение назад. В самом деле, если первой непременно должна родиться девочка и уже есть тетя Рая и еще несколько теть, то зачем искушать судьбу? Во-первых, мальчик может обогнать девочку и явиться на свет раньше, а во-вторых, когда еще Сережа сделает ей предложение? Куда как проще пойти в детский дом и выбрать себе девочку — только непременно Леночку! — а когда она подрастет, рожать, сколько можно прокормить. Валерика, потом девочку… Ирочку, конечно же — Ирочку! И еще одного — Дениску. И будет у них четверка: Леночка, Валерик, Ирочка и Дениска. И надо успеть их поставить на ноги, пока они с Сережей еще молоды, а тети не

совсем еще старенькие. И еще… Еще завтра же об этом рассказать тете Рае — она поможет выбрать Леночку! — и Сереже. Надо, чтобы всегда была одна мечта, тогда семья — навсегда. И поэтому ничего не надо скрывать, особенно — детишек. А он поймет, потому что веселый. И они вместе пойдут в детский дом. Нет, только не завтра: завтра он дежурит. Послезавтра. Послезавтра, послезавтра, после…

И тут Клава опять уснула, да так крепко, что разбудили ее к завтраку. Тетя Рая уже ушла на работу, а ей велела перетащить свои вещи из гостиницы. Так начался день, и выдался он таким солнечным, ласковым и теплым, какие редко случаются поздней осенью в нашей неласковой стороне.

И все же, как ни хотелось Клаве поскорее перебраться к тете Рае и тем самым начать отсчет своей новой жизни, она не понеслась за вещами сломя голову. Она нагрела воды и неторопливо выскребла весь дом от порожка до последнего сучка в последней стене. Правда, ей помогала Светка, но при этом так боялась за свои пальчики, что Клава держала ее для легких работ — поднести да отнести — и еще для рассказов. Светка послушно таскала ведра и болтала. И только когда все было

отдраено, Клава занялась личными делами.

По дороге в гостиницу Клава зашла на почту, где командовала тетя Дуся. Тетя была очень занята и чем-то озабочена, но тем не менее твердо обещала стеклянную мечту для Липатии.

— Пусть едет, без работы не оставим.

Клава с детства была приучена дотягивать до получки на копейках, а потому по дороге в гостиницу обдумывала, как ей быть. Вчера она заплатила за сутки, но поскольку в гостинице не ночевала и постелью не пользовалась, то и попросила старшую администраторшу вернуть ей деньги. Администраторша с утра была не в духе, начала говорить обидные слова в повышенном тоне, но Клава тихо и спокойно доказывала, зачем же ей платить, если она ночевала совсем в другом месте. Потеряв на этом добрый час и ничего не добившись, она высказала свою точку зрения на справедливость, забрала чемодан и поволокла его на улицу Кирова в отныне свой дом. Ей очень хотелось сообщить все ослепительные новости Сергею (а также насчет поисков в детском доме девочки Леночки), и она некоторое время постояла на крыльце гостиницы — там, где вчера стояла с Сергеем, раздумывая, не зайти ли ей в милицию, но потом решила, что это уж

слишком, что нечего самой бегать и суетиться и что Томка абсолютно права, когда говорит, что их надо томить. И, решив так, потащилась на улицу Кирова.

Там опять варили да парили, потому что сегодня все иногородние уезжали вечерним поездом. Клава бросила чемодан, подвязала фартук и включилась. Настроение у нее было певучим, и все, что касалось ее рук, пело и улыбалось.

— Умница, доченька, — похвалила тетя Рая, забежав попрощаться. — Вот вам молодая хозяйка, а нас с Шурой простите. Митинг на ткацкой, знамя вручают, а я — в президиуме.

И Клава осталась за хозяйку. Не за ту, о которой вспоминают, починив кран: «Эй, хозяйка, погляди работу!», и даже не за хозяйку вечера, принимающую Томку с Липатией, — нет, она осталась полноправной владычицей и дома, и семьи, и дорогих гостей, и традиций, и памяти. Всего, что вмещает в это слово женщина, что чудо как преображает ее, наделяя радушием и властностью, добротой и расчетливостью, достоинством и терпением.

— Тетя Люба, дайте я заменю вам тарелку. Дядя Леня, кажется, вы забыли налить вино. Света, положи отцу капусты, она ведь нравится вам,

правда, дядя Коля? Тетя Зоя, вот огурчики. Чудные огурчики, верно?.. Что с вами, тетя Дуся? — Села рядом, обняла за плечи. — И не ели ничего.

— Не пришел он, видишь, — шепотом, глотая слезы, сказала тетя Дуся. — Ах ты, господи, вот наказанье-то. Думала, хоть сюда придет, на вино польстится.

— Ну и наплевать! — сердито сказала Клава. — Подумаешь, цаца какая, Витька этот. Не маленький, не пропадет.

— Пропадет… — заплакала мать. — Клавочка, милая, он же… Он получку мою украл. Всю, до копеечки, потому и не пришел, пьет где-то. А водка до добра не доведет.

— Украл? Всю получку? Ну, попадись он мне только! Ну, я за него возьмусь! Тетя Дусенька, не горюйте, мы с Сережей…

— Ты милицию не впутывай, — решительно перебила тетя Дуся. — Мы уж сами, по-родственному.

— А я про что? И я — по-родственному, — сказала Клава и помчалась на кухню за вторым.

Потом дружно мыли посуду, а прибравшись, пошли на вокзал, не дождавшись ткачих. Но и без них все прошло замечательно, все распрощались, расцеловались, помахали руками; поезд ушел, и

на перроне остались тетя Дуся и Клава.

— И зачем тебе телефоны эти? — недовольно вздохнула тетя. — Только зря деньги тратить. Лучше письмо написать.

— Очень уж похвастаться хочется, — смущенно улыбнулась Клава. — Ну, кто я была такая? Так, безродная растяпа. А теперь у меня родственников — все обзавидуются! — И она поцеловала новую тетку.

— Ладно уж, лисонька. — Тетка была очень довольна. — Только уговор: своих в милицию не впутывай. Ему до армии полгодочка осталось, зачем же биографию портить?

— Но он ведь украл…

— Не в первый раз, — скорбно поджала губы тетя Дуся. — А дело это семейное.

— Потакаете вы ему, а воспитывать надо строго.

— Отца у него нет, и полгодочка осталось, — умоляюще повторила тетя Дуся. — А в армии исправят. Дисциплина.

— Ладно уж, — вздохнула Клава. — Но дома я ему всыплю. По-семейному!

И побежала на телеграф. Тот самый, от которого намеревались перестраивать город, как от центра, а потом пожалели денег. И современное

здание оказалось среди глухих заборов и одноэтажных домишек за городским парком, уже закрытым на осенне-зимний период.

— Москва после двадцати двух, — сказала телефонистка.

— Так поздно?

— И в течение часа. — Телефонистка не отрывалась от книги, которую читала со вниманием. — Будем оформлять? Телефон в Москве?

Клава собиралась уходить, но требовательное: «Телефон в Москве?» — заставило ее без задержки пробормотать телефон Леночки — один лишь домашний телефон, который она знала.

— Три минуты. Сколько с меня?

Расплатившись, Клава оглянулась. Небольшой зальчик был пуст, только на единственной скамье сидела худенькая востроносая девчонка с распущенными светлыми волосами в куцем, каком-то подростковом пальтишке. Было в ней что-то трогательно перепуганное, и Клава сразу уселась рядом.

— Звонить?

— Жду.

Голос у девчонки был под стать цыплячьему виду: тонкий и дрожащий. Клава ободряюще улыбнулась:

— Ну, что съежилась? Куда звонить собралась?

— Маме.

— Это я сообразила. А куда маме?

— В Москву. Я на практике тут. Третий день.

— Учишься где?

— Страшно, — сказала девчонка и доверчиво взяла Клаву за руку. — Вы меня, пожалуйста, не бросайте. Я раньше не думала, что может быть так страшно.

— Ну-ка, выкинь все из головы, — строго сказала Клава. — Что такое «страшно»? Это только ощущение. Ощущение, и все, как холод или жарища. Ты же можешь в тонких колготках в мороз на танцы пойти? На мужчин и смотреть-то потешно, как укутались, и хоть бы что. Как будто на улице ноль. Скажешь, неправду говорю?

— Хочешь быть красивой — терпи.

— Молодец. Как тебя зовут?

— Лена.

— Как? — Это показалось нарочным, как ложь; Клава решила, что ослышалась.

— Елена. Я в библиотечном учусь, думала, что Пронск — это рядом, всего ночь ехать, а тут ужас какой-то.

— Опять? — совсем как когда-то мама спросила Клава и подумала, что спросила так потому, что

— надо же! — такое совпадение имен. — Я тебе зря, что ли, про мороз рассказывала? И ты верно отреагировала: хочешь быть человеком — терпи.

— Красивой, — поправила некрасивая практикантка.

— Человеком важнее. А еще важнее — глушить в себе всякие ненужные ощущения. Холодище, а ты — в чулочках, и нос кверху. Страшно, а ты — вперед. Вот у меня… — она запнулась, — жених, так он орденом награжден, потому что без всякого оружия задержал бандита. Я — ну, прямо, как ты сейчас! — страшно, говорю? А он: им, говорит, в тысячу раз страшнее, потому что кругом-то люди. Люди кругом, понимаешь, глупышка? Они одни среди людей, и им — жутко страшно, вот и все. Ты пойми это и сразу перестанешь трусить. Ты в библиотечном, говоришь? Интересно? Я жутко книги люблю, и у меня есть, только мало, я на макулатуру выменяла. Ты мне лучше про книжки расскажи, а не про страх.

— А что рассказывать? У нас сейчас — учет и комплектация технической литературы. Уголок рационализатора или там новая техника. Ну, периодика, всякие справочники… Кто это воет так, а?

— Да не трясись ты, вот смешная. Ну, ветер.

Ветер поднялся, понимаешь?

— Девушка! — крикнула телефонистка. — Мама у телефона! Четвертая кабина.

Библиотечная практикантка ринулась в кабину. Сквозь тонкие стенки было слышно, как долго она кричит: «Алло! Мама! Мама! Мама!..» А потом, видно, маму подключили, потому что девчонка сразу ударилась в рев. И Клава очень рассердилась.

— Не реви! — строго крикнула она, подойдя к стеклянным дверям. — Зачем маму пугаешь?

Девчонка отчаянно глянула отсутствующими глазами, но реветь перестала. Клава удовлетворенно вернулась на место, а из кабины неслось:

— Сходи в деканат, упроси, чтоб перевели. Упроси, слышишь! Не могу я тут, не могу! Тут страшно, мама. Тут ужас как страшно, тут в общежитие ломятся…

Клава огорченно подумала, что девчонка — паникерша и дуреха и что придется забрать ее с собой, чтобы пока жила у них. А потом найти Сергея, и пусть-ка он поинтересуется, что это за общежитие и кто в него ломится. Решив так, она встала, намереваясь сказать трусихе, чтобы подождала ее непременно, но тут телефонистка окликнула ее:

— Эй, Москва! В третью кабину иди, там лучше слышно.

Слышно и вправду было отлично, но Клава все равно кричала, потому что три минуты казались совсем уж ничтожным временем и нужно было заглушить Леночкины вопросы и успеть все сказать. И про то, сколько у нее теперь родных, и про то, что она сюда переезжает, и про милиционера Сергея, и про тетю Раю, и про бабушку Марковну, и про то («Господи, самое главное чуть не забыла!»), чтобы Липатия Аркадьевна немедленно собиралась к ней.

— Ты сходи завтра же! — орала она в трубку. — Скажи, что вместе будем жить и что на работу ее берут! При почте у тети Дуси! Пусть поскорее выезжает, я встречу!

Она выпалила все новости с пулеметной быстротой, а время еще оставалось. Клава растерянно передохнула, лихорадочно соображая, что бы такое еще проорать, но Лена спросила весело:

— Кончила вопить? Теперь послушай, а я в поликлинику ходила.

— Зачем?

— А на обследование, поняла? Теперь эти жабы заткнутся!

— Леночка, милая, как же ты могла? — зашеп-

тала в трубку Клава. — Это… это же совестно, Леночка.

— Ну, чего тут совестного, ну, чего? Обыкновенная медицина. Да. А я за правду от Белорусского до Манежа в одних колготках пройду, поняла?

— А я не пройду. Я скорее умру.

— Да я же из принципа!

— И я из принципа. — Клава хотела объяснить, почему ее принцип важнее Леночкиного, но тут телефонистка строго сказала: «Заканчивайте», — и она опять заорала про Липатию, а потом в трубке щелкнуло и связь оборвалась.

— Спасибо, — сказала Клава, подойдя к телефонистке. — Я ничего не должна?

— Уложилась, только орала очень. Зачем? Я же сказала: третья кабина.

— С непривычки. — Клава смущенно улыбнулась и завертела головой. — А где та девочка? Ну, что с мамой…

— Ушла. Ты — в кабину, а она — в дверь.

— Пока! — крикнула Клава.

Она выскочила на улицу и остановилась, оглядываясь. Дул порывистый ветер, шуршал облетевшими листьями, морщил воду в лужах, раскачивал редкие фонари. Они со скрипом мотались на столбах, разбрасывая свет, и в этом

разбросанном свете Клава разглядела людей. Далеко, у парка, где уже кончались дома и начинались глухие заборы, вроде бы мелькнули светлые волосы, и она, не раздумывая, со всех ног бросилась туда.

Двое парней молча тащили за руки девчонку к пролому в заборе, в глухую черноту парка, а двое шли сзади, изредка подталкивая ее в худенькую, дугой выгнутую спину. Пальтишко было расстегнуто, косынка сбилась: девчонка изо всех сил упиралась, но не кричала, а, всхлипывая, бормотала:

— Только не убивайте. Только не убивайте. Только не убивайте.

— Перестать! — задыхаясь, выкрикнула Клава. — Не сметь! Сейчас же!..

Она кого-то с разбегу оттолкнула, парни выпустили девчонку, и та мышонком юркнула за Клавину спину. А парни не побежали, не шевельнулись даже, и Клава поняла, что бежать ей и девчонке нельзя: догонят. Что надо кричать, шуметь, говорить, надо не давать им опомниться, пока они сами не уйдут или кто-нибудь не появится возле телеграфа.

— Что, справились, да? Четверо на одного, да? — лихорадочно и бессвязно выкрикивала

она. — Молодец, Леночка, ничего не бойся. Это они пусть боятся, а ты ори что есть силы. Пусть у них поджилки трясутся, только стой сзади, чтоб не подкрались. И ори, ори, Ленка, есть же люди, их много, а мы с тобой — молодая гвардия, а вы, вы знаете кто? Вы сегодняшние фашисты, вот вы кто…

Сердце Клавы стучало так громко, что его, казалось, могли бы услышать даже в домах, даже за наглухо закрытыми дверьми и окнами, да слишком уж много развелось телевизоров, и они сладко урчали в каждой квартире, заглушая яростный клекот Клавиного сердца. Но она об этом не знала, как не знала и о том, что перепуганная пигалица с именем ее будущей приемной дочери давно уже что есть духу мчится по пустынным улицам, вереща и потея.

— Не бойся, родная, вдвоем мы — силища! — в непонятном торжествующем восторге кричала Клава. — Знаешь, у меня дочку Ленкой зовут, она тоже смелая, как мы с тобой…

А парни не уходили, в настороженном молчании стоя перед нею, и ей уже казалось, что стыд парализовал их, она уже предвкушала победу, потому что во всех фильмах, которые она смотрела, и в тех книжках, которые ей удалось

прочитать, зло всегда терпело сокрушительное поражение и несчастливых концов просто не могло быть. Ветер раскачивал фонарь, лучи света всполошно метались по черной осенней земле, изредка мазком касаясь затаенных лип. И Клава вдруг перестала кричать.

— Смотри, Ленка, — удивленно сказала она, по-прежнему не оглядываясь, чтобы держать в поле зрения всю четверку. — Смотри, это же Витька, сын тети Дуси, мой двоюродный братец. Он сегодня деньги у матери украл, всю получку, это же такая подлость! Ты, Витенька, забыл, что у меня жених милиционер? Ну, мы за тебя возьмемся. У меня свидание с ним, он дежурит сегодня и сейчас сюда на машине приедет. Вот тогда вы запляшете! Тогда ты, Витенька, сразу скажешь, кто тот второй, которого они ищут. Не тот ли, кто с тобой в гостиницу заявился? В шляпе на носу? Ах, вас уже трое осталось, уже бежите! — победно рассмеялась она. — Ничего, никуда не денетесь, я всех вас запомнила. Всех! Так что…

Она ни разу не оглянулась, она твердо верила, что за спиной стоит друг и что спина надежно прикрыта. И именно оттуда, со спины, сзади пришелся удар, коротким грохотом и яркой вспышкой отдавшийся в голове. И наступил

мрак.

Клаву нашли рано утром: милиционер Сергей не успел еще сдать дежурство. Он прибыл вместе с бригадой и, пока фотографировали тело, пока писали протокол осмотра места происшествия да искали следы, молча стоял поодаль. А когда принесли носилки, сказал следователю:

— Я знаю ее, вместе из Москвы ехали. Она из кино, Адой ее зовут.

Короткая рокировка

Лет двадцать назад, бывая на почте, за стеклянным барьером я часто видел хрупкую худенькую женщину. Руки ее всегда были заняты, глаза безостановочно скользили по строчкам бланков и квитанций, и я никогда не видел ее лица. Только ссутуленную спину, выглядевшую щемяще беззащитно, да нежную, длинную и тоже странно беззащитную шею. Я не знал, как ее зовут, да, признаться, и не стремился узнать, но когда она вдруг исчезла, испытал состояние неопределенной тревоги и почему-то столь же неопределенной вины…

Отца Дина помнила смутно. Помнила запах машинного масла и колени, на которых так уютно было засыпать. И еще ей рассказывали, что отец очень любил ловить рыбу, пока сам не попал на крючок. А жили они тогда в Перми.

— Ни в чем он не был виноват, доченька, — горестно вздыхала мама. — Доверчивым был, вот на него все и свалили. И засудили на семь лет как материально ответственного.

Семью поднимала мама. Она работала шве-

ей-мотористкой, денег не хватало, и по ночам мама шила фартуки. И упрямо тащила своих трех девочек, как крестьянская лошаденка тащит нагруженный воз. И Дина до боли, до слез любила маму, старалась помогать и училась изо всех сил.

В школе ей больше всего нравилась историчка Алина Михайловна и — история. Настолько, что она твердо решила после школы идти на исторический и непременно в МГУ, хотя это означало, что маму вместе с сестрами придется временно оставить. Но девочки были уже большими, золотая медаль оказалась вполне достижимой, и Дина отправила документы. Мама не препятствовала, хоть и плакала потихоньку, а Алина Михайловна похвалила за целеустремленность. Правда, Дина лишь спустя время узнала, что Алина Михайловна навестила маму и с глазу на глаз посоветовала не отпускать дочь в Москву.

— Провалится, думаете? А сами хвалили. Усердная, мол.

— Усердная, — согласилась учительница. — И очень способная. Но главное, глубокая она девочка. Глубокая натура.

Мама не очень поняла, что значит «глубокая натура», но догадалась, что дочку хвалят. И об-

радовалась:

— Так это ж хорошо, что глубокая. Меньше глупостей наделает.

— Глупостей она натворит столько же, сколько и все девочки, а вот переживать свои глупости будет не как все. Тяжело переживать будет, а вы — далеко. Ей бы годочка два рядом с вами пожить.

— Ничего, — вздохнула мама, подумав. — Надо самой свою жизнь устраивать, я так считаю. Пусть едет, может, там замуж выйдет. В столице мужчины культурные.

Все было решено, и Дина помчалась в Москву, имея с собой три платья, пару туфель, связанную мамой кофточку и совсем еще модную юбку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук… Ах, как весело стучат колеса, когда тебе восемнадцать!

Однако сшитые мамой платьица и даже почти модная юбка в МГУ смотрелись как-то странно, что поначалу давало много поводов для слез. Но Дина не была бы Диной, если бы не сделала своего вывода. Не усредненно-девичьего, а своего, личного. Она сочиняла стихи, организовывала вечера, никогда не отказывалась от каких бы то ни было поручений, весело ездила на картошку и в стройотряды, и вскоре ее дружно избрали

редактором стенгазеты. Но Дине этого было недостаточно: промучившись месяца три, она в совершенстве постигла технику современных танцев. И на все ее хватало, и ее веселый смех слышал весь университет. Но мало кто знал, что Дина давно урезала свой и без того короткий сон, устроившись на почту разбирать утреннюю корреспонденцию. Заработок был невелик, но этим Дина обеспечивала не только себя, но и раз в два-три месяца умудрялась отправлять посылки в далекий город детства.

Вот каким путем Дина добилась победы в вековечной девичьей схватке за первый ряд. Это требовало величайшей организованности, поскольку приходилось сочетать почту и университет, общественные нагрузки и любимые танцы. И Дина сочетала, не теряя веселой уверенности в себе.

Вероятно, все было правильно: к третьему курсу четверо (и среди них один аспирант, между прочим) объяснились в любви, но Дина любить еще не умела: ей еще предстояло открыть, что любовь состоит не только из смеха и радостей. Она пребывала в состоянии влюбленности и веселилась вовсю, затмевая девчонок на танцульках.

Но все на свете имеет начало и конец, и у Дины

эти концы и начала оказались связанными с падением. Отработав свое время на почте, она по первому морозцу бежала на лекции и поскользнулась. И, несмотря на природную грациозность и отточенную танцами ловкость, грохнулась так, что осталась сидеть на тротуаре, глядя, как распухает щиколотка.

— Дина?

Это был сын Полины Андреевны, заведующей отделом доставки на ее почте. Кажется, его звали Володей и учился он в МАИ…

— Здесь больно? А так?

— Так — ой.

— Немедленно к врачу, тут рядом поликлиника. Ребята, ну-ка помогите.

Остановил трех эфиопов, спешивших в университет. Вчетвером они легко подхватили Дину, отнесли в ближайшую поликлинику.

— Такие ноги надо беречь, — ворчливо заметил врач.

Он был молод, очень серьезен, в словах не чувствовалось пошлости, и Дина начала краснеть. Доктор оказал помощь и велел обождать. А через час вызвал такси, отвез в общежитие и довел до комнаты.

— Я приду через три дня. Ногу постарайтесь не

беспокоить.

— Подождите, ведь я должна за такси…

— Ничего вы не должны. Врач обязан доставлять больного, у нас есть специальная статья расходов.

Дина прекрасно понимала, что никакой статьи нет, но молчала, потому что ей стало удивительно хорошо. И доктор молча топтался у дверей, потому что знал, что она это понимает, и смущался. А потом сказал неожиданно:

— Значит, завтра. В четыре.

И вышел. А она глядела в потолок и улыбалась, пока не пришла соседка по комнате. И Дина немедленно рассказала, какой доктор замечательный, как он смущается, какой он серьезный и наверняка очень талантливый.

Доктор… Пора уже назвать его, как его вскоре начала называть Дина. Так вот, доктор Боря ходил каждый день, сам делал компрессы и массаж, но говорил мало, и Дина трещала за двоих. Болтала, потому что смущалась, ощущая, что все глубже утопает в не очень еще ясном для нее чувстве, а доктор молчал по той же причине. Но когда нога окончательно поправилась, вздохнул.

— Ну вот. Я вам больше не нужен.

— Почему? — Дина покраснела и тут же продол-

жила: — Я думаю… То есть мне кажется, что одной вечером мне ходить нельзя. Например, в кино.

Он улыбнулся, словно осветившись изнутри.

— В шесть часов можете?

На другой день они пошли в кино на какую-то дребедень, но Дине все тогда нравилось. Она с удовольствием заговорила о фильме, но тут же ощутила несогласие за его вежливыми поддакиваниями. Через сутки они опять попали на ерунду и опять по ее выбору, и на этот раз Дина решила промолчать. А доктор Боря улыбнулся и спокойно объяснил, что существует кинематограф развлечения и кинематограф искусства и что на пустые киношки не стоит тратить времени. И Дина, слушая его неторопливую и очень убедительную речь, с восхищением думала, какой же он умница и какая же она счастливица.

— А вообще лучше всего музыка, — сказал он. — На той неделе пойдем в консерваторию.

Тут Дина немного струхнула: она ни разу не была в консерватории, предпочитая самоутверждаться под грохот современных дисков. Но доктор Боря поступил весьма тактично, начав с того, что было, так сказать, на слуху: с Первого концерта и Четвертой симфонии Чайковского. И Дина сидела как завороженная и глотала слезы,

и в тот вечер душа ее распахнулась.

— Музыка — единственный вид искусства, который делает человека благороднее, потому что музыка лишена сомнений, — говорил он после концерта. — Вперед без страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья…

Кажется, в этот миг они впервые поцеловались, и этот поцелуй вызвал в Дине целую бурю. Ей случалось целоваться, но никогда еще поцелуй не творил с нею ничего подобного. Она оглохла и ослепла, она слышала только один голос и видела только одного человека, и тянулась, вся тянулась и льнула к нему, и если бы он сейчас взял ее за руку и повел, она бы пошла за ним на край света.

Но он уже не мог взять ее за руку и увести. Знал, что она покорно пойдет за ним, но воспользоваться этим даже не пытался, потому что опоздал. Дина понравилась ему сразу, он имел опыт общения с девушками, но эта вела себя так, что он с каждым днем все больше боялся ее обидеть. А когда она сама потянулась к нему, он вдруг понял, что влюбился. Незаметно и словно бы нехотя влюбился впервые в жизни и уже не мог, не имел права взять за руку и увести туда, где они окажутся наедине. И вместо этого сказал:

— Знаешь, врачи очень мало получают.

— Что?

— Нет, я не о деньгах, я о другом, совсем о другом.

— Говорите, пожалуйста, говорите.

— Мы переходим на «ты». А поговорить еще успеем. Хорошо?

Дина долго размышляла и о первом поцелуе, и о его последних словах. Что значит «еще успеем»? Он хочет пригласить ее к себе? Это замечательно, только она не пойдет. К любому бы пошла, потому что отвечала за саму себя, а к нему нельзя было идти именно потому, что тут она за себя уже не отвечала. А может быть, он имел в виду ресторан или кафе? Лучше бы ресторан, потому что там Дина могла бы показать все свое искусство. Да, да, конечно же ресторан, тем более что она только вчера получила стипендию, а он сказал, что у врачей маленькая зарплата. Кстати, зачем он так сказал? Может быть, намекал, что им пока нельзя заводить ребенка? Господи, как хорошо жить!..

— В ресторан? — Светлые брови доктора Бори (он был слегка рыжеват) удивленно поползли вверх. — Ну если ты так хочешь.

В ресторане, куда они попали с трудом, возникла некоторая несогласованность. Дине было все равно что есть и пить, потому что она рвалась

танцевать; доктору тоже было все равно, но он рвался поговорить. В конце концов поприсутствовав на площадке только раз, он более из-за стола не вылезал, с удовольствием наблюдая, как танцует Дина. А Дина, которую то и дело приглашали, танцевала только для своего доктора Бори. И все было прекрасно и очень важно, но все же разговор оказался важнее.

— Учился я хорошо, но в московских аспирантурах оставляют только москвичей, а я из Вольска. Там у меня мать живет, а больше никого нет: отец нас бросил, когда я еще в детский сад ходил.

О, как Дина понимала, что значит жить без отца! И хотя Боря ни на что не жаловался, она чувствовала и его тайную боль, и с детства въевшееся ощущение некоторой неполноценности.

— Боренька, я все это пережила, поверь. У меня арестовали отца, когда мне было шесть лет. Обвинили в растрате, он был материально ответственным. Папа вскоре умер, а потом дело пересмотрели и отца признали невиновным…

— Я в себе уверен, понимаешь? — не слыша ее, продолжал доктор Боря. — На все сто процентов уверен, что добьюсь. Не желаете пускать меня в столицу? Пожалуйста, я найду другой путь. Собственный.

— Вперед без страха и сомненья…

— Да! Я уже подал документы и… Но об этом еще рано. Будут перемены, будут, веришь? У меня хорошая голова, отличные руки, я давно изучаю английский: неужели зарывать все это в землю? Неужели мой удел выписывать больничные листы и выслушивать жалобы пенсионеров? Нет, у каждого свой шанс в жизни, и важно его не упустить.

Тогда, в ресторане, было положено начало откровению: он возвращался к этой теме, толкуя о больших переменах, которые его ожидают. Он начинал подобные разговоры по любому поводу, точно пытался заглушить слишком уж натянутую струну в душе своей. Дина понимала, что ее любимый глубоко уязвлен, и всячески поддерживала идею о прекрасных перспективах, полагая, что сама надежда на перспективы компенсирует смятение его души. И он был безмерно благодарен ей и все говорил, говорил…

Они встречались теперь каждый вечер, и Дина очень скоро поняла, что вполне может обойтись без стенной газеты и даже без танцев. Правда, от нагрузок ее никто не освобождал, но она все стала выполнять поспешно и далеко не с прежним азартом. И только по-прежнему по утрам бегала

на почту, где к ней давно уже привыкли.

Двадцать третьего февраля она подарила ему кожаные перчатки: он был очень растроган. Восьмого марта им встретиться не пришлось, так как доктор дежурил, и увиделись они только через два дня.

— Прости, но я ничего не могу тебе подарить. До праздников были невозможные очереди, а сейчас в магазинах — хоть шаром покати.

— Ну что ты, Боренька, какие мелочи.

Но как раз мелочи и ранят больнее всего, потому что им нет оправдания. И Дина была удивлена и обижена и не смогла этого скрыть. Хотя очень старалась. Он почувствовал, каким напряженным стал ее голос, забормотал что-то беспомощное, отчаянно глупое; Дина почти по-матерински грустно улыбнулась и неожиданно поцеловала его прямо у входа в метро.

— Дина, — потрясенно зашептал он. — Диночка, я… Я прошу тебя стать моей женой.

Дина с каким-то непонятным ему страхом в упор глядела на него. Доктор смутился, завздыхал, затоптался, и это неуклюжее его топтанье, эта вдруг прорвавшаяся робость теплой волной обдала Дину.

— Эх ты, Борька, Боренька, зачем же так шу-

тить?

— Не веришь? — закричал он, сжав ее плечи. — Не веришь, да, не веришь мне? Такси! Такси!..

Он запихнул ее в машину, и они помчались прямиком во Дворец бракосочетания. Он молчал всю дорогу и обиженно хмурился, а Дина обмирала от счастья и страха. Так они и прибыли, так и подали заявление, так и вышли из Дворца.

— Ну вот. — Он улыбнулся. — Тебя только штурмом и можно…

А Дина разрыдалась. Она ревела громко и отчаянно, схватив его за отвороты пальто и тычась лбом в грудь. Ревела от невыносимого счастья, которое уже не умещалось в ней.

— Я люблю тебя. Боже, как я люблю тебя!..

— Прекрати, — строго сказал он. — Все должно быть как завещано сказками.

И все было как завещано сказками. Жаркие поцелуи и трудные расставания. Полуночный шепот с подружками в общежитии. Длинные письма маме, и мамины слезы в далекой Перми. Девичья суматоха по поводу белого платья, которое покупалось всем курсом в складчину. И поход делегации к ректору с просьбой разрешить отпраздновать свадьбу в общежитии, поскольку ни жених, ни невеста не имели собственного угла.

Доктор Боря принимал деятельное участие во всей этой суете. Стремился каждую минутку быть рядом и, едва закончив прием, мчался на свидание. За три дня до свадьбы купил обручальные кольца, но выглядел столь мрачным, что Дина встревожилась.

— Что-нибудь с мамой?

— Нет, нет, все в порядке.

— На тебе лица нет, Боренька.

— Все в порядке, — с ноткой раздражения повторил он. — Извини, я сегодня должен уйти пораньше, а завтра дежурю, так что…

Обеспокоенная Дина все рассказала в общежитии. Но всезнающие подружки весело успокоили:

— Нормальная мужская реакция. Твой Боря прощается с холостяцкой свободой, только и всего.

Наверное, они были правы, потому что доктор, появившись через сутки, не отходил от нее ни на шаг. Только был задумчив, тяжело и часто вздыхал. «Прощается, — думала Дина. — Ах ты, глупенький, да разве я стану покушаться на твою свободу?» Но ничего не говорила, потому что все шло как надо, и даже внезапная мрачность жениха легко и просто объяснялась всеми посвя-

щенными:

— Это девушки перед свадьбой плачут, а мужчины мрачнеют.

Дина не плакала, а радовалась и с жадным нетерпением ждала двух часов июньской субботы, на которые была назначена регистрация. Но встретиться решили в двенадцать в сквере у Большого театра. И без пятнадцати двенадцать сияющая и очень похорошевшая Дина появилась там в подвенечном наряде с целой свитой друзей и подружек. Растроганные пенсионеры уступили скамейку; невесту усадили в центре, и девочки весело и чуть завистливо щебетали вокруг.

В двенадцать он не пришел.

Зато пришли ребята с параллельных потоков, и все принялись еще больше шутить и смеяться. Только стали чаще поглядывать на часы. И Дина тоже смеялась, но уже чуть напряженнее.

Он не пришел и в час.

Шутили уже не все, но все еще улыбались. Даже невеста. А в половине второго троих отрядили во Дворец, поскольку кто-то предположил, что жених мог по рассеянности все перепутать.

Не появился он и в два.

В три они перестали шутить и молча просидели еще почти два часа. А потом Дина вдруг вскочила

и помчалась в метро.

— Где Борис? — удивленно воззрился на нее главврач поликлиники. — Наверное, к Индии подлетает. Он ведь давно подал документы, а оформили его три дня назад. Знаете, как у нас бывает? То ждешь месяцами, то — вылетайте немедленно.

А ведь он и вправду уже любил ее. Нет, нет, в нем ничего не было от классического Подколесина, он не сбежал от своей суженой. Он просто улетел к новому месту работы, которого так долго добивался и куда его так долго оформляли. Оформили одного, свободного, холостого, и доктор Боря провел тяжкую ночь. Что делать: отказаться от мечты или от любви? Сказать Дине, что уедет сейчас, а она оформится потом, после университета? А оформят ли ее? И как это скажется на его судьбе? Что он знает о ее родных, кроме того, что ее отец был осужден?..

Он не дежурил за два дня до свадьбы: он считал. Взвешивал все «за» и «против», все плюсы и минусы и явился за сутки к невесте, уже имея билет до Калькутты.

Не знаю, где и что именно она достала и сколько выпила, но спасли ее с трудом. Месяца два лежала в больнице, полгода в психиатрической лечеб-

нице. Потом выписали, но ни в университет, ни к матери в Пермь она не вернулась. Она вообще пропала или, точнее, почти пропала. Как ей такое могло прийти в голову, что она вытворяла еще добрых полгода, трудно понять. Это все зародилось, напридумывалось, а затем и окончательно вызрело в том страшном внутреннем одиночестве и в той страшной нечеловеческой обиде, которую никакие таблетки так и не смогли в ней загасить — ни те, которыми она травилась, ни те, которыми ее спасали. Отчаянно любила, отчаянно верила, отчаянно ждала — и само отчаяние ее оказалось невероятным, почти запредельным отчаянием. И в этом запредельном отчаянии Дине мерещилось то, что хоть в какой-то степени стояло вровень с ее обидой: месть. Не конкретная месть конкретному человеку, а месть всем мужчинам, всей жизни, всему счастью и себе самой в первую очередь. И с этой единственной задачей, с этой всепоглощающей страстью она и вышла из больницы. Вышла как бы на второй этап, на второй круг самоуничтожения с той лишь разницей, что если на первом круге она пыталась уничтожить себя, то теперь всеми силами уничтожала собственную душу. Умница и хохотушка, скромная девочка из далекой провинции исчезла сразу,

будто ее и не было, будто не училась она в МГУ, шутя отвечая на одни пятерки. Прежняя Дина ушла навсегда; в ее хрупком, ставшем еще более стройным теле растворилась одна и выкристаллизовалась совершенно иная женщина, которую куда больше знали по многообещающему прозвищу Динамит. Динамит обладал не только взрывчатой страстью, но и язвительным умом, капризной фантазией и бешеной энергией, что очень быстро снискало ей загадочную славу.

— Приходи обязательно, Динамит будет.

— Динамит привезти обещали…

— Динамит приведут…

— Динамит…

Присутствие Дины в компаниях — а она ежедневно кочевала из дома в дом и из шума в шум, и никто не знал, где и у кого она спит, — гарантировало не только отчаянное веселье. Динамит обеспечивал взрыв или, как минимум, волнующее ожидание этого взрыва: кто-то окажется брошенным, а кто-то — найденным; кого-то с кем-то непременно поссорят; любовь затмится приступом ревности, верность — приступом страсти, дружба — приступом зависти. И над недавней гармонией, над новыми врагами, свежими ссорами, слезами, истериками и упреками

будет зло торжествовать хрупкая, гибкая и загадочно пугающая совсем еще юная женщина с прекрасными глазами.

— Честно предупреждаю, что добра от меня не ждите!

Тогда было все. Дина курила, пила что придется, меняла мужчин, жила на кофе, соках да наспех проглоченных бутербродах. Она изо всех сил губила себя, но пламя, сжигавшее ее изнутри, было куда мощнее всех доступных средств выключения памяти: Динамит никак не мог избавиться от взрывателя, заложенного в нем самом.

Так продолжалось полгода. С февраля по май Дина жила, путая день с ночью, кочуя из дома в дом. Но при всем безумстве этой назло себе самой сочиненной жизни она никогда не забывала о матери и — правда, очень редко — писала письма. В письмах Дина была счастлива, весела, заботлива и скромна. В них она по-прежнему отлично училась, в них ей предлагали аспирантуру, в них она любила «одного человека», а он, естественно, носил ее на руках. Мама оставалась последним сокровищем в мире, последней святыней в бездне, в которую по собственной воле бросилась Дина, и должна была оставаться такой навсегда: вечной, как икона.

Но письма писать было трудно, неимоверно трудно, и чем дальше, тем трудней. Дина страдала над каждым словом, мучительно поддерживая легкую интонацию и еще более мучительно презирая себя. В конце концов должен был наступить кризис; Дина ощущала приближение этого рубежа, знала, что он неминуем, но ждала почти спокойно.

— Мне всегда дико везло в июне, — усмехалась она.

Вот в июне она и распоясалась вовсю. Хохотала, острила, залпом пила, курила сигарету за сигаретой. Уже кто-то шепотом выяснял отношения, уже в голос рыдала какая-то обиженная, уже многие перестали понимать, что происходит, а Динамит помнил, что было когда-то в этом месяце, и всеми силами глушил в себе боль. Но бикфордов шнур уже тлел, и взрыв был неотвратим.

— Дина?..

То, что ее назвали по имени, не было чем-то необычным — необычно прозвучала интонация. Она позвала ее оттуда, с того берега, из той жизни, гибель которой Дина отмечала сегодня с таким вызывающим отчаянием.

— Дина, ты меня не узнаешь? Я Володя, сын Полины Андреевны с почты. Я МАИ закончил…

— Да, да, — автоматически, не глядя, пробормотала она.

— Не вспомнила, — вздохнул Владимир. — А как упала и ногу растянула? Кто тебе тогда первую помощь оказал?

Дина молча отстранила его и пошла из комнаты. Вид у нее был такой, что никто не попытался заговорить с нею. Наступила растерянная тишина, всем было чуточку неуютно; хозяин и хозяйка убирали какие-то осколки, и хозяйка зло шипела:

— Говорила же, прячь приличные вещи, когда Динамит привозят.

Авиационный инженер был далек от компаний, куда привозили Динамит. Он попал сюда случайно, через знакомых, и не один, а — «с нею»: серьезной такой девушкой, сумевшей увидеть и оценить многое.

— А где она?

В наступившей паузе Владимир опомнился первым. Дверь в ванную оказалась запертой, но на крики «Дина, открой!» никто не отзывался. С третьего рывка задвижка вылетела вместе с шурупами, Владимир ввалился в ванную и сразу увидел Дину, лежавшую без сознания в розовой от крови воде.

— «Скорую»!

И опять — больницы, больницы. Но как в первой, где сшивали вены и переливали кровь, так и во второй, где лечили обнаженную психику, Дину уже не оставляли в одиночестве. То Владимир, то его подружка, будущий переводчик Иринка, то Полина Андреевна из знакомого отделения связи приходили, кормили, разговаривали, несли книги, ягоды, журналы и — цветы. Обязательно приносили цветы, которые Дина сначала просто не замечала, но которые в результате и поставили ее на ноги лучше всяких лекарств.

— Володя, ты — изумительный психолог, — объявила Иринка, потому что именно Владимир настаивал на цветах.

Дина лежала в больнице настолько долго, что в конце концов ей пришлось еще на койке поздравлять молодых. Она очень хотела улыбнуться им — и улыбнулась, но одними губами. Удивительные глаза ее, ставшие еще бездоннее, более уже не подчинялись ее желаниям. Мертвое окоченение поселилось в них навсегда.

— За мной подарок, молодожены. Вот выпишут…

— Нет уж, гони сейчас, — улыбнулся Владимир. — Напиши в Пермь. Пожалуйста.

— Стоит ли, конструктор?

— Надо, понимаешь? Очень надо.

Через несколько дней в далекую Пермь полетело письмо:

«Дорогие мои, здравствуйте!

Мамочка, прости свою непутевую дочку, что давно не писала. Делала диплом, приходилось с утра до вечера торчать в библиотеке. Зато теперь все позади: я закончила свое образование. А знаешь, на какую тему я защитила диплом? “Честь, достоинство и благородство в личных отношениях”. Тема, конечно, не новая, но каждое поколение открывает ее законы на собственном опыте. К сожалению, наш язык при всем его богатстве во взаимоотношениях женщины и мужчины становится чрезвычайно маловыразительным, начиная оперировать одним глаголом и одним существительным: “любить” и “любовь”. Вот здесь-то и таится завтрашнее предательство, ибо у женщины и мужчины разные представления, а главное, разные мечты связаны с самой сущностью любви. То, что для женщины — основа судьбы, символ самой будущности, а порою и единственное представление о счастье, для мужчины чаще всего есть лишь мимолетное влечение, азарт, нечто вроде игры или спорта и,

как максимум, — утоление страсти. Я доказывала в своем дипломе, что на свете нет и не может быть ни одной необманутой женщины, что в той или иной степени ее доверчивостью непременно же кто-то воспользовался, кто-то наобещал не словами, так ухаживанием своим, которое порою красноречивее слов, а что есть неисполнение обещания, как не обман, как не стремление удовлетворить свое тщеславие, потешить свою гордость, утолить страсть. Вот на каком перекрестке решительно расходятся представления женщин и мужчин, вот где расстаются они если не физически, то духовно, вот откуда тянутся нити женских трагедий. Здесь кончается всякое равенство, ибо никакая культура, никакие блага цивилизации не способны изменить сущность женщины, а сущность ее — безграничное доверие, за гранью которого женщина беспомощна и беззащитна, как сама Земля, отдающая себя любому проблеску зари...»

Все письмо вопило от боли, но ни мама, ни соседки, ни даже повзрослевшие сестры не обратили на этот вопль внимания. Главной радостью было, что Диночка не просто жива и здорова, но наконец-то закончила университет, первой в их семье получила высшее образование, и теперь

все позади. Только Инна, средняя, самая опытная, сказала:

— Знаешь, мам, у Динки кто-то есть. И это совсем не тот Борис, о котором она писала.

— Ну и слава богу, — улыбалась мать. — Это же и хорошо, что есть, это же и положено. Ты ответь, Инночка, поздравь, только не пиши, что бабушка померла. Не огорчай.

— Ладно. — Инна была в хмурых размышлениях, весьма близких к прозорливости. — И знаешь, мам, обожглась она. У меня такое чувство, что не столько у Динки есть, сколько у нее было.

Сестра вновь принялась изучать письмо, но если при первом чтении в ней сработала женская интуиция, то теперь она погрязла в малознакомых понятиях, утратила ощущение горя, пережитого старшей сестрой, и подвергла сомнению только факты: в конце письма Дина сообщала, что ее отправляют на закрытую трехмесячную стажировку, откуда писать будет невозможно.

— Это же что за стажировка, с которой писать нельзя? — допытывалась Инна у младшей, у Лоры. — Знаешь, Лорка, как такая стажировка называется? Роды, поняла? Тот самый диплом, который все девчонки получают в собственные ручки.

— Да иди ты, — говорила спокойная, улыбчивая Лора. — За границу ее посылают, вот и все. А сообщать об этом не велели.

Неизвестно, чем бы закончились размышления Инны, но, на Динино счастье, сама Инна стояла на перекрестке, пока еще рука об руку со своим парнем, и шагать в одиночестве по другой дороге не собиралась. И ответила коротко и ясно, как просила мама.

Кончалось лето, Дину перевели в санаторное отделение, разрешили гулять, и она гуляла по больничному саду. Собственного платья у нее не было, а где ее вещи, она говорить отказывалась, и лечащий врач перестала допытываться.

— Не хочет вспоминать — уже хорошо. Однако вскоре предстоит выписка, так что, Владимир, подумайте.

Владимир подумал, посоветовался с молодой женой и собственной матерью, а потом пришел в отделение связи. Начальница Галина Антоновна была новой, Дину не знала, но все поняла:

— Берем.

Через день все отделение ринулось в магазины. Две недели спорили, доводили до исступления продавщиц, плакали, ссорились и мирились, но в конце концов все было куплено на ту сумму,

которую собрали, да премиальные, что совершенно уж неведомыми путями вышибла Галина Антоновна. Теперь можно было объявить Дине о предстоящей выписке. Лечащий врач пригласила для этого наиболее частых посетителей и — «коллегу», как она порой именовала авиационного инженера. Услышав, что она практически здорова, Дина побледнела, будто ей прочли приговор.

— Напрасно я маме о командировке написала.

— И вовсе не напрасно, — ворчливо сказала Полина Андреевна. — Работа тебя дожидается, а жить у меня будешь. Мой сыночек вон к любимой теще от родной матери сбежал.

— Мама…

— Володя, выйди, — решительно скомандовала Ирина, а когда он удалился, открыла чемодан. — Ну, Дина, давай одеваться.

Дина молча смотрела на врача, на добродушную Полину Андреевну, на Ирину. Потом ласково провела пальцами по одежде, которую разложила Ирина, и хотя пальцы заметно дрожали, голос остался ровным, глухим и бесцветным:

— Спасибо.

Так начался третий этап ее жизни — ровный, глухой и бесцветный. Все делалось точно и тщательно, настроение всегда было одинаковым,

отношения со всеми — спокойно-отсутствующими. Дома она старалась делать все, что могла, и комната, в которой жили они вместе с Полиной Андреевной, пугала почти неживой стерильностью.

— Не улыбается! — поражались в отделении связи.

— Зареветь она должна, а не улыбаться, — говорила Галина Антоновна.

А Полину Андреевну пугало в Дине иное: послушность. Беспредельная послушность автомата казалась ей куда страшнее и отсутствия улыбок, и отсутствия слез. Что бы она ни сказала, Дина исполняла немедленно. Несколько раз она нарочно провоцировала Дину на бунт, отдавая те приказания, которые женщины абсолютно не выносят: что надеть, в чем пойти. Но и эти полураспоряжения-полурекомендации Дина воспринимала безропотно.

— Надо ее расшевелить, — категорически объявила теща Владимира, которую Полина Андреевна не очень почтительно именовала профессоршей.

— Понимаешь, Дина, бывают женщины, про которых говорят: «У нее муж — генерал», а бывают просто генеральши. Вот так и моя свояченица

— просто профессорша.

— Ира, Володя, попробуйте воздействовать искусством, — советовала профессорша.

Дина теперь читала немного и как-то поверхностно… Она не отказывалась ни от театра, ни от кино, но от концертов, а тем паче от консерватории отказалась наотрез. «Бесстрастность, — поставил диагноз Владимир. — Будем ждать, время лечит». Наверно, он был прав, но время лечило огорчительно неторопливо.

Впрочем, одна страсть постепенно оживала в сумеречной душе: письма. Начав писать их, Дина и не заметила, как стал меняться и тон, и содержание, и сама манера ее писем. Как наступил момент, когда ей захотелось получать ответы, и она тут же отменила свою таинственную стажировку, сообщив в Пермь тот адрес, по которому ныне проживала. И полетели конверты в обе стороны если и не очень часто, то, во всяком случае, с небывалой прежде аккуратностью.

Медленно, нерешительно, а порою и нелогично пробуждалась в Дине вторая жизнь: жизнь для мамы и сестер, жизнь в письмах. Там, на листках почтовой бумаги, постепенно оживала и начинала действовать совсем иная Дина — не та, которая существовала в действительности, а та, о которой

мечтала или могла бы мечтать мама. Эту Дину очень ценили на работе, только работа была иной, хотя новые сослуживицы в точности напоминали почтовых служащих: даже имена Дина не меняла. И Галина Антоновна превратилась в доктора наук, а Полина Андреевна — в кандидата и непосредственного руководителя диссертации самой Дины. И все остальные — Нина Ивановна и Зоя, Анна Тимофеевна и Тамара — зажили вместе с Диной совершенно в ином качестве, оказавшись историками и искусствоведами, научными сотрудниками и аспирантами. Этим Дина придавала своим письмам абсолютную достоверность, поскольку с удовольствием и благодарностью возводила на пьедестал реально существующих женщин. Мама с восторгом читала ее письма всем знакомым, и даже недоверчивая Инна отреклась от прежних сомнений.

— Бери пример с Динки, — объявила она младшей. — Поезжай в Москву, она тебя уму-разуму научит.

— А мне и здесь неплохо, — безмятежно улыбалась Лора.

Жизнь молодой женщины развивается по законам естества, даже если эта жизнь и существует только в письмах. Как Земля ни на мгновение

не забывает о силе собственного притяжения, дабы не погубить жизнь, так и женщина не в состоянии исключить любовь из своей судьбы. Про любовь, про «личную жизнь» расспрашивала мама, и Дине ничего не оставалось, как — сначала вскользь, походя — начать упоминать о «нем». Этот «он» тоже был обречен на развитие от письма к письму и постепенно становился все более похожим на сына Полины Андреевны. А потому вдруг — Дина и сама не могла понять, как это произошло, — «он» сделал ей предложение и окончательно превратился в доктора Владимира. В доктора, а не инженера — это было единственной поправкой Дины.

Все начинается сначала, и незаметно для себя Дина сделала первый шаг во вполне определенном направлении. Она уже посадила зернышко в подготовленную почву: теперь это зернышко проросло, и Дина не столько понимала, сколько предчувствовала, что лавина вот-вот сдвинется с места, как предчувствовала когда-то горение бикфордова шнура. Конечно, еще была возможность поссориться с «ним», но у Дины уже не было сил реализовать эту возможность. Оказалось, что любить и быть любимой — пусть только в письмах, для себя, для мамы и сестер! — так мучительно

прекрасно, что расстаться с этим нисколько не легче, чем в жизни, а может быть, даже труднее, ибо эта придуманная любовь оказалась единственной отдушиной в том каземате, в котором заточила Дину ее судьба.

Лавина сдвинулась, и через четыре письма Дина весело вышла замуж. «У нас трехкомнатная квартира, — писала она. — Комнаты, правда, небольшие, но планировка удивительно уютная. В передней — встроенные шкафы…»

Даже теперь она ничего не сочиняла, в деталях описывая квартиру Ирины и Владимира, где Дине случалось бывать. Эпистолярный жанр требовал максимального правдоподобия, и Дина не скупилась на детали. И это трехкомнатное семейное гнездышко привело к тому, что лавина со всей мощью сорвалась на бесхитростную фантазию, незаметно переросшую в хрупкую мечту.

— Дина, телеграмма! Мама твоя в гости едет. Поезд восемьдесят семь, вагон четырнадцать…

Темнота тоже обладает способностью вспыхивать: во всяком случае, Дина ощутила вспышку, прежде чем упасть. Очнулась уже в постели, увидела плачущую Полину Андреевну, Иринку, Владимира и вновь крепко зажмурилась. Ей стало страшно, так безнадежно страшно, что опять

захотелось умереть, уйти от боли, тоски и тревог. И упрямо молчала, а заговорила только вечером, когда ушла Ирина.

— Я улетаю. В Пермь. Возьмите билет на завтрашний рейс.

— Зачем же улетать, когда к тебе мама выезжает? — плачуще удивилась Полина Андреевна. — Что, у нас на троих места не хватит, что ли? Ну поспишь пока на раскладушке…

— Подожди, мама, — сказал Владимир.

Он пристально наблюдал за Диной. Что-то понял, о чем-то догадался: он и вправду был неплохим психологом.

— Ты не хочешь встречаться с мамой в Москве?

— Убейте меня! — вдруг хрипло выкрикнула Дина. — Или хотя бы телеграмму дайте, что я умерла. Умерла, слышите? Сдохла, под машину угодила, в окно выбросилась!

— А ну, успокойся. — Владимир взял Дину за руки, встряхнул. — И давай разбираться. Чего ты боишься? Прошлого? Но это же ерунда, Дина, все позади, да и мама твоя никогда ничего не узнает. Ну, что ты молчишь? Что молчишь, спрашиваю?

— Я — твоя жена! — с надрывом расхохоталась Дина. — Твоя законная, у нас — трехкомнатная

квартира, я учусь в аспирантуре, а она, — вздрагивающий палец уперся в Полину Андреевну, — старший научный сотрудник, кандидат наук и руководитель моей диссертации. Ты все понял теперь, доктор?

— Дела… — растерянно протянул Владимир. Помолчал, улыбнулся. — А ребенка у нас еще нет?

— Что?

Дина не столько выдохлась, сколько удивилась. Он не дал ей опомниться.

— Значит, моя мама — ученый, так? А кто я, кроме того, что медицинское светило и твой муж? Я не из любопытства, я хочу понять, чтоб сообразить, где выход. Сейчас возьму бумагу и ручку, и мы с тобой нарисуем, кто есть кто.

— Я врала, — устало призналась Дина.

— Значит, не кто есть кто, а кто стал кем, — сказал он. — Только ты не врала, ты выдумывала во спасение. Значит, ты ничего не разрушала, а создавала.

— Воздушные замки?

— Лабиринт. В результате образовался лабиринт, а чтобы найти, как из него выбраться, надо знать схему. Вот и давай разбираться.

Разбирались весь вечер. Дина часто срывалась, то разряжаясь в сумбурных выкриках, то

погружаясь в угрюмое молчание. Владимир успокаивал, менял разговор, давал возможность отдохнуть. Вскоре картина сотворенного Диной «лабиринта» стала ему ясна; он увел мать на кухню и сказал:

— Глаз с нее не спускай, товарищ научный руководитель. Ясно?

— А что с ее матерью будет, когда узнает все?

— Понимаешь, мне бы как-то Иринку уломать, — задумчиво сказал сын. — И тещу. И еще кое-кого.

— Что значит уломать? В чем уламывать-то?

— А я и сам еще не все понимаю, — признался он, поцеловал мать и уехал к себе, в профессорскую трехкомнатную квартиру.

Пока ехал, рассчитывал время: если мать Дины только 9-го выезжает из Перми, как значилось в телеграмме, то в запасе имелась неделя. Это вполне достаточный срок, чтобы… А вот что означало это «чтобы», Владимир не решался признаться самому себе. Пока ему было ясно одно: Дина боится, что удар, который ожидает ее усталую, загнанную во множество болезней ранним вдовством и многими трудами мать, окажется той не по силам. Больше стыда, угрызений совести, больше всего на свете Дину беспокоило

материнское сердце.

— Господи, ну зачем же так завираться! — возмутилась Ирина.

— Она не завралась, она замечталась. — Владимир грустно улыбнулся. — Хотела как лучше, а остановиться не смогла.

— Клинический случай!

— Здесь не клиника, здесь сверхнормативная потребность в компенсации. Дина делает все возможное и невозможное, чтобы не огорчать тех, кого любит.

— Ну, невозможного тут куда больше.

— Уж что-что, а перебор ее натуре свойствен изначально. Слишком много личности. — Он помолчал, походил по кухне. Подошел, обнял. — Ты уступишь меня этой личности?

— Что означает в данном случае глагол «уступать»?

— Три, от силы четыре дня в нашей квартире поживет Дина.

— Вместо меня? — Она высвободилась из его рук.

— Вместо тебя никого быть не может.

— А вместо моей мамы?

— А вот вместо твоей мамы те же три-четыре дня поживет ее мама. И ты, именно ты растолку-

ешь своей матери, почему ей придется временно переменить адрес.

— Например?

— Например, переехать к моей маме.

Ирина начала молча ходить по кухне, недовольно хмурясь. Владимир бродил тоже, и они все время сталкивались.

— Ты аферист, Владимир.

— Возможно. Я должен во что бы то ни стало оградить от травм одно больное сердце и одну весьма травмированную психику.

— Я не сильная личность, и поэтому я больше трех дней не выдержу. Завтра же купишь билет в Пермь с учетом трехдневного визита.

— Ирка!

Они опять столкнулись, и он воспользовался этим, чтобы обнять ее. Но Ирина вырвалась довольно решительно.

— Что бы ты делал, если бы был жив мой папа… Да, а где ты намерен спать?

— В первую ночь Дина не сможет расстаться с матерью, что вполне естественно. Во вторую у меня дежурство.

— Какое еще дежурство, болтун?

— У тебя, естественно. Ну а в третью ночь ты организуешь мне срочный вызов. Куда угодно.

— Уж это-то я тебе гарантирую!

Они восторженно поцеловались и пошли в свою комнату, боясь оторваться друг от друга.

Ирина легко уговорила мать: профессорша загорелась необычностью ситуации. Посоветовала убрать вещи, которые не могут принадлежать молодым, напомнив, что женщины вообще, а пожилые в особенности обладают повышенной любознательностью, наблюдательностью и сообразительностью.

— Потрясающе интересно! А если кто-нибудь пожалует в гости?

— Возьми записную книжку и обзвони всех своих приятельниц. Я сделаю то же самое с нашими друзьями.

— Какая захватывающая история! — Профессорша крепко потерла руки, точно готовясь ухватить эту историю. — Нет, что ни говори, а наш Владимир — благороднейший человек.

Благороднейшуму человеку пришлось труднее. Он легко убедил Галину Антоновну дать Дине четыре дня за свой счет и, окрыленный успехом, помчался к Дине.

— Напрасно суетитесь.

Со времени получения телеграммы Дина либо молча курила на кухне, либо молча лежала

на диване. Покладистость ее вдруг сменилась агрессивностью, даже голос стал грубым: она опять никого не замечала, а если замечала, то ненавидела.

— Дина, давай попробуем обсудить спокойно. — Владимир умел с нею разговаривать. — Ты ведь не хотела обманывать маму, ты хотела только уберечь ее от волнений, правда? Так будь последовательной: от тебя и от нас требуется совсем немного. Требуется убедить твою маму, что ей нечего за тебя беспокоиться. Есть отдельная квартира, есть ты, есть я.

— Тебя нет. Это фикция. Мираж в пустыне.

— У твоей матери больное сердце. Ты сама говорила.

— Ты доктор? — Дина впервые посмотрела ему в глаза. — Строй свои самолеты и не лезь в медицину.

— А у тебя в запасе — иной вариант?

— Телеграмма: «Дина скоропостижно скончалась коллектив выражает соболезнование».

— И что будет с мамой, представляешь?

— Это не твоя забота.

— Инфаркт. Хоть я и не врач, а авиаконструктор, в этом можешь не сомневаться.

Дина промолчала. Владимир успел обрадовать-

ся, что заставил ее задуматься, но не успел ничего сказать.

— Допустим. — Дина смотрела куда-то мимо. — Могу изложить два щадящих варианта. Телеграмма: «Дина уехала в длительную командировку».

— Вдруг? Кто же поверит в эту телеграмму?

— Еще раз допустим. Второй вариант: я вылетаю в Пермь.

— Этот вариант мы уже обсуждали и, если помнишь, пришли к выводу, что он бесперспективен. Не навещать родных столько лет…

— Я валялась в психиатричке. Ты это отлично знаешь.

— Да, но они не знают! И вдруг стоило матери захотеть навестить дочь, как эта дочь летит в Пермь. Нормально?

— Я — ненормальная.

— И ты это выложишь маме у трапа самолета? Дина не ответила. По неподвижному лицу скользнула тень то ли тревоги, то ли озабоченности. И опять Владимир не успел ничего сказать, как она поднялась с дивана.

— Я должна это перекурить.

Шаркая ногами, прошла на кухню, где тайком плакала Полина Андреевна, страдавшая от нераз-

решимости проблемы.

— Ступайте в комнату, тетя Поля, нечего дым глотать.

Она называла ее тетей, еще когда студенткой бегала на свои почтовые приработки. Но, выйдя из больницы, забыла об этом, называла только по имени и отчеству, а теперь вдруг вернулась к тем далеким временам. И, наверно, поэтому Полина Андреевна поспешно вышла в комнату, где остался сын.

— Ты должна ее уговорить на трехдневную рокировку. Я уже пробил брешь, а тебя она послушает.

— Сынок, не обманывайся. И ее не обманывай. Пожалей ее, она ведь не выдержит.

— Значит, по-твоему, вообще нет выхода?

— Почему же? Есть: правду говорить. Всегда самый верный выход — говорить правду.

— Но ведь это жестоко! — он почти закричал, но вовремя опомнился. — Жестоко по отношению к матери и к Дине.

— Обман еще жесточе, — упрямо не согласилась Полина Андреевна. — У обмана только видимость добрая. Это ведь живые люди, Володенька, живые да настрадавшиеся, а ты хочешь комедию ломать. Ты уж не обижайся, но сдается мне, что

эту комедию вы с Ирочкой куда больше любите, чем Дину.

— Мама, ты пойми главное…

Владимир начал доказывать необходимость обмана, часто употребляя внезапно найденное слово «рокировка». Мать слушала, решая еще один весьма мучивший ее вопрос: говорить или не говорить сыну, что Дина относится к нему не только как к другу. Сама Дина, естественно, молчала об этом, но Полина Андреевна отлично разбиралась в том, о чем молчат.

— Мама, то, что ты называешь комедией, способно окончательно поставить Дину на ноги. Понимаешь, эта короткая рокировка окажется тем допингом, которого ей так не хватает сейчас.

Сын был увлечен, приводил красноречивые доводы, а главное, столько уже успел сделать, что Полина Андреевна решила попробовать. Она говорила с Диной с глазу на глаз, очень боялась, что ей недостанет аргументов, но еще больше волновалась из-за смятения в душе своей. Она по-прежнему была против этой «рокировки», сын не убедил, а, скорее, упросил ее, и Полине Андреевне все время казалось, что она предает Дину.

— Все на тебя одну свалится, — тихо говорила она. — Мама и не узнает и не догадается, если

выдержишь.

— Выдержу, — скупо оборвала Дина.

И опять мелькнула у Полины Андреевны догадка, что несчастной этой женщине нравится ее сын и что заставлять ее играть роль жены и бестактно, и безнравственно. И опять она усомнилась в своей прозорливости и только вздохнула.

Дни, оставшиеся до приезда, были заполнены суетой. Ведь даже собственных вещей у Дины было столь мизерное количество, что никакая мать не могла бы поверить, что ее дочь преуспевает как в семейной, так и в деловой жизни. Надо было что-то у кого-то одалживать, подбирать, развешивать: этой бутафорией с азартом занимались Ирина с матерью. Владимир, уже купивший обратный билет, проворачивал остальные дела: легенду о счастливом браке, подбор друзей, которые могли бы звонить, наконец, просто выходы в свет, для чего раздобыл билеты в Большой театр и цирк. Так текли дни, наполненные лихорадочной деятельностью, и постепенно идея «обмана во спасение» все более превращалась в азартную игру «короткая рокировка».

Но все кончается, даже подготовка. И приходит день, когда игра превращается в жизнь. В реальное время прибытия реального поезда.

Поезд приходил вовремя. Они приехали за четверть часа и медленно побрели по платформе к месту, где ожидался четырнадцатый вагон. Дина молчала с утра, с момента их встречи, и Владимир уже обеспокоенно поглядывал на нее.

— Не волнуйся, все будет нормально, — сказала она. — Как называет тебя твоя супруга?

— То есть?

— Вовик? Тузик? Песик? Мне следует знать, чтобы в тебе всегда срабатывал рефлекс.

— А-а. — Он усмехнулся. — Зови меня просто Володей, как говорится. Ты способна улыбнуться собственной матери?

— Я же сказала, что все нормально. Между прочим, на месте Ирины я бы звала тебя по-другому.

— Как?

— Промолчим, а то запутаешься. А вот и мамин поезд. Прошу собраться, ваш выход, Арлекин.

Владимира пугало многое, но более всего — первое мгновение. Он боялся, что при виде матери, с которой рассталась девчонкой и без которой хлебнула столько лиха, Дина не выдержит и наговорит такого… И замер, когда она бросилась навстречу худенькой женщине с мягким, изрезанным ранними морщинами лицом, в старушечьих ботах, теплом старомодном пальто и

беленьком платочке с робкими цветами, повязанном под круглым, как у дочери, подбородком.

— Мамочка!

— Доченька, родная. — Мать приникла, целовала, отстранялась, всматривалась. — Господи, похудела-то как. С чего же это, а? Может, больна чем?

— А, мама! — Дина беспечно махнула рукой. — Чего у всех женщин хватает? Правильно, неприятностей. Володя, возьми вещи. Мама, это Володя. А это — моя мама Елизавета Степановна.

— Здравствуйте. — Вид у Владимира был растерянным до беспомощности, что вызвало в глазах Дины отсвет навсегда, казалось, потухшего огонька. — Я… Да. А где же вещи?

— Поцеловать-то можно вас? — спросила мать.

Владимир неуверенно кивнул. Елизавета Степановна привстала на носки, двумя руками нагнула его голову и поцеловала в лоб.

— А вещи в вагоне. Чемодан и корзинка с гостинцами на лавке, а у проводника — подарок вам от всех нас в новую квартиру.

Подарком оказалось несуразно узкое и длинное зеркало в грубой, крашенной «под бронзу» самодельной раме. Зеркало было очень старым, тусклым, с какими-то уже несмываемыми

пятнами и потеками, но самой замечательной оказалась рама. Нелепые завитушки смахивали на наличники, а четыре уродливых морды на углах, претендуя на львиное звание, никак не дотягивали и до рыночных кошечек.

— Мое зеркало! — радостно удивилась Дина. — Я перед ним вертелась, когда еще в первый класс бегала. Только оно тогда было без рамы.

— Вспомнила, — с невероятным удовольствием отметила мать. — А раму сосед сделал, Семен Лукич. Помнишь его, доченька?

— Жалко, что не на колесах сделал, — проворчал Владимир, примериваясь, как же ему ухватить этот подарок.

Елизавета Степановна посмотрела на него, а дочери выговорила:

— Такой представительный у тебя муж, а карточки не выслала.

— Вышлем, — сказала Дина и опять глянула на Владимира с прежним отсветом в глазах.

Но Владимир не уловил этого отсвета: его бросило в жар. Предусмотрев, как ему казалось, почти все, он ни разу не вспомнил о фотографиях, которых не могло не быть в семейном доме. В провинции и до сей поры, вероятно, существуют альбомы — он понял это по укоризненному

замечанию матери, — и Елизавета Степановна, естественно, спросит…

— С нашими фотографиями несчастье случилось, — кажется, он влез в разговор, но должен был предупредить все расспросы. — Знаете, их залило этим… проявителем. И они все оказались испорченными. Все до одной.

— Так испорченные покажешь, эка беда. Я погляжу подольше, может, и разберу чего.

— Но… — Владимир волок несуразное зеркало, руки были заняты, пот заливал глаза. — Дина, вытри мне лоб.

Почему он сам не мог отереть собственного лба, было непонятно, потому что он поставил зеркало на перрон, и руки оказались свободными. Но он все же подставил лоб, и Дина бережно промокнула его платком.

— Где фотографии?.. — отчаянно прошептал он.

— А я их сожгла! — громко объявила Дина. — Рассердилась на этого… Меерхольда, который не способен думать, а может только проливать проявитель, и сожгла все, что было. И чего не было тоже.

— На такси! — с огромным облегчением закричал он.

— Это еще зачем? — недовольно спросила Елизавета Степановна. — Невелики старики, и так доберемся.

Но Владимир уже волок зеркало к стоянке, и мать с дочерью поспешили за ним. В нормальную машину подарок не уместился, пришлось ждать такси с кузовом «универсал», куда зеркало кое-как удалось запихнуть. Все это время Елизавета Степановна ворчала по поводу бессмысленной траты денег, но села в машину сразу: она хотела прокатиться, а ворчала потому, что так уж было заведено. И катила по Москве с превеликим удовольствием, разглядывая улицы, людей, дома, машины. Ей все нравилось, и «молодые» смогли перевести дух.

С той же улыбкой Елизавета Степановна досконально исследовала квартиру, громко восторгаясь ее размерами, планировкой и мебелью. Она с детской непосредственностью расспрашивала, что, почем и зачем, хвалила или ругала, восторгалась или отвергала в зависимости от собственных представлений. Все делалось с огромным увлечением, из-за чего она так и не смогла заметить, как же трудно ее дочери, какие сбивчивые, приблизительные, а порой и несуразные ответы она дает. А Дине было невыносимо

тяжко, потому что руками матери она ворошила чужое хозяйство, чужой быт, чужую семейную жизнь, и каждая забытая Ириной шпилька доставляла ей настоящие мучения.

Пока происходил этот дотошный смотр, Владимир готовил завтрак. Он слышал ответы невпопад, которые вызывали у него только приступы веселья, потому что за той суетливой нелепицей, которую бормотала Дина, он не чувствовал ее смятения и боли. Для него первые минуты пребывания матери обещали легкое, почти анекдотическое развитие сюжета, который он с наслаждением будет впоследствии пересказывать. Он уже слушал этот пересказ в себе самом, он уже ощущал себя центром внимания; он видел начало водевиля там, где Дина приметила начало трагедии.

— Милые дамы, прошу к столу! Диночка, угощай маму, а меня извините: работа.

Так было обусловлено заранее, но сейчас, здесь, не просто в чужой квартире, а в гнездышке другой женщины, Дина почувствовала страх. Ей вдруг стало ясным, что она не сможет сохранить ни видимости счастливой жены, ни тона радушной хозяйки. То, что теоретически представлялось простым, на практике оказалось невыносимым:

чужая жизнь, чужой уют, чужое счастье, чужие стены давили со всех сторон.

— Не уходи, — сдавленно, скорее с угрозой, чем с мольбой, сказала она. — Не уходи, слышишь?

— Как? — Он растерялся. — Мы же… То есть как же иначе? Ты же знаешь, что я — врач, меня ждут больные.

— Я — больная. — Она вдруг вплотную подошла к Владимиру, взяла его за лацканы пиджака и затрясла, как трясла когда-то доктора Борю. — Я твоя больная, понимаешь? Я твоя ненормальная, твоя идиотка, которая послушалась тебя…

Выдавливая слова, она все время встряхивала его, уже не видя собственной матери, уже не слыша собственных слов. «Накатило, — подумал Владимир. — Черт, придется изобразить, мать смотрит…» И он тут же, сжав ладонями ее побледневшее лицо, начал целовать в лоб, в нос, в прохладные щеки, в полуоткрытые губы. Дина обмерла, — он почувствовал, как она обмерла в его руках, — и сразу заговорил, забормотал между поцелуями.

— Дина, успокойся. Все хорошо. Будь умницей. Соберись.

— Не уходи, — она уже не кричала, а умоляла. — Мне страшно.

— Что, поссорились? — по-домашнему уютно спросила Елизавета Степановна. — Бывает, чего в семье-то не бывает? А ну-ка помиритесь, а ну-ка поцелуйтесь, как положено, а ну-ка хоть ради меня…

Дина сразу замолчала и отстранилась, и Владимир отстранился, и теперь они стояли в шаге друг от друга, опустив глаза. И не знали, что делать.

— Целуйтесь, — уже строго приказала мать. — Ишь какие гордые! Живо у мужа прощения проси, даже если и вины за тобой нет.

Владимир опомнился первым: еще мгновение, и Дина взорвалась бы, как когда-то взрывался Динамит. Заулыбался, протянул руки, сграбастал, прижал.

— Прости меня, Диночка. Прости!

Силой повернул к себе ее лицо, приник к губам. До тех пор, пока не ощутил, как обмякло, как ожило, стало покорным и теплым ее тело. Тогда выпустил из объятий и тут же усадил, потому что Дину вдруг качнуло.

— Случается у нее. — Он ободряюще улыбнулся матери. — Вы не беспокойтесь, все нормально. Держись, Дина!

И быстро вышел. Дина по-прежнему сидела на тахте, закрыв лицо руками. Мать присела рядом,

обняла, прошептала:

— Ребеночка ждешь? Я сразу это поняла, как тебя увидела. С лица спала, потому как мутит от пищи, и на мужа сердишься, будто он в чем виноват. А он тебе еще одну жизнь подарил, доченька.

Дина хотела сразу же оборвать все материнские догадки, но сил не было, а была какая-то ласковая, тихая истома во всем теле. И ей стало приятно от этой истомы, а потом и от слов матери, и она подумала: «Беременность — это хорошо. Это многое объяснит». И тут же обняла мать.

Потом они тихо и облегченно пили чай, и Дина уже не ощущала того оскорбительного отчаяния, какое овладело ею при осмотре квартиры. Теперь она была молчалива и улыбчива, слушала и спрашивала, и Елизавета Степановна с удовольствием и подробностями рассказывала ей о сестрах, соседях, городе и совсем немного — о себе.

Так во взаимных расспросах и общих воспоминаниях прошел день. Владимир звонил трижды, изображая внимательного супруга и всерьез беспокоясь, не натворила ли Дина глупостей. Но все пока шло хорошо; после обеда Дина уложила Елизавету Степановну спать, прилегла сама, хоте-

ла подумать, но вспомнила об уходе Владимира, о собственном страхе, прозорливости матери и о его долгом, *настоящем* — уж она-то в них разбиралась! — поцелуе, почувствовала легкое, убаюкивающее тепло и уснула.

Проснулись обе от телефонного звонка: Владимир напоминал, что есть билеты в цирк. Но Елизавета Степановна от цирка отказалась, вечер получился свободным, и старательно продуманный сценарий затрещал по всем швам в первом же действии.

Началось с того, что по возвращении Владимир сразу ощутил изменение отношений как между дочерью и матерью, так между Елизаветой Степановной и им самим. Ощутил, ничего не понял и поначалу испугался, не наболтала ли чего странно притихшая Дина.

— Что тут у вас произошло?

— Я беременна, — спокойно пояснила Дина. — У тебя два варианта: устроить мне жуткую сцену ревности или признать ребенка своим.

— Ребенок? — Он на мгновение растерялся, но тут же заулыбался с огромным облегчением. — Это чудесно, это же все упрощает!

— Упрощает, ты считаешь?

В дверях кухни показалась Елизавета Степа-

новна. Дина сидела спиной к входу, но Владимир увидел.

— Умница ты моя!

Он вдруг опустился на колено и нежно припал к ее рукам. Дина хотела выдернуть их, но он прижался, не пуская; она успела увидеть мать, осторожно высвободила руку и ласково погладила Владимира по голове:

— Все в порядке. Не волнуйся, дорогой.

Это было сказано и для него, и для матери, и они — каждый по-своему — поняли, что она хотела сказать. Но это же она сказала и самой себе, а сказав, обомлела. Обомлела от такого естественного для всех, кроме нее, слова «дорогой»... И все гладила и гладила его.

— Вот и ладно. — Елизавета Степановна была чрезвычайно довольна. — Вот и слава богу. Вам, дети, не ссориться надо, а о будущем думать. Пойдем, доченька, с ужином похлопочем, а Володя твой пусть телевизор смотрит, как мужчинам положено.

Ужин прошел вполне благополучно. Владимир, окончательно успокоившись, был предупредителен, влюблен, заботлив, в меру проявлял любопытство по поводу Инны и Лоры и к концу ужина совсем очаровал свою «тещу». Но Дина и

на это не обратила внимания: ей было хорошо, так хорошо, как давно, очень давно уже не было, и она больше прислушивалась к себе, чем к разговорам за столом.

Как и предполагал Владимир, они спровадили его спать, а сами болтали допоздна. Дина постелила матери на тахте, себе — на раскладушке, но Елизавете Степановне это не понравилось.

— Вы где с мужем спите? На тахте? Ну так и спи на своем месте.

— Нет, мама, так нельзя, это невозможно, совершенно невозможно.

Дина и не предполагала, что для нее окажется немыслимой сама вероятность улечься на чужое семейное ложе. Теоретически все было просто, но когда дело дошло до сна, Дина ужаснулась. Она бестолково хваталась за мать, тянула ее к тахте, что-то беспрерывно говорила, уже не соображая, что говорит и до чего может договориться. Но ее странное поведение было воспринято Елизаветой Степановной как искреннее желание поудобнее устроить мать; благодарность помешала ей насторожиться, и, прослезившись, она согласилась.

— Ах, Динушка, чего уж обо мне-то хлопотать? О семье хлопочи, о муже да о ребеночке. Муж-то у тебя какой замечательный, заботливый да

приветливый, да как любит-то тебя! Знаешь, у матери не два глаза, а сколько детей, столько и глаз, и она все замечает. И уж если я тебе говорю, что Володя твой…

Дина слушала с жадным вниманием. Ей было не просто приятно, что маме понравился Владимир, — она испытывала искреннюю радость от этого разговора, боялась упустить слово и требовательно вскинула голову, когда разговор вдруг оборвался. Вскинула, увидела расширенные от ужаса материнские глаза, сообразила, что незаметно для себя стала раздеваться, что стоит сейчас в трусиках и лифчике и что мать в упор разглядывает шрамы на ее руках.

— Ах, это…

Дина призвала на помощь всю свою волю. Как можно спокойнее провела ладонями по старым следам бритвенного лезвия «Шик».

— Я была в другой стране, мама. Там меня укусила змея. Это — знаки того, как меня спасали.

— Знаки? — в голосе матери звучало откровенное недоверие.

— Да, — Дина обрушила на себя ночную рубашку, и шрамы исчезли: она надевала вещи только с длинными рукавами. — А знаешь, кто меня спас? Володя. Тот самый, который сопит сейчас

в соседней комнате, и мне, пожалуй, следует поцеловать его на ночь.

Она совсем не собиралась заходить к Владимиру, да еще в ночной рубашке. Но мать увидела шрамы, не поверила ни в каких змей, и единственное, что, по Дининому разумению, еще могло удержать ее в сказке, была наглядная демонстрация теплых супружеских отношений. Вероятно, существовали и какие-то иные способы, но Дине пришел в голову только этот: она смело открыла дверь соседней комнаты и столь же смело закрыла ее за собой.

В комнате царствовал типичный московский полумрак; Дина остановилась у порога, ожидая, когда привыкнут глаза, и ясно, спокойно ощутила, как застучало давно уже отвыкшее от подобных стуков сердце. Оно словно посылало сигнал: «Ты — женщина!» И, приняв его, Дина успокоилась. Разглядела широкую деревянную кровать, с которой никак не желала расставаться овдовевшая профессорша, спящего Владимира и неожиданно опустилась на колени…

— Тебе вредно так распаляться, — сказала мать, с женской все понимающей улыбкой встретив ее. — Но я все вижу, Диночка, и слава богу.

Дину трясло полночи. Она боялась вертеться

на скрипучей раскладушке, а мысли были мучительны и тревожны. Как она могла позволить себе войти в комнату? Как смела пренебречь доверием Ирины? Как теперь вообще смотреть ей в глаза? Так терзалась совесть, а глупое сердце ликовало, вспоминая сонное мужское дыхание, и от этих воспоминаний бросало в жар занемевшее тело.

Утром она проспала, и Владимира кормила завтраком Елизавета Степановна. После вчерашнего возвращения преображенной дочери у нее уже не оставалось никаких сомнений. С наивной готовностью уверовав в то, во что так хотелось уверовать, Елизавета Степановна решительно упростила все отношения, называя Владимира теперь только на «ты» и даже иногда употребляя материнское «сынок». У Владимира хватило соображения принять эти родственные отношения как данность и даже подставить лоб для поцелуя.

Этот день был отведен для хождения по магазинам, а вечером предполагался Большой театр. Однако магазины настолько вымотали Елизавету Степановну, что ни о каком театре и речи быть не могло.

— Поберегите себя, — сказал Владимир.

— А гостинцы? Инне купили, а Лоре непременно завтра купить надо. А как же? Дочки ведь, и тебе — родня.

— Это точно! — рассмеялся он. — Тогда полежите сегодня, а мы с Ир…

— Тебе, кажется, на ночное дежурство? — быстро спросила Дина.

— Нет. — Он поспешно отрекся, то ли испугавшись оговорки, то ли еще по какой-то причине. — Я просил, чтобы подменили.

Пили по-семейному чай, Владимир и Елизавета Степановна оживленно болтали, а Дина молчала. Потом смотрели телевизор, но вскоре назойливо зазвонил телефон. Владимир несколько раз бегал в переднюю объясняться («Ну отменяется дежурство, неужели непонятно? Потом все расскажу…») и после четвертого звонка решительно отключил аппарат.

— Все им докажи да все им растолкуй!

В тот вечер он потребовал, чтобы Елизавета Степановна пораньше легла спать. Дина постелила ей и себе, уложила мать, вышла на кухню. Там ждал Владимир; долго молчал, глядя в окно. Дина села к столу, закурила: с приездом матери с куреньем возникли осложнения.

— Елизавете Степановне абсолютно противо-

показано переутомление. Даже самое пустяковое. — Он вздохнул. — У тебя чудесная старуха.

— Я очень рада.

— Я тоже. — Владимир вдруг повернулся к ней: — Я знаю, где ты стояла ночью на коленях: я не спал. Ты стояла у дверей, и на тебя падал свет из окна. Если ты сделаешь это еще раз…

— Еще раз не будет, не волнуйся.

— Я хотел сказать, что сорву все замки. Ты поняла?

— Женщины понимают либо все окончательно, либо ничего решительно. — Дина встала, взялась за ручку двери: — Что тебя больше устраивает?

— Я не пошел сегодня на дежурство, а ты знаешь, что имелось в виду под этим дежурством. Я не пошел из-за тебя.

Спина Дины беззащитно ссутулилась, точно готовясь принять уже занесенный над нею кулак.

— Я — живая, — очень тихо сказала она и вышла.

Третий, последний по всем расчетам день опять начался с магазинной суеты. Владимир отправился на работу, а перед обедом чертежница сказала, что его спрашивают. Он тотчас же спустился к вахте.

— Извините, вы не знаете кто…

И замолчал, увидев тещу. Всегда благодушно настроенная профессорша сегодня выглядела весьма взъерошенной.

— Нет уж, это вы извините, — язвительно зашептала она. — Ирка ревет, твоя мать храпит по ночам, как старый бульдог, я не сплю — ну и из-за чего, спрашивается? Из-за прихоти этой шизофренички?

— Сегодня третий день. Все идет, как договаривались.

— Третий день, а ты уже не явился к жене. Почему? И почему ты отключил телефон?

— Елизавета Степановна плохо себя чувствует.

— Скажите пожалуйста! А как чувствует себя Динамит?

— Как вам не стыдно.

— Я — мать твоей жены, и мне еще стыдно? Это ей должно быть стыдно. Ей!

— Не кричите. И вообще закончим этот разговор.

— Ну смотри, Владимир. Или ты сегодня же…

— Завтра. У нее самолет — завтра, понятно?

— Хорошо, пусть завтра. Но если не завтра, то отправлять ее буду я. И уж я ее налажу, можешь быть уверен!

Владимир был вне себя от бесцеремонности

тещи, от ее намеков и прямых оскорблений. Это обижало еще и потому, что ничего не было в действительности, но все как бы уже существовало в мечтах. Он еще кипел, когда позвали к телефону. И брал трубку с неохотой, подозревая, что Ирина рвется выяснять отношения…

— Маме стало плохо в магазине. Там сделали укол, я привезла ее на такси.

— Что? Дина, вызывай неотложку, я еду!

Он не застал неотложки, но сумел разыскать врача по телефону.

— Острая коронарная недостаточность на весьма неблагоприятном фоне. Хотели госпитализировать, но ваша жена решительно воспротивилась. Мое мнение — старушка недельки две должна полежать без тревог и волнений…

Он слушал доктора в передней. За плечом взволнованно дышала Дина.

— Что сказал врач?

— Ничего страшного, надо просто немного полежать.

— Что значит немного? До завтрашнего самолета?

— Самолета не будет. — Он глянул в ее вновь помертвевшие глаза, взял за руку. — Успокойся. Что они, не люди, что ли?

— Лучше уж больница. Хотя мама — иногородняя.

— Лучше ей будет здесь, дома.

— Но здесь нет дома! Нет! Нет!

Он по-прежнему держал ее горячую узкую руку в своих ладонях, и она не убирала ее. А он все время чувствовал и то, что держит ее руку, и то, что Дина не спешит выдернуть ее.

— Завтра я разыщу толковых врачей. Как решат, так и сделаем. А вечером съезжу к Ирине и все объясню.

— Пожалуйста, устрой маму в больницу. Как можно скорее.

Она прошла к матери, а Владимир долго еще звонил по телефону, договариваясь о врачебном консилиуме. Договорившись, приоткрыл дверь:

— Дина, я пошел…

— Не надо!..

Дина метнулась за ним, но он уже через три ступеньки мчался вниз по лестнице.

— Володя! — отчаянно, на весь гулкий подъезд выкрикнула она. — Володя, вернись!..

Крик заполнил подъезд, замер, внизу хлопнула дверь, и все стихло. Дина постояла, опустив голову и машинально поглаживая перила. Потом вернулась в квартиру, прошла к матери, глянула

растерянно.

— Ты что это, доченька? — слабо улыбнулась Елизавета Степановна. — Меня, что ли, хоронишь?

— Зачем же так… — Она вздохнула. — Просто Володя… Он без куртки выскочил.

Чем ближе подходил Владимир к материнскому дому, тем все яснее сознавал, как боится предстоящего разговора. Это было странное чувство общей безадресной виноватости, которую он ощутил вдруг, хотя ни в чем виноват не был. Разумом понимал, что не виноват, внушал это себе, но виноватость — не конкретная вина, а проклятая аморфная виноватость! — не проходила, и он отчетливо сознавал, сколь сложным, трудным, а возможно, и бесперспективным будет разговор.

— Так я и знала! — вскричала профессорша, не дав ему договорить. — Ну так я и знала!

— Перестань, мама, что ты знала? Что она заболеет?

— Что у тебя уведут мужа, дура! Вот этого осла, что стоит перед тобой. А заодно и квартиру, в которой ты сама его прописала.

Мать и дочь разговаривали так, будто в комнате не было ни Полины Андреевны, ни Владимира. Ирина выглядела растерянной и почему-то испу-

ганной, а теща говорила нарочито пронзительно и в выражениях не стеснялась.

— В больницу ее извольте! И дочку тоже! За компанию!

— Ты тоже считаешь, что необходима больница? — спросил Владимир жену, демонстративно игнорируя тещу.

В тоне его звучало нечто настораживающее, что сразу уловила Ирина. Он задавал вопрос, явно ожидая, как именно она ответит.

— Ты, кажется, так не считаешь?

— Значит, будем играть в благородство, торчать в чужом доме…

— Подожди, мама.

— Чего еще ждать? Чего? Пока старуху пропишут на нашей площади? Ты дождешься. Дождешься, слышишь? А я не желаю больше слышать чужой храп. Не желаю!

— Ради такой барыни я и у Анны Тимофеевны поночую, — не выдержала Полина Андреевна. — Гордая ты не по чину, а по нраву, вот в чем тут беда. Тебе что этого любить, что того любить — все едино, абы удобства свои не нарушить.

— Да замолчите вы! — крикнул Владимир, и женщины сразу примолкли. — Есть только один выход: ждать. Я прошу пять дней. Если за это

время Елизавета Степановна не поправится, я сам устрою ее в больницу.

— Как скажешь.

В голосе Ирины звучала обиженная смиренность, но Владимир постарался этого не заметить. Теща молчала, недовольно поджав губы, а Полина Андреевна сказала со вздохом:

— Теперь уж не за одну, теперь за двоих ответственность несешь. Кончились твои шуточки.

Владимир тоже понимал, что шутки кончились. Не только потому, что знал о состоянии Елизаветы Степановны и видел отчаянные глаза Дины, но и потому, что глаза эти все время стояли перед ним. Они преследовали его по пятам, ничего не требуя: в них словно окаменел крик, последнее «Спаси!», обращенное лично к нему.

Он просил о пятидневной отсрочке, понимая, что это — максимум терпения как его внешне такой покладистой жены, так и вызывающе воинственной тещи. Честно говоря, он не знал, что в данном случае определеннее: тихое соглашательство или шумная защита своих прав. Как бы там ни было, а он мог рассчитывать только на пять дней.

Дина ни о чем не спрашивала, но он видел, что она — на пределе. Внезапная болезнь матери

ударила с незащищенной стороны: она очень испугалась не только за мать, но и за себя, за Владимира, за Ирину, ее мать, за Полину Андреевну — за всех, кто был вовлечен в этой благой обман, в эту короткую рокировку, на глазах превращающуюся в рокировку неопределенной длительности. Кроме того, ей уже следовало выходить на работу. Следовало… Что же следовало? Она металась по комнатам чужой квартиры, автоматически улыбаясь, все время контролируя поведение, тон собственного голоса, слова, которые произносила. Мама ничего не должна была знать: это оставалось незыблемым законом ее зыбкого ирреального существования.

— Дина, тебе придется выйти завтра на работу.

— Мама останется одна?

— Мама будет со мной: у меня есть два донорских дня.

Дина послушно пошла на работу, а Владимир пригласил известного кардиолога. Елизавету Степановну подвергли тщательному осмотру и, в общем, сочли ее состояние удовлетворительным.

— Очень важны положительные эмоции, — говорил немолодой врач. — Больная легковозбудима, а отсюда вероятность срыва от любой неприятности. Если хотите быстрее поставить ее

на ноги, устройте ей праздник.

Вероятно, опытный доктор имел в виду праздник души, спокойствие в семье, заботу и внимание. Но ничего подобного он не сказал, а потому Владимир, привыкший под праздником понимать мероприятие, именно так и воспринял обычную медицинскую рекомендацию.

— Надо пригласить гостей.

— Гостей? Каких гостей?

— Я все продумал: гости будут из твоего научного института, поняла? Твой руководитель, директор, одна-две сотрудницы.

— Не надо…

Это вырвалось как мольба. Дина обессиленно опустилась на стул, закурила.

— Что не надо, что? Моя мать в курсе, начальницу почты я уговорю, а Ирка…

— Нет!..

Дина выкрикнула: даже мама что-то спросила из комнаты. Выкрикнула, вскочила, отошла к окну; плечи ее судорожно свело, они странно приподнялись, как маленькие, цыплячьи крылья. Владимир помолчал, глядя в эту спину, сказал тихо:

— Ирины не будет, извини. Но вечер-то нужен? Ты же сама понимаешь, что врач недаром упомя-

нул о празднике, что…

Нет, это не мужчины умеют уговаривать — это женщины жаждут подчинения. Не абстрактного, а вполне конкретного: вот этим глазам, этой улыбке, этим рукам…

— Я попрошу Зою. Она очень отзывчивая.

И все завертелось с новой силой. Азартная настойчивость Владимира вряд ли смогла бы убедить Галину Антоновну, но она думала о Дине. А Зоя, с которой Дина говорила, не поднимая глаз, смахнула слезу.

— Ложь к добру не приводит, Динка. Чем дальше, тем страшней.

Дина подавленно молчала. Зоя вздохнула, обняла вдруг.

— Детей из садика получу, соседке подкину и прибегу. В самом научном платье. И все будет нормально.

И все было нормально, настолько нормально, что об этом званом вечере нечего рассказывать. Ну пили шампанское и чай с тортом. Ну восхищались Диной и Владимиром, старым зеркалом и квартирой, наукой и успехами. Ну Полина Андреевна старалась все время отвлечь больную от научных проблем и толковала о пирогах да вареньях. Ну Галина Антоновна, чуть переиграв,

начала вдруг рассуждать о Петре Первом. Ну Зоя, не доиграв, стала плакаться на женскую судьбу. Ну Владимир, заглушая Зою, заговорил об истории и культуре, а кончил тем, что поднял тост за всех женщин вообще и матерей в особенности, что всем очень понравилось. И разошлись рано; все были весело возбуждены, хохотали, целовали Дину. Владимир пошел их провожать, а Дина начала было убирать со стола, но мать остановила ее.

— Посиди, доченька. Мне завтра уезжать, так Володя сказал.

— Как завтра?

— В семь вечера, что ли? Да ты не волнуйся, после сегодняшней радости я не только что до дома, я до Владивостока доеду. Ведь как любят-то тебя, как ценят — это же счастье-то какое, доченька! Твои-то птички-сестрички дурехи страшные: Инна как окончила ПТУ, так и сидит на своей фабрике, а Лора хоть и в техникуме, а уж больно ленива да вальяжна. А ты, Диночка, всех перегнала, недаром учительница твоя Алина Михайловна — которая по истории, помнишь? — говорила, что глубокая, мол, у тебя натура…

Дина не заорала, не перебила мать, даже не перевела разговор. Она вроде бы слышала, о чем

говорила мама, и вроде бы не слышала, потому что в такт жилке билось в виске: «Завтра, завтра, завтра». Еще бы сутки назад она бы радовалась этому, но сегодня могла только ждать. Слушать, как бьется жилка в виске, и ждать, когда хлопнет входная дверь.

Но дверь долго не открывалась, потому что Владимир провожал мать. Она решила идти пешком и всю дорогу повторяла:

— Ну и слава богу. Ну и слава богу.

А возле дома сказала, понизив голос:

— А Диночка-то в тебя, дурака, по-настоящему влюблена. Чувствовала я, что идет к этому, но чтоб так глазищи горели… — Она вздохнула. — Уж и не знаю, радоваться мне или слезы лить.

— Радоваться, — сказал он. — Значит, выздоравливает она.

— Не скажи. — Полина Андреевна задумчиво покачала головой. — Ты к дорогой женушке вернешься, а она — ко мне. Ты уж не обижай ее, сынок. Женщина она с судьбой, так хоть заходи к нам почаще.

— Хорошо. — Он вдруг заторопился, наскоро поцеловал мать.

— К своим не поднимешься разве?

— Завтра, — ему очень не хотелось именно

сейчас встречаться с женой и тещей. — В девятнадцать сорок помашу Елизавете Степановне, а с вокзала заеду за ними.

«За ними». Не за Иринкой и ее матерью, не за женой и тещей, а — «за ними», и иначе в этот момент сказать не мог. Язык не поворачивался, но Полина Андреевна не обратила на это внимания. Из головы не шел вечер и, главное, Дина. Ее глаза, когда она смотрела на Владимира.

— Ну ступай. — Она вздохнула. — Завтра, значит.

Сын побежал не оглядываясь, торопясь не к жене, и это Полине Андреевне не понравилось. Но жила она в обычной пятиэтажке, и, пока, пыхтя, поднималась на свой четвертый этаж, мысли ее по странной прихоти женской логики свернули на иное направление. Ей трудно давались лестничные марши, но, прожив много лет в подвале, Полина Андреевна не просто любила свою квартиру, а чрезвычайно гордилась ею. «Нет, мы не профессорши, — задыхаясь, думала она. — Не генеральши, не фифочки какие, а рабочие женщины. Мы не при мужьях состоим, и пусть у нас жизнь без лифтов, зато она — наша, а не мужа…» И, рассуждая так, Полина Андреевна позабыла о встревожившем ее поведении сына, а

стала думать исключительно о его теще, с чисто женской аккуратностью вспоминая все ее грехи и все свои обиды, и поэтому, когда наконец-таки взобралась на свою лестничную площадку, уже кипела справедливым презрением.

— Шампанское пили, — объявила она с порога, хотя ее никто ни о чем («И вот всегда так, ну, что за люди, а?..») не спрашивал. — Всех наших женщин Диночка к себе приглашала.

— К с е б е?

В тоне профессорши прозвучало что-то опасное, но Полину Андреевну уже несло.

— Со своей матерью знакомила, так куда же, как не к себе, приглашать? Мать у нее — женщина замечательная, трудящий человек, одна трех девчонок подняла.

— Ну если так, как Дину, то это высоко!

— Мама, прекрати.

— Ирина, замолчи!

Пока назревал и наливался взаимными обидами этот конфликт, Владимир ехал в троллейбусе. За время его отсутствия Дина все убрала, уложила мать и ждала на кухне. Он вошел быстро, хотел сказать что-то веселое, но наткнулся на ее взгляд и почему-то виновато опустил голову.

— Оказывается, мама едет завтра?

— Я согласовал с врачами.

— А со мной? — Она помолчала. — Извини, я не имела права на этот вопрос. Дай мне, пожалуйста, мамин билет.

С виноватой суетливостью он достал билет. Дина прошла к матери, а Владимир обессиленно опустился на стул. После слов Полины Андреевны он спешил к Дине — не в собственную квартиру, не домой, а именно к ней, к женщине, которая была в него влюблена. А она встретила столь сухо, что сразу выбила из его рук инициативу.

— Я положила билет в мамину сумку, — сказала Дина, вернувшись.

— Зачем? Я же все равно приду…

Дина вдруг странно качнулась. Он не успел встать со стула, как она шагнула к нему, взяла двумя руками его голову и крепко прижала к груди. Не по-матерински — по-женски; чуть шевельнулась, его губы скользнули по платью, сквозь все преграды ощутили грудь и впились, вонзились в нее, соединяя два полюса, две жизни, два сердца, два тепла. Он обнял ее за талию и сразу почувствовал, что она приказывает ему встать и идти. Приказывает, ни слова не говоря, но он услышал приказ и исполнил его. И дверь за ними закрылась.

Дина вновь открыла эту дверь в шесть утра, голышом проскользнув в ванную. Через полчаса она — уже одетая и причесанная — вошла в комнату матери.

— Ты не спишь?

— Ты была у мужа? — Елизавета Степановна подождала ответа, но Дина молчала. — Надо думать о своем ребенке, Дина. Тебе не семнадцать лет, понимать должна.

— Что? — Дина раздвинула шторы, утренний свет залил ее, превратив в юную и прекрасную. — Женщина должна быть счастливой, а понимать… — Она пренебрежительно махнула рукой. — Понимать — мужской глагол, мама.

— Думать надо! — сердито сказала мать. — Думать не о счастье, не о сласти, а о будущем ребятишек: им-то сладкого достанется или все папа с мамой съедят? Вот о чем женщина никогда не должна забывать, потому что это ее святой долг. Не удовольствие получать от жизни, а саму жизнь дарить — вот какая программа у женщины. Здоровье — капитал, его не просто беречь, его умножать надо и детям передавать. А мы разве умножаем? Транжирим мы его, будто лавочники…

Мама еще долго ворчала, а Дина была счастли-

ва. Так покойно, так тихо ей никогда не случалось ощущать собственного счастья, и это новое ощущение представлялось сокровищем, пред которым меркли все ценности и все радости мира.

— Я заеду за тобой, — сказала она.

Уже следовало спешить на работу, но Дина еще успела проскользнуть в спальню, поцеловать Владимира и убежать от него. А он, сразу проснувшись, наспех проглотил кофе и тоже ушел, тоже пообещав заехать.

А три часа спустя во входной двери по-хозяйски щелкнул ключ и вошла истинная владелица квартиры в сопровождении таксиста, тащившего два увесистых чемодана.

— Вы к Диночке или к Володе?

— К себе самой. — Хозяйка сунула деньги шоферу. — Отвезите эту старушку. И зеркало это, кошмар этот, — вон, вон.

Шофер потоптался, намереваясь что-то сказать, но промолчал. Взял старое зеркало в самодельной раме и вышел.

— Что это вы, что? — беспомощно замахала руками Елизавета Степановна, растерянно и недоверчиво улыбаясь при этом. — Это ихний дом, ихний. Диночка — дочка моя, старшая, а Володя…

— Вас разыграли, понятно? Мне очень жаль, но шутка зашла так далеко, что я более и часу не проживу с этой почтальоншей. Слышали бы вы, как она храпит. Где ваши вещи? Такси отвезет вас на мое место. Короткая рокировка, как говорит мой зять.

— Кто говорит?

Подавленная, растерянная, окончательно переставшая что-либо соображать Елизавета Степановна спросила только потому, что уловила едва ли не единственно понятное слово.

— Зять, значит, муж моей дочери. — Профессорша уже деловито собирала чужие вещи. — Вы что, в халате поедете? Нет? Так переоденьтесь, у такси, между прочим, счетчик щелкает.

— Зачем вы? — почти шепотом спросила Елизавета Степановна, опускаясь на тахту, потому что ее уже не держали ноги. — Кто вы? Зачем выгоняете? Я не понимаю, не понимаю… Пусть придет Дина. Тут живет моя дочь, она ждет ребенка…

— Динка ждет ребенка? Ой, оставьте, она уж столько раз их ждала…

— Не смеете! — вдруг громко воскликнула Елизавета Степановна, вскочив и замахав сухоньким кулачком. — Вы не смеете так, не смеете! Дина научная аспирантка, а вы… вы лгунья!

— Я лгунья? А ваша Дина знаете кто? Динамит, всей Москве известна. Нас с вами Динамитом никто не назовет, а Динка в этих делах не аспирантка, а настоящий профессор… Что это с вами? Может, валидольчику?

У подъезда стояло такси, в которое шофер долго пытался запихнуть зеркало. Открывал сразу все дверцы, наклонял, просил прохожих помочь, но все напрасно. Тогда он перетащил негабаритный груз в подъезд, прислонил к стене и поднялся в квартиру.

Здесь было тихо. У дверей на стуле сидела белая как снег и словно бы заледеневшая пожилая женщина, а вторая — та, которую он привез, — стоя на коленях, надевала на ее ноги суконные старушечьи боты.

— Не влезает зеркало.

— И черт с ним. Помогите.

Хозяйка закончила с ботами, подняла Елизавету Степановну со стула. Вдвоем с шофером они одели ее.

— Больная она, — сказал таксист. — Куда же ее?

— Где меня брал, в ту квартиру. Как договаривались.

Елизавета Степановна не произнесла более ни

слова. Ей все разъяснили, объяснили и поведали, и, оглушенная, придавленная всем услышанным, она не имела сил даже на слезы.

— Вещи ее возьмите.

Явно недовольный происходящим таксист потащил вещи. Профессорша, вежливо поддерживая, довела до лифта скорбно примолкшую Елизавету Степановну, спустилась в подъезд.

— Счастливо вам, дорогая. А зеркало вечером Владимир привезет.

Елизавета Степановна не отозвалась, не шевельнулась. Когда машина выруливала со двора, сказала глухо:

— На поезд надо.

— Далеко ли?

— Пермь.

— Пермь? — Шофер глянул в зеркало. — А билет есть, мамаша?

Елизавета Степановна молча протянула сумку. Таксист притормозил, покопался в ней, нашел билет.

— Точно, Пермь. Ну помчались, мамаша.

Владимир освободился первым. Настроение его было бы почти прекрасным, если бы не смутная неуютность, вызванная безумной ночью. Он радовался, что «короткая рокировка» подходит к

концу, но беспокоился, как встретится с Диной и, главное, как расстанется…

Тусклое зеркало в гулком подъезде насторожило его, но он ничего еще не сообразил. А сообразил, услышав рыдания Ирины и гневные вопли тещи:

— Старуха все рассказала, негодяй! Ты допустил, чтобы эта потаскуха залезла в твою постель? Ты нарочно придумал эту скотскую рокировку…

Он хотел уйти от криков, от истерик, но ощутил такую виноватую опустошенность, что ничего не сказал. Теща стащила с него куртку, впихнула в комнату, где отчаянно рыдала Ирина.

— Проси прощения, подлец. На коленях!

Через несколько минут прибежала Дина и спросила отрывисто:

— Где мама?

— У Полины. Иди, иди отсюда, мы знаем все ваши дела.

Хозяйка буквально вытесняла ее, да Дина и не сопротивлялась. До отхода поезда оставалось совсем немного, а впрочем… Ей все стало безразличным — даже то, что скажет мама.

И как на грех, никак не попадалось свободного такси, а частники не обращали внимания на ее отчаянные призывы. Пока поймала машину,

пока доехала до Полины Андреевны, пока выяснила, что мама там не появлялась вообще, пока домчалась до вокзала, поезд на Пермь уже скрылся за выходным светофором.

Вот и вся история о Дине. Никто с того дня ни разу ее не видал. Может, она куда-нибудь уехала, может, по-прежнему живет в Москве, а мы просто не догадываемся, что она и есть — Дина, может… Все может быть.

Красные жемчуга

«Грешно живешь, мать, грешно!.. — сердито кричал муж. — Ты на нас глянь, на нас!..»

Он сидел за столом, но не с торца, не в красном углу, а спиной к окну, и сыновья строго молчали по обе его стороны. Все трое были в гимнастерках, с провальными, невидящими глазами, и рот у отца тоже был черным, провальным, без губ и без языка и открывался будто совсем не для тех слов, которые она слышала.

«Грешно живешь!..»

«Да не то ведь, не то сказать-то хочешь, — шептала она, давясь слезами от тоски и жалости. — Ты землю, землю изо рта-то выплюнь, отец, выплюнь, тогда и скажется заветное. А вы, сыночки, вы чего молчите? Вы отцу помогите, помогите ему. Гриша, Шурка, что же вы-то молчите, что?.. Ай, да вам ведь тоже рты землею забило. Сырою землею могильною… Сыночки вы мои, помогла бы, да где искать-то вас? В каких странах, каких государствах?..»

— И-и-и!..

Вскинулась старуха, ломая тонкий предутрен-

ний сон. Пропали муж, сыновья, провальные пустые глазницы, провальные пустые рты. А визг остался.

— И-и-и!..

Каждое утро будили ее этим истошным воплем три раскормленных заматерелых борова. Будили еще до того, как она начинала видеть сны, а сегодня то ли родные привиделись раньше, то ли свиньи запоздали и теперь наверстывали, голосили на все выселки, на все их Красные Жемчуга. И старуха, кое-как накинув юбку и лица не сполоснув, босиком пошлепала в сени, где стоял бак с приготовленным пойлом. А опомнилась, только когда свиньи с довольным урчаньем и чавканьем начали жрать, отпихивая друг друга крутыми, налитыми салом и силой боками.

Третий раз снились ей муж и сыновья, сгинувшие на бессчетных фронтах войны: отец — в сорок втором под Семилуками, а Гриша и Шурка, братья-погодки, один за другим — в сорок пятом в чужих краях за тридевять земель. Всю жизнь снились урывками и порознь, а тут — вместе, и когда это случилось впервой, старуха очень обрадовалась, а второй — запечалилась и всплакнула во сне. Но сегодня дорогой этот сон, это чудом даренное ей свидание с родными не принесло ни

радости, ни светлой печали, а принесло тревогу, которая уж и не оставляла ее. И, невидяще глядя на жрущих свиней, не чувствуя ни утренней свежести, ни холода, старуха долго стояла у закута, ощущая смущенной душой непонятное беспокойство. «Господи, да почему грешно-то живу, почему? — почти с отчаянием думалось ей о так ясно услышанных во сне словах мужа. — Да в чем грех-то мой, отец, в чем?..»

Бесконечно задавая то себе, то покойному мужу этот тревоживший ее вопрос, старуха вернулась в избу, умылась, оделась, положила из чугуна в миску холодной картошки, достала хлеб, лук и соль и села к столу. Она уже давно — с той поры, как младшая дочь Светлана вышла замуж и уехала в город, — ничего себе не готовила. Чистила варенную в мундире картошку, макала в соль, закусывала луком и хлебом, долго, старательно жевала уцелевшими зубами, а в голове неотвязно стучало: «За что же он упрекнул-то меня, в чем грех-то увидел? Ведь жили-то как, господи! Никакой бабе такое счастье и не снилось, как мы жили…»

В двадцать шестом, что ли… Да, в двадцать шестом — Шурка маленький был, грудной — еще колхозов никаких нигде не существовало, еще и

слова-то такого никто не знал, а ее муж, бывший красноармеец и член партии большевиков, сам предложил организовать коммуну, чтобы все было общим. Собрал бедноту, демобилизованных бойцов, сочувствующих и понимающих, провел митинг, но село было большим и богатым и не приняло этого, а город еще ничем и никак не мог помочь, и решили тогда они, первые коммунары, выселиться, уйти и от старого мира, и из старого мира. И отселились с красным флагом и гармошкой, отстроились на взгорье у речной излучины, и дома у всех были одинаково новыми и одинаково радостными, потому что строили их сообща, дружно строили, всей коммуной, со щами из общего котла. А как отстроили последний дом, объявили праздник, которого давно, ох, как давно ждали и желали, и назвали этот свой первый праздник, что случился у них через два года после отселения, Днем Красных Крестин нового поселка. И начали с красного флага, гармошки и митинга: как назвать? Каждый свое предлагал: кто — революционное, кто — привычное, кто — ласковое, кто — с шуточкой, а потом поднялся ее муж, первый председатель их коммуны, и сказал:

— В Гражданскую войну, в двадцатом годе, наш

геройский крестьянский полк поймал вредного попа, который бежать навострился с награбленным народным добром. Три сундука при нем было, и как открыли мы один, так будто ослепли: одежи там лежали церковные, и все сплошь в каменьях такой красоты, какая простому люду и во сне не приснится. И играли те камешки, ровно как наше светлое будущее, почему и предлагаю категорически назвать наши выселки — Жемчуга. А чтоб ясно всем было, что не поповские то жемчуга, а нарядное будущее наше, то добавить обязательное слово «красные». Красные Жемчуга — вот как назовем мы свои новые выселки, чтоб дети и внуки наши жили в денечках радостных и праздничных, как те камешки-жемчуга!

Так и назвали: Красные Жемчуга. И везде-везде — во всех бумагах и картах и на почте так называлось, и приезжающие всегда радостно удивлялись, что такой у них поселок, где каждый дом, как у соседа: жемчуг к жемчугу.

Старуха… да какая она тогда была старуха: не старуха, а молодуха!.. с двумя малыми здесь жизнь начинала, с Гришей и Шуркой, а потом еще двух девок родила — Полю и Свету. Тесно стало в доме: шутка ли — четверо детей, да и сами не стары еще, не запечные тараканы! — но в соро-

ковом году муж первым в районе большой орден получил за бессменную свою председательскую работу, за бойкие дни да бессонные ночи, и местные власти заодно с колхозом решили за этот труд отстроить ему новый дом. И отстроили, и в субботу новоселье закатили на всю округу — сам секретарь райкома приезжал и речь говорил! — а в воскресенье война началась. Мужья ушли первыми, за ними сыновья потянулись, а там и доченьки, если возраст подходил. Уходили люди, а приходили похоронки; вой стоял над Красными Жемчугами денно и нощно, и самой горькой была тогда должность почтальона: Полюшка ее чужим горем опилась, да и своего хватило. Потускнели их Жемчуга.

— Договорились мы с властями, что будет у нас в наших Красных Жемчугах своя советская лавка, — говорил в День Красных Крестин муж на общем митинге. — Будут привозить нам всякие нужные товары, но давайте, дорогие товарищи, дорогие мои братья и сестры, твердо решим, что водки никогда у нас не будет. Царская это отрава, продукт разложения, товарищи коммунары, и пускай ее буржуи пьют! А у нас что ни день, то праздник, зачем же нам водка? Водка тому нужна, у кого праздников нет!

Как же он тогда правильно сказал, муж-то ее: у кого праздник, тому водка не нужна. А в войну не стало праздников, и потекли слезы да водочка, водка да слезоньки.

А Полюшка в сорок шестом померла, и восемнадцати не исполнилось. На чужом да своем горе, на общем да своем труде все жилочки надорвала и зачахла, как цветок. И от всей семьи в четверо детей при отце с матерью оставила война ее да Светку. Мать и дочь.

Господи, откуда же тоска эта да тревога?..

Светка умной росла, старательной: лучше всех школу закончила, и колхоз — это при тогдашней-то нищете! — на свой кошт послал ее в райцентр доучиваться до среднего образования. За питание и жилье деньги переводил и даже два раза в год школьной формой вроде как премировал. И за личные успехи, и за сиротство, и за труды и заслуги ее отца, основателя Красных Жемчугов и бессменного — до самой войны — председателя их колхоза. И хоть многое уже изменилось, и хоть не осталось ни одной семьи, какую бы война не перепахала, а помнили его, уважали и чтили, и на дочь это уважение падало. И Света все понимала, очень старалась, закончила свое образование и вышла замуж в райцентре. А через четыре года

мужа в область перевели, и она туда перебралась, навсегда отрезав и родной колхоз, и отцовскую память, и материнскую старость.

А может, из-за Светки муж и говорил ей: грешно, мол, живешь?.. Ах, кабы понять его, безъязыко кричащего ртом, землей забитым, ах, кабы понять… Терзала себя старуха, тыркалась по огромной, пустой, гулкой избе своей, места в ней не находя. И маета в душе давила, и тоска ее грызла, и мысль, одна мысль изводила: в чем грешна-то, в чем, Господи?.. А ведь грешна, коли покойники покою не знают и из братских могил ночами встают, сквозь другие тела продираясь.

Думая о словах мужа, так ясно услышанных ею, и о непонятном грехе своем, в котором он ее обвинял, старуха пыталась что-то делать, чем-то заняться, но все сегодня валилось у нее из рук. Только привычное, не требовавшее как бы и самого присутствия ее, а лишь проросших в памяти движений, было ей доступно: она варила картошку для свиней и для себя, рубила сечкой лебеду с крапивой, запаривала пойло в печи — и все, как машина, будто и не она это, и все с тревожной думой: какого же откровения, какого покаяния требовал от нее муж, убитый полвека назад под Семилуками? Мысли эти терзали ее, не

отпуская ни на секунду, не давая отдыха, звеня в ней натянутой струной, изматывая и изматывая. «Господи! — в отчаянии простонала она. — Хоть Ты подскажи, в чем грех-то мой, Господи!..» И вдруг затихло все в душе ее, замерло в ясном, напряженном ожидании, и она поняла, отчетливо поняла, пронзительно и просто, что ей необходима молитва. Все равно кому — Богу ли, святому ли какому, чудотворцу или Божьей Матери, а только надо, надо не для чуда, а для себя, для своего спокойствия и света совести своей.

Господи, да как же просто все оказалось! Она впервые несмело улыбнулась, впервые присела, впервые оглянулась и увидела, что на улице ясно и солнечно и что гроздья у рябины, которую посадили под окном Гриша и Шурка, давно уже налиты краснотой, а лист пожух и свернулся. Все она увидела и все постигла — прозрачную ясность и тишину осени, вечный покой мира и собственную суетность, шорох пожухлой листвы и свое уходящее время. И еще то, что давно не молилась, с юности, с цвета своего, и что позабыла уже все молитвы. «Это ничего, ничего, — спокойно думалось ей. — Это пустяк, я ведь от чистого сердца, от совести своей, а значит, поймут, если даже и не по правилам. Вот встану на колени и...»

И оглянулась в растерянности. Огромной была изба, гулкой, нежилой, а потому студеной и в самый жаркий июльский полдень, как бывает студеным лесной одичалый ключ. Стол, две лавки, четыре стула, шкафчик, да полки, да огромная деревянная кровать, на которой давно уже никто не спал. Два выцветших плаката на стенах, фотографии под стеклом да четыре Почетные грамоты — три мужа и одна ее. С десяток запыленных книг на полке, старый календарь, несколько пожелтевших картинок из «Огонька», что еще Светка прикрепила, и… И все. Икон не было ни в углу, ни на стенах, ни в сундуках, ни в подполе.

Не было вообще: их не взяли из старой жизни в новые Красные Жемчуга. Не было икон, и не перед чем было молиться, встать на колени, открыть душу свою и получить облегчение. В молитве можно было обойтись без книжных слов, можно было заменить их своими — лишь бы от сердца шли! — но лишить молитву обращения было невозможно. Она вдруг отчетливо вспомнила строгие темные лики, пронзительно глядящие прямо в душу, и поняла, что не успокоится, не найдет себе места, доколе не увидит этих ликов еще раз, не падет перед ними на колени, не поведает им смущения своего. А решив так, не

стала тратить времени: надела темную жакетку, строгий вдовий платок и пошла по Красным Жемчугам.

Многое здесь изменилось с послевоенного времени. Исчезли целые семьи с повыбитыми кормильцами, переехали к родственникам одинокие вдовы и матери; кто перебрался в город, кто продал свой дом и ушел неведомо куда: и даже колхоза тут больше не было, а была ферма при совхозе, центральная усадьба которого располагалась в том самом селе, откуда они когда-то уходили с гармошкой и красным флагом. Старуха жила по-деревенски замкнуто, новых соседей не знала и шла сейчас в те три-четыре избы, где еще держался коммунарский дух Красных Жемчугов. И первой на этом пути была старая Тихоновна, когда-то громкая и смешливая старухина подружка.

— Икону?..

В отличие от сухонькой старухи Тихоновна была громоздка, тяжела и басовита. Муж ее погиб все в том же сорок втором, но единственный сын уцелел, отдав войне руку по самое плечо, и бригадирствовал, пока не спился окончательно и не помер в одночасье. Однако до этого успел жениться (выбор был в деревнях в ту пору — хоть

из тридцати!) и нарожал столько, что и по сей день не все еще успели разбежаться по чужим краям и городам, почему Тихоновна и считалась самой счастливой в Красных Жемчугах и была таковой на самом деле.

— Наши с тобой ведь мужики в День Красных Крестин со всех дворов силой иконы собрали, сложили в кучу да и сожгли. Вспомнила теперь тот костер? Все в нем горело — и материнские благословения, и отцовские наставления, и семейные укрепы. Да, подружка. Силой, помнится, наши покойнички — царствие им небесное! — иконки-то из рук рвали, будто у лютых врагов. А оно вона как обернулось: и лба перед смертью перекрестить не на что.

— Не на что, — робким эхом откликнулась старуха.

Тихоновна долго глядела на нее выцветшими, влажными, как у коровы, глазами. Пожевала толстыми размякшими губами, сказала строго:

— А Бога-то ведь нет. Нету Его, подружка моя, потому как если бы Он был, Он бы не допустил. Совершенно бы не допустил.

— Чего не допустил?

— А всего этого. Чтоб, скажем, пили. Чтоб воровали. Чтоб все абы как, а себе — хоть рупь, и

тот на водку. Помнишь, как мы за твоим-то шли, подружка? Он впереди с красным флагом, а мы за ним с детями на руках да все семнадцать верст. Идем и поем, поем и идем, и радость такая… Такая… Ты помнишь, подружка, радость ту нашу? Где она сейчас, наша радость, а?

— Где?.. — зазвенело вроде или показалось так старухе, а только опять она увидела стол, сынов и мужа посередке с черными, забитыми землей ртами. — Фашист нашу радость стоптал.

— Ну коли один фашист, так тебе и молиться не надо. Коли нашла виноватого, то на тебе и греха нет, зачем же тебе икона?

— Грех? — обмерла старуха. — Стало быть, полагаешь так, что есть он, грех-то?

— Есть, — важно сказала Тихоновна. — Бога нет, а грех есть. И у каждого — свой. Вот ты свой-то грех и отыщи, и тебе полегчает. А Бога все одно нет, не верю я, не верю, что мог до такого нас допустить. Сами мы во всем виноваты, нечего на Бога кивать: грех есть, а Бога нет. Вот как я считаю.

Обе подруги долго молчали, одинаково жуя то ли закаменелые слова, то ли кусочки размягших мыслей и одинаково горестно кивая усталыми головами.

— Помолиться надо бы, хочется мне помо-

литься, — по-детски беспомощно вздохнула старуха. — Будто горит во мне, жажда будто, и ничего, кроме чистой воды, душа не примет.

— Да, подружка. Брели мы через жаркую пустыню, а куда брели, то и поводырям нашим неведомо. С песнями брели, только где теперь теи песни и теи поводыри? — Тихоновна скорбно помолчала и неожиданно деловито закончила: — К Лукерье зайди. Она всю жизнь хитрюще жила, всю жизнь ужой скользила, так, может, припрятала где-нито иконку, а? Ужой жила, ужой из всех рук выскальзывала, и тогда могла выскользнуть. Уж если кто и мог тогда выскользнуть, так только она.

Лукерья была худой, скрюченной и злющей. Маленькие глазки глядели на все с подозрением: на людей, на скотину, на стены, на само солнце. Она больше не верила никому и ничему, не ждала от других ни доброго слова, ни доброго дела и жила так, словно все кругом только того и желали, как бы половчее обмануть да покруче повернуть.

— Молитву тебе? — злорадно протянула она. — Икону тебе? Бога тебе? И все — тебе? А где же — нам? Раньше-то, забыла, что ли? Раньше-то, прежде-то, при молодых мужиках наших, что

орали? А то орали, что все ам да ам, нам да нам. А теперь, значит, другого Лазаря запели: мне? А «мне» давно в дерьме, слыхала? Наше все. Наше. Земля наша, вода наша, сеялки-веялки, закон и правда — все наше. Уря! Ну, жри это «наше», жри, давись, покуда не разорвет тебя. А, невкусно? На чужом горе в рай въехать хотели, а того не скумекали, что в рай ворота узки, вот друг дружку и подушили. А хочешь знать, почему так все, а? А потому, что нельзя дорогу в рай пожарами освещать. У Бога времени много, у Него век что миг, а, однако, и Он не стерпел да и вдарил. Под самый корешок вдарил: сколько от твоего-то племени уцелело? Один внучок, да и тот дурачок? А у меня и того нету. И таких, как я, почитай, вся Россия. Так икону тебе после этого? Доску гробовую размалюй да и молись на нее, чтоб было кому глаза закрыть да в гроб положить. Или так надеешься, что тебя дочка с зятем из города хоронить приедут?

— Не приедут, — вздохнула старуха. — Тоска меня гложет, Лукерья, такая тоска…

Лукерья зло пялилась маленькими колючими глазками…

— Пойду я, а? — несмело спросила старуха, помолчав.

— Чего? — тяжело очнулась Лукерья. — А, старая? Спастись хочешь? Не спасешься. Нет, не спасешься. И никто не спасется, все ответят. Все!..

Спастись? Нет, она совсем не думала о спасении, да и о собственной ответственности тоже не думала. Ее грызла тоска, горькая и безнадежная тоска старого и никому не нужного на свете человека, разбуженная привидевшимся сном, нахлынувшими воспоминаниями и нетерпеливым желанием выложить перед кем-то, кто поймет и простит, все, что наболело. Вывернуть душу, очистить ее, проветрить, омыть, а там уж и доживать с новым запасом терпения, сострадания, понимания и добра. Не в спасении после смерти тут было дело, а в утолении духовной жажды при жизни, сейчас, как можно скорее. А для этого нужна икона, как свидетель, пред лицом которого не солжешь и не выкрутишься. Нужна икона, истовость и правда без утайки и лукавства, но главное все-таки — икона. Как зеркало, в котором видишь все без прикрас: морщины и седину, дряблость кожи, тусклый взгляд и мешки под глазами, и люди, вероятно, для того и писали их, эти иконы, чтоб они вечно служили зеркалами душ человеческих, переходя из рук в руки от

матери к дочери и от отца к сыну.

А их сожгли. Ходили веселые, шумные из дома в дом и с шутками да прибаутками рвали из рук те считанные семейные реликвии, которые пронесли бабы из старого села в Красные Жемчуга в тряпье да за семнадцать верст. Играла гармошка, пели песни, хором кричали лозунги и водили хоровод с частушками вокруг костра, в котором корчились божьи матери, спасы нерукотворные и крестьянские заступники Николы: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

А первой продавщицей была учительница начальной школы, открытой в Красных Жемчугах одновременно с новой лавкой, Мария Сергеевна. Она очень этого не хотела, краснела и отказывалась, но ее уговорили как шибко грамотную. Временно и на общественных началах. Эта Мария Сергеевна и учила ее детей: Гришу и Шурку, Полюшку и Светку. А своих у нее не было, муж пропал без вести в сорок третьем, и старая учительница доживала свой век в маленькой квартирке при школе, с трудом передвигаясь на распухших ногах. А школы уже не было, в ее здании располагалось общежитие механизаторов, а десяток ребятишек, что оставались еще в

Красных Жемчугах, возили теперь машиной в старое село.

Вспомнив об учительнице, старуха вдруг засуетилась, потому что давно не навещала, а учительница была сильно плоха. Да заодно и поговорить хотелось, и старуха, не перекусив толком, натянула жакетку и пошла, посеменила, с горечью размышляя, что и такая вот забывчивость друг друга и есть грех, и совсем не перед Богом, а перед людьми и, главное, перед собой. Перед совестью своей, что точила ее с утра, как червь.

— Да, да, совесть, — задумчиво подтвердила учительница. — Толстой Лев Николаевич считал, что бог есть совесть и что полной душевной гармонии следует добиваться не с помощью церкви, а посредством праведной жизни. И из всего Евангелия взял пять постулатов: не гневись, не блуди, не клянись, не противься злому, не воюй. Как будто в этом ожесточенном мире можно обойтись проповедью и личным примером. Нет, правильно сказал наш поэт: добро должно быть с кулаками.

Мария Сергеевна говорила много, трудно, с тяжкой одышкой и никак не могла остановиться. Она жила совершенно одна уж много лет, за стеною в

бывшей школе вместо бушующей детской жизни со всеми страстями, слезами, смехом, озорством и шумом рождались совсем иные шумы в свинцовых водочных парах, а старая учительница могла лишь выползти на крыльцо в теплые вечера.

Запас невысказанных слов все рос и теперь прорвался естественно и облегченно.

Старуха слушала с покорным терпением, хотя ничего не понимала. Она не знала, кто такой Лев Толстой, а уж о его учении и слыхом не слыхивала, да и не разобралась бы в нем, если бы и попытались объяснить. На время она вообще перестала слышать голос учительницы, а потом спросила, прерывая счастливое и самозабвенное бормотание:

— Чего это я не пойму, Мария Сергеевна, зачем же добру кулаки? Чего это я не пойму никак…

— Для борьбы, — тотчас, хотя и с некоторым раздражением, откликнулась старая хозяйка. — Необходимо защищать свои принципы, свою правду всегда и везде, а не пасовать перед…

— Что же это за правда, коли она сама себя защитить не может? А уж коли кулаки в ход, то при чем тут правда? Ведь кулаками и неправду вколотить очень даже просто, очень даже, Мария Сергеевна.

— Это в тебе христианское начало говорит, христианское, — уже сердясь и тыча пальцем, зачастила учительница. — Мы создали абсолютно новое творческое учение, которое вызывает лютую злобу наших закоренелых врагов, и в этих исторических условиях непримиримая борьба…

И старуха неожиданно вздохнула:

— Помолиться бы тебе, Мария Сергеевна. Глядишь, и полегчало бы на душе, отмякло бы все в ней.

Сказала, а сама испугалась: подумала, что обидела учительницу, что рассердится та и начнет отчитывать. Но Мария Сергеевна не закричала, не выругала, а, помолчав, улыбнулась:

— Странно, странно. Глубоко, значит, сидит в тебе старое, очень глубоко, хотя муж твой, между прочим, был первым коммунистом и основателем Красных Жемчугов. Правильно, значит, твоих родителей: из села — да на перековку. А внук твой… ну, Светланы сын.

— Внучек-то? Ларик.

— Ларик этот твой тоже заражен. Гены. В прошлом году, когда тебя навещал, ко мне заглянул и все допытывался, у кого тут иконы могут быть. В тебя пошел, не в деда: иконы его, видите ли, интересуют…

Об иконах внучек спрашивал, иконами интересовался?.. Старуха не знала об этом, новость была ошеломляющей, и, задавая последний корм орущей, хватающей, жрущей, чавкающей ораве, она неотступно думала о Ларике. Об единственном внуке своем, последнем зеленом листочке… Конечно, Светлана могла бы еще рожать да рожать: молода, здорова, квартира есть, муж аккуратный и с положением, достаток, какой старухе и не снился-то никогда за все времена. Трижды она к дочери приступала («Чего не рожаешь, доченька? Рожай, покуда силы в тебе…»), а потом зареклась, потому что ответ был всегда одинаков:

— Это ты в нас счастье видела, а я — в другом. Культура возросла, мама, и уважают нас теперь не за детей, а за общественно полезное дело. Я это поняла, родила одного для здоровья и буду честно трудиться на общее благо. И так все, мама, не я одна. Жить надо в полное удовольствие.

Полное удовольствие — квартира, машина, цветной телевизор и обязательный сентябрь у теплого моря. Старуха никогда у моря не была, плохо представляла, что это такое и зачем к нему надо ездить каждый год осенью, но и дочь, и зять, и внук только улыбались на ее недоумения. И зять — самостоятельный, представительный,

которого она всю жизнь звала только по имени и отчеству — Эдуардом Леонтьевичем, — говорил покровительственно:

— Отдых, мамаша, он с культурой человека связан. Кому — водки бутылку да сутки сна, кому — пятипудовый рюкзак да тайга с комарьем, а кому — и все блага цивилизации. А Ларик добавлял:

— Сочи-бич, бабулька, как в лучших домах!

Сочи-бич было еще непонятнее моря, но самой загадочной оказалась новость, открытая Марией Сергеевной: Ларик, оказывается, искал иконы. И старуха полночи ворочалась без сна, размышляя о том, что внучек ее тоже, видно, мается душою, жаждет откровения и покоя, если уж всюду ищет икон, как она сама. Ей было жалко его и жалко себя, и она два раза поплакала, но слезы не принесли облегчения. А под утро вдруг поняла, что должна сделать, испугалась собственной смелости, но все же твердо решила исполнить задуманное.

Накормив свою вечно голодную ораву, старуха снова кинулась к Тихоновне: без ее помощи невозможно было осуществить замысел, пришедший в голову среди ночи.

— Ладно, покормлю твое стадо, — согласилась

Тихоновна. — Только за это мое одолжение ты мне чаю привези. Я уж полгода как чаю-то настоящего не пила.

— Привезу, подруга моя, непременное дело привезу.

— Ох и заругают тебя! — вздохнула на прощание Тихоновна.

Но старуха и не расслышала этого прощального вздоха. Идея, которая внезапно осенила ее, была проста: поехать в город и попросить внука помочь достать иконку.

Она бывала в городе ежегодно, а причина заключалась в том, что в середине декабря к ней в Красные Жемчуга непременно приезжал зять — иногда с Лариком, чаще один, но всегда с остро отточенным немецким кинжальным штыком в чемодане. Этим штыком он самолично колол откормленных свиней, умело разделывал туши, а потом пристойно пил три дня под свежую убоину. Он ценил весь процесс — от неистового предсмертного вопля до жареного ливера, — но колоть все же любил больше всего. Спозаранку, когда еще только кипятилась вода, заготовлялись тазы и ведра, он пребывал в приподнятом настроении, напевал, подправлял на оселке штык и шел в закут, шагом торжественным и неспешным.

И колол артистически, с одного удара пронзая свинячье сердце; ловко подвешивал тушу на балку, перерезал горло, спуская кровь, и начинал азартно, с почти чувственным наслаждением разделывать, ловко швыряя по тазам и ведрам ливер, сало, куски мяса. В этот момент бесцветные глаза его словно загорались изнутри, окровавленные руки работали с вдохновением и точностью хирурга, и ликующий смешок, похожий то ли на страстный всхлип, то ли на довольный клекот, сам собой рвался из груди. Работал он без перерыва и помощников до изнеможения, но не покидал закута, пока не заканчивал разделки. Потом шел в истопленную тещей баньку, долго парился, возвращался тихим и умиротворенным и выпивал в три приема бутылку под свежий ливер. А на следующий день все повторялось, и так как старуха ежегодно выкармливала троих, то все и укладывалось в три дня неимоверной работы, неимоверного торжества и неимоверного наслаждения. А потом мясо грузили в «Ниву», зять сажал тещу в машину и вез в город, где она и продавала свежую свининку на рынке аккурат перед самыми новогодними праздниками. И жила у дочери, пока не распродавала всего, после чего ее отправляли назад на машине, в которой

заодно подбрасывали и корм на будущую партию: жмых или комбикорм, гнилую муку или отруби, заранее насушенные сухари и все, что только удавалось достать. Неделю, а то дней десять старуха отдыхала, а потом зять привозил новую троицу розовых, визжащих поросят, которым через десять-одиннадцать месяцев надлежало стать предметом рыночной торговли, и цикл начинался заново. И все к этому привыкли, все в это втянулись; старуха выкармливала, зять колол, дочка где-то работала, Ларик где-то учился, а теперь, как вдруг выяснилось, затосковал по ликам святым.

Собралась старуха быстро, да и что было ей особо собираться: не невеста, не молодка, да и нарядов-то — ровно один, в котором на рынке торговала. Ей очень хотелось привезти хоть каких-нибудь гостинцев последней своей родне, но в огромном пустом ее доме давно уже ничего не водилось, кроме того, без чего невозможно было обойтись в хозяйстве. Она прекрасно знала об этом и все же зачем-то рылась в сундуке, перебирая старое, никому не нужное тряпье. На самом дне под тряпками лежала деревянная шкатулка, которую когда-то — давным-давно! — сделал ей, невесте, ее будущий муж: там хранились редкие

письма с фронта — пять от мужа да по два от сынков, похоронки, какие-то старые справки, бумажки, документы, осоавиахимовский билет Шурика и орден Отечественной войны мужа, который вручили ей в сельсовете на вечное хранение уже после войны. И сейчас, наткнувшись, развернула и долго глядела, потому что вспомнила вдруг сон, безгласые, забитые землею рты и черные провалы вместо глаз. Орден был ее единственной ценностью, и старуха ясно представляла себе и то, что это ценность, и то, что она у нее единственная. И что если ее украдут, пока она будет в городе, то украдут не орден, не вещь, а саму память о муже, реликвию, нечто столь же святое, как икона. Старуха завернула орден в тряпочку и спрятала на груди под кофтой, будто нательный крест, который ее заставил снять собственный муж еще в те времена, когда жег последние иконы.

С утра зарядил дождь, и старуха добиралась от Красных Жемчугов до родного села долго и тягостно. Сперва ее подвез тракторист, ехавший на молочную ферму. Далее поплелась пешком, а дождь не утихал, и она порядком промокла, когда ее нагнал грузовик.

— Садись, мать!

Шофер оказался пожилым, добродушным и разговорчивым. Был он из местных, из села, но старуха его не знала, а он быстро выяснил, кто она и откуда. И почему-то очень обрадовался:

— Значит, это твой бедноту на выселки увел? Ну, история, нам об этом еще в школе рассказывали! И все мужики в войну полегли? Вот оно, значит, как дело-то в Жемчугах обернулось. Что же, мать, до автобуса еще часа три, никак не меньше, так я тебя пока к своей мамане отвезу. Обсушишься, обогреешься, чайку попьешь.

Шоферская маманя оказалась помладше старухи, и старуха ее не помнила. А маманя старуху помнила, и мужа ее помнила, и митинг тот, на котором беднота решила отселиться ради новой жизни, и сам исход их из села — с красным флагом, гармошкой да песнями: тогда она, сегодняшняя шоферская маманя и бабка двоим внукам, была девчонкой-подростком, все замечала, все видела и все уложила в памяти своей.

— Помнишь, твой-то сказал, что революция, мол, всех поменяла и теперь тот хозяин, кто вчера рабом был, а тот, кто был хозяин, тот сегодня раб? А я помню, все помню! И еще так: это рабы, говорил, ждут от жизни милостей, а мы хозяева, мы сами возьмем милости эти. Вот постановим,

что через пять лет будет у нас счастливая жизнь, и выполним такое свое постановление.

Уласканная, согретая и обсушенная, старуха наслаждалась чаем и воспоминаниями о собственной молодости.

Ее память, надорванная четырехкратными потерями в войну, многое уже утратила, многое в ней истерлось и померкло, а у хозяйки голова была ясной, воспоминала она с удивленным восторгом, и старуха испытывала теплую благодарность и радость на душе.

— И тебя помню, ой помню! Все бабоньки в красных платочках, а ты — в белом. Под красным флагом шла рядом с мужем, ребеночек на руках, и пела звончей всех, а платочек на тебе — белый.

— Белый, белый, точно ты говоришь, милая, — беззубо улыбалась старуха. — А знаешь, почему белый-то? А потому, что забежала я к отцу своему, к батюшке родному, благословения на уход получить, а он меня за волосья да по всей избе, да по всему двору! Уж не знамо как вырвалась простоволосая из родительского дома, а косынка красная да полкосы там и остались, в руках у батюшки. И больно мне, и совестно, и реву я, и задами к тетке своей, к Степаниде Мироновне: помнишь ее? В проулке за лабазом купца Дер-

гунова жила, мужа у ей в гражданскую убили? Вот она мне свой платочек-то и дала. Драную батюшкой родным голову покрыть.

— Ай, помню Мироновну, помню! — обрадовалась хозяйка и даже руками всплеснула. — Она все песни знала, и голос у нее был звонок, и ее на все свадьбы приглашали. И на моей она тоже песни играла и глядела, чтоб все по закону было, как положено, и по обычаю.

— Вот, вот, она самая, тетка моя, — бормотала старуха, улыбаясь и утирая обильные слезы. — Вот, вот, значит, белый платочек…

Обсушили, обогрели, чайком напоили, и старуха три часа тряслась в автобусе с улыбкой. Дождь моросил, грязь под колесами хлюпала, из ухабов фонтанами била до самых окон, небо серое и низкое, и ветер, и дорожка районная — только зубы поспевай считать, у кого они есть! — а старуха улыбалась до самой станции.

Правду сказать, так не дальний путь и не пересадки ее беспокоили. Для нее все было простым и естественным, и никакие сложности жизни, никакие трудности бытия и быта не могли ни испугать, ни насторожить, ни даже удивить ее. И боялась она не встречи с ними, с трудностями, а встречи с «самим». С мужем единственной

дочери, с отцом единственного внука, с зятем Эдуардом Леонтьевичем, который с таким виртуозным мастерством, с таким восторженным наслаждением колол и разделывал свиней. И очень страшилась предстоящей встречи и особо — объяснений, как смела покинуть свиней, которых откармливала по лично составленному «самим» рациону и режиму.

— Наши хрюши на месяц раньше государственных созревают! — восторгался он, заедая водку жареной кровью. — Так держать, мамаша!..

Когда села в поезд, тревога достигла вершины. Старухе уже не сиделось и не дремалось: она ерзала на жесткой скамье, вздыхала, вставала, ходила, снова садилась, беспокоя попутчиков. Она терзалась и ехала, ехала и терзалась, до ужаса пугаясь предстоящей встречи с «самим». И чем ближе подъезжала она к городу, тем все нетерпимее становилась тревога и все большим — ужас. И, приехав, старуха два часа сидела на вокзале, чтобы уж наверняка «сам» оказался на работе.

— Ты что это, мам? Погорела или хрюшки заболели?

Светлана была стройной полноватой женщиной, ведущей тяжкую войну с весом, талией, бедрами и модой. Любила ходить в гости, принимать

у себя, вкусно готовить и долго, уютно пить чай, а потом бегала в группе здоровья, маялась в сауне, страдала в руках массажистки, но непременно упаковывалась в тот размер, который считался оптимальным для ее возраста. Этой борьбой, по сути, и была заполнена вся ее жизнь, потому что должность методиста при Доме медработника являлась скорее престижной, учитывая свободный рабочий день, неясный круг обязанностей и маленькую зарплату. Кроме того, это был если не ход, то лаз к медицинским светилам, способ добывать дефицитные лекарства и путевки на вожделенное Черное море; правда, у мужа в этом смысле имелись более весомые возможности, но одно не только не исключало другое, но и создавало различные варианты: «Иван Петрович, дорогой, не желаешь ли с нами на солнечный юг косточки погреть?» А Иван Петрович — гастроном, ателье мод или станция техобслуживания. Все свершалось по законам круга, который они считали своим и который их считал своими: визиты, звонки, поздравления, шутки, подарки, одолжения, совместные поездки на курорт, на рыбалку, на дни рождения, на пикники с шашлыками и так далее и тому подобное…

— Свиньи заболели? Подохли? Пали? Ну, чего

молчишь?

— Нет, Светочка, нет, слава богу, слава богу все.

Прочастила старуха, пролепетала и примолкла, потому что до сей поры, до свидания с дочерью, так и не подумала, что же сказать-то ей с порога, как объяснить необъяснимое: почему бросила свиней и вдруг, без разрешения, без предупреждения даже прикатила в город. «Здрасте!» Выкладывать сразу про икону, что казалось таким простым и естественным дома, здесь было явно не к месту.

— Измучилась я с головой, доченька, прямо спасу нет. Все кружится, все плывет, особо по утрам. Может, думаю, порошков мне каких?

— Из-за этого хозяйство бросать да ехать с пересадками? — недовольно проворчала дочь. — Могла бы и в письме описать свои кружения, а я бы выслала что требуется: мне же только по телефону позвонить, и всю аптеку на дом принесут. Ну да ладно, раз уж приехала. Поди в ванну залезь, погрейся, а потом чайку попьем, у меня тортик остался. Погоди, халат дам, полотенце. Спасибо скажи, отгул у меня сегодня, а то поторчала бы ты на лестнице!

Светлана была недовольна ее самовольством, но не до крика, и старуху это ободрило. На нее

всегда все ворчали, и она уже свыклась с этим ворчаньем. Смиренное молчание ее действовало не то чтобы умиротворяюще, а, скорее, как прекращение подачи горючего, огонь угасал, и наступала тишина. И старуха тихо радовалась, что открыла такой простой и безотказный способ восстановления мира в собственном доме, способ, в основе которого лежало все то же терпение. И, приняв ванну с дороги, покойно сидела за кухонным столом, чинно и неспешно пила чай, пробовала торт и конфеты и слушала свою ненаглядную и последнюю, которая к тому времени уже отошла и от удивления, и от неудовольствия.

— Трудно стало жить, мама, ой как трудно, вы там, в деревне, и не представляете себе. У моего какие-то неприятности, начальника сменили, что ли: разве ж он скажет? Он все про себя переживает, ходит да молчит и даже телевизор не смотрит, а по ночам вздыхает и ворочается и меня отталкивает, представляешь? А уж это признак верный, что служебные у него неприятности. Да и у меня на работе строгостей навели — ну, будто у станка я, ей-богу! Представляешь, на минуту отлучиться нельзя: изволь расписываться в книге, во сколько явилась да на сколько отлучилась.

А нервы мои, которые я на них потратила, так это никто не считает. Это так, в порядке вещей: Светочка, сделайте это, Светочка, сделайте то, Светочка, организуйте выставку, Светочка, проверните юбилей. И Светочка вертится, Светочка проворачивает, Светочка ночей не спит, а им, видите ли, жалко, что я на часок в магазин сбегаю. Вот жизнь проклятая, не то что у вас, в деревне…

Старуха не могла оценить всей горечи этих жалоб, слушала вполуха, но одно уловила, потому что царапнуло ее: «у вас, в деревне». «У нас, в деревне, — ей все время хотелось поправить, — у нас, Светочка, ты же деревенская, то же родина твоя, зачем же ты так-то, будто чужая ты нам?»

— Тебе учительница Мария Сергеевна кланяться велела, — невпопад сказала она.

— Ну и что ей надо?

— Ничего.

— А-а. Жива еще? Старая ведь, страх.

— Ну как? Маленько меня помлаже будет. Я уж бабой была, родила уж, а она еще только…

Светлана весело рассмеялась:

— Ты, что ли, молодая? И ты, как говорится, прогноз — склероз да на воз. Остроумно, правда? Это у нас знакомый один так говорит, невропатолог. Заметный медик, перспективный. Чаю

еще налить? Ты торт бери, пока дают, в деревне такого ни за какие шиши не купишь. Чаек, между прочим, из настоящей индийской банки, мне по знакомству достали. Теперь ведь давно уже не покупают, теперь только достают, потому что то, что можно купить, то нельзя носить, а что хочется носить, то нужно доставать. Дефицит, слыхала Райкина? Ох и наживаются же на нем некоторые, ты, мама, и представить себе не можешь! Что там ваши деревенские лавочники да кулаки — мелочь пузатая, им такие доходы и не снились, как у наших у некоторых…

Заверещал телефонный звонок, и Светлана бросилась в комнату. А старуха обиделась, но совсем уже не на то, на что прежде, не за свои Красные Жемчуга, а на то, что Светлана, дочь единственная, сказала про ее возраст да еще смеялась при этом нехорошо.

Светлана не возвращалась, время шло, и старуха помаленьку успокоилась. Слов из комнаты не доносилось, но тон слышался, и по этому тону она поняла, что дочь виновато оправдывается. Старуха допила чай, помыла посуду и со стола убрала, когда Светлана явилась расстроенной и озабоченной. Молча достала сигареты, прикурила, села напротив и стала глядеть сердито.

Явно ждала, чтобы ее спросили, а она бы в ответ могла выкричаться; старуха это поняла сразу и спросила, хотя ей страсть как не хотелось ни о чем спрашивать:

— Сам звонил?

— Сам, сам! — с подготовленной обидой закричала дочь. — Он своего нового завсектором в ресторан еле-еле уговорил, а тут тебя нелегкая принесла! Ну что мне с тобой делать, что? И назад, в деревню вашу вонючую, не отправишь, и здесь никого из родственничков. Может, в Дом медика тебя, а? Там сегодня лекция…

— Лучше я, дочка, тут посижу, — вздохнула старуха: резануло ей слух «вонючей деревней». — Пугливы мы, стало быть, деревенские, куда уж нам на люди-то.

Но дочь не слышала, да и не слушала ее. Моложавое, ухоженное, упитанное кремами лицо ее словно осело, словно состарилось вдруг, на глазах, а всегда старательно приподнятые уголки губ горько опустились. Не сказав ни слова, прошла в комнату; там было тихо, и старуха, любопытствуя и чуточку пугаясь за дочь, заглянула через открытую дверь: Светлана сидела перед телефоном, опустив плечи и как-то безнадежно ссутулившись.

— Ты что это? — спросила старуха, входя. — Может, случилось что, беда какая?

— Вот. — Светлана потыкала в телефон. — По телефону через приятелей общаемся — красиво, да? Вот до чего родной сыночек довел.

— Да неужто?

— А из-за чего все началось, знаешь? — не слушая ее, продолжала дочь, и в голосе ее слышались слезы. — Поначалу, как в институте он начал учиться, все нормально шло, обыкновенно, как у людей: ну, приятели там, магнитофоны эти, диски, девочки знакомые, танцульки, в кафе когда сходят или дома пошумят. А потом вдруг — на тебе, задумался! Старых друзей всех — побоку, курить бросил, молчаливый стал, нервный какой-то. Раз спрашивает: вы, говорит, как, консервы или еще хоть что-то живое в вас осталось? Ну, отец, конечно, на смех все перевел, на шутку: мы, говорит, тебя, дурака, одеваем, обуваем, кормим да поим — что может быть живее? А сынок, представляешь, мам, берет из серванта вот этого набор хрустальный — шесть фужеров и шесть рюмок в фирменной коробке — да как шмякнет его об пол! Звон, брызги, осколки! Окаменели мы, а он и говорит: ну, говорит, докажите, что вы — люди. Ну, отец, конечно: сейчас, говорит, я тебе

докажу. И ударил. Раза два, что ли, или три.

— Ударил, значит, — повторила старуха, словно уточняя.

— А наш отец как бы поступил, если бы Гриша или Шурка дорогое что-нибудь нарочно об пол треснули?

— А что у нас было-то, кроме совести?

— Ну, знаешь, это все демагогия, все в глаза этим тычут, вот и сын тоже. Ну и получил, чего заслужил, так хоть прощения попроси, правда? А он ни словечка не сказал, только побелел весь, повернулся да и ушел. И полгода глаз не кажет: если и забежит на минутку, когда отца дома нет, схватит свои книги — и тут же за дверь. Даже со мной не говорит: «да», «нет» — вот и весь его разговор с матерью. Где живет — неизвестно, где спит — неизвестно, как учится — тоже неизвестно. Да что там: что ест, и то мне, родной матери, неизвестно! Телефон какой-то странный дал и велел по нему только одно говорить, если я его увидеть захочу: когда отца дома не будет. Представляешь? И я говорю. Говорю!

Она поспешно, точно боясь передумать, набрала номер. Он оказался занятым, но Светлана упорно набирала его раз за разом, пока не прорвалась.

— Это кто, Толя? — голос ее сразу же сделался медоточивым. — Извиняюсь, это сын мне ваш телефон… Что? Да-да, Ларик, можно его позвать? Нельзя? А почему нельзя? А вы скажите, что мать просит. Все равно не может подойти? Ну, хорошо, хорошо, вы передайте тогда, что бабка его приехала, а нас с отцом весь вечер дома не будет. Не забудете? Значит, никого не…

Видимо, там положили трубку, потому что Светлана оборвала разговор. Глянула на старуху злыми глазами:

— Не может подойти, когда мать просит, видела?

Дочь говорила что-то, но старуха уже не слышала. Она вдруг как бы очнулась, когда заговорили о внуке, который где-то там учился, что ли, а тосковал по иконам, по чистоте и откровению, по спасению души своей, как она поняла со слов старой учительницы Марии Сергеевны.

— Ничего не признает и никакого уважения не имеет ни к старшим, ни к дому, ни к должности, — продолжала тем временем Светлана, и в самоуверенном тоне ее появились нотки не столько горькие, сколько растерянные. — А Ларька за ней как нитка за иголкой: Дашка да Дашка. А в Дашке, как говорится, ни кожи ни рожи: тоща

да так вежлива, что прямо хоть вой. «Извините», «пожалуйста», «будьте так добры» — совсем мне парня испортила…

Не переставая ворчать, дочь распахнула шкаф и теперь металась от него к большому зеркалу и обратно, прикидывая то очередной костюмчик, то кофточку, то платье. А старуха и не пыталась вникнуть в дочкины ворчанья про внучка и неизвестную ей Дашку, но радовалась, потому что эта общая, женская, семейная, родственная неприятность сблизила их, как давно уж ничего не сближало. Дочь, занятая подбором вечернего наряда, перестала напускать на себя важность и значительность, стала по-бабьи жаловаться на сына и его новую подружку, превратившись в нормальную, в меру раздражительную, в меру усталую женщину, мать, жену и хозяйку. И старуха поняла, что все усиленные подчеркивания «вашей деревни» — все напускное, чужое, нахватанное. И поначалу старуху обрадовало, что эта городская пена, газировка эта не дала корней и ростков, но потом подумала, что и прежних-то, деревенских корней в ее Светлане нету более, и сильно огорчилась, потому что дочь представилась совсем уж перекати-полем, совсем уж вырванным из земли кустом, обреченным на

гибель безо всякого проку. С дочери мысли ее перекинулись на зятя, на «самого», столь самозабвенно коловшего свиней, и в нем она тоже не нашла ни единого корешка, как у камня, не способного дать продление жизни, или выкорчеванного пня, обреченного на медленное гниение и распад. И только Ларик, внучек ее, представлялся укоренившимся, устойчивым, способным думать не об одних лишь удовольствиях и приморском отдыхе, но и о душе. И поэтому она очень ждала Ларика и немножко побаивалась какой-то Дарьи, за которой, по словам дочери, он ходил следом, как телок.

Но тут приехал «сам». Один: гость задерживался на работе, и за ним еще предстояло вернуться. Эдуард Леонтьевич был очень возбужден, непривычно суетлив и озабочен, что не помешало ему, однако, ворваться в кухню весьма агрессивно:

— А рацион? Режим? Откорм? Ты что, мамаша, стронулась-сдвинулась? Почему все бросила, на кого? Подумаешь, голова у нее кружится! У всех голова кружится, а мы, между прочим, работаем. И себя не щадим. Завтра же порошки получишь, и давай к свинкам. К свинкам, мамаша, к свинкам, не срывай мне процесс. Я, понимаешь, посильно помогаю выполнять Продовольственную про-

грамму, а ты дезертируешь с трудового фронта. Немедленно назад, поняла? Светлана, добудь все лекарства, проконсультируйся с кем требуется, — и на вокзал. На вокзал, мамаша, на вокзал без промедлений и задержек. Животину, понимаешь, любить надо не на словах, а на деле. Так что в декабре, мамаша, увидимся, а поужинаешь сегодня одна. Ты уж не обижайся, сама понимаешь, какая у нас ситуация и какого ответственного товарища угощаем. Светлана, я вскорости заеду, чтоб готова была, как штык, понимаешь. А еще лучше, если к подъезду спустишься, чтоб такси зря не стояло. Лады?

Ринулся к дверям, а старуха — возьми да и спроси:

— А Ларик как же теперь?

— Что? — Хозяин остановился. — Я в его возрасте, знаешь, дрова на станции грузил, а он с жиру бесится. А хозяин здесь я, понятно? И пока он прощения не попросит…

— А коли в деда он? — вздохнула бабка. — Которые в деда, такие не попросят.

— Ничего, и таких заставим. Экономически прижмем, чтоб и не пикнули, поняла, старая? И все, и не встревай в наши дела!

И умчался, дверь за собою защелкнув.

— Хлопотун, — сказала старуха; тон был нейтральным: понимай как хочешь. И добавила, помолчав: — Эдуард Леонтьевич свиней колоть большой спец. Приехала бы, поглядела.

— Это в декабре? Да ты что, мам, соображаешь? Последний месяц: творческие отчеты, научные дискуссии, встречи по интересам. Это же все организовать требуется, провести на должном уровне, а кто проведет? Светочка проведет: кого упросит, кого умаслит, а перед кем и глазками поиграет. Действует! Сразу: «Светочка, Светочка!..»

Светлана гордо посмеялась, тряхнув в меру подкрашенными, в меру подвитыми волосами, до сей поры еще пышными и красивыми. А старуха глянула удивленно:

— Это, стало быть, ты у них — Светочка? Бабе к полста годам, а все — будто девчонка. Так вот и кличут — Светкой?

— Светочкой, а не Светкой, — несокрушимо улыбаясь, поправила дочь. — А возраст для настоящей женщины — миллион загадок. Я такое наобещать могу, что никакой девчонке и в голову не придет, а ученые, мам, они все дураки страшные в этом смысле. Вот мой Эдуард, к примеру, мужик! Его на глазках не проведешь, он всякой бабе цену знает. А профессора всякие... — Она

весело расхохоталась. — Лопухи. Уши развесят, губы распустят, и делай с ними, что требуется по обстоятельствам.

— А что требуется? — спросила старуха с некоторым стеснением.

— Да не то, что у вас там на сеновале, не то! Я своему не изменяла и не изменяю, надо очень. А если ученый, допустим, из Норвегии приехал, должна я его уломать перед коллегами с отчетом о поездке выступить? Обязана, мне за это деньги платят, а как я это проверну — моя забота. Служба у меня такая, мама.

— А чего о тебе думают? — вздохнула старуха.

— А что обо всех женщинах, то и обо мне. Обо мне даже лучше, потому что я со всеми кокетничаю и на виду, не то что некоторые.

— Светочкой, значит, зовут, — зачем-то еще раз уточнила старуха и вздохнула. — А мне твой отец и братья часто снятся. Будто, значит, сидят они и молчат, а глаз у них нету.

— Мистика это, мама. — Дочь тоже вздохнула. — А прошлого Девятого мая… Нет, седьмого, на вечере Дня Победы, обо мне директор нашего Дома медиков говорил. Что я — солдатская дочь и солдатская сестра, и потому я так ответственно отношусь к своим обязанностям.

— О тебе, значит, говорили? Это хорошо. А об отце, о братьях твоих Грише да Шурке?

— Ну откуда кто о них знает? Это я в своей автобиографии всегда пишу, что солдатская дочь, что потеряла на фронте отца и обоих братьев.

Продолжая без умолку болтать, Светлана сосредоточенно, без спешки и суеты занималась собой. Оделась, сама себе со вкусом и любовью сделала эффектную и очень к лицу прическу, умело наложила тон, подвела глаза, подкрасила реснички и губы. Посмотрелась в зеркало, что-то подправила, победно глянула на мать.

— Ну, как я тебе нравлюсь?

— Красивая ты баба, — с гордостью за нее улыбнулась старуха.

— Баба! — недовольно фыркнула дочь. — Скажешь тоже. Не баба, а цветущая женщина. Бабы — это которые навоз вилами ворочают, а женщина — высшее творение природы, как у нас один профессор говорит. Вы, говорит, Светочка, венец природы, высшее ее творение. Чудак!

— Почему же чудак? Это ведь ты — чудак, — тихо сказала старуха, ощутив вдруг ранящую обиду за дочь, которой смеялись в глаза, а она этого не желала понимать. — Какой уж там венец, когда ты под ним свое двадцать пять годков тому назад

отстояла.

— Темнота! — Дочь расхохоталась скорее нервно, чем звонко, глянула на часы и заторопилась, хотя торопиться было еще рано. — Ларика чаем угостишь, там еще торт остался и конфеты. Новую коробку не открывай, она для другого предназначена.

— А коли он голодный?

— Сам отыщет, что надо, не маленький. Я же тебе не о еде объясняю, а об угощении, а это две большие разницы, как в Одессе говорят. Ну все, кажется. Все. Побежала я. — Надела шубку, остановилась в дверях, сказала не глядя: — Смотри, чтоб Ларик не позже одиннадцати ушел, ладно? А то, не дай бог, с отцом столкнется — достанется тогда нам с тобой.

— За что? — с хитроватой наивностью спросила старуха, хотя сама отлично знала, за что именно им достанется от хозяина.

— Ладно тебе, — хмуро сказала Светлана: ей не понравилась лукавая материнская наивность. — Чтоб не позже одиннадцати исчез: мой особо горласт с выпивки-то, поняла? Ну, тогда поцеловались.

Махнула рукой и вышла, так и не поцеловав мать, которая уже с готовностью двинулась было

к ней. Дверь захлопнулась перед самым носом, старуха остановилась, вздохнула невесело и поплелась на кухню.

Она оказалась одна в квартире, где ей никогда одной оставаться не случалось и где она, кроме кухни, ничего толком не видела. Ни спальни дочери с зятем, ни комнаты Ларика, да и в большую-то — то ли гостиную, то ли столовую — она всегда заглядывала мельком, наспех, стесняясь Светланы, а особенно «самого», хоть ей и случалось ночевать там на диване при ежегодных рыночных распродажах. Ей совсем не чуждо было нормальное женское любопытство; наоборот, ей очень хотелось не только все увидеть, но и все детально рассмотреть, подержать в руках, потрогать и пощупать. Однако природная скромность и чувство постоянной внутренней оглядки на зятя не позволили ей делать этого без хозяев, и старуха терпеливо сидела на кухне, хотя ей очень хотелось пройтись — просто хотя бы пройтись! — по всей дочкиной квартире. «Нет, не отвыкла Светлана от нас, — думала она о дочери. — Не отвыкла, а отрубилась. А отрубленная ветка коли уж и зацветет, так ни плодов не даст и корней не пустит. Вот и выходит, что дочь моя — ни в деревне овца, ни в городе коза, как отец ее говорил.

Обсевок людской. Родная дочь, а — обсевок, вон оно, значит, как получается, когда без веры, без истины в себе человек жить начинает».

Думала старуха о судьбе дочери горько, но спокойно, уже как бы признав саму справедливость такой судьбы, как бы приладившись к ней. Однако тревога все же копошилась в глубине ее существа, потому что утонула она в своих невеселых раздумьях и не расслышала, как повернулся в дверях ключ, как приоткрылись эти двери. А вынырнула из мыслей своих, услышав:

— Бабуля?..

Опомниться не успела, как взлетела в воздух, оказавшись в объятьях, как чмокнули ее звонко в обе пергаментные щеки, как захохотали вдруг весело, громко и искренне. От души.

— Бабуля приехала! Бабуин мой! Баобаб! Бабуля-барабуля!

— Ларик… Внучек.

Заплакала старуха. Потекли слезы по загрубелым, как шрамы, морщинам, но то были добрые слезы, и морщины смягчились, растягиваясь в улыбку:

— Внучек…

— Я, бабуин. Предков нет?

— Чего?

— Тихо, сейчас будет тебе сюрприз. Приготовились? — прошел к дверям, маня за собой старуху, взялся за ручку. — Раз, два… Три!

И распахнул дверь. А в проеме ее, как в раме, оказалась худенькая, очень стройная девушка с разбросанными по плечам длинными волосами. Девушка улыбнулась старухе, а старуха, сразу все припомнив и все поняв, улыбнулась в ответ. И сказала:

— Ну проходи, что же ты? Через порог не знакомятся.

Девушка шагнула в прихожую, прикрыв за собой дверь. Ларик обнял ее, прижал к себе, сказал каким-то совсем особым, чуть вздрогнувшим голосом:

— Знакомься, бабуля. Это Дашка моя.

И старуха сразу вспомнила, сразу узнала этот приглушенный, особый, как бы чуть споткнувшийся голос: и ей когда-то доводилось слышать его, как и всякой женщине, если повезло той женщине с любовью. И поэтому бабуля-барабуля, улыбнувшись еще мягче и теплее, сказала, тем не менее, ворчливо:

— Неправда твоя, никакая это не Дашка. Это Дашенька твоя, внучек. Дашенька, понял?

— Понял, бабуин! — радостно засмеялся Ла-

рик. — И все ты замечательно правильно говоришь, потому что Дашенька уж пять дней как моя законная супруга.

И воцарилось некоторое молчание, замеченное, впрочем, только старухой да Дашей; Ларик так его и не ощутил, потому что пребывал в состоянии приподнятом, шумном и восторженном.

— Законная, значит? — тихо переспросила старуха.

Ее смущало, что свадьба, брак этот или как там теперь венчанье называется, прошла без родителей, без их благословения и даже присутствия.

— Да. — Даша тоже почему-то смутилась. — Знаете, вы нас должны понять.

— А чего же выкаешь, коли родственница? — строго спросила старуха. — Я тебе родная бабка теперь, вот, какая есть. Так что давай уж поцелуемся.

Они торжественно поцеловались, а Ларик, радостно завопив: «Бабуин, ты — гений!» — кинулся в столовую. Пока Даша снимала курточку, пока причесывалась, пока бабка провела ее на кухню, он чем-то звенел и гремел. А потом притащил бутылку шампанского и три бокала.

— Без спросу?

— А! — Ларик махнул рукой. — Ты, бабуля,

точно сказала, что родная нам, вот и чокнемся по такому случаю. У Дашк… то есть у Дашеньки, тоже фактически никого близкого в этом городе, как и у меня, и получается, что ты для нас — единственная родственница во всем мире.

Он говорил действуя: искал в холодильнике еду, вытаскивал ее, доставал из стенных шкафчиков посуду. Старуха слушала не перебивая, но губы ее стали сами собой поджиматься в строгую ниточку.

— Это как же так — единственная? У тебя мать есть. И отец. Родители, значит, вот как это называется испокон веку.

— Испокон это, конечно, называется, а теперь, бабуля-барабуля, все по-другому, — без тени огорчения сказал Ларик. — Садитесь к столу, дорогие мои дамы.

— И теперь они тебе — тоже родители, — непримиримо проворчала старуха, садясь.

— А вот это, бабуленька, ошибочное утверждение: теперь они мне — Штирлицы, а никакие не родители. Думают одно, говорят другое, а делают третье — вот какая интересная произошла с ними метаморфоза. Живут в собственной стране как шпионы: врут всем да каждому, со всех сторон в дом волокут, что выпросят, сопрут или на «я

— тебе, ты — мне» выменяют, обещания да клятвы раздают направо и налево, а сами только о себе и думают. И способны думать только о себе, о куске потолще, о квартире побольше, о солнце посолнечней, а над остальными — да хоть Всемирный потоп!

Начав в тоне озорном, почти легкомысленно-шутливом, Ларик незаметно увлекся собственными обличениями, ожесточился и закончил горестно и серьезно. И вздохнул:

— Слиняли мои предки, баобаб, с красного на розовенькое в полосочку да еще с оборочками и кружавчиками, чтоб красивенько выглядело. Красное на прекрасное сменять — вот в чем вопрос современности.

Женщины молчали; старуха пыталась понять, а Даша пока просто наблюдала. Негромко хлопнула пробка, Ларик разлил шампанское и улыбнулся:

— Тебе слово, бабуля-барабуля. Ты для нас с Дашк… с Дашенькой не просто старшая — ты земля наша, то, на что еще опереться можно, чтоб не поплыть на брюхе, куда течением сносит.

Старухе очень редко приходилось пить, а шампанского вообще не доводилось еще пробовать. Но дело заключалось не в вине, а в ритуале, в обы-

чае, в благословении, которое внук с молоденькой женой не желали получать от собственных родителей, но хотели получить от нее. Она сознавала все значение того, что ей предстояло сказать, но готовиться и размышлять не умела, всю жизнь полагаясь на собственное сердце.

— Благословляю вас на мир и дружбу, дорогие дети мои, — тихо и просто сказала она, и Даша тут же встала, а затем вскочил Ларик, и они крепко взялись за руки. — Любовь — свет, а дружба — тепло: без света жить хотя и скучно, а можно, но без тепла застынет ваша семья и сами вы застынете, льдом покроетесь и в себя самих уйдете, для себя самих жить станете. А дед твой, Ларик… нет, ваш дед, внуки мои дорогие, говорил всегда, что одно есть на свете счастье — доброе дело для людей делать. Вот и вы доброе делайте, и будет в душе у вас свет, то самое, значит, что люди счастьем зовут. Вот за это я и пригублю рюмочку.

— Нет уж, бабуля, за такой тост шампанское до дна пьют.

— И в горле щиплет, и в нос шибает, — удивилась старуха, допив, тем не менее, бокал до дна. — Чудно вино пью.

— Ларик мне рассказывал, что ваш муж… ну, то есть дедушка, — Даша смутилась, но выпра-

вилась. — Дедушка собрал молодых, которым надоела неправда, и увел их из села на новое место.

— Красные Жемчуга! — с гордостью уточнила старуха.

— Красные Жемчуга! — повторила Даша и вздохнула. — Вы — счастливая, бабушка, вы удивительно счастливая: у вас были свои Красные Жемчуга. Вот и мы хотим, чтобы и у нас оказались свои Красные Жемчуга. А что для этого нужно? Для этого нужно смело и решительно отказаться от всего, что неправедно и жадно нажили нам наши заботливые родители, и стать свободными, как вы.

— Свободными от их барахла, — нахмурившись, пояснил Ларик. — От квартир, которые они выпросили, от стекляшек, над которыми всю жизнь как припадочные тряслись, от свиней, на которые машины покупались.

— Сильно же вы родителей своих не любите, — неодобрительно вздохнула старуха. — Нехорошо это, дети. Родители ведь для вас стараются, не для себя только.

— Для нас надо страну благоустраивать, а не собственную хату, бабуин.

— Значит, плохие у вас родители, так полу-

чается?

— Почему же — плохие родители? — негромко переспросила Даша. — Консервы, например, бывают хорошими, а все равно они — консервы. Вот и мои, например, родители — консервы, бабушка, понимаете? Закатали в них определенное содержание на вечное хранение, и вся жизнь для них как бы и существовать перестала. И нам они вместо теплых мыслей консервы в собственном соку вперед на всю жизнь предлагают. А мы не хотим их законсервированным духом дышать, мы лучше все с нуля начнем, понимаете? Вы же с нуля начинали, почему же нам ваш путь не повторить?

— Да уж начали мы, если честно, — негромко и непривычно серьезно сказал Ларик. — Даша из института в медучилище перешла, чтобы скорее закончить и получить специальность, а я тоже институт бросил, бабуля. Добровольно отказался от высшего образования, оплаченного папочкой с мамочкой да твоей каторгой со свиньями, и учусь сейчас на курсах шоферов-механиков. Закончим мы почти одновременно, летом, и поедем туда, где от нас реальная польза будет. Не халтура, не галочка, не вышибание планов во что бы то ни стало, а нормальная, нужная людям работа. Вот,

бабуин, что мы решили с Дашк… с Дашенькой и сделаем так, как решили.

— Господи, где же вы живете-то сейчас? — ахнула старуха, вдруг сообразив. — Где кормитесь-то?

— В столовой, — сказала Даша. — Рядом с нами очень приличная столовая, и сравнительно недорогая.

— А чего же сама не готовишь? Или не научили?

— Научусь, когда к плите пустят. А пока, бабушка, меня к ней не подпускают: хозяйка нам комнату сдала с условием, чтобы мы дома не готовили.

— О хозяйке ты напомнила исключительно своевременно, — сказал Ларик, вставая. — Вы поболтайте, а я книги свои пошурую, нечего им мертвым капиталом на полках пылиться.

С этими словами он прошел в комнаты, и женщины — старая и совсем еще юная — остались одни. Шампанское было уже выпито, и только у старухи вторично налитая ей рюмка искрилась нетронутой: бабка не имела привычки к напиткам вообще, а это шипучее вино показалось ей невкусным. Молодая нравилась ей («Добрая, видать, и заботливая, да еще неумеха»), и старуха разглядывала ее в упор, без стеснения, как раз-

глядывают дети.

— Груди чтой-то у тебя — с кулачок. Не вызрели вовсе.

— Почему? — Даша чуть покраснела. — Все нормально.

— А детей чем кормить будешь? Этим, чего в магазинах продают, или, может, вообще их не родите, как теперь водится?

— Дети у нас обязательно будут, — сказала Даша; разговор этот смущал ее, и чтобы скрыть смущение, она начала убирать со стола тарелки и ставить чашки.

— Грудь свою кормить надо, холить, в удобстве содержать, — ворчливо сказала старуха. — Это девки так считают, будто груди им для красоты дадены, — сама девкой была, помню, как напоказ-то топорщилась. А ты — баба теперь, ты понимать должна, что не твоя это красота, а деток твоих здоровье. Мать-то кто у тебя будет?

— Они с отцом разошлись, когда я еще маленькая была, — как-то невпопад ответила Даша. — Сначала я с нею жила, а потом она меня назад к отцу отправила. Мешала я ей, что ли.

— И больше не виделись?

— Она замуж вышла и в другой город переехала.

— А отец, поди, женился, — догадливо вздохнула старуха. — Мужики без баб недолго живут. Вот и осталась ты сиротинушкой при живых-то родителях, так получается?

— Не в том дело, бабушка, сейчас каждый второй, если не двое из трех, — сироты при живых родителях: когда они видят-то их? И главное, какими? Если не пьяными, то раздраженными, если не раздраженными, то обиженными, если не обиженными, то либо обманутыми, либо обманувшими. И непременно всегда, во всем — лгущими. Лгущими и врущими и в большом и в малом без всякого смущения! — Дашенька раскраснелась от волнения, похорошела, и старуха сейчас любовалась ею. — У меня мама… ну, то есть мачеха, хотя она потребовала, чтобы я ее мамой называла, — хороший хирург, золотые, говорят, руки, к ней с горем да бедой не только город — вся область едет. Нет-нет, никаких денег она не берет, что вы, что вы, у нас ведь бесплатное медицинское обслуживание! Но если вы в ее квартире одно несчастье свое оставили, а не хрустальную вазу или антиквариат, ею любимый, то операцию она делать не станет. Она сразу же по горло занятой окажется, прямо невероятно занятой, и резать будут ее ассистенты. А вот ес-

ли вы догадливы, щедры и при этом рассеянны — от горя, разумеется, от беды, что на вас свалилась! — тогда времени у нее хватит. Как только за вами дверь захлопнется, она тут же при мне и при отце к оставленному вами ринется. «Ну-с, любопытно, что же это нам сегодня забыли?..» Вот как она приговаривает и руки потирает при этом, представляете? И все будет сделано в полном соответствии со стоимостью забытого. Все! И больной будет спасен, потому что руки у нее действительно золотые, и такие забытые подарки она отрабатывает на совесть, если о ее совести вообще можно упоминать. Я еще в десятом первый скандал закатила, а она мне знаешь, бабушка, что сказала? Ты, говорит, доченька, у меня там, на Западе, имела бы виллу, яхту, голубой «мерседес» и ходила бы в мехах и бриллиантах, потому что я людей с того света вытаскиваю. Вот какая у нее философия, и я бы ушла сразу, если бы могла, но тогда я не смогла. Я только ревела да бунтовала, пока Ларика не встретила, а когда узнала, что и у него родители — консервы, «Штирлицы в собственной стране», как он их называет, тогда ушла. Как стояла, так и ушла, потому что мы с Лариком твердо решили, что так, как живут наши родители, жить не будем. Ни за что не будем, ни

за какие коврижки!

— Стало быть, это ты научила Ларика рюмки об пол грохнуть? А зачем так научила?

— А чтобы проверить, болтун он или человек. — Даша рассмеялась. — Пошутила я тогда, если честно, а он — грохнул.

— Проверила, значит? — хитро заулыбалась старуха. — Ну и как?

— Все сомнения мои в том хрустальном грохоте развеялись, вот, бабушка, что из шутки получилось. То получилось, что, когда он мне предложение сделал, я ни секунды не колебалась. И вы бы тоже не колебались, правда?

Старуха ничего не успела ответить — ни согласиться, ни пожурить за шуточку, ни удивиться, как вошел Ларик, неся огромную стопку книг в ярких глянцевых суперобложках. Положить их на стол он не смог — нижнюю держал двумя руками, а верхнюю прижимал подбородком, и Даша стала помогать. Она снимала книги по одной и клала на стол; старуха суетливо раздвигала чашки, очищая место, и получилось так, что как раз перед нею легла толстая и, видно, очень дорогая книжка, с обложки которой тепло полыхнуло золотом нимбов и венцов.

— Никак икона?

— Владимирская Божья Матерь, — пояснил Ларик. — Эта книжка хоть и про древнерусское искусство, а издана в Италии, и репродукции в ней — первый класс. Мать откуда-то приволокла — может, взятку сунули по обмену «ты — мне, я — тебе» — и мне подарила великодушно на прошлый день рождения.

С помощью Даши он переложил все книги на стол и теперь взял ту, с Божьей Матерью, и веером пролистал перед бабкой. И старуха обмерла, когда замелькали перед нею иконы. Большие, маленькие, средние. Божьи матери, спасы, угодники и мученики. Скромные и многоцветные, житийные и простые, в лик, в рост, поясные… Столько икон она видела только однажды: когда их жгли, а бабы боялись плакать, водили вокруг того костра хоровод и надрывно, заглушая внутренний вопль, орали: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

— Святых-то у тебя, Ларик, святых-то, — благоговейно вздохнула она и, помолчав, призналась в том, что тревожило: — А мы своих сожгли.

— Слыхал, старуха учительница рассказывала. Я ей: как же вы, культурный человек, допустили такое варварство? А она как завопит! — Он весело рассмеялся. — Оказалась до сей поры воинству-

ющей безбожницей, абсолютные консервы в собственном соку.

— Сожгли мы свои иконы, — не слушая, горько повторила старуха, но обратилась уже не к внуку, а к Дашеньке.

— Я же говорю: варвары. Это ведь, бабуин, не принадлежность религии, это народное искусство. Причем уникальное, а учительнице, чтоб поняла, напомнил, что искусство — это еще и стоимость. Мол, стоимость вы тогда жгли, если попросту — деньги. И при жуткой бедности своей сожгли целую кучу денег. Нет, ты только представь, Дашенька, ту нищету и ту темноту…

Ларик болтал, а старуха вспоминала тот костер, в который сама добровольно положила тайно унесенную из дома иконку, еще бабушкино благословение, бабушки-покойницы. Загодя, за неделю завернула в свои рубашки да юбки и вынесла к тетке Степаниде, потому что хотя и жила с молодым мужем отдельно от родителей, а иконки той у нее не было, поскольку муж запретил. И хранилась та ее иконка, бабушкино благословение, в материнском сундуке да в отцовском доме, пока не утащила она ее оттуда, чтобы самой же положить в общее пламя.

— Может, не столько в темноте тогдашней дело,

сколько в решимости? — предположила Даша, бережно разглядывая другие книги. — Когда люди решаются порвать с прошлым, они забывают о его стоимости, им тогда ничего не жалко. Вот нам с тобой, например… — Она вдруг вздохнула. — Нам жалко, что такие книжки продавать приходится.

— А что делать? — Он нахмурился и тоже вздохнул. — Больше у нас с тобой ценностей нет, а долги отдавать надо, пока нас на улицу не выбросили.

Старуха и слышала и не слышала, о чем они говорят, не в силах оторвать взгляда от икон. И почему так видятся, почему так светятся? Вроде и не портреты, а живее живых; вроде листок бумажный, картинка, а от глаз никуда не денешься; вроде старики с бородами, а взор грозен и суров, но нет страха перед взором, а есть трепет и признание за ними силы и правоты. И ведь хоть в книге, хоть вроде как фотография, что ли, а все равно истина. Истина перед тобою, сама истина в очи тебе глядит, сама истина твоего ответа требует. Да, пред этим станешь на колени, этому поклонишься, а главное — не солжешь, как Дашенька-то говорила. Это живому можно солгать, мертвому — так вообще лгать принято:

мол, какой был и как же мы теперь без тебя, а вот этим ликам, этим глазам, что насквозь все видят — и что перед тобою видят, и что за тобой тоже видят, — им не солжешь никак. Им всю правду…

— Внучек, Ларик, дай ты мне, Христа ради, иконку какую ни есть плохонькую из книжки этой, а?

Ларик что-то говорил Дашеньке, а тут будто словом поперхнулся. Помолчал, почти весело оглядев свою бабку, сказал:

— Ну, баобаб, ты и выступила!

— Дай, а? — В ее просьбе был детский страх, что непременно откажут, безмерное отчаяние от мысли, что отказ неминуем, и боязнь замолчать, оборвать просьбу: все казалось, что мало у нее слов. — Одна я, Ларик, помру ведь скоро, а одной помирать ой как страшно. Так ты дай мне иконку-то, дай, чтоб не одна я была, чтоб хоть кто-то еще в пустом дому. А ты с душой, внучек, ты вона иконы в книжках собрал, о вечном думаешь, стало быть, поймешь и меня, что нельзя, невозможно без святого жить, без глаз таких вот… А у тебя их вона сколько, целая книжка, так неужто родной своей бабке в одном-единственном листочке откажешь?

— Да погоди, погоди! — Ларик замахал руками,

беспомощно глядя на молчаливую жену. — Даш, это что она, а? Это ведь никакие не иконы, это репродукции, бабуля! Научный труд по искусству. Отпечатано на бумаге, видишь, и ничего святого нет в них и быть не может. Репродукции, бабуин, одно слово: репродукции! Да еще итальянского производства, а ты говоришь — листочек тебе. Для нас это — единственный капитал.

И опять старуха не слушала его, а что слышала — не понимала. Ясно было одно: отказал Ларик, наотрез отказал, и не будет у нее теперь иконки.

— Дед твой всю жизнь с капиталом воевал, а ты… Эх, Ларик, Ларик, деда бы хоть постеснялся.

— Был бы дед жив, я, может, и по-другому бы жил. Как знать, что бы было, если бы чего-то не было.

— Ты памяти его светлой посовестись…

— Он же шутит, бабушка! — вдруг громко сказала Даша, шагнула к старухе, обняла ее за плечи. — Он просто очень глупо шутит, вот и все. А книжку с иконами он давно вам подарил. Он специально ее сюда принес и перед вами положил. Правда ведь, Ларик?

— Ой, Дашка, я же до сих пор подонка по каплям из себя выдавливаю, — со вздохом признался Ларик. — Скотина я, да?

— Есть немножко, — улыбнулась жена. — Проси прощения, пока не поздно.

Ларик взял со стола книгу, подошел к бабке, стал на колени и протянул ей:

— От нас с Дашенькой, бабуля. Ты уж прости меня за глупые шуточки. Это так, знаешь, от игривости. Отец родной во мне заговорил вместо деда, но я ему больше слова не дам. Никогда!

— Ларик, Дашенька, внучонки вы мои родные, деточки вы мои…

Старуха отчаянно всхлипнула, но Ларик сразу же начал весело болтать, смеяться, и она заулыбалась всем своим счастливым, залитым слезами лицом. А тут и Даша пригласила к чаю; они чинно сели за стол и чинно, как того требовала бабкина неспешная душа, пили настоящий, душистый, крепкий чай, от которого старуха уже отвыкла. И сразу вспомнила о просьбе Тихоновны.

— Мы к поезду принесем, — сказала Даша. — Не беспокойтесь, бабушка, будет у вас настоящий индийский чай.

— Интересно, а что вы с дедом в Красных Жемчугах пили? — спросил Ларик.

— Мы новый мир строили, а когда строят, тут не до еды, — с некоторым вызывающим озорством сказала старуха. — Вот когда построят,

тогда и поесть можно, и чайку попить. А мы ничего еще построить не успели, потому что война началась.

И как-то незаметно, за чаем слово за слово рассказала старуха молодым то, что до сей поры бережно и строго хранила ее память. Рассказывала она неторопливо, часто отвлекаясь, припоминая мелочи и теряя порою нить собственных воспоминаний, но слушали ее серьезно, не перебивали, хоть часто и переспрашивали, и это живое участие внуков в давно отшумевшей, но для нее вечно звонкой судьбе мужа делало ее бесконечно счастливой. Настолько счастливой, что она порою прерывала рассказ и торопливо шептала про себя: «Господи, не сплю ли я? Господи, может, опять заорут свиньи и кончится сон этот, счастье мое кончится?..» Но рассказы ее, которые грели ее и трогали душу, потому что их слушали, оборвались не свиным визгом, бархатным боем больших часов, что стояли в столовой. Пробило одиннадцать, и молодые заторопились. Скоро, в четыре руки убрали со стола, перемыли посуду, не давая ей ни к чему притронуться, и старуха умильно утирала слезы, прижимая к груди тяжелую книгу с репродукциями самых святых и чтимых русских икон.

— Ты на всякий случай им про книгу не говори, — сказал Ларик. — Спрячь от греха, знаешь.

— Завтра, бабушка, в поезде встретимся, — сказала Даша, целуя старуху на прощание. — А за чай не беспокойтесь, у меня железная банка индийского к свадьбе припрятана.

— Так для свадьбы же, Дашенька.

— А мы свадьбу в Красных Жемчугах отпразднуем, — улыбнулась Даша. — Вот приедем в июне на последние каникулы и отпразднуем.

Молодые ушли, а вскоре шумно ввалились старшие. «Сам» был под веселым хмельком и что-то напевал, а Светлана беспричинно хохотала и все рассказывала, как с соседних столиков на нее пялились мужчины, как приглашали танцевать и как новый начальник, ради которого и был затеян поход в дорогой ресторан, лично «глаз положил».

— Чувствую, мам, ну прямо по трепету чувствую: положил!

Они говорили на кухне: хозяин плескался в ванной. Говорили приглушенно — собственно, говорила одна дочь, мать слушала, и это таинственное пришептывание очень старухе не нравилось.

— А Ларик-то не один приходил, — ввернула

она, как только дочь чуть примолкла. — Он с Дашенькой приходил.

— С фрей этой? — Светлана брезгливо сморщилась. — Мать у нее большую силу набрала, а то бы поплясала у меня эта девка.

— Девка? — Старухе сразу расхотелось рассказывать о тайной свадьбе, о любви, которую поняла и почувствовала, о смелых, хотя и полудетских, планах молодой семьи; вздохнула, покачала головой: — Не опоздай к счастью, Светлана, это ведь не к пирогу опаздывать.

— Нам бы поутру к профессору не опоздать, — резко сказала дочь. — Ложись-ка спать, поздно уже. А Ларика я от этой… — она выразительно помолчала, — все равно уведу.

«Не уведешь! — почему-то с веселым торжеством подумала старуха, устраиваясь спать опять на диване в столовой. — Там-то и посильнее, и поумнее, а главное, подобрее тебя сердечко-то бьется. Куда твоего подобрее… А Ларик — он в деда. В деда весь вызрел, вот что чудесно. И значит, жизнь его хоть и трудная будет, но счастливая, потому что для людей он ее проживет, как дед его прожил…»

И тут мысли ее прервались, потому что, раздеваясь ко сну, наткнулась она на орден, что был

завернут в чистую тряпочку и висел на шее на манер нательного креста. И то, что думы ее о сходстве собственного внука с собственным мужем так странно подтвердились вдруг посмертной наградой, поразило ее до глубины души. «Знамение это, — смятенно подумалось ей. — Знамение Господне, что орден этот геройский Лариону передать следует. Из рук в руки на вечное хранение и вечную его совесть». И хотя понятие «вечная совесть» ей и самой было не очень понятно, она упрямо повторила его: «вечная совесть», ибо верила, что говорила сейчас как бы не свои мысли, а подсказанные ей свыше. И торжественно перекрестилась, хотя давно уже не крестилась ни перед сном, ни по утрам. И спала крепко и спокойно, как ребенок.

На следующий день старуху отправили домой с вечерним поездом. Днем Светлана успела показать ее какому-то медицинскому светиле и раздобыть предписанные светилом лекарства, а весьма раздражительный с похмелья Эдуард Леонтьевич — отругать перед отъездом на вокзал:

— Чтоб впредь без самодеятельности у меня, мамаша!

На вокзал приехали загодя, минут за сорок

до отправления, но Светлана до вагона старуху провожать не стала. Остановилась вдруг посреди перрона и вещи поставила:

— Вот они, твои провожающие.

Впереди виднелись Даша и Ларик. Светлана нахмурилась, сухо простилась, даже поцеловала, будто чужую:

— Ну, счастливо, мам. Не болей. И попусту к нам не езди, мой не любит этого. Почта на то имеется, чтобы лекарства пересылать, поняла?

Еще раз коснулась губами щеки и пошла к выходу, стараясь, чтобы спина выглядела значительно и надменно, и ни разу не оглянувшись. Старуха проводила ее глазами, смахнула слезинки, а вещи поднять не успела, внуки с двух сторон подошли, с двух сторон обняли и повели в вагон.

— Вот вам чай, — сказала Даша в вагоне, доставая железную банку с диковинными зверями и птицами. — Пейте на здоровье.

— Опять выкаешь, — строго попрекнула старуха. — А я что велела?

— Приедем, поживем — и привыкну!

— И еще тебе презент к чаю, баобаб, — сказал Ларик и сунул в старушечью сумку коробку шоколадных конфет.

— Спасибо вам, дорогие вы мои, — ласково про-

слезилась старуха. — Уж так вы жизнь мою под конец украсили, так украсили.

— Почему это — под конец? — строго спросил внук. — Мы к тебе на каникулы собираемся, а там поглядим и… — Он помолчал, глянул на Дашу. — Признаваться?

— Непременно, — сказала жена.

— Мы там, в Красных Жемчугах, оглядимся и, может, туда и назначение попросим. Медсестра да шофер-механик — где не нужны? А там — ты, жить вместе будем, за тобой приглядим.

По старухиному лицу текли слезы, но она их не замечала. Она была счастлива, так счастлива, какой давно уж не ощущала себя. Горло ее перехватывали спазмы, говорить она не могла, а только улыбалась, и Даша своим платочком промокала ей слезы.

— Только свиней всех разладим к чертовой матери, пока не сожрали они нас! — засмеялся Ларик. — Что, бабуля, примешь таких постояльцев?

— Родня, — с трудом выдавила бабка. — Какие же вы постояльцы? Вы — внуки мои, и мы с дедом…

Она вдруг осеклась, замолчала, посерьезнела, расстегнула кофту, достала из-за пазухи белую тряпочку, согретую на высохшей груди, и протя-

нула Ларику:

— Тебе это. Храни и береги. Детям передашь.

— А что это?

Старуха молчала строго и торжественно. Ларик развернул тряпочку: тусклое золото ордена весомо сверкнуло в вагонном сумраке. Молодые долго, бережно разглядывали орден Отечественной войны, а старуха торжественно молчала, радуясь, что догадалась взять с собой боевую награду мужа и передать ее тому, у кого она и должна была вечно храниться.

— Первой степени, — с уважением сказал Ларик. — Дедушкин?

— Его. Сыну передашь, когда вырастет. Ну, детки мои милые, давайте прощаться. Пора уж, лучше в окошко мне помашете, как положено.

Не очень-то ласковой была встреча, но проводы получились куда теплее, и старуха тихо улыбалась на возвратном пути. Правильно, очень правильно она сделала, что отдала боевой орден мужа, выданный ей на вечное хранение властями, единственному законному наследнику. А теперь он на месте, в путных и честных руках, а у нее то, о чем мечтала, что так вдруг потребовалось ей для спокойствия: иконы. Тут, правда, ее охватывало некоторое смущение, так как не

ясно ей было, действуют ли книжные иконы так же, как настоящие, но старуха в утешение все помнила, что зато их много, целая толстая книга. И к концу своего длинного, с трясками да пересадками путешествия, часто прерываемого то ли дремотой, то ли забытьем, старуха твердо уверовала, что так оно и есть, да еще получилось целых два подарка: сперва внук ей иконы подарил, а потом она ему — боевой орден покойного мужа. Эта версия была достойна и ее, и внука, и героя-мужа, и Дашеньки, и всех икон разом, что только были в книге, и старуха с удовольствием и массой подробностей пересказала ее Тихоновне, которую отблагодарила кулечком настоящего чаю и с которой вместе выпили несчетное количество стаканов под никогда не виданные ею шоколадные конфеты в нарядной коробке.

— И все он, Ларик, все он да Дашенька его! — умильно приговаривала старуха, а сама уже подумывала, когда же уйдет Тихоновна, когда же наконец даст ей возможность в благоговейном одиночестве поведать иконам свои самые сокровенные мысли.

Наконец Тихоновна перевернула вверх дном стакан, трижды, как положено, отказалась от всякого угощения и, немного посидев для прили-

чия, распрощалась. А старуха, едва проводив ее, заметалась по огромной, гулкой и сырой своей избе, не зная, с чего начать то, чего так жаждала. За весь вечер она ни словом не обмолвилась о нетерпеливом своем желании сегодня же, тотчас же приступить к молитве.

Достав книгу, старуха благоговейно приложилась к ней, а затем, прижав к груди, долго ходила, прикидывая, куда и как ее разместить и на что надо взбираться, чтобы поставить ее повыше. Слабая лампочка без абажура висела над кухонным столом — в том месте, которое ограничивалось углом печи да выцветшей занавеской, потому что дощатую перегородку разобрали на подтопку еще в войну, и свет еле проникал в огромную комнату — залу, где стоял почерневший от времени (или от горя?) стол, за которым никто не сидел вот уже почти полвека. А угол над столом, растерявшим и хозяина, и наследников, тот угол, красный, где должны были висеть иконы, был темным и пустым, как дыра.

Нет, ничего туда нельзя было ни класть, ни ставить. Там сперва прибрать следовало, вымыть да просветлить, и старуха, подумав, поставила книгу в центре семейного стола, за которым никто не сидел, подперев ее пожелтевшими учебниками

Светланы и «Кратким курсом истории ВКП(б)», который муж два года учил наизусть и все-таки выучил. Лика Божьей Матери на суперобложке не было видно совершенно; старуха вспомнила, что в церквах всегда горели свечи, пожалела, что вовремя не сообразила купить их, и принесла из сеней фонарь «летучую мышь», с которым в сумерках ходила в закут кормить свиней. Поставила рядом с книгой, зажгла; Божья Матерь осветилась, по комнате поплыла керосиновая вонь, но старуха обрадовалась. Все теперь было готово к таинству; осталось подготовиться самой.

Теперь негоже было спешить, теперь следовало думать, вспоминать, считать свои грехи, расспрашивая совесть, и старуха готовилась неторопливо и основательно. Убрав со стола, достала из сундука чистую рубаху и тщательно умылась в сенях. Мылась она горячей водой, распарилась и, надев чистую рубаху, кофту решила не надевать, в рубахе было и тепло, и торжественно. И, все аккуратно прибрав, старуха сполоснула руки, медленно вошла в провонявшую керосином залу и медленно опустилась на колени перед тускло освещенной книгой.

— Матерь Божья милосердная… — начала она

и замолчала в смущении.

В пустой комнате голос прозвучал глухо и сыро, а слова казались фальшивыми и не от сердца. Старуха сперва решила, что ложь идет от нее самой, изнутри, и опечалилась, но потом сообразила, что ее искренность превращается в ложь совсем не по ее вине, а потому, что звучит в мире пустом и темном. «Про себя надо, про себя», — подумала она и успокоилась. Сосредоточенно вгляделась в керосиновые блики, тускло играющие на чистых красках суперобложки, отпечатанной в безвестной ей Италии, и начала снова, но уже не вслух, а в душе. Про себя.

«Пресвятая Матерь Божья, муж мне виделся и сыновья, убитые фашистами уж сколько годов. Сейчас они, сыны мои, уж не то что отцами, а и дедами уж были бы, кабы не гибель, и дочка Полюшка, старшенькая, тоже, поди, бабкою бы стала, кабы не война та проклятая да не горе то народное горькое. И остались от меня и от мужа всего-то в жизни на земле один листочек, да и тот пожух да пожелтел: Светлана, дочка моя, а что сын ее Ларион, хоть и добрый сам, для народа сделает, то мне неведомо, да и ему, боюсь, тоже неведомо, а ведомо только жене его Дашеньке, потому что свет от нее идет. Стало быть, не засохнет

корень мой, да и за что, за что ему засыхать, когда не грешна я, не грех на мне, а судьба такая. А муж вот о грехе все говорил, так неужто и вправду грешна я все-таки, Пресвятая Богородица? Всю жизнь свою я работала, детей рожала да ростила, исполняла все, что велено было, так в чем же мой грех? Я жизнь свою по ниточке перебрала, все искала, в чем вина моя, где ошибка, а где грех, да не нашла ничего. Я болела, когда все болели, я голодала, когда все голодали, я песни пела, когда все веселились, я иконы жгла, когда все жгли, — неужто за это, за костер тот, а? — нет, я же как все, как все, так и я. Ты же знаешь, ни муж мой покойный, ни я никогда, ни разу ничего для себя — все для всех. Все! А дом, в котором я век свой доживаю, так он ведь тоже общественный: его колхоз как премию нам построил, потому что уж очень мы тесно жили. Мы всю жизнь свою тесно жили, только вот помираем просторно. А жили тесно и отдавали, ничего не утаивали, все отдавали: и труд свой, и хлеб свой, и здоровье, и жизни свои. Так в чем же грехи наши? А если и было что, так неужто не искупили мы того, что свершили второпях да ненароком, смертями, пожарами, голодом да холодом?»

Дергаясь, тускло и неровно светил фонарь,

керосиновая вонь заполняла избу, лик Божьей Матери на глянцевой обложке дрожал в отсветах. И не было покоя в душе старухи, но не было и тревоги, а было острое желание рассказать все этой мудрой и спокойной женщине, которая родила людям Сына на муки крестные. Все рассказать, всю правду: как жили и как умирали, как надрывались и как надеялись, как радовались и как рыдали, как…

«Ты знаешь, что такое похоронка? Знаешь, помнишь, такое матери не забывают, а ты на своего Сына тоже похоронку получила. Ты — на одного, а я — на двоих, да еще на мужа, да еще Полюшка померла, помощница моя. Ты не серчай, не считаюсь я, не корю, я одно хочу: чтоб ты на нас глянула. Вон Лукерья говорит, что для Бога, мол, век — что миг один, будто моргнуть, а ты ведь — мать, ты подскажи Ему, мол, глянь на Россию хоть разок…»

Тут старуха запнулась, сообразив, что давно уже не молится, не считает грехов своих, а жалуется Божьей Матери и укоряет самого Бога. Нет, не годилось так, нельзя было с ожесточенной душой беседу вести, и старуха совестливо вздохнула, помолчала, собираясь с мыслями, и начала виновато:

«Ты прости меня, дуру старую, что жалуюсь я, да душа моя изболелась. Конечно, не обиды и не боли должно считать, а грехи, но вразуми ты меня, что грехом-то называется? Не учили нас грехам, не считали мы их, не страшились, так откуда же знать нам, что же это такое — грех людской? Что батюшку я своего ослушалась и ушла из дома его и из села ушла — это грех? Что иконы жгла с частушками — тоже грех?.. нет, ты ответь мне, Пресвятая Матерь Божья, знак подай, потому что я до утра о таких грехах тебе рассказывать могу. Накопилось их у нас столько, что все уже спуталось. Все спуталось. Все… А он кричал: грешно, мол, живу…»

Слабенький желтый язычок пламени стал вдруг расти и яснеть, чистым белым светом заливая избу, и старуха увидела мужа. Не черного, не с провальными глазами, не с набитым землею ртом и даже не в солдатской гимнастерке, а молодого, светлоглазого, в ситцевой рубахе, которую она сама ему сшила. Рубаха была перехвачена узеньким ремешком, а поверх муж набросил старый пиджак и сейчас деловито щелкал барабаном револьвера, проверяя, во всех ли гнездах сидят патроны.

— Кулачье идем трясти, мать, — весело сказал

он. — Хватит, попили они нашего поту.

В своих Красных Жемчугах они не слышали ни мужских проклятий, ни бабьего воя, ни детских рыданий: у них кулаков не было, никто никого не тряс, никто не сводил старых счетов ни за кровь, ни за пот. Правда, говорили об этом, но одно дело видеть, как раскулачивают, и слышать, как рыдают, а другое — шепот платок к платку, потому что жалеть запрещалось, сострадать запрещалось и даже вздыхать запрещалось. Полагалось радоваться и торжествовать победу над лютым врагом, и все торжествовали. Все. И надо было и быть, как все, и радоваться, как все.

Муж пришел под утро, усталый и возбужденный. Дети еще спали; она сливала ему у крыльца, держа в левой руке длинное суровое полотенце. Он взял его, вытерся, весело подмигнул.

— Ну все. Дурную траву — с поля вон!

Прошел в избу — не в эту, в прежнюю: маленькую, тесную, в то время совсем еще новенькую. Она налила ему щей, села напротив.

— И куда же их теперь?

— А в Соловки, — ответил муж, жадно хлебая: сутки почти что не ел ни крошки. — Твоих тоже, между прочим, из села наладили.

— Как моих? — задохнулась. — Отца с мамень-

кой? Так какие же они кулаки, какие?..

— Да их не в Соловки, не боись, — улыбнулся он. — Нынче дележ точный: свой, чужой и — середка, которая всю жизнь и нашим и вашим. И своим — вся власть, чужим — в Соловки, а гнилую эту середку — на принудработы, гиганты индустрии поднимать и себя перековывать социалистическим трудом. Перекуются — вернутся.

Не вернулись.

«Не вернулись мои батюшка с матушкой, отец, — сказала она про себя, и ясный, светлый, чистый муж ее стал темнеть на глазах. Темнело лицо его, темнела рубашка, исчезали, проваливались глаза, и в широко разинутый рот уже сыпалась земля. — Отец! — закричала она. — Не уходи, отец, я не буду, не буду про тех, не черней, не буду».

Кажется, спасла, остановила тлен его: муж начал светлеть, словно возвращаясь из тьмы. Выплюнул землю, сказал хрипло:

— Не было этого. Не было этого, ничего не было. Не было, не было, не было!..

— Не было, — покорно согласилась она. — Все равно уж не воротишь ведь их.

А сама подумала, что ее отказ от родителей, от самой памяти об их судьбе и есть грех, который

никогда ей не простится. Никогда. И заплакала.

Догорал, потрескивая, фонарь на черном огромном, как надгробие, столе. Керосиновый чад стлался по зале, а на полу перед столом с еле различимой книгой, неудобно скорчившись, лежала старуха. То ли во сне, то ли в забытьи, и слезы катились по ее серому морщинистому лицу.

«Не гневи ты его, не гневи, — вдруг ясно послышалось ей. — Радости нет у него, так ты поспеши не с гневом — с радостью поспеши».

Голос был женским, добрым и ласковым, и старуха сразу поняла, кто ей шепчет, и поспешно стала вспоминать радостное. Радости в жизни своей…

«Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

За столько лет все частушки стерлись из памяти, а припевка, которую озорно что есть мочи орали хором, осталась. Они мечтали об этих машинах — о сеялках, веялках, молотилках и уж совершенно в ту пору неведомых им тракторах — и поэтому так часто и так громко пели о них. Просто выкрикивали названия, как дикари, веря, что докричатся, допоются, допросятся.

Господи, ведь заклинала же ее Богородица не расстраивать мужа. Заклинала о радостном, о

светлом вспоминать. Только о светлом и только о радостном. Только было ли оно в жизни, это светлое и радостное? Может, это была просто мечта, так и оставшаяся мечтой?.. Нет, было, было, ведь уходили же они из старого мира, в котором батюшка в последний раз и в последний день успел за волосья ее оттаскать. И она оказалась в белом платочке среди красных косынок, как ромашка средь маков… И семнадцать верст счастья с грудным Шуриком на руках, а годовалого Гришу усадили в бричку вместе с остальными малолетками: русые головенки торчали из-за бортов, подпрыгивали, раскачивались, смеялись и плакали. А впереди всех шел ее муж с красным флагом, рядом — гармонист, и песни — всю дорогу. И пришли на голый берег и на все общее. Молоко для детишек — общее, щи для мужиков — общие, котлы — общие, миски — общие: и огонь общий в кострах, и труд общий на стропилах. И работа без перерывов, без сна, без отдыха: «Ты устал, товарищ? Отдыхай, где твой топор? Я иду на твое место». И звон топоров не прекращался ни на минуту: они успели поставить избы до морозов. Маленькие, тесные, зато одинаковые и всем. У всех одинаковые, потому что по ТРУДУ, а труд — это когда все всем. Все, что есть в тебе,

всем на пользу. Сила, ловкость, сноровка, умение, пот, кровь и сама жизнь — все тем, кто рядом, кто вместе с тобой ушел из старого мира строить новую жизнь в Красных Жемчугах.

— И наши Красные Жемчуга станут ярким примером для всего трудового народа, дорогие мои братья и сестры! — говорил через три года ее муж и первый председатель их колхоза на празднике 1 Мая. — Мы всем докажем, что человек может и должен быть счастлив в стране, сбросившей иго царя и капитала. Мы начали новую, совсем иную жизнь — жизнь без обмана, без эксплуатации, без неравенства, без лжи, без воровства, пьянства, распутства, без «мое — твое — Богово», без всех тех кандалов, что веками сковывали свободный дух человека. Теперь мы — свободные и гордые, мы сами себе хозяева и должны жить одной семьей, одной радостью, одним счастьем, одной целью и одной правдой!..

Старуха снова видела своего мужа молодым, счастливым, веселым, со светлым лицом и светлой улыбкой. И на той трибуне, с которой громко и радостно говорил он о новой жизни, по обе стороны от него появились сыновья Гриша и Шурка, рослые, светлые, плечистые, а отец нисколько не постарел и казался сейчас не отцом им, матерым

мужиком, а — братом…

«Пресвятая Богородица! — вдруг всполошилась старуха. — Что же это я — все про мужа да про мужа? Дай хоть на сыночков полюбоваться, позволь хоть словцом перемолвиться, голоса их услышать…»

Старуха недвижно лежала на полу. По лицу ее по-прежнему медленно текли слезы, но лицо это уже робко светилось изнутри, уже радовалось увиденному, уже ждало чего-то, чуда ждало. Чадил, угасая, фонарь, глухая осенняя темь заливала огромную пустую избу, и лик Божьей Матери больше не виделся на черном надгробье семейного стола.

А сыновья сажали под окном рябину. Была осень сорок второго, уже пришла похоронка на отца и повестка из военкомата. И они сажали рябину.

Нет, нет, не о войне, только не о войне! О тех светлых да счастливых денечках, когда все еще были живы. Все?.. А твои родители на строительстве Челябинского тракторного? Они еще месили босыми ногами бетон, еще получали пайки, если выполняли норму, еще валялись на нарах в дощатых, еле-еле согреваемых буржуйками бараках. Нет, они не были заключенными, они числились

мобилизованными, но смерти ведь все едино, по какой графе распределяет людей жизнь. Нет, нет, пусть уж лучше сыны сажают под окном рябину.

— Ладно ли, мама?

— Ладно, Гриша. Полейте отцовскую рябину да ступайте в избу.

Вошли. И встали у порога. И Гриша сказал:

— Мама, не пускай Шурку на войну.

А тут отец вдруг вошел в той же ситцевой рубахе, в которой выступал 1 Мая. Светлый, улыбчивый.

— Тяжело тебе, мать, одной-то, но ты терпи: нет на тебе греха.

Шурка рванулся тут к ней, будто обнять хотел, будто сказать что-то. Открыл рот…

— И-и-и!..

Очнулась старуха. Пропали сыны ее, пропал муж — пустой изба осталась. Погас фонарь на столе, ленивый предрассветный полумрак нехотя вползал в оконце. Уже угадывался стол, лавки, книга на столе, подпертая другими книгами, угол давно не беленной печки. И вместе с этой блеклой осенней просинью рвался в избу истошный визг:

— И-и-и!..

Старуха слышала его, но никуда не торопилась. Тихо и ласково было сегодня на душе ее, даже

нисколечко не ломило тело, хотя она всю ночь пролежала в забытьи на холодном полу. Не обращая внимания на требовательные вопли свиней, она поклонилась и сказала:

— Спасибо тебе, Матерь Божья, утешила ты меня. Я душу свою успокоила, потому что нет на мне греха.

Она благоговейно приложилась к глянцевой суперобложке и, сохраняя на лице тихую, задумчивую улыбку, прошла на свою кухоньку, к печи. Надела кофту, выволокла бак со свиньячьим хлёбовом, налила доверху большие ведра и, изогнувшись, с трудом поволокла их голодной животине. «Ишь орут-то как, — думалось ей. — Видно, поленилась вчера Тихоновна, недокормила маленько». Добравшись до закута старуха поставила ведра и в полутьме стала приглядываться, где же корыто, куда следовало перелить пойло. Свиньи, нетерпеливо визжа, толкались возле самой стенки. Старуха кое-как отпихнула их и увидела корыто: его отбросили рылами в глубь закута. Сначала надо было подтащить его к загородке, а уж потом выливать ведра. Старуха потянулась за ним, сильно перегнувшись через загородку, и в этот миг что-то нестерпимо яркое вспыхнуло в глазах ее, свинцом налилась голова,

и она рухнула в закут, не успев ухватиться за доски ослабевшими вдруг руками…

Летят мои кони

Повесть о своем времени

«Я, Васильев Борис Львович, родился 21 мая 1924 года

в семье командира Красной Армии в городе Смоленске на Покровской горе…»

А СЕЙЧАС я еду с ярмарки.

Еще размашисто рысят кони, еще жив праздник в душе моей, еще кружится голова от вчерашнего хмеля и недопетая песня готова сорваться в белесое от седины небо. Еще не остыли на губах ворованные поцелуи случайных женщин, любивших любовь больше, чем меня, и тем самым вложивших свой камень в котомку моей усталости. Еще хочется пробежаться босиком, поваляться на траве, нырнуть с обрыва в незнакомый омут. Еще так трудно оторвать взгляд от женских ног, еще пытаешься казаться умнее, еще мечтается перед сном и хочется петь по утрам. Еще не утолена вся жажда, еще веришь в себя и еще ничего не болит, кроме сердца.

И все же я еду с ярмарки, а это значит, что между моими желаниями и моими возможностями,

между «хочу» и «могу», между «еще» и «уже» начала вырастать стена. И каждый прожитый день добавляет в эту стену свой аккуратный кирпичик. Я еще хочу бежать вслед за уходящим поездом, но уже не могу его догнать и рискую остаться один на гулком пустом перроне.

Чувства притупляются, как боевые клинки: об них уже не обрежешься, не вздрогнешь вдруг от запаха первого снега, от цвета свежей смолы, от стука вальков на реке. Уже не слышно тишины и не видно тьмы, уже позади все, что случалось впервые, и порой уже кажется, что на свете не осталось ничего нового, кроме смеха и солнца, дождя и слез, мороза и птичьего гомона. Уже знаешь, что ждет за поворотом, потому что потерял им счет, но сердцу не прикажешь, и оно снова и снова замирает в груди, и ты упрямо надеешься успеть понять, додумать, написать. Но уже ничего не вернешь, и неразгаданные мысли, ненаписанные романы и невстреченные встречи, что призрачным роем еще вьются вокруг, уже для других.

Я еду с ярмарки, кое-что купив и кое-что продав, что-то найдя, а что-то потеряв; я не знаю, в барышах я или внакладе, но бричка моя не скрипит под грузом антикварной рухляди. Все, что я везу,

умещается в моем сердце, и мне легко. Я не успел поумнеть, торопясь на ярмарку, и не жалею об этом, возвращаясь с нее; многократно обжигаясь на молоке, я так и не научился дуть на воду, и это переполняет меня безгрешным гусарским самодовольством. Так пусть же неспешно рысят мои кони, а я буду лежать на спине, закинув руки за голову, смотреть на далекие звезды и ощупывать свою жизнь, ища в ней вывихи и переломы, старые ссадины и свежие синяки, затянувшиеся шрамы и незаживающие язвы.

Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло не потому, что он несказанно красив и эпически древен — есть множество городов и красивее, и древнее его, — повезло потому, что Смоленск моего детства еще оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих бедствие. И я рос среди людей, плывущих на плоту.

Город превращают в плот история с географией. Географически Смоленск — в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей — расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между

Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой формуле: ЖИТЕЛЬ ГОРОДА СМОЛЕНСКА. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь был край Ойкумены Запада и начало ее для Востока; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом, и я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство.

…Я вижу нашу комнату в домике на Покровской горе: тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать (подозреваю, чтобы я ей не мешал), и я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе — колючий колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки, и хотя в стране нэп и лавки ломятся от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти товары.

— Ай, какой хороший мальчик! — Худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. — Нет, вы только послушайте, как громко он читает!

— Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, — строго говорит рыхлая белесая дама. — Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки.

— Ай, пани Ковальска, вы стали специалисткой по-русски? Так с вас же он всю жизнь будет говорить «койбаса» и «уошадь». Ну скажите мне, мадам Урлауб, разве я говорю неправду?

— Мадам Алексеева — артистка, она была в Париже и за границей, и она все объяснит, — ре-

шает третья гостья.

— Не так важно, как говорить, а важно, что говорить, — вступает бабушка, и все вежливо перестают пить чай. — А люди делятся только на мужчин и женщин, и если ты родился мужчиной, то будь им, а если женщиной, то тем более.

А я громко читаю, еще не ведая, что плыву на плоту и что люди делятся не на русских, поляков, евреев или литовцев, а на тех, на кого можно положиться и на кого положиться нельзя. Это проверенное деление: плот только-только оправился от урагана, имя которому «гражданская война», и его пассажиры очень хорошо знают, что значит всегда быть настоящим мужчиной, ну а женщиной — тем более.

…Я люблю тебя, старый Смоленск, ибо ты — колыбель детства моего. Ныне от тебя остались осколки, как от греческих амфор, а еще проще — как от моего детства. Твоя крепость выдержала пять осад, но она не могла выдержать ни последней войны, ни лихорадочного послевоенного строительства. И если знаменитые Молоховские ворота взорваны давно, то твоя еще более знаменитая Варяжская улица — твоя благородная седина, знак твоей древности — переименована в Краснофлотскую совсем недавно, а в десятке

шагов от рвов бывшего Королевского бастиона, где когда-то насмерть стояли твои жители во главе с воеводой Михаилом Шейным, построен танцевальный зал…

Нет, не танцзалом запомнилось мне детство, а Храмом. Двери этого Храма были распахнуты во все стороны, и никто не стремился узнать имя твоего бога и адрес твоего исповедника, а назывался он Добром. И детство, и город были насыщены Добром, и я не знаю, что было вместилищем этого Добра — детство или Смоленск.

— Эй, ребятишки, донесите-ка бабушке кошелку до дома!

Так мог сказать — и говорил! — любой прохожий любым ребятам, игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татарином, цыганом или греком, а старушка — тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова. Конечно, помощь — простейшая форма Добра, но любой подъем начинается с первого шага.

Мы снимали домик на Покровской горе; в нем я родился, а почтовый адрес его тогда писался так: «Покровская гора, дом Павловых». Напротив, через овраг, почти осеняя домик ветвями, рос

огромный дуб. Сегодня такое дерево непременно обнесли бы оградой и снабдили табличкой: «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ», но дуб не дожил до наших дней: в войну его спилили немцы. Не знаю, уцелел ли пень, — я не хочу видеть останков прекрасного, потому что помню это прекрасное живым. Это с него упал Метек Ковальский и сломал руку; это с него меня снимал дядя Сергей Иванович; это в его ветвях запуталась Альдона, и это ее спасал Моня Мойшес, и всем тогда было очень смешно. Альдона каким-то образом повисла вниз головой, выставив для обозрения розовые панталончики, и так орала, что сам дуб от хохота вздрагивал до самой макушки. Могучий дуб, под сенью которого мирно уживались русские и поляки, евреи и цыгане, татары и венгры: не по этой ли причине и спилили тебя проклятые наци?

— Боря, когда пойдешь гулять, занеси дяде Янеку соль, скажи тете Фатиме, что я нашла для нее выкройку, и попроси у Матвеевны стакан пшена в долг…

Голос мамы до сей поры звучит в моей душе; стремясь с самого нежного возраста заронить во мне искру ответственности, мама попутно, походя, без громких слов прививала мне великое чувство повседневного бытового интер-

национализма. И я ел из одного котла с моими друзьями-татарчатами, и тетя Фатима наравне с ними одаривала меня сушеными грушами; венгр дядя Антал разрешал мне торчать за его спиной в кузнице, где легко ворочали молотами цыгане Коля и Саша; Матвеевна поила меня козьим молоком, в Альдону я сразу влюбился и множество раз дрался из-за нее с Реном Педаясом. А еще были старая бабушка Хана и строгая мадам Урлауб, немец дядя Карл и слепой цыган Самойло, доктор Янсен и ломовой извозчик Тойво Лахонен и… Господи, кого только не осеняли твои ветви, старый славянский дуб?!

В шесть лет я расстался с дубом: после очередного переезда в какой-то городишко мы вновь вернулись в Смоленск, но жили уже в центре города, на улице Декабристов. А встретился с ним совсем неожиданно через год — пришел на экскурсию. Первую экскурсию в жизни.

Мою первую учительницу звали… К стыду своему, я не помню, как ее звали, но помню ее. Худощавая, строгая, ровная, безулыбчивая, всегда одетая в темное, из которого ослепительно выры-вались белоснежные воротнички и манжеты, она представлялась нам, первоклашкам, очень старой, из прошлого века. И в один из общевыходных

она велела собраться у школы, но не всем, а тем, кто хочет «пойти на экскурсию». Я хотел, пришел одним из первых; учительница пересчитала нас, вывела к знаменитым смоленским часам, под которыми назначались все свидания и от которых шло измерение во всех направлениях, и погрузила в маленький, шустрый и звонкий смоленский трамвай. И мы покатили вниз, к Днепру, по Большой Советской. Миновали Соборную гору, выбрались через Пролом из старого Смоленска, переехали по мосту через Днепр и сошли у рынка. И под предводительством первой учительницы переулками, садами и дворами вышли… к дубу.

— Это самый древний житель нашего города, — сказала первая учительница.

Может быть, она сказала не теми словами, сказала не так, но суть заключалась в том, что этот дуб — остаток священной рощи кривичей, которые жили в Гнездово, неподалеку от Смоленска, где и по сей день сохранилось множество их могильных курганов. И что вполне возможно, что Смоленска в те далекие времена еще не существовало, что возник он позднее, когда по Днепру наладилась регулярная торговля, и именно здесь, в сосновых берегах, удобнее всего было смолить суда после длинных и тяжелых волоков. Смоли-

ли суда, молились богам в священной роще и плыли дальше из варяг в греки. И постепенно вырос город, в названии которого сохранился не только труд его первых жителей, но и аромат его красных боров.

Я прикоснулся к дубу раньше, чем учительница велела это сделать. Ей-богу, я помню до сей поры его грубую теплоту: теплоту ладоней, пота и крови моих предков, вечно живую теплоту Истории. Тогда я впервые прикоснулся к прошлому, впервые ощутил это прошлое, проникся его величием и стал безмерно богатым. А сейчас с ужасом думаю, каким бы я стал, если бы не встретился со своей первой учительницей, которая видела долг свой не в том, чтобы, нафаршировав детей знаниями, изготовить из них будущих роботов-специалистов, а в том, чтобы воспитать Граждан Отечества своего…

…Много лет спустя на встрече с молодыми учеными в столь же молодом — даже кладбища своего не было, о чем мне с гордостью поведали организаторы встречи, — городе меня спросили, а зачем-де нужна история в век научно-технической революции, то есть в век качественного скачка человечества? Чему может научить современного специалиста отвага давно отшумевших

битв и дальновидность давно истлевших правителей? Да и наука ли вообще эта самая История, коли она с легкостью выдает сегодня за черное то, что еще вчера считала белым? Вопросы задавались с технической точностью и продуманностью, аудитория затаенно ждала, как я выкручусь, а я с горечью думал, каким же провидцем оказался бестелесный Козьма Прутков, сказав, что «специалист подобен флюсу». И дело не в том, как я тогда ответил, — дело в том, что я тогда увидел: город без кладбища и людей без прошлого. И понял, что мудрость и ученость разнятся между собой, как нравственность и знание статей Уголовного кодекса.

История не позволяет человеку остаться варваром, даже если он сделался крупнейшим специалистом в области ультрасовременной науки. У нее для этого, по крайней мере, два спасительных аргумента: во-первых, все уже было, а во-вторых, знания не делают человека умнее, несмотря на всю их ослепительную новизну. Некий усредненный современник наш знает сегодня несравненно больше, чем знали образованнейшие люди сто лет назад, но означает ли это, что усредненный современник наш стал умнее Герцена лишь оттого, что его мозг

хранит бездну необязательной информации? Так история — я уж не говорю о ее нравственном воздействии — спасает нас от спесивой самоуверенности полузнайства.

История разлита во времени и в пространстве. Извлечь ее из времени могут только знания, а вот ощутить ее дыхание в пространстве можно и не обладая ими. Есть счастливые города, где дышит историей каждый камень, и счастливые камни, сконцентрировавшие в себе историю. Камни Смоленской крепости, кривая Варяжская улица древнего города, само название его, старый дуб на Покровской горе, Гнездовские курганы и воздух Смоленска питали меня историей, и я чувствовал ее и любил, еще не ведая, что это — богиня, а не только наука.

Никольская улица, уже тогда переименованная в улицу Декабристов, упиралась в Никольские ворота крепости. И над этими воротами в выбоине стены лежало ржавое французское ядро. Лежало не музейным экспонатом, не туристским сувениром Суздаля — лежало боевым документом прошлого: так, как упало, и в том месте, где встретила стена выстрел наполеоновского артиллериста.

В городском парке — старом Лопатинском саду

моего детства — до войны сохранялись мощные руины средневековой темницы с остатками решеток толщиной в детскую руку. Когда-то в ней томились генеральный судья Сечи Запорожской Василий Кочубей со своим верным Искрой, несчастный царевич Иоанн Антонович — «Железная маска» русской истории, пленные поляки при Екатерине Второй. На каменной плите подоконника неровными буквами выбил свое имя несчастный узник…

…Так я написал, и так было напечатано в журнале «Юность» № 6 за 1982 год. Я получил множество писем, и в одном из них (в письме Владимира Алексеевича Борисюка, тоже смолянина) содержалось любопытное продолжение этого абзаца:

«…на нем (на подоконнике темницы. — *Б.В.*) было выцарапано: “КАБОГРАЛЛО”. Абракадабра?.. Многие ломали головы. Однако кто-то расшифровал (или знал), оказывается — аббревиатура:

КА — Капитолина

БО — Борис

ГР — Григорий

АЛ — Александр

ЛО — Лопатины — дети губернатора Лопатина, устроителя сада!..»

Вы и сейчас можете погулять по Блонью — так называется сквер в центре города. Блонье… болонье… заболонь… Да, «заболонье», то есть наиболее укрытое место крепости, куда не долетали стрелы штурмующих и где прятались женщины и дети во время осад города.

При впадении Смядыни в Днепр изменник-повар по повелению Святополка Окаянного зарезал юного князя Муромского Глеба, брата Бориса. Оба брата стали первыми русскими святыми, а Смядынь — это окраина Смоленска.

Как-то еще в школе я составил список знаменитых своих земляков, ставших украшением русской истории. Не буду приводить его полностью, но хочу напомнить, что Твардовский и Тухачевский, Глинка и Пржевальский, князь Потемкин и адмирал Нахимов, Исаковский и Коненков — смоляне.

В июне 1936 года городские власти решили осушить остатки крепостного рва подле Молоховских ворот. Тогда это была огромная гниющая лужа; когда спустили воду и осела муть, полуторараметровый слой вонючего ила оказался битком набитым холодным и огнестрельным оружием. Здесь перемешались все эпохи, и рядом с татарской саблей мирно сосуществовал палаш начала

века, а пулеметная лента лежала подле дуэльного пистолета. Чудо объяснялось просто: донная грязь сохранила не только оружие некогда штурмовавших крепость воинов, но и то, которое бросали в топь темными ночами Гражданской войны, не желая сдавать властям.

Первыми о кладе, естественно, узнали мальчишки. Оружейный Клондайк ожил: десятки невероятно грязных Томов Сойеров искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне достались русская бердана без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов — для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло кому больше, кому меньше, — не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая не денежную, а неуловимую историческую ценность находок. И это тоже было прекрасным уроком истории.

…Человек живет для себя только в детстве. Только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт, набив собственный животик. Только в дет-

стве он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальны и все красивы, все естественны, как природа, и, как природа, лишены тревог. Все — только в детстве, и поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель.

— Нет уже тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, — с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек.

Нет уже тех деревьев, ибо «ВСЕ ПРОХОДИТ», как было написано на перстне царя Соломона. Все — кроме детства. Оно остается в нас пожизненно, потому что если «КТО ТЫ?» — плод взрослой твоей ипостаси, то «КАКОЙ ТЫ?» — творение детства твоего. Ибо корни твои в той земле, по которой ты ползал.

Я везу с ярмарки сокровище, которое не снилось ни королям, ни пиратам. И бережно перебираю золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем…

Я не должен был появиться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни бы-

ли сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности.

А меня так ждали! Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном мешали любви и нежности: между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра — случайной пулей, послезавтра — оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все — кроме детей. И я забрезжил как долгожданный рассвет после девятилетней ночи.

А маму сжигала чахотка.

И меня и маму спас один совет. Он был дан тихим голосом и больше походил на просьбу:

— Рожайте, Эля. Роды — великое чудо. Может быть, самое великое из всех чудес.

Через семь лет после этих негромких слов доктор Янсен погиб. Была глухая дождливая осень, серое небо прижалось к земле, и горизонт

съежился до размеров переполненного людьми кладбища. Мы с мамой стояли на коленях в холодной грязи, и моя неверующая матушка, дочь принципиального атеиста и легкомысленной язычницы, жена красного командира и большевика, истово молилась, при каждом поклоне падая лбом в мокрую могильную землю. И вокруг, всюду, по всему кладбищу стояли на коленях простоволосые женщины, дети и мужчины, молясь разным богам на разных языках. А у открытого гроба стоял инвалид-краснознаменец Родион Петров и размахивал единственной рукой с зажатой в кулаке кепкой.

— Вот, прощаемся. Прощаемся. Не будет у нас больше доктора Янсена, смоляне, земляки, родные вы мои. Может, ученей будут, может, умней, а только Янсена не будет. Не будет Янсена…

…О, как я жалею, что я — не живописец! Я бы непременно написал серое небо, и мокрое кладбище, и свежевырытую могилу, и калеку-краснознаменца. И — женщин: в черном, на коленях. Православных и католичек, иудеек и мусульманок, лютеранок и староверок, истово религиозных и неистово неверующих — всех, молящихся за упокой души и вечное блаженство не отмеченного ни званиями, ни степенями, ни

наградами провинциального доктора Янсена…

Я уже смутно помню этого сутулого худощавого человека, всю жизнь представлявшегося мне стариком. Опираясь о большой зонт, он неутомимо от зари до зари шагал по обширнейшему участку, куда входила и неряшливо застроенная Покровская гора. Это был район бедноты, сюда не ездили извозчики, да у доктора Янсена на них и денег-то не было. А были неутомимые ноги, великое терпение и долг. Неоплатный долг интеллигента перед своим народом. И доктор бродил по доброй четверти губернского города Смоленска без выходных и без праздников, потому что болезни тоже не знали ни праздников, ни выходных, а доктор Янсен сражался за людские жизни. Зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем и ночью.

Доктор Янсен смотрел на часы, только когда считал пульс, торопился только к больному и никогда не спешил от него, не отказываясь от морковного чая или чашки цикория, неторопливо и обстоятельно объяснял, как следует ухаживать за больным, и при этом никогда не опаздывал. У входа в дом он долго отряхивал с себя пыль, снег или капли дождя — смотря по сезону, — а войдя, направлялся к печке. Старательно грея гибкие длинные ласковые пальцы, тихо расспрашивал,

как началась болезнь, на что жалуется больной и какие меры принимали домашние. И шел к больному, только хорошо прогрев руки. Его прикосновения всегда были приятны, и я до сих пор помню их всей своей кожей.

Врачебный и человеческий авторитет доктора Янсена был выше, чем можно себе вообразить в наше время. Уже прожив жизнь, я смею утверждать, что подобные авторитеты возникают стихийно, сами собой кристаллизуясь в насыщенном растворе людской благодарности. Они достаются людям, которые обладают редчайшим даром жить не для себя, думать не о себе, заботиться не о себе, никогда никого не обманывать и всегда говорить правду, как бы горька она ни была. Такие люди перестают быть только специалистами: людская благодарная молва приписывает им мудрость, граничащую со святостью. И доктор Янсен не избежал этого: у него спрашивали, выдавать ли дочь замуж, покупать ли дом, продавать ли дрова, резать ли козу, мириться ли с женой… Господи, о чем его только не спрашивали! Я не знаю, какой совет давал доктор в каждом отдельном случае, но всех известных ему детей кормили по утрам одинаково: кашами, молоком и черным хлебом. Правда, молоко было

иным. Равно как хлеб, вода и детство.

Святость требует мученичества — это не теологический постулат, а логика жизни: человек, при жизни возведенный в ранг святого, уже не волен в своей смерти, если, конечно, этот ореол святости не создан искусственным освещением. Доктор Янсен был святым города Смоленска, а потому и обреченным на особую, мученическую смерть. Нет, не он искал героическую гибель, а героическая гибель искала его. Тихого, аккуратного, очень скромного и немолодого латыша с самой человечной и мирной из всех профессий.

Доктор Янсен задохнулся в канализационном колодце, спасая детей. Он знал, что у него мало шансов выбраться оттуда, но не терял времени на подсчет. Внизу были дети, и этим было подсчитано все.

В те времена центр города уже имел канализацию, которая постоянно рвалась, и тогда рылись глубокие колодцы. Над колодцами устанавливался ворот с бадьей, которой откачивали просочившиеся сточные воды. Процедура была длительной, рабочие в одну смену не управлялись, все замирало до утра, и тогда бадьей и воротом завладевали мы. Нет, не в одном катании — стремительном падении, стоя на бадье,

и медленном подъеме из тьмы — таилась притягательная сила этого развлечения. Провал в преисподнюю, где нельзя дышать, где воздух перенасыщен метаном, впрямую был связан с недавним прошлым наших отцов, с их риском, их разговорами, их воспоминаниями. Наши отцы прошли не только Гражданскую, но и Мировую, «германскую» войну, где применялись реальные отравляющие вещества, газы, от которых гибли, слепли, сходили с ума их товарищи. Названия этих газов — хлор, фосген, хлорпикрин, иприт — присутствовали и в наших играх, и в разговорах взрослых, и в реальной опасности завтрашних революционных боев. И мы, сдерживая дыхание, с замирающим сердцем летели в смрадные дыры, как в газовую атаку.

Обычно на бадью становился один, а двое вертели ворот. Но однажды решили прокатиться вдвоем, и веревка оборвалась. Доктор Янсен появился, когда возле колодца метались двое пацанов. Отправив их за помощью, доктор тут же спустился в колодец, нашел уже потерявших сознание мальчишек, сумел вытащить одного и, не отдохнув, полез за вторым. Спустился, понял, что еще раз ему уже не подняться, привязал мальчика к обрывку веревки и потерял сознание.

Мальчики пришли в себя быстро, но доктора Янсена спасти не удалось.

— Рожайте, Эля.

Так в вонючем колодце погиб последний святой города Смоленска, ценою своей жизни оплатив жизнь двух мальчиков, и меня потрясла не только его смерть, но и его похороны. Весь Смоленск от мала до велика хоронил своего Доктора.

— А дома у него — деревянный топчан и книги, — тихо сказала мама, когда мы вернулись с кладбища. — И больше ничего. Ничего!

В голосе ее звучало благоговение: она говорила о святом, а святость не знает бедности.

Я возвращаюсь с ярмарки, а потому невольно думаю о смерти. Человек создан на столетия, если судить по огромной, ни с чем не сравнимой трате сил. Лев, убив антилопу, в сытой дреме отдыхает сутки. Могучий сохатый после часового боя с соперником полдня отстаивается в чащобе, судорожно поводя проваленными боками. Айтматовский Каранар год копил силы, чтобы буйствовать, неистовствовать и торжествовать полмесяца. Для человека подобные подвиги — блеск мгновения, за который он платит столь малой толикой своих запасов, что вообще не нуждается в отдыхе.

Цель зверя — прожить отпущенный природой срок. Сумма заложенной в нем энергии соотносима с этим сроком, и живое существо тратит не столько, сколько хочется, а столько, сколько надо, будто в нем предусмотрено некое дозирующее устройство: зверю неведомо желание, он существует по закону необходимости. Не потому ли звери и не подозревают, что жизнь конечна?

Жизнь зверя — это время от рождения до смерти: звери живут во времени абсолютном, не ведая, что есть и время относительное. В этом относительном времени может существовать только человек, и поэтому жизнь его никогда не укладывается в даты на могильной плите. Она больше, она вмещает в себя ведомые только ему секунды, которые тянулись как часы, и сутки, пролетевшие словно мгновения. И чем выше духовная структура человека, тем больше у него возможностей жить не только в абсолютном, но и в относительном времени, и для меня глобальной сверхзадачей искусства и является его способность продлевать человеческую жизнь, насыщать ее смыслом, учить людей активно существовать и во времени относительном, то есть сомневаться, чувствовать и страдать.

Это — о духовности, но и в обычной, физической

жизни человеку отпущено «горючего» заведомо больше, чем нужно для того, чтобы прожить по законам природы. Зачем? С какой целью? Ведь в природе все разумно, все выверено, испытано миллионолетиями, и даже аппендикс, как выяснилось, для чего-то все-таки нужен. А огромный, многократно превышающий потребности запас энергии для чего дан человеку?

Я задал этот вопрос в 5-м или 6-м классе, когда добрел до элементарной физики и решил, что она объясняет все. И она действительно все мне тогда объяснила, кроме человека. А его объяснить не смогла: именно здесь кончалась прямолинейная логика знания и начиналась пугающе многовариантная логика понимания. Я тогда, разумеется, этого не представлял, однако энергетический баланс не сходился, и я спросил отца, зачем-де человеку столько отпущено.

— Для работы.

— Понятно, — сказал я, ничего не понял, но не стал расспрашивать.

Это свойство — соглашаться с собеседником не тогда, когда все понял, а когда ничего не понял, — видимо, заложено во мне от природы. Житейски оно мне всегда мешало, ибо я не вылезал из троек, сочиняя свои теории, гипотезы, а

зачастую и законы. Но одна благодатная сторона в этой странности все же была: я запоминал, не понимая, и сам докапывался до ответов. Сейчас уже не столь важно, что чаще всего ответ был неверным: жизнь требует от человека не ответов, а желания искать их.

Я пишу об этом только ради двух слов отца, определивших для меня весь смысл существования. Это стало главной заповедью, символом веры, альфой и омегой моего мировоззрения. И стал я писателем, вероятно, совсем не потому, что рожден был с этаким блеском в очах, а потому лишь, что свято веровал в необходимость упорного, ежедневного, исступленного труда.

Пояснив однажды смысл жизни, отец никогда более не возвращался к этой теме. Он восторгался закатом или мелодией, тишиной или книгой, человеческим поступком или человеческим гением искренне и безгрешно. Странно было видеть затянутого в кавалерийскую портупею, увешанного оружием командира, с юношеским пылом декламировавшего в центре Блонья:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

У красного командира, контуженного немцами и раненного белоказаками, восторженно горят глаза, а голос дрожит от сдерживаемых рыданий. Смешно? Вероятно, и смешно, и нелепо до крайности, но у слушателя — круглоголового, круглоглазого и круглоухого — бегут мурашки по коже. Пока — от чужого восторга перед всемогуществом человека, завтра — от собственного. Важно посеять этот восторг. Найти время, чистое сердце и добрые семена.

А вот о необходимости труда, о его красоте, чудодейственной силе и магических свойствах не говорилось никогда. О работе болтают бездельники: нормальные люди ее делают. Старательно, четко, аккуратно и скромно. Ведь работать, не крича о собственном трудовом рвении, столь же естественно, как есть не чавкая.

Порой мне с удивительной ясностью вспоминаются вечера моего раннего детства. Наша большая даже по тем временам семья — двое детей, мама, бабушка, тетя, ее дочь и кто-то еще — жила на паек отца и на его более чем скромную командирскую зарплату в тесном домике на Покровской горе, где ни у кого не было своей комнаты и никто, кроме меня, не спал в оди-

ночестве. При домишке был огород, которым занимались все, потому что речь шла о хлебе насущном, и я знаю, как горят ладони, обожженные свежевыполотой травой, с того трепетного возраста, которому уступают места в метро даже мужчины.

Так вот, о вечерах. Осенних или зимних, с бесконечными сумерками и желтым кругом керосиновой лампы. Отец сапожничает, столярничает или слесарничает, восстанавливая и латая; мать и тетка тоже латают, штопают или перешивают; бабушка, как правило, тихо поскрипывает ручной мельницей, размалывая льняной или конопляный жмых, который добавляют в кулеш, оладьи или лепешки, потому что хлеба не хватает; сестры — Галя и Оля — попеременно читают вслух, а я играю тут же, стараясь не шуметь. Это обычный вечерний отдых, и никто из нас и не подозревает, что можно развалиться в кресле, вытянув ноги, и, ничем не утруждая ни единую клеточку собственного мозга, часами глядеть в полированный ящик на чужую жизнь, будто в замочную скважину. Для всех нас искусство — не только в процессе производства, но и в процессе потребления — серьезный, исстари особо уважаемый труд, и мы еще не представляем, что

литературу можно воспринимать глазея, зевая, закусывая, выпивая, болтая с соседкой. Мы еще с благоговением воспринимаем СЛОВО, для нас еще не существует понятия «отдых» в смысле абсолютного безделья, и человек, который не трудится, заведомо воспринимается с отрицательным знаком, если он здоров и психически полноценен.

В «Толковом словаре» Даля нет существительного «отдых», есть лишь глагол «отдыхать». И это понятно: для народа, тяжким трудом взыскующего хлеб свой, отдых был чем-то промежуточным, сугубо второстепенным и несущественным. Отдых для русского человека — равно крестьянина или интеллигента — всегда выражался в смене деятельности в полном соответствии с научным его пониманием.

Когда же он превратился в самоцель? В пустое времяпрепровождение, ничегонеделание, в полудрему под солнцем? Мы и не заметили, как отдых стал занимать неправомерно много места в наших разговорах, планах и, главное, интересах. В нашем сознании «труд» и «отдых» как бы поменялись местами: мы работаем для того, чтобы отдыхать, а не отдыхаем, чтобы работать. И я не удивлюсь, коль в новом «Толковом

словаре» «труд» перестанет быть существительным, а вместо него останется глагол «трудиться». «Трудиться» — заниматься каким-либо трудом с целью заработать денег на «отдых» (см.)».

Я столь запальчиво пишу об этом повальном бедствии нашем, потому что с детства был приучен глубоко презирать две язвы человеческого общества: идеализацию безделья и натужную, потную, лакейскую жажду приобретательства. Я понимаю, что неприлично ссылаться на собственную семью, но ведь я еду с ярмарки, а потому хочу низко поклониться тем, кто посеял во мне нетерпимость.

Я вырос в семье, где господствовал рациональный аскетизм: посуда — это то, из чего едят и пьют, мебель — на чем сидят или спят, одежда — для тепла, а дом — чтобы в нем жить, и ни для чего более. Любимым присловьем моего отца было: «Не то важно, из чего пьешь, а то — с кем пьешь».

Из этого вовсе не следует, что отец «закладывал за воротник»: он не чурался рюмочки, но до войны — только по праздникам, а после оной — еще и по воскресеньям. Он был беспредельно жизнелюбив и столь же беспредельно гостеприимен, но глагол «пить» подразумевал для него суще-

ствительное «чай». Хорошо, если с маминими пирогами, но пироги случались не часто.

Принцип рационального аскетизма предполагает наличие необходимого и отсутствие того, без чего спокойно можно обойтись. Правда, одно «излишество» у нас все же было: книги. Отца часто переводили с места на место, и мы привыкли собираться. Все переезды, как правило, совершались внезапно, громом среди ясного неба. Отец приходил со службы, как обычно, и не с порога, не вдруг, а сняв сапоги, ремни и оружие, умывшись и сев за стол, припоминал, точно мимоходом:

— Да, меня переводят. Выезжаем послезавтра.

И начинались сборы, лишенные лихорадочной суматохи, потому что каждый знал, что делать. Мне, например, полагалось укладывать книги. Возникла эта особая ответственность, когда я был ростом с ящик, но и тогда никто не проверял моей работы: родители старомодно считали, что недоверие унижает человеческую личность.

Это-то я теперь понял, что они так считали, а тогда, кряхтя и сопя — фолианты встречались! — осторожно снимал книги с полок, волок их к ящикам и старательно укладывал ряд за рядом. И дело даже не в том, что мне доверяли упаковывать единственную ценность не только нашей

семьи, но и вообще всего человечества, как я тогда сообразил, — дело в том, что я физически, до пота и ломоты в неокрепших мускулах ощущал эту великую ценность. Я по детскому, первому, а следовательно, и самому прочному опыту узнал, сколь весом человеческий труд, завещанный людям на века. И, становясь перед книгами на колени — иначе ведь не упакуешь, — я еще бессознательно, еще не понимая, но уже чувствуя, становился на колени перед светлыми гениями всех времен и народов.

...Кажется, я так и остался стоять на коленях перед ЛИТЕРАТУРОЙ. И сейчас, возвращаясь с ярмарки, горжусь, что меня хватило на это при всех несуразностях и печалях бытия.

Менее чем за год до кончины отец совершил традиционное путешествие в гости к старому другу. Друг жил в Гороховце под Горьким, и отец каждое лето отправлялся к нему за четыреста с лишним километров на личном транспорте: на велосипеде.

Совсем недавно — шестидесятые годы. В полном разгаре яростная борьба за престижность. Уже полушубки покупаются не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы было «как у людей». Уже на владельца мотоцикла смотрят с

ироническим соболезнованием, уже с первых петухов занимают очередь за золотишком; уже пудами скупают книги; уже… Представьте же, а представив, вообразите, как навстречу этому потоку в кителе без погон, полотняной фуражке и сапогах невозмутимо едет на велосипеде участник четырех войн. Неторопливо крутит педали и едет. Навстречу. Не шоссейному движению, а мещанской суете. Вопреки — так, пожалуй, будет точнее.

…Я перестаю писать, потому что слезы мешают видеть. Не умиления слезы, не печали — гордости за дух человеческий. С какой спокойной мудростью отец не замечал холуйского стремления «достать», «добыть», «купить», «продать», а если суммировать — «чтобы как у людей». Чтоб жена в кольцах и дочь в дубленке, чтоб «сам» в машине, а дом — в книгах, которые никто не раскрывает. И какой же надо обладать душой, чтобы выдержать чудовищное давление пресса, имя которому — «как все»!

Я рос на улицах Смоленска куда интенсивнее, чем дома. Как только мы перебрались с Покровской горы в центр, так покой садов, дворов, пустых сараев и ничейных оврагов, на которых мирно паслись козы, сменился мощеным двором,

с трех сторон замкнутым зданием, а с четвертой — системой бесконечных сараев. А шелест деревьев, кудахтанье кур и нервозные вопли коз — грохотом ошипованных колес, топотом копыт, скрипом, стуками, отдельными трамвайными звонками и клаксонами редких автомашин. В миниатюре я как бы переехал из усадьбы в столицу, шагнув из деревенской поэзии в трезвую городскую прозу.

Основным транспортом были тогда ломовики. Лошади, лошади, лошади — сквозь все детство мое прошли лошадиные морды и лошадиные крупы, лошадиный храп и ржание, лошадиная преданность работе и лошадиные страдания на обледенелых кручах. Сотни лошадей летом и зимой сновали по всему городу, и город звенел от воробьиного чириканья: их кормили лошади, щедро рассыпая овес, и те времена были золотым веком воробьиного племени. Впрочем, лошадиного тоже, потому что я не могу припомнить, чтобы грубый — в фольклор вошедший грубостью своей! — ломовой извозчик не поделился бы со своей лошадью ломтем хлеба с солью. Даже когда бывал безнадежно пьян, ибо пили они тоже «как ломовые».

...Через десять лет — в октябре сорок первого

— судьба вновь свела меня с лошадьми. Я выбрался из последнего своего окружения и попал в кавалерийскую полковую школу. Мне досталась аккуратная гнедая Азиатка, чуткая в поводу и легкая в прыжках. Каждое утро она ласково тыкалась бархатными губами в ладонь, а получив кусок хлеба с солью, благодарно толкала мордой в плечо и вздыхала. Я учился на ней скакать, вольтижировать, брать препятствия, рубить лозу и стрелять с седла, она всегда была послушна, и я очень к ней привязался. И как-то раз, в конце октября, что ли, мы занимались в открытом манеже.

— Завязать повод всем, кроме головного! Подтянуть стремена! Руки назад! Учебной рысью… ма-арш!..

Мы тряслись по кругу, вырабатывая нелегкое кавалерийское умение управлять лошадью с помощью одних шенкелей, когда послышался гул моторов и дежурный завопил: «Воздух!..»

Мы еще только разводили лошадей по станкам, когда «юнкерсы» пошли на бомбежку. Вой и грохот накатывались все ближе, а когда я, держа под уздцы Азиатку, бегом миновал ворота конюшни, раздался удар, на меня посыпалась труха, что-то с силой толкнуло в спину, а моя смирная лошад-

ка вдруг понеслась по проходу, волоча меня на поводу. У денника я вскочил, как-то сдержал лошадь, а когда привязал и оглянулся, то увидел, что осколки выворотили у моей Азиатки добрых три ребра…

Когда закончился налет, мы вшестером, поддерживая с двух сторон, вывели лошадь и уложили на старую попону. Командир эскадрона — злой казачий капитан, послав немцев замысловато и многоэтажно, протянул наган, а я замахал руками: «Нет!..»

— Живодер ты, а не казак! — заорал капитан. — Немедля пристрели кобылу! Милосердие другу окажи, мать твою…

В те времена — как это странно писать, а ведь это так и есть! — так вот, в те давно прошедшие времена любая животина была необходима человеку как помощник в нелегкой борьбе за существование. Помощниками были лошади и коровы, овцы и козы, собаки и даже кошки, ибо в домах копошилось множество мышей, перед которыми женщины всего мира испытывают мистический ужас. Содержание животного для развлечения расценивалось резко неодобрительно, и по завышенным меркам тогдашней нравственности это было справедливо: в стране

не хватало еды, и дети зачастую голодали страшнее бездомных собак. Но к своим помощникам, к тем, кто трудился рядом, человек относился со справедливой добротой, с детства привыкая делить с ними кусок хлеба. И животные облагораживали человека, делая его не просто добреньким, но требовательным, как к себе самому. И не было того массового умилительного восторга перед, скажем, собакой, положение которой резко ухудшилось, несмотря на все внешние признаки обратного. Ухудшилось потому, что собака, перестав быть членом трудового коллектива, превратилась в игрушку, и судьба ее ныне зависит не от ее старания, а от каприза хозяина.

Я начал рассказ о ломовых извозчиках, потому что в детстве не существовало большего удовольствия, чем катание. Правда, почему-то только зимой: сани мягко скользили по укатанному снегу, морозный ветер холодил лицо, радостно фыркала лошадь, и жизнь и ощущалась, и в самом деле была праздником. С середины марта снизу, с Днепра, шли бесконечные обозы: везли укрытые рогожами ледяные глыбы, выпиленные из речного льда. Их доставляли на городские холодильники, льда требовалось много, смоленские горы были круты, и битюги, оскользаясь,

волокли нагруженные платформы в гору, а вниз шли порожняком. И вот тут-то и следовало догнать сани и вскочить на ходу, но непременно спиной, чтобы кнут пришелся бы по пальтишку. Кнуты посвистывали, но куда чаще мы катили вниз в полном согласии с хозяином. Обратно, в гору, прицепиться было сложнее, но и тогда находился кто-либо, понимавший мальчишескую страсть. Кроме ломовых, существовали и легковые пролетки, и санки, и крестьянские розвальни, и лесовозные роспуски, но ломовик был более массовым и более демократичным, и мы предпочитали его.

А автомашин было мало. Мы знали их наперечет, но я особо следил за желтой легковой, которая гонялась за мной довольно долго. Не знаю, кому она принадлежала, потому что мне тогда везло, и я вовремя уносил ноги. А преследовала она меня из-за того, что я однажды кинул палку ей под колеса: интересно же, как палка сломается, правда? Вот я и кинул, но не рассчитал, и палка треснула шофера по голове, поскольку машина была открытой. Он невероятно оскорбился и долго пытался мне отомстить, но, повторяю, я замечал его первым. А вскоре произошло совершенно невероятное событие.

В самом начале тридцатых годов штаб, в котором служил отец, начал менять автопарк, списав в утиль старые машины. Но отец предложил не выбрасывать это старье, а отремонтировать и на его базе создать клуб любителей автодела, как это тогда называлось. Отца поняли, поддержали и… и отдали в его распоряжение три списанные машины и бывший каретный сарай. Он размещался напротив нового стадиона, что был устроен на бывшем плацу возле Лопатинского сада и где стоял чугунный памятник-часовня героям 1812 года, а по бокам его — две бронзовые пушки, с которых я смотрел первые в своей жизни футбольные матчи.

Три автомобиля: грузовой «уайт», столь же древний «бенц» и знаменитая русская легковая машина «руссо-балт». Каждая машина отличалась не только маркой и назначением, но имела и свои индивидуальные особенности. Я излазил их вдоль и поперек, постоянно торчал в гараже, подсказывал на экзаменах бойцам-автолюбителям, помогал отцу как мог и чем мог и сейчас хочу вспомнить хотя бы о грузовичках.

«Уайт» имел грузошины. То есть не обычный баллон (камера и покрышка), а металлический обод, облитый сплошной резиной. Вследствие

этого летом на нем немилосердно трясло, а зимой он скользил, буксовал и терял управление на всех горках, а поскольку в Смоленске были одни горки, то зимой отец пользовался им редко. Кроме того, «уайт» имел настолько низкие борта, что отец сажал людей на пол, а там трясло совсем уж немыслимо. Кабины у него не было, сиденье было жестким, а руль располагался точно посередине. Однако отец почему-то именно на нем чаще всего обучал своих бойцов.

Насколько «уайт» представлялся несуразно длинным, настолько «бенц» казался несуразно коротким. У него была цепная передача, а так как тормоза располагались на карданном валу, то в случае обрыва цепи машина делалась абсолютно неуправляемой. Это было особенно пикантно, если взять во внимание крутые, длинные и кривые смоленские горы. Кроме того, «бенц» имел еще и конусное сцепление, которое часто слипалось, и тогда мы либо пилили на уже включенной передаче, либо отец глушил мотор и лез под машину расцеплять не желавшее расцепляться. Это случалось куда чаще, чем можно вообразить: грузовичок вел себя с капризами живого существа.

Но самым оригинальным был его сигнал. Он проживал отдельно от машины и представлял

собой маленькую сирену с ручкой, напоминающей водопроводный вентиль, который надо было вращать как можно быстрее. Естественно, тот кто сидел за рулем, не мог этим заниматься, и сирена вручалась пассажиру. А поскольку смоляне ходили как хотели, когда хотели и куда хотели, то наша сирена все время судорожно подвывала, и мальчишки со всего города безошибочно определяли:

— Борькин папка на драндулете шпарит!

Сложнее всего оказывалось, когда роль сигнальщика доставалась маме. Она была человеком, мягко говоря, взнервленным, легко выходила из равновесия, боялась машины, норовила держаться двумя руками, и вертеть сирену оказывалось нечем. А люди блуждали под колесами, несмотря на устрашающий грохот нашего «бенца», и тогда мама кричала во всю мощь своих слабеньких легких:

— Гражданочка! Мадам! Товарищ! Пожалуйста! Оглянитесь!

Если при этом учесть, что сиденье «бенца» было пухлым от обилия нежнейших пружин, а смоленская мостовая — отнюдь не предназначенной для автомобильного движения, то можно вообразить, как выглядела эта езда. На каждом

ухабе пассажиры взлетали выше кузова, рискуя опуститься в полнейшую неизвестность; отец при этом держался за руль, женщины — за свои юбки, а меня ловил тот, у кого была свободная рука. Словом, это были путешествия из раздела незабываемых.

Правда, если говорить начистоту, то отец куда чаще лежал под машинами, чем ездил на них. Это служило поводом для постоянных шуток, но отец разделял шутки в свой адрес и смеялся раньше всех. Он выпросил совершеннейший металлолом, который красноармейцы на руках перекатили из гаража при штабе в каретный сарай напротив стадиона. И можно представить, сколько сил затратил отец, чтобы вдохнуть жизнь в эти автотрупы. Но он никогда не бросал начатого, упорно веря, что все дело лишь в желании да труде. И ему всегда хватало и труда, и желания.

В нашем гараже не было электричества: глухой каземат без окон, цементный пол, верстак, ящик с песком и бочка с бензином. Дело в том, что бензоколонок тогда не существовало, бензин отцу отпускали по наряду оптом, и приходилось хранить его в гараже. И однажды мы чудом не взлетели.

Случилось это поздней осенью, и ворота были

закрыты. На верстаке горел фонарь «летучая мышь», отец лежал под «бенцем», подстелив войлочную кошму, и регулировал пресловутое конусное сцепление. А я курсировал между верстаком и машиной, подавая требуемые инструменты, и громко распевал песни. У меня никогда не было ни слуха, ни голоса, но была — и есть по сей день — потребность петь во все горло. И я орал песню, которая гулко раздавалась под кирпичными сводами, и тут погас фонарь. В этот момент я подавал отцу очередной ключ, и он сказал:

— Спички над верстаком, на полочке. Сможешь сам зажечь?

— Смогу, — ответил я и наступил на керосиновую лампу, которая стояла на кошме, освещая отцу объект регулировки.

Раздался хруст, стало темно, а потом по кошме побежали огненные ручейки. Я заорал еще громче, ощутив вдруг прилив необъяснимого восторга. И сквозь ор еле расслышал треск и напряженный, но спокойный отцовский голос:

— Открой ворота и уходи. Открой ворота и уходи.

Как позднее выяснилось, отец рванулся из-под машины, как только я раздавил лампу. Но до это-

го он разъединил тяги и зацепился гимнастеркой за рычаг и, лежа, рвался из-под «бенца», не видя, как отцепиться. Пока я в неверном свете начинающегося пожара искал запоры ворот и открывал тяжеленные створки, а отец, разодрав до горла гимнастерку, сорвался с рычага и выкатился на волю, занялась бочка с бензином. Помню, что вспыхнула она вдруг ярким пламенем, а я еще только распахивал ворота. Бочка была огромной, отец не мог повалить ее и раскачивал с канта на кант; бензин выплескивался, на отце горели обрывки гимнастерки и — руки. Конечно, это горел бензин, который выплескивался на руки, но я и сейчас помню бегающие голубоватые язычки пламени на его ладонях. Наконец он повалил ее, крикнул, чтобы я спрятался в дальнем углу, и спешно покатил горящую бочку во двор. Там она и рванула, как хорошая бомба, но отец за миг до взрыва умудрился упасть за угол дома, и во дворе никто не пострадал, хотя почти все квартиры лишились стекол.

— Шляпа! — сказал отец, загасив остатки пожара.

Это было самое страшное его ругательство. Впрочем, и единственное: значение определялось интонацией. Что и говорить, отец мой был

мастак ругаться…

Каждый год летом мы уезжали из города, хотя тихий Смоленск мало отличался от деревни: ну, пыли в нем было побольше. И все же ездили — думаю, срабатывала привычка — сперва в Высокое, потом — снимая где-либо что-либо. Мама любила Вонлярово, и отец в майские праздники — это были едва ли не единственные гарантированные свободные дни для командиров — отправлялся договариваться. И было три машины в его полном и бесконтрольном владении, а мы поехали на велосипеде. И помню разговор накануне:

— Я не могу, Эля, не имею права. Вот когда будем переезжать, тогда пойду в штаб и попрошу разрешения.

— Я не пущу с тобой Бориса!

— А ему-то не все равно, на чем ехать?

И я поехал на отце. А сколько отцов не выдерживало, не выдерживает и еще не выдержит искуса и повезет отпрыска на казенной машине в возрасте, когда запоминаются факты и забываются причины, когда еще только формируются «можно» и «нельзя», когда гордый взгляд из машины равнозначен праву на эту машину и порой способен погубить душу на веки вечные. И это особенно касается мальчишек, ибо если женщи-

нами рождаются, то мужчинами становятся.

…Закройте глаза и представьте: по современному шоссе, забитому «жигулями» и «запорожцами», «москвичами» и «волгами», неторопливо работая педалями, едет старый человек в офицерском кителе без погон, сапогах и белой полотняной фуражке. Ему за семьдесят, у него отрублен палец на левой руке, отравлены газами легкие и прострелено плечо. А он — едет. Навстречу потоку.

Вопреки…

В Вонлярово можно было проехать большаком, можно — по Московскому шоссе, но отец избрал третий путь. Не нужно усматривать в этом стремление к оригинальничанию — он вообще был лишен его начисто, — а вот стремление к расширению моего горизонта у него было всегда. И мы поехали по тропинке, что вела вдоль железнодорожного полотна. Она была утоптана до бетонной твердости, и ехать было приятно. Я сидел на раме и держался за руль, а отец неспешно вертел педали, и мы катили. По ровному и под гору, а в гору шли пешком, и тогда начинались разговоры обо всем и ни о чем — именно так разговаривают во всем мире с детьми, а со взрослыми — только в России. Но дело даже не в разговорах, — в конце

концов, разговоры одинаковы у всего детства, — дело в дороге. В том третьем пути, который мы с отцом прошли туда и обратно, измерив его не временем, проведенным в поезде, не спидометром автомашины, — измерив собственными ногами, собственной скоростью и собственным временем; поняв, что под горку ты отдыхаешь, а в гору — задыхаешься; ощутив, сколько твоих личных шагов укладывается в общем километре, и оценив, что такое отдых, глоток воды и кусок хлеба из отцовских рук. И мне порой кажется, что все те объяснения — что машины не его, что бензин не его, что… — были затеяны отцом с единственной целью: показать, что путь между двумя точками не всегда полезно соединять беспощадной прямой…

Я пишу о своей семье и своем детстве потому, что все, чем я обладаю, — оттуда. Конечно, я идеализирую и свое детство, и свою семью, но идеализировать своих родителей куда естественнее, чем строго реалистически подсчитывать их недостатки. Но поскольку рос я не только дома, я не могу забыть того, с чем, к счастью, незнакомы идущие вослед.

Я был счастливчиком: отец получал комсоставский паек и два раза в неделю — обед для семьи.

То есть для мамы, Гали и меня, но ведь были бабушка, Оля, тетя Таня, кто-то еще. И все равно я был счастливчиком, и мне завидовали. С той поры я никогда не ем на улице: боюсь снова увидеть взгляд из тех, тридцатых годов. До ужаса боюсь.

Я стараюсь отвлечься от сегодняшних лиц и вспоминаю лица своих сверстников тех дней. Время размыло их, но оно оказалось не в силах добавить красок в их смутные очертания. И я вижу дряблую старушечью кожу на ножках семилетних девочек, четкие — углем обводили для смеха! — ребра восьмилетних мальчишек, провалленные, точно растущие внутрь, щеки и у тех и у других и серьезные, пугающе серьезные глаза.

…Куда с таким недетским вниманием вглядывались мои друзья? В сытость завтрашнего дня? Она пришла, мы отъелись, заулыбались, запели веселые песни и… И пошли на фронт. И фашистские танки забуксовали на баррикаде из двадцати миллионов наших тел…

С какого-то времени — старею, что ли? — жизнь стала представляться мне горбатым мостом, переброшенным с берега родителей на берег детей. Сначала мы поднимаемся по этому мосту, задыхаясь в суете и не видя будущего; дойдя до середины, переводим дух, с надеждой вглядываясь в тот,

противолежащий берег, и начинаем спускаться. И есть какая-то черта, какая-то ступень на этом спуске, ниже которой ты уже не увидишь своего детства, потому что горбатый мост прожитой жизни перекроет твой обзор. Надо угадать эту точку, этот зенит собственных воспоминаний, потому что оглянуться необходимо: там спросят. На том берегу, где мы — только гости. Порою досадные, порою терпимые, порою засидевшиеся и всегда — незваные. Не потому, что дети отличаются невинной жестокостью, а потому, что старость только тогда имеет право на уважение, когда молодость нуждается в ее опыте…

Я родился на перекрестке двух эпох, и в этом мне повезло. Еще судорожно и тихо отходила в вечность Русь вчерашняя, а у ее одра неумело, а потому и чересчур громко уже хозяйничала Россия дня завтрашнего. Старые корни рубились со звонким восторгом, новое прорастало медленно. Россия уже отбыла от станции Вчера, еще не достигла станции Завтра и, судорожно громыхая разболтанными вагонами, испуганно вздрагивая на стыке дней своих, мчалась из пронизанной вспышками выстрелов ночи Гражданской войны в алый рассвет завтрашнего дня. Наш паровоз летел вперед.

И еще ничего не успели разложить по полочкам, рассортировать и классифицировать. Все было в куче, как в зале ожидания: наивный максимализм и весомые червонцы нэпа; вера во Всемирную революцию и бешеная активность Союза Воинствующих Безбожников; еще свободу путали с волей, еще любой мог считать себя «согласным» или «несогласным», и в анкетах того времени существовала такая графа; в школах была отменена история, а на уроках литературы яростно спорили, стоит ли изучать крепостника Пушкина, и прочно выбросили из программ помещика Тургенева и путаника Достоевского.

Сейчас мне представляется, будто тогда мы наивно и хмельно играли в жмурки, ловя нечто очень нужное с завязанными глазами. И при этом смеялись, хлопали в ладоши, радовались — те, кто стоял вокруг. А те, кто метался в центре, — те не смеялись. Но мы ничего не замечали: нас распирало ощущение победного торжества.

В этой «игре» с завязанными глазами рушилась старая культура и создавалась новая. Отрицание прошлого и всего, что хоть чем-то напоминало об этом прошлом, было столь всеобщим, нетерпеливым и современным, что никому и в голову не могло прийти печалиться по поводу

разрушаемой Триумфальной арки, снесенных по непонятной прихоти Молоховских ворот или взорванного храма Христа Спасителя. Нет, кому-то конечно же приходило, кто-то страдал, а кто-то и действовал (ведь спасли же, в конце концов, Триумфальную арку!), но это — в стороне от потока, от грома аплодисментов, рева труб, грохота барабанов и торжествующего звона песен: «Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы…» Существует атмосфера праздника: мы выросли в климате праздника.

…А вам не кажется, что в праздники люди перестают думать? Вспоминать о потерях, горестях, нехватках, недостатках, болях, печалях? Ни о чем таком, естественно, не вспоминают в праздники, да и сами-то праздники, вероятно, возникли, когда люди вырывались из трудностей хотя бы на время. Но представьте, о чем думают на свадьбе, а о чем — на похоронах: какой простор для размышлений, не правда ли? И это закономерно: трагедия учит, а комедия поучает. Нет, я совсем не против праздников, они необходимы, как радость, но давайте все же помнить, что в праздники мы сентиментальнее, снисходительнее и глупее, чем в будни…

Мы спускаемся в жизнь с коня материнских

колен.

Это — так. Но для чего? Чтобы вступить в бой или попросить пощады? Сорвать цветок для любимой или помочиться в родник? Заслонить собою друга или потискать девку?

Цель, ради которой мы спускаемся в жизнь с коня материнских колен, определяется отцами. Мать дарует нам силу и здоровье для этой отцовской цели, если мы — плод любви, а не потливой похоти. На этой взаимосвязи любви и долга доселе держится мир.

Без колебаний приняв Великую Октябрьскую революцию, мой отец был все же сыном отвергаемой культуры. Я уж не говорю о бабушке и маме — женщины вообще консервативнее, а ведь именно они создают тот особый дух семьи, который мы, однажды вкусив, носим в себе до последнего часа. И так было во всех семьях, инерционно стремившихся передать нам нравственность вчерашнего дня, тогда как улица — в самом широком смысле — уже победно несла нравственность дня завтрашнего. Но это не рвало нас на части, не сеяло дисгармонии, не порождало конфликтов: это двойное воздействие в конечном итоге и создало тот сплав, который так и не смогла пробить крупповская сталь.

Конечно, воспитывает не только внешняя и внутренняя среда, а сумма самых неожиданных и труднопредсказуемых влияний, сумма авторитетов семьи, двора, улицы, детских и взрослых коллективов. Воспитание не профессия, а призвание, талант, дар Божий. И этим благородным Божьим даром была щедро наделена моя бабушка. Легкомысленная, никогда не унывающая фантазерка с детской душой, живостью и фигуркой девушки.

…Я сижу в большой комнате и, высунув от старания язык, раскрашиваю командирскими карандашами иллюстрации в пухлом комплекте «Нивы». Бабушка сидит рядом, курит длиннейшую махорочную самокрутку и раскладывает большой королевский пасьянс. Входит мама. С плачем и пустой корзинкой.

— Беспризорники вырвали у меня весь наш хлеб!

Бабушка невозмутимо выпускает огромный клуб махорочного дыма (в ту пору еще не ведали, что курить вредно).

— Элечка, все трын-трава, испанский мох. Интересно, куда же мне девать девятку треф?

— Твое легкомыслие, мама, переходит все границы. Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня!

— Мы не увидим хлеба до завтрашнего дня, а сколько дней его не видели эти немытые гавроши? Перестань лить слезы, Эля, и скажи, куда же мне девать эту несчастную девятку треф?..

Это — бабушка.

Если выдвинуть на середину комнаты самую большую кровать, а на нее положить кверху ножками обеденный стол, то получится корабль. А если попросить бабушку стать королевой, то она через минуту войдет в комнату царственной походкой и с короной на голове.

— Кто ты, о чужеземец?

— Я родом из Генуи, ваше величество, и зовут меня Христофор Колумб…

И тут появляется незапланированная мама.

— Боже мой, что происходит?

— Я отправляю в великое плавание Христофора Колумба, Эля, — торжественно говорит Изабелла Испанская. — Только на таких каравеллах и можно открыть еще не открытые Америки.

Это — бабушка.

… — Эля, в Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?

Исчезли керосин и сахар, крупы и постное масло, спички и соль. А хлеб стал выдаваться по карточкам. Прекрасный черный хлеб, от запаха

которого у меня и сейчас перехватывает горло, тогда распределялся па&#xfffd;йками (ударение на первом слоге). Па&#xfffd;йка хлеба — полфунта. Двести граммов.

Бабушка берет бидон и идет стоять в длиннющей очереди. В очереди еще полно «бывших» (ныне они официально именуются «лишенцами», поскольку лишены избирательного права), и бабушка отводит душу в воспоминаниях и французском языке.

О, эти очереди! Возникшие при царе как очереди за хлебом, вы упорно не желаете покидать многострадальную родину нашу уже как очереди за тем, «что дают». Начавшись в рабочих кварталах Петрограда, вы меняли свой социальный состав, пока окончательно не перетасовали граждан России. Какой поэт, какой прозаик возьмется описать знаменитое: «Кто последний, что дают?»…

Через два часа бабушка возвращается без керосина и даже без бидона.

— Эля, нам поразительно повезло. Поразительно! Я случайно встретила мадам Костантиади. Ты помнишь мадам Костантиади? Так представь себе, она служит в оперетте и завтра поведет Бореньку на «Фиалку Монмартра»!

— Зачем шестилетнему ребенку оперетка? Узнать «смотрите здесь, смотрите там»?

— Пусть он узнает, куда смотреть через искусство, а не через уличные сплетни. Кроме того, с ним пойду я.

— А где бидон?

— Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса.

Это — бабушка.

…Мы сидим в центре Смоленска на Блонье. Я задаю бесконечные «почему», мешая бабушке насладиться французским романом. Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома: ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, на которых отпечатано «БОРЯ». Мы — в сладостном предвкушении: я собираюсь заняться мороженым, бабушка — наконец-то вцепиться в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаявшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки-бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я ревниво хмурюсь…

— Какая прелесть! — громко объявляет бабуш-

ка, оставив роман. — Так женщины смотрят на бриллианты. А как грациозно она стоит! Боже, боже, и ты еще чего-то ждешь, Боря? Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты — настоящий мужчина!

Это — бабушка.

…Когда-то отец увлекался копированием картин, и в одной из комнат нашего домика на Покровской горе висели «Иван-царевич на сером волке», «Аленушка», «Богатыри», что-то еще. И вот зимними вечерами мы с бабушкой уходили в ту комнату. При этом бабушка оставляла дверь в большую комнату открытой, чтобы свет керосиновой лампы падал на какую-либо из отцовских копий. Мы усаживались перед нею и…

— Ранним утром три русских богатыря выехали на разведку, — приглушенно и заманчиво начинала бабушка. — Они ехали долго, и мягкий ковыль бесшумно стлался под копытами их коней…

И васнецовские богатыри оживали в мерцающем свете. Они скакали по степи, высматривали врага, сходились с ним в жестокой рубке. И свистели стрелы, звенели мечи, ржали кони, стонали раненые…

— Ты видишь, видишь, пятеро врагов напали

на одного Алешу Поповича? — горячо, убежденно спрашивала бабушка — Ох, как ему трудно сейчас! Держись, Алеша, держись!

— Алеша! — во весь голос кричали мы оба. — Держись, Алеша!..

В упоении мы вопили на весь дом, но никто ни разу не сказал бабушке, что она забивает голову ребенку какими-то бреднями. Наоборот, когда кончалось наше «кино» — а кончалось оно неизменно победой Добра, — я врывался в большую комнату и с порога начинал восторженно рассказывать, что я только что видел, все с живейшим интересом и совершенно серьезно расспрашивали меня о битве трех богатырей или о чудесном спасении царевны.

Это — бабушка.

…Мы живем в центре, а я учусь в 1-м классе 13-й образцовой школы имени Бубнова, что напротив часов. И как-то входит невероятно радостная бабушка:

— Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!

Бабушка путала многое по легкомысленности, трогательно пронесенной ею сквозь все три революции, германскую и Гражданскую войны, нэп, коллективизацию и начало первой пятилетки. В

помещении бывшей синагоги ныне располагался театр, который смоляне называли Пятнадцатым. Вот с этого бабушкиного заявления и началось мое знакомство с кинематографом, поскольку кинотеатр оказался ближе, чем школа.

Каждое утро бабушка брала венский стул, клала в плетеную сумку очки и очередной растрепанный роман и отправлялась на работу. Впрочем, она не любила этого слова и всегда говорила, что «идет на службу». Так вот, придя «на службу», бабушка распахивала настежь двери, ставила на пороге личный стул, надевала очки, сноровисто сворачивала цигарку из крепчайшей махры, доставала роман, прикуривала и… И тут следовало выждать, пока бабушка не исчезнет в парижских трущобах. Если момент угадывался точно, желающие должны были по возможности чинно миновать бабушку и раствориться в прохладном сумраке бывшей синагоги. Если же какой-либо недотепа слишком медлил или слишком торопился, бабушка строго смотрела на него поверх очков и укоризненно говорила:

— Пожалуйста, мальчик, не шумите. Вы мешаете читать.

Шли последние годы немого кино, и я знал о нем все. Я знал, какой фильм интересен, а какой

— нет, какой актер играет превосходно, а кого постигла неудача, какую музыку следует исполнять при появлении батьки Махно, а какую — при сумасшествии Бейдемана. Я множество раз смотрел «Красных дьяволят», «Дворец и крепость», чей-то «Спартак» и чью-то «Куртизанку», какого-то «Наполеона», и неизвестно кем созданный боевик об Англо-бурской войне, и сотни иных фильмов. Среди них плохих, естественно, было несравнимо больше, чем удачных, и вся эта киномакулатура не набила мне оскомины только потому, что я был приучен бабушкой относиться к кино как к импульсу для личного творчества, как к канве, на которой должна быть моя вышивка. Я не просто додумывал фильмы — я сочинял их заново, и поэтому любая ерунда вызывала во мне интерес. Удивительно, но это свойство воспринимать кино прежде всего как полуфабрикат — исключения, естественно, случаются — сохранилось до сей поры. Я и теперь с удовольствием пересказываю фильмы, но сколько раз пересказываю, столько вариантов и создаю, иначе мне просто неинтересно пересказывать, а зачастую и смотреть.

И все это — бабушка. Я мог бы вспоминать о ней бесконечно: она сама научила меня сочинять.

Но я сочиняю на реальной основе, потому что бабушка была именно такова. Я лишь кое-что суммирую, чтобы проявить в родном мне характере черты определенного социального типа.

...Мама рассказывала, что бабушка, уже долгое время не узнававшая никого, перед самой кончиной открыла глаза, посмотрела на маму и строго спросила:

— Где Боря, Эля? Где мой Боря?

Шел март 1943 года, и я находился далеко от города Камень-на-Оби. Города, ставшего последней пристанью бабушкиного земного бытия...

Я пишу о многом и о многих, а о маме — сдержанно, и может создаться впечатление, что мне либо не хочется, либо нечего сказать о ней. Но это не так, я много думаю о ней и помню постоянно: она умерла в Татьянин день, на десять лет пережив отца. Умерла не от чахотки, грозившей ей в расцвете ее лет: она обменяла меня на смерть, всю жизнь помнила об этом и почему-то очень боялась, что я застрелюсь. Не знаю, откуда возник этот страх, но он был, он мучил маму, пока она еще хоть что-то сознавала. Она дала мне не только жизнь, но и ее обостренное восприятие, оттененное думами о смерти, которые все чаще посещают меня. Она дала мне прекрасный

пример любви, самоотречения и преданности… Она… да разве можно перечислить, что дает мать самому любимому из своих детей?!

По рассказам знаю, что где-то в конце девятнадцатого, после очередного ранения, на побывку прибыл отец. Он много выступал с беседами о положении на фронтах, в том числе и в госпитале, куда мама пошла его послушать. Раненые задавали множество вопросов, среди которых был и такой:

— Товарищ командир, а на что живет твоя молодая жена и малютка-дочь, когда ты на фронте проливаешь свою геройскую кровь за наше общее счастье? Обещания получает по иждивенческому талону? Долой! Предлагаю резолюцию…

Приняли резолюцию: «Обеспечить жене красного командира Елене Васильевой работу и трудовое питание при раненых геройских бойцах…» Но работой обеспечивали совсем не геройские раненые бойцы, а бывшие военные чиновники, криво усмехавшиеся при упоминании о красном командире. И маму обеспечили инфекционным бараком, а через месяц она заболела оспой. По счастью, она много раз делала прививки, болезнь прошла в легкой форме, оставив на очень красивом лице мамы несколько оспинок на память

о Гражданской войне. А получал ее дядя Карл, пришедший с одеялом и приятелем.

— Легкая она была, как спичка, — любил рассказывать дядя Карл, отпуская воду на водокачке. — Такая была легкая, что я никому ее не отдал и нес от госпиталя до дома без пересмены.

У мамы был нелегкий характер, но и неласковая жизнь, на которую она никогда не жаловалась. Мама рассказывала мне многое, куда больше, чем отец, но — странное дело! — я никак не могу представить ее молодой. Легко представляю молодого отца, с натугой — молодую бабушку, но мама для меня всегда немолода. И может быть, поэтому мне с особой болью думается о ней…

…О, как неистово хочется вернуться в детство, хотя бы на полчаса! Увидеть отца, маму, бабушку, обнять их, попросить прощения и непременно успеть сказать:

— Почитай мне вслух, мама…

Учился я огорчительно и потому, что часто менял школы, и потому, что никогда не был усидчив, и потому, что отличался памятью, обладал изрядным запасом слов и быстро наловчился рассказывать не то, о чем меня спрашивали, а то, что я знал. Скажем, если вопрос касался Америки, я старался соскользнуть либо на Колумба, либо

на Кортеса, либо на Пизарро. А рассказывать с бабушкиной легкой руки я навострился, на ходу сочиняя то, чего не было, но что могло бы быть. Это позволяло кое-как перебираться из класса в класс, а причиной всему была моя почти пагубная страсть: я читал. Читал везде и всегда, дома и на улице, во время уроков и вместо них. Читал все подряд, в голове образовалась полная мешанина, но постепенно все сложилось, я вынырнул из литературной пучины и смог оглядеться.

Годам к восьми я все знал о «Пещере Лейхтвейса» и тайнах тугов-душителей, о сокровищах Монтесумы и бриллиантах Луи Буссенара; я скакал за всадником без головы, отбивался от коварных ирокезов, рыл подземный ход вместе с Эдмоном Дантесом. Моими личными друзьями были Ник Картер, Джон Адамс и Питер Мариц, юный бур из Трансвааля. И обо всем этом я часами рассказывал в темных подвалах приятелям-беспризорникам, упиваясь не только самим рассказом, но и возможностью прервать его на самом интересном месте:

— Пить охота.

И не признающая никого и ничего вольница бросалась за водой без всякого промедления. Я на практике познал то, что много позднее вычитал

у Ницше: «Искусство есть форма властвования над людьми…»

Мы привыкли третировать литературу, так сказать, «низкого пошиба» куда с большим усердием, чем подобное ей в кино, на телевидении или в театре. Такова традиция, признак хорошего тона и т. п. Я все понимаю, я не стремлюсь быть оригинальным, но я хочу отдать должное этой, «низкого пошиба». И не только потому, что она учит уважать книгу и — выражаясь толстовским языком — «полюблять» ее, а потому, что она чиста в истоках своих. В ней всегда торжествует добро, в ней всегда наказуем порок, в ней прекрасны женщины и отважны мужчины, она презирает раболепство и трусость и поет гимны любви и благородству. Во всяком случае, такова была она, эта литература, в дни детства моего.

У нас в семье читали вслух при первой возможности, но читали почтенных писателей: Тургенева, Гончарова, Гоголя, Лермонтова и почему-то весьма скромного Данилевского. Не скажу, что мне было невероятно интересно, зато интересно было моему отцу, который не уставал восхищаться прочитанным. Его авторитет всегда был для меня абсолютным, а потому я, еще ничего не понимая, уже твердо знал, что кроме

литературы, которую пересказывают в подвалах, существует и литература, которую, образно говоря, читают, сняв шляпу. А что касается скромного Данилевского, то я и по сей день благодарен ему за первые уроки родной истории.

Если Григорий Петрович Данилевский впервые представил мне историю не как перечень дат, а как цепь деяний давно почивших людей, то другой русский писатель сумел превратить этих мертвецов в живых, понятных и близких мне моих соотечественников. Имя этого писателя некогда знали дети всей читающей России, а ныне оно прочно забыто и если когда и поминается, то непременно с оттенком насмешливого пренебрежения. Я говорю о Лидии Алексеевне Чарской, чьи исторические повести — при всей их наивности! — не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из «Грозной дружины», «Дикаря», «Княжны Джавахи» и других повестей детской писательницы Лидии Чарской.

Я так подробно пишу о своем постижении истории, потому что история и литература с детства переплелись в моем сознании, и я до сего времени

воспринимаю литературу как беллетризованную историю, а историю — как лишенную беллетристики литературу. Но в этом сыграли роль не только Данилевский и Лидия Чарская.

...Я прожил без малого шесть десятков, я еду с ярмарки и все никак не могу понять, как можно не восторгаться, не любить, а то и просто не знать истории родной страны. Откуда это массовое поветрие? От вульгарного ультраклассового представления, что монархическая Россия не стоит нашей благодарной памяти? От спесивого полуграмотного убеждения, что история ничему не учит? От низкого уровня преподавания истории в школах?

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие.

Так говорил Пушкин.

Избегая назиданий, будто между прочим, отец сумел посеять в готовой под посев душе моей преклонение перед героями. Первые ростки совпали с выходом в свет знаменитой книжной серии «Жизнь замечательных людей»; основатель ее тоже был убежден, что в молодых сердцах надо сеять восторг — и пожнешь жажду подвига. Первая книга «ЖЗЛ», которую я прочитал, была

о Сен-Симоне: «Вставайте, сир, вас ждут великие дела!» Я был потрясен величием духа потомка королей, а за ним последовали жестокий конквистадор Франциско Пизарро и отчаянный пират сэр Фрэнсис Дрейк, отважный путешественник Давид Ливингстон и азартный репортер Стенли, угрюмый завоеватель Тамерлан и фанатично преданный идее Христофор Колумб. Я всегда увлекался людьми активного начала и упорно собирал книги о полководцах, путешественниках и авантюристах всех времен и народов. Заметив это, отец принес огромную, еще старой печати, карту мира, набор командирских цветных карандашей и научил кропотливо прокладывать маршруты, а не просто читать. И я милю за милей прошел с Магелланом, вычертил путь Джеймса Кука и точно знал, куда и как плыл Лаперуз. Отважные, но отдаленные временем, а потому почти абстрактные путешественники ожили с помощью этой карты, обрели плоть и страх, дерзость и отчаяние, веру в свое призвание и ослепительный миг торжества.

Если я познакомился с историей через литературу, а с географией — через великих мореплавателей, то следующий шаг логично следовал из восторженного отношения к героям и геро-

ике. Конечно, тут сыграло роль и то, что я был сыном участника Гражданской войны, рос среди рассказов и воспоминаний, в семь лет разбирал наган и знал все виды стрелкового оружия так, как современный мальчишка знает марки автомашин. Игра с огромной картой мира, где каждое путешествие имело свой цвет, вскоре оказалась недостаточной; карты стали изменяться, пока не превратились из карт географических в карты топографические. Помню, что, с упоением прочитав о Ганнибале, я начал излагать его подвиги отцу, а отец, выслушав, спросил, понял ли я, что значат для военного искусства знаменитые Канны. Я начал что-то бормотать, привычно стремясь перебраться на то, что мне ведомо, но отец взял бумагу, набросал схему сражения и подробно растолковал, как Варрон построил свои когорты, что противопоставил могучему, но малоподвижному противнику Ганнибал и как конница его брата Гасдрубала, разметав римские заслоны, зажала легионы в железное кольцо. Я не утверждаю, что именно тогда я понял, в чем заключается искусство полководца, — для этого понадобились и время, и военная академия, и масса изученной литературы, — но меня поразила осязаемость, что ли, отгремевшего сражения, его четкая, гео-

метрическая завершенность: битва решалась как теорема «что и требовалось доказать».

Великие мореплаватели отошли на второй план: словно поняв правила некой «военной игры» истории, я и играл в нее. Сражений было множество; чтобы в них разобраться, надо было читать уже не романы и даже не «ЖЗЛ». И я ринулся к отцовским полкам, потому что отец любил военную историю и собирал библиотечку. Это было нелегко, но у меня хватило восторженной настойчивости самому разбираться: я читал, чертил схемы и упоенно громил противника или терпел жесточайшие поражения. Для примера могу упомянуть, что лет этак в двенадцать я осилил скучнейшую «Историю военного искусства...» Дельбрюка, но так и не смог повторить этого подвига, когда мне перевалило за пятьдесят.

Так я увлекся военной историей, но дело не только в том, что я многое узнал. Вскоре мне уже перестало хватать одних «сюжетов», если под «сюжетом» понимать собственно битву: я стал интересоваться причинами и следствиями, опыт чтения научной литературы у меня уже был, и я начал читать историю, как читал литературу, то есть взахлеб. Это случилось классе в восьмом, и с

того времени я точно знал, что буду историком.

…Я не стал историком. Порой я с густой горечью думаю, кем мы не стали. Мы не стали Пушкиными и Толстыми, Суриковыми и Репиными, Мусоргскими и Чайковскими, Баженовыми и Казаковыми. Мы не стали учеными, инженерами, рабочими, колхозниками. Мы не стали мужьями, отцами, дедами. Мы стали ничем и всем: ЗЕМЛЕЙ.

Потому что мы стали солдатами.

Мы взрывали, вместо того чтобы строить; ломали, вместо того чтобы чинить; калечили, вместо того чтобы помогать, и убивали, вместо того чтобы в счастье и нежности зачинать новые жизни. Говорю «МЫ» не потому, что хочу урвать кроху вашей воинской славы, знакомые и незнакомые ровесники мои. Вы спасали меня, когда я метался в Смоленском и Ярцевском окружениях летом сорок первого, воевали за меня, когда я скитался по полковым школам, маршевым ротам и формировкам, дали мне возможность учиться в бронетанковой академии, когда еще не был освобожден Смоленск. Война переехала и через меня, и если не запахала, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она — во мне, часть моего существа, обугленный

листок биографии. И еще — особый долг за то, что целым и невредимым оставили именно меня…

В 54-й неполной средней школе города Воронежа мне наконец-таки повезло с учительницей русского языка: это была Мария Александровна Морева. С ее помощью в 7-м классе мы начали выпускать литературный журнал объемом в две ученические тетради. Мы — это Коля и я. Коля писал стихи и поэмы с продолжением «в след. №» и подписывался «ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ». Я строчил рассказы о Гражданской войне, Африке и Испании, которые подписывал еще более звучно: «И. ЗЮЙД-ВЕСТОВ». Почему я избрал псевдонимом «Юго-Запад», этого я объяснить не могу. У меня всегда была склонность к трескучим фразам, и псевдоним «ОЛЕГ ГРОМОСЛАВЦЕВ» был навязан скромному поэту мной. В отличие от меня, Коля совсем не стремился писать о том, чего не ведал, и одно его стихотворение было напечатано в воронежской молодежной газете: его передала туда Мария Александровна. И я до отчаяния завидовал Кольке…

…Его звали Николаем Петровичем Плужниковым, у него была сестра Вера, и я назвал его именем одного из первых своих героев — героя романа «В списках не значился». Мне необходимо

было положить свой венок на могилу самого близкого друга моего…

В воскресенье 22 июня 1941 года я с Колей и еще с двумя ребятами из нашего класса бежали купаться на реку Воронеж. На углу Комиссаржевской и Энгельса нас застигла гроза; ближе всего оказался навес над подъездом бывшей нашей — она была неполной, то есть семилеткой, а мы уже учились в девятом — школы № 54. Мы спрятались под ним и громко вопили от восторга перед ливнем, громом и молниями. А потом открылась дверь, и вышел директор Николай Григорьевич, которого мы когда-то так боялись. Лицо его было серым. «Мальчики, — сказал он. — Война, мальчики». А мы заорали «ура!».

Из четырех семнадцатилетних парнишек, глупо оравших «ура!» в день начала Великой Отечественной войны, в живых остался я один.

В той самой школе, в которой мы с Колей выпускали рукописный журнал и на крыльце которой нам суждено было встретить войну, произошло еще одно событие, не менее для меня важное. Актер Молодого (он так и назывался) театра Миша (фамилию я, к сожалению, забыл) организовал драмкружок. Кружок осилил всего один спектакль — «Юбилей» Чехова, где я играл

Шипучина. Затем Миша исчез, кружок распался, но вскоре меня вызвала учительница немецкого языка Анна Яковлевна Цвик. Я приуныл, полагая, что дело касается моих успехов, но Анна Яковлевна предложила тайком подготовить спектакль по какой-то одноактной пьесе на два лица «про шпионов». Мы стали репетировать то в пустых классах, то на дому и неожиданно для всех сыграли спектакль. Успех был феерическим, нас приглашали в другие школы, и я ходил задравши нос. И в какой-то из школ нас увидел знаменитый воронежский актер Папов; после спектакля он говорил со мной и пригласил на генеральную репетицию. Был «Гамлет» (о нем много писали тогда), и я ошалел не только от Гамлета, но и от атмосферы репетиции, от собственного присутствия не в качестве зрителя, а в качестве приглашенного, то есть почти своего, театрального человека. Пустяк? Да, но с этого пустяка началась моя особая влюбленность в театр, которую я пронес сквозь войну, ученье, работу на заводах, как Нао в романе Рони-Старшего «Борьба за огонь» пронес тлеющую искорку в плетенке, обмазанной глиной. Долог путь от винограда до вина.

...Если условиться под молодостью понимать

возраст, а под юностью — период жизни, то наше поколение было лишено юности. Оставаясь молодыми — и даже очень молодыми! — мы перешагнули через юность не потому, что взяли в руки оружие, а потому, что взяли на себя ответственность за чужие жизни. Нет, мы не стали молодыми стариками — мы стали молодыми взрослыми. Ранняя ответственность совершенно по-особому оттеняет последующую жизнь — я дружу со многими солдатами, сержантами и офицерами той поры, — и все эти рано поседевшие мужчины сохранили в себе огромный запас веселого, шумного, подчас озорного детства, точно компенсируя этим украденную у них юность. Она стучалась в наши жизни, и не наша вина, что мы не могли распахнуть ей навстречу наши сердца. Мы многое потеряли, но у потерь есть одно хорошее свойство: они оттачивают память…

На примере своего поколения я берусь утверждать, что молодость — богатство старости. Ее можно растранжирить на удовольствия, а можно и пустить в оборот…

Летом сорокового года комсомольский отряд нашей школы отправился на уборку урожая в донскую станицу. То ли это было шефством, то ли комсомольской инициативой, то ли чем-то

еще добровольным — суть не в причине, а в следствии. А следствием был незабываемый август, работа до шестнадцатого пота, азарт тяжелейшей страды, четырехчасовые провальные сны в соломе рядом с грохочущей молотилкой, и снова — работа, работа, работа. Поначалу я так уставал, что не мог есть, но втянулся, окреп и трудился уже на равных. А потом мне поручили возить зерно на элеватор. До него было не близко — более суток волы переставляли клещатые копыта, норовя свернуть куда угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борта, и мы с убийственной медлительностью тащились по степи. И все замирало, замедляло свой естественный ход, и не было ничего, кроме мерного скрипа брички, тяжелого шага волов и странного, животного ощущения воли. Все смешалось — пространство и время: я спал днем, а бодрствовал ночью и, кажется, впервые понял, что такое ночь и что такое день.

…Я пишу об этом потому, что отчетливо помню чувства сорокалетней давности. И когда говорю, что еду с ярмарки, то вроде и вправду еду и вновь ощущаю скрип перегруженной брички, вздохи волов, густоту ночного воздуха, запах полыни и звездопад августовского неба. А я лежу на души-

стом зерне и знать не знаю, что ровно через год буду метаться в окружении в нехоженых смоленских лесах. И, вместо того чтобы стать юношей, стану солдатом, как миллионы моих ровесников.

Как-то на одном из пленумов Союза кинематографистов я в полемическом задоре объявил вредными (или, как минимум, бесполезными) все учебные заведения, в которых из нормального человека делают «писателя или киносценариста». Возможно, я перегнул палку, но и сегодня мне кажется, что обучать профессиональным навыкам следует не до того, как человек на личном опыте узнал, что такое пот и надежда, предательство друга и измена женщины, а после. После того как будущий писатель собственным горбом научится зарабатывать хлеб насущный, сохранив желание стать писателем, несмотря на ежесуточное недосыпание. Это представляется мне нормальным, естественным отбором в противовес принятому сейчас выращиванию гениев на клумбах. Понимаю, что я субъективен, что в конечном счете все зависит от таланта, но как быть со скудостью жизненного багажа? Заменить его творческими командировками? Допускаю, что в некоторых случаях командировки могут помочь, но полностью поверить в их всемогу-

щество мне решительно мешает собственный житейский опыт.

В 1949 году я работал на Урале инженером-испытателем, был весьма активным комсомольцем, играл Петра в «Мещанах», вел концерты — словом, изо всех сил уничтожал время, которого так не хватает сейчас. И однажды был востребован в заводской комитет комсомола.

— Товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшее известие: к нам едут писатели, — сказал секретарь.

Я оказался в составе «группы приема», и работа закипела. Помню, что к нам направлялись три прозаика (одним из них был Бирюков, автор нашумевшей тогда «Чайки»). Члены «группы приема» немедленно прочитали все, что успели создать прибывающие гости, а самое интересное заключалось в том, что огромный заводище яростно чистили не только снаружи: к дню приезда писателей сколачивались смены и бригады, в которых напрочь отсутствовали пьяницы и прогульщики, лентяи и бракоделы, чересчур молчаливые и чересчур болтливые, а из женских бригад на это время изымали пожилых и некрасивых, доукомплектовывая их секретаршами и машинистками для пущей приятности. Мы за-

седали допоздна, уточняя маршруты, которыми поведут дорогих гостей, и расставляя на этих маршрутах сплошных передовиков.

Мнение, будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью, распространено весьма широко, но мне оно представляется величайшим заблуждением. Правда, и здесь я, естественно, исхожу из личного опыта, понимаю, что он далеко не абсолютен, и все же, все же… Во-первых, писатель — не натуралист, а мир людской — не муравейник, а во-вторых, наблюдательность подразумевает конкретное мышление, а писатель могуч мышлением образно-ассоциативным. Пишу эти всем известные истины только для того, чтобы признать, что писатель — конечно же! — наблюдает. Наблюдает хотя и неосознанно, но придирчиво, днем и ночью вслушиваясь и всматриваясь в самого себя. И всех героев своих писатель, как правило, лепит по собственному образу и подобию, выламывая собственные ребра не только для Ев, но и для Адамов.

Отец всю жизнь носил военную форму. Он вышел в отставку до того, как ввели брюки навыпуск, всю службу проходил в гимнастерке, галифе да сапогах, а когда надел подаренный

гражданский костюм, то тут же и упал, чуть не вывихнув ногу в лодыжке. Это настолько вывело его из свойственного ему душевного равновесия, что на повторный эксперимент с ботинками он так и не решился, до самой смерти своей не изменив родной для него русской офицерской форме. И в гроб лег в ней.

Он был небольшого роста, а я удался в мамину породу и в 6-м классе догнал отца, так сказать, в длину. И тут же надел его старую гимнастерку, брюки, шинель и сапоги. Гимнастерка и шинель свисали с плеч, сапоги чуть хлюпали на ногах, но рос я быстро, подгоняя себя под форму, которую снял лишь в 1954 году. По моему примеру военную форму надел и мой друг Володя Подворчаный; вечерами мы любили прогуливаться в районе военного училища, потому что курсанты в сумраке отдавали нам честь, а мы очень радовались. В школе меня прозвали Солдатом, а когда я получил направление в академию, отец уверовал, что я и в самом деле солдат, что это — моя судьба и что служить мне всю жизнь до законной отставки. Да и сам я тогда верил в это, тем более что служба моя по окончании академии оказалась уникальной: я работал испытателем колесных и гусеничных машин. И отец очень

радовался, старомодно полагая это карьерой, втайне гордился сыном с высшим военным образованием в двадцать три года и ведать не ведал, какую свинью ему подложит этот преуспевающий инженер-капитан. Впрочем, я тоже не ведал: все произошло как бы само собой.

После войны наша армия переживала естественный процесс смены офицерского состава. На места командиров, имевших богатейший боевой опыт, но не обладавших специальным образованием (как правило, училище военного времени), начали приходить выпускники академий, не имеющие полновесного боевого опыта, но обладающие полновесными академическими дипломами. Таких образованных офицеров было немного, приходили они в части по одному, по два, оказываясь белыми воронами в среде, спаянной фронтовой дружбой, общей опасностью и общей судьбой.

И тогда я написал пьесу, назвал ее «Танкисты» и послал в ЦТСА. По ведомственной принадлежности. Это было в апреле, а к маю я получил телеграмму от заведующего литературной частью Антона Дмитриевича Сегеди: «ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО». Я выпросил у начальства два дня и приехал в Москву. 3 мая меня принял Алексей

Дмитриевич Попов — руководитель Центрального театра Советской Армии.

Мне казалось — да и сейчас кажется, — что я просидел весь день в тесном кабинетике на втором этаже. Я был так взволнован, что напрочь, начисто забыл этот столь знаменательный для меня разговор; я поддакивал, радостно соглашался, что-то бессвязно записывал, подавленный жаром, импровизацией, стремительностью и напором. Меня много раз просили написать об этой встрече для книги об А.Д. Попове, в юбилейный сборник, но я всегда отказывался, а на меня обижались, не представляя, что я не хочу ничего сочинять, а что было на самом деле — не помню. Ничего не помню, кроме одной фразы:

— Вы написали пьесу из зрительного зала, а надо писать — со сцены. Но вы ничего не смыслите в театре, а потому извольте ходить к нам каждый день. На репетиции, на спектакли, на читки, просто так. Глядишь, тогда и пьеса получится.

А еще помню, как он метался по крохотному кабинету, объясняя, что я написал. Он играл все роли, изредка заглядывая в мою рукопись, исчерканную его красным карандашом: теперь она хранится в музее театра. И втолковывал мне, что такое роль, а я так ничего и не запомнил.

Домой я вернулся, ощущая себя драматургом и невероятно важничая. И сразу же подал рапорт с просьбой о демобилизации «в связи с желанием заняться литературным трудом». Не стану описывать всех мытарств, вызовов в генеральские кабинеты, слез матери и хмурых взглядов отца. В конце концов я добился своего, и в сентябре 1954-го получил полную возможность «заняться литературным трудом»…

…Странно, трижды жизнь предоставляла мне редчайшее право самому решать свою судьбу. Я всегда воспринимал это восторженно и никогда — критически, всегда глядел на предоставляющуюся возможность изнутри, а не снаружи, не желая думать, чего это стоит, а мечтая о результатах. Так было, когда я с энтузиазмом ринулся на инженерный факультет военной академии, не только не имея ни малейшей склонности к технике (кроме пожара в гараже), но будучи гуманитарием, так сказать, с головы до пят. Так было и тогда, когда по тесному кабинету метался прекрасный Алексей Дмитриевич, а я не столько слушал его, сколько рисовал в воображении афиши московских театров и прикидывал названия будущих премьер. Так было и в третий раз, когда вместо театра я оказался в кинематографе, кото-

рый должен был бы, кажется, постичь с помощью родной бабушки на венском стуле…

ЦТСА заключил со мной первый в моей жизни договор, на аванс от которого я купил первый в своей жизни костюм и шляпу; на пальто денег не хватило, и я долго ходил в офицерской шинели и — в шляпе. Общими усилиями пьеса была доведена до сценического варианта, начались репетиции. Спектакль ставил Иван Петрович Ворошилов; я постоянно спорил с ним и дома — а жил я тогда у сестры вместе с ее семьей и мамой (отец не выезжал с дачи более чем на сутки: он не любил Москвы) — всячески поносил режиссера. А поскольку называл я его по фамилии и при этом в выражениях не стеснялся, мама очень пугалась и бежала наглухо закрывать окна.

В декабре 1955 года начались общественные просмотры. Пьеса к тому времени изменила название, поскольку в репертуаре театра оказались «Летчики» Л. Аграновича и С. Листова. Иметь рядом с «Летчиками» еще и «Танкистов» было чересчур, и в конечном счете моя пьеса стала называться «Офицер». Спектакль театр намеревался показать 25 декабря, о чем оповещали расклеенные по Москве афиши. Состав был отличным: Колофидин, Сазонова, Зельдин,

Сошальский, Алексеева, Сомов; в театре и по сей день этот спектакль считают одной из принципиальных удач, хотя он так и не увидел света. И мне достались на память афиша, программа да актерская теплота. А если учесть, что пьесу хотел ставить Акимов и уже приступил к читкам, а главный редактор журнала «Театр» Н.Ф. Погодин намеревался опубликовать ее, то следует признать, что начал я «занятия литературным трудом» с хорошего нокдауна, через год после демобилизации оказавшись у разбитого корыта.

Я перестал бегать по театрам и начал писать. Так много, плохо и быстро я не писал никогда. Я упрямо продолжал считать себя драматургом, был убежден, что постиг театр и что теперь дело только за моим пером…

…Признаюсь, то, что я не драматург, я понял не так уж давно, поработав с самыми разными театрами и самыми разными режиссерами. Понял, что драматургами, как и прозаиками, не становятся, а рождаются, что мало знать законы жанра, специфику театра и уметь писать слева — кто говорит, справа — что говорят. Драматург и сам мир видит драматургически, конфликтно и обнаженно, и людей не столько стремится типизировать (что естественно для прозаика), сколько

приблизить их к амплуа, подмечая в жизни «роль», а уж потом — тип. Это мне никогда не удавалось, и я не просто не помогал театральным режиссерам, а, сам того не желая, всегда заставлял их преодолевать «литературу», то есть мое восприятие мира. Но это, повторяю, я сообразил значительно позже, а тогда — строчил.

Из всех торопливо написанных тогда пьес свет увидела одна: «Стучите — и откроется» (тоже об армии). Она была поставлена в театре Черноморского флота и в театре Группы войск в Германии. Славы она мне не принесла, денег тоже (я по-прежнему жил на весьма скромную зарплату жены), зато я получил право писать во всяких бумажках, что мои пьесы «идут как в театрах нашей страны, так и за ее пределами». Как назвался я И. Зюйд-Вестовым в 7-м классе, так им и остался. Жизнь была не слишком веселой, но я не унывал, неистово веря, что все будет прекрасно. Я всегда верил в собственную мечту исступленнее, чем в реальность, и не продал этой веры на ярмарке, с которой сейчас возвращаюсь.

Здесь следует кое-что объяснить. В те времена (тридцать лет назад) при Главкино существовала Сценарная студия, директором которой был В.Е. Дулгеров. Статус этой студии отличался от

современной тем, что она как бы совмещала собственно производственную студию со сценарными курсами, состоявшими из мастерских, которые вели признанные мастера кино: Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Мария Николаевна Смирнова, Екатерина Николаевна Виноградская, Александр Петрович Довженко, кто-то еще и — Николай Федорович Погодин. Мастера набирали начинающих на основании их заявок, а начинающие писали по этим заявкам сценарии, получая стипендию в полторы тысячи рублей (150 по нынешним деньгам). Условия были весьма льготными, желающих — множество, но Николай Федорович неожиданно пригласил меня и сохранял место, пока я не сочинил приемлемой заявки. А через восемь, что ли, месяцев закончил сценарий, по которому Свердловская киностудия поставила фильм «Очередной рейс» с Георгием Юматовым в главной роли. Таким образом я из драматурга переквалифицировался в киносценариста, но моя драматургическая карьера на этом этапе закончилась прекрасным аккордом.

В 1956 году Союз писателей решил провести в Переделкине полуторамесячный семинар молодых драматургов. Кого там только не было:

Александр Володин и Леонид Зорин, Михаил Шатров и Марк Соболь, Микола Зарудный и Виктор Курочкин, Лев Давыдычев и Лев Устинов, Леонид Агранович, Зак и Кузнецов, Алешин, Маша Сторожева, Афанасий Салынский… и много-много других. Ночные споры до хрипоты, общие читки пьес, разбор по гамбургскому счету: мы были молоды и отлично знали, как именно надо писать. А руководил этим шумным, озорным и очень талантливым сборищем Владимир Федорович Пименов; ныне птенцы его давно оперились, но до сей поры с юношеским пылом вспоминают ту переделкинскую осень, и если у меня спрашивают, бывает ли толк от творческих семинаров, я категорически утверждаю это, помня свой первый семинар.

Но вернемся к Сценарной студии, которая оказалась для меня единственным творческим учебным заведением и куда я ходил, — правда, реже, чем на бабушкины киносеансы. Формой учения были лекции, индивидуальные занятия с мастерами и просмотры. Хорошо помню первую обзорную лекцию, которую прочел Виктор Борисович Шкловский. Начал он совсем уж парадоксально:

— В кино за вход платят рубль, а за выход —

два. Кто к этому не готов, пусть сейчас же уйдет отсюда и займется чем-либо полезным.

Никто, разумеется, не ушел, но жизнь подтвердила правоту очередного парадокса Виктора Борисовича, и я, например, до сей поры никак не могу расстаться с кино, хотя почти все картины, сделанные по моим сценариям, стоили мне дорогих компромиссов. Да, в кино ни в грош не ставят автора, не считают сценарий литературой, но где, скажите мне, раздобыть те заветные два рубля, которыми, по словам Шкловского, надо оплатить уход из кинематографа?..

Студия — не семинар, и я не могу вспомнить всех, кто занимался одновременно со мной. Помню Юлию Друнину, Тадеоса Бархударяна, Аллу Белякову, Даниила Храбровицкого и, конечно, — Кирилла Рапопорта, своего друга и соавтора многих сценариев. А кто со мной был в мастерской Погодина, я напрочь позабыл, потому что бегал к Николаю Федоровичу один, но — почти каждый день.

...Круглая, в кольцах седых волос, всегда трясущаяся голова, прищуренный, невозможно лукавый взгляд — искоса, как луч, и — улыбка. Особая, погодинская, с сотней оттенков, намеков и значений. И сентенции:

— Есть только четыре вида драмы: он любит ее, а она его не любит; она любит, но он не любит; оба любят, но кто-то мешает им быть вместе; оба не любят, но кому-то надо, чтобы они не расставались. Вот за чем следит зритель, все остальное — собачья чушь.

— Зритель пошел страшный: в современной пьесе ружье непременно должно висеть в первом акте, но не вздумай из него выстрелить: на смех поднимут.

— Никакой специфики кино нет, это алхимия. Все покоится на тех же китах: любовь, ненависть, ревность, зависть, месть, самопожертвование. Какая же здесь специфика? Что кони по экрану скачут? Собачья чушь, а не специфика.

— Писать — каторга, скучнейшее занятие. Я написал чертову уйму пьес, а с наслаждением — только «Аристократы». Так что не жди, что воспаришь, а каждый божий день, лезь в забой, как шахтер. Вдохновение для дам придумано вкупе с экспромтами.

— Ты что, на машинке сочиняешь? Ну и не будет из тебя толку. Писать надо пером. Обыкновенным пером скрипеть по бумаге, как сто лет назад скрипели. Тогда мысль не рвется. А машинка — она ведь железная. Отъединяет.

— Не садись писать, пока точно не знаешь, чем закончишь. Середины можешь не знать, это даже вредно — знать все последовательно. Мертвечина. Но конец знать обязан: конец — цель, в которую ты стреляешь.

— Знаешь, в чем принципиальная разница между мужчиной и женщиной? Каждый мужчина мечтает убить мамонта, но не каждому это удается. А каждая женщина мечтает завладеть мужчиной, который уже убил мамонта. Вот отсюда и исходи.

— Герои должны говорить неожиданно и внешне нелогично. Тогда возникает диалог. А если ожиданно — болтовня. Собачья чушь.

— Писателю требуется обаяния больше, чем актеру: он ведь свой текст говорит. Оттачивай, понял?

— Писать надо так, чтобы зритель в шепоте крик услышал. А путь для этого — как у скрипача: каждый день работать. Каждый, без выходных: только таким путем уйдешь от халтуры…

Так учил меня Николай Федорович Погодин. Естественно, я не стенографировал его, и то, что изложено здесь, кристаллизовалось значительно позже, когда я смог прибавить к учению личный опыт. В конечном счете творчество и есть умение

добавить в известное всем капельку личного опыта.

Начало моей карьеры в кино было обещающим. Не успел запуститься в производство «Очередной рейс», как мне и Кириллу Рапопорту предложили написать сценарий «Сержанты», оказавшийся первой ласточкой нашего многолетнего соавторства. Вслед за выходом на экран фильма «Очередной рейс», имевшего хорошую прессу и зрительский успех, я написал еще один сценарий для той же студии. Он назывался «Длинный день», снимались в нем Афанасий Кочетков и Евгений Лазарев, а вторым режиссером на картине работал выпускник ВГИКа Элем Климов. А как только эта картина пошла в прокат, я получил предложение от уже известного в то время режиссера Марлена Хуциева написать с ним вместе сценарий, условно названный Марленом «Застава Ильича».

Не знаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы я с достаточной ответственностью взялся за эту работу. Вероятно, справился, Хуциев получил бы приемлемый сценарий, снял бы его и… Но это — из области предположений, а в действительности я отнесся к предложению крайне легкомысленно, пригласил в помощь Кирилла

Рапопорта, и в результате Марлен оставил нас. Вместо двух легковесных говорунов он взял молодого Шпаликова, написал с ним сценарий, снял фильм, получивший позднее название «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ».

Кажется, на этом и кончилось мое поступательное движение на стезе кинодраматургии. Правда, я стал членом СК СССР, получив тем самым формальное право на творческую работу, что несколько примирило моего отца с избранной мною судьбой. Но в собственно работе, дававшей мне заработок, так как я нигде не служил, появился ощутимый сбой. Я добросовестно кропал сценарии, основанные на сюжетах, а не на идеях, и все чаще слышал от редакторов уничтожающее определение:

— Литература.

Увы, я не обладал кинематографическим видением, не умел кинематографически мыслить и даже записывать. То, что выходило тогда из-под моего пера, было просто плохой литературой, и поэтому режиссеры избегали меня. Это был тяжелый период, и лишь одна встреча радует меня и до сей поры. Встреча с режиссером Владимиром Михайловичем Петровым, поставившим много картин, и в их числе «Гроза» по Островскому

и «Петр Первый» по Ал. Толстому с Николаем Симоновым. Нас познакомила Нина Васильевна Беляева — редактор «Мосфильма», знавшая меня еще по Сценарной студии. Писатель Сергей Никитин предложил свою повесть о девушке-партизанке, а сценарий написать не смог, и в помощь прикрепили меня. Сценарий назывался «Ее лицо», был доведен до запуска, но от него отказались (тогда шла лютая борьба с абстракционизмом в живописи, а наш герой как раз им-то и увлекался), но дело не в сценарии, а во Владимире Михайловиче. Он жил на Воровского, рядом со старым Домом кино (ныне Театр киноактера), где меня часто принимали, кормили, поили старым коньяком — супруга Владимира Михайловича Кетеван Георгиевна была по-грузински гостеприимна, — а меня тянуло в насквозь прокуренный кабинет. Там повсюду валялись раскрытые пачки самых разных сигарет, на полках стояли книги на русском, английском, французском и немецком языках, и не просто стояли, но и читались и часто переводились мне с листа. Хозяин всегда просил прочитать, что я принес — будь то короткий эпизод или кусок сценария, — и, слушая, рисовал, схематично, но точно раскадровывая мою литературную запись.

— Вы так себе это представляете?

— О да, конечно!

— Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь соглашаться. В мире нет двух людей, которые одинаково видели бы третьего. Поэтому речь может идти лишь о том, что у нас общего, а что — разного. И по законам логики подобие надо отбросить — это заведомый штамп, — а над различными точками зрения неторопливо поразмышлять.

Владимир Михайлович был рациональным даже в лучших своих картинах. К старости он приобрел некоторый скепсис в адрес любимого им кино, но скепсис с привкусом горечи, а не злорадства. А я в это время остро нуждался в ином взгляде на искусство, и Владимир Михайлович неназойливо прививал мне его, постепенно размывая наносные пласты наивной восторженности и ложной патетики.

После неудачи с инсценировкой повести Никитина мы с В.М. Петровым сделали сценарий «Сегодня, в 16.10», довели его до подготовительного периода, а потом и его закрыли, усмотрев противопоставление поколений. Больше с Владимиром Михайловичем я не работал, встречались мы очень редко, а вскоре он умер. Умер завидной смертью: вышел покурить во время съемок,

сел в кресло — и будто уснул. И сигарета долго дымилась в холодеющей руке… Он как-то читал мне Пушкина:

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине…

Я разуверился в своих способностях и перестал писать. Я лишь кое-что сочинял, зарабатывая на жизнь: подтекстовки к киножурналам «Новости дня» и «Иностранная хроника», компилятивные передачи для телевидения и сценарии КВН — Клуба веселых и находчивых. Был тогда на телевидении такой очень популярный цикл, основанный на импровизациях, но, естественно, требующий организованного материала. Вот я и писал для этого сценарии и впервые напечатался не как прозаик и не как драматург, а как составитель сборника сценариев КВН для самодеятельности и автор предисловия в издательстве «Советская Россия». Эта книжечка — первая, и она дорога мне совершенно особо.

В то время я начал путешествовать. Еще в 61-м году нас с женой пригласили в большое автомобильное путешествие друзья. Мы проехали

почти семь тысяч километров, отправившись сначала на запад, а затем на юг, до Крыма. Мы не торопились, останавливаясь в красивых и памятных местах, ночуя в палатках и машинах. Так я впервые попал в Брестскую крепость еще до того, как туда протоптали туристическую магистраль; уже был музей, но еще были стены, иссеченные пулями, и подвалы с обожженными сводами, и тишина после боя, и хруст осколков под ногами. И мы бродили по крепости целый день, и я все время думал, что как раз тогда, когда я метался в окружениях, крепость сражалась. А потом весь путь до моря и от моря робко мечтал, что когда-нибудь возьму да и напишу, как она сражалась, пока мы бегали по лесам.

...Признаюсь, мечты — именно мечты, а не мысли! — о прозе посещали меня давно, но носили отвлеченный характер: хорошо-де было бы написать роман... А тут впервые мечта обрела почву, конкретность, пафос, трагизм. Мечта начинала превращаться в мысль, будоражила, вместо того чтобы убаюкивать, лишала сна, тревожила и — злила. Злила, потому что я понимал ее нереальность.

Наверно, это естественно: утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал,

впервые задумавшись над романом «Были и небыли». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой: как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов: акт рождения. Реализация чего-то не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость. Всегда боялся этого, и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить это. И такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, — просто работа. Ремесло, которым зарабатываешь на жизнь.

Вскоре после путешествия я впервые попал на Среднюю Волгу, а точнее — на ее приток Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец; когда заполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила низменную часть города, и ее жителей переселили за сорок километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым

названием Дорогиня, с запанью, ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь да непроходимые, заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоги.

Такова была Дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом «Витиме» за четыре часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная гензапань, и огромные баржи развозили оттуда лес по всей Волге. На гензапани грохотали сплоточные машины, качались венгерские плавучие краны «гансы» и суетилось множество народа. В основном это были сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И, вдосталь наглядевшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжкий, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом.

Это была честная работа, от которой засыпаешь, как в детстве, просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь,

когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты — родной брат всем этим усталым, чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли: «Закурим, браток, пока немец не стреляет...» И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, трясясь от волнения, вывел первую строчку: «ВЕЧЕРАМИ В МАЛЕНЬКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ТИХО».

Так начал я свою первую повесть, названную в полном соответствии с И. Зюйд-Вестовым «Бунт на Ивановом катере» и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе.

Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел

на новые рельсы.

Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться: меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать, но тогда под гнетом комплекса неполноценности любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии и ты даже не можешь скрыться с людских глаз. Я держался как мог, шутил и громко хохотал, а в груди ворочалось мстительное: «Ну погодите, я вам еще докажу!..» И пошел доказывать.

Первую повесть — то, что потом назвалось «Иванов катер», — я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал ее знакомому по «Мосфильму» редактору В.В.К., который работал в одном толстом московском журнале.

В.В. прочел рукопись быстро, позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии, и просил принести как можно больше экземпляров. Я

немедленно притащил все, что у меня было, и В.В. уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямехонько на бульвар, где меня ждала Зоря (я впервые представляю свою жену, хотя женился-то я в 1946-м, а ждет она меня в 1968-м. Ай-ай, нехорошо). И мы пешком шли до Белорусского вокзала и все говорили и говорили. О том, что еще предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать! А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рекемчук — это ему передал рукопись В.В., — сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует.

— Да, да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного!

Через неделю позвонил В.В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и

— как мне показалось — смущен. Он сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов: повесть встретила серьезные возражения, в план будущего года меня не включают, редактора давать нецелесообразно и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала.

На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:

— Будут брать за горло — покажи характер.

Началась редколлегия, повесть представлял В.В., а я настолько ошалел, что ничего не соображал. И куда делись все комплименты и поздравления? Он скупо отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам, но тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недосягаемую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов. В чем только меня не обвиняли — именно меня, а не мою повесть, вот

ведь в чем парадокс! — и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне «показать характер». Я показал, и мы с Рекемчуком хлопнули дверью в буквальном смысле слова.

Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я — случись обратное — вряд ли написал бы «А зори здесь тихие…», а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редколлегией журнала «Юность» и не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое — например, любовь, дети, творчество — рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел…

Итак, рассвирепевший Рекемчук увел меня с редколлегии, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал. Она лежала там довольно долго, но однажды меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и был введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он торо-

пился, разговаривал стоя и очень коротко:

— Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор — Анна Самойловна Берзер. Слушайтесь ее.

Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский, и говорил задолго до «Зорей».

Одиннадцатого мая 1968 года в Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и мне всегда хотелось поступить так, как поступил герой горьковского рассказа, — прийти на могилу и доложить:

— Отец — сделано!

Но тогда оно еще не было сделано, я не знал, когда оно будет сделано, но уже знал, что сделано будет. Это не самоуверенность, а диалектический скачок, переход количества в качество: я дозрел. И зрелость выразилась не в том что я стал лучше писать, а в том, что я понял, о чем я должен писать.

Странное дело, это понимание не поддается логическому объяснению. До момента прозре-

ния было проще: я знал, что собираюсь писать, и мог рассказать сюжет или заведомо туманно изложить нечто в заявке. Теперь эта легкость испарилась, я вдруг разучился рассказывать. Да и что рассказывать-то? Сюжет? Но разве в сюжете дело? Разве «Зори» исчерпываются историей, как пять девушек и старшина не пропустили фашистских диверсантов? Разве «В списках не значился» — это о том, как молоденький лейтенант сражался в Брестской крепости? И «Не стреляйте белых лебедей» — роман о защите окружающей среды? А «Были и небыли» — о русско-турецкой войне? Конечно же нет — они больше сюжета, шире только рассказанных событий, и это как раз и есть мое постижение литературы. Мое, личное: у других, естественно, все складывалось по-иному.

Наши предки, встречаясь, желали друг другу здоровья и расставались, прося прощения. Первоначальный смысл слов затерялся в пережитом, истерся от частого употребления: изменившийся быт исключил из обихода множество традиций, и мы уже не говорим «Здравствуй!» новорожденному и «Прости!» умирающему. И все же в нас что-то осталось, что-то не поддающееся логическому осмыслению, может быть, память предков.

Иначе я не могу объяснить, откуда у меня чувство вины перед теми, кого уже нет.

Никто из нашей семьи не простился с отцом. Накануне у него была сестра: он ни на что не жаловался (он никогда никому не жаловался), был ласков и улыбчив и знал, что не доживет до утра. Сестру тогда удивило, что он ничего не попросил, но она посчитала это извечным отцовским стремлением ничем не досаждать людям. Даже самым близким и самым любимым. И Галя распрощалась с ним, как всегда, но в дверях оглянулась: отец лежал в своей излюбленной позе — на спине, бережно положив под голову свои все умеющие делать руки. Он кротко (я сознательно употребляю это архаическое наречие в наш совсем не кроткий век) улыбнулся ей в последний раз.

— А глаза у него были такие синие, будто не на меня он смотрел, а в небо, — каждый год рассказывает мне сестра.

Да, он уже смотрел в вечность, и потому у него были необычной синевы глаза. Он прекрасно прожил свою жизнь и, несмотря на незаслуженно мучительную смерть, лежал в гробу спокойно и просто. Будто уснул. Мучениям подверглось его тело, но не душа. Душа осталась незамутненной

и после жизни.

Вероятно, у него были враги — нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов. Отец никогда не говорил о них: он говорил только о друзьях, и зло не имело у него права голоса. Он жил с ощущением, что кругом только очень хорошие люди, и всегда вел себя так, чтобы занимать как можно меньше места. Он никогда не входил первым, никогда никого не отталкивал и никогда не садился в городском транспорте. И нянечка в госпитале рассказывала, что отец последние часы не спал, а ходил по коридору: он терпел рвущие живое тело боли, но мог застонать во сне и, чтобы этого не случилось, чтобы не обеспокоить соседей по палате, бегал по госпитальным коридорам ночи напролет.

Отец вышел в отставку сразу после войны, получил участок в поселке на Зеленоградской, построил домик и уже не стремился в Москву. «Домик», правда, сказано смело: это была скорее сторожка с засыпными стенами общей площадью восемнадцать квадратных метров, которую он построил сам от фундамента до конька крыши. Он вообще все делал сам, знал десятки ремесел и по-молодому тянулся к новому, сам себе, например, соорудив телевизор из бросовых деталей.

Осенью поселок пустел, но отец любил тишину и одиночество: мама уезжала к сестре до весны. Отец топил печь, читал, чистил дорожки, с невероятным увлечением паял и перепаивал что-то, совершенствуя свой самодельный телевизор, и ему вечно не хватало времени. Брошенные собаки собирались к нему со всего опустевшего поселка, безошибочным собачьим нюхом определяя, что он — человек. Он кормил эту ораву, и она преданно сопровождала его в поссовет на партийные собрания.

...Когда-то мне часто снился один и тот же сон: старый запущенный сад, в голых ветвях которого путаются обрывки низких осенних туч. За садом тучи вплотную примыкают к земле, но в саду светло, тепло и тихо. Мы бродим с отцом, по колено утопая в мягкой листве. Ее так много, что кусты крыжовника и смородины скрыты под нею, как под одеялом, и я знаю, где они, эти кусты. Я разгребаю листву и собираю ягоды с голых ветвей. Огромные, перезрелые, очень вкусные ягоды.

И еще листва скрывает яблоки. Они лежат в слоях опавших листьев, не касаясь земли. Крепкие, холодные яблоки.

Мне хорошо и немного грустно. Все — низкие

тучи и тепло земли, холод яблок и сладость плодов, моя грусть и сам старый сад — все, все, весь сон! — переполнено чувствами. Я не понимаю их и не пытаюсь понять; я просто счастлив, что ощущаю их, я готов обнять всю землю и слушать весь мир.

А солнца нет. Есть отец: молчаливый, небольшого роста мужчина, идущий рядом. И мне кажется, что тепло и свет — от него. Он излучает их для меня, оставаясь где-то в тени, не выражая ни одобрения, ни порицания и лишь молча протягивая мне крепкие холодные яблоки…

Приснись же, старый, как добрая сказка, сон! Ты все реже и реже посещаешь меня, и вместо твоей гармонии приходят кошмары.

Приснись мне, отец! Протяни яблоко. Согрей.

И успокой…

Я написал об отце по той же причине, что и о бабушке: он тоже был вполне определенным русским социальным типом. Ныне настолько редким, что впору вспомнить о Красной книге. И еще потому, что должен, обязан успеть доложить:

— Отец — сделано!

Кажется, в июне 1968 года я начал писать повесть о войне. Я писал неторопливо, иногда

несколько строчек в день, часто отвлекаясь. Тогда на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов снимал фильм по нашему с Кириллом Рапопортом сценарию «На пути в Берлин». Я часто ездил на съемки, даже снялся в эпизоде, бывал на натуре и в павильонах, а писать не спешил. У меня не было ни договоров, ни обязательств, а было тревожное чувство обязанности. До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно — «зарабатывать на жизнь», а другое — «быть обязанным». Я закончил эту повесть в апреле 1969 года, назвал ее чудовищно («Весною, которой не было», это же придумать надо, это же опять «И. Зюйд-Вестов» выскочил!), положил в конверт и отправил в журнал «Юность». Дней через десять телефонный звонок разбудил меня в шесть часов утра:

— Вы — автор повести? Никому не давайте, мы берем и ждем вас сегодня в редакции.

Звонил Изидор Григорьевич Винокуров — он тогда был заведующим отделом рукописей в «Юности». И впервые я пришел к нему, а уж он знакомил меня с работниками редакции, и в том числе — с Марией Лазаревной Озеровой: их, то есть Озерову и Винокурова, Борис Николаевич

Полевой называл моими крестными. И они в самом деле мои крестные, благословившие меня в серьезную литературу.

Я узнал Бориса Николаевича Полевого задолго до того, как был представлен ему Марией Лазаревной. В 1954 году театр города Дзержинска, что на Оке, первым в стране поставил спектакль по книге «Повесть о настоящем человеке». И случилось так, что я попал на премьеру этого спектакля.

Узкий и длинный зал был переполнен, я сидел на стуле в проходе, упираясь ногами, чтобы не сползти вперед. Но вдруг запела труба, и я обо всем забыл. Я не знаю, хорошо ли играли актеры, не знаю, какова была режиссура, не знаю, удачной ли оказалась инсценировка, — я ничего не знаю, потому что подобного спектакля я более не видел. Я видел лучше — и много лучше! — но *такого* мне видеть более не привелось. Переполненный зал не пустел в антрактах: он подпевал трубе, играющей за кулисами, отбивал ритм и дышал таким единением со сценой, какого — повторяю — мне ощутить более не посчастливилось. А когда окончился спектакль, на сцену вышел Полевой, и зал поднялся, взорвавшись овацией. Не спектаклю, не актерам, нет — Настоящему

Человеку, который, смущенно улыбаясь, стоял на сцене в мешковатом костюме без галстука…

— Откуда вы появились, тезка? Расскажите, как дошли до жизни такой…

Многие любят расспрашивать — то ли утоляя собственное любопытство, то ли отдавая дань вежливости, — но я мало встречал людей, которые расспрашивали бы с такой искренней заинтересованностью. И я рассказывал Борису Николаевичу многое из того, что намеревался написать: он оказался первым слушателем туманных, очень сумбурных, еще непонятных и самому автору рассуждений о будущих романах «В списках не значился» и «Были и небыли». Нет, Борис Николаевич никогда ничего не оценивал в подобных беседах, ничего не советовал и ни от чего не предостерегал, но слушал с таким искренним интересом, что мне хотелось писать.

— Слушайте, старина, это поразительно, что вы рассказали. Кстати, венгры подарили мне бутылочку превосходного вина, и я думаю, что нам следует выпить по глотку. Закройте дверь, я достану рюмки.

Живая заинтересованность и благожелательность были основой характера Бориса Николаевича. А ведь заинтересованность в судьбе

ближнего и благожелательность к окружающим — это как раз то, чего так не хватает в нашем мире. То действенное добро, без которого трудно жить и трудно работать.

Конечно же редактор Борис Полевой не только хвалил — на полях рукописей, прочитанных им, пестрели вопросительные и восклицательные знаки, галочки и знаменитое «22!», которое я получал, кажется, чаще остальных авторов «Юности». Борис Николаевич первым обнаружил во мне «И. Зюйд-Вестова» и боролся с ним неустанно и сурово. И я стал строже писать, потому что на полях были эти «22!».

Повесть прошла обсуждения без замечаний, если не считать настойчивой просьбы одного члена редколлегии оставить в живых хотя бы одну зенитчицу. Замечания самого Б.Н. Полевого сводились к трем пунктам:

— заменить «шмайссеры» на автоматы, что понятнее обычному читателю;

— заменить «еловое корневище» на «еловый выворотень»;

— ради бога, другое название (22!).

Последнее оказалось делом нелегким: мы заседали часа четыре в кабинете Марии Лазаревны на Воровского. Мы — это Озерова, Винокуров,

Ирина Сергеевна Боброва и Андрей Мускатблит. Андрей исписал два листа названиями, но толку не было, как вдруг Изидор Григорьевич сказал:

— Зори тихие. Зори здесь тихие. Нет, «А зори здесь тихие…».

На этом можно было бы поставить точку. Не потому, конечно, что повесть «А зори здесь тихие…» есть некая вершина — это хорошая работа, не более того, — а потому, что эта повесть в моей судьбе оказалась перевалом: я стал писателем. Я прекратил «занятия литературным трудом», а начал писать, начал работать, осознав не только свои возможности, но и меру своей ответственности, поняв, что путь к вершинам писательского мастерства вымощен страницами ненаписанных романов, ибо способность подвергать сомнению собственную работу на любом этапе и есть основной признак художника. Конечно же я не считаю, что постиг все тайны мастерства и что отныне мне подвластен любой материал и любая тема: я учусь. В этом одна из причин отсутствия моего, лично мне принадлежащего стиля: «Зори» написаны совсем иначе, чем, скажем, «Лебеди», а «В списках не значился» не так, как «Были и небыли». Я всегда стремлюсь подыскать для нового материала особую, только ему присущую

форму. Не мне судить, насколько это удается, но — повторяю — я к этому стремлюсь, ибо не стоит вливать новое вино в старые мехи.

К этому времени относится моя вторая, куда более плодотворная встреча с театром. Первым поставил спектакль по повести «А зори здесь тихие…» режиссер Ленинградского театра юного зрителя Семен Ефимович Дима́нт: премьера была сыграна уже 9 мая 1970 года. Но успех ожидал эту повесть на другой сцене — в Театре драмы, что на Таганке. Однако это совсем иная тема, и коли касаться ее, то надо рассказать и о Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, и о Борисе Ивановиче Равенских, и о Михаиле Александровиче Ульянове, и о Белорусском академическом театре драмы имени Янки Купалы, и о Марке Анатольевиче Захарове, и о будапештском театре «Микроскоп», и о венгерском режиссере Иштване Иглоди, и о Русском драматическом театре в Риге, и о театре «Современник», и об Олеге Павловиче Табакове, и о Вячеславе Спесивцеве, и еще о многих, многих других: театр требует особой работы. Впрочем, как и кино.

А я еду с ярмарки.

Еще смеются рассветы, и уже чуть грустят вечера. Еще хочется танцевать, но уже просыпаешься

с легкой горчинкой, вспоминая, как прыгал и махал руками. Еще, как в детстве, хочется куда-то бежать, кого-то спасать, но все чаще и чаще приходят мгновения, когда уже не хватает воздуха со всего земного шара и начинаешь судорожно заглатывать его, а он не желает лезть в твою грудную клетку.

А ведь там бьется сердце. Оно всю жизнь бьется в клетке, и мало, ох как мало счастливцев, которые выпускали это сердце на волю! И если я завидую кому-либо, то только этим безгранично свободным людям.

Прожитая жизнь — одеяло, которым тебя когда-нибудь закроют с головой. Оно может оказаться теплым, коротким или подмоченным, а у меня — лоскутное. Ничто не вечно, но если хоть один лоскутик мой понадобится людям через четверть века, я буду иметь все основания считать себя счастливцем. Нет, мне не приснилась моя жизнь — я сшил ее себе сам. Как умел, как мог, но — сам. И на основании этого рискну утверждать, что признаю лишь один талант — неистребимую жажду работы. Через соблазны, через усталость, через «не хочу» и через «не могу». И талант этот — не от Бога и не от природы, а только от родителей. И я встаю на колени и низко кланяюсь им, как

мама когда-то кланялась праху доктора Янсена.

Я жил страстью, а не расчетом, не оглядываясь по сторонам и не прикидывая, что ждет впереди. Я плыл не против течения, не по течению, а туда, куда указывал вложенный в меня компас, стрелка которого с раннего детства была ориентирована на добро. И я никогда не задумывался, добро ли я совершаю или зло, веря, что зло от чистого сердца во сто крат лучше добра по расчету. Да, я многих обидел и многим причинил боль, я грешен, как грешен любой из нас, но пот смывает все грехи, если пролит он для людей и за людей. И это единственное средство остаться чистым в наш век загрязненной окружающей среды.

Ах, как спешат мои кони! Я не гоню их, но и не удерживаю, будучи твердо убежденным, что нужно прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни. А дни мелькают, как верстовые столбы, и мне неведом их конечный счет. И это прекрасно, и надо каждый день начинать так, будто он — последний, а ложась спать, с ликованием ощущать, что впереди — целая жизнь. Да притом еще и непочатая.

Писателя отличает одно странное свойство: способность отчетливо помнить то, что с ним никогда не случалось. Это не память разума, а

память всех чувств, свойственных человеку, и когда разворошишь ее — видишь, слышишь, обоняешь и осязаешь, как наяву. И коли случается такое — разговариваешь с героями как с реальными людьми, болеешь их болями и смеешься их шуткам. И если ты искренне болеешь и от души смеешься — читатель тоже будет болеть и смеяться. Он заплачет там, где плакал ты, вознегодует твоим гневом и засияет твоей радостью. Если ты был искренен. Только так. Искренность писателя есть его единственный пропуск в читательскую душу. Разовый, разумеется. И всякий раз его приходится выписывать заново каждой новой строчкой.

А еще мне представляется, что писатель — Творец. Он создает мир, который не существовал ранее, и населяет его людьми, рожденными не женщиной, а им самим. Он управляет событиями в этом созданном им мире, он вяжет из событий истории, он заставляет солнце светить, когда он этого хочет, и присылает дожди и ненастья по собственной воле. У него огромная, божественная власть в мирах, сотканных им из собственной бессонницы, и значит, он должен быть справедлив, как высший судья. А справедливость — это победа добра.

И я мечтаю об этой победе. Я мечтаю о ней постоянно, неистово и нетерпеливо и сражаюсь за нее на всех доступных мне фронтах. Добро должно восторжествовать в этом мире, иначе все бессмысленно. И я верю, оно восторжествует, потому что мои мечты всегда сбывались.

Правда, одна мечта так и осталась несбыточной. Я всю жизнь мечтал передохнуть. Долго-долго — с мая по октябрь — бродить но селам и рекам, встречаться с людьми, собирать грибы, ловить рыбу, с уютной думою глядеть в ночной костер и просыпаться от капель росы. А вместо этого я все бегу и бегу неизвестно куда, бегу, задыхаясь и падая, и все никак не могу добежать.

Ах, как быстро летят мои кони!..

1980

Постскриптум

Эта повесть была опубликована в журнале «Юность» в 1980 году. Правда, опять не под моим названием: я назвал рукопись «Взбежать на холм и отдохнуть в траве», но редакция заменила его на «Летят мои кони».

Дело не в названии — дело в ощущении незавершенности. Я писал и печатался, а ощущение не проходило. Лет через восемь, что ли, я надолго попал в больницу, оторвался от начатых работ, а времени было много, и в конце концов я начал записывать нечто для самого себя. Это — не проза, это — наметки к ней, которые я никогда не осмелился бы напечатать, если бы не неожиданный возврат в прошлое, случившийся в январе 1993 года.

Года два или три назад научно-популярные журналы (в особенности «Наука и жизнь») опубликовали серию статей, посвященных одному открытию: оказывается, полушарии нашего мозга отвечают за различные проявления разума. Одно из полушарий регулирует рациональный анализ предложенных обстоятельств, другое — эмоциональный, и только во взаимоотношении

этих анализов, в их согласном труде человек и находит решение, максимально приближенное к идеалу. Неодинаковым развитием полушарий объяснялись заодно и чисто практические склонности людей, условно говоря, к «физике» или «лирике», их способности, взгляды и тому подобное. Это несколько обескураживало, но и только, а, помнится, поразило меня иное. Остроумная теория не объясняла, в каком полушарии искать совесть, честь, благородство, милосердие, достоинство, гордость и их антиподы, на перечисление которых не хватит времени. И я понял, что для объяснения не человека как представителя животного мира, а человечества как феномена мироздания мне мало двух полушариев, ибо секрет того, как и почему человек стал человеком, находится в некоем третьем измерении.

Я помню себя очень маленьким. Меня ведет за руку отец, и теплая, нежная пыль смоленской проселочной дороги ласкает мои голые ноги. Прошло шесть десятков лет, я — пожилой человек даже по меркам современности, а ласка родной земли до сей поры ощущается мною физически, я чувствую ее давно огрубевшей кожей. Не с этой ли целью отец заставлял меня ходить босиком?

А встречные мужики непременно приподнима-

ют шапки (в те времена взрослые не появлялись вне дома с непокрытыми головами), и отец старомодно прикладывает ладонь к фуражке. Старомодно потому, что отдание чести было отменено в Красной Армии, но отец упорно придерживался офицерской привычки. И чуть сжимал мою руку:

— Поздоровайся, Боря.

Лаской земли и вежливостью людей встречала меня Россия через десять лет после революции и в самом начале своего конца, официально поименованного коллективизацией. И вот ее я не помню: для меня она олицетворялась лишь в том, что меня перестали увозить на лето в Высокое — имение моего деда с материнской стороны Ивана Ивановича Алексеева. Это был старый особняк с двумя пристроенными крылами и огромным запущенным садом. Его не тронули в революцию, но, думается мне, совсем не потому, что дед Иван Иванович был народником и членом кружка Чайковцев.

Я не помню своего деда, и с единственной чудом уцелевшей фотографии на меня смотрит усталое чужое лицо. Мама много рассказывала мне о нем и о его брате (своем дяде) Василии Ивановиче, который был учителем старшего сына Л.Н. Тол-

стого Сергея: в воспоминаниях Сергея Львовича «Очерки былого» часто упоминается о Василии Ивановиче не только потому, что он был учителем, но и потому, что именно В.И. Алексеев спас рукопись «Евангелия» Л. Толстого, переписав его за ночь, о чем не знал Синод, уничтоживший оригинал.

Но это — к слову о семье, в которой мне посчастливилось родиться. А из рассказов мамы непосредственно о деде я особенно отчетливо запомнил один.

Дело было еще в Мировую войну, когда мама вместе с отцом, получившим отпуск по ранению, приехала в Высокое. Дед очень обрадовался приезду дочери с зятем, но, будучи человеком весьма сдержанным, начал с показа хозяйства: по словам моего отца, он был никудышным хозяином и именно поэтому любил похвастать своими успехами. А в данном случае они заключались в том, что деду удалось разыскать плотника, что в уже порядком обезлюдевших к тому времени деревнях было и впрямь непросто. И они пошли вслед за дедом, но, подойдя к месту работы, дед вдруг замедлил шаги, а потом остановился и прижал палец к губам.

В тенечке под стеной сладко спал с таким тру-

дом нанятый плотник.

— Тише, — шепотом сказал дед. — Отдыхает.

И чуть ли не на цыпочках вернувшись к дому, с горечью вздохнул:

— Устали люди.

Л.Н. Толстой любил рассказывать своим детям, как молодой священник Аким воровал яблоки из сада любимого брата Л.Н. Николая («Николеньки»). И во время этого воровства сам хозяин Николай Николаевич тихо сидел в кустах и очень боялся, что Аким его заметит и тем самым попадет в неудобное положение.

Для меня эти два случая — из одного ряда. Из «третьего полушария», которое так берегла и лелеяла русская интеллигенция.

Прошло много лет — у нас ведь время измеряется не годами, а трагедиями: революцией, коллективизацией, великим террором, великой войной, голодом, страхом, потерей близких, утратой собственных корней — и моя тетя Татьяна Ивановна решила навестить Высокое, на сельском кладбище которого возле церкви похоронен ее отец и, следовательно, мой дед. Это был 1974 год; на обратном пути в Ярославль, где она тогда жила, тетя заехала ко мне и рассказала об этом последнем поклоне.

Намереваясь поклониться могиле отца и побывать на родине, тетя, по ее собственному признанию, ни на что не рассчитывала. Ее отец умер в двадцатых годах, сама она в то время жила в Смоленске, откуда и приезжала на похороны вместе с моей матерью. Но потом все вскружилось и взбаламутилось, озверелая борьба с церковью и столь же озверелая коллективизация отрезали дворянским дочерям дорогу к могиле собственного отца, а через несколько лет арестовали мужа тети Тани, но саму ее не тронули, предписав безвыездно жить в г. Жиздре. Затем — война, проутюжившая смоленскую землю, угон в Германию тети с дочерью и маленьким сыном, возвращение, новое предписание проживать в захолустье, и только спустя почти двадцать лет — Ярославль, где в то время работал ее сын Вадим и где случилось ей закончить свою жизненную Одиссею. Не на что было рассчитывать, но родина есть родина, и тетя Таня ехала скорее поклониться ей, чем могиле отца, отыскать которую у нее практически не было шансов. С этими мыслями она добралась до Ельни и села в машину, которая шла мимо села Высокое. А кладбище и церковь располагались где-то недалеко от Высокого, и, когда водитель сказал: «Церковь», тетя сошла, не

раздумывая.

Церковь оказалась действующей. Службы не было, тетя сразу же направилась к священнику, который выглядел весьма молодо, что тетю поначалу огорчило. Узнав, что она приехала повидать родные места, что знакомых в селе у нее нет, священник предложил ей перекусить, а уж потом вместе пойти в село, где его ждала заболевшая прихожанка. И за чаем, слово за слово, тетя рассказала, что подле этой церкви полвека назад был похоронен ее отец.

— Под белым каменным крестом?

— Да, — сказала тетя, и, как она сама признавалась, сердце ее замерло.

— Ваш отец — Алексеев Иван Иванович? Я провожу вас к его могиле.

И крест оказался на месте, и могила выглядела ухоженной. Когда тетя отплакалась, священник рассказал, что, по словам его предшественника, могилу восстановили прихожане сразу после войны.

Затем священник проводил тетю Таню в село. Почти все избы были новыми, и тетя невесело подумала, что ей уже не найти никого, кто мог бы рассказать о полувековом перерыве. Но тут священник предложил тете зайти с ним вместе к

захворавшей прихожанке. И тетя следом за ним вошла в новую избу, освещенную настольной лампой. За столом сидела молодая пара.

— Батюшка пришел! — крикнула женщина.

— Иду, батюшка, — послышался старческий голос из другой комнаты.

Вошла маленькая старушка, и в этот момент муж дочери зажег полный свет. Никто ничего не успел понять, как старушка качнулась, быстро подошла к тете Тане, обняла ее и тихо сказала:

— Здравствуй, барышня.

Нет, не дочь местного помещика обнимала старая женщина: она обнимала землячку, ровесницу, свидетельницу юных надежд и мечтаний. Не крестьянка трогательно обнималась с дворянкой: трагически разорванная цепь общерусской судьбы, преемственности, традиций, веры предков и общей памяти в этот миг соединились. Встретились два звена; все это поняли, и благоговейная тишина стояла в доме, пока в объятиях друг друга рыдали сестры смоленской земли.

Тетя Таня гостила в Высоком три дня. А перед отъездом земляки устроили ей общие проводы, и это был единственный банкет в ее многострадальной жизни.

После того как нам в Высокое путь был заказан,

мои родители каждое лето отправляли меня в деревню, и я первым делом сбрасывал сандалии (тогда было принято их носить). Отец никогда не утверждал, что хождение босиком полезно для здоровья (он вообще почему-то не любил слово «польза»), но был свято убежден, что родную землю необходимо ощутить босыми ногами с самого раннего детства. Мы жили в Вонлярово, потом — в Красном Бору, причем мама с Галей ночевали в доме (дач тогда не было: во всяком случае я их не помню), а мы с отцом — на сеновалах: право ночевать там всегда заранее оговаривалось. Отцу редко удавалось вырываться из города (командиры тех времен, как, впрочем, и все, работали от зари до зари), но я не боялся ночевать в одиночестве. Я быстро обзавелся друзьями — в детстве я был чудовищно общительным — и частенько ночевал с новыми приятелями на чужих сеновалах, в стогах, а порою и где придется. Маму это держало в известном напряжении, но отец поощрял мою независимость.

И однажды — это случилось в деревне Волково по Старо-Московскому шоссе — меня с приятелями разбудили на рассвете:

— Бабка Семеновна повесилась!

Старая женщина окончила свою жизнь на

опушке леса. Она привязала веревку к суку, надела петлю на шею и подогнула колени. Я и сейчас вижу ее пугающее мертвое лицо и колени, недостающие до земли.

За три дня до этого в селе закрыли церковь. И не просто закрыли, а разгромили: мы бегали смотреть на этот разгром и орали от неистового восторга. Здоровенный мужик, взобравшись на крышу, бил кувалдой по кресту. Крест вздрагивал, но не гнулся, купол глухо гудел, с тяжким звоном била кувалда, а во дворе весело жгли иконы, книги, церковные облачения.

«…сумасшедшие взбунтовались, заперли врачей и служителей дома душевнобольных и сами стали хозяйничать…»

Этот анекдот любил рассказывать своим детям Л.Н. Толстой.

Должен отметить, что я был подготовлен к школе примерно так, как если бы поступал в гимназию: я не просто умел читать, писать, считать: я был ознакомлен с русской историей, представлял, что такое география, и даже имел некоторые познания в астрономии: знал все планеты, Большую Медведицу, Полярную звезду. Помню, как отец, взяв в руки глобус, плавно обносил его вокруг керосиновой лампы, объясняя мне

не только смену дня и ночи, но и времен года. Я помнил массу стихов, очень горевал, что Пушкина и Лермонтова убили на дуэли, что Гоголь сошел с ума, что Чернышевского посадили в крепость, а Достоевского сослали на каторгу, и, тем не менее, я не ощущал никакого преимущества в 1-м классе 13-й школы. Может быть, потому, что в здании этой школы еще витал дух гимназии, а в центре города Смоленска еще не вытоптали остатков русской интеллигенции, готовившей своих отпрысков по старинке, загодя и — дома, что весьма существенно.

Но уже во втором классе я оказался совершенно в ином положении. Страшный голод, поразивший Украину и прилегающие к ней черноземные области России, двинул на север огромные массы беженцев. Такого количества просящих подаяния полутрупов, бездомных детей, нищеты и горя, я думаю, Смоленск не видывал за всю свою историю. В зиму 1931/32 года мертвецы на улицах стали таким же обычным явлением, как и подкинутые малолетние дети, которые еще не могли сами прибиться к армии беспризорников, оккупировавшей смоленские подвалы, подземелья и башни крепости.

И на следующий год я, продолжая числиться

за школой № 13, учился в каких-то полутемных комнатах какого-то неизвестного мне здания. В классах было набито по шестьдесят, а то и по восемьдесят детей, мы сидели по трое на партах, и вши свободно путешествовали по тихой (голодные дети всегда тихие), удивительно послушной толпе. Меня ежедневно мыли дегтярным мылом, остригли под «нулевку», бабушка ощупывала каждый шов моей одежды и каждый миллиметр моего тела, но в больницу я все-таки угодил. Правда, никто не знал, а сам я не говорил, что высиживал в школе только до большой перемены, когда раздавали по тоненькому кусочку черного хлеба с постным маслом. Получив еду, я немедленно сбегал к беспризорникам, с которыми очень сдружился, и поэтому понять, где я подцепил тиф, — сложно.

Если наложить собственную жизнь на жизнь страны, возникает история не как наука, а как биография народа. Без громких событий и громких имен, без лозунгов и призывов, без насильственных свершений, всеобщей истерии и постепенно — грошик к грошику — накапливаемой ненависти к тем, кто объявлялся виновником все возрастающих трудностей, при всеобщем ожесточении и непонимании, что же происходит

не где-нибудь, а тут же, рядом, на до последней выщерблинки знакомых улицах родного города.

Куда вдруг исчезла семья жившего этажом ниже инженера, упорно ходившего в старомодной инженерной фуражке? Дети его были старше меня, я с ними не дружил, но всегда здоровался, как то было принято в те последние годы российской агонии. Их комната (под нами) некоторое время пустовала, а потом туда вселился жилец, о котором мне запрещено (категорически!) было говорить кому бы то ни было. А мне было непонятно, что он один (ОДИН!) занимал целую квартиру в то время, когда во всем Смоленске не осталось ни единого незаселенного подвала, когда жителей было несоизмеримо больше, чем кроватей, когда жили в крепостных башнях, казематах, церквах и даже в склепах.

Я рано ложился спать: до пятнадцати лет я не помню случая, чтобы меня не отправили в постель позднее половины десятого. Зато и вставал я не позже семи; меня будили и сразу же поднимали — я не знал, что значит нежиться в постели поутру. Позавтракав кашей (почти праздник!), а чаще поджаренной на сковороде болтушкой из ржаной муки, я отправлялся на улицу, поскольку отец был убежден, что необходимо гулять

перед занятиями в школе. Так было заведено не ради «пользы», а ради строгого распорядка дня, который отец считал основой воспитания. В этот распорядок входило множество мелочей: никогда ничего не есть между завтраком, обедом и ужином; пить только дома; заниматься чем угодно, но непременно одному; читать вслух не менее одного стихотворения; обязательно рассказывать прочитанное; застилать собственную постель, убирать со стола, выносить мусор, колоть и носить дрова и еще бездна всего иного. Многое я сохранил и по сей день, что-то уже растерял, но долг перед семьей, стремление никого не обременять и посильно помогать другим — это отцовское наследство. Единственное, кроме командирского ремня со звездой на пряжке.

И вот однажды, выйдя ранним утром в наш огромный двор, я увидел под окном бывшей квартиры исчезнувшего инженера… французскую булку, ныне называемую городской. Я видел их куда реже, чем современный мальчик видит кокосовые орехи, и поначалу не поверил собственным глазам: зажмурился, потряс головой, но булка не исчезла. И тогда я схватил ее и, в нарушение всех отцовских наставлений, съел до последней крошечки. Ел, забившись в угол,

давясь и отчетливо понимая, что совершаю нечто почти противозаконное.

Наш двор ограничивала тыловая сторона дома, когда-то бывшего гостиницей, — фасад ее выходил на Большую советскую напротив магазина «Культтовары». И как-то на общую дворовую помойку оттуда вынесли две огромные плетеные корзины очисток от жирной копченой воблы. Было раннее утро, и когда я вышел во двор, помойка буквально кишела беспризорниками. Они грубо отпихивали качавшихся от голода нищих, но мне дали место. И я жадно обсасывал эти отбросы в шуме, ругательствах и слезах тех, кого не допустили к пиршественному столу.

А ведь в то время люди не просто недоедали, а падали от истощения, и мне не раз приходилось видеть торчащие из сугробов головы, руки или ноги погибших холодными ночами. А из бывшей гостиницы, именуемой теперь Домом ответработников, корзинами выносили жирные очистки и выбрасывали из окон булки.

Нет, я не голодал. Я недоедал, но это неважно. Я видел голод и видел чудовищную, необъяснимую безнравственность, которой до жестокости оставалась крохотная грань. Горькая чаша переполняется горькими каплями, и я спешу, спешу,

потому что эти капли — дни моей жизни. Я ощущаю их изнутри, вероятно, тем самым «третьим полушарием», которому так и не нашли места ученые мужи в живом человеке. Спешу и потому что-то пропускаю, а пропускать нельзя ничего, ибо это — капельки. И им следует знать счет, чтобы понять, как, когда, каким же образом переполнилась чаша.

У меня были два брата-кузена: Павел — с материнской стороны и Евгений — с отцовской. И еще у меня была прекрасная коллекция старинных монет, изломанного старого оружия, мундирных пуговиц, каких-то регалий, расплющенных свинцовых пуль и даже нательных крестиков и образков. Страсть к собирательству — абсолютно бессистемному, дилетантскому — сохранилась у меня и до сего времени. Но первыми, кто пробудил во мне эту страсть, были мои братья.

Дело в том, что, будучи представителями враждебного класса, они не могли поступить ни в одно учебное заведение. Необходимо было в рабочем котле смыть с себя вредоносную накипь привилегированного сословия, и братья пошли на биржу труда. Не знаю, сколько времени они обивали пороги, но в конечном счете им выдали ломы, рукавицы и отправили… разбирать Смоленскую

крепость. То самое «ожерелье Земли Русской», о котором с такой гордостью отзывались современники. И сокрушая на века, на нас сегодняшних рассчитанную кладку, они все находки приносили ко мне. Теперь-то я понимаю, когда зародилась идея труда ради процесса воспитания, то есть труда бессмысленного, а потому изначально безнравственного.

И нельзя забывать об этих каплях: позднее они воплотятся в строительство беломорканалов, бамов, во взрывы храмов, башен, усадеб и дворцов. Все начинается с бессмысленности.

Я не помню начала массовых арестов. Я помню исчезновение людей, которые иногда появлялись у нас и о которых после их исчезновения категорически запрещалось упоминать. Они автоматически уходили не только из жизни, но и из памяти, но я бы не хотел, чтобы из этого был сделан вывод о равнодушной осторожности семьи, в которой я рос. Такова была система, а чего она стоила моим родителям, мне уже никогда не узнать. Конечно, они не были борцами (отец всю жизнь исповедовал идею, что армия должна стоять вне политики, учитывая ее «слепое могущество» — его слова), но можно себе представить, чего им стоило как понимание, так — в особен-

ности! — и приспособленчество в предложенных условиях.

Помню, как плакала Галя. Она мечтала о медицинском институте, но отец довольно сурово приказал ей после 7-го класса поступить в электротехникум. Теперь-то я понимаю, почему он так сделал: в школе хорошо знали о ее происхождении, а в техникуме ее ожидала новая среда. Полагаю, что с нею отец провел тот же разговор, что и со мной: никогда не говорить о Высоком, не упоминать о деде и во всех анкетах писать: сын военнослужащего. А мама — хорошо помню! — умоляла бабушку не говорить по-французски хотя бы в очередях.

— В России объясняются по-русски!

— Увы, ныне в России объясняются по-площадному. Нет русской брани: есть только площадная брань.

Наша семья мимикрировала стремительно, но я не имею права ее укорять. Все воспринимали предложенные правила поведения, и только бабушка упорно не желала этому подчиняться. Дважды ее забирали какие-то доброхоты, но отец выручал, а один раз довольно жестоко побили, но не помню, чтобы и эта мера «общественного воздействия» хоть как-то подействовала на нее.

Она чуть сбавила тон, когда арестовали мужа ее дочери Татьяны Ивановны, а саму тетю Таню сослали в Жиздру, но не потому, что испугалась, а потому, что поняла главное:

— Порядочность стала преступлением.

Утро отнюдь не красило нежным цветом древние стены России. Утро было свинцово-холодным, утро отбирало тепло от людей: начиналась великая энтропия перекачки живого к омертвленному.

Люди быстро сжимались в комочек. Я хорошо помню, как исчезала застольная беседа, сопряженная с долгим, неторопливым чаепитием. Ради нее собирались тогда не только представители старой интеллигенции, но и соседи горожане. К нам приходили сослуживцы отца, мамины приятельницы и даже бабушкины знакомые по многочисленным очередям, и начиналось действо, а не просто разговор, как таковой. Чисто русское действо, о котором наши внуки узнают лишь по словарям под ныне неупотребляемым словом «беседа». Если захотят.

Однажды я глупо созорничал на такой беседе. Дело в том, что гости, как правило, приносили ломтик хлеба и совсем крохотный кусочек сахара. Все это складывалось в общую хлебницу и

сахарницу, но я умудрился раздобыть горчицу и успел незаметно вымазать ею два кусочка хлеба. Естественно, это сразу открылось, все пытались обратить проказу в шутку, но мама расстроилась, хотела прилюдно отчитать меня, но отец отправил спать. Мой топчан находился за печкой, я немного помыкался, поняв, что совершил пакость, но скоро уснул. А проснувшись, увидел суровые глаза отца, и мне стало стыдно до жара.

— Постарайся никогда не делать вечером того, от чего утром будет стыдно.

Вот и все, что он сказал. А мне и сейчас стыдно, когда вспоминаю те тоненькие лепестки тяжелого черного хлеба, которые люди отрывали от себя ради беседы.

Странное свойство воспоминаний: с горечью пишешь об утраченном навеки чисто русском явлении и вдруг ощущаешь во рту физическую горечь и аромат той горчицы, которую готовила бабушка, не тратя драгоценного сахара, а обходясь какими-то ей одной ведомыми приправами. И еще — мамин постный сахар, непременный атрибут тех бесед. Он только назывался так, а готовился из молока и того сахарного песка, что полагался отцу в пайке. На сладкий чай его не хватало, все пили «вприкуску», и мама варила

песок с молоком: до сих пор помню тарелку, в которой он застывал. Может быть потому, что вылизывать эту тарелку было моей привилегией.

А еще все ребята жадно и много ели всякие травы, едва они прорастали. Не знаю, что мы ели, и тогда не знал: ослабевший организм не просто требовал зелени, но и безошибочно подсказывал, что именно можно есть. А торгсиновские витрины и сквозь стекла источали аромат колбас и сыров, шоколада и апельсинов, но нас быстро гнала от этих витрин недремлющая милиция.

На углу Большой Советской и Пушкинской («под часами») торговал едва ли не последний разносчик: длинный худой китаец с растерянной улыбкой. Он продавал бумажные фонарики, воздушных змеев, веера, шарики на резинке — все домашнего производства, за гроши. И он исчез как-то внезапно, тихо, незаметно. И маленький скверик на Пушкинской, гордо именовавшийся «Садом имени товарища Томского», тоже вскоре утратил свое имя. Все исчезало, и если мне, мальчишке, любое исчезновение, равно как и появление нового, казалось самим существом мира взрослых, то каково было этим взрослым, я и сейчас с трудом могу себе представить. Мы пережили НАШЕСТВИЕ, куда страшнее инозем-

ного. Ведь иноземное иго сплачивает коренное население, стирая грани его сообществ, но наше иго, будучи внутренним, играло на этих гранях, ибо могло существовать, только разрушая единство народа.

1988 г.

Признаюсь: еще месяц назад я не понимал выражения «Малая родина». Я люблю Смоленск, где родился, где пошел в школу, но город — даже такой небольшой, каким был Смоленск моего детства, — не дает ощущения, что земля под тобою и есть земля предков твоих. Тем более что отца часто переводили в другие города и городки, и войну, к примеру, я встретил в Воронеже у дверей 54-й неполной средней школы.

А 17 января этого, 1993 года я трясся в газике, который вел глава администрации Ельнинского района Смоленской области Тимофей Васильевич. А вокруг были поля да бесконечные березняки, деревни попадались редко, и новые избы в этих деревнях особенно бросались в глаза, потому что был этот край опустошен и заброшен, беден и неуютен, как и вся наша Великороссия, центр кристаллизации русского народа, безумным и безнравственным решением сверху превращенный в пустынную обезлюдевшую

часть суши под названием Нечерноземье. Здесь много лет укрупняли и разукрупняли, сводили начисто обжитые места и перепахивали кладбища, что-то начинали и не заканчивали, с чем-то кончали и забывали навсегда, как Фирса, и эти всеми забытые Фирсы обоих полов тихо и покорно доживали свой век, и дети здесь были редки, как великодушие в наши дни. И если в Ельнинском уезде сто лет назад проживало 142 250 душ обоего пола, то теперь доживает 19 тысяч.

Тимофей Васильевич вез меня на могилу моего деда. А я толком не знал, где она: я бывал в селе Высоком совсем маленьким, еще до школы, и почему-то считал, что дед похоронен возле церкви того же села.

А началось все с того, что интеллигенция Смоленска, объединившаяся в «Смоленское Собрание», пригласила меня посетить родной город. Перед этим его сопредседатели — главный режиссер Смоленского театра драмы Игорь Александрович Южаков и доцент педагогического института Михаил Ефимович Стеклов — дотошно расспрашивали меня о моих предках. И я рассказал им о деде по матери Иване Ивановиче Алексееве, потому что он был не только моим дедом, но и героем моего романа «Были и небы-

ли» Ваничкой Олексиным. И по чисто советской привычке особо упирал при этом, что дед был народником, одним из первых членов кружка Чайковцев, ходил «в народ», сидел в «Крестах», строил со своим братом Василием Ивановичем коммуну в штате Канзас по рецепту Фурье. Что после провала этого эксперимента закончил Технологжку, служил в Варшаве, Бресте, где-то еще и закончил свою жизнь на родине — в селе Высоком Ельнинского уезда. И добрые, отзывчивые, интеллигентные в старом русском понимании этого слова мои смоленские друзья решили преподнести мне сюрприз: отыскать могилу моего деда.

— В селе Высоком церкви нет и никогда не было, — сказал мне Тимофей Васильевич, когда мы добрались до Ельни. — Ближайшая церковь — в селе Уварово, и ваш дед мог быть похоронен только там. Однако церковь была закрыта в начале 80-х, начала действовать недавно, архивы неизвестно где. Будем искать на месте.

Церковь оказалась маленькой, приземистой и старой — конца XVIII — начала XIX столетия. Кладбище за нею существовало, но ни крестов, ни могил не просматривалось под снегом: его еще не привели в порядок. Мы попали к концу службы,

что шла в наспех отремонтированном правом приделе, прихожан оказалось на редкость мало, в основном старушки. Пожилой священник приехал недавно и ничего не знал. Я стал толковать что-то о народнике Алексееве, но Тимофей Васильевич перебил меня:

— Ну а тут-то кем был ваш дед?

— Помещиком, — со всей вложенной в меня советской застенчивостью признался я.

— Это проще. Про народников мои старушки и слыхом не слыхивали, а помещика, поди, не забыли!

Не забыли. И с помощью некоего Алексея Васильевича, на которого указали старушки, мы быстро установили, что Иван Иванович Алексеев, помещик села Высокое, действительно похоронен здесь, при церкви, но крест с могилы кто-то куда-то увез, а место Алексей Васильевич знает и готов показать, когда растает снег. Заодно он вспомнил, где была усадьба («Белый дом в два этажа…»). Точно: белый, двухэтажный, помню! И мы поехали в Высокое: дома его уже наползли на разрушенную в войну усадьбу, но еще сохранились две аллеи, когда-то ее ограничивающие. Аллеи, по которым я — давным-давно! — бегал. Точнее — учился бегать.

На обратном пути я молчал, и сопровождающие ко мне не обращались, понимая, что происходит в душе моей. Я переживал огромное потрясение: я нашел свой корень. Нашел не рассудочно, не умом: я ощутил его всем своим существом, чувствами, подкоркой. Генетическая нить вдруг обрела реальность, которой я, офицерский сын, обитатель военных городков и гарнизонов, был лишен, казалось, навсегда. Я — горожанин, мне в полной мере свойственны как достоинства, так и недостатки городского жителя, но тогда, подпрыгивая на ледяных ухабах в газике, я впервые с горечью подумал, насколько же город беспощаден к родовым корням своих собственных горожан. Я вспомнил отцовский гроб, уплывший от меня на лифте Донского крематория, и гроб матери, через десять лет повторивший тот же последний… нет, не путь — спуск в никуда, в ничто. Я не бросил горсти земли на их гробы, их прах не растворился в земле, у них — захоронения урн, а не могилы. И у меня осталась память, только — память, а не реально существующие места их последнего упокоения. Это были даже не мысли, а скорее — чувства. Предмыслие.

Я прожил достаточно длинную жизнь, чтобы ощутить, а не просто логически понять все три

этапа, три поколения русской интеллигенции от ее зарождения до гибели через ступени конфронтации, физического уничтожения, мучительного конформизма уцелевших, до возрождения веры в гражданские права и горького понимания, что интеллигенция так и осталась невостребованной. Ведь необходимость и сила русской интеллигенции была в ее понимании своего гражданского долга перед родиной, а не просто в исполнении тех служебных функций, которые столь характерны для западных интеллектуалов и которые силой насаждала сталинская деспотия. Ее вызвал к жизни отнюдь не зарождающийся рынок России, а общественная потребность, жажда внести свой вклад прежде всего в гражданское становление общества.

Толстой яростно спорил с официальной церковью вовсе не потому, что его обуяла гордыня: феодальное построение церкви, феодальное мышление ее пастырей, наконец, феодальная зависимость высших церковных структур уже не отвечали изменяющимся потребностям общества, начинали сковывать как личную свободу, так и личную инициативу русской буржуазии. Личность не только способна обходиться без посредников между Богом и своей душой, но и

обязана: это главное условие ее дальнейшего развития — вот основной мотив толстовского религиозного учения. Совершенствование личности без полуграмотных ионов, без лживых иерархов, без средневековой мишуры богослужения — в этом он видел завтрашний день христианства, без которого, по его глубокому убеждению, русский народ никак не может обойтись.

А русская адвокатура, столь богатая яркими талантами? Впервые за все время существования нашего народа она открыто выступила в защиту личности против государства, взывая прежде всего к гражданскому чувству присяжных, даже если эти присяжные тщательно подбирались охранкой, как то случилось в знаменитом «Деле Бейлиса».

А русская журналистика, представленная такими именами, как Короленко, Гиляровский, Дорошевич? Полистайте журналы того времени: великосветские сплетни и даже государственный официоз отходят на второй план, потесненные статьями и очерками о быте простых людей, о которых авторы всегда рассказывают через личность, утверждая ее как основное богатство нашего народа.

А русское купечество, из среды которого вдруг

вышла целая плеяда меценатов и — ни одного «спонсора»? Миллионы, еще вчера преподносившиеся церкви для спасения своей многогрешной души, вдруг переадресуются русскому искусству для спасения души народа без тени самоутверждения, не ради тщеславия или, боже упаси, прибыли. И здесь — борьба за личность, за ее просвещение, развитие и конечное торжество.

Хорошо, это — вершины, хотя Толстой говорил, что суждение о народе надо основывать на его вершинах, а не на унылой среднестатистической арифметике, что было излюбленной манерой советской власти. Но судьба деда, реальную могилу которого я обрел? Он был потомком старых псковских дворян Алексеевых: это в доме его деда Александра Алексеева, поручика Псковского полка, жил в Кишиневе его земляк Александр Сергеевич Пушкин. Это из него позднее вся жандармерия во главе с Бенкендорфом выколачивала признание, не ему ли Александр Сергеевич поручил распространение запрещенных строф из «Андрэ Шенье»? Поручика Александра Алексеева разжаловали в рядовые не столько за стихи, сколько за отказ сообщить, откуда они у него оказались, а он через год вернулся с Кавказа в офицерских погонах с Георгием на груди, как

о том мне, его далекому потомку, рассказывал покойный Натан Эйдельман. А его вполне обеспеченные внуки — я имею в виду своего деда Ивана Ивановича и его брата Василия Ивановича — вдруг умчались в Америку доказывать, что свободный труд свободного человека способен сотворить чудо. Чуда не произошло, братья разорились, но ведь они искали не выгоды, не барышей, а тропинки спасения для освобожденной личности.

Русская интеллигенция была востребована историей для святой цели: выявить личность в каждом человеке, восславить ее, укрепить нравственно, вооружить не раболепием православия, а мужеством индивидуальности. А ныне то тут, то там начинают мелькать статейки об историческом преступлении русской интеллигенции: их пишут холопы, так и не ставшие интеллигентами. Бог им судья, хотя невежество оскорбительно не для почивших, а для живущих. Русская интеллигенция породила не только Чернышевского с топором и Ленина с его невероятной харизмой, но и Герцена, утверждавшего, что для торжества демократии необходимо сначала вырастить демократов; и Плеханова, поддерживавшего Временное правительство, поскольку, по его

убеждению, «Россия еще не смолола той муки, из которой можно было бы испечь пирог социализма». Я мог бы привести массу подобных примеров, да стоит ли? Интеллигентом нельзя стать, даже получив диплом с отличием: это — нравственная категория, а не мера образовательного ценза.

И эта высочайшая нравственность русской интеллигенции, ее чувство сопричастности к судьбе народа были отринуты левыми экстремистами, захватившими власть. Для них все было ясно, все — объяснимо, а потому они не просто не нуждались в личности — они считали своей задачей ее разрушение. Послушный специалист всегда предпочтительнее думающего, сомневающегося и страдающего интеллигента, а потому второе поколение русской интеллигентной и нравственной элиты — поколение моих отцов — было поставлено перед дилеммой: либо конформистское служение властям, либо — уничтожение. А под уничтожением советская власть всегда понимала не только самого строптивого, но и его семью, что проводилось в жизнь с железной непреложностью. Судите людей по внутренним обстоятельствам того времени, в котором довелось им жить и страдать.

Русский народ не может существовать без

собственной интеллигенции в исторически сложившемся ее понимании не в силу некой богоизбранности, а потому, что без нее он никогда не повзрослеет. Нам свойственны детская непосредственность, детское бескорыстие, детская доверчивость и детская жестокость: любой русский всегда моложе своего ровесника за рубежом, будь то немец или японец, француз или американец. А детству нужен пример для подражания — вот основа нашей страсти как создавать себе кумиров, так и оплевывать их. Пушкин называл наш народ народом младенческим, вовсе не имея в виду его физический возраст: немцы, итальянцы, греки, не говоря уже об американцах, стали нациями куда позже России. Наш народ вернулся единым русским народом с поля Куликова, то есть более шести веков тому назад. И за шесть веков мы так и не повзрослели, ибо постоянно, поколение за поколением опекались батюшками: батюшкой был государь, барин, священник. Мы росли под патронажем этих «батюшек», работали на них, воевали за них и умирали, забытые ими. И мы привыкли к постоянной опеке, привыкли перекладывать свои заботы на их ответственность, привыкли просить их поддержки, помощи или хотя бы совета, и спасти нас от этого историче-

ского иждивенчества может только собственная интеллигенция. Она возродит в каждом из нас дремлющую личность, объяснит нам ее величайшую ценность и уникальность, приучит смело опираться на собственные способности и силы, а не ожидать советов, одобрения или поддержки очередного «батюшки». И она придет, эта новая интеллигенция, она возьмет на себя нравственное возрождение народа, избавив его от далеко не бескорыстного патронажа «батюшек властных структур». Я верю в это, ибо в Книге Судеб России еще великое множество чистых страниц.

У меня есть могила деда и нет могилы отца. Прах деда растворился в родной земле, напитав собою корни деревьев и трав; прах отца улетел в черную трубу крематория.

Вам не кажется, что в этом — судьба всей русской интеллигенции двадцатого столетия?..

1993

P.S. Я лишь однажды упомянул в этой повести о моей жене, с которой прожил почти пятьдесят лет. Но все, что я написал, я писал для нее. Все, до последней странички…

Гибель богинь

«Плохо твое дело, девочка…»

Чьи это слова, чьи, чьи? Надя пыталась что-то вспомнить, что-то понять, на чем-то сосредоточиться, но в голове только гулко звучали эти четыре слова: «Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело…» Потом кто-то прошел мимо, оставив распахнутой дверь в большую комнату. Оттуда тянуло прохладой, там летали длинные легкие шторы…

Голос вдруг смолк, и за мгновение перед тем, как встать и шагнуть, Надя отчетливо и ясно увидела весь тот, последний день собственного мира и покоя. Не только увидела, но и успела разложить его по минутам и по мелочам и умилиться этим мелочам, потому что в них тоже заключалось ее такое обыкновенное, такое ясное женское счастье.

Утром того дня Сергей Алексеевич был так ласков, внимателен и чуток, что она, уже избалованная его нежностью, это запомнила: он словно предчувствовал что-то. А она ничего не предчувствовала, нет, ничего решительно: в то

мгновение Надя старательно перетрясла все секундочки той последней безмятежной ночи и того последнего безмятежного утра. Как всегда, прикидывалась сонной девчушкой: сопела, вздыхала, тыкалась носом, шептала глупости, прекрасно зная, что ее муж — седой, суровый, с фронтовым шрамом на груди и ответственностью за огромный заводище — теряет голову от любви. В эти короткие утренние минуты у него можно было просить все — и он бы сделал все, — но Надя никогда ни о чем не просила. Просто знала свое утреннее могущество и упивалась им: для полного счастья оказалось достаточно одной уверенности в себе.

Потом он лежал на спине, а она, прижавшись щекой к его плечу, слушала, как медленно затихает бешеный стук сердца. Сергей Алексеевич был на двадцать два года старше, но в эти минуты старшей становилась Надя. И, уловив, что ритм правилен, а частота ослабевает, чуть касалась губами голубоватых жилок на виске и выскальзывала из-под одеяла.

А он приоткрывал глаза. Это выглядело странно: шесть лет они были женаты, и шесть лет он подглядывал за нею. И Надя знала, что он подглядывает, но делала вид, что ничего не замечает, и

одевалась так, будто он крепко спит. Но именно оттого, что она знала, как он сейчас на нее смотрит, в ее движениях появлялась особая женская гибкость. Даже в таком обыденном деле, как утреннее одевание, Надя была сосредоточенной и разной: по-девчоночьи — спереди, а не сзади — застегивала лифчик и сердилась на колготки; по-женски ловко управлялась с платьем. Отбросив за спину густые светлые волосы — дважды в месяц она мыла их с подсушенным черным хлебом, — улыбалась его прищуренным глазам и уходила на кухню. И этим кончалась ночь.

Сидели за завтраком, пока за Сергеем Алексеевичем не приходила служебная машина. Надя поправляла ему галстук, проверяла, взял ли он чистый носовой платок, очки, записную книжку, и целовала на пороге. А когда машина отъезжала, из своей комнаты появлялась Ленка.

Девочке было около пяти, когда при вторых родах умерла ее мать, и Сергей Алексеевич долго испытывал неискупное чувство вины. А через десять лет без удержу влюбился в машинистку из московского главка. И Надя сразу все поняла, мудро не претендуя ни на память, ни на особые привилегии, что и позволило ей вскоре стать если не близкой подружкой, то доброй приятель-

ницей своей падчерицы, которая была всего-то на восемь лет младше.

В тот день, накормив Ленку завтраком и спровадив ее в институт, Надя пошла в химчистку и по магазинам; встречала знакомых, болтала ни о чем. Вернувшись, поставила обед, и тут к ней ввалилась трещотка Наталья — соседка по лестничной площадке — с австрийскими туфлями, которые прислал Наташке брат, а у нее распухли ноги. Они мерили туфли и даже лили в них водку, но туфли все равно Наталье на ноги не налезали. Очень приличные туфельки, модные, удлиненные, с удобным каблучком, и сидели на Надиных ножках будто влитые, но Наталья не предлагала и все пыталась запихать в них свои сороковые. И тут позвонил Сергей Алексеевич.

— Приехал товарищ из московского НИИ. Нет, не Федор Иванович, Федора Ивановича уже с почетом на пенсию проводили. Другой товарищ на связи с нами, приготовь что-нибудь к ужину.

Нет, и тогда еще не кончилось счастье. Она готовилась встретить гостя со всем старанием молодой хозяйки и любимой жены: сочиняла салаты, больше сообразуясь с собственным вдохновением, чем с кулинарной книгой; испекла пирог по такому же методу; навела красоту и

надела то платье, которое нравилось мужу. И с открытой улыбкой рванулась к дверям, когда позвонили.

— Дорогая, позволь представить тебе Игоря Антоновича.

И Надина улыбка окаменела: перед нею стоял Гога. Сколько лет они не виделись? Семь? Восемь? Нет, нет, семь. Семь с половиной, если быть точной. А он погрузнел, посолиднел, кажется, чуть полысел, ведь ему за сорок. Нажил брюшко, степенность, усталый взгляд и положение, раз прислали вместо Федора Ивановича. Сердце замерло, она что-то бормотала, не слыша собственных слов, и очнулась, заметив едва уловимое: он и прежде чуть подмигивал левым глазом: «Порядок, девочка, не суетись…»

— Очень рада, — повторила она. — Прошу, Игорь Антонович.

И тут же сбежала на кухню, сославшись на хозяйские хлопоты. Надо было оценить внезапное появление этого гостя в ее степенном семейном доме, понять, как следует вести себя, как успеть первой сознаться в знакомстве, если гость вдруг решит предаться воспоминаниям. Хотя вряд ли: он подмигнул, обещая хранить тайны. А Гога умел хранить их, так и не похвастaвшись никому,

что был ее любовником.

Только окончательно успокоившись и продумав, как вести застольную беседу, Надя решилась вернуться. Заставив себя улыбаться самой обворожительной из хозяйских улыбок, вошла, готовая говорить что-то необязательное, но мужчины вели деловой разговор, и Надя с огромным облегчением начала накрывать на стол.

— Вы — головное НИИ, и согласно договору наш завод обязан обеспечивать вас производственной базой. — Сергей Алексеевич говорил спокойно, и только Надя могла уловить чуть слышный металл в его голосе. — Не следует останавливаться на том, что зафиксировано документом, — это не подлежит обсуждению. А вот предложенный вами агрегат — подлежит, и тут наши эксперты не только могут, но и обязаны сказать свое слово.

— Сказали уже, — криво усмехнулся гость. — Вы, естественно, читали их заключение? Это же смертный приговор нашей годичной работе: на улице — октябрь, и мы физически не сможем переделать проект в этом году.

— Его нельзя переделывать. Его надо делать заново, от нуля.

— И это говорит руководитель! — театрально воскликнул Игорь Антонович. — А план?

Обязательства? Соревнование? Премиальные, тринадцатая зарплата, начисления за освоение новой техники? Вы же одним росчерком пера лишаете нас всего!

— Извините, — сказал хозяин. — Я должен помочь жене.

Сергей Алексеевич полагал, что ушел от неприятного разговора, но Надя хорошо знала бульдожью хватку Гоги. Он всегда добивался своего, он и ее-то добился только потому, что обладал упорством, перед которым трудно было устоять. И сейчас выжидающе поддакивал, слушая рассказы о местных достопримечательностях, а когда выпили, усмехнулся так, будто его вдруг осенило:

— А ведь я понял истинную причину вашего отказа, Сергей Алексеевич. Наш агрегат требует высокой точности, с которой вам не хочется связываться.

— Ваш агрегат — вчерашний день, — резче, чем собирался, сказал директор. — Вас обязали в соответствии с решением пленума, а вы, недолго думая, скопировали изделие западных немцев, не потрудившись даже узнать, по какой причине немцы сами прекратили производство. Если НИИ нужна справка на сей предмет, завтра же мои работники ее подготовят.

— НИИ необходимо запустить свою работу в производство не позднее первого января следующего года, — негромко сказал Игорь Антонович, в упор глядя при этом на Надю. — Мы готовы подписать обязательство о доводке конструкции, но запустить нас в производство надо этим годом, иначе вся наша программа окажется под откосом…

Господи, почему он смотрит на нее? Надя опустила ресницы, вновь вскинула и вновь встретила его изучающий взгляд. На какое-то мгновение ей вдруг стало страшно, но она пересилила себя и улыбнулась.

— Вы не пробовали этот салат, Игорь Антонович.

— Благодарю, это очень вкусно, — гость говорил сухо и напряженно. — В будущем году нашему шефу стукнет шесть десятков: хорошенький юбилей вы ему устроите, Сергей Алексеевич.

— Поймите, Игорь Антонович, это же невозможно! — Хозяин отбросил скомканную салфетку. — Запустить в производство заведомо негодную конструкцию только потому, что вашему шефу исполнится шестьдесят, извините, это… Это безнравственно.

— Безнравственно? — точно вслушиваясь в

звучание, протянул гость и неожиданно улыбнулся. — Вы тоже считаете, что это безнравственно, Надежда Васильевна?

— Извините, я не следила за вашим спором, — сказала Надя, поспешно вставая. — Позвольте я переменю тарелки.

Она ухаживала машинально: все силы уходили на то, чтобы не покраснеть. В ушах стоял звон, все плыло перед глазами, но она справилась, не покраснела и расслышала голос Игоря Антоновича. Кажется, он уже перестал уговаривать хозяина, болтал о чем-то совсем ином; легко болтал, непринужденно, а к ней обратился вдруг и вроде бы ни с того ни с сего:

— Сергей Алексеевич говорил, что вы учились в Москве, в ГИТИСе, Надежда Васильевна? Вы не знавали случайно Николая Мироновича Кудряшова? Нет? Жаль, очень любопытный товарищ этот «папа Коля», как его называла последняя пассия…

Господи, все-таки на свете есть еще чудо: зазвонил телефон, и Надя ринулась в прихожую. «Зачем? Зачем он вспоминает давно ушедшее? И зачем она, дурачась, так часто называла мужа “папа Сережа”…»

— Не ушел еще гость? — болтала тем временем

по телефону Ленка. — Надь, я у Машки, звони, если осложнения.

Надя заставила себя вернуться в комнату, заставила улыбаться. А сама с ужасом думала, что еще успел сказать Гога, пока она говорила с Ленкой.

— Барин, жуир, эрудит — словом, у него было чем кружить головы двадцатилетним дурешкам, — как ни в чем не бывало продолжал Игорь Антонович. — Для него это была игра, спорт, способ самоутверждения: он за вечер отбивал девчонку у любого. И представляете, этот любимец женщин и баловень судьбы влюбляется в свои пятьдесят, как в восемнадцать.

Сергей Алексеевич слушал вежливо, но ему было неинтересно: Надя поняла это и обрадовалась, как школьница. Зря, Гога, зря ты плетешь сеточку: хозяин не слышит, о чем ты толкуешь.

— …он называл ее Богиней. Она и в самом деле была хороша — с белой кожей, чудной фигуркой и теми бесенятами в глазах, мимо которых не в силах пройти ни один мужчина. И Кудряшов — режиссер с мировым именем, народный артист…

О, как хорошо она помнила день, когда познакомилась с этим артистом! Не только потому, что твердо рассчитывала на его помощь, но и потому, что это было престижно: Николай Миронович

одним своим появлением в ее коротенькой пустенькой жизни возносил ее в иную, высшую элитную группу. Она сама пришла в кафе, куда он обычно заглядывал, сумела отбиться от жаждущих усесться за ее столик и, увидев его в дверях, отчаянно замахала рукой.

— В чем дело, малыш? Так машут тонущие в море проходящему мимо кораблю.

— А я и есть тонущая в море, и мне страшно, если корабль пройдет мимо.

Она улыбнулась самой белоснежной из всех своих обещающих улыбок, и Кудряшов сел за ее столик. Сердце Нади билось с невероятной частотой, но она так просто и естественно повела разговор, что Николай Миронович ни в тот день, ни в последующие уже не отходил от нее ни на шаг.

— Смешно, но ты — моя последняя любовь. Это сильнее, чем первая, поверь: расставшись с первой, мужчина сохраняет уверенность, но теряя последнюю, он теряет все. Смысл жизни, веру в себя, радость существования…

Она многое перенесла, многое перетерпела и многое передумала, когда Кудряшов оставил ее. Пусть по ее вине, но оставил сразу, вдруг, посреди улицы. Ушел, не оглянувшись, и она тоже ушла

из того мира, сменила профессию, устроилась на работу и через шесть лет после того ужаса на улице сумела добиться, чтобы еще раз услышать:

— Вы — моя последняя любовь, Надя.

Так сказал Сергей Алексеевич, предлагая руку, а не горьковатый статус любовницы. В нем было то, в чем так нуждалась она всю свою жизнь: надежность. Истинная мужская надежность, о которой мечтают все женщины мира. И она стала женой, преданной, бесконечно благодарной женой и другом его взрослой дочери. Так что давай, Гога, трепись, намекай, посмеивайся: здесь не пройдут твои номера.

— Николай Миронович любил, например, утверждать, что человечество все способно переварить: агрессию, трансгрессию, революцию, контрреволюцию, атомные бомбы и демографические взрывы. Но унификация женщин для него — смерть. Общество развивалось миллионолетия, начала его в такой седой дремучести, куда никто никогда не заглянет. И если уж человек духовный четко определил, что женщины делятся на Матерей и Богинь, то за этим стоит природное естество, а отнюдь не социальное неравенство. Как вам нравится тезис, Сергей Алексеевич?

— Я далек от подобных проблем.

— Но именно эта проблема имеет самое непосредственное отношение к нравственности. В самом деле, чем измерить нравственность? Процентом уголовных преступлений? Абсурд, это — за чертой. Вы скажете: честностью, добросовестностью, трудолюбием и так далее, но ведь это все — вторичные признаки.

— Не думаю, чтобы честность и трудолюбие являлись вторичными признаками нравственности.

— А не кажется ли вам, что в основе нравственности лежит отношение к женщине? Если общество ставит Мать и Любовь на недосягаемые пьедесталы — я уверен в его нравственности. Но если имя матери человеческой превращено в пьяную брань, а на любовь указывают пальцем, я начинаю мечтать о машине времени…

О, Надя наизусть знала то, что излагал Игорь Антонович: Кудряшов любил витийствовать. Но она никак не могла понять, зачем Гога преподносит эту болтовню вежливо скучающему хозяину, и совсем успокоилась, хотя какая-то досадная ссадина все же осталась в душе. А на следующий день раздался телефонный звонок, и вкрадчивый, до омерзения знакомый голос сказал:

— Ну здравствуй, Богиня. Рад был видеть тебя

красивой, любимой и, кажется, счастливой. Я не ошибся на сей счет? Что же ты молчишь?

— Да, — перехваченным голосом сказала она и опустилась на стул.

Из своей комнаты выглянула полуголая Ленка: отец был на работе, и она остывала после ванны.

— Тебе плохо?

Надя отчаянно затрясла головой, изобразила улыбку, и Ленка, к счастью, скрылась. А Гога продолжал с нарастающим нажимом:

— Не рвешься повидаться? Ну, ну, перестань изображать раздумья, мы так хорошо понимали друг друга. Нет, ты мне не нужна как женщина, не беспокойся. Ты мне нужна исключительно как друг, товарищ и брательник.

— Это невозможно, — тихо сказала она, прикрыв трубку рукой.

— Придумай, у тебя это неплохо получалось. Мой номер — триста девятнадцатый. Жду звонка.

Единственное место — кафе-мороженое, потому что отказаться от свидания опасно: черт его знает, что еще ляпнет Гога. Значит, кафе: Надя иногда заходила в него, и ее появление не должно привлечь внимания. А Гоге следует появиться чуть погодя, будто бы случайно. Увидеть

ее и громко удивиться. Надя продумала все, уже одеваясь и наводя красоту. Позвонила по автомату, уточнила время; Гога появился точно, как появлялся когда-то. Он громко удивился, громко испросил разрешения сесть за ее столик и заказал шампанское.

— Помнится, ты любила его. Интересно, счастливое замужество меняет вкусы?

— Безусловно. Мне, например, совсем не хочется видеть тебя.

— Благодарю за откровенность. — Он улыбнулся. — Сначала выпьем, как говорится, со свиданьицем, а затем я тебе кое-что изложу. За тебя.

Он залпом осушил бокал, Надя к своему не притронулась. «Что ему нужно? — думала она, стараясь сохранять на лице безмятежную улыбку. — Надеется переспать? Или что-то потребовалось Кудряшову? Что?..»

— Хочу сразу признаться, что женился, остепенился, продвигаюсь по служебному эскалатору и весьма это ценю, — начал он, потомив неизвестностью. — Шеф оказал мне гигантское доверие, откомандировав сюда: замечаешь, я пру к цели, как бык на тореро? Тебя это не удивляет?

— Настораживает, — сказала она. — Ты всегда

предпочитал исподтишка подкладывать свинью ближнему.

— Вспомнила о рожках папы Коли? — Он рассмеялся. — Это внушает мне уверенность в нашем благотворном сотрудничестве.

— С тобой?

— Со мной. Твой супруг упрям, как мул, и мне одному с ним не совладать.

— Всего доброго. — Надя встала. — Рада была повидать тебя и выражаю твердую уверенность, что более никогда не увижу.

— Не спеши, — он понизил голос. — Не в твоих интересах ссориться со мной.

— Не пугай, я не боюсь тебя.

— А зачем же меня бояться? Я человек мирный, семейный, подающий надежды кандидат технаук. Ты не меня бойся, ты себя бойся. Знаешь, когда богини гибнут? Когда спотыкаются. Шалила богиня, шалила и шлепнулась в грязь — забавный вариант, правда? Шлеп, и нет никакой богини, а есть грязная баба. Садись.

Он сказал тихо, но Надя сразу села, ощутив слабость во всем теле. Будто распахнули настежь и вынули все силы.

— Что тебе надо?

— Для начала, чтобы ты выпила и обрела спо-

собность трезво взвешивать обстоятельства.

Она покорно выпила и даже заставила себя улыбнуться. Только улыбка вышла мелкой и чуть заискивающей. И повторила слово в слово:

— Что тебе надо?

— Лично мне — ничего. — Гога разлил шампанское. — А вот НИИ нужно закрыть план, отчитаться с максимальной помпой и получить полновесные премии, прогрессивки и прочие виды финансовой поддержки преуспевающей интеллигенции.

— Я не понимаю, о чем ты, совершенно не понимаю. То есть соображаю, что нагло шантажируешь, но цель? Должна же существовать хоть какая-то цель.

— Объясняю для общего развития. Родимый коллектив получил задание разработать и внедрить — учти, внедрить! — некую хреновину для сельских тружеников. Мы разработали, но внедрить, увы, может только твой миляга старикан, поскольку он — директор завода. А он заартачился, и все пойдет прахом, а я слечу на пару ступенек…

— Надя?

Надежда вздрогнула: к их столику шла Ленка с подругой. Игорь Антонович замолчал, улыбаясь

самой добродушнейшей из своих улыбок.

— Ленка? — Надя всеми силами старалась скрыть растерянность. — А почему ты не на занятиях?

— Никуда институт не убежит, особенно если он при заводе. — Ленка во все глаза разглядывала Гогу. — Вот мы с Машкой и решили угостить себя мороженым.

— Один момент! — радостно воскликнул Игорь Антонович. — Присаживайтесь, девочки.

И сам ринулся разыскивать официантку: видно, ему тоже требовалось осмыслить ситуацию. Подружки сели, Ленка недовольно поинтересовалась:

— Это что еще за тип?

— Командированный, — почти спокойно сказала Надежда. — Он вчера был у нас в гостях.

Девочки угощались мороженым, Игорь Антонович непринужденно болтал, а Надя то решала немедленно встать и уйти, то включалась в общий разговор, страшась оставлять Гогу с глазу на глаз с дочерью собственного мужа. Так и проколебалась, пока девочки не заторопились в институт.

— Я с вами, Ленка.

Игорь Антонович вежливо распрощался, мно-

гозначительно сказав:

— Стало быть, с вашего разрешения я позвоню, Надежда Васильевна.

Немного проводив Ленку с подружкой, Надя сразу же бросилась домой: боялась, что Гога позвонит, когда Сергей Алексеевич придет на обед. Муж приехал вовремя; она кормила его, что-то болтала, смеялась, а сама все время ожидала, что вот-вот зазвонит телефон. Но звонка не последовало, обед прошел, Сергей Алексеевич уехал на работу, и Надя вдруг успокоилась. Ну что, что может рассказать Гога ее мужу? Что она была любовницей Кудряшова? Да она рассмеется в ответ на эти слова, и тогда мы еще поглядим, кому поверит муж: горячо любимой жене или случайному командированному…

— А ведь и правда! — рассмеялся Гога, когда она выпалила эти доводы ему по телефону. — Ты умна, как никогда ранее. Только как по-твоему, откуда я знаю, что у тебя на левой грудке — родимое пятнышко? Подглядел на пляже? Допустим. А откуда мне известно, как ты щуришься в самые горячие мгновения, как закидываешь руки и какие именно слова шепчешь при этом?

— Подлец! — крикнула она, швырнув трубку на рычаг.

И заплакала горько и бессильно. Здесь уж она никак не могла рассмеяться, сказать: «Он лжет, Сергей!» — потому что и вправду совершенно по-особому щурилась, забрасывала руки за голову, теребя собственные волосы, и всегда шептала одни и те же слова, которые так нравились Сергею Алексеевичу. А телефон не умолкал, она знала, что это — Гога, не брала трубку и отчаянно рыдала. Потом кое-как успокоилась и взяла трубку.

— Еще раз бросишь трубку — позвоню супругу. Все поняла?

Она молчала, осторожно, чтобы он не услышал, всхлипывая и утирая слезы.

— Не реви, — вдруг мягко сказал он. — Я совсем не хочу причинять тебе неприятностей, поверь. Мне нужно только, чтобы твой муж отдал приказ о запуске опытной серии, вот и все. И я исчезну навсегда.

— Но как, как я могу уговорить его, как? — почти со стоном выкрикнула она.

— Ой, Надежда, не надо строить из себя замужнюю скромницу. У тебя высшее женское образование, а обаяния — на триста тридцать обыкновенных баб. Включай все свое искусство, доводи старика до кондиции, а в награду требуй приказ.

— Но это же невозможно, Гога, это невозможно! Откуда мне известно о ваших делах, почему я вдруг прошу о приказе? Нет, нет, это невозможно!

— Ночь на размышление, — сухо сказал он, помолчав. — Завтра в двенадцать жду в гостинице.

— Это немыслимо. Меня знают…

— Ровно в двенадцать ты стучишь в мой номер. Мы разрабатываем диспозицию, за ночь ты добиваешься результата, а послезавтра я отчаливаю. Привет.

Всю ночь она не закрывала глаз, впервые с облегчением подумав, что педантизм мужа, порою так огорчавший ее, обернулся вдруг доброй стороной: Сергей Алексеевич свято соблюдал режим и наведывался в спальню жены через два дня на третий. И все же Надя боялась зажечь свет или громко вздохнуть, чтобы ненароком не привлечь внимания храпевшего в соседней комнате мужа. Глядела в черный потолок, тихо вытирала слезы, беззвучно вздыхала и все время думала, что же, в сущности, произошло и почему именно ей выпало рассчитываться за всех.

А как безоблачно начиналась жизнь! Детство на далекой заставе, где она — Надя, Наденька, Надюшенька — была единственным ребенком,

которого баловали все от матери до солдатского повара. Братья ее уже жили в интернате, а ее учили музыке, стихам и танцам стосковавшиеся по собственным детям офицерские жены: их дети тоже переселились в интернат, так как школы при заставе не было. Надя с детства боялась этого неминуемого переселения, но ей и тут повезло: отца вдруг перевели в городишко, где имелась нормальная школа. Там Надя ее и закончила, оставшись всеобщей любимицей, баловницей, красавицей и примером, поскольку умела петь, танцевать сутки напролет, двигаться, не касаясь земли, и смеяться всем своим существом одновременно. «Наша Наденька непременно станет артисткой», — единодушно утверждал чувствительный зал Дома офицеров, где она вела все концерты и вечера, пела и танцевала, читала Щипачева и Есенина и играла все заглавные роли. Вокруг с девятого класса уже роились молодые лейтенанты, но Надя, с упоением кокетничая, ясно представляла, что роль офицерской жены не для нее, что ее доля — театр, восторги публики и вся Москва у ног. И, закончив школу с золотой медалью, сломя голову помчалась на московский поезд.

То ли от природы, то ли от того, что выросла она

в замкнутом мирке, где чувствам придавалось преувеличенное значение, а мужчин всегда было заведомо больше, Надя обладала повышенной реакцией на взгляды и редкостным умением безошибочно расшифровывать их. Именно в этом заключался ее талант, именно в этом она была на семь голов выше сверстниц и, когда провалилась на третьем, решающем туре, не ударилась в рев, а уловила взгляд немолодого метра.

«Плохи твои дела, девочка, — сказал он, когда Надя дождалась его у подъезда. — Может быть, обсудим возможности за ужином?»

«Конечно!» — изо всех сил улыбнулась она.

Ночи, проведенные в чужой постели, основательно познакомили ее с чувством омерзения, но зато Надя благополучно была допущена, сдала экзамены и стала студенткой. «За все надо платить» — таков был первый постулат, выученный ею, и она платила. Но мечта сбылась, в далеком военном городке искренне радовались родные и знакомые, и все складывалось прекрасно. Только от занятия к занятию мастер все дальше и дальше отодвигал Надю, сначала давая ей второстепенные роли, потом — эпизодические, а затем твердо закрепив за нею амплуа «кушать подано». Но раньше, чем это произошло, Надя ясно

поняла, что никакая она не актриса, что природная живость и даже ее редкое женское обаяние столь же далеки от истинного таланта, сколь далек был простодушный мир военного городка от общежития на Трифоновской, где судили по гамбургскому счету. «Значит, придется платить дороже», — уже без особых переживаний решила она, но никакая плата не могла обеспечить ей места в столичном театре. В провинцию Надя ехать не пожелала, ушла на свободный диплом, пробавляясь случайными заработками на радио и телевидении, и именно в то трудное и обидное время с ослепляющей улыбкой замахала рукой Николаю Мироновичу Кудряшову.

— Девочка, — сказал он, когда она впервые переступила порог его холостяцкой квартиры. — Прежде, чем что-то произойдет, я хочу, чтобы ты усвоила две аксиомы. Первое: я никогда на тебе не женюсь, потому что на таких не женятся. И второе: если ты хоть раз предпочтешь меня кому бы то ни было, мы расстанемся сразу.

«Не женятся? — Надя только улыбнулась. — На “таких” — да, но на мне ты женишься. И женишься, и устроишь в театр, и сделаешь все, что я захочу». Для этой программы предстояло влюбить в себя Кудряшова, и она влюбила, и стала

Богиней, но дальше цветов, ужинов, подарков и поклонения дело не шло. «Ты прелестна, Богиня, но тебе нечего делать в театре, а краснеть за тебя я не хочу». Никакое кокетство, никакие безумства и нежности не могли поколебать его решения: он любил театр больше, чем ее. С трудом осознав это, Надя отплакалась и ринулась в бой за семейное благополучие. И здесь прозвучало столь же твердое «нет», и тогда она назло уступила Гоге. Там, в Суздале, но про Суздаль Кудряшов или не узнал, или сделал вид, что не узнал, но когда они с Гогой рискнули продолжить свои отношения в Москве, в семь утра Николай Миронович позвонил в дверь квартиры, которую снимал для нее. Естественно, она не открыла, все было кончено сразу и навсегда.

Это был самый страшный год в ее жизни: у нее уже не оставалось сил, чтобы начинать все сначала. Пометавшись, пошла на курсы, нигде не появлялась и через три месяца оказалась совсем в иной среде: в главке министерства, где ее никто не мог знать и где можно было придумать себе любую биографию. Она придумала, нырнула в новую жизнь, и эта новая жизнь в конце концов вознаградила ее любовью, семьей, прочным положением и полным ощущением

счастья. И вдруг появился Гога, и сейчас, лежа без сна, Надя с бессильным отчаянием думала, что страшным был не год — страшным будет день. И начинала метаться в скомканных простынях, все время помня, что нельзя зареветь в голос, застонать или просто попросить помощи у ничего не подозревавшего мужа, чей покойный храп доносился из соседней комнаты. «Но почему, почему именно Гога оказался тут? Это какая-то чушь, это неправда, этого не может быть!..» Но Надя сама же глушила свой внутренний вопль, потому что из всех знакомых Кудряшова в этом далеком от Москвы городе мог оказаться только он, Гога, Игорь Антонович. Он был единственным технарем в их компании и вечно ремонтировал, регулировал и подкрашивал «Волгу» Николая Мироновича. И возил его Богиню по комиссионкам, пока однажды не увез в Суздаль… Она-то, идиотка, была убеждена, что ушла от прошлого, а прошлое, оказывается, все время шло по пятам…

К утру она кое-как забылась, впервые не проводила мужа на работу, а проснувшись, решила идти к Наталье. В конце концов не на одних же тряпках основывается дружба: Надя очень рассчитывала если не на совет — что уж тут посоветуешь? — то хотя бы на сочувствие и, может

быть, даже помощь, если она все же решится кое-что рассказать своему Сергею Алексеевичу. И она сама напросилась к Наталье, не успев сообразить, что этим настораживает ее: неофициальный, но весьма чтимый этикет требовал, чтобы жена начальника цеха напрашивалась в гости к супруге директора завода, где подобные начальники исчислялись десятками. И Наталья сразу раскудахталась, замельтешила, кинулась варить кофе и даже достала коньяк, приберегаемый для особых гостей.

— Знаешь, Наденька, когда мой был простым сменным инженером, мы еле сводили концы с концами, а времени хватало и на концерты, и на литературу, и на гостей. Конечно, я не сравниваю, ни в коем случае не сравниваю, но вы как-то выкраиваете время, к вам ходят гости…

Из такого начала следовало, что Наталья засекла появление Игоря Антоновича и сгорает от любопытства. Но Надя не обратила внимания на это остренькое любопытство, приняла разговор буквально, ощутив в нем желание понять ее растерянность, посочувствовать, помочь, и тут же стала рассказывать, как была поражена, узнав в московском командированном свидетеля юных лет.

— У тебя с ним было что, было, да? — зачастила Наталья. — Ой, я тебя понимаю, так понимаю! И долго у вас тянулось? Это ужасно, ужасно! Он что же, в женихах ходил или вы так, по согласию? Знаешь, теперь такое — сплошь да рядом. Вот моя двоюродная сестра…

Надя почувствовала не интонацию, а взгляд. Пронзительный, игольчатый взгляд, в котором не было ничего, кроме нетерпеливого любопытства. И еще — торжества, что ли. Она была не очень-то умна, эта Наташка, и ее уже трясло от сенсации, от факта, что с этого часа она становится доверенным лицом, ближайшей подругой и наперсницей жены самого директора. От возможностей, какие обещала ей такая интимная доверительность, захватывало дух.

— Встретить бывшего мальчика в нашем с тобой положении — это кошмар. Кошмар, Наденька, я тебя понимаю, и у меня есть…

— Что? — тяжело, тупо переспросила Надежда. — Какой мальчик, какие кошмары? — Встала, пошла к дверям; уже держась за ручку, обернулась, сказала весомо: — Твое счастье, что Сергей Алексеевич не слышал твоих намеков. А если услышит?

Как ей ни было тяжело, она не имела права

ставить служебный и человеческий авторитет директора завода в зависимость от болтовни соседок. Это было недопустимо, немыслимо, и Надя благодарила судьбу, что вовремя спохватилась, заметив сухонько засверкавшие глазки, и ругала себя, что потеряла голову, чудом не выболтала то, что никто, ни одна живая душа не должна была знать. И еще поняла, что осталась одна, что во всем заводском поселке нет ни одного человека, с которым она могла бы посоветоваться, поделиться, вместе поплакать, наконец. Ледяным холодом обдало ее от этого открытия, но тут та великая богиня, имя которой она носила, шепнула: «А Ленка? Отцовская любимица, умница Ленка…» Все это пронеслось в голове, пока Надя шла через лестничную площадку. Мелькнуло разом, озарило и успокоило: Ленка! И Надя открыла дверь с истинной верой, что нашла наконец-таки якорь спасения.

И Ленка была еще дома: раскрытая сумка валялась на подзеркальнике. Надя сочла это добрым знаком и крикнула почти весело, почти как сутки назад:

— Ленок!

— Не выходит у меня из головы этот тип в кафе, — тотчас же откликнулась Ленка, появляясь

в дверях своей комнаты. — Этакий столичный пошляк, согласна? Он же буквально ползал по тебе глазами, а ты… Он что, знал тебя раньше?

— Нет, что ты, — поспешно отреклась Надя, опять ощутив ледяную волну безысходности. — Он папин знакомый из…

Она замолчала, не желая наводить Ленку на мысли о московском периоде своей жизни. Но Ленка не заметила заминки: она обличала и была чрезвычайно довольна своей принципиальной позицией.

— Гадостная какая физиономия, так бы и влепила пощечину. Таких нужно сразу ставить на место, а ты распиваешь с ним шампанское. И где? В кафе, где каждый знает папу!

— Да, да, — упавшим голосом забормотала Надя. — Ты совершенно права, я виновата, я…

— Ты извини, — мягко сказала Ленка и ткнулась лбом в плечо. — Ну, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, просто я здесь выросла, знаю, как тут обожают всяческие слухи, а мне очень дорого папино имя. Я помчалась в институт. — Она чмокнула Надю, схватила сумку. — А он все равно отвратительный тип!

Она и вправду умчалась, взвихрив покой прихожей, а Надежда рухнула на стул и разрыдалась

в голос впервые за эти проклятые сутки. «Что делать? Что делать? Что мне делать? — жалобно шептала она, перекатываясь лбом по холодному полированному подзеркальнику. — Господи, если бы я умела молиться. Что хочешь возьми, Господи, только спаси меня, спаси, спаси меня!..» Часы в большой комнате гулко пробили один раз, половину, и она сразу опомнилась. Испуганно глянула на свои электронные — подарок мужа к дню рождения. Было ровно половина двенадцатого, и Надежда, сразу забыв о слезах и молитвах, ринулась в ванную умываться и наводить красоту.

Она ворвалась в вестибюль гостиницы с разбега, со всей быстротой, на какую только была способна. Лифта внизу не оказалось, и Надя помчалась на четвертый этаж, не касаясь ступенек. И без стука распахнула дверь его номера.

— Ты непривычно пунктуальна, но прекрасна, как всегда, — улыбнулся Игорь Антонович.

Он был в рубашке без галстука и грел кипятильником воду в эмалированной кружке. На столе лежала московская коробка конфет, стояла бутылка сухого вина и два стакана. «Ждал. — Надя мгновенно оценила обстановку. — Не терпится, Гога? Ну ладненько, хоть и противно, потом

отыграемся…»

— Располагайся, я заварю чаек. Скромное угощение командированного.

«Отыграемся, — зло повторила она про себя. — Ты у меня из постели позвонишь Сергею и скажешь, что не имеешь к нему никаких претензий». Все правильно, все до отвращения банально, и хорошо, что она подсознательно предусмотрела и такой вариант. Платье само падало к ногам, стоило только «чиркнуть» молнией. Рубашек Надя никогда не носила, даже в лютые морозы; когда Гога оглянулся, она стояла посреди комнаты, подрагивая коленками, и, непривычно торопясь, расстегивала лифчик. Встретив его взгляд, улыбнулась, пытаясь воспроизвести былую завлекательную бесшабашность, но улыбка вышла гипсовой, как у манекена.

— Ну-ка, помогай, — как можно отчаяннее сказала она, а голос сфальшивил. — Или ты разучился раздевать женщин?

— До чего же ты хороша, чертовка, — невесело вздохнул Гога. — Меня тащит с такой силой, что еще секунда, и ноги сами заскользят к тебе. И если бы я решал личные проблемы… Э, да что говорить! Одевайся. Немедленно!

Отвернулся к окну, закурил, а вся его напря-

женная спина вбирала, впитывала в себя эту полураздетую женщину: даже плечи свело. Но он не оглянулся, хотя Надя медлила, не желая верить, что ее отвергли, что вся ее сила, ее всесокрушающая мощь сегодня выпалила вхолостую.

— Ладно, дай закурить, — тускло сказала она наконец.

Тогда он оглянулся: Надя сидела в кресле, закинув ногу на ногу и раскачивая носком туфли. Все на ней было в порядке, и Гога, облегченно вздохнув, сел напротив и протянул сигареты.

— Мне показалось, что ты уже не куришь.

— Бросила пять лет назад. — Она прикурила, откинулась к спинке кресла. — Чего же ты хочешь, Гога?

— Для себя ничего решительно. — Он тоже закурил и говорил неторопливо и обдуманно. — Мне очень жаль, что получилось так, но я говорю правду. Я не просто хорошо к тебе отношусь, я нежно отношусь, поверь. Но ты должна понять и помочь. Понять и помочь: я не имею права вернуться несолоно хлебавши.

Он сделал паузу, но Надя промолчала. Гога налил вина, она выпила залпом и снова схватилась за сигарету. Она уже отвыкла от дыма, голова ее кружилась, но сигарета отвлекала и делала ее

как бы независимой.

— Хочешь чаю?

— Нет. Вина.

Он снова налил, и она снова выпила залпом. Он усмехнулся:

— Мечтаешь забалдеть и отключиться?

— Мечтаю понять за что.

— Да пойми же ты, что я не хочу причинять тебе никаких неприятностей! — заорал он почти в отчаянии. — Ты никак не желаешь стать на мое место, а мне еле-еле простили грешки молодости. Да, да, что ты смотришь синими брызгами? За все приходится платить.

— И ты хочешь, чтобы я оплатила все твои грехи и удовольствия? Всю жизнь вы пользовались мной, всю мою проклятую жизнь!

Она заплакала, некрасиво всхлипывая, размазывая потекшую тушь. Гога долго смотрел на нее, брезгливо подбирая губы.

— Ты пьяна.

— Это какая-то ошибка, какая-то ерунда, я ничего не понимаю. Тебе велел это сделать Кудряшов? О, я бы нисколечко не удивилась, если бы ты признался…

— Он мертв.

— Что? — Она сразу перестала всхлипывать.

— Он врезался в самосвал. «Волга» в гармошку, тело пришлось извлекать автогеном. Мне все кажется, что он убегал от тебя.

Надя больше не плакала. Сидела не шевелясь, тупо глядя в пол, на щеках подсыхала размазанная тушь.

— Когда это случилось?

— Надо читать «Советскую культуру».

— Мы выписываем «Социалистическую индустрию». Впрочем, мне все равно.

— Ну, тогда пойди умойся.

— Что? — Она медленно подняла голову. — Ну а ты-то за что меня, а? Что я сделала тебе плохого?

— Ты идиотка? — закричал он. — Я все время толкую, что мне лично, мне, Гоге, ничего от тебя не нужно. Ничего, усекла? Нужно для дела, для программы, для родного НИИ, чтоб он сгорел. Обществу это нужно, выражаясь высоким стилем. Заруби это в мозгу и топай умываться.

— Значит, Кудряшов разбился. — Надя вздохнула. — А знаешь, мне не жалко. Да, не жалко! Он вдосталь попользовался мной, но так и не предложил выйти замуж. «На таких не женятся»! Теперь он в могиле, а я счастлива. Я впервые люблю, слышишь, ты, подонок? Впервые!

— Врешь. — Он улыбнулся. — Ты любишь дав-

но, любишь со дня рождения — саму себя. Свое обаяние, свое тело, свой темперамент и, главное, свои удовольствия. Ты — безгрешная грешница, Надежда, недаром покойный Кудряшов называл тебя Богиней. Строго говоря, ты не изменяла ему со мной, хотя он нас и застукал. И теперь ты толкуешь о любви? Окстись, ты просто неспособна существовать без трех любовников одновременно…

Стакан с остатками вина ударил в лицо, острый осколок врезался в щеку. Гога схватил полотенце, бросился в ванную.

— Психопатка! — кричал он, перекрывая шум воды. — Сходи к дежурной и приволоки лейкопластырь!

— Обойдешься.

Швырнув стакан, она вдруг успокоилась. Не пытаясь понять, почему пришло успокоение, а просто с огромным облегчением ощущая его, достала из сумочки зеркальце и начала наводить красоту. И руки ни разу не вздрогнули, когда она привычно подкрашивала ресницы.

Вскоре вернулся Гога. Рубашка была в бурых пятнах — то ли от вина, то ли от крови. На щеке под глазом — глубокий порез. Он все время прикладывал к нему мокрое полотенце.

— Ты рассадила мне щеку.

— Бедненький. — Надя кончиком языка тронула свежеподкрашенные губы. — Возвращайся к жене, она зализет твои раны. Кстати, можешь сообщить ей, как я смеюсь в постели и где у меня родинки.

— Я сообщу об этом твоему мужу.

— Сделай милость, не смеши. Ты проиграл, Гога, я уже все ему рассказала, и он ни за что не подпишет теперь твои паршивые бумажки. И твое родное НИИ вместо премии получит хорошую выволочку от министерства. Уж это я тебе устрою.

— Ты врешь, Надежда, — с ноткой беспокойства сказал он.

— Ну-ну. Блажен, кто верует.

Надя врала, но врала артистически, вдохновенно и зло, хотя ее трясло от суеверного ужаса, что этим враньем она непременно накликает беду. Но в этом ей виделся последний способ удержать Гогу.

— Ты врешь, — повторил он, испытующе глядя на нее. — Но даже если это и так, ничего не меняется. Завтра в одиннадцать сорок я приглашен к твоему супругу на прощальную беседу. Если он не вручит мне приказа о запуске нашей телеги в

производство, я потрачу все драгоценные минуты на восторженный рассказ о его прелестной жене. А сейчас уходи. Уходи, если не хочешь скандала в гостинице.

Надя молча пошла к дверям, из последних сил стараясь идти легко, хотя коленки у нее подгибались.

— У тебя есть шанс, — сказал он в спину. — Повторяю: включай все свое искусство и вытяни из старика приказ. Ты можешь, если захочешь. Если очень захочешь.

Остаток дня тащился, как в дурном сне. Она не пошла домой к перерыву, не кормила мужа обедом, а бесцельно шаталась по улицам, где с нею здоровался каждый третий, что-то отвечая, бездумно улыбаясь, заходя в магазины без всякой цели. В голове было отчаянно пусто; она ни о чем не могла думать, и ей все время хотелось курить: казалось, что стоит взять в руки сигарету, как голова обретет ясность. Но покупать сигареты в заводском поселке, где ее знали как некурящую образцовую супругу, было почти немыслимо. «Почти» — Надя все время учитывала это допущение, разыскивая табачный киоск подальше от людных кварталов. Но найти ничего не удалось, и она пошла в новый кинотеатр, где работал

буфет. Дождавшись звонка на сеанс, воровато купила три пачки тугих безвкусных сигарет и целый час курила в дамском туалете. Накурившись до тошноты, успокоилась, внушив себе, что Гога просто запугивает, что хочет держать ее на крючке для каких-то завтрашних целей, что не посмеет он рисковать только-только завязанными отношениями и с заводом, и с его директором, от которого здесь зависело все. Нет, Гога не дурак; Гога — подлец, но свои интересы блюсти будет всегда, а потому и не скажет. Ничего не скажет, не посмеет, не пойдет дальше намеков, до разгадывания которых никогда не унизится ее Сергей Алексеевич. «Нет, этого не может быть, не может!» — почти кричала Надя. А выйдя на улицу, поняла вдруг, что ей не просто не хочется — ей невозможно встречаться сегодня с мужем. И даже остановилась, не зная, как быть, но вовремя сообразила, что сегодня четверг, а по четвергам — бюро, на котором обязан присутствовать директор, и что вернется он поэтому поздно. И придя домой — слава богу, Ленка опять слушала диски у подружки! — поспешно нырнула в постель и притворилась спящей. Этого не случалось прежде никогда, ни разу не случалось, и Надя очень боялась, что муж удивится, станет допы-

тываться, не заболела ли, но Сергей Алексеевич лишь приоткрыл дверь, поглядел на нее и тихо прошел в свою комнату. И Надя опять беззвучно заплакала, давясь слезами и задыхаясь от сжимавшего сердце чувства обреченности. Ведь еще ничего не произошло, ничего решительно, а ее прекрасная семейная жизнь так переменилась, что впору было заподозрить любовные шашни. Чтобы отвлечься, забыться, успокоиться, она стала вспоминать, как удивительно нежно и дружно жили они, пока в один проклятый день на пороге не возник Игорь Антонович, Гога, будто и впрямь был командирован не из Москвы, а из прошлого по ее душу.

Забылась она на какое-то очень короткое время, проснувшись от безумного необъяснимого страха. Села, глядя расширенными глазами в серую мглу городской подсвеченной ночи, и сразу поняла: «Скажет!» Все доложит доверчивому, чистому, беспредельно верящему ей Сергею Алексеевичу. И тогда…

— Надюша, в нашей жизни должно быть соблюдено одно непременное условие, — сказал он, как только ввел ее в свой дом. — Мы здесь — под увеличительным стеклом, на нас смотрят со всех сторон, и об этом приходится помнить

постоянно, потому что никакой тени не может быть на нашей семье.

Никакой тени, а завтра Гога с подробностями расскажет о родинках, о смехе, о привычке закидывать руки — он расскажет все. Все огни и воды и медные трубы, которые прошла она с удовольствием и талантом, и тогда та робкая сказочка, которую сочинила она для Сергея Алексеевича еще в главке, из безвинной выдумки об обманутой женщине разом превратится в доказательство ее лживости. И она рухнет с пьедестала, на который женщину возводит не труд, не талант, не слава — возводит уважение мужчины. Богиня шлепнется в грязь, из которой ей уже не выбраться никогда. «Господи, ну что делать, что делать, что делать?!»

Осторожно, боясь скрипнуть кроватью, Надя вылезла из постели, босиком прокралась в большую комнату, служившую гостиной, столовой и даже примерочной, когда приходила портниха и начинался милый женский переполох. Ах, как давно это было, как давно и было ли вообще? Ощупью открыла бар, нашарила коньяк, но бутылка оказалась закупоренной, и пришлось, давясь, глотать теплую водку. Ту самую, которую совсем недавно они с Натальей лили в тесные туфли и

хохотали до слез, как девчонки, а теперь… Надя хотела объяснить самой себе, зачем пьет среди ночи, и не смогла: вдруг показалось, что станет легче, что отпустит сердце, что придет покой и сон, а утром все разрешится само собой. Она сделала три глотка, поставила бутылку на место, закрыла бар и, продолжая судорожно глотать, пошла на кухню. Выпила воды, отдышалась, но легче не стало. Тогда достала из сумочки сигареты и спички, заперлась в ванной и закурила. «Плохо твое дело, девочка, плохо твое дело… — повторяла она. — Плохо твое дело…» Откуда эта фраза? Ах да, семнадцать лет, провал на конкурсе, ужин в ресторане, пыльная квартира, из которой, казалось, полчаса назад выехала законная жена, и потные руки на своих коленках. Вот тогда она и твердила его фразу себе самой: «Плохо твое дело, девочка». Твердила, а ее раздевали, и было до ужаса противно и мерзко, но разве могла она, звезда военного городка, «наша артистка», как ее называли, вернуться в ту жуткую гарнизонную дыру? И был только один выход, и она использовала его, и поступила, и закончила, и… Как называла ее супруга унылого начфина, мать двух тонконосых девиц, на которых не зарились даже солдаты второго года службы? «Артистка

погорелого театра»? Глупо, а так оно и вышло. И опять — рестораны, ужины и чужие постели, которые всегда кажутся липкими. И — Кудряшов. Да, он разбился. Он бежал от нее, как сказал Гога, и это правда, от нее трудно убежать. Бездарная актриса? Как бы не так! Она всю жизнь играла влюбленных по уши юных дурешек, играла искренне, с удовольствием, и ей верили, если она хотела, чтобы ей верили, ибо один талант у нее все же есть. Талант от Бога: женское обещающее обаяние. Огромной мощи обаяние, и никому еще не удавалось устоять, когда она бросала его в бой. С его помощью она всегда добивалась чего хотела, всегда… Стоп, об этом говорил Гога.

Стоп, Богиня! Надо погасить сигарету, глянуться в зеркало. Нет, нет, никакого грима, чуть-чуть духов. Холодная? И прекрасно: заплакать, прижаться, попросить, чтобы согрел. Правда, сегодня не та ночь, это нарушение режима, который неукоснительно… Но к черту все режимы!..

— Надюша?

— Мне страшно. Мне страшно, па… Сережа, родной, мне так страшно и так холодно…

По лицу текли слезы. Он растроганно целовал ее, а она, по-детски всхлипывая, копошилась, устраиваясь поудобнее, прижимаясь застывшим

телом. Полдела сделано: она — в постели, он не успел сообразить, не успел удивиться. Теперь чуть ласки: рассеянной, будто случайной, будто ненароком. Потом еще, потом — целая серия, безумства, страсть, порыв. И…

И Надя тихо плакала в ванной, так и не тронувшись с места. Она поняла, ясно, до жути отчетливо поняла, что никогда не сделает этого, что не может, не смеет опошлить свою любовь, превратить ее в игру, в ложь, в способ достижения цели хотя бы на одну ночь. Это средство не подходило: теперь Надя знала, что значит любить.

Она так и не уснула, но в то утро встала раньше обычного, долго скрывала свою тревожную бессонницу умелыми тенями, нежно — нежнее, чем всегда, — разбудила мужа, а на кухне за завтраком спросила:

— А что за машинку предлагал тебе этот, как его… Игорь Антонович, кажется?

Она спросила со всей женской безмятежностью, поскольку дело касалось сугубо мужских интересов. Сергей Алексеевич не уловил ее особого любопытства и ответил кратко:

— Халтура.

— Халтура? — Она ненатурально засмеялась. — Значит, она бывает не только в искусстве?

Знаешь, он такой противный, этот Игорь Антонович, он так не понравился нашей Ленке…

Господи, но ведь Ленки не было дома, когда приходил Гога! Надю бросило в жар, она захихикала, залопотала нечто совсем уж несообразное. Только бы он не заметил оговорки, только бы не начал расспрашивать!

— Видишь ли, Надюша, это скорее вопрос общественный, нежели личный, — я имею в виду злосчастный агрегат, который Игорь Антонович настойчиво навязывает нашему заводу. Отсутствие ответственности, стремление во что бы то ни стало сделать работу ранее намеченного срока, превратилось уже в некое социальное зло. И дело тут вовсе не в Игоре Антоновиче, дело в безнравственном отношении к труду, к жизни, ко всему нашему обществу…

Он говорил и говорил очень важные, нужные слова, а она ничего не понимала, и от этого в душе ее копилось отчаяние.

— А я? — вдруг переполненным слезами голосом спросила она. — Это для государства, для дела, для завода, а для меня — что для меня? Для меня, маленькой, никому не нужной, — что же для меня-то остается?

— Что с тобой? — обеспокоенно спросил он.

— Сделай для меня один пустяк. — Она неожиданно опустилась на колени рядом со стулом, на котором он сидел, снизу вверх глядя на него огромными тревожными глазами. — Отпусти этого Игоря Антоновича с богом, подпиши приказ. Я — дура, я твоя несчастная идиотка, но я загадала. Если ты подпишешь, я… я рожу тебе сына. Я загадала…

— Надюша, родная! — Он поднял ее с пола, прижал к себе. — Относительно ребенка — это что, у тебя есть признаки? Или так…

— Да, да, — она отчаянно врала, а потому почти кричала это «да», словно стремясь поскорее избавиться от него. — И я загадала, понимаешь? Я уже не так молода, а это — первые роды, а у тебя первая жена умерла именно от родов, и я загадала…

— Надюша! — Он счастливо смеялся, целуя ее. — Ты мое чудо, ты моя богиня…

— Нет! — Она прижала ладонь к его губам. — Не надо называть меня так. Никогда, слышишь? Это… Это дурная примета.

— Что с тобой, родная? Успокойся…

— Я прошу тебя, прошу, — как в бреду бормотала она, давясь слезами и целуя его руки. — Подпиши приказ, подпиши. Я никогда ни о чем не просила, но сейчас…

— Прекрати глупости. — Он вырвал руки, и она медленно села на пол. — Это… Это все странно. Да, странно! Производственные вопросы не решаются слезами на кухне, а протежировать халтуре, извини, аморально. Да, аморально! Закончим на этом разговор раз и навсегда. И потом, — он подозрительно посмотрел на нее — съежившуюся, жалкую, — ты, кажется, курила?

Надя вдруг начала икать. Сидела на полу возле стула, всхлипывала и икала. Сергей Алексеевич поднял ее, поцеловал.

— Ты замерзла, родная, иди в постель. Я подам чай, согреешься.

— Сережа! Сережа! — Она вцепилась в лацканы пиджака, в отчаянии затрясла его. — Я потеряю тебя, потеряю, слышишь?!

— Это все нервы. — Он улыбнулся. — Ложись, потеплее укройся, а я накапаю тебе валерьянки.

Он уложил ее, заставил выпить валерьянку, подал горячий чай. Он был заботлив, нежен и внимателен, а Надя воспринимала все так, будто это уже однажды случилось: и ее слезы, и отчаяние, и его ласковые утешения, и, главное, чувство полной безысходности. Согрелась, перестала икать и всхлипывать, но это был не покой, а усталое равнодушие, почти оцепенение. Она

не осознавала, о чем спрашивает муж, отвечала, не слыша собственного голоса, и ни о чем уже не думала.

Сергей Алексеевич уехал на завод, и тут же, как и было заведено, из своей комнаты вылетела Ленка. Тараторила, глотала горячий кофе, пританцовывая от нетерпения, — Надя и ей отвечала, не зная, что именно Ленка спрашивает и правильно ли она ей отвечает. А потом Ленка убежала в институт, Надя забылась и очнулась от резкого телефонного звонка. Решив почему-то, что это — Гога, и даже успев подумать, как он скажет: «Ну что, Надежда, хорошо я тебя купил? Извини за глупую шутку...» — она рванулась к телефону прямо из-под одеяла.

— Надежда Васильевна? Это Вера говорит. Стекла пора мыть, октябрь на дворе. Мне прийти сегодня?

— Да, да, конечно, — плохо соображая, какая Вера, какие стекла, сказала Надя. — Приходите. Я дома.

Впервые за много лет, а может быть, и вообще впервые в жизни ей ничего не хотелось. Ни умываться, ни убирать постель, ни завтракать, ни даже одеваться. Сидела в наброшенном на ночную рубашку халате перед телефоном, глядя

в пол, и курила сигарету за сигаретой. И только когда часы в большой комнате пробили десять, очнулась. Сняла трубку, набрала номер: «Господи, только бы он не ушел…»

— Слушаю.

— Гога, милый, не губи меня, — торопливо сказала она, а сердце заплясало в таком ритме, что пришлось заглатывать воздух после каждого слова. — Я только начинаю жить, понимаешь? До сих пор я не жила, я играла, что живу, а теперь — живу. Я — живая, я стала сама собой. Я люблю, я хочу родить ему ребенка, не губи меня, Гога.

— Значит, ты не говорила с супругом, — вздохнул Игорь Антонович. — Жаль, Надежда, но я — тоже живой. Я тоже стал иным, я стал нормальным советским специалистом, и я не могу не думать о родном коллективе. Такова се ля ви. Либо твоя семейная идиллия, либо общественное благо: третьего не дано.

— Гога!..

Она крикнула изо всех сил, но из трубки уже неслись короткие гудки. Надя дала отбой, тут же лихорадочно («Господи, спаси меня, Господи, спаси…») набрала номер. Трубку никто не брал, но Надежда держала ее, держала, еще во что-то веря, еще на что-то надеясь. Потом положила рядом

с аппаратом и снова закурила, а трубка продолжала монотонно гудеть. Тикали часы в большой комнате, гудела трубка, дымилась сигарета, а времени, кажется, уже не существовало. Оно словно замерло, остановилось и начало двигаться только тогда, когда в дверь позвонила Вера. Пожилая одинокая женщина, подрабатывающая недельной уборкой директорской квартиры да осенне-весенними оконными авралами. Она растерянно посмотрела на сигарету, на неприбранную квартиру и неприбранную хозяйку, но сказала по делу:

— Я с большой комнаты начну, Надежда Васильевна.

Надя молча кивнула. Сегодня не было обычного приглашения начать с чашки кофе, с разговоров, и Вера, надев рабочий халат, взяла тазик с водой, тряпки, бумагу, порошок и прошла в большую комнату, с некоторым беспокойством поглядывая на гудевшую телефонную трубку. Сноровисто развинтив створки окон, она распахнула их настежь — благо стояла ясная и теплая для октября погода, — стараясь делать все как можно тише, будто в квартире лежал тяжелобольной. Еще раз пробили часы, но хозяйка не изменила позы, и все так же настойчиво гудела телефонная трубка.

— А денек-то, денек сегодня прямо чудо! — не выдержав, прокричала сердобольная Вера. — Вы слышите, Надежда Васильевна? Я говорю, денек-то выдался, а? Недаром говорят, что бабье лето вернулось.

— Да, да, — механически отозвалась Надя; ей потребовалось прикурить, но спички кончились, и она напрасно шарила по карманам халата. — День замечательный. Замечательный.

Она вышла из транса, услышала гудки и положила трубку на рычаг. Смолкло гудение, вносящее непонятную тревогу, и Вера с облегчением вздохнула. И тут же заговорила про соседей, про девочку Оленьку, которая уже такая ласковая, что к ней — как к родной. И мальчик у них тоже хороший, вежливый и всегда здоровается. Хозяйка не отвечала, но Вера продолжала говорить, поскольку убедилась, что это помогает: ведь вывели же ее слова хозяйку из оцепенения и про телефон сразу вспомнила.

Надя воспринимала не слова, а голос. Голос живого человека, который работал в большой комнате, а сама Надя была на кухне и все еще искала спички: в семье никто не курил, а электроплита спичек не требовала. И Надежда рылась по всем ящикам и полочкам, а потом включила

плиту и прикурила от раскалившейся конфорки. И тут опять пробили часы — один раз, половину чего-то, — а Вера все говорила и говорила, и Надя вернулась в переднюю и села на прежнее место возле переполненной окурками пепельницы, которую держали для гостей.

— …ну, бывает, заиграется — ребенок ведь, понятное дело. На той неделе уж телевизор закончился, время — двенадцать без двадцати.

«Двенадцать без двадцати — одиннадцать сорок, — пронеслось в Надиной голове. — Часы пробили половину, значит… Значит, сейчас Гога входит в кабинет». Она схватила трубку, лихорадочно набрала прямой номер мужа, но тут же отключилась. «Зачем? Что я скажу ему, что? Богиня чужих постелей…» Она застонала, изо всех сил до скрипа стиснув зубы, чтобы заглушить этот стон. Потом опять набрала номер — уже не прямой, а секретарши, мобилизовав все для того, чтобы заговорить обычным приветливо-уверенным тоном счастливой жены. Занято: короткие гудки. Положила трубку, затянулась.

— Вы звоните куда? — крикнула Вера. — А я разболталась…

— Ничего, ничего! — поспешно отозвалась Надя и снова набрала номер. — Мне не мешает…

Трубку долго не брали. Наконец ответили…

— Дирекция.

— Здравствуйте, Инна Павловна, — почти обычным, почти легким тоном сказала Надя. — Что-то никак до Сергея Алексеевича не доберусь. Он очень занят?

— Да, Надежда Васильевна. Только что просил ни с кем не соединять, у него серьезный разговор с товарищем из московского НИИ. Но вас я, конечно…

— Ни в коем случае! — Кажется, она крикнула. — Пустяки, Инна Павловна.

— Я передам, что вы звонили, как только Сергей Алексеевич освободится.

Как только освободится. Как только Гога отпустит его, рассказав о родинке, о смехе, о Кудряшове. Сейчас, именно сейчас он докладывает ее жизнь во всех подробностях. «Плохо твое дело, девочка, плохо твое дело…» Ей вдруг стало нестерпимо жарко, будто в ней взорвался вулкан: тело полыхало, противно намокла тонкая ночная рубашка.

«Плохо твое дело, девочка…»

— …только воду сменю.

Вера прошла мимо с тазиком, оставив распахнутой дверь в большую комнату. Оттуда тянуло

прохладой, там летали длинные легкие шторы…

«Плохо твое дело, девочка…»

Надя шла к этому свежему, чистому миру как к спасению, протянув руки и распахнув халат: сквозняк приятно обдувал горячее тело. И шагнула в тихую и грустную прозрачность бабьего лета с подоконника шестого этажа…

— Вы абсолютно правы, абсолютно, — говорил Игорь Антонович, прощаясь с директором. — Я надеюсь, вы простите мне тот максимализм, с которым я поначалу отстаивал детище нашего института. Поразмыслив, я понял, что дитя оказалось мертворожденным, и приношу вам свои извинения. Мы в корне пересмотрим…

Директор слушал московского гостя с большим облегчением: назревавший конфликт с НИИ рассасывался сам собой. И этот симпатичный, поначалу столь рьяно защищавший агрегат молодой инженер, видимо, понял, что ради дела, ради общего всегда следует поступаться личным. Нет, с таким представителем завод сработается: он умеет искать общий язык.

— Я доложу позицию завода, но — маленькая просьба, — продолжал Игорь Антонович. — Я — человек новый, неопытный: поддержите меня официальным письмом на имя моего руковод-

ства. Знаете, жизнь есть жизнь.

— Непременно, — заверил Сергей Алексеевич, пожимая руку гостю. — Сегодня же отдам распоряжение об этом.

«Жизнь есть жизнь, — думал Гога, не переставая обворожительно улыбаться. — И Надежда будет мне до гроба благодарна за мое молчание: когда-нибудь и это пригодится». И сказал:

— Благодарю. Кланяйтесь вашей очаровательной…

Распахнулась дверь, и вошла секретарша. Лицо ее было белым, несмотря на умелую косметику, и держалась она как-то неестественно прямо.

— Вас ждет машина, Сергей Алексеевич, — напряженным голосом сказала она.

— Меня? — удивился директор. — Куда машина? Зачем?

— Вас ждет машина у подъезда, — повторила она. — Шофер все знает. Умоляю, не задерживайтесь.

И посторонилась, пропуская Сергея Алексеевича.

Рассказы

Не имей сто рублей…

По окончании училища Галю Анисимову распределили в совхоз «Светлый путь». Район был глухоманным, и никто в него особо не рвался. Если сказать честно, то из города вообще никто не хотел уезжать: три девочки вышли замуж, еще трое куда-то пристроились, а одна так совсем поступила не по-комсомольски, взявшись торговать квасом. И как раз все они были из колхозов (те, кто устроился), а Галя — из города, но именно Галя проявила сознательность. Это ведь очень важно, что человек имеет, а чего — не имеет; так вот, Галя имела жилплощадь, комсомольский билет и две общие тетради: в одну она переписывала любимые стихи, в другую — важные мысли, и первой была записана такая: «ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО». И поэтому Галя, проплакав ночь с мамой, утром получила документы и направление воспитательницей младших классов. Так ей и написали, потому что кончила она училище дошкольного воспитания, но детских садов в совхозе не было, а учителей не хватало, вот ей и написали в путевке такое хитрое назначение, что вроде она воспитатель, но вроде и учитель, и это

Гале очень понравилось. И отцу понравилось:

— Молодец, дочка, так держать! Назад не вертанешь?

— Ни за что!

— Ну, давай на полный ход.

От станции до центральной усадьбы совхоза ходил автобус, и Галя отметила интересную деталь, что расписание его было согласовано с прибытием поездов. Такая забота о приезжающих ей очень понравилась, всякие страхи рассеялись, и Галя прибыла к месту первой в своей жизни работы в состоянии улыбчивом. И сразу пошла к самому директору, потому что считала, что он тут всему голова. Перед директорским кабинетом сидело много народа, но Галя показала чемодан, и ее пропустили без очереди.

— Здравствуйте. Я — Анисимова.

Директор оказался на директора не похожим: был худ и очкаст. Молча выслушал, покрутил головой:

— Неужто добровольно?

— Я — комсомолка, — с достоинством сказала она.

— Ну, дуй тогда прямиком в школу, там сейчас энтузиазм требуется.

В школе шел ремонт своими силами: белили,

красили, клеили, чистили, мыли, и всем руководила директриса Антонина Кондратьевна. Кроме нее в учительской бригаде трудились историчка Анна Петровна, литераторша Прасковья Ивановна, математичка Зоя Леонтьевна и физкультурница Алла. Галю встретили как родную: расспросили, накормили, устроили в комнате вместе с Аллой в пятиэтажном доме и дали день на ознакомление. Галя оттащила вещи, распаковалась и пошла погулять по поселку. А в центре оказался магазин, в котором без всякой очереди, толкотни и знакомств продавались замечательные и сравнительно не очень дорогие сапожки. И Галя так была потрясена первым днем, что вечером написала маме восторженное письмо: *«Мамочка, это прямо праздник!»*

— Мамочке, значит, строчишь, — отметила Алла, заглянув через плечо. — А парня нет у тебя?

— Никого у меня нет, — с вызовом сказала Галя, но слегка покраснела.

— Значит, одна будешь по вечерам гулять, — вздохнула Алла. — По средам и пятницам с семи до одиннадцати.

— А почему такая точность?

— А потому, что ко мне исключительно точно приходит один человек.

— Ну и пусть приходит, а я в уголке почитаю.

— А потому, что он — женатый, — тем же очень противным тоном продолжала Алла, будто и не слышала о Галином намерении скромно почитать в уголке.

— Как ты можешь? — тихо спросила Галя. — Нет, как ты можешь, Алла? Ты же подрываешь семью, подрываешь нашу мораль, и вообще… И вообще, где твое человеческое и женское достоинство?

— Ты психичка? И откуда ты взялась такая? Да холостые либо в армии, либо на стройках, а кто тут задержался, тот давно уж себе присмотрел кого-либо. А мне двадцать шесть, поняла? Вот и будешь гулять по средам и пятницам!

Выпалив, Алла вдруг разревелась, хотя ростом и тренированной фигурой совсем не подходила для этого. Ревела громко и горько, и жалостливая Галя тут же кинулась поить ее валерьянкой, уверяя, что непременно будет гулять по средам и пятницам. Потом и сама заплакала, и они славно поревели в четыре глаза и подружились.

— Знаешь, Аллочка, мне мама всегда говорила: «Не имей, Галя, сто рублей, а имей сто друзей». Вот съедутся учителя, будем у нас собираться, проводить диспуты, обсуждать книги любимых

авторов.

— Директорша тебе пообсуждает, — усмехнулась Алла. — Знаешь, как ее в совхозе зовут? Царь-Кондратьевна. Как скажет, так и будет, и никаких тебе диспутов.

На другое утро они вместе побежали в школу, и Галя сразу включилась в работу, с некоторой опаской поглядывая на «царя». Но Антонина Кондратьевна не просто всем указывала да приказывала, а сама бралась за самую тяжелую работу, первой приходила и последней уходила, и все ее слушались исключительно из уважения. Конечно же Алла сгущала краски, никакая Кондратьевна не царь, а буквально главная рабочая лошадь. Это Галя поняла быстро, перестала бояться и даже начала петь. Она очень любила комсомольские песни, и голос у нее был как будто специально создан для таких песен. Да и сама Алла, между прочим, ни капельки «царя» не боялась, а приставала больше всех, требуя денег на спортинвентарь.

— Ну не дает совхоз, Алла, не дает, — вздыхала Антонина Кондратьевна. — Вот уберутся…

— А вы потребуйте, — наседала Алла. — Стукните кулаком по столу, покричите на директора.

— Ну ладно, ну потом, ну докрасим…

Потом наступила среда, и Алла выставила Галю ровнехонько в половине седьмого. Вечер был теплым, Галя немного погуляла, а когда стемнело, пошла в кино. Смотрела что-то про разведчиков, фильм кончился в двенадцатом часу, и она побежала домой. Алла лежала в постели, глядела в потолок и улыбалась.

— Уже спишь? — спросила Галя.

— Еще сплю.

— Как так — еще? Он… Ну, то есть… Не пришел, значит?

— Нет, ты все-таки психичка, — рассмеялась Алла. — Потому и сплю, что пришел.

Галя перестала расспрашивать и стала краснеть, потому что кое-что сообразила. Для нее любовь еще упрямо ассоциировалась со вздохами на скамейке, поскольку в этом важном вопросе не имелось решительно никакого опыта. Она быстренько разделась, юркнула под одеяло, сказала: «Спокойной ночи!» — отвернулась к стенке и долго еще краснела.

— Спокойной ночи, малыши! — громко сказала Алла, когда Галя еще продолжала краснеть, но уже начала засыпать. — Ох, и посплю же я сегодня!

Она и вправду спала как убитая, а Галя вздыха-

ла, ворочалась и думала. И чем больше думала, тем больше убеждалась, что обязана вмешаться. Что ее соседка по комнате, товарищ по комсомолу и работе в школе обманывает неизвестную женщину, обрекая ее на горе, а семью на распад. Но с Аллой говорить было бесполезно (Галя с трудом, но допускала, что физкультурница влюбилась), и, движимая благородным беспокойством, Галя решила познакомиться с «ним» и спокойно, по-товарищески все ему объяснить, что это нехорошо и что пусть уж он лучше все откровенно расскажет жене и разведется, хотя развод — явление исключительное. Ну и еще обязательно про честь и достоинство женщины, имеющей абсолютно равные права. В пятницу Алла опять выставила ее, но Галя на сей раз в кино не пошла, а, нагулявшись, стала кружить возле дома и действительно около одиннадцати заметила мужчину, вышмыгнувшего из их подъезда. Но она не рассчитала, оказалась сзади, а он шагал широко, и настичь его не удалось. Но разведка прошла удачно, и Галя ждала следующей среды со все возрастающим охотничьим азартом.

А жизнь шла своим чередом. Ремонтировали, белили, красили, уставали, ворчали, но — делали, и, как всегда, неугомонная Царь-Кондратьев-

на делала больше всех, ворочала больше всех, уставала больше всех, но никогда ни на что не жаловалась. И Галя в нее непременно бы влюбилась, если бы не эта история с разрушением семьи. Сначала следовало навести порядок, и это Галя ощущала как свой личный долг. И в очередную среду, промокнув под дождем и продрогнув под ветром, перехватила подлеца-двоелюба, ринулась навстречу да так с открытым ртом и окаменела. А он обошел ее и поспешно затрусил дальше, пригнувшись и подняв воротник. А Галя со всех ног бросилась в дом. Влетела в комнату, где опять тихо и расслабленно блаженствовала в теплой постели Алла, и выпалила:

— Да он же… Он же старый! Ему же лет сорок!

— Он — мужчина, — странным тоном сказала Алла и так потянулась всем своим физкультурным телом, что Галю сразу же бросило в маков цвет.

Ей стало так стыдно и от слова «мужчина», и от того, как потянулась тугая физкультурница, что она разревелась. Ревела в голос, всхлипывала и кричала:

— Стыдно, стыдно! Да у него дочка, наверно, старше меня! Как ты можешь, где твоя девичья гордость, где твое женское достоинство! Нет, или

ты немедленно порвешь с этим ужасным стариком, или я пойду к его жене. Или… или напишу в «Комсомолку»!

— Или получишь, — сказала Алла. — Спать, зануда!

И Галя тотчас же легла в постель, давясь слезами и тихонечко всхлипывая, потому что испугалась. То ли глаза у Аллы сверкнули, то ли кулак она сжала, то ли голос был обещающим, а только Галя затихла, как мышка. Долго жалобно вздыхала, думала, как же ей теперь бороться, а потом уснула. А слезы катились по спящему лицу.

Проснувшись, она сразу поняла, что с этого дня началась война: Алла ушла на работу одна. Огорченная Галя выпила чаю и побежала в школу, но в почтовом ящике обнаружила перевод. И сразу заулыбалась, подумав, какая у нее заботливая мама и как это она умудрилась изыскать эти сто рублей.

— По двадцать пять выдам, — сонно сказала девушка на почте. — Все равно других нет.

— Конечно, конечно! — обрадовалась Галя.

Ей очень нравились четвертные, потому что она никогда не держала их в руках. Впрочем, полусотенные и сотенные она тоже не держала, но считала, что все следует познавать постепен-

но. И, получив четыре двадцатипятирублевки, старательно уложила их в маленький кармашек сумки и даже застегнула кармашек на булавку. И так волновалась, что забыла листок почтового перевода в окошке почты. А там мама сообщала, что очень за нее рада и что посылает деньги на сапожки, которых у Гали никогда в жизни еще не было.

В школе все работали, но объяснять ничего не пришлось, потому что не явилась сама Антонина Кондратьевна. Галя швырнула сумку, надела рабочий халатик и начала помогать. А вскоре пришла и сама Царь-Кондратьевна и с порога закричала:

— Не так, не так, мыть сперва надо! Господи, да подождите, я покажу!

Забежала в комнату, переоделась, схватилась работать — только поспевай. И все схватились: Галю три раза к питьевому бачку за водой посылали. Все исправили, заново отмыли, а пока сохло, сошлись в чистой комнате передохнуть.

— И как это я про купорос забыла, — сокрушалась историчка.

— Хорошо, я вовремя поспела, — улыбнулась директриса. — Кручусь по кабинетам, а сердце не на месте. Ну да ладно, главное — выдали нам

обещанное. Покупай, Алла, свои футболы.

Полезла в свою огромную сумку и — замерла. И улыбка вдруг с лица сошла, руки судорожно закопошились, все в сумке переворачивая. Потом Антонина Кондратьевна руки вытащила, оглядела всех суровым взглядом и сказала:

— Анну Петровну, как профорга, прошу остаться. Остальным выйти.

— А что случилось? — спросила Алла, которой только что пообещали долгожданные футболы.

— Я сказала, выйти! Буду вызывать, когда сочту нужным.

Все, толкаясь, вышли, и Галя подумала, что никогда еще не видела директрису такой сердитой. Алла шепталась с математичкой и литераторшей. Галю в разговор не включали, она выбралась во двор и села на скамейку. Ветра не было, солнышко грело вовсю: Галя сладко жмурилась и подставляла ноги, чтоб загорели. А потом Алла крикнула, что велено; Галя вошла вместе со всеми, но была разморенная и очень ласковая, а тут сразу спросили, сколько у нее при себе денег. Она растерялась, забыла про перевод и сказала:

— У меня с собой семнадцать рублей до получки.

Это она успела подумать, что, может, кто-ни-

будь остро нуждается, хотела по-товарищески помочь, но предупредила, что «до получки».

— Это твоя сумка? — спросила суровая Царь-Кондратьевна. — Вытряси из нее все на стол.

Галя послушно раскрыла сумочку, перевернула ее и встряхнула. И первыми вылетели сто рублей четырьмя двадцатипятирублевками. Галя очень удивилась: она хорошо помнила, что положила деньги в маленький кармашек и застегнула на булавку. И сказала:

— А почему они вывалились? Ведь я их спрятала.

— Ах, она спрятала! — громко объявила Анна Петровна. — Прошу всех запомнить: она созналась, что прятала.

— Вот твои деньги, Алла, — вздохнула директриса. — На футболы и баскетболы.

И брезгливо, двумя пальцами взяла четвертные и протянула их Алле. А потом повернулась к Гале всем телом и молча стала на нее глядеть. Остальные тоже на нее глядели, и Галя, еще ничего не успев сообразить, покраснела и заплакала.

— Еще стыд есть, — вздохнула литераторша.

— Ну, Анисимова, — сказала Царь-Кондратьевна. — Что будем делать, Анисимова?

— Это мои деньги, — размазывая слезы, сказала

Галя. — Мне мама прислала.

— Врет, — сказала Алла. — Похвасталась бы, если бы прислали. Или ты такая богачка, что для тебя сто рублей — тьфу, да? А еще морали мне читала!

— Эти сто рублей я сегодня получила в совхозной кассе, — с похоронной торжественностью сказала Антонина Кондратьевна. — У меня есть свидетель — кассир, который выдал мне четыре купюры. Вот эти самые. А у тебя есть свидетели, Анисимова?

— Мама, — начала Галя, со страху забыв про сонную девчонку на почте, про перевод и собственную расписку на нем. — Мама мне…

— Значит, ты — воровка, — убежденно сказала историчка Анна Петровна. — Вот, товарищи, какое пополнение получил наш коллектив, полюбуйтесь.

— Нет! — отчаянно закричала Галя. — Нет же, нет, нет!..

— Стыдится, — вздохнула литераторша Прасковья Ивановна. — Не все еще потеряно.

— Ну в этом милиция лучше нас разберется, — сказала директриса. — Алла, сходи за участковым.

— Нет! Я умоляю! Я прошу, прошу, прошу! —

Галя упала на колени, захлебываясь слезами. — Прошу!..

Интуитивно она чувствовала, что утверждать, будто это ее деньги, сейчас не только бессмысленно, но и опасно: все были твердо убеждены, что она украла эту несчастную сотню. Любое ее упорство еще больше обозлило бы их, и тогда они могли натворить ужасные вещи: потребовать, чтобы ее арестовали, уволили из школы, исключили бы из комсомола, с позором отдали бы под суд. И она только просила и плакала, плакала и просила, и они добрели на глазах.

— Нет, не все еще потеряно.

— Да, она очень искренна.

— Что вы хотите — девчонка. Взяла по глупости, как ребенок игрушку.

— Страдает.

— Можно взять на поруки. Как вы считаете?

— Тишина! — Антонина Кондратьевна постучала по столу. — Выбирай, Анисимова, какой суд тебя устраивает: народный или наш, товарищеский.

— Ва-ваш, — захлебываясь в слезах, проговорила Галя.

— Как, товарищи, поступим? — обратилась к педагогам директриса. — Перед нами — факт

хищения общественных денег, однако признание было добровольным.

— Учесть, — сказала математичка Зоя Леонтьевна.

— Простить, — вздохнула литераторша Прасковья Ивановна.

— Наказать, чтоб запомнила, — предложила историчка Анна Петровна.

— Алла, выведи подсудимую в коридор, — распорядилась Царь-Кондратьевна.

Дрожащая Галя и тихо торжествующая Алла вышли. Алла закрыла дверь комнаты, где совещались старшие, и яростно потрясла перед покрасневшим Галиным носом очень крепким кулачком.

— У, зануда! Моя бы воля — сдала бы в милицию, и пусть она сажает в тюрьму.

— Не надо, — всхлипывала преступница. — Что угодно, только не в милицию.

Совещание закончилось быстро, поскольку не возникло ни прений, ни сомнений. Антонина Кондратьевна велела войти и запереть дверь на крючок. Галя, робко всхлипывая, осталась у порога, глядя, как математичка и историчка деловито очищают длинный канцелярский стол. Когда все было готово, директриса коротко пояснила,

сколь безнравственно воровство, а в заключение сказала:

— По закону тебя следовало бы направить в исправительную колонию. Однако учитывая твое прилежание, молодость и, главное, то, что ты сразу же созналась в преступлении, мы сочли возможным ограничиться домашним наказанием. Ты согласна на домашнее наказание, Анисимова?

— С-согласна…

— Тогда ложись на стол и подними халат. Каждая нанесет тебе десять ударов деревянной линейкой.

— Плашмя, — уточнила историчка. — Это символическое наказание.

А потом все пошли работать, и работали очень дружно, а под конец даже запели, и Галя несмело подпевала. Все оказалось сразу же забытым, и хотя Гале до слез было жалко мамины сто рублей, она считала, что поступила правильно. «Ну что же делать, раз так вышло, — думала она, старательно помогая всем, кто просил и кто не просил. — Зато меня все теперь жалеют, а потом и полюбят. А гордячек никогда не любят ни в одном коллективе. И все уже кончилось, все страхи позади…»

Страхи и вправду были позади, но все кончилось совсем не так, как представлялось Гале, и об истинном конце знала одна Антонина Кондратьевна. Вечером того же дня, снимая перед сном увесистые потайные доспехи, в глубокой чаше лифа она обнаружила промокшие от пота сто рублей. Четыре купюры по двадцать пять.

— Господи, когда же это я их туда засунула? — обалдело сказала она, рыхло опускаясь на заскрипевшую кровать.

— Ты меня? — крикнул из другой комнаты муж.

— Нет, нет, это я так!

Антонина Кондратьевна не спала до рассвета. Вздыхала, ворочалась, мешая спать мужу. Ее глодала одна мысль: когда же она сунула эти несчастные деньги в свой объемистый бюстгальтер? Это представлялось самым главным: казалось, что стоит вспомнить, когда же она, аккуратно сложив пополам, заправляла купюры за вырез платья, как все остальное осветится каким-то особым светом. Но она так и не смогла ничего припомнить. Ну, решительно ничего, вот кошмар!

К утру она кое-как успокоилась и поняла, что ни одна живая душа не должна знать об этом де-

ле: авторитет директора школы диктовал лишь одно решение. И как только она приняла его, так тут же подумала, что соврет мужу насчет премии и купит лично себе люстру с блестящими звонкими подвесками.

Галя имела все основания считать себя прозорливой, ибо сама директриса, сама Царь-Кондратьевна очень ее полюбила. Строго-настрого запретила говорить о товарищеском суде («Кто проболтается, выгоню! Ты слышала, Алла?»), поддерживала советами, опекала и угощала сладеньким и даже один раз пригласила к себе отметить приобретение очень красивой люстры. А когда начался учебный год, помогла составить план занятий и лично присутствовала на ее первом уроке.

Только вот сапожек Галя так и не купила и зиму пробегала в туфлях. До школы еще ничего, а по средам и пятницам, прямо скажем, трудновато. Надо большую выдержку иметь, силу воли и характер. И Галя очень гордилась собой.

«Холодно, холодно...»

Издалека донесся глухой натужный стон. Он рос, выравнивался, наполнялся мощью, постепенно перерождаясь в строгий, выверенный рев сотен лошадиных сил. Тяжко задрожала земля, с придорожных елей посыпались иглы, смолкли птицы и звери, и из тумана показалась машина. Она не рвалась вперед, пожирая километры, не вздыхала, похрустывая от перегрузки, — она надвигалась солидно и неотвратимо, точно было явлением стихии, а не результатом человеческого труда. Тупое широкое рыло равнодушно взирало на мир зарешеченными глазницами фар, кабина напоминала кафе, а за нею вырисовывалось огромное сооружение без окон и продухов, зашитое в алюминий и выкрашенное сверкающей серебристой краской.

Это был всего-навсего гигантский холодильник, а как-то не верилось, что такое чудовище может быть предназначено для мирной перевозки продуктов. Скорее можно было предположить, что это — передвижная бойня, цех по убийству скота, что в него не грузят замороженные туши, а сами туши — еще живые, теплые, еще умеющие

страдать и бояться смерти — покорно идут в оцинкованное нутро, едва переступая дрожащими от ужаса ногами…

Рефрижератор показался из плотного мокрого тумана хмурым октябрьским вечером на пустынном шоссе. Машина двигалась неспешно, держась ближе к осевой линии, но сразу притерлась к правой обочине, как только одинокий пешеход неуверенно поднял руку. Это был солдат-первогодок в выгоревшем за лето мятом мундире. На обветренном лице кое-где и кое-как рос белый пушок, светлые глаза смотрели сквозь толстые очки с юношеской готовностью.

— Защитникам отечества! — весело приветствовал солдата шофер. — Далеко собрался?

— До Михнева не подвезете?

— Садись.

Солдат живо взобрался на высокую подножку. Глянул на водителя, улыбнулся виновато:

— Знаете, у меня денег нет.

— Обижаешь. — Хлопнула дверца, заурчал, наращивая обороты, мотор. — Я так считаю, что дорога вообще должна быть бесплатной. А я еще и по соседу стосковался: напарника моего аппендицит прихватил. Ну, сняли с рейса в больницу, вот шесть сотен кеме один и пилю. С непривычки

петь начал, чтоб не заснуть. Напарник у меня — мировой мужик, мы с ним на этом крокодиле, считай, пол-Европы изъездили. А знаешь, где человека легче всего проверить? За кордоном, усек? Ежели он — дерьмо, так там сразу себя проявит. Жлобиться станет, пенензы считать, на спичках экономить — я таких не люблю. Надо все в меру, так, что ли? И напарник мой в этом плане в полном порядке. А в рейсе, я тебе прямо скажу, хорошо, когда справа от тебя стоящий мужик сидит: мало ли, что может случиться. Усек, солдат?

— Да, да, конечно. Вы правы.

Шофер был приветлив и добродушно словоохотлив; солдат поддакивал, но слушал вполуха. Он осторожно, искоса, но очень внимательно разглядывал водителя, и водитель нравился ему: сильный, уверенный в себе бывалый человек с кажущейся небрежностью вел тяжелую машину, и она покорно подчинялась каждому его движению. Юноша умилялся сноровке мастера, не подозревая, что сам он вызвал в мастере как раз обратные чувства. Шоферу не понравилось в солдате все: и толстые стекла очков, и беспомощные близорукие глаза, и мятый мундир, и сутуловатая, совсем не военная фигура. «Защитничек, — презрительно отметил он про себя. — Маменькин

сынок, сразу видать». Но спросил вполне благожелательно:

— Мама, поди, тоже в очках?

— В очках, — почему-то обрадовался солдат. — Она библиотекой заведует.

— А папа?

— Не знаю, — суховато сказал пассажир. — Он бросил нас. Давно, я его и не помню.

— Да, поездил я по Европам, поездил, — начал вдруг шофер, неуклюже пытаясь сгладить возникшую неловкость. — Сперва-то я на маршруте Варшава — Москва работал, а сейчас на длинный, на Афины — Стокгольм, перешел. Маршрут правильный: дороги отличные — раз, стран побольше — два. У меня в Афинах приятель, в Стокгольме приятель: нормально живут, добротно. Я им — сувенирчик, они мне — сувенирчик. Юрген и Христо. Хорошие ребята, с пониманием, сами — шоферы-дальнорейсовики: сутки дома, семь — в пути. Да. Пятый год на сухомятке, а брюхо еще держится. У всех моих корешей язвы — ну вповалку! — а у меня — тьфу, тьфу! У меня докторишко знакомый, точнее даже — родственник. Ну, родня родней, а сувенирчик сувенирчиком, точно? Все-таки загранрейсы — это возможности. Вот он меня и научил: первое, говорит, режим,

второе — термос. Да не с чаем, там, не с кофеем: с бульончиком, усек? И я — в полном порядке, и он — в полном порядке: сигареты «Кент» не переводятся. Да, режим — это главное дело… Во, как раз наше время. Ты как, солдат, насчет перекусона? Солдат спит — служба идет, солдат ест — служба бежит, так, что ли? У меня и кофе найдется, не только бульон.

— Спасибо, я сыт.

— Ладно, помалкивай, дорога дружбой держится. А с солдатом куском не поделиться — это, брат, не по-нашенски, не по-рабочему.

Говоря без умолку, шофер плавно причалил к обочине. Вылез, обошел машину, привычно пнул ногой в скаты, проверил пломбы на воротах холодильной камеры. Солдат терпеливо ждал в машине.

— У меня тоже вроде как служба, — сказал водитель, взбираясь на место. — Я ведь не только рулило, я еще и охранник. Немного, правда, в этот рейс мяса, но и за ним надо приглядывать, верно, солдат?

Солдат издал нечто среднее между смешком и покашливанием. Он был застенчив, предпочитал помалкивать и всегда соглашался.

— Сейчас свет включим, терпеть не могу в тем-

ноте жевать. Вроде как сам от себя тайком.

Зажглась лампочка, и случайные попутчики смогли впервые как следует рассмотреть друг друга. Солдат оказался совсем неказистым воином: худым, длинношеим, узкоплечим и чересчур уж тихим. А добродушно-болтливый шофер выглядел довольным жизнью плотным здоровяком, любившим, вероятно, вкусно поесть, сладко поспать и уютно поковыряться в какой-нибудь несложной домашней технике. И если в солдате чувствовалось неумение быстро завязывать знакомства, то водитель, наоборот, был чрезвычайно общителен. Они были противоположностью, но противоположностью не дополняющей друг друга, а как бы вычитающей что-то. И поэтому разговор не вязался, несмотря на общую еду.

— Ешь, ешь, нажимай, — скорее уже по привычке угощал водитель. — Солдату всегда жрать охота, по себе знаю.

— Мне, знаете, хватает в армии.

— Хватает? — Шофер покосился. — В институт, что ли, срезался?

— Я вообще не сдавал.

— Что ж так? Хлипкий ты для рабочего человека. Тебе в интеллигенцию надо.

— Я в Суриковское хочу, — нехотя признался

солдат.

— Кого же это из него выпускают?

— Там живописи учат. И ваянию.

— Живописи… — разочарованно повторил водитель. — А что же не сдавал, если живописи хочешь?

— Как вам сказать? — Солдат помолчал. — Чтобы творить, надо многое знать. Не из книжек, а из жизни. Я, например, Попкова люблю: вот он знал, что писал.

— Кто такой?

— Виктор Попков. Художник.

— Художник, — протянул шофер. — От слова «худо», так, что ли? Да ты пей кофе, пей.

— Спасибо, не хочется. Вы как-то нехорошо сказали про Попкова. А он — серьезный художник, большой. И нет его уже, погиб.

— Да пустое это все, — проворчал шофер, убирая еду. — Художники, живописи. Сейчас техника все решает. Я, например, слайды уважаю, а пленку — нормальный «кодак», заметь, — за кордоном беру. Кто — шмутье, а я — пленку. Классная пленочка! Выбрал видок, щелкнул — ну и какая живопись сравнится? Видел я этих художников: сидят целый день, срисовывают, срисовывают, а я щелк — и пожалуйста.

— Вы не правы. — Солдат сердито поправил очки и начал краснеть. — Вы совершенно, абсолютно не правы сейчас, извините.

— Что-то больно ты вежливый: извиняюсь да извиняюсь. Ты с рабочим человеком говоришь, нечего вежливостью пугать. Крой правду-матку: она и есть самая вежливая.

— Извините, я так не умею, но относительно вашей идеи, заменить живопись слайдами, все же скажу. Это очень наивное мнение, что художник пишет натуру как она есть. Это как раз слайды копируют природу, а живопись никогда копированием не занималась и не должна заниматься. Живопись…

— Ладно, живопись — это к примеру, не заводись. Искусство служит народу, слыхал? Я с работы прихожу, так ты мне отдохнуть дай, отвлеки, юморок там, Леонова или Райкина. А то мы вкалываем как звери, а артисты эти для себя всякие трагедии в постановках разыгрывают. Знаешь, как это называется? Это называется искусство для искусства, усек?

— Извините, искусство для искусства — это же совсем иное. Это…

— Ну, будет, будет тебе баллон на меня катить, — решительно перебил шофер. — Я ведь

просто так сказал, со своей точки.

Разговор вел к взаимному охлаждению, а впереди ждала дорога, и старший первым забил отбой:

— Лучше расскажи, из-за кого в самоволку сорвался.

Солдат, строго нахмуренный, уже изготовившийся для спора, заулыбался всем лицом, как улыбаются в любви и в детстве.

— А как вы угадали, что я в самоволке?

— А я, брат, Штирлиц, — засмеялся шофер. — Мундирчик на тебе хреноватый, в таком через капепе не выпустят. Так или не так?

— В общем, так. Знаете, удивительное сочетание обстоятельств: штаб считает, что я — в роте, а рота — что я в штабе лозунги к Октябрьским пишу. Раньше двух дней ни за что не хватятся, а я за это время Наташку повидаю и назад.

— Вот, значит, из-за кого солдаты через забор сигают, — усмехнулся водитель. — «Вы служите, мы вас подождем», так, что ли?

— Ну, как сказать, — засмущался солдат. — В общем, в школе учились вместе. Она способная девчонка, в медицинский с ходу поступила, а их курс как раз в Михнево на картошку послали. То-то удивится, когда появлюсь!

— Точно! — Водитель вздохнул. — У меня тоже Наташка. Дочка. В прошлом году школу кончила да так без дела и болтается. Дурная молодежь пошла.

— Извините, а зачем же вы обобщаете? Молодежь разная.

— Разная? — Шофер покрутил головой. — Один кричит: неси, неси! Второй: вези, вези! Вот и вся разница. Я за кордоном воды стакан выпить не решаюсь, а ей все мало.

— Кому — ей? Молодежи?

— Ладно, кончили! — жестко отрубил шофер. — Все вы хороши, когда вам тряпки понадобятся.

Взревел мотор, машина плавно отвалила от обочины, расстилая в густеющем сумраке шлейф черного дыма. Она шла легко, играючи, подрагивая от избытка клокочущих в ней сил. А люди недружелюбно молчали, уже жалея, что судьба свела их на этой дороге.

— Хороший автомобиль, — неуверенно похвалил солдат только для того, чтобы хоть что-то сказать.

— Да, класс, — без особого энтузиазма отозвался шофер.

И опять нависло молчание. Уютно урчал мотор, чуть покачивались сиденья, веяло расслабляю-

щим теплом.

— А вы часто за границей бываете?

Солдату было не очень интересно, часто ли бывает шофер за границей: просто он испытывал большое неудобство от молчания и считал себя виноватым. И неожиданно вопрос его попал в точку: водитель довольно заулыбался, вновь благосклонно поглядев на пассажира.

— По графику положено два раза в месяц. Ну, я подсчитал, прикинул возможности и предложил встречный план за счет увеличения средней скорости и сокращения стоянок. Приняли, назвали почином, и теперь за кордоном я уже три раза в месяц буду бывать. Вот так, усек? Не покумекаешь — не подработаешь.

— Вы не шутите? — Солдат недоверчиво посмотрел на него. — Знаете, я первый раз живого инициатора вижу, не обижайтесь, пожалуйста. Вы, можно сказать, тот самый положительный герой, которого я изучать должен, если хочу всерьез живописью заняться. А я хочу, потому что это не детское увлечение, а мечта всей жизни.

Юная горячность пассажира понравилась водителю. Он был человеком отходчивым и с готовностью откликнулся на искреннюю заинтересованность случайного спутника.

— Изучай, дело хорошее. Я тебе так скажу, что дураков много кругом. Болтают: за границей, мол, заработок. Ну, заработок — это точно, только за этот заработок там такую работенку требуют, что и лоб не утрешь. А наши крикуны о чем мечтают? О том, чтоб работать как при социализме, получать как при капитализме. Нет, милый друг, хочешь хорошо получать — хорошо и повкалывай, так, что ли?

— Абсолютно с вами согласен! — с комсомольской готовностью подтвердил солдат.

— Раньше-то и я дураком был: искал, как бы словить, — с удовольствием продолжал шофер. — А потом понял: самое выгодное — это нормально работать. Ну, сперва, конечно, пришлось повкалывать, поработать на авторитет: перевыполнял, соревновался, на собраниях не отмалчивался, как некоторые, по общественной линии тоже. Трудный был период, ничего не скажу, зато теперь — полный порядочек. Теперь авторитет на меня работает, усек?

Говорил он с таким самодовольством, что солдату стало не по себе. Наивный энтузиазм его таял с каждой фразой собеседника, но юноша из деликатности изо всех сил улыбался.

— Да, конечно, конечно.

— И все нормально. Кому премия? Мне. Кому квартиру без очереди? Между прочим, на троих трехкомнатную дали, представляешь? Кому путевку на курорт, когда захочу? Обратно мне. И рейсы, заметь, я сам выбираю, и почин этот опять же. И им выгодно, и мне выгодно: на этом почине я полтора оклада буду иметь и, главное, дополнительную валюту, усек? В какой заграницe ты такие блага получишь? Да ни в какой, ответственно тебе говорю. А что от меня требуется? Нормально работать да мораль соблюдать. Ну, там, не опаздывать, не халтурить, не пить, с женой, к примеру, чтоб все путем. Я все соблюдаю, и я — главней директора: тот место боится потерять, а я ни хрена не боюсь. Я — представитель рабочего класса, усек? Вот кем надо быть: представителем.

— Трудно, наверно.

— Да чего там! Конечно, сорваться боязно: среди представителей тоже, знаешь, конкурс. Как чуть оступился, так сразу шансы получаешь навылет просквозить. Народ злой стал, завистливый…

И опять между ними точно кошка мелькнула: солдат замкнулся, насупился, даже голову в плечи втянул. Его угнетали развязные откровения шофера: он считал его очень глупым, втайне

удивляясь, как такого терпят на работе. А между тем водитель был далеко не глуп: он прошел превосходную школу и точно знал, с кем надо помолчать, кому — поддакнуть, а кого и анекдотом развеселить. Перед случайным попутчиком, который через полчаса сойдет с машины, не имело смысла играть. А вот похвастать перед ним умением жить, преподать, так сказать, урок хотелось, ибо его собственная дочь подобных уроков не выносила и тут же кричала: «Заткнись!» И в этом разговоре водитель брал реванш и за отбившуюся от рук дочь, и за пренебрежение коллег, и за всю очкастую, хилую, никчемную интеллигенцию, которая куда чаще ставила трагедии для себя, чем комедии для него.

Однако даже сейчас, туманным октябрьским вечером, в разговоре со случайным попутчиком на пустынном шоссе шофер осторожничал. Роль, избранная им, — роль энтузиаста-передовика, целиком и полностью разделяющего мнение начальства еще до того, как начальство само сформулирует это мнение, — требовала высшей дипломатии, иезуитского притворства и крысиной приспособляемости к обстоятельствам. Он давно уже выдрессировал самого себя, привыкнув не только слышать каждое свое слово, но и

по-звериному чуять, как это слово воспринимает собеседник. И поэтому, чутко ощущая растущее неприятие солдата и получая от самоутверждения сладчайшее удовлетворение, не зарывался, вовремя выравнивая крен.

— Вообще-то я, конечно, сгущаю, усек? Коллектив у нас здоровый, как говорится. Вон по спорту все призы взяли, я сам золотой значок имею. Ты спортом-то увлекаешься?

— Не очень, знаете, — нехотя признался солдат. — Правда, если международная встреча, то я смотрю.

— Болеешь, значит?

— Болею. За наших.

— А я — за «Спартачок». Но и сам занимаюсь. Спорт, он очень полезный и в смысле здоровья, и для самообороны. Лет десять назад случай был. Иду я вечером с работы и — трое под банкой. Дай закурить, то да се, ну, и накидали мне полное рыло. Думаешь, защитил кто? Милиция там, дружинники? Какое! Вот с той поры я и понял, что за меня только один человек вступится: я сам. Самбо изучил, штангу регулярно толкаю, зарядка каждый день. И — в форме: кто ко мне сейчас сунется и кто мне мои сорок семь даст? Не курю, выпиваю только по праздничкам, режимчик и

— нормальный вид. Так что зря ты этим пренебрегаешь. Поверь, зря.

— Возможно. — Солдат пожал плечами. — Мама говорит, что сейчас все о теле заботятся, а о душе забыли. А прежде о душе больше думали.

— Чего?.. — Шофер с искренним изумлением уставился на пассажира. — Да ты никак сектант, что ли? Что ты мелешь, какая душа…

Машина не ощутила сопротивления, не вздрогнув, не звякнув, солдат ничего не расслышал, и только водитель опытным ухом и чуть дернувшимся рулем уловил неладное. И сразу нажал на тормоз.

— Что такое?..

Вылез, хлопнув дверцей. Ровно урчал на холостых оборотах мотор. Солдат выглянул, но на пустынной, затянутой туманом дороге никого не было. Спрыгнул на асфальт, поеживаясь от пронзительной сырости.

— Где вы? Что-нибудь случилось?

Никто не отозвался, и звуков никаких не слышалось, только работал двигатель да по козырьку фуражки щелкали редкие и тяжелые дождевые капли. Солдат постоял, послушал и пошел вдоль огромного серебристого чрева рефрижератора. Обогнул его и в нескольких шагах на шоссе уви-

дел размытую туманом фигуру.

— Вот вы где! Я уж думал…

И замолчал: на мокром асфальте у ног водителя неподвижно лежала девушка в светлом плаще. Рядом ручкой вверх валялся пестрый складной зонтик, чуть раскачиваясь то ли от ветерка, то ли еще по инерции.

— Что с ней?

— Что?.. — испуганно переспросил шофер. — Я не видел ее, не видел. Туман, ни хрена не видно. Я на тебя глядел, подонок ты, сволота, гад…

— Она… Она дышит… — Солдат стал на колени рядом с девушкой, не решаясь прикоснуться. — Она жива, она без сознания просто! — Он вскочил в крайнем возбуждении, в стремлении что-то немедленно делать, куда-то бежать, звать на помощь. — Ее надо в больницу. Немедленно в больницу, слышите?

— В больницу? — Водитель все еще находился в растерянности и все время переспрашивал. — Да, да, в больницу. А никого нет. Нет ведь никого.

— Так сами же и отвезем! — Солдат суетился, бегал вокруг девушки, дергал шофера за куртку. — Сами, сами отвезем, понимаете?

— Да. Сами. Сами отвезем, — бормотал шофер. — В машину. В машину ее. Берись.

Они подняли девушку, неуклюже семеня и толкая друг друга, понесли к рефрижератору. У тупого, вагонного зада водитель остановился.

— Клади. Клади, говорю!

Растерянность его прошла, как только появилось действие. И действовал он быстро, точно зная, что должен делать. Они опустили девушку на дорогу, шофер сорвал пломбы, распахнул тяжелые ворота холодильной камеры. Внутри вспыхнула лампочка, нестерпимо ярко отразившись в ослепительно белых стенах.

— Бери. За ноги ее, ну!

— Зачем?.. — со страхом спросил солдат, увидев мороженые туши и ощутив ледяной выдох холодильника. — Сюда нельзя, нельзя! Надо к вам в кабину, там диван, я видел…

— Дурак. Дурак ты. — Водитель зачем-то схватил его за мундир, затряс. — Она же помрет в кабине. Кровью изойдет, усек? А здесь — прохлада, врачи всегда травмы замораживают, видал по телевизору? Бери, ну? Бери же!

Они опять подняли девушку, положили на розовые стылые глыбы мяса. В ярком свете солдат видел ее мертвенно-белое лицо, залитое кровью платье, рассыпавшиеся волосы.

— Нельзя ей здесь, — приглушенным шепотом

сказал он, и в голосе его послышалось готовое взорваться отчаяние. — Это мертвых замораживают, а не живых. Мертвых!

— А мы не виноваты, не виноваты! — вдруг истерически закричал шофер. — Это она во всем виновата, она! — Он бил машину кулаками, пинал, плевал на нее, продолжая выкрикивать: — Сволочь! Гадина! Падла!..

Потом угомонился. Стоял, упершись лбом в мокрую стену холодильника, громко всхлипывал, вздрагивая всем телом.

— Ехать надо, — сказал солдат. — Ну, что вы? Ну, будет вам, будет. Надо ее спасать. Спасать, слышите?

Водитель глубоко вздохнул, вытер ладонями лицо. Посмотрел на неподвижную девушку, старательно оправил сбившуюся на коленях юбку.

— Садись.

Захлопнул дверь камеры, задвинул засовы, сгорбившись, прошел на место. Не глядя на солдата, включил передачу.

— Тут больница должна быть. Недалеко тут.

Он разгонял машину, не щадя двигателя, точно бежал с того места, где тупое рыло рефрижератора зацепило ненароком идущую по шоссе девушку. Видно, пожалела туфельки, не захотела

месить грязь на обочине. А тут туман и дождь в лицо, и зонт, которым загораживалась она от дождя и из-за которого не видела дороги. Только ведь не объяснишь же все это суду, ничего не расскажешь и ничего не докажешь. Одно мгновение, миг один, и не вернуть его, не переиграть, не исправить. Господи, почему же тебя нету? Не знаю, что бы отдал, только бы не было этого беспомощного тела на пустынном шоссе. Полжизни бы отдал. Полжизни…

Ехали молча, уставившись в прорезанную лучами фар призрачную мглу за ветровым стеклом. Выл, захлебываясь, мотор, машину било на невидимых ухабах, и при каждом толчке солдат судорожно жмурился, ясно представляя, как подпрыгивает на каменных заледенелых тушах беспомощное девичье тело. Но от того, что он жмурился, видения не исчезали, а шофер гнал и гнал, и все ревело сейчас в кабине. «Надо сказать, что нельзя ей там, — лихорадочно думал солдат. — Надо остановить, потребовать…» И ничего не говорил, не требовал, а лишь изо всех сил зажмуривал глаза…

— Я сойду! — не выдержав, крикнул он неожиданно для самого себя. — Остановите. Остановите!..

— Тебе в Михнево, — не глядя, буркнул шофер. — Рано еще. Сиди.

— А ее куда? Куда? Там же холодно. Холодно там, понимаете?

— В поликлинику, — тупо бормотал водитель. — В поликлинике тепло, врачи. Скоро должен быть, я знаю, травмопункт.

Солдат заплакал. Он плакал по-детски, вслух, сняв сразу запотевшие очки и ладонями размазывая слезы. Плакал от ужаса, от не оставляющего его видения нежного тела на мороженом мясе, от беспомощности и жалости. И за слезами не заметил, как стих мотор и остановилась машина.

— Ну, чего ты, чего? — Водитель потряс его за плечи. — Утрись-ка. Страшно? Ну, тогда иди. Я сам ее сдам. Один. Иди.

Солдат глубоко вздохнул, достал платок, долго сморкался, шепча что-то. Водитель сидел молча, уронив голову на скрещенные на руле руки.

— Холодно ей там. Холодно.

— Иди. — Шофер поднял голову, уставив на солдата странно отрешенный взгляд. — Иди, говорю.

— Да, да. — Солдат суетливо запихивал в карман платок. — Я пойду. Я сейчас.

Он вылезал боком, нащупывая рукой выход и

не решаясь оторвать глаз от тяжелого, оплывшего лица водителя. Выбравшись на шоссе, не захлопнул дверцы, а начал пятиться от машины, беспрестанно повторяя:

— Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания.

Вдруг повернулся и побежал, не оглядываясь, втянув голову в узкие плечи. И сразу же закричал. Закричал еще до того, как шофер выпрыгнул из кабины.

Так они и бежали по шоссе, оставив позади приглушенно пофыркивающую машину с девушкой за двойными стенами холодильной камеры. Солдат кричал непрерывно, кричал не слова, а сам крик: «А-а-а!..» Кричал в смертельной тоске, уже ничего не соображая. А шофер бежал молча, и, заслышав его грузные шаги за спиной, солдат сам упал на обочину.

— Зачем же ты побежал, дурачок? Зачем? Ах, дурачок, дурачок…

Шофер неторопливо взял солдата за плечи, проволок по грязи и рывком сбросил в переполненный водой кювет. Солдат попытался встать, забился, и они оба оказались в воде. Но водитель был посильнее и потяжелее: пригнул солдата, запихал под воду, навалился. Обождал, когда с

бульканьем выйдет воздух, когда окончательно перестанет содрогаться тело, и выбрался на шоссе.

— Ты зачем побежал? — задыхаясь, бормотал он. — Ты настучать на меня побежал? Ах ты, дурачок, дурачок…

Солдат лежал на дне кювета настолько мелкого, что из воды торчал обтянутый потертыми брюками худой мальчишеский зад, а носки сапог упирались в обочину. Беспрестанно бормоча, водитель снял башмаки, вылил из них воду, кое-как отжал мокрые штанины.

— Сейчас подружку тебе рядом положу. Под бочок, чтоб не скучно.

Носком столкнул в воду отлетевшую фуражку, тяжело шаркая мокрыми ботинками, пошел к машине. Постоял у кормы, осмотрелся, прислушался и распахнул двухстворчатые ворота.

И обмер: на мороженых тушах сидела девушка, судорожно кутаясь в перепачканный плащ. Синие губы ее мелко дрожали.

— Х-холодно, — с трудом выговорила она. — Холодно, холодно, холодно…

Шофер с грохотом захлопнул створки ворот. Придавил всем телом, точно ожидая, что изнутри вот-вот начнут ломиться.

— Ы-ых!..

Никто не ломился в тяжелые ворота, и в холодильнике было глухо, как в склепе. Шофер обождал немного, торопливо, сбивая в кровь руки, вогнал штыри в пазы затворов, тяжко, со стоном вздохнул. Постоял, долго и настороженно вслушиваясь в туман. Пустынно и тихо было на дороге.

Шофер еще раз осмотрел запоры, медленно побрел вдоль кювета. Остановился у мертвого солдата, долго тупо смотрел на него. Потом громко икнул и прошел на свое место. Хлопнула дверца.

Взревел мотор, и огромная серебристая машина, набирая скорость, скрылась в густых октябрьских сумерках. И только рев сотен лошадиных сил долго еще доносился из тумана, все слабея, переходя в стон и наконец замолкнув навсегда.

Коррида в большом порядке

Что это вы все так слепо телевидению верите? Ах, по телевизору то-то сказали, ох, по телевизору то-то показали… А вот однажды по этому самому телевизору объявили, будто быку что красное, что черное — все едино, лишь бы оно двигалось. Ну так ерунда это, псевдотеория, а практика — вот она, эта коечка, и я при ней. По теории-то я через два месяца священный долг должен исполнять, а на практике что вышло? А вышло то, что я в семнадцать лет десятилетку закончил, на экзаменах в институт срезался, и мама меня в деревню отправила к дальним родственникам. И оказался я в Большом Порядке.

Но сперва поясню, а то еще не так поймете. Большой Порядок — это так село наше называется. Когда-то два порядка были — Большой Порядок и Малый Порядок. Ну, Малый долго не продержался: родственник рассказывал, что продавщица там глупая попалась. За трезвость боролась в те еще времена, когда все чувство законной гордости испытывали. Ну и, конечно, упустила весь Малый Порядок. Разбежался он по иным точкам, и частично к нам, в Большой.

И с того времени во всей округе остался только Большой Порядок, а на месте Малого один бурьян да крапива под два метра.

Между прочим, на первой моей работе — меня для начала в мастерские определили — говорили, что от крапивы тоже балдеют, как от мака или конопли. Если, говорили, в баньке как следует напариться, а потом вместо озера голым в крапиву сигануть — сильное средство. Чумеешь и вырубаешься. Конечно, сейчас разные способы испытывают, так что удивляться нечему. У нас в мастерских один испытатель ведро из-под мазута на голову, бывало, напялит и ходит часов пять, как пес-рыцарь. Потом падает и — балда балдой. Я лично убежден был, что не столько от мазута, сколько от грохота, но доказать не успел: меня в пастухи перевели. Мама, видите ли, решила, что я должен укреплять свое здоровье перед армией, и упросила нашего председателя перевести меня на природу. Тут еще родственничек наш помог, Сергей Владимирович — ну, о нем разговор особый, — и меня перекинули на скотину.

Это все как-то быстро произошло, и мне пришлось опыт насчет влияния грохота на организм ставить в коровьем обществе. И я его осуществил, и могу смело поспорить кое с кем. Я нормальное

ржавое, правда, ведро надел и пошел коров пасти. Ну, что сказать? Во-первых, конечно, жарища, как в домне, а во-вторых, всякий звук возрастает в немыслимой степени. Овод в железо врежется, а у тебя — шары из глаз. Но я терпел ради опыта, пока на корову не налетел. А она мне — хвостом по кумполу. А на кумполе — ржавое ведро. Так я вам скажу, что никакого наркотика мне не потребовалось: я сразу свой кайф поймал и минут сорок из него не вылазил. Не мог никак, ведро сильно погнулось.

Ну я же не про то, не про кайф. Я про быков теперь теорию оспариваю, потому что имею все основания, исходя из практики. И когда мне официально по телевизору мозги пудрят, что быку, мол, что красное, что белое — без разницы, что нету у него в глазах каких-то колбочек, а потому на цвет он и не реагирует, я это опровергаю всей своей искалеченной ногой.

А дело было так. Когда я, значит, опыт с ведром ставил, а корова мне его хвостом погнула, я, конечно, лег. Минут тридцать пять полежал в густой траве и балдении, а потом малость в себя вернулся и начал это погнутое ведро с башки свинчивать. В нем от коровьего удара вроде как резьба образовалась, и напрямую оно уже ни-

как не слезало. А в какую сторону вертеть, чтоб себя самого отвинтить? Непонятно, вот я с этим ведром и ковыряюсь, как медведь, а в мозгах от кайфа гудит, мысли, как сметана, бултыхаются, и я сам себя до хрипа заворачиваю. То ли путаю, то ли резьбу сорвало, а только хреновое получается похмелье. Не знаю, сколько бы времени я под этим ведром балдел, как вдруг рванули его с моей головы вместе с куском кожи, и сразу посветлело в природе. Проморгался, а надо мной — наш председатель Валентин Лукьянович.

— Чего ты, — говорит, — Салагаев, ржавое ведро нацепил? От армии прячешься?

Ну, я ему обстоятельно стал объяснять про мужика, который пес-рыцарь и про свой опыт, которым я надеялся опровергнуть. Только это я разошелся, а он:

— А коровы твои где?

— А коровы мои в рапсе. Не столько жрут, сколько топчут.

Вскочил я, заорал, побегал, тоже рапсу потоптал: но — выгнал.

— Исправил, — говорю, — ошибку, Валентин Лукьянович.

Тут я должен сказать, что рапс этот нашему председателю навязали волевым решением, о

чем он сам признался на общем собрании. Знаете, оно, конечно, перестройка, демократизация, гласность, но когда кому-то из поверхглядящих кукуруза понравится, вика с клевером или рапс — конец всякой демократии. Обязательно тебе эту монокультуру всучат, как бы ты ни брыкался. Вот нашему Валентину Лукьяновичу этот рапс и привязали к хвосту, как пустую банку собаке, и очень он с ним начал беспокоиться. Прямо аж зеленеет, когда с его навязанным рапсом какие-либо непорядки. И так мне говорит:

— А теперь, говорит, я исправлю свою ошибку и избавлю несчастную эту скотину от твоих дурацких экспериментов. Будешь числиться на временных работах, пока тебя какая-нибудь бригада к себе не пригласит. Хотя сомневаюсь, дураков в колхозе сильно убыло в связи с новой системой оплаты.

Вот как оно все обернулось. Конечно, надо бы опыт не в рабочее время ставить, это я потом понял. Или хотя бы подальше от рапса. Или от председателя Валентина Лукьяновича. Но сделанного не воротишь: сдал я свое орудие производства — это кнут, значит, — и отбыл на скамейку запасных «куда пошлют и что велят».

На той запасной со мною еще двое профессио-

нальных алкашей маялись, Толик и Ван Саныч. Толику было под пятьдесят, и знал он одной лишь думы власть: где бы перехватить стакашек. Можно даже неполный. Перехватив, выпивал с трепетом, чмокал и тут же погружался в небытие на ближайших восемь часов. А Ван Саныч был вдвое моложе и, приняв дозу, не спал, а куда-либо мчался. Не куда-либо вообще, а туда, где больше юбок: в правление, клуб, дискотеку, кружок вышивания или в магазин. Такая у него была потребность: повертеться. И вертелся, пока его не прогоняли.

Жуткая у меня началась полоса: ни друзей, ни плана, ни отдыха, ни зарплаты. Один день чего-то закапываем, другой — его же откапываем. В голове пусто, в душе — тоска, в животе — равнодушие. Стоишь до обеда, на лопату опершись, и понимаешь, что ты потерял вместе с коровами. Свободу ты потерял, радужность мыслей и экологию окружающей среды. То есть все, что имел, о чем мечтал и чего ничего не делал.

Словом, совсем я изнемог на этой своей должности и с этими своими сотрудниками. Никто меня никуда не берет, но все посылают. И я постепенно постигаю, что так оно и будет всю оставшуюся жизнь, если я сам не приму мер. Мол, под лежа-

чий камень… Все я взвесил, прикинул, просчитал и решил идти в правление и Христом Богом молить, чтоб меня куда-нибудь.

А в правлении Валентина Лукьяновича нет, но суеты навалом. Девчата красные, глаза горят, чего-то пишут, репетируют, разучивают.

— Чего, — говорю, — девоньки, за радость такая? Или разом всю нашу армию демобилизовали?

— Глупости не болтай, — говорят. — Ишь чего захотел, пацифист зеленый. Нет, у нас мероприятие серьезное: через неделю нашему Валентину Лукьяновичу сорок стукнет, как одна копейка! Включайся, — говорят, — в инициативную группу, может, он тебе твое ржавое ведро простит.

Юбилей! Сорок годков! Инициативная группа! Ну, думаю, землекоп, пробил твой час. Если не уцепишься за секундную стрелку — копать тебе канавы вкупе с Толиком и Ван Санычем до собственной могилы. Включайся, сочиняй стишата, малюй лозунги, разучивай трепака!..

Только хотел врубиться, да вовремя на девчат глянул. А они — хоть прикуривай. Хихикают да пируэты всякие — что тебе аэробика! Что тебе аэробика, когда председателю — всего сорок, ровеснички девчат наших все сплошь в священном

долге на два года, а остальные либо женатики, либо уже лунатики вроде того, чокнутого с ведром. Нет, думаю, девоньки, мне средь вашего макового цвета что конскому щавелю: несъедобен я для председательского глаза, а скорее даже наоборот. И сообразив, я тихо подался, а меня и не заметили.

Однако сорок лет. Добреет мужик в такой день, и если к нему с умом… Стоп, а где он, ум-то? Кто у нас в колхозе этим рудиментом похвастать может? Да зоотехник Сергей Владимирович, мой дальний родственничек, больше просто некому, хоть в соседнюю область беги.

Сергей Владимирович — человек исторический. Он всю нашу историю прожил, и ни разу его никуда не заносило. Лысенко с Мичуриным хвалить? Пожалуйста, со всех трибун, прилагательных не жалея. Вейсманистов-морганистов клеймить вкупе с низкопоклонством перед растленным Западом? Сколько угодно, на всех собраниях, снова прилагательных не щадя. Америку по молоку и мясу догонять? С полным нашим удовольствием. Квадратно-гнездовым сажать? Спасибо, что надоумили. Кукурузу на завоевание Заполярья? Правильно, давно пора. Совнархозы? Точно совершенно, как сами до

этого не додумались. Не надо совнархозов? Точно совершенно, ну их… Коммунизм за двадцать лет? Навались, братцы, аккурат к олимпиаде и откроем. Лысенко ругать? Да с радостью! Рапс организовывать, а Рапо сажать? Ах, наоборот! Простите старика, недослышал, но всегда готов. Всегда.

Вот каков был Сергей Владимирович. Всем очень нравился и все его награждали. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневе всегда в пример ставили, как самого чуткого к прогрессу и политически активного товарища. И сейчас ставят тоже, хоть он малость что-то с чем-то путает, но человек нужный. Великий дока насчет всяких веяний. Раньше флюгера направление показывает. И не стареет при этом. Беркутом на трибуну взлетает…

— Почему у нас, товарищи, сельское хозяйство все время падает? Потому оно падает, что мы его очень часто поднимаем. Поднимем, подержим, сколько силенок хватит, в затылке почешем и обратно роняем. И так всю дорогу, весь тернистый путь. А те, которые там, на Диком Западе, те сельское свое хозяйство ни разу еще не поднимали. Оно у них до сих пор на земле стоит.

Вот какие речи он нам, трем землекопам, за

свинофермой произносил. И стакан держал очень красиво. От плеча, как гусар.

— Так выпьем же за очередной подъем…

Ну, это, конечно, в узком кругу, со стаканом и без трибуны. А когда случалось наоборот, то и звучало в том же направлении:

— В свете новейших указаний нам всем стало ясно видно, дорогие товарищи, что старое название «дояр» есть полная абракадабра в век технического прогресса. Оператор машинного доения рогатого скота — вот что поднимет нас к новым высотам!..

Ну и в таком разрезе — еще минут двадцать, пока аудитория окончательно не обалдеет. Тогда замолкает, ему с радости — овацию, и он — опять на коне. Опять скачет вдоль истории и ни разу — поперек. Такой был уникальный человек. Пример селекционного отбора, как я всегда думал. Но выпить любил при всей своей селекции, а может, и благодаря ей. И тогда в благодарность давал дельные советы.

Ну а где, спрашивается, эту самую благодарность раздобыть, если у нас год назад в Большом Порядке первый за всю историю государства Российского трезвый сход был? И — со злости, что ли? — постановил: пьянству — бой! И Сергей наш

Владимирович тут же на трибуну спланировал.

— Надоело, — говорит, — пьянство, товарищи! Правильно и очень даже своевременно указали нам, куда может завести нас пристрастие. В пропасть, у которой и дна нет, товарищи! Вот почему я категорически предлагаю с сей минуты начать строгую трезвую жизнь. Трезвость есть норма существования белковых тел! И я горячо призываю дорогих моих односельчан сдать милиции все ненужные самогонные аппараты. Покаемся, дорогие товарищи, и пусть земля горит под нашими ногами!

Покаялись. Сдали ненужные самогонные аппараты. Нужные оставили. Акт был добровольным, все умилялись, и сдатчиков металлолома показывали по телевидению. И позакрывали все питейные точки. Сперва возникла паника, но потом все само собой образовалось. Вместо двух гласных точек появилось восемь согласных: я, например, покупал нормальную казенную кашинского розлива исключительно по согласию в промтоварном магазине в отделе уцененной резиновой обуви.

Майя Ивановна продавала резиновые сапоги всем желающим, но всовывать в них следовало не ногу, а руку, и всяк получал то, что желал. А

сапог относил к служебному входу и клал его в ящик. И сапог тот таким образом вновь шел в дело как упаковочный материал.

Нет, не подумайте, я не употребляю. Но, во-первых, учтите, что мои коллеги без стакана натощак и лопаты нащупать не могли, а во-вторых, возникают обстоятельства. Это у них — там, на Диком Западе — слыхал я, День Благодарения один раз в году, а у нас почти что круглогодично. Тракторист участок под картошку вскопал — благодарение. Бригадир навозу подбросил — еще благодарение. А там — дрова, комбикорм, рассады да разная хозяйственная мелочишка — сплошные благодарения. Вот и бегают все к Майе Ивановне: «Майя Ивановна, кормилица, два резиновых сапога нормального размера». И — десятку за каждый, условно говоря, сапог. Ровнехонько десятку, без сдачи: плата за риск. Жить трезво стало веселее в основном продавцам, потому как остальные трезво жить давно уже разучились. Их нужно сорок лет по безводной пустыне водить, как Моисей евреев, чтобы они окончательно протрезвели, и то — сомневаюсь. И времена не те, и Моисея нету, и сорок лет, боюсь, мы уже не продержимся.

Ну, это так, отступление, чтобы было понятно, где я в условиях свирепой борьбы за всенародную

трезвость пол-литра кашинской надыбал. Пароль: «У вас продается резиновый сапог?» Отзыв: «Размер обычный?» — потому что иногда бывает двойной. Редко, правда, в цене нынче обувка.

Но за ценный совет я ничего не пожалею, а потому и потопал от Майи Ивановны к Сергею Владимировичу с кашинской у самого сердца.

— Кашинская — водка нашенская! — заорал исторический человек, потер руки и засуетился насчет закуски.

А я, признаться, приуныл. В мире, вспомнил вдруг, доллары вращаются, фунты, гульдены, франки всякие. Вращаются вместе с иенами и лирами и все вокруг себя вращают. И все идет путем. Богатство и безработица, процветание и коррупция, благоденствие и преступность. Потому что есть вращение, от которого все работает. А у нас — никакого вращения. У нас коловращение, после которого единственная валюта наша вместе с бульканьем исчезает в утробах.

Пока я уныло размышлял о вращениях и коловращениях, Сергей Владимирович сотворил натюрморт. Русский, летний, конца двадцатого столетия — хлеб, соль, лук да какая-то никому неведомая рыба в томате.

— Что за беда? — спросил Сергей Владимиро-

вич, с чувством выкушав первую стопочку.

Я излагаю как на духу. И что в армию осенью, и что изгнан из пастырского сословия в запсостав «куда пошлют», и что сижу без доходов и ем в кредит, и что, наконец, грядет сорокалетний юбилей, то есть, по моему разумению, время максимального доступа к сердцу. Пока я все это неторопливо рассказывал, Сергей Владимирович успел еще три стопаря опрокинуть, несъедобную тварь в томате дочиста подскрести — и подобреть тоже успел.

— Жалко тебя до слез, — говорит. — Надо искать справедливость. Что больше всего уважают в сорок лет?

А черт их знает, что они, сорокалетние то есть, уважают. Может, «жигули», может, руководящее кресло, а может, и отдых с шашлыками. Я в этом возрасте не был, опыта у меня нет, а догадки — штука опасная в моем положении. Угадаешь — слава тебе! — а если не угадаешь? Я ж, собственно, сюда и пришел, чтоб самому не гадать.

— Не знаю, — говорю. — В этом возрасте не состоял.

— Мясо, — говорит Сергей Владимирович и очень значительно поднимает палец.

Теперь-то я понял, почему он тогда о мясе заго-

ворил. Когда в тебе четыре стопаря, так ничего важнее мяса и быть не может. В этом случае не человек управляет ферментами, а ферменты — человеком. Но это я сейчас такой умный, когда к больничной койке прикован, а тогда, понятное дело, я ничего не соображал, а вбирал его мечты о жратве как откровение.

— Мясо! — повторяет он со вздохом. — Свежее, парное, желательно непережаренное. При таком наличии не устоит. Дрогнет он.

— Ага! — говорю, хотя не вполне еще соображаю. — А где же его взять в нашем колхозе, это мясо?

— Оно мычит, — объявляет Сергей Владимирович и хлещет еще стопочку. — И будет жрать наши корма, покуда будут эти корма. А когда они кончатся, мы займемся сверхплановыми мясопоставками.

— К тому времени Валентину Лукьяновичу уж не сорок стукнет, а сорок с гаком.

— Исключительно трезвая мысль! — восторгается Сергей Владимирович и снова поднимает палец. — Но меня учили не ждать милостей от природы, а тебя учили ждать, и ты не шурупишь.

— А что я должен шурупить?

Я, честно говоря, спросил уныло, потому что перегорел. Зря, думаю, я это затеял, зря последнюю десятку прохиндею-родственничку скормил, зря время теряю. Но, как выяснилось, недоучел я его ума.

— Если мясо, которое покуда мычит и, значит, является частью природы, получает внешний дефект, я как зоотехник могу его со спокойной совестью из природы вычеркнуть. И тогда это уже не субъект инвентарного списка, а объект гастрономии.

Чего, думаю, он мне буровит? Объект, субъект, природа. Хитрит, старый черт, стажу в этом смысле у него — почти полвека. А у меня — нуль, и мне не аллегории нужны, а совет, чего мне делать, чтобы опять войти в милость. И поэтому я говорю с некоторым неудовольствием.

— Я, — говорю, — дорогой вождь и учитель, и сам с дефектом. Но как мне этим своим дефектом корову заразить?

— Только не корову! — вскричала вдруг зоотехническая совесть. — Только не корову, так как корова для нас не столько мясо, сколько молоко. А бык — тот только мясо. Исключительно гора мяса, и я ее тебе, фигурально выражаясь, дарю ради сорокалетия нашего председателя.

— То есть как так? — спрашиваю, поскольку слегка ошалеваю от такой щедрости.

— Просто, — говорит, — как два пальца. Есть у меня бычок, которого давно пора съесть, если рассуждать научно. Самое бы время его сейчас съесть всем миром, но — запрещено, покуда имеются корма. А он жрет, паразит, за восемь коров и портит мне всю отчетность. И будет только справедливо, если мы из него сделаем бифштекс к сорокалетию.

— Так ведь нельзя же бифштекс, — говорю.

— Нельзя, покуда бычок цел и невредим. А если он сам себе чего повредит, то мы аккуратненько составим акт за тремя подписями и купим его сами у себя за наличный расчет.

— Ага, — говорю, — а как это он, интересно, сам себе что-нибудь повредит?

— А так повредит, — с презрением отвечает мне Сергей Владимирович, — так, значит, повредит, что ты возьмешь дрын и загонишь его на наше овощехранилище.

— Зачем?

— Затем, — говорит, — что на нашем овощехранилище не только что бычок — черт ногу сломит. И как только сломит, мы его тут же заактируем, как непригодного к дальнейшей жизни. Он от-

дельно содержится, в сарае, и замок там сроду не запирается. Возьмешь дрын, откроешь замок и погонишь того бычка спозаранку на крышу овощехранилища. Все понял? Тогда ступай. А я докушаю да спать лягу.

Сказал я «спасибо» и подался к выходу. Сергей Владимирович забулькал бутылкой и говорит мне вдогонку:

— Фугасом его зовут.

Вот тут бы мне, дураку, смикитить насчет фугаса, но я не смикитил. Не от тупости, а от радости, которая тоже есть тупость, если разобраться. А радость меня настигла потому, что уж больно простой, ну прямо гениально простой показалась мне диспозиция зоотехника и дальнего родственника. В самом деле, я гоню бычка на крышу овощехранилища, он там проваливается, я по-тихому сматываюсь, а Сергей Владимирович списывает бычка на мясо. А потом во время застолья, когда наш сорокалетний юбиляр разомлеет от парного оковалка, Сергей Владимирович ему ласково укажет на меня. И намекнет, что негоже допризывнику торчать в резерве «куды пошлют» и лентяев. И тогда ласковый председатель Валентин Лукьянович призовет меня к столу и станет заботливо расспрашивать, в каких войсках и в

каких краях я мечтаю нести армейскую службу. И уж тут все будет зависеть от меня, и дай, как говорится, мне боже красноречия на тот решающий момент.

Просто, правда? Гениально, если забыть, что бычка почему-то назвали Фугасом. А я — забыл. Напрочь из башки вылетело, потому что радость — первая ступенька тупости.

Дрын я загодя заготовил. И маршрут лично три раза прошел от загона, где бычок стоял, до овощехранилища, где он должен был пасть. Все изучил, все взвесил, все предусмотрел, и в ночь перед операцией спал, как младенец. И на радостях, и в предвкушении проспал самый что ни на есть спозаранок и вышел на дело с заметным опозданием.

И вот тут самое время мне признаться о наиболее существенном моем промахе. За два дня до этого по телевизору про быков передача была, и я ее очень внимательно посмотрел для собственного развития. В этой передаче участвовали Песков, Дроздов и еще пропасть разных специалистов, и все они согласно утверждали, что бык есть домашнее животное, а потому человека очень уважает еще с доисторических времен. Как наш Толик с полстакана. И что красный цвет

на него абсолютно никак не влияет, потому что бык есть полный дальтоник от природы и реагирует только на размахивания перед носом. А хитрецы тореадоры на своих корридах употребляют красный цвет не для быка, а для публики. Очень авторитетные люди выступали, и я под их воздействием в тот боевой день надел красную рубаху. Мол, если быку все равно, а рубаха легкая, то лучше бегать в ней, чем в черной, но тяжелой. И поперся на свидание с будущим бифштексом с опозданием, но зато в красной рубахе и с дрыном поперек живота. Как канатоходец.

Сергей Владимирович, дай бог ему чекушку каждый день, все объяснил точно, и я без осложнений нашел темницу, в которой томился сюрприз для председателя. Ржавый замок действительно отроду не запирался, но ворота оказались двустворчатыми, и я решил заранее, не тревожа бычка, обеспечить его выгон из привычного стойла в непривычный мир. С этой целью я прислонил дрын к стене и последовательно, одну за другой распахнул створки ворот. Мол, сейчас с дубиной зайду с тыла, огрею бычка по заду, и он рванет в ворота. А дальше, как говорится, дело техники: с коровами же я справлялся…

Это я так планировал, когда оттащил створку

и начал открывать вторую. Внутри была полная тьма, створка кое-что все же весила, и я волок ее, не отвлекаясь. И уж почти доволок, когда совсем рядом ощутил горячее сопенье. И оглянулся.

Неперспективный бычок с дефектом? Возможно, я не увидел. Я увидел носорога килограммов на восемьсот, лоб — метр на ноль-пять, красные глазищи и, по-моему, пламя из ноздрей. За последнее не ручаюсь, потому что разглядывать времени не было: я с места рванул с рекордной скоростью, забыв об оружии, но зато в красной рубахе.

Царица небесная, как я летел! Я запросто побил все олимпийские и мировые рекорды на все дистанции разом, поскольку в сантиметре за моей спиной начинался лоб (метр на ноль-пять, ей-богу!) подарка к сорокалетию, и жар, который вылетал из его ноздрей, жег меня, как два сопла. И одна из немногих истин, которые я пока успел проверить личным опытом, вполне согласуема с современной наукой: в человеческом организме таятся воистину непостижимые возможности.

Знаете, что такое экстремальные условия? Ну, в общих чертах все знают: заблудился в тайге, оказался посреди океана, попал в снежную лавину. Все, конечно, так, но не конкретно. Конкретно,

это когда бык за спиной. А ты бежишь на полсантиметра от его восьмисот килограммов и почему-то терзаешься не страхом, а идиотским вопросом: «Как твоя, гад, фамилия?..» И вдруг припоминаешь, что фамилия этой скотине Фугас и что при такой фамилии существует только один финиш. И я в отличие от законов спорта бегу не к финишу, а от него.

Все-таки, если честно, телевидение в нашей культурной жизни играет роль. Даже кино с ним не сравнится по силе внушения, не говоря уже о театре. Ну где, скажите, в каком спектакле мне покажут португальскую корриду в самом натуральном виде? Да нигде, ведь это вам не два притопа — три прихлопа, не калинка с малинкой, а натуральная игра со смертью для всех, кто этого пожелает.

Как это у них происходит? Откармливают, не экономя на кормах, стадо быков, привозят в город и объявляют, что, мол, завтра состоится народная радость. Время оговаривается точно, нормальные люди, старики, женщины и дети сидят в своих домах возле окон, а на улице остаются любители острых ощущений. Быков злят всю ночь, а в назначенный час распахивают ворота, и все эти их Фугасы взрываются единовременно. И мчатся

по улицам. А впереди летят португальские психи вроде меня, и все это, вместе взятое, называется древней национальной игрой. Корридой по-португальски.

Ну, это у них. Не в смысле, что у них — всегда лафа, а у нас — всегда почему-то кругом шестнадцать, а в смысле техники безопасности этого народного развлечения. Все, кто не готов драпать со скоростью, превышающей скорость разъяренной скотины, сидят дома и любуются на традицию. Бегают только те, кто знает, что будет бегать, и — главное — знает, куда ему бежать. Маршрут разработан, путь расчищен, и в сторону быкам не свернуть: либо грузовиками все перекрыто, либо заборами огорожено. И вся эта экстремальная система мчит по уготованному ей направлению, где есть всякие спасительные боковые забегаловки в прямом смысле этого слова. Это, так сказать, коррида в коридоре.

А у нас коррида оказалась не в коридоре, а в Большом Порядке. Утром я проканителился, вышел с опозданием да еще с воротами навозился. И когда Фугас этот взорвался в благодарность за дарованную мной свободу, наш Большой Порядок проснулся, закопошился и начал неторопливо перемещаться к точкам приложения сил. И на

улице оказались не португальские добровольцы, а наше мирное население, по многолетней привычке еще не очень-то соображающее со сна.

А тут — я. С Фугасом вместо реактивного двигателя.

Что было — описать слов не хватит. Серьезно все было до такой степени, что не только что ни одной шутки не прозвучало — вообще ничего не звучало. Все драпали с озабоченными лицами, в чем сказалось принципиальное отличие темперамента жителей Большого Порядка от южной шумливости экспансивных португальцев. В экстремальных ситуациях мы молчим, как подпольщики.

А потом, честно говоря, я мало что видел. Я схватывал общее направление, чтобы мне с разбегу в какой-либо тупик не залететь, и целеустремленно слушал, как этот набор мышц пыхтит за моей спиной. Остальное фиксировал боковым зрением и боковым слухом, то есть урывками. Но поскольку я по Большому Порядку промчался ровнехонько четыре полных круга, то урывков накопилось достаточно.

Ну, о главном удивлении я потом расскажу, когда, так сказать, до него добегу. А сперва, помню, передо мною минут семь наш главный бухгалтер

бежал. Петр Семенович Воропайко. Полный, даже я бы сказал, рыхлый был мужчина, на сердце и на жену все время жаловался. Кто-то из них его жал, а кто-то — колол, но кто — что, я уже не помню. Да это и не существенно, потому что после того дня Петр Семенович похудел на восемь триста и больше ни на что уже не жалуется. Только радуется, что ноги унес.

А вот на втором круге в забег сам председатель Валентин Лукьянович включился. Как его под наш с Фугасом тандем поднесло, этого я сказать не могу, но два круга мы с ним сделали, как братья Знаменские. Он с кейсом бежал, и я ему крикнул, чтоб он этот свой кейс бросил к чертовой матери. Но он вместо этого ко мне повернулся и спросил в три приема: «Ты почему… канаву у конторы… не зарыл?..» Я эту свою промашку ему объяснять не стал, но во спасение его все время орал, чтобы он свернул, что ли, а я быка за собой уведу. Но он, не сворачивая, поинтересовался вдруг: «Тебе… когда… в армию?..» «В ноябре!..» — кричу. «Жалко, — говорит. — Еще квартал мучиться…»

Ну, тут его как-то отнесло, о плетень садануло, и мы с быком промчались мимо. И он, заметьте, меня в больнице ни разу не навестил, из чего я делаю вывод, что то был не плетень, а бетонный

забор, которым огорожен наш детский комплекс.

Дальше у меня — цветные пятна вместо конкретных воспоминаний. Так думаю, что доконал бык мое первое дыхание, и некоторое время я лидировал без всяких вдохов и выдохов, пока не допер до второго дыхания. Открывалось оно во мне не сразу, и у меня на этот период не воспоминания, а видения. Какие-то очень серьезные девчата с лицами неприступными и целеустремленными. Знакомый завклубом с аккордеоном, два механизатора, библиотекарша Раиса Михайловна, кто-то еще… Все это возникало и пропадало, а я покуда еще существовал.

Но долго лидировать мне бы все равно не удалось: разные у меня с быком весовые категории. И если бы не луч света, то встретились бы мы с вами через неопределенное время, но во вполне определенном месте. Ведь если все спокойно проанализировать и разложить по полочкам, то выяснится четкая картина: Фугас бежал исключительно за мной. Он напрочь игнорировал суету вокруг нашего забега, никого не желал замечать и держался точнехонько за моей спиной, хотя я ничего ему не успел еще сделать дурного. Наоборот, я лично выпустил его на свободу, но он об этом сразу же забыл и шпарил согласно своей

собственной идее-фикс. Почему, спросите? Да потому, что в тот день я оказался единственным жителем Большого Порядка в красной рубахе. Хорошенькой такой.

На четвертом круге я малость прозрел, поскольку открылся во мне вентиль второго дыхания. И воля моя здесь, честно говоря, совершенно ни при чем. Я напрочь растерял все человеческое и только держал дистанцию. И так думаю, что эта метаморфоза и спасла меня на четвертом этапе забега.

Но силы таяли, это я отчетливо соображал. То есть не это я соображал: я соображал, что мне полная хана, а силы исчезали без всякого осознания с моей стороны. Я понимал, что пятого круга мне ни за что не выиграть, потому что третьего дыхания нам не дано, и что паду я под рога и копыта весом в восемь центнеров. И так я все четко себе представил, что даже не паниковал. Сил у меня на панику уже не хватало, и собственную кончину я воспринимал как конец забега. Только и всего, хотите верьте, хотите нет. Кроток я стал, терпелив и покорен, потому что за мною не бык мчался, а рок, и при выходе на четвертый круг я это осознал всем существом. И даже подумывать стал, а не пасть ли мне добровольно? Все равно

спасения нет, так чего зря мучиться?

К счастью, эта паническая идея не успела мною овладеть. По той простой причине, что я среди остатков цветных вкраплений ясно разглядел, что на данном отрезке впереди меня драпает сам Сергей Владимирович. И тут вдруг меня осенило: овощехранилище! Овощехранилище, где сам черт ногу сломит! Ведь я должен был по диспозиции загнать туда этого бешеного Фугаса, чтобы он там… А я вместо этого, как последний псих, бегаю кругами по центральной усадьбе! Так уж коли не удалось мне быка загнать на овощехранилище с хвоста, то я наведу его туда с морды. Как ведущий ведомого!

Пронеслось это в моей голове во мгновение, но я все успел сообразить. Все, весь путь к спасению. И круто свернул прямиком к заветной крыше, которая начиналась прямо от земли, как шатер. Сделал я этот маневр для быка неожиданно: Фугас по инерции проскочил поворот. Но тут же развернулся и опять за мною ринулся, хотя на этом я кое-какое расстояние все же выиграл.

Вот эти полтора метра и позволили мне взлететь на крышу овощехранилища — крутизна все-таки. Взбежал я наверх, подивился, почему это за спиной никто не проваливается и никто

не сопит, обнаглел и оглянулся. И последнее, что я четко увидел, так то я увидел, что Фугас стоит перед крышей, как вкопанный, и на меня смотрит из-под своего лбища метр на ноль-пять плюс рога по бокам.

— Ага, скотина! — заорал я. — Сдрейфил?.. Шкуру свою бычиную спасаешь?..

И тут подо мною вдруг все затрещало, и я полетел вниз… Не знаю, сломит ли черт ногу в нашем овощехранилище, но я сломал. В двух местах, почему и лежу вместе с вами в этой палате.

Вчера, если помните, меня Сергей Владимирович навещал. Фруктов принес и новость: наш председатель Валентин Лукьянович после этого забега Фугаса за валюту продал. В Португалию, что ли. Вот уж где португальцы побегают…

Живая очередь

С зимнего солнцеворота прибавилось три минуты дню, но светлее не стало. Зима выдалась особо сырой и тягостной. Густые липкие туманы сползали в город каждое утро, волоча за собой хмарь и копоть всех окрестных предприятий, по улицам клубилось нечто зыбкое, промозглое и угольно-горькое на вкус. Старожилы не помнили такой погоды.

— Климат-то как изменился.

— Это после Чернобыля. Точно говорю. Да, сорок лет назад в этом самом городе был совсем иной климат.

— Помнишь, Лидочка?

— Помню, Ванечка. Все я помню, дорогой.

Лидия Петровна и Иван Степанович Костыревы поженились, отвоевав и отлежавшись в госпиталях в среднем столько, сколько выпало на долю всем уцелевшим фронтовикам. И случилось это ровно четыре десятилетия назад, и праздновали они свою свадьбу в ночь под Новый 1948 год в общежитии технологического института, где и познакомились. И на всю студенческую ораву, голодную и веселую, пришлось пять бутылок

кагора «Араплы», шампанское, два торта и гора винегрета.

— Какой же праздник у нас счастливый был, Ванечка.

— И картошку в мундире ребята с третьего курса прислали. Совсем незнакомые ребята. До чего же вкусная картошка была! До чего вкусная…

Вздыхал Иван Степанович и грустно улыбался. Не потому, что закончить институт не довелось ни ему, ни жене: пошли дети, а родных война прибрала. И даже не потому, что годы их пролетели, дети разъехались, а сами они доживали век пенсионерами при младшей дочери. Нет, иная тут имелась причина, которую Иван Степанович и не смог бы высказать, если бы кто-нибудь его спросил. Ну, конечно, если бы, допустим, местное телевидение, тогда, возможно, Костырев бы рискнул. Тогда бы он сказал для голубого экрана примерно так:

— Жалко что? Года? Чего же жалеть, природа это. Жалко, что вам, молодые вы мои друзья, никто котелка картошки вареной не подарит в день свадьбы. Последней своей картошечки, от собственного живота оторванной, ради чужого счастья. Вот чего мне очень даже жалко.

Но никто Ивана Степановича ни о чем не спра-

шивал, никто им не интересовался. Ни им, ни родной его Лидией Петровной, у которой как раз под этот Новый год исполнялось ровно сорок лет счастливой семейной жизни. Старику Костыреву, естественно, то же исполнялось, но женщины такие даты куда больше ценят. Но туманному городу не было до их дат никакого дела: город слухи тревожили.

— Еще три точки закроют…

— После Нового года?

— Нет, до. Отчитаться им в нашей трезвости надо. Так что с наступающим вас, как говорится…

Иван Степанович эти слухи игнорировал. Во-первых, он привык все приветствовать, а во-вторых, к выпивке относился с полным равнодушием. Детей у него было трое, а потому даже дешевое вино было всегда не то чтобы не по карману — в обрез. И Костыревы на это денег не тратили. По возможности, конечно, потому что все мы живем «по возможности» и навсегда приучены жить так.

А слухи катились, как утренний туман.

— По одной будут давать.

— Водки?

— По одной бутылке, понял? Водки, бормотухи, шампанского — чего тебе выйдет. Хоть сгори, хоть

утопись — такое распоряжение к наступающему.

— Но почему? Почему? Самоуправство какое-то!

— Область обязательства по трезвости желает перевыполнить. Чтоб, значит, нос утереть всему Союзу.

Младшая дочь Татьяна, с которой жили старики, имела семилетнего сына, скромные алименты и профессию учительницы начальных классов. Жили, в общем, дружно, хотя Татьяна порой и выдавала от всей застоявшейся невезучести. Старики ее понимали, жалели, любили больше других и потихоньку баловали внука. И все катилось, как и положено катиться, к известной станции назначения, до которой никто не знает, сколько ему еще осталось. Дни бежали, декабрь завалился на последнюю декаду, и в городе уже привычно слышалось:

— С наступающим!..

Уже открылись новогодние базары, уже Татьяна репетировала праздничный концерт со своими второклашками, и на балконе хранилась елка, когда, проснувшись однажды ночью, Иван Степанович увидел, что его Лидочка смотрит в потолок.

— Свадьба мне наша приснилась, Ванечка. И

сорок лет в этом году. Это ж еще десять лет, и мы с тобой — золотые жених да невеста.

— Да, Лидочка, это точно.

— И не заметишь, как пролетят…

Иван Степанович только головой покачал, но Татьяна, которой мать слово в слово сон пересказала, решила:

— Да отметьте вы свое сорокалетие! Это же и вправду праздник ваш, может, и мои занятые брат с сестрицей пожалуют. Отметьте, осилим как-нибудь.

Честно говоря, Ивану Степановичу не хотелось затевать этого праздника. Он намеревался устроить своей Лидочке небольшой сюрприз, поскольку тайком приобрел подарок на сэкономленные деньги. И улыбка, которой отблагодарила бы его Лидия Петровна, была бы во сто крат дороже той шумихи и суеты, которая неминуемо возникнет от самой подготовки их юбилея. Запланированная радость всегда превращается в мероприятие: в этот закон Иван Степанович верил безусловно, поскольку прожил достаточно долгую и трудную жизнь в стране с непременным планированием всех праздников, торжеств и юбилеев. Но в данном случае он ничего не сказал, потому что очень уж Лидия Петровна обрадо-

валась возможному приезду остальных детей, которые редко баловали их посещениями.

— Может, дети приедут. Юрочка и Маришка.

— Так ведь картошки вареной все равно нам с тобой уж никто не пришлет, — улыбнулся муж.

— Не пришлет, — согласилась Лидия Петровна. — А того шампанского можно достать? И кагору бы. «Араплы» он назывался, я все помню!

— Сделаем, — сказал Иван Степанович. — Для такого случая, Лидочка, ничего не жалко.

Он хорошо знал все законы и постановления и неукоснительно, с подчеркнутой старательностью соблюдал их во всех случаях жизни. Это был его собственный способ борьбы с повсеместно укоренившимся разгильдяйством и наглым ничегонеделанием: Иван Степанович личным примером как бы укорял и стыдил всех тех, кто позволял себе не исполнять, нарушать и обманывать. И чуточку гордился этим своим личным вкладом в общее дело.

Но просьба жены требовала официальных разрешений, чтобы это не выглядело нарушением. Конечно, никто не объявлял сухого закона, и все же Иван Степанович терзался, не нарушает ли он тем самым… Но ответ могли дать только в официальном учреждении, и он, взяв старое,

пожелтевшее свидетельство о браке, пришел в загс.

— Видите ли, тут такое деликатное дело. Мы с супругой хотели бы отметить…

— Это сорок лет получается? — почему-то с невероятной брезгливостью спросила молодая сотрудница. — Ишь, чего захотели. Положено пятьдесят, и ждите.

— Но… десять лет ждать, могу и не дожить, — вдруг заискивающе сказал Иван Степанович, но девица перебила:

— Вот если кто из вас помрет, то по свидетельству о смерти могу дать разрешение на десять бутылок водки.

— Не нужна нам водка. — Иван Степанович чувствовал собственную угодливую интонацию, негодовал, но сменить ее не решался. — Нам бы шампанского и кагору «Араплы». Так, для памяти…

— Араплы! — презрительно повторила девица. — У нас нет никакого кагора с шампанским, а есть алкогольные единицы. Доживете до своей золотой, и я вам лично десять единиц…

— Я понял, понял, хорошо! — вдруг суетливо и виновато заговорил Иван Степанович, взял свидетельство и вышел из загса с большой по-

спешностью.

Конечно, его неприятно кольнуло, что сотрудница так бестактно намекала на их невеселый возраст, делая это с особо настырной бесцеремонностью. И все же не это было самым обидным. Зависимость — вот что оказалось нестерпимо оскорбительным. Глупейшая зависимость от скверного настроения, каприза, дурного характера, сиюминутной обиды тех, от которых зависело, дать ему право исполнить просьбу жены или — не желаю, и все! — не давать такого права. «Господи, ведь я же и тогда непьющим был, — с глубокой обидой думал Иван Степанович. — А теперь к алкашам приравняли. На пенсии, на старости лет…»

Да, никто больше не посылал последнюю свою картошку на чужой праздник. Никто…

А праздник все равно должен был состояться непременно таким, каким хотелось видеть его Лидочке — располневшей, усталой, одышливой. А хотелось ей, чтобы на праздничном столе в честь сорокалетней годовщины ее великой радости стояли две бутылки — бутылка шампанского и бутылка кагора «Араплы», которых ни она, ни ее Ванечка заведомо не тронут, поскольку это им давно уже запретили врачи. Но тронут их дети. По

глоточку, как причастие. И непременно все трое.

А идти было некуда. И жаловаться не на кого. Потоптался Иван Степанович возле загса, повздыхал, кое-как зализал ссадину в душе своей и решил сходить в последнюю инстанцию, которая еще занималась нуждами и правами фронтовиков.

— Ты что это, Костырев, постановление общего нашего собрания, которым мы на историческое решение откликнулись, позабыл? — с упреком спросил его председатель городского Совета ветеранов. — Мы же единогласно решили, что негоже участникам Великой Отечественной войны без очереди получать водку. Не к лицу это нам, которые всегда, с ранней юности громко откликались. Да ты же помнишь!

— Помню, — удрученно согласился Иван Степанович. — Но тут такой случай. Сорокалетие свадьбы фронтовика с фронтовичкой. Может быть, в порядке исключения, а?

— Тем более! — воскликнул председатель. — Два фронтовика вдвойне повышают ответственность, какие тебе еще исключения? Это ж позор, если вдуматься, а не исключение. Форменный позор всем тем, кто кровь свою…

— Верно, верно ты говоришь, правильно, —

торопливо забормотал Костырев, вставая. — Виноват, признаю свою ошибку. Счастливо оставаться.

Лидия Петровна и Иван Степанович числились «на заслуженном отдыхе», то есть с раннего утра стояли в разного рода очередях, таская в дом то, что удавалось выстоять, что, на их счастье, «выбросили» в продажу и что они успели ухватить. Их семье еще очень повезло, и все кругом завидовали им тайно или явно. А повезло потому, что они имели два удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны, и, хоть отпускали по этим удостоверениям мало, они и эту малость получали в двойном размере, а значит, в глазах всего многоквартирного блочного дома жили припеваючи, то есть так, как — в чем были уверены все жильцы — живут только в Москве. В той самой легендарной, ломящейся от продуктов Москве, из которой оказавшиеся там привозили сумки, набитые мороженым мясом, безвкусными сосисками и осклизлыми колбасами в целлофановой упаковке.

— Ну, Москва живет! — вздыхали. — Постоять, конечно, приходится, но сами-то москвичи в очередях не стоят. Им, говорят, заказы на дом развозят. Ну все, что только душа пожелает, — на

дом!..

Костыревы в Москву не ездили и разговоров подобных не опровергали, хотя относились к ним неодобрительно. А Иван Степанович имел собственную теорию, которая как бы сглаживала уж чересчур бросающуюся в глаза несправедливость:

— В Москве иностранцев полно. Что они о нашей державе там у себя напишут, если в магазинах будет, как у нас? Клевету они напишут. И вот, чтобы не было у этих заграничных писак почвы для клеветы, мы и свозим в столицу все, что имеем.

А с винной эпопеей произошла какая-то странность. Поначалу практически все искренне приветствовали борьбу за трезвость и радовались, ощущая первые результаты этой борьбы. А они были: перестали пить на производстве, в подворотнях, на улицах и просто так. Прекратилось пьяное бахвальство, в парках, кинотеатрах и даже на танцплощадках стало вполне пристойно, и матери перестали дрожать за дочек. Город трезвел на глазах, милиция энергично хватала любого, от кого хоть чуточку попахивало, а по вечерам молодые женщины уже отваживались гулять по главной улице. Утихли вопли и драки,

меньше стало матерщины, и городские власти с удовлетворением констатировали заметное снижение преступности. И это было правдой, но некий червячок уже начал подтачивать трезвое благополучие города.

Беда заключалась в том, что резкое сокращение продажи винно-водочного веселья не могло не войти в конфликт с уже сложившимся стереотипом «хватай, пока дают». Бутылка, приобретенная с невероятной затратой времени, как бы аккумулировала в себе это время, повышая собственную стоимость, пока не стала вполне осмысленной валютой. Валютой, которой можно оплатить любую услугу, выгодно перепродать в часы, когда официальная продажа запрещалась; которая никогда не теряла своей стоимости, а наоборот, неуклонно росла в цене, скромно спрятавшись в темном уголке кухонного шкафа. И поняв это, в очередь за «валютой» встали не только отпетые алкоголики, но и вполне трезвомыслящие жители. И очереди стали расти изо дня в день, а вместе с ними росла и цифра абсолютного потребления алкоголя городом. Росла, вместо того чтобы падать.

— Картину портим, — сокрушенно вздохнуло очень влиятельное лицо. — Подработайте этот

вопрос.

Подработали. По городу поползли свинцовые слухи:

— Магазины закроют…

— Время продажи сократят…

— По одной в руки…

Позже, когда в торговую сеть города спустили распоряжения и указания, слухи стали более конкретными. Это не означает, что они перестали быть слухами, нет, никто ничего не объяснял, ни в одном магазине не появилось ни одного объявления и ни в одной газете — ни строчки информации. Для горожан привычно соблюдалась тайна, и жители города привычно компенсировали ее фантастическими домыслами.

— Вообще все закроют…

— Не надо, Ванечка, — почему-то виновато вздохнула Лидия Петровна. — Бог с ним, с праздничком нашим.

Не скажи она «с праздничком нашим», Иван Степанович согласился бы — против жизни, как говорится, не попрешь. Но его жена думала о их наступающем сорокалетии как о празднике, и Костырев не мог допустить, чтобы этот праздник не состоялся. Слишком многое они пережили, слишком часто от многого отказывались, слишком

мало сил осталось, слишком уж хотелось увидеть сына со старшей дочкой, чтобы рассудительно готовиться еще десять лет к точно такому же событию, но с иной, официально признанной датой.

— Надо! — строго и торжественно сказал муж, точно произнося клятву. — Будет и на нашей улице праздник, Лидочка.

— Так ведь очереди…

— Правильно отец сказал, мама, — вмешалась Татьяна. — Ну, постоит, может, как фронтовику…

— Как фронтовику не положено. Отказались мы от льгот в этом направлении.

— А вот назло! — непонятно, но горячо объявила дочь. — Обязательно даже, и все!

Продажа спиртного начиналась в два часа: это Иван Степанович знал из многочисленных объявлений в печати и по телевидению. Но поскольку сам он в этих очередях не стоял, то и понятия не имел, по скольку бутылок отпускают в одни руки. В этом вопросе он опирался только на слухи, а они авторитетно утверждали, что перед Новым годом есть распоряжение «ровнехонько одну на нос», а пессимисты поговаривали, что вполне возможна комбинация «одна на два носа». Как бы там ни было, а Иван Степанович здраво пред-

полагал, что «одну на рыло» — распределение вполне реальное.

— Придется, Лидочка, выбирать: либо шампанское, либо кагор. Две сразу, так думаю, что не позволят.

— Гулять так гулять, Ванечка, — бесшабашно улыбнулась Лидия Петровна. — Вместе мы с тобой жизнь прожили, вместе и за вином постоим. Назло, как Татьяна говорит.

— Точно, мама! — крикнула дочь из комнаты: — Чем больше запретов, тем дети злее: этот закон мне еще в педучилище растолковали.

— Постоим, Лидочка. — Иван Степанович озабоченно покивал. — Только ведь долго стоять придется, часа два, не меньше, говорят.

— Подменимся. Я постою — ты посидишь, а потом наоборот. И выйдем пораньше: день-то рабочий, а мы с тобой пенсионеры.

Вышли они к одиннадцати, за три часа до начала, но от магазина «Вино» уже вилась длинная очередь, во многих местах обозначенная ящиками, перевернутыми ведрами и даже складными стульями.

— Люди это, люди, — сердитой скороговоркой пояснила сухонькая старушонка с колючими глазками. — Они все загодя пришли, загодя,

знаю.

— За час все явятся, — сказал полный мужчина далеко не пенсионного возраста, занявший очередь за ними. — У нас закон железный: за час до открытия не появился, значит, не стоял.

А люди все подходили и подходили, и очередь росла на глазах. Хвост ее удлинялся, шевелясь и изгибаясь, и от этого непрерывного шевеления она казалась живой сама по себе, автономно, вне зависимости от людей, и, глядя на нее, можно было бы, пожалуй, более точно понять выражение «зеленый змий», хотя змий был скорее скучно-серым. И еще он хрустел снегом, беспрестанно переступая сотнями ног.

— С наступающим!..

Стоявшие в очереди были людьми вежливыми, и предновогоднее приветствие парило над растущим змием. Хвост его уже завернул за угол, уже потерялся, пропал из поля зрения, но не мог пропасть из сознания, ибо каждый из стоявших в очереди ни на мгновение не переставал ощущать себя частичкой единого целого. У всех были равные возможности, единая цель и одинаковый способ ее достижения: по двадцатке в магазин. Двадцатку эту отсчитывали милиционеры, пропускали ее внутрь, к прилавку, а остальных

задерживали, пока продавщица не кричала: «Давай следующих!» Тогда определялась очередная двадцатка, очередь передвигалась на двадцать шагов и послушно замирала до следующего крика.

— Порядок, — подытожил полный, объяснявший Костыреву технологию приобретения спиртного. — Конечно, если у кого знакомство, тогда другой коленкор. Тогда без очереди пригласят: мол, Сидор Иваныч, проходи.

— И никто не спорит? — скорее из вежливости, чем из любопытства, спросил Иван Степанович.

— Себе дороже! Поспорь, попробуй, а она тебя спекулянтом объявит. Мол, ты уже сегодня покупал. И ори не ори — все равно милиция выведет. А то и привлечет. Сейчас те, кто на водке, — большая сила.

— С наступающим, граждане!

К ним подошли двое мужчин неуловимого возраста, неуловимой профессии, неуловимого семейного положения: их различали только рост и масть. Один был черен и высок, другой — тощ, белес и мелковат. Ко времени их появления очередь уже разбилась на крохотные микрообщества из двух-трех особей, объединенных территориально, и эти двое шли сейчас вдоль

очереди, перекатываясь от группы к группе.

— А, вот и знакомый! — радостно объявил чернявый, увидев полного. — Мы же за тобой занимали, точно?

— Точно, мужики, — без особого энтузиазма отозвался полный, стоявший за Костыревыми. — Че слыхать?

— А то слыхать, что народ всегда правду режет, — сказал, шикарно сплюнув, чернявый. — На Первомайской — ку-ку водяра, у трамвайного кольца — тоже ку-ку, а на Водопьяновской — переучет.

— Мордуют, — вздохнул полный.

— Вот! — Чернявый опять сплюнул. — И потому здесь сегодня не змея тебе, а удав будет. — Он сурово оглядел стариков Костыревых и неожиданно мягко добавил: — Катитесь отсюдова, старички, а особо ты, мамаша. Бока намнут, это я те точно говорю.

— Сорок лет нам, сынок, — почему-то с некоторым заискиванием сказала Лидия Петровна. — Отметить хочется, дети приедут.

— Ну, гляди, мамаша. Я ведь от души.

И пошли, перекатываясь к следующим группам и везде завязывая разговор, везде находя если не знакомых, то завсегдатаев очередей. А старуха с

пронзительными глазками, что стояла впереди, пояснила:

— Нарочно пугают, нарочно. Чтоб, значит, на твое место впереться. А денег у них — куры не клюют. Потому-то и проспали.

— Не проспали, а ночь работали, — поправил ее полный. — Это таксисты, у них смена по двенадцать часов.

— Спекулянты они, а не таксисты. Спекулянты! Я их тут…

— И я тебя, — с угрюмой угрозой перебил мужчина. — Сколько мест в очереди заняла сегодня, старая карга? И за трояк каждое продаешь за час до открытия.

— Чего врешь, чего врешь-то…

— Ладно, не егози, пока я про твое занятие людям не рассказал. А то ведь взашей вытолкают и очень даже правильно сделают.

— Вытолкают… — вдруг тихо согласилась старуха, и слезы градом посыпались из воспаленных остреньких глазок. — А пенсию ты мою знаешь? Знаешь? Можно на нее жить, коли у меня дочка — инвалид полный с самого детства, а муж помер давно.

— Это у тебя-то муж помер? Ты мне баки-то не заливай, старая.

— Ну нету мужа, нету. А дочка-то есть? Есть. И всю свою жизнь — инвалид. — Она громко всхлипнула и обратилась непосредственно к Лидии Петровне: — Поверишь ли, милая моя, не накормишь, так и не поест. И в двадцать один годочек — все дитя дитей.

— А ты где ее заделывала, вспомни. При буфете на пристани за полбутылки с любым сезонником…

До сих пор старики Костыревы застенчиво помалкивали. Они не стояли в подобных очередях, не слыхали обычных для этих очередей перебранок, не привыкли к крепким выражениям. Им было так неуютно, что они старались не глядеть не только по сторонам, но и друг на друга. Но последнего заявления не выдержала Лидия Петровна.

— Постыдились бы, — негромко сказала она. — Гражданочка в матери вам годится, а вы…

— В матери? — вдруг озлобился полный мужчина. — Нужна мне…

— Ну, хватит, хватит, — миролюбиво и чуть заискивающе зачастил Иван Степанович. — Не надо ругаться, не надо ссориться. Свои же люди, советские, в одной очереди стоим.

Воспользовавшись переключением внимания,

старуха, шепнув Лидии Петровне: «Я на минуточку…», выскользнула из очереди бесшумно и незаметно, как мышка. А полный мужчина, занятый разговором с Костыревым, смущенно крякнул:

— Извиняюсь, конечно, просто достала она меня. И так обид у нас накопилось — на три Франции хватит, а тут эта…

— Мы понимаем, понимаем, — согласно закивал Иван Степанович. — Очень уж стояние в очередях нервы выматывает. И обидно, конечно, вы правы. Мы фашисту голову скрутили, двадцать миллионов жизней не пощадили, а очереди — больше довоенных. Может, вредительство какое?.. — Он вдруг спохватился, что ляпнул нечто из прошлых формулировок, испугался, потоптался немного и сказал вдруг: — Может, пойдем отсюда, а, Лидочка? Ну их, бутылки эти.

— Нет уж, Ванечка, столько стояли, а теперь — домой? Нет уж, достоим. Мы ведь с тобой и не такое выдерживали…

А очередь тем временем жила своей жизнью, жизнью отдельных людей, добровольно выстроившихся друг за другом в стремлении к общей цели. Цель эта была равно достижима для каждого, и поэтому здесь не было ни особых ссор, ни

сведения счетов, ни попыток поставить себя в положение исключительное. Нет, все добровольцы знали, на что они шли, а потому и запаслись достаточным терпением. И если очередь гудела — так сдержанно, если вздыхала — то разом, а если топталась, то на месте, только чтобы размять ноги. Она была несравненно больше обычных очередей за мясом, колбасой, сыром или маслом, но в отличие от них — женских, истерично крикливых, недоверчивых, суетливых — обладала внутренним порядком, спокойной выдержкой и даже известным достоинством. И когда Иван Степанович осознал эту разницу, удивился:

— Знаешь, Лидочка, люди-то у нас больно хороши. В такой очереди, а стоят себе смирно, покойно. И никакие не алкаши мы: просто судьба на нас всю жизнь сбоку глядит.

— Точно, Ванечка, — вздохнула жена, — сбоку, это точно.

— Ведет! — сказал полный, стоявший за ними. — А я что говорил?

К ним приближались оскорбленная старуха и солидный мужчина в дубленке. Лицо у мужчины было хмуро отрешенным и одновременно брезгливым, точно он делал очереди невесть какое одолжение.

— Это вместо меня, значит, — поспешно сказала старуха. — Сосед мой. А мне и вина вашего не надо. Не надо!..

И поспешно засеменила прочь. А полный весело поинтересовался:

— Эй, сосед, сколько бабуле за очередь отвалил?

— Вы ко мне? — дубленка с достоинством, всем телом повернулась. — А вам что за дело? Я же, кажется, у вас не спрашиваю?

— Чего, например? — грубовато отозвался мужчина. — Ты, дядя, тут не рыпайся, тут все равны, это тебе не в кабинете сидеть. Тут, чтоб ты знал, полная демократия с гласностью уже выполнены и перевыполнены.

— Но вы таким тоном спросили…

— Товарищи, пожалуйста, прошу, прошу, — зачастил миролюбивый Иван Степанович. — Знаете, как-то даже неудобно, честное слово. За таким, можно сказать, продуктом стоим, дружно стоим, чинно и мирно.

Засмущались его соседи. Переглянулись, дубленка полного сигаретой угостила, усмехнулись почти по-приятельски.

— Я ведь только ценой за место поинтересовался.

— Три рубля, — вздохнула дубленка. — Думаете, я из-за этого трояка расстроился? Да наплевать, я из-за спекуляции расстроился. Сами же ее и порождаем, сами, добровольно! То, понимаете ли, дефицитом, то неритмичным снабжением, то вот такими не очень продуманными мерами по борьбе с пьянством накануне праздника.

— Тут они — мастаки, — угрюмо согласился полный. — Что им очередь наша, им ведь в ней не стоять: в спецбуфете либо в спецзаказе наверняка бутылек-другой подсунут.

— Чего не знаю, о том не говорю, — строго определила свою позицию дубленка. — Но ведь всем известно, что существуют народные и государственные праздники, так зачем же усложнять населению жизнь? Надо усложнять, когда нет никаких праздников, когда в очереди, как правило, либо употребляющие регулярно, либо бездельники, либо спекулянты. Это был бы разумный государственный подход.

— Усложнять никогда не надо, — не согласился полный. — Упрощать надо, и так все заусложняли — ни вздохнуть, ни пер… Извиняюсь, мамаша, конечно, сорвалось.

Он пытался порою вовлечь в общий разговор застенчиво помалкивающих стариков. То ли сим-

патичны они ему были, то ли жалел он их, то ли, наоборот, с трудом выносил их инородные в этой очереди смущенные лица. Как бы там ни было, а обращался он к ним с неизменным грубоватым добродушием.

— А ведь раньше, до войны, не пили, правду я говорю, Ванечка? — сказала Лидия Петровна, даже в этой лишенной сентиментальности очереди не утратив привычного обращения к мужу. — Это ведь вы, молодые, не помните, а мы помним.

— Дешевая тогда была водка — ну, прямо, копейки, — поддержал ее супруг. — Но чтоб так вот, как сейчас, или, особо если, как пять-шесть годков назад, так, конечно, не употребляли. Не было этого в привычке.

— А потом сто граммов наркомовских ввели — и сразу привычка образовалась? — насмешливо спросил мужчина в дубленке. — Упрощаете вы социальную нашу болезнь, уважаемые товарищи фронтовики.

— У нас это не социальная болезнь, — негромко, но с неколебимой уверенностью сказал Иван Степанович. — У нас не может быть социальных болезней, потому что у нас бесклассовое общество. У нас распущенность нравов из-за периода застоя.

— Опять в исключительность играем? — усмехнулась дубленка. — У них все пороки, у нас все добродетели. Удобно!

— Бред — ежу ясно, — поддержал его полный. — Лапшу на уши полвека людям вешают.

— Полвека полнейшей дезинформации и разухабистого вранья, — серьезно, даже строго сказал мужчина в дубленке. — Помните знаменитую рубрику «Их нравы»? А выяснилось, что это заодно и наши нравы: и взяточничество, и преступность, и наркомания, и проституция, и алкоголизм, и казнокрадство, и даже, представьте себе, мафий разного рода у нас оказалось предостаточно. Вот ведь какова объективная реальность, а вы и до сей поры, как страусы, головы в песок: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего и знать не хочу.

— Нельзя же огульно охаивать наши достижения, — тихо, но крайне твердо сказал Иван Степанович. — Мы, между прочим, фашизм разгромили..

— Милиция!.. — вдруг прокатилось по очереди. — Милиция приехала! Становись в затылок другу другу! Становись в затылок!

— И никого не пускать! — закричало сразу несколько женских голосов. — Живая очередь!

Живая!..

Очередь и впрямь ожила: задвигалась, загомонила, выстраиваясь строго в затылок друг другу, прижимаясь к стене дома и от этого заметно отступая назад. Иван Степанович заботливо поставил перед собой Лидию Петровну. Она оказалась за дубленкой, а за спиной самого Костырева сопел и ворочался полный мужчина:

— Через полчаса пускать начнут. Первую двадцатку.

— А почему через полчаса? — удивился Костырев. — До открытия всего десять минут осталось. Ровно десять: сейчас тринадцать пятьдесят.

— Разобраться должны, — прогудел полный. — Кому где стоять, кого куда пускать.

— Разобраться? — живо откликнулась дубленка. — Разобрать, а не разобраться. Кому сколько бутылок сегодня принести поручено.

— А вы злой, — вздохнула Лидия Петровна и виновато улыбнулась.

— Я не злой. Прощать мне надоело, понимаете?

— И напрасно. Прощение — великая сила.

— Прощение — великое равнодушие. Вот когда все мы, весь народ, как в войну, научимся ничего никому не прощать, тогда и случится то,

что называется перестройкой. А будем прощать, как прощали, так и останемся на том же месте. Догнивать на передовых идеях.

— Хана, мужики! Хана! Еще раз вздрючили, гады!..

С этими непонятными криками вдоль очереди семенили давешние знакомцы, которых полный мужчина назвал таксистами — черный и белесый. Вид у них был настолько взволнованный, что полный, не утерпев, схватил белесого за рукав:

— Здесь вы стоите, за мной. Чего орешь?

— А то, что водки в два раза меньше обычного, понял? Двадцать ящиков вместо полста!

— И вина тоже урезали, — возмущенно подтвердил чернявый. — Мы точно знаем, сами грузчиков спрашивали.

— Что хотят, то и делают. Ну, что хотят, то и делают!..

С этими патетическими возгласами оба таксиста стали энергично втискиваться в уже чинно выстроившуюся очередь.

— Вы тут не стояли!

— Стояли! Вон, у мужика спроси! Мужик, поддержи!

— Стояли они, стояли, — подтвердил полный,

потому что они влезали как раз за его спиной, и он не хотел напрасных осложнений.

— Не видела я их! Не видела! — истерично кричала женщина сзади. — Не пускайте их! Не пускайте, граждане, что ж это делается!..

— Молчи, тетка. Мы в разведку ходили.

— Милиция! Милицию позовите!..

Участок очереди, где смирно стояли Костыревы, вдруг ожил, зашевелился, задвигался, качаясь и выпучиваясь. Люди испуганно хватали друг друга за одежду, за плечи, за пояса, чтобы только удержаться в строю, чтобы случаем не вылететь из него.

— Милиция!..

— Не пускайте никого! Не пускайте!..

— Держитесь друг за друга! Плотнее, плотнее!..

— Никого не пускать! Никого! Живая очередь! Живая!..

Очередь оживала все энергичнее, хотя таксистам уже удалось в нее вклиниться, и они теперь тоже крепко держались за соседей. Начавшаяся в этом месте суета, толкотня и неразбериха перекатывалась в обе стороны: удав просыпался, и дрожь его тела ощущалась во всех звеньях. И все цеплялись друг за друга, ворочаясь одновременно, слепо и бессмысленно. И чем дальше

происходила подвижка от центра возмущения, тем все больше она теряла конкретный смысл, заменяясь интересами всеобщими.

— В два раза меньше, говорят.

— Говорят! А в четыре не хотите?..

— Борьба за нашу трезвость. Лучше бы за свою поборолись.

— На скольких же сегодня хватит, а? Нам-то хоть достанется?

— Может и не достаться.

— Как это то есть «может»? Я четыре часа стою!..

— Эй, милиция! На сколько человек завезли?

— Продавца сюда! Давайте продавца, пусть объяснит!

— И пусть по одной бутылке в руки!..

— Это еще почему? А если у меня гости?..

— В порядке живой очереди!..

— Живой…

В это время открылась одна из створок магазинных дверей: вторая была заделана наглухо да еще дополнительно укреплена. Так было легче сдерживать напор очереди, легче бороться с попытками проникнуть в магазин сбоку, легче отсчитывать двадцатки счастливчиков, которых допускали внутрь. Это была вполне разумная

мера, рассчитанная на спокойную, «мертвую» очередь, но сегодня очередь оказалась «живой».

— Открыли!..

Никто потом не мог объяснить, почему вдруг привыкшая к безмолвному послушанию, выстроенная строго в затылок друг другу очередь именно в этот миг безудержно устремилась вперед. Половина двустворчатых дверей была уже распахнута настежь, двух милиционеров и продавщицу смели с порога, отбросили в тамбур, прижали к стене, и уже не очередь, а охваченная единым движением толпа повалила в магазин, в считанные секунды до отказа переполнив его. Затрещали прилавки, закричали женщины, зазвенели стекла.

— А-а-а-а!..

Рев возник сам собою, как выдох из множества зажатых, стиснутых, смятых грудных клеток. Звериный рев вместе с истошными, полными ужаса женскими криками, громогласной матерщиной, треском ломаемых перегородок. Ни о каких покупках, естественно, и речи идти не могло: распихивая окружающих, наиболее сильные прорывались за разгромленные прилавки, хватали из ящиков столько бутылок, сколько успевали, и начинали тут же яростно проры-

ваться к единственному выходу — к служебным подсобкам, где были двери на улицу. Уже кто-то кого-то ударил, уже вовсю работали кулаками, плечами, ногами, уже никого и ничего не видели, кроме заветных бутылок, и уже никто никого не жалел и не щадил.

— Что ж вы делаете, что де-е!..

— Тише!.. Тише!..

— Люди!..

— Спаси-и!..

Гулко треснуло и со звоном вылетело витринное стекло. Кого-то бросали на него, кого-то прижимали к его осколкам: брызнула первая кровь, упали первые люди, но и по крови, и по людям неудержимо, с бессмысленной силой и яростью топали новые семенящие ноги. Конечно, большинство шло не по своему желанию и вопреки своей воле, но у толпы свои законы, не подчиняться которым не может ни один самый отчаянный одиночка: его сомнут и раздавят. С толпой есть лишь один способ борьбы: не допустить ее возникновения. Но здесь она уже вышла из-под контроля.

В тесном магазинчике — местные власти сделали все, чтобы затруднить жителям приобретение спиртного, — был ад. Кричали, дрались, топтали

упавших, рвали за одежду, за волосы, визжали от ужаса, матерились и били, били, били, прорываясь то ли к ящикам с водкой, то ли просто на волю. Но улица, слыша вопли и топот, не представляла себе истинного положения дела, а если бы и представляла, уже ничего не смогла бы сделать. Массовый психоз, превращающий нормальных, спокойных, даже выдержанных людей в одичавших громил, не знающих ни жалости, ни милосердия, уже поразил ее. Все стремились только к одной цели: попасть в магазин, и даже те немногие, которые уже не хотели этого, поделать ничего не могли. Они могли лишь подчиниться законам толпы, то есть идти туда, куда она вела…

— А-а-а!..

— Люди!.. Товарищи-и!..

— Лидочка!.. Лидочка, держись за дубленку товарища!.. Держись, Лидочка!..

Сам Иван Степанович за свою Лидочку держаться не решался. Он изо всех сил оберегал ее от толчков, и его мотало в толпе, как щепку. Старики все время пытались выбраться из очереди (бог с ним, с шампанским и кагором «Араплы»!), но чинная очередь давно сломалась, давно образовала несколько параллельных рядов, а задние все на-

жимали и нажимали, и приходилось старательно семенить, чтобы не упасть, не споткнуться, не позволить оторвать себя от стены, вдоль которой они когда-то выстраивались, потому что с этой стороны никто не давил, не жал, не дергал.

— Лидочка, держись!..

— Ванечка, обопрись на меня. Ванечка, обопрись…

— Люди, опомнитесь! — кричала дубленка, покорно семеня к входным дверям под напором сзади стоящих. — Что же вы делаете, люди?!

Торопливо семенящая очередь — уже не в один, а в два-три ряда! — втягивалась в узкую дверь магазина, как в воронку. Вторая, наглухо заделанная створка, в которую беспрестанно ударялись то плечами, то грудью, то головами те, кого несло с перекосом, мимо открытой двери, вздрагивала под этими ударами, но пока стояла несокрушимо, заблаговременно укрепленная железными полосами. Здесь было самое узкое место, резкий перепад, за которым следовал относительно свободный тамбур и еще одни двустворчатые двери, ведущие непосредственно в магазин. Эти двери, ничем не укрепленные, были сметены первым же людским потоком, разбиты и распахнуты настежь. Таким образом, сразу же за узким выходом

движение на некотором промежутке ускорялось, чтобы затем тупо упереться в неразбериху, крики, стоны, слезы, матерщину, звон посуды и треск ломаемых переборок.

— Держись, Лидочка!.. — отчаянно закричал Иван Степанович.

А закричал он, потому что сильным нажимом пристроившейся «незаконной» очереди его оторвало от Лидии Петровны. Между ним и его женой вклинились широкие суконные спины, кто-то локтем двинул Костырева в лицо, но он не почувствовал боли. Он весь был впереди, он думал только о ней, о своей Лидочке, унесенной человеческим потоком, пытался увидеть хотя бы ее платок, но Лидия Петровна была маленького роста, и суконные спины напрочь перекрывали ее.

— Говорил, держись за старуху! — зло кричал над ухом полный, приклеившийся к Костыреву, как пластырь. — Скольких вперед пропустил, дерьмач старый!

— Лидочка!.. Лидочка!.. — не слушая, надрывно кричал старик, покорно семеня к дверям в объятиях полного соседа.

Крик потонул в отчаянном женском вопле, полном боли и ужаса, и Костырев не то чтобы

узнал — животный крик этот узнать было уже немыслимо, — Костырев, понял, кто это кричит.

— Лидочка!.. Тише!.. Прошу, товарищи, милые, прошу…

А впереди в узком проеме дверей творилось нечто непонятное. Очередь вдруг заметалась, многие неожиданно начали подпрыгивать у самого порога, резко усилились крики, но, кроме мата да отдельных междометий, ничего нельзя было разобрать.

— Лидочка!..

Костырева уже поднесло к двери, и он увидел ее. Свою жену, с которой прожил сорок лет без четырех дней, женщину, родившую ему троих детей. Боевого товарища, фронтовую радистку, раненную за неделю до конца войны.

— Лидочка…

Она лежала ничком на самом пороге, платок сбился с седой головы, и на этой седине особенно ярко проступила кровь. Видно, ударило Лидию Петровну виском о косяк, видно, уронили ее те, кто давил сзади, видно, отшатнулся в естественном порыве тот, в дубленке, и она упала лицом вниз, а правая, неестественно вывернутая рука пересекла порог. И на какую-то долю секунды, сдержав чудовищный напор толпы собственным

старческим телом, Иван Степанович с необычайной, неестественной ясностью увидел и окровавленную голову, и растоптанную откинутую руку, и тут силы покинули его, и он рухнул на ее тело…

Жуткое дело

Начальник райотдела милиции майор Пронин чистил сапоги на служебном крыльце. Раньше он чистил их дома, но с той поры, как его жена начала выписывать журнал «Здоровье», ее измучила аллергия. И майор теперь драил обувь исключительно на службе.

Светило солнце. Город осторожно начинал трудиться. А только что заступивший на дежурство сержант милиции Николай Муховоз вслух читал свежие газеты:

«…но старший лейтенант мгновенно понял коварный замысел преступника. Прием, и матерый бандит взвыл от боли, лежа на земле…»

— Кто взвыл? — весело спросил зам по угро капитан Холмов.

— В Костроме старший лейтенант голыми руками рецидивиста повязал, — вздохнул сержант. — Везет же людям.

Он был молод и мечтал о подвигах. А майор был в средних летах и мечтал, чтобы не было осложнений. Никаких, никогда, ни на службе, ни дома. И начал в этом смысле воспитывать подчиненного, когда в воротах появилась очень взволнованная

дама средних лет и средней упитанности в кудряшках времен покорения целины.

— Здесь милиция?

С этого все и началось. И потом майор часто ловил себя на мысли, что тогда, в то солнечное утро, не сделал элементарного упреждающего выпада: не сказал солидной гражданке, что никакая это не милиция…

Не сказал. С того все и началось. И через три минуты майор сурово слушал, капитан слушал жадно, а сержант протоколировал показания и потому слушал вполуха. Возникал —

ДОКУМЕНТ № 1

«Я, Корноухова Стелла Трофимовна, учительница литературы и зоологии, прибыла вчера из совхоза “Подсолнечный” для товарищеского обмена опытом, после которого опоздала на автобус и была доставлена сослуживцами в местную гостиницу для переночевания. И уже находясь в постели в процессе засыпания, совершенно ясно услышала разговор в соседнем номере:

– Ты сдала Пернатого мусорам? Молчать, девочка, твоя песня спета! Облом,

сделай так, чтобы она исчезла без следа.
Ты меня понял, Облом?
– Нет проблем, Пах Пахыч.
– Волоки ее в мою машину…»

Протокол не зафиксировал, что в этом месте со свидетельницей произошла легкая истерика. Однако, выпив воды и будучи дружески охлопанной майором Прониным лично, дама сумела взять себя в руки.

— Исчезай, говорит. А я, говорит, жду гостей.

Она вновь задохнулась, но майор вовремя охлопал ее.

— Ну а дальше? Дальше?

— Дальше? Дальше отчетливо помню глухой стон, волочение тела. Подчеркиваю, женского.

— Его что, по-другому волокут? — спросил начугро Хохлов.

— Разный звук. Абсолютно разный, прошу зафиксировать. Значит, волочение женского тела… Потом дверь хлопнула, потом… Потом я сидела не шевелясь: знаете, какие замки в номерах? И если бы они услыхали мое дыхание, они бы… — Она вновь отерла слезы и завсхлипывала. — Это просто ужас, что я пережила, ужас.

— Дальше, — сурово разомкнул губы майор и

опять хотел охлопать.

— Дальше машина отъехала. Дальше… Дальше тихо так стало, а я — вся внимание, вся внимание! И слышу за стеной — знаете, какие стены в номерах? — слышу приглушенные голоса, ничего не разберешь. А потом мужчина сказал: «С делом покончено». И опять хлопнула дверь и все стихло, а я до утра не спала, думала: вернутся — прикончат, только к утру задремала, а потом бегом к вам.

— Подпишите показания. — Майор решительно скрипнул начищенными сапогами. — Сержант Муховоз, проводите гражданку на автобус и доставьте сюда ночную дежурную Дома колхозника… То есть ныне гостиницы «Ивушка плакучая».

— Да она поди спит.

— Разбудить!

Сержант и заплаканная дама вышли. Майор поскрипел сапогами и горестно вздохнул:

— Вот и влипли. Радуйся, угро!

— Банда может быть проездом, — задумчиво сказал капитан. — Но девушка несомненно местная. Приезжали мстить. Закон мафии. Лев прыгнул. Считаю необходимым проверить, кто из девушек не ночевал дома.

— Сегодня, что ли? — недовольно переспросил начальник: ему не хотелось никаких расследований.

— На проверку уйдет дня три. Будем просить сообщать, кто находится в отсутствии. Вычислив девушку, установим ее связи, круг друзей и знакомых, и захлопнем капкан. Дело обещает быть весьма…

И вошла немолодая дежурная под конвоем сержанта.

— На вокзале взял, — пояснил сержант не без гордости.

— Не спала я, не спала! — с порога почти с натуральным возмущением закричала дежурная. — Я никогда на работе не сплю, разве что глаза закрываю.

— Спокойно, гражданка Бессонова, — сказал майор. — Отвечать будете только на вопросы. Сержант, веди протокол.

Так появился —

ДОКУМЕНТ № 2

«*Вопрос.* Кто ночевал в гостинице в эту ночь?

Ответ. Мужчина. И женщина. Но в разных номерах, как положено.

Вопрос. Имена?

Ответ. Да что они, знакомились со мной, что ли?

Вопрос. Как записаны в регистрации: ФИО, паспортные данные, откуда, куда, зачем, почему?

Ответ. Это… Не записывала я. На одну ночь, чего записывать-то? Вон, газеты критикуют.

Реплика капитана тов. Холмова. А денежки небось взяла.

Ответ. Не докажете.

Вопрос. Опишите наружность.

Ответ. Женщины, что ли? Полная, солидная, учительница из совхоза Стелла Трофимовна. Так спешила, что хозяйственную сумку в номере оставила, и я ей ту сумку отнесла на автостанцию, а этот ваш…

Вопрос. Спокойно. Опишите мужчину.

Ответ. Не наш.

Вопрос. Почему так думаете?

Ответ. Одет во все заграничное.

Реплика капитана тов. Холмова. Вот!..

Вопрос. Словесный портрет.

Ответ. У нас в коридоре портрета не

видно. Мы электричество экономим.

Реплика капитана тов. Холмова. Ну, роста, роста он какого?

Ответ. Снизу все они высокие.

Вопрос. Что значит снизу?

Ответ. Так ведь я сижу, а они стоят.

Вопрос. Один был мужчина?

Ответ. Один. Или два? Вроде за ним заходил кто-то.

Реплика капитана тов. Холмова. Спала!

Ответ. Не докажете. Я только сижу с закрытыми глазами, а так не сплю.

Вопрос. Ну, ладно, ладно. Когда мужчина ушел?

Ответ. Не знаю. Ночью, видать. Или заехали за ним. Я глаза открыла, а передо мною – ключ от номера.

Реплика капитана тов. Холмова. Сбежал? Ха! Вот работнички.

Вопрос. Прекрати.

Ответ. Глаза только прикрыла. А все слышала.

Вопрос. Что именно?

Ответ. Значит, так. Перья какие-то сдавали. В мусор, что ли.

Реплика капитана тов. Холмова. Так-так-так! Дальше что?

Ответ. Песня, говорит, спета. Твоя. Обком, говорит, ты этакий.

Вопрос. Откуда шел голос?

Ответ. Из номера. Из него. Который мужчина. А потом глаза открыла – батюшки, а ключ-то на столе!

Реплика капитана тов. Холмова. Трудовая дисциплина называется!

Ответ. Не докажете.

Вопрос. Хватит! Сколько времени было, когда слышали голоса, и сколько, когда увидели ключ?

Ответ. У меня часов нету. А те, которые висят, те стоят.

Вопрос. Ясно. Подпиши и распишись. Тайну не разглашать, из города не отлучаться. Пока свободна.

Ответ. Пока?!»

Подписав протокол, дежурная ушла. Все были в нервно приподнятом настроении. Хромовые сапоги майора источали аллергический дух.

— Значит, что получается, — сказал майор Пронин. — Дело открываем на основании двух

идентичных показаний — это раз. Немедленно всеми наличными силами осуществляем наличие отсутствия молодых женщин — это два. Докладываем прокурору, райкому и наверх, поскольку дело жуткое — это три.

— Запрос! — воскликнул капитан. — Пернатый — кличка редкая, может, в прошлом летчик. Надо запросить, не проходил ли когда по мокрым делам.

— За работу, товарищи! Руководство операцией беру на себя. Капитану Холмову — поиски исчезнувшей жертвы и запрос о Пернатом. Две ниточки — это две наших вожжи! Сержанту Муховозу дежурить в отделении, покуда лично не отменю приказ. Вечером — совещание. Все.

И в спокойном районном центре, где отродясь никто никого… разве что колом по башке… завертелась бурная сыскная жизнь. Майор лично посетил прокурора, райком партии, школу и совхоз «Подсолнечный», из которого вернулся с особым скрипом сапог и иным запахом гуталина. Капитан Холмов тщательно осмотрел все четыре номера гостиницы «Ивушка плакучая» (быв. Дом колхозника), отправил найденный окурок на экспертизу в Центр вместе с запросом о Пернатом и договорился с райкомом комсомола о помощи

в поисках исчезнувшей жертвы. А бессменный дежурный сержант Муховоз пошел в городскую библиотеку, откуда на мотоцикле с коляской привез неполное Собрание Сочинений Героя Социалистического Труда и начал изучать его с первого тома, часто прикрывая глаза по рецепту дежурной Бессоновой.

— Идея! — вскричал капитан Холмов на вечернем заседании. — Где в нашей конкретной местности можно быстро и без труда спрятать убитый труп девушки? В озере Темном: глубокое, вокруг пустынно, а шоссе рядом. Прошу разрешения опросить работников рыбнадзора.

— Это версия, — поддержал начальник. — Отрабатывать будем все версии, не считаясь со временем и затратой сил.

На другой день начугро Холмов умчался в рыбнадзор на единственном служебном мотоцикле. Правда, рыбохрана не заметила ничего подозрительного, но, введенная в курс дела, обещала бдеть. Сержант Муховоз перешел ко второму тому, а майор вновь укатил в совхоз «Подсолнечный». На райкомовской «Волге» вместе с прокурором и двумя березовыми вениками.

К вечеру следующего дня поступило официальное сообщение Центра. Там работали четко,

и появился —

ДОКУМЕНТ № 3

«На ваш иск №... отвечаем, что кличка Пернатый в наших картотеках, а также в памяти ЭВМ не значится.

Для ориентировки сообщаем, что десять дней назад органами задержан известный рецидивист по кличке Патлатый. Ведется следствие».

— Вот кого сдала нам несчастная. — Майор Пронин горестно покачал головой. — Пернатый и Патлатый — одно лицо, это и ежу ясно. Просто бабы нечетко расслышали со сна.

— Свидетельница Корноухова не спала, — подчеркнул капитан.

— Она обмирает. Иногда, — загадочным голосом сказал начальник.

Наступило молчание, изредка прерываемое невразумительным бормотанием. На диване спал бессменно дежурящий третьи сутки сержант Коля Муховоз, положив под голову тома сочинений.

— Не пришла ли пора задействовать прессу? — осторожно спросил начугро.

— И я постоянно думаю о гласности, — сказал

майор. — Только не о нашей, районной: делать — так по-большому. Свяжись с областью. Но аккуратно, чтобы местные товарищи не сделали неправильных выводов.

Капитан связался. Майор опять уехал в совхоз «Подсолнечный» («для отработки версии»). Сержант Муховоз, которому теперь жена регулярно носила передачи, приступил к третьему тому.

А «дело» застопорилось. Никаких новых данных не поступало, но и старых никто не опровергал. Начугро осторожно намекнул, что дело обещает быть жутким, но областная пресса отнеслась к этому намеку скептически:

— Вы сперва преступников поймайте.

В этом был резон и, трясясь из области на выделенном персонально ему КамАЗе, капитан детально рассматривал свои козыри. Их было не так-то много: два идентичных заявления, явно сданный милиции Патлатый, никому неизвестный Облом и еще менее известный главарь по кличке (или имени?) Пах Пахыч. «Пахом Пахомыч? — размышлял Холмов, подскакивая на ухабах. — А может, Пал Палыч, переделанный для конспирации? Или уменьшительное от Пахан Паханович? Крепкий орешек…»

Так думалось начальнику угрозыска капи-

тану Холмову после разговора с заместителем редактора областной газеты, на которую бумаги в стране всегда хватало. Заместитель проявил разумную осторожность, предложив сначала поймать бандитов. И трясущаяся от путешествия в пустом КамАЗе по районным дорогам голова капитана была целиком занята дедуктивным и индуктивным анализом обстановки.

Дома, то бишь в родном Отделе, ждала нечаянная радость.

— Дружинники принесли, — расслабленно пояснил сержант Муховоз. — Достал меня классик…

Взгляд у него был мутноватый, голова плохо держалась на шее, язык с трудом оформлял мысли в некое подобие знакомых звуков. Но начугро презрел страдания подчиненного, сразу же цапнув бумагу.

ДОКУМЕНТ № 4

«Докладываю, что согласно донесениям в городе не ночевали дома последние четыре дня по невыясненным причинам сто восемнадцать (118) гражданок в возрасте от 14 до 32-х лет.

Начштаба Народной Дружины

(подпись неразборчива).

Комиссар штаба

(подпись неразборчива).

«Подтверждаю».

Участковый инспектор младший лейтенант

БЕРНАДОТТ».

— Сто восемнадцать, — с отчаянием прошептал капитан Холмов, тяжко опускаясь на стул. — В возрасте от четырнадцати. Какое растление Западом…

— А у меня Востоком, — с усилием произнес сержант, прорабатывающий пятый том собрания сочинений (неполного).

Наступило отчаянное молчание, в котором беззвучно трещали две головы. Но тут распахнулась дверь, запахло гуталином, и знакомый голос оптимистично пропел:

— Ночевала тучка золотая на груди… — Начальник помолчал, обвел взглядом подчиненных и запел иное: — Что ж вы, нули, все заснули? Шевелись, гляди! Вороные, удалые, гривачи мои! И-эх!..

Он сел за стол и с победным видом уставился на зама по угро. Капитан угнетенно молчал, а

сержанта как раз в этот момент свалил приступ целительного сна.

— Бездельники, — констатировал начальник. — Один читает третьи сутки, другой катается на казенных машинах. А я тем временем разработал версию, проверил цепочку, вышел на свидетелей, с их помощью опознал преступников и лично повязал после яростного сопротивления начальника рыбнадзора.

— Где?! — Капитан вскочил, опрокинув стул.

Сержант Муховоз, проснувшись от грохота, схватился за книгу. Майор глядел на подчиненных победоносно и покровительственно.

— Не мог же я их без охраны везти? Оставил в рыбнадзоре, вопреки капризам рыбинспектора. Он ведь…

— Сколько их? — нетерпеливо перебил Холмов.

— Двое. Работники леспромхоза. Характеризуются пока положительно и — не привлекались.

— А труп?

— Вот с него-то я и начал, — с удовольствием отметил майор. — Твоя догадка, что труп — в озере, послужила отправной точкой. Раз озеро, так кто мог видеть момент утопления?

— Рыбнадзор. — Капитан опять скис. — А они

не видели.

— Они — нет, так другие — да. Что такое озеро? Вода с берегами, так? А какие берега у Темного озера? Земли совхоза «Подсолнечный». Значит, кто мог заметить? Правильно, парочки, поскольку совхоз сдал клуб под общежитие ученым из области, которые у них второй месяц косят сено.

— Ну? — начугро не терпел отвлечений, когда вопрос касался профессии. — При чем тут ученые косари?

— Парочки. А раз парочки, то следует действовать через женщин. — Майор почему-то закашлялся и сам себя постукал по спине. — Женщины наблюдательны, а учительницы литературы и зоологии хорошо знают бывших воспитанниц. Дальнейшее — дело техники. Стеллоч… кхм… Стелла Трофимовна собрала четырнадцать возможных свидетельниц, объяснила им, что и почему мы ищем, и тут же девять человек припомнили все обстоятельства.

— Видели? — с замиранием сердца спросил капитан.

— Кто говорит, что троих, кто — двоих, но двое реальнее. Значит, двое. Ночью. Выгребли на лодке из кустов. Постояли. А затем тихо опустили в воду тяжелый предмет.

— Чесать! — заорал капитан. — Прощупать все озеро с целью обнаружения!

— Уже, — ухмыльнулся начальник. — Договорился с совхозным руководством, что завтра вместо уборки сена начнут чесать все озеро. А ты, капитан, бери мотоцикл и шпарь в рыбнадзор. И начинай допрашивать преступников, пока они еще тепленькие. Расколешь — покупай себе погоны с двумя просветами!

Капитан Холмов оседлал мотоцикл и с ревом умчался в густеющие сумерки. Сержант Коля Муховоз закончил очередной том и плаксиво запросился домой.

— Читай, читай. — Майор вздохнул, и победоносная легкость покинула его. — Домой придется идти мне.

Задержанные оказались не столько тепленькими, сколько перепуганными. Рядом с богатырем мотористом и громилой рабочим рыбнадзора они выглядели неказисто. Сам инспектор рыбохраны принципиально ушел домой.

— Фамилия? — грозно спросил капитан входя.

— Антиповы, — тихо сказал тот, что выглядел чуть поплотнее.

— Оба — два?

— Вся деревня.

— Деревня… А числитесь в леспромхозе.

— Сучкорезы мы и пожогщики. Нам в армию осенью, подработать хотелось..

— Подработать?.. — Глаза начугро блеснули поисковым огнем. — Так-так. Увести этого.

Рыбнадзорные амбалы увели разговорчивого, капитан и мелковатый кандидат в убийцы остались тет-а-тет. Начугро посадил кандидата точно под лампой (жаль, настольной не было на тысячу свечей!), а сам оседлал стул напротив в глубокой тени. И наступило молчание.

— В молчанку играть будем? — спросил Холмов через сорок семь минут.

— Как скажете, — шепотом ответствовал Антипов-два.

— Где тело спрятали? — вдруг заорал капитан, подавшись вперед и чудом не опрокинув стул, на котором сидел верхом. — Смотреть мне в глаза!

Хоть он и дослужился до чина и должности, но допрашивать до сего случая ему приходилось только мелкую сошку. Скандальных баб, хулиганов районного звена да пьяных забулдыг. Но он много лет выписывал журнал «Советская милиция» с приложением и очень вдумчиво их читал.

— Ты мне горбатого не лепи! — кричал он на

онемевшего от ужаса паренька. — Живую топили или мертвую? Отвечать!

— Чего? — еле слышно спросил преступник и всхлипнул, рукавом утерев слезы. — Нам бригадир рыбы велел наловить. И сеть дал. Чтоб тихо, говорит. А тут — моторка, и мы ту сеть утопили со страху.

— Утопили, значит? И не знаешь, мертвой она была или еще живой? Смотреть мне в глаза! Где душили — в машине Пах Пахыча или на берегу? Нам все известно! Исключительной захотел? Смотреть мне в глаза, я сказал!

Через час, не ответив ни на один из вопросов, преступник зарыдал в голос. Капитан вытер обильный пот и позвал моториста.

— Срочно рву в область. Крепкие орешки, тертые калачи. Профессионалы. Стеречь в оба и не давать сговариваться.

К началу работы начугро вновь предстал пред очами заместителя редактора областной газеты. Невыспавшийся, небритый, с глазами, сверкающими сыскным огнем.

— Задержали? От души поздравляю. И кем же они оказались?

— Профессиональные убийцы, — утомленно сказал капитан. — Я сел на хвост разветвленной

преступной организации, построенной по классическому примеру американских мафиозных синдикатов. Естественно, я дожму хвост, но нас могут опередить. Как только Москве станет известно, сюда ринутся сотни борзописцев, и вы останетесь с носом. Вкопайте заявочный столб, а то столица все приберет к рукам.

— Но ведь еще не было не только суда, но и следствия, — осторожно заметил зам.

— Преступление было? Было. Непосредственные исполнители обезврежены? Обезврежены. Уличены в потоплении девушки, которую они на своем жаргоне обозначают «сеть»? В основе — да. Что вам еще нужно для заявочного столба?

— Так-то оно так…

— Москва стесняться не будет, — дожимал Холмов. — Знаете, какие там хваты? Примчатся Ваксберг, Щекочихин, братья Вайнеры, Ольга Чайковская…

— Так-то оно так…

— Поймите, это же в интересах области. Кто знает, к чему приведет раскрутка преступных цепочек в эпоху сенсационных коррумпированных разоблачений? Хотите оказаться в числе теневых заслонов? Да я сейчас в обком…

— Не надо! — встрепенулся зам. — Вот в обком

не надо, сами разберемся. Идемте к редактору: если даст «добро», напишем вместе.

— Мне пока не следует фигурировать, — капитан отрекся от славы, но зарделся от удовольствия.

— А что, вовремя заявить тему — значит проявить понимание момента и журналистскую хватку, — сказал редактор, когда они ему рассказали о предполагаемых наметках. — Оперативно, откровенно, в духе гласности и плюрализма.

Сенсационную статью сварганили за два часа. Шеф читал, одобрительно кивая.

Три дня капитан с начальником мотались по району, тралили совхозными силами озеро Темное, допрашивали вдвоем и поодиночке леспромхозовских сучкорезов. Тела обнаружить не удалось, но зато бригадир, на которого ссылались подозреваемые, категорически отверг само существование браконьерской сети:

— Да чтобы я, советский человек…

Отсутствие сети служило веским доказательством неискренности сучкорезов-пожогщиков, а тут приспела областная газета с громким подвалом «ТАК ЛИ УЖ НАДЕЖНО СПРЯТАНЫ КОНЦЫ В ВОДУ?», и никто во всем районе более не сомневался, что двое таких тихих с виду

допризывников утопили в Темном озере неизвестную девушку. Розыски девушки взяла на себя прокуратура, ее тела — лично майор, а начугро неутомимо допрашивал подозреваемых оптом и в розницу. Поскольку на работе поймать его было невозможно, заместитель редактора доверительно переслал запись телефонного разговора между обкомом и редактором:

ДОКУМЕНТ № 5

«– Зачем вы подняли волну?

– Сознательно. Теперь Москва собственными задами прочувствует состояние наших дорог.

– Хе-хе. Остроумный ход. Остроумный!..»

Начальник отдела майор Пронин не успел порадоваться такому резонансу, как и в его адрес поступила срочная телеграмма:

ДОКУМЕНТ № 6

«Просим считать материал убийства юной Джульетты собственностью киностудии имени Горького. В условиях новой модели советского кинематографа…»

— Утроим усилия! — воскликнул капитан.

Утроили. Район лихорадило, все спали урывками, а совхоз окончательно прекратил уборочную, бросив все силы на ежедневный борботаж озера Темного. А тут еще майору Пронину вздумалось устроить очную ставку преступников со Стеллой Трофимовной. Естественно, она не видела их, но — слышала, и очная ставка была организована как следственный эксперимент: учительница литературы и зоологии заперлась в том же номере гостиницы в присутствии понятых, а сучкорезов Антоновых заставили несколько десятков раз произнести зловещую фразу: «Нет проблем, Пах Пахыч». И к концу следственного эксперимента Стелла Трофимовна безошибочно узнала оба голоса.

А на следующий день Холмов получил по почте увесистый пакет. Сопроводительная гласила:

ДОКУМЕНТ № 7

«Ув. тов. Холмов! Препровождаем Вам многочисленные письма трудящихся, со всею душою откликнувшихся на статью. Никогда доселе наша газета не получала столько сердечных граждански зрелых и плюралистически гневных

писем читателей. “Сорную траву – с поля вон!” – единогласно требуют наши перестроившиеся люди. Наконец-то народ перестал безмолвствовать, и редакция областной газеты со всей душой присоединяется к этому чистому порыву.

С глубокой благодарностью в адрес нашей родной милиции.

Редактор

(подпись неразборчива)».

От нетерпения капитан прочел сопроводительную на почте, огласив ее работникам последнюю строчку. Но писем читать там не стал, решив насладиться совместно с начальником.

Однако майора в Отделе не оказалось: то ли искал тело, то ли уже нашел. Начугро слегка расстроился, но все же решил почитать граждански зрелые послания сержанту Муховозу.

— Потрясающие отклики простых советских, — начал он, высыпая на стол груду писем из толстенного пакета. — Глас народа, а народ, как известно, никогда не ошибается. Сейчас я тебе зачту…

— Классовый враг не дремлет, — замогильным голосом сказал сержант. — Необходимо беспо-

щадно уничтожать. Всех.

— Всех?.. — растерянно переспросил Холмов.

— Всех! — Глаза Муховоза странно сверкнули. — Кулаков и подкулачников. Гнилую интеллигенцию и оппортунистов. Шпионов и наймитов.

— Коля. — Начугро торопливо налил стакан воды, на всякий случай отнес тяжелый графин в дальний угол, а уж потом подошел к Муховозу. — Коля, попей водички. Глотни, Коля.

Сержант жадно осушил стакан, Холмов подождал, пока он не проглотил остатки, и шепотом осведомился:

— Что, уже поступили указания?

— Восемь томов вопят о бдительности. — Коля нежно погладил книги. — Не будем терпеть врагов народа…

— Не будем, Коля, не будем. — Начугро бережно уложил сержанта на диван. — Ты только поспи сперва. Сил подкопи.

Муховоз мгновенно провалился в горячий сон. Холмов дождался храпа, остервенело пнул ногой подвернувшийся том, сел к столу и развернул первое письмо.

Нет смысла пересказывать все послания. Надо экономить время и бумагу, а потому сведем от-

дельные выдержки в

ДОКУМЕНТ № 8

«Мы, труженики районного отделения по учету, до глубины души возмущены отдельными коррумпированными элементами, перешедшими в атаку в период, когда вся наша страна от мала до велика…»

«Земля должна гореть под ногами убийц!

Общество «ТРЕЗВОСТЬ».

«Вот яркий пример, куда заводит преклонение перед сатанинской музыкой растленного Запада…

Ветераны».

«Доколе?!

Жильцы».

«Вот вам реальности оголтелой травли Великого Вождя. Так вам, перестройщикам, и надо!

(Без подписи)».

«Нет сомнений, что к этому зверскому убийству русской девушки приложили свою грязную лапу жидо-масоны. Расстрелять этих инородцев без суда и следствия,

как бешеных собак!

“Память”».

«Во всем виновато кино. Требуем категорического запрета разлагающего фильма “Маленькая Вера” и сурового наказания для актрисы!

Неформальное объединение “СИНИЙ ЧУЛОЧЕК”».

«…а в магазинах – хоть шаром покати…

(Подпись неразборчива)».

«Дальше так жить нельзя!

Многодетные матери».

«Меня в третий раз выпихнули из очереди на квартиру.

Водитель автобуса Пеле Карлушкин».

«Призываю вспомнить забытый ныне глагол “бдеть”!

Персональный пенсионер».

«Требуем закрыть все гостиницы, а заодно и рестораны, как рассадники…

Группа “ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ”».

Всех писем капитан просмотреть не успел, поскольку открылась дверь и возник гуталиновый аромат. Вид у владельца его был суров.

— Читаешь?

— Письма трудящих…

— Москва запросила «Дело» и преступников, а незавершенку отправлять — сам понимаешь.

— Дожму, — сурово обронил начугро.

Новость была столь ошеломляющей, что капитан сразу же запихал письма в пакет, даже не предложив ознакомиться с ними своему непосредственному. Москва запросила, а что ей могли предложить сыщики районного звена? Догадки? Домыслы? Версии? На худой конец — показания двух женщин? Мало, мало и мало! Это для них — достаточно, а для САМОЙ столицы? Грош цена всей работе, если… Если она не будет подкреплена хотя бы личными признаниями сучкорезов.

И Холмов, взгромоздившись на мотоцикл, резанул в рыбоохрану, где содержались потенциальные убийцы без всякого оформления бумажек, чтобы не привлекать прокурорского глаза. Не в следственном изоляторе, не в отделении — так что, товарищ прокурор, в чем собственно дело? А?..

Инспектор рыбнадзора вел себя вызывающе. Сперва учинил скандал, что, мол, не позволит превращать погреб рыбоохраны в камеру предварительного заключения, а потом вообще взял

отпуск и укатил в неизвестные края. Но остался моторист — человек, понимающий тонкости, и главное — крепыга-рабочий, запросто рвущий цепи голыми руками, если светила пол-литра. Вот на них-то, на их гражданскую сознательность и полагался сейчас капитан Холмов.

— Сделаем, — сказал работяга.

Моторист был осторожнее. Подумал, поулыбался, подмигнул:

— А насчет законности как осмыслим?

— А как хочешь?

— А бумажку. Есть бумажка — есть допрос, нет бумажки — есть вопрос. Новое мышление, капитан.

Страсть, как не хотелось Холмову оставлять следы, но мотористa уже просквозило новыми веяниями. И, подумав, намучившись и навздыхавшись, капитан сочинил

> ДОКУМЕНТ № 9
>
> «Сердечно прошу провести с задержанными для проверки гражданами Антиповыми работу о пользе признания в духе тех установок, когда человек человеку был друг, товарищ и брат».

— Работу — письменно, — строго сказал он,

передавая бумагу. — Я — письменно, и вы — письменно. И вполне добровольно, чтоб, значит, без этого… Без следов, но искренне.

— А куды денутся? — с ленцой спросил амбал. — Хочь со следами, хочь нет.

— Хочь нет, — еще раз уточнил капитан. Погано было на капитанской душе, когда она возвращалась домой. Так погано, что капитан, заглушив лживые доводы рассудка, решил выпасть. Аккуратно этак вывалиться из всей этой истории с госпитализацией на неделю, как минимум, а там видно будет. И вывалился, как только вырулил на шоссе и приметил вдали целое стадо КамАЗов.

— Помогите!..

Помогли. Доставили в больницу, где переломов не обнаружили (удачно выпал!), но зато обнаружили легкое сотрясение мозга и приказали лежать. «Теперь Москва повертится!» — злорадно подумал начугро сотрясенным мозгом, засыпая здоровым сном на больничной койке.

На следующий день ближе к вечеру его посетил непосредственный начальник. Спросил о самочувствии, но как-то мельком, словно бы отбывая повинность. А спросив, покивал головой и перешел на микшированные тона:

— Рыбнадзор вчера посещал?

— Сложно сказать, — капитан прикидывал с ходу. — С одной стороны, вроде бы — да, а с другой — вроде бы — нет.

— Что значит, с одной да с другой! Ты не финти, а докладывай, я тебя по службе спрашиваю!

— Вот я и докладываю по службе, — вздохнул Холмов. — По службе-то я был, но во внеслужебном состоянии. С сотрясением мозга. Все — как в тумане: что говорил, кому говорил… Кажется, упрашивал сознаться для их же блага. И, это… даже плакал.

— Вот в чем причина! — с облегчением воскликнул майор. — Слезы их достали, Холмов. Когда милиция — и слезы горькие, редко какой убийца устоит. Редко. И вот доказательство.

И подал сотрясенному капитану

ДОКУМЕНТ № 10

«Сознаемся, что нанялись в убийцы с окладом в 120 р.».

Строчки прыгали перед глазами, читать было трудно. Кроме того, начугро упорно казалось, что мир населен людьми с исключительно сотрясенными мозгами. И вернул он «Искреннее признание» молча.

— Молодец! — с чувством сказал майор. — По-

купай погоны с двумя просветами.

Через два дня капитана Холмова выписал лично главврач. Выписывал сердито, называя кого-то круглыми идиотами, и на осторожные намеки начугро, что с невылеченным дефектом он не может, как должно, исполнять служебные обязанности, буркнул:

— От дефектов вас теперь начальство лечит. Во всесоюзном масштабе.

Расстроенный таким оборотом капитан, помыкавшись до позднего времени, прокрался в родной Отдел. Расчет был тонок: в такое время начальник обычно уже пребывал в семейном гнездышке, а всякие подробности можно было выяснить у бессменного Муховоза.

— Здорово, серж… — бодро начал Холмов с порога, но осекся.

На диване не было ничего, кроме груды книг. А за столом сидел сам майор Пронин.

— Подлечили?

— Добровольно. Решил выйти для несения…

— Молодец! — Начальник от души пожал руку капитану. — Сержанта Муховоза на «скорой» в психиатричку отправили. Нервное потрясение с синдромом классовой нетерпимости. Теперь, видишь, сам дежурю: вот-вот Москва должна

позвонить. Отправили ей голубчиков под усиленным конвоем.

— А не?.. — осторожно спросил Холмов.

Что-то его тревожило. Может быть, незалеченное сотрясение мозга.

— Не, — бодро улыбнулся майор. — Эпоха требует энергии. Будем ждать вместе или тебе постельный режим прописан? Аккурат и полночь.

— Полночь. — Начугро включил местную трансляцию и сел к столу напротив майора.

Он хотел заглушить голос начальника (уж слишком бодро звучал) и собственную тревогу. И жаждал легкой полуночной музыки, но динамик загадочно молчал.

— Непременно консультантом в кино пойду на нашу съемку, — мечтательно сказал начальник. — Может, за границей снимать будут.

— Это про нас-то — за границей?

— Ну и что, что про нас? Ведь «Мать» Горького снимают?

— Ее потому снимают, что у нас нигде трущоб не нашли, — пояснил капитан. — А наше жуткое дело надо снимать на месте преступления с максимальным фактическим материалом.

— Не скажи, — упорствовал Пронин. — Там, понимаешь, мафия. Есть где развернуться.

Тут в динамике что-то закашляло, забулькало, заклокотало. А потом задушевный женский голос сообщил:

— Добрый вечер, дорогие друзья-радиослушатели! Начинаем передачу для тружеников третьей смены. По многочисленным просьбам трудящихся повторяем радиоспектакль «Убийство на десерт». Роли исполняют артисты народного театра.

Опять хрюкнуло что-то в динамике, опять квакнуло. И наконец хриплый баритон угрожающе спросил:

ДОКУМЕНТ № 11

«– Ты сдала Пернатого мусорам? Молчать, девочка, твоя песня спета! Облом, сделай так, чтобы она исчезла без следа. Ты меня понял, Облом?

– Нет проблем, Пах Пахыч…»

Районные детективы сидели, боясь шевельнуться, точно надеялись наконец-то узнать, кто и кого убил. Потом майор сказал неодобрительно:

— Вот психи, а? Да у нас во всем районе вообще третьей смены нет, а они энергию тратят и спать не дают.

И, привстав, рванул шнур динамика на самом

интересном месте…

Порода такая

Костя Солдаткин открыл глаза без четверти семь в смутном настроении. Понедельник, как известно, день тяжелый сам по себе, а тут еще зятек затеял в воскресенье отмечать День танкистов, хотя в их семье такого рода войск ни за кем не числилось. Оно, конечно, этот зятек-Витек за любой род душу ополоснет, однако, как Костя подозревал, именно вчера заводилой оказалась родимая сестра Любка, а вовсе не ее муж. За Любкой тоже водилась слабость, но если зятек-Витек клевал на любую наживку, абы выпить, то супруга его и, стало быть, Костина сестра желала как можно скорее оженить единственного братца. Лишить его холостяцкой безмятежности, посадить на прикол, стреножить ребенком и тем успокоить себя, а заодно и его, поскольку после смерти родителей оставалась старшей и решала за всех разом. Но Костя до сей поры держался, на сестриных подружек не реагировал и всегда старался пить осмотрительно, чтобы, не дай бог, не прижать какую в углу. И все шло путем, подружки менялись, Костя пил задарма, а зятек-Витек льготно, и мужики были довольны.

А вчера сестра такую длинноногую да губастую откопала, что Константин слетел с тормозов. И пил, и длинноногой в глаза заглядывал, и в коридорчике ее малость пошуровал. Но — малость, больше не далась и при расставании простилась у подъезда.

— Все, Костик, все. Ко мне ни шагу, папочка с мамочкой не велят.

— Да что ты буровишь, Ларка!

— Чао, Костик!

Исчезла, зараза. Так исчезла, что Константин остался на улице дурак дураком, будто не был классным шоферюгой, не жил самостоятельно, не зарабатывал когда и повыше двух сотняг в месяц. И Костя уныло потянул в свою комнату, что от родителей ему досталась, да загудел по дороге то ли с досады, что отшила длинноногая, то ли с радости, что такая нашлась. В какой-то ресторан ломился, швейцару десятку совал, но проснулся дома. Без синяков, в полном комплекте — только минус сорок в кармане. И это мучило, как всякая загадка: ну ладно, червонец хрену в позументах отвалил, но где тридцатник? Ответа не было, и Костя страдал всю дорогу, хотя на работу прибыл вовремя.

— Что-то тебя, Константин, в общем наряде

нет, — сказал диспетчер Иван Федорович.

Иван Федорович был из старых шоферов, три года назад кинул собственный КамАЗ в кювет, спасая нежные «жигули», отделался инвалидностью и навсегда сменил баранку на диспетчерское застекленное стойло. Быстро научился покрикивать, отбирал для своих выгодные маршруты (конечно, не за здорово живешь), Костю ценил, а тут — на тебе, прокололся.

— Это без меня провернулось. Иди к начальству.

Пошел Костя. Куда денешься-то?

— Слушай, как тебя… Солдаткин, — сказало с утра замотанное неразберихой начальство. — Значит, это… В субботу комиссия городскую ТЭЦ шуровала, а там — полный бардак, как и везде. Главный ихний звонил: машина нужна. Мусор им срочно приказано вывезти, что ли.

— Ну а меня-то за что? Я — на хорошем наряде, нормально работаю. Чего меня-то вычислили?

— Не гуди, Солдаткин. Невыгодная ездка, понимаю, но ты войди в мое положение.

— Да что я, спекулянт, что ли? Я — работяга, у меня тыщи в хате не валяются.

— А у ребят валяются? Дети у них валяются, а на этом мусоре потерь — полста в месяц, как

ни гони. Но опять же я к совести твоей, Солдаткин, обращаюсь. Ты все-таки парень холостой, сознательный, ты родной коллектив не обижай. Договорились? Ну и порядок, ну, держи петуха, ну, без обиды, ну, крой на ТЭЦ.

Костя пожал начальственную пятерню и пошел к диспетчеру, лелея по дороге скверные мысли. Мол, что же ты, олень, делаешь, я ли тебе трояков с наряда не сую? Но сказать ничего не успел, потому что Иван Федорович перехватил инициативу:

— Хреновая там дорога, Константин.

— Где — там? На централи, что ли?

— До свалки. Пилить тридцать восемь кеме по буграм да ямам.

— Ты мне это дельце подсуропил, Федорыч? Только не крути, свои люди, чего уж.

— Не я, Константин, совет трудового коллектива тебя вычислил, как холостяка. Понял? Я туда-сюда…

— Ладно, верю. Давай наряд.

— Рессоры береги. Много груза не хапай, лучше пару лишних ездок.

Совет этот настроения не исправил. Костя ехал на ТЭЦ злой, дороги не разбирал и грохотал пустым кузовом на всю округу. «Это ж надо так нарваться, — раздраженно думал он. — Совет

родного коллектива… Сороковку вчера протряс, полста сегодня отстегнули. Это ж полполучки, мать их…»

С такими невеселыми размышлениями он подкатил к воротам ТЭЦ. На сигнал вышел мятый («С похмелюги, что ли?..») вахтер и после короткого препирательства согласился пропустить на подопечную территорию Костю, но без машины. Машину не пропустил.

— Да что я, киловатты у вас сопру, что ли?

— Не положено в зону без особого.

— Наряд у меня, наряд. Или неграмотный?

— У тебя — наряд, а у меня — объект. Давай, давай, а то и пехом не пущу. Отгони машину на стоянку.

— Развели мы вас, охранничков, на свою голову! — заорал Костя, машину отгонять не стал, а, отодвинув мятого вохровца, вошел «в зону».

В административном здании его долго гоняли с этажа на этаж в поисках какого-то «товарища Храмцова». Никто то ли не хотел знать, то ли и вправду не знал о скопище мусора, специалистом по которому все считали означенного товарища.

— С дерьмом у нас однозначно, — хмуро заметил узкий специалист, когда Константин наконец-таки разыскал его. — Гадить — это

природа, а убирать — товарищ Храмцов. И что получается? Получается, я — всегда крайний.

Храмцов пребывал в привычном недовольстве. И изливал это недовольство всю дорогу, а Костя шел молча.

— Уголь привезли — узнать бы, какая зараза его рубала. По виду — полный антрацит, только что не горит. Но ведь принимаешь по разнарядке, вагонами, а в этих вагонах — вот этой вот сволочной породы… Ну, отвалили мы ее в сторонку, а тут — комиссия, директору — выговорец, а с меня — премию. А что ему этот выговор? Сегодня влепили, завтра снимут, а я — на одной зарплате. А рубль, сам знаешь, сколько стоит на старые деньги. Столько же, сколько стоил — во, сколько напечатали. Всем зарплату повысили: кому — на рупь двадцать, а кому — ровно вдвое, сечешь, кто в стране главный? Сами себе врем всю дорогу до светлого будущего: бумажки вместо денег, порода вместо угля.

Тут он замолчал, не без эффекта ткнув в гору черными изломами играющих каменюг. Омытые недавними дождями, они сверкали антрацитовыми бликами столь убедительно, что Константин спросил недоверчиво:

— Липуху клеишь, спец?

— Порода такая, — удрученно вздохнул Храмцов. — Теперь-то я насобачился, но ведь каждый вагон не перещупаешь. Не веришь? Объясню.

Крайний по мусору взял первый попавшийся кусок и ювелирно завертел его перед Костей. Зеркальные блики то возникали, то пропадали, и Константин никак не мог сообразить, где тут игра природы, а где — рук Храмцова.

— Погоди ты. Не верти.

— Мертвый блик у нее, — с торжеством первооткрывателя пояснил специалист. — У антрацита он живой, а у этого дерьма — мертвый. Вот приглядись без суеты. Приглядись.

— Да хрен с ним. — Костя уже приглядывался не к частностям, а к целому. — Это же полмесяца возить.

— Пошустри, а я тебе пятнадцать смен хоть сейчас закрою. Ну что, гнать экскаватор? Топай за машиной, а вертухаю скажи: Храмцов, мол, велел.

Пока экскаватор искали, пока экскаваторщика уговаривали, пока он грузил, дело к обеду подкатилось. Но Костя обедать не стал, а, посулив экскаваторщику на бутылку, коли дождется его возвращения, погнал на свалку.

Прав был Федотыч: дерьмовая дорога. Костю

швыряло на ухабинах так, что вылетел бы в ветровое стекло, если бы не руль. В него он вцепился, как во спасение, вертел без передыху, выбирая поровнее, но скорость старался не сбавлять, помня о — это кровь из носу! — еще одной сегодняшней ездке. «Распатронили, гады, — обиженно думал он. — Сороковку вчера да полста на вывозе этом, чтоб ему… Порода такая! А во сколько мне длинноногая встанет, об этом никто и не подумает…»

Злился, трясся за рулем, но рессоры, однако, сохранил: шофер был что надо. А живот довел до полного вакуума, аж засосало в нем. И пришлось на двадцать втором километре свернуть к обочине у грязно-желтого домишки с надписью «БУФЕТ».

В супе, что дали, крупинка за крупинкой гонялась с дубинкой, но горячо было, и Костя свой вакуум ублаготворил. Закусил макаронами с компотом и вышел на улицу, привычно нашаривая беломорину в измятой пачке (слава богу, сеструха на своей непыльной работенке могла не только супруга, но и брата папиросами снабжать при полном нынешнем бестабачье). И встал у выхода, увидев, что в кузове его машины копошится какой-то старикан.

— Чего потерял, отец?

— Андрацыд! — громко возвестил неизвестный, любовно взвешивая на ладони добрый кусок породы.

— Ну? — настороженно сказал Костя, не отрицая, но и не подтверждая радостной догадки старика.

— Куда везешь? — Старик слез на землю, стукнул ладонью о ладонь и отер их о старенький ватник.

— Куда следует.

— За сотнягу бы отдал?

— Ну? — с той же настороженностью повторил Константин.

— Цены заскакали, а чутье, видать, притупилось, — вздохнул собеседник. — Третьего дня такую машину за сто рублей купил, да не андрацыд. Не андрацыд, а жидкий такой уголек. Чаду много, а жару нет.

— Бывает, — заметил Костя, прикуривая.

— Обмишурился. — Старик огорченно покивал. — Кабы знал, что тебя встречу.

— Следующий раз в оба гляди.

— Постой, слышишь? Я обмишурился, так то — я. А тут еще три бабки покуда наличествуют. Надо бы им помочь, а? Есть такая возможность?

— У шофера всегда возможность.

— Бабок жалко, совсем одинокие бабки при пенсии. От людей тепла им нету, пусть хоть от андрацыда, а?

— Крутишь, отец?

— Я, парень, не кручу. — Старик вздохнул. — Я этих бабок с детства знаю, росли вместе. Только я с войны пришел, а другие нет, только я, значит, женился, а другие в девках остались. Я их солдатскими невестами зову, соображаешь? И обидно мне за них, сильно обидно.

— Чего это я запутался.

— Подвези ты им андрацыду, а, парень? Прояви заботу о солдатских невестах.

— Так это ж… — Костя замялся, хохотнул. — Да… Неудобно это, папаша.

— Чего тут неудобно, чего? Старым людям помочь неудобно тебе? Где они в зиму тепла-то возьмут? У государства? Так бастует наше государство аккурат по угольной части. Так что окажи такую милость.

Что-то еще жужжал старик — Костя не слышал. Грызлись в нем сейчас два человека: один кричал: «Стольник вернешь!», второй что-то насчет какого-то там неудобства. Какого именно, Константин не хотел разбираться, но так выходило, что неудобство это вроде сапога, который

жмет. Жмет, зараза, и жать будет… А может, разносится?..

— Далеко?

Нехотя спросил, через силу. Себя перебарывая.

— Да за поселком направо, три километра. Я покажу, покажу!

Заботливый фронтовичок тут же вскарабкался в кабину, сияя беззубой улыбкой. Костю воротило от этой улыбки, но тот, что в душе вел спор настырнее, мигом подкинул:

«А длинноногая во сколько станет? А дерьма там, на ТЭЦ, возить не перевозить? А свалка — тридцать восемь кеме? А червончик каждый божий экскаваторщику, а то ведь враз сломается, гад? А…» Много, очень много таких «А» наплодила жизнь за все Костины неполных четверть века.

— Ну кому повезет! — радовался шустрый фронтовик. — Какая первая на нас выбегет, той, значит, и андрацыд.

Первой выбегла рыхлая, с заметными усиками над старческим ртом. Фронтовичок заорал, Костя притормозил.

— Здорово, Петровна, как живешь-можешь? Угольку тебе нашуровал, понимаешь ли, андрацыду! Цени мои заботы-хлопоты.

Костя молчал, как утюг. Молчал, когда Петров-

на радовалась, всплескивая рыхлыми руками. Молчал, когда о цене толковали («За сто он отдаст, отдаст! — кричал фронтовик. — Он парень нашенский, понимающий...»). Молчал, когда сгружал породу эту чертову, куда старуха велела.

— Вот спасибо тебе, сынок, вот уважил! — растроганно приговаривала Петровна, отсчитывая сотню мятыми старушечьими трояками да пятерками. — Может, еще пособишь, а? Две подружки у меня, солдатские невестушки, им бы уголечку, а? Спроворь там, а? Мы все лето с пенсий своих откладывали, недоедали, недопивали, зима-то, говорят, лютая будет...

— Завтра, — прервал Костя.

Сгреб деньги и — к машине. Взревел мотор, загрохал на ухабах опустевший кузов. И помчал, помчал Константина в город, убегая то ли от обманутой бабки, то ли от себя самого. «А я при чем? А я ни при чем! Это все дед-шустряк, фронтовик всезнающий: андрацыд, андрацыд! А я что ж? Я стольник на дороге подобрал, только и делов. И дурак был бы, если бы не подобрал...» И в таких спорах — весь путь от рыхлой усатой старухи до удивленного экскаваторщика:

— Ну, ты, брат, ракета «Энергия». И рессоры целы?

— Грузи.

А про себя твердо решил: сквозь тот поселок с буфетом — только на предельной скорости. Хватит старушек обманывать, а что стольник себе вернул, так то — по справедливости. Коли его — так, то и он — так, а теперь сумма прописью сошлась, и ставим точку. Не барыги мы, не фарца, не кооператоры: мы — трудяги. Нашими руками…

— Готов!

— До завтра, кореш!

Константин рекордно домчал до свалки: было бы ГАИ позорче — штрафанули бы законно. Однако повезло, и в понедельничек Костя, все успев, разыскал длинноногую у собственной сестры. И длинноногую, и сеструху, и накрытый стол, и зятька-Витька в светлом предвкушении.

— Что за шум намечается?

— Да вот Ларка юбилей празднует. Сутки назад с женишком познакомилась.

Га! Гы! Гу! Грохочут, черти, весело им. Сел к столу, а чем кончилось? Выпивки не хватило, пришлось в ресторане бабкин стольник в обмен на шампанское оставить, а Ларка опять не далась. Распалила да и вывернулась, как змея.

— Чао-какао!

— Погоди. Завтра как, а? Тащить шампанское?

Только зубами сверкнула, а у Константина пульс — под двести семьдесят. Взрывпакет, а не девка… Но домой он возвращался улыбаясь и даже спал улыбаясь, и никаких таких глупых мыслей уже не возникало. Одна осталась, цепкая и прохладная: в двадцати двух километрах стольники выдают. Ни за так. Как лист с ольхи. Не для себя — для взрывпакета. Варенки бы ей достать, больно уж ножки хороши.

— Насыпай, кореш!

Вместо вчерашней рыхлой усатой Петровны Костю поджидала Анна Федоровна — строгая, седая, в очках. Константин сразу же вычислил в ней учительницу и сробел. А тут еще — шустряк-фронтовичок:

— Андрацыд — как сахар, верно говорю, Анюта? Калорий в нем, как в ракетном топливе.

Анна Федоровна долго и строго разглядывала «андрацыд». Костя молчал, но сердце было не на том месте, где положено.

— Высокий класс, — изрекла наконец. — Таким и отапливаться обидно, это — питание промышленности.

Константин хотел было ответить, что коль обидно, так и не берите, но смолчал. А фронтови-

чок отметил солидно:

— Учительница калории чует!

Тут подбежала еще одна «солдатская невеста». Маленькая, одышливая, но бойкая.

— Что, Ань, сомневаешься? Ну так я не сомневаюсь, я по теплу стосковалась. Гни ко мне, сынок!

— Подожди, Зинаида, зачем же? — строго поджала губы учительница. — Моя очередь, уж извини.

— Я вам к вечеру привезу, — с облегчением сказал Костя бойкой бабке Зинаиде.

Пока подруливал к дому Анны Федоровны, пока сгружал — хозяйка рта не закрывала. О топливном дефиците, забастовках шахтеров, общей неразберихе, растерянности, озлобленности. Перестройку она не одобряла, считая, что уж больно влево завернул Горбачев.

— Теряем ценности социализма, — строго говорила она. — Капитализм бездушен и эгоистичен, а мы его — как пример, забывая, что мы — люди особой породы. Другой группы крови, я бы сказала. Сто рублей, конечно, для нас, пенсионерок, дороговато, но еще дороже ваша инициатива, молодой человек. Помогать старым людям, подвезти им топливо — это дорогого стоит, как у Островского сказано.

«И здесь лекцию читает, — с неприязнью думал Костя. — Мало, значит, я с тебя запросил…»

К вечеру он доставил самосвал бабке Зинаиде, а она заказала еще две машины для родственников, да и шустрый фронтовик позарился на одну про запас. Два дня ушло на эти короткие денежные рейсы, и Костина совесть, обвыкнув, уже не тревожила его. В четверг и пятницу он гонял на свалку, в субботу, заплатив четвертной экскаваторщику, подгреб остатки, а в воскресенье через знакомую фарцу раздобыл длинноногой варенки. И в понедельник пришел на работу с песнями в душе, потому как длинноногая Ларка, оценив заботу, проявила чуткость и полное понимание.

— Мы с тобою, Костик, одной породы. Одной группы крови, как это называется.

А Костя вздохнул невесело, вспомнив не столько болтливую учительницу, сколько всех «военных невест», так стосковавшихся по теплу.

Великолепная шестерка

Кони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.

— Хелло, Вэл!

— Хелло, Стас!

Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!

Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется надсадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.

— Ты молодец, Роки.

— Да, клевое дельце.

— А что делать с лошадьми?

— Завтра еще покатаемся.

— Завтра — конец смены, Эдди.

— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!

Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналя. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рявкнув клаксонами, тронулись в путь.

— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира Сергеевна. — Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?

Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодеятельность, за наглядную агитацию, за чистоту

лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.

Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к *ее* лагерю, что Кира Сергеевна рассердилась.

— Наверняка из-за каких-то пустяков, — говорила она по пути в собственный кабинет. — А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.

— Да, да, — преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле. — Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение…

— Пригласите физрука, — распорядилась Кира Сергеевна. — На всякий случай.

Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.

— В чем дело, товарищи? — строго начала она. — Без телефонного предупреждения врываетесь в детское учреждение…

— Извините.

У окна стоял милицейский лейтенант настолько юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась

бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.

— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь…

Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик

этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.

— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.

Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.

— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.

Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот *чужой* страх, и ее собственная боязнь, ее собственная растерянность тут же исчезли без следа. Все отныне встало на место, и

разговором теперь управляла она.

— Скудно выражаете мысли.

Милиционер посмотрел на нее, усмехнулся.

— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.

Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.

— Конечно, кони теперь без надобности, — вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями. — Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.

Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда

рвался защищать женщин.

— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он. — «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.

— Он контуженый, — глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.

— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс, — внушительно сказал физрук. — Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.

— Шестеро к деду ходили неоднократно. Называли друг друга иностранными именами, которые я записал со слов колхозных ребят… — Лейтенант достал блокнот, полистал. — Роки, Вел, Эдди, Ден. Есть такие?

— В первый раз… — внушительно начал физрук.

— Есть, — тихо прервала вожатая, начав буйно краснеть. — Игорек, Валера, Андрей, Дениска. Это же великолепная шестерка наша, Кира Сергеевна.

— Этого быть не может, — твердо определила начальница.

— Конечно бред! — тотчас подхватил физрук,

адресуясь непосредственно к колхозному пенсионеру. — С похмелюги, отец, поблазнилось? Так с нас где сядешь, там и слезешь, понял?

— Перестаньте кричать на него, — негромко сказал лейтенант.

— Поди, пропил коняг, а на нас отыграться хочешь? Я тебя сразу раскусил!

Старик вдруг затрясся, засучил ногами. Милиционер бросился к нему, не очень вежливо оттолкнув при этом вожатую.

— Где у вас уборная? Уборная где, спрашиваю, спазмы у него.

— В коридоре, — сказала Кира Сергеевна. — Возьмите ключ, это мой личный туалет.

Лейтенант взял ключ, помог старику подняться. На диване, где сидел инвалид, осталось мокрое пятно. Старик дрожал, мелко переставлял ноги и повторял:

— Дай три рубля на помин, и господь с ними. Дай три рубля на помин…

— Не дам! — сурово отрезал милиционер, и оба вышли.

— Он алкоголик, — брезгливо сказала вожатая, старательно повернувшись спиной к мокрому пятну на диване. — Конечно, прежде был герой, никто не умаляет, но теперь… — Она сокрушенно

вздохнула. — Теперь алкоголик.

— А ребята и вправду лошадей брали, — тихо признался физрук. — Мне перед отъездом Валера сообщил. Что-то он еще тогда про лошадей говорил, да отозвали меня. Шашлыки готовить.

— Может быть, признаемся? — ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна. — Провалим соревнование, потеряем знамя. — Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: — Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность, но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили, следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость, наша общая недоработка, а пятно с коллектива не смоешь. И прощай знамя.

— Ясно, Кира Сергеевна, — вздохнул физрук. — И не докажешь, что не верблюд.

— Надо объяснить им, что это за ребята, — сказала вожатая. — Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна.

— Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, Почетные грамоты. Быстренько систематизируйте.

Когда лейтенант вместе с притихшим инвалидом вернулись в кабинет, письменный стол

ломился от раскрытых папок, Почетных грамот, графиков и схем.

— Извините деда, — виновато сказал лейтенант. — Контузия у него тяжелая.

— Ничего, — великодушно улыбнулась Кира Сергеевна. — Мы тут обменялись пока. И считаем, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать: они — надежда двадцать первого века. И в частности, те, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант.

Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью уяснить, что главное — в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее, а старик, усевшись, вновь вперил тоскливый взор свой куда-то сквозь начальницу, сквозь стены и, кажется, сквозь само время. Это было неприятно, и Кира Сергеевна позволила себе пошутить:

— Бывают, знаете, пятна и на мраморе. Но ведь благородный мрамор остается благородным мрамором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас

мы покажем вам, товарищи, на кого пытаются бросить тень. — Она зашуршала бумагами, разложенными на столе. — Вот, например… Например, Валера. Прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его Почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик…

— Второй Карпов! — решительно перебил физрук. — Блестящая глубина анализа, и в результате — первый разряд. Надежда области, а возможно, и всего Союза — говорю вам как специалист.

— А Игорек? — робко вставила вожатая. — Поразительное техническое чутье. Поразительное! Его показывали даже по телевизору.

— А наш изумительный полиглот Дениска? — подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных. — Он уже овладел тремя языками. Вы сколькими языками владеете, товарищ милиционер?

Лейтенант серьезно поглядел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил:

— А ты сколькими «языками» овладел, дед? За шестого орден-то дали, так вроде?

Старик задумчиво кивнул, и весомый орден качнулся на впалой груди, отразив позолотой солнечный лучик. И опять наступила неуютная

пауза, и Кира Сергеевна уточнила, чтобы прервать ее:

— Товарищ фронтовик вам дедом приходится?

— Он всем дедом приходится, — как-то нехотя пояснил лейтенант. — Старики да дети — всем родня: этому меня бабка еще в зыбке учила.

— Странно вы как-то объясняете, — строго заметила Кира Сергеевна. — Мы понимаем, кто сидит перед нами, не беспокойтесь. Никто не забыт, и ничто не забыто.

— Мы каждую смену проводим торжественную линейку у обелиска павшим, — поспешно пояснила вожатая. — Возлагаем цветы.

— Мероприятие, значит, такое?

— Да, мероприятие! — резко сказал физрук, решив опять защитить женщин. — Не понимаю, почему вы иронизируете над средствами воспитания патриотизма.

— Я, это… Я не иронизирую. — Лейтенант говорил негромко и очень спокойно, и поэтому все в комнате злились. Кроме старого фронтовика. — Цветы, салюты — это все правильно, конечно, только я не о том. Вот вы о мраморе говорили. Мрамор — это хорошо. Чисто всегда. И цветы класть удобно. А что вот с таким дедом делать, которого еще в мрамор не одели? Который за

собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конечно… да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамором? Тем, что помереть не успел?

— Простите, товарищ, даже странно слышать. А льготы инвалидам войны? А почет? Государство заботится….

— Вы, что ли, государство? Я же не о государстве, я о ваших пионерах говорю. И о вас.

— И все-таки! — Кира Сергеевна выразительно постучала по столу карандашом. — И все-таки я настаиваю, чтобы вы изменили формулировку.

— Что изменил? — переспросил участковый.

— Формулировку. Как неправильную, вредную и даже аполитичную, если смотреть в корень.

— Даже? — переспросил милиционер и опять неприятно усмехнулся.

— Не понимаю, чего усмехаетесь? — пожал плечами физрук. — Доказательства есть? Нету. А у нас — есть. Получается, что клевету поддерживаете, а это знаете чем пахнет?

— Плохо пахнет, — согласился лейтенант. — Скоро почувствуете.

Он говорил с горечью, без всяких угроз и намеков, но тем, кому он это говорил, слышалась не горечь, а скрытые угрозы. Им представлялось,

что участковый темнит, что-то сознательно недоговаривает, и поэтому они опять замолчали, лихорадочно соображая, какие козыри выкинет противник и чем эти козыри следует бить.

— Конь — он как человек, — неожиданно вклинился старик и опять задвигал ногами. — Он только не говорит, он только понимает. Он меня спас, Кучум звать. Статный такой Кучум, гнедой. Счас, счас.

Инвалид встал и начал суетливо расстегивать пуговицы рубашки. Тяжелый орден, обвиснув, раскачивался на скользкой ткани, а дед, бормоча «счас, счас», все еще возился с пуговицами.

— Он что, раздевается? — шепотом спросила старшая пионервожатая. — Скажите, чтоб перестал.

— Он вам второй орден покажет, — сказал лейтенант. — На спине.

Не совладав со всеми пуговицами, старик стащил рубашку через голову и, не снимая с рук, повернулся. На худой, костлявой спине его под левым плечом был виден бурый полукруглый шрам.

— Это зубы его, зубы, — все еще стоя к ним спиной, говорил дед. — Кучума, значит. Контузило меня на переправе, так в воду оба и упали. Я, это,

соображения не имел, а Кучум — вот. Зубами за гимнастерку да вместе с мясом, чтоб покрепше. И выволок. И упал сам. Осколком у него ребра выломало, и кишки за ним волочились.

— Какая гадость, — сказала вожатая, став пунцовой, как галстук. — Кира Сергеевна, что же это такое? Это же издевательство какое-то, Кира Сергеевна.

— Одевайся, дед, — вздохнул лейтенант, и опять никто не почувствовал его боли и заботы: все своей боли боялись. — Простудишься, так тебя никакой Кучум больше не вытащит.

— Ах, коник был, ах, коник! — Старик надел рубаху и повернулся, застегиваясь. — Мало живут они, вот беда. Все никак до добра дожить не могут. Не успевают.

Бормоча, он заталкивал рубаху в мятые штаны, улыбался, а по морщинистому, покрытому седой щетиной лицу текли слезы. Желтые, безостановочные, лошадиные какие-то.

— Одевайся, дедушка, — тихо сказал милиционер. — Дай я тебе пуговку застегну.

Он стал помогать, а инвалид благодарно уткнулся ему в плечо. Потерся и вздохнул, будто старая, усталая лошадь, так и не дожившая до добра.

— Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне три рубля…

— Родственник! — вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна и резко хлопнула ладонью по столу. — Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника. С какой целью? Под фонарем ищете, чтобы виноватого обелить?

— Конечно же это ваш собственный дед! — тотчас подхватил физрук. — Это ж видно. Невооруженным глазом, как говорится.

— Мой дед в братской под Харьковом лежит, — сказал участковый. — А это не мой, это колхозный дедушка. А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Колхоз их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, передал.

— Насчет «угнали», как вы употребили, доказать еще придется, — внушительно отметила Кира Сергеевна. — Я не позволю чернить вверенный мне детский коллектив. Можете официально заводить «дело», можете, а сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами.

— Вот, значит, и познакомились, — невесело усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог

старику подняться. — Пойдем, дед, пойдем.

— Дал бы три рубля…

— Не дам! — отрезал участковый и обернулся к начальнице. — Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони были списаны с колхозного баланса, и иск предъявлять некому. Ничейные были кони.

— Ах, кони, коники, — завздыхал старик. — Теперь машины ласкают, а коней бьют. И никак им теперь не дожить до жизни своей.

— Позвольте. — Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. — Если нет никакого «дела», так зачем же… — Она медленно встала, вырастая над собственным столом. — Как вы смели? Это недостойное подозрение, это… У меня нет слов, но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника, слышите? Немедленно.

— Ставьте в известность, — согласился лейтенант. — А потом пошлите кого-нибудь конские трупы зарыть. Они за оврагом, в роще.

— Ах, кони, коники! — опять заныл старик, и слезы капали на нейлоновую рубашку.

— Они, значит, что… умерли? — шепотом спро-

сила вожатая.

— Пали, — строго поправил лейтенант, глядя в доселе такие безмятежные глаза. — От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами уехали. По домам. Кони все объели, до чего дотянуться смогли: листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко, так что и пасть им не удалось: висят там на уздечках. — Он достал из кармана несколько фотографий, положил на стол. — Туристы мне завезли. А я — вам. На память.

Женщины и физрук с ужасом смотрели на оскаленные, задранные к небу мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Корявый дрожащий палец влез в поле их зрения, ласково провел по фотографиям..

— Вот он, Сивый. Старый меринок был, хворый, а глянь, только справа все обглодал. А почему? А потому, что слева Пулька была привязана, древняя такая кобылка. Так он ей оставлял. Кони, они жалеть умеют…

— Пойдем, дед! — звенящим голосом выкрикнул лейтенант. — Что ты им объясняешь?!

Хлопнула дверь, затихло старческое бормотание, скрип милицейских сапог, а они все еще никак не могли оторвать глаз от облепленных

мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевую бумагу, Кира Сергеевна очнулась.

— Этих, — она потыкала в фотографии, — спрятать… то есть закопать поскорее, нечего зря детей травмировать. — Порылась в сумочке, достала десятку, протянула, не глядя, физруку. — Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтоб милиционер не заметил, а то… И намекните помягче, чтоб не болтал понапрасну.

— Не беспокойтесь, Кира Сергеевна, — заверил физрук и поспешно вышел.

— Я тоже пойду, — не поднимая головы, сказала вожатая. — Можно?

— Да, конечно, конечно.

Кира Сергеевна дождалась, когда затихнут шаги, прошла в личный туалет, заперлась там, изорвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду.

А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавкорпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил две бутылки водки и выпил их в зимней конюшне, где до сей поры так замечательно пахло лошадьми.